



М.А.БАКУНИН

ФИЛОСОФИЯ
СОЦИОЛОГИЯ
ПОЛИТИКА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СЕРИИ «ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ»

В. С. Степин (председатель), С. С. Аверинцев, Г. А. Ашуров,
А. И. Володин, В. А. Лекторский, Д. С. Лихачев, Н. В. Мотро-
шилова, Б. В. Раушенбах, Ю. П. Сенокосов, Н. Ф. Уткина,
И. Т. Фролов, Н. З. Чавчавадзе, В. И. Шинкарук, А. А. Яковлев

*Вступительная статья,
составление, подготовка текста
и примечания*
В. Ф. ПУСТАРНАКОВА

На фронтисписе: М. А. Бакунин

Б 0301000000—Без объявл. Без объявл.— 89. Подписное
080(02)—89

© Издательство «Правда», 1989 г.
Вступительная статья, составление,
примечания, перевод.

М. А. БАКУНИН

Михаил Александрович Бакунин родился 18 (30) мая 1814 г. в имении своего отца Прямухино, которое находилось в Новоторжском уезде Тверской губернии. Отец Бакунина — Александр Михайлович — свою молодость провел за границей, куда был отправлен еще ребенком в семью своего родственника, русского полномочного министра в Италии. В свою очередь и А. М. Бакунин стал исполнять обязанности атташе русской миссии во Флоренции. По возвращении в Россию ему не понравилась придворная жизнь, он ушел в отставку и поселился в тверском имении. О свободомыслии А. М. Бакунина, объяснявшемся, по-видимому, обычной для XVIII — начала XIX в. аристократической оппозицией самодержавию, свидетельствует тот факт, что ряд лет он был связан с декабристами, поддерживая линию главы «Союза спасения» Н. М. Муравьева, а также и то, что он пытался освободить своих крестьян. По воспоминаниям М. А. Бакунина, детей отец воспитывал скорее в европейском, чем в русском духе, и хотя после восстания декабристов напуганный А. М. Бакунин резко переменял свое отношение к воспитанию детей и стал насаждать верноподданнический дух, однако свободомыслие уже успело увлечь юного Михаила, который во время декабрьских событий был двенадцатилетним подростком.

Жизненный опыт М. А. Бакунина значительно умножился во время учебы в Петербургском артиллерийском училище (1828—1832) и службы в армии (1832—1834). Это были годы, по определению самого Бакунина, «новой действительности или, вернее, старой, но реставрированной, обновленной и укрепленной железной рукой императора»¹, годы, когда состоялось его первое знакомство с русской действительностью.

В 1834 г., выйдя в отставку, Бакунин поселился в Москве. Здесь он познакомился с Н. В. Станкевичем и В. Г. Белинским. В «Станкевически-белинском кружке», членом которого он стал, ярко проявился

¹ Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1934. Т. 1. С. 36.

философский склад ума будущего социального мыслителя и деятеля. Н. В. Станкевич высоко ценил его «истинно спекулятивный талант», А. И. Герцен — великолепную способность развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому. Когда в «Отечественных записках» в 1840 г. вышла статья Бакунина «О философии», автор был осыпан похвалами: В. Г. Белинский назвал статью «прекрасной», а редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский расценил ее как образец философских статей на русском языке.

В 1840 г. Бакунин уехал за границу, сначала в Германию, где некоторое время учился в Берлинском университете у К. Вердера и Ф. Шеллинга; вскоре его захватила общественно-политическая деятельность, он установил контакты с А. Руге, В. Вейтлингом, П. Прудоном, К. Марксом и Ф. Энгельсом. В 40-х гг. Бакунин занимал позиции революционного демократизма просветительского толка, имевшего левогегельянскую основу; однако постепенно «практицизм» взял верх, и Бакунин порвал со всякой философской «метафизикой», а фактически — со всякой теорией и философией.

За деятельное участие в революции 1848—1849 гг. он был дважды (судами Саксонии и Австрии) приговорен к смертной казни. В 1851 г. Бакунин был выдан Австрией правительству Николая I и после длительного заключения сослан в 1857 г. в Сибирь на поселение. В 1861 г., бежав из ссылки, он вновь включился в западноевропейское революционное движение.

К середине 60-х гг. взгляды Бакунина развились в более или менее целостное, анархическое по сути мировоззрение. Написанное в 1867 г. сочинение «Федерализм, социализм и антитеологизм» расценивалось им самим как работа, в которой он изложил все свои идеи — философские, социально-политические и практические.

После разного рода попыток найти способ, которым можно было бы воплотить анархистские идеалы, Бакунин вступил в 1864 г. в Международное товарищество рабочих (I Интернационал), где вскоре развернул против К. Маркса и его единомышленников ожесточенную борьбу, пытаясь направить работу Интернационала в русло анархизма, особенно — используя основанный им в 1868 г. тайный «Международный альянс социалистической демократии». В 1872 г. Гаагский конгресс исключил Бакунина из рядов Интернационала.

Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. Бакунин пришел к выводу, что единственным выходом из создавшейся угрозы победы Пруссии, за которой, по его мнению, могло последовать укрепление общеевропейской реакции, является социалистический переворот. В сентя-

бре 1870 г. он — в рядах восставших рабочих Лиона. Провозглашение Парижской коммуны вызвало у Бакунина всплеск революционного энтузиазма: он горячо приветствовал дело парижских коммунаров, впрочем, истолковывая смысл и задачи Коммуны по-анархистски.

В 1873 г. вышла книга Бакунина «Государственность и анархия», которая слыла многие годы главным трудом его жизни, хотя это произведение скорее литературно-публицистическое, нежели теоретическое, а содержащиеся в нем идеи в той или иной форме находили отражение и в более ранних работах. Но так или иначе «Государственность и анархия» вызвала оживленные отклики.

В работах К. Маркса и Ф. Энгельса «Мнимые расколы в Интернационале», «Альянс социалистической демократии в Международное товарищество рабочих», в работе К. Маркса «Конспект книги Бакунина „Государственность и анархия“», работах Ф. Энгельса «Бакунисты за работой» и «Эмигрантская литература» подвергнута критике деятельность Бакунина в западноевропейском рабочем движении, узость и сектантство его программы, центральный элемент бакунинского анархизма — его антиэтатизм, который они квалифицировали как «фанфаронады» о немедленной отмене государства и установлении анархии. Бакунинское мировоззрение, согласно Марксу и Энгельсу, — смесь прудонизма с коммунизмом, «фантастический социализм»; главным злом, которое следовало устранить, Бакунин считал государство как таковое.

Узловой элемент бакунинского мировоззрения — концепция закономерностей возникновения государства, его роли в жизни общества и путей к его «разрушению» и установлению безгосударственного общественного самоуправления. Определенной исторической роли государства Бакунин не отрицал. В его глазах государство — зло, но зло исторически оправданное, в прошлом необходимое; общество и государство не тождественны, а государство не вечно, оно лишь временная общественная форма, которая должна полностью и коренным образом перестроиться, исчезнуть, раствориться, стать простой «канцелярией» общества, «центральной конторой».

Антиэтатист Бакунин мечтал о «безгосударственных» формах политической и экономической организации жизни общества. Его идеал — не общество, организованное в государство, а общество, организованное на социально-политических началах самоуправления, автономии и свободной федерации индивидов, общин, провинций и наций и на началах социализма: свободы, равенства, справедливости для трудящихся, освобожденных от всякой эксплуатации. Бакунинский принцип: свобода

без социализма — это несправедливость, а социализм без свободы — это рабство.

В критике Бакуниным феодально-крепостнического и буржуазного государства много верного и справедливого, много верного и в критике европейских утопическо-социалистических концепций «государственно-го социализма» от Луи Блана до Лассалья. Однако русский анархист заблуждался, когда думал, что идеал безгосударственного общества можно осуществить немедленно после социальной революции. В этой связи нелишне напомнить мысль В. И. Ленина: «Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене государства как цели. Мы утверждаем, что для достижения этой цели необходимо временное использование орудий, средств, приемов государственной власти *против* эксплуататоров, как для уничтожения классов необходима временная диктатура угнетенного класса»¹.

Одно из важнейших направлений эволюции мировоззрения М. А. Бакунина в анархистский период — его разрыв с прежним «революционным панславянизмом». Бакунин сумел подняться над локальными, узконациональными задачами российского освободительного движения. Ему принадлежат слова: «У нас нет отечества. Наше отечество — всемирная революция». Своему другу Н. П. Огареву он писал в 1870 г.: «Ты только русский, а я интернационал». Горячо желая блага своей родине, Бакунин был беспощаден, бичуя недостатки российского общества. Поистине его патриотизм был взыскующим, критическим, революционным. Бакунин, не колеблясь, писал о патриархальности и неподвижности русского быта, лжи, алчном лицемерии, холопском рабстве в семейной и общественной жизни.

Эти обстоятельства следует иметь в виду, встречаясь в бакунинских работах с рядом весьма жестких высказываний и эпитетов, которые на поверхности выглядят просто как германофобские, юдофобские и др. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эти высказывания в своем большинстве представляют собой критические характеристики социально-политического порядка, и не больше того. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь: выведенный из равновесия не столько собственно теоретической критикой в свой адрес, сколько грязными намеками и прямыми оскорблениями, Бакунин не раз давал волю чувству раздражения и даже озлобленности. С величайшим возмущением он писал: «Мне нужно доказывать, что я не вор», и, «доказывая», он терял иногда голову и говаривал слова, которые никак

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 60.

не вписывались в его в целом интернационалистическое мировоззрение.

Будучи в последний, анархистский период своей жизни в первую очередь участником западноевропейского революционного движения, Бакунин мечтал о том, чтобы подключить к нему Россию. В конце 60-х гг. он предпринял шаги к активизации контактов с революционными кругами в России, подготовив ряд прокламаций и обращений к русской революционно настроенной молодежи. Однако, введенный в заблуждение С. Г. Нечаевым, Бакунин некоторое время ориентировался на фактически не существовавшую в России революционную организацию.

Особым влиянием в России пользовались приложения к работе «Государственность и анархия», в которых, в частности, изложена программа российского революционного движения. Эти приложения оказали воздействие на русское народничество; сформировалось «бакунинское направление», носившее революционно-демократический характер и на определенном этапе выражавшее интересы широких трудящихся, особенно крестьянских масс. Из народнической группы «Черный передел», строившей свою программу на основе бакунинских идей и на заимствованных Бакуниным у Маркса элементах материалистического понимания истории, со временем вышли первые российские социал-демократы во главе с Г. В. Плехановым.

В 60-е гг. Бакунин вновь обращается к философии. Хотя в анархистский период своей деятельности Бакунин недооценивал теорию, науку, отводя им роль лишь «верстового столба» на пути преобразуемой общественной жизни, «антитеологические», «антиметафизические» философские принципы он неизменно включал в свои программные документы. Будущая всемирная революция мыслилась им не только как политическая, экономическая и социальная, но также и как философская.

М. А. Бакунин скончался 1 июля 1876 г. в швейцарском городе Берне.

До сих пор продолжают споры о месте Бакунина в истории западноевропейского и российского революционного движения. Анархисты рисовали портрет «революционного гиганта», находились публицисты, которые называли его «мощной личностью», «гигантом духа». Противники же Бакунина, наоборот, подчёркивали его ошибки и недостатки, зачастую пренебрегая мерой. Еще при жизни Бакунину пришлось пережить не только справедливую критику, но и жестокие обиды и оскорбления, когда его публично называли «правительствен-

ным агентом», «старым интриганом», мечтающим установить «деспотическую диктатуру в русском духе», зачисляли в «панславистский сброд» и т. п.

Мифы о Бакунине оказались удивительно устойчивыми, и — что скрывать? — до сих пор некоторые из них преобладают, заменяя действительное знание о его идеях и деятельности. Бакунин много сделал для развития русской философской культуры 30-х гг. XIX в. Его антиэтатистские воззрения также во многом сохраняют свое значение: например, аргументы против «государственного социализма», авторитарных, бюрократических методов управления, его размышления об общественном самоуправлении и многие другие. Что касается его места в истории социальной философии, то его нам еще придется определить, возможно, более точно, чем это делалось ранее.

В. Ф. Пустарнаков

ФИЛОСОФИЯ
СОЦИОЛОГИЯ
ПОЛИТИКА

ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ

*Мотивированное предложение
Центральному комитету Лиги Мира и Свободы
от М. Бакунина*

Женева.

Господа!

Дело, занимающее нас сегодня, это организовать и окончательно упрочить Лигу Мира и Свободы* на основе принципов, сформулированных предшествующим распорядительным комитетом и принятых первым конгрессом. Эти принципы составляют отныне нашу хартию, обязательную основу всей нашей последующей деятельности. Мы не имеем права отнять от них хотя бы малейшую часть, но мы можем и даже обязаны их развивать.

Выполнение этой обязанности представляется в настоящее время тем более настоятельным, что, как всем известно, вышеупомянутые принципы были сформулированы наскоро, под давлением тяжелого женевского гостеприимства... Мы набросали их, так сказать, между двумя грозами, мы были вынуждены смягчить выражения, чтобы избежать большого скандала, который мог бы привести к полному уничтожению нашего дела.

Ныне, когда благодаря более искреннему и широкому гостеприимству города Берна мы свободны от всякого местного, внешнего давления, мы должны восстановить эти принципы во всей их целостности, отбросив всякую двусмысленность как недостойную нас, недостойную великого дела, которое мы призваны начать. Умолчание, полуправда, урезанные мысли, любезные смягчения и уступки трусливой дипломатии — все это непригодно для совершения великих дел: они требуют возвышенного сердца, ясного и твердого ума, четко поставленной цели и неукротимой смелости. Господа, мы начали великое де-

ло, поднимемся же на его высоту. Оно будет великим или смешным, середины быть не может, и чтобы оно было великим, необходимо по меньшей мере, чтобы благодаря нашей смелости и искренности мы тоже стали великими.

Не академический разбор принципов предлагаем мы теперь вашему вниманию. Мы не забываем, что собрались здесь главным образом, чтобы согласовать политические средства и меры, необходимые для осуществления нашего дела. Но мы знаем также, что в политике не может быть честной и полезной практической деятельности без теории и ясно определенной цели. В противном случае, сколь мы ни воодушевлены самыми широкими и свободолюбивыми чувствами, мы могли бы прийти к совершенно противоположным практическим результатам: мы могли бы начать с республиканскими, демократическими и социалистическими убеждениями, а кончить как бисмаркианцы или как бонапартисты.

Сегодня мы должны сделать три вещи:

1) Определить условия и подготовить элементы нового Конгресса.

2) Организовать нашу Лигу, насколько это будет возможно, во всех странах Европы, распространить ее даже, и это нам кажется существенным, на Америку и учредить в каждой стране национальные комитеты и провинциальные подкомитеты, предоставив каждому из них законную, необходимую автономию и подчинив их всех иерархически Центральному комитету в Берне. Дать этим комитетам полномочия и необходимые инструкции для пропаганды и принятия новых членов.

3) Для этой пропаганды основать газету.

Не очевидно ли, что для того, чтобы хорошо выполнить эти три вещи, мы должны предварительно выработать принципы, которые бы определили, уже без всякой двусмысленности, природу и цель Лиги. Эти принципы, с одной стороны, вдохновят и направят нашу как письменную, так и устную пропаганду, а с другой стороны, послужат условиями и основой при принятии новых членов. Последний пункт, господа, представляется нам чрезвычайно важным. Ибо будущее нашей Лиги полностью зависит от склонностей, идей и тенденций как политических и социальных, так и экономических и нравственных, от этой массы новых людей, для которых мы откроем наши ряды. Образую институт в высшей степени демократи-

ческий, мы не будем претендовать на управление нашим народом, т. е. массой наших приверженцев, сверху до низу, и как только мы организуемся, мы никогда не позволим себе навязывать им авторитарно наши идеи. Напротив, мы хотим, чтобы все наши провинциальные подкомитеты и национальные комитеты, вплоть до центрального или интернационального комитета, избирались снизу доверху голосованием наших приверженцев во всех странах и поэтому стали верным и послушным выражением их чувств, идей и воли. Но ныне, именно потому, что мы решили подчиняться во всем, что будет касаться общего дела Лиги, желаниям большинства, ныне, покуда мы находимся еще в малом числе, не должны ли мы, если мы не хотим, чтобы наша Лига когда-либо уклонилась от своей первоначальной идеи и от направления, приданного ей ее инициаторами, не должны ли мы принять меры, чтобы никто, имеющий намерения, противоположные этой идее и этому направлению, не смог сделаться ее членом? Не должны ли мы организовать таким образом, чтобы огромное большинство наших приверженцев оставалось всегда верным вдохновляющим нас сегодня чувствам, и установить такие правила приема членов, чтобы даже при смене личного состава наших комитетов дух Лиги остался неизменным?

Мы можем достигнуть этого не иначе, как выработав и определив наши принципы столь ясно, чтобы никто, будучи в том или ином отношении против них, не смог проникнуть в наши ряды.

Нет сомнения, что если мы будем избегать столь ясно выражать действительный характер своих принципов, число наших приверженцев может сделаться очень большим. Мы могли бы даже в таком случае, как нам предлагал делегат Базеля г. Шмидлин, принять в наши ряды много военных и священников, почему бы и не жандармов? — или по примеру Лиги Мира, основанной в Париже под высоким императорским покровительством гг. Мишелем Шевалье и Фредериком Пасси*, низжайше просить некоторых знаменитых прусских, австрийских или русских принцесс сообразовалось принять звание почетных членов нашей ассоциации. Но, как говорит пословица, кто многих обнимает, тот плохо прижимает; все эти драгоценные присоединения стоили бы нам нашего полного уничтожения и среди массы двусмысленностей

и фраз, отравляющих в настоящее время общественное мнение Европы, стали бы еще одной плохой шуткой.

С другой стороны, очевидно, что если мы будем открыто провозглашать свои принципы, число наших приверженцев будет ограничено, но, по крайней мере, это будут серьезные люди, на которых можно будет рассчитывать, — и наша искренняя, просвещенная, серьезная пропаганда будет не отравлять, а нравственно оздоравливать публику.

Итак, посмотрим, каковы принципы нашей новой ассоциации? Она называется *Лигой Мира и Свободы*. Это уже много; этим мы отличаемся от всех тех, которые стремятся к миру любой ценой, даже ценой свободы и человеческого достоинства. Мы отличаемся также и от английского общества мира, которое, абстрагируясь от всякой политики, воображает, что при современном устройстве государств в Европе мир возможен. В противоположность этим ультрапацифистским тенденциям парижского и английского обществ, наша Лига объявляет, что она не верит в мир и что она желает мира лишь при высшем условии свободы.

Свобода — это возвышенное слово, означающее великое дело, которое никогда не перестанет воспалять сердца всех живых людей. Но оно требует точного определения. Иначе мы не избежим двусмысленности, и в наших рядах могут оказаться бюрократы — сторонники гражданской свободы, монархисты-конституционалисты, либеральные аристократы и буржуа, все те, кто в той или иной степени является защитником привилегий и естественным врагом демократии. Они могут составить большинство среди нас под предлогом, что они тоже любят свободу.

Чтобы избежать последствий этого досадного недоразумения, Женевский конгресс* объявил, что он желает «основать мир на демократии и свободе», отсюда следует, что для того, чтобы стать членом нашей Лиги, надо быть демократом. Значит, исключаются все аристократы, все сторонники какой-либо привилегии, какой-либо монополии или какой бы то ни было политической исключительности, ибо слово «демократия» означает не что иное, как управление народом посредством народа и для народа, понимая под этим последним наименованием всю массу граждан — а в настоящее время надо прибавить и гражданок, — составляющих нацию.

В этом смысле мы все, конечно, демократы.

Но мы должны в то же время признать, что этот термин, «демократия», недостаточен для точного определения характера нашей Лиги и что, рассматриваемый в отдельности, он может, так же как термин «свобода», дать повод к кривотолкам. Разве мы не видели, как в Америке еще в начале этого века плантаторы, рабовладельцы Юга и их приверженцы в Северных Штатах называли себя демократами? А современный цезаризм с его мерзкими последствиями, нависший как страшная угроза над всем, что зовется в Европе человечностью, не именует ли он себя тоже демократичным? И даже московский и санкт-петербургский империализм, это Государство без фраз, этот идеал всех централизованных военных и бюрократических держав, не во имя ли демократии он раздавил недавно Польшу?

Очевидно, что демократия без свободы не может служить нам знаменем. Но что такое демократия, основанная на свободе, если не Республика? Соединение свободы с привилегиями создает монархический конституционный режим, но ее соединение с демократией может осуществиться лишь в *Республике*. Из осторожности, которой мы не одобряем, Женевский конгресс нашел нужным воздержаться в своих резолюциях от слова «республика». Но, объявляя свое желание «основать мир на демократии и свободе», он невольно показал себя республиканцем. *Итак, наша Лига должна быть одновременно демократической и республиканской.*

И мы думаем, что все мы здесь республиканцы в том смысле, что, движимые беспощадной логической последовательностью, предостерегаемые столь же спасительными, как и жестокими уроками истории, всем опытом прошлого и в особенности событиями, которые омрачили Европу после 1848 года, и теми опасностями, которые ей угрожают сегодня, мы все пришли к одному убеждению: *монархические институты несовместимы с царством мира, справедливости и свободы.*

Что касается нас, господа, то мы как русские социалисты и как славяне считаем своей обязанностью открыто заявить, что для нас слово «республика» не имеет другого значения, кроме значения *чисто отрицательного*: оно означает свержение или уничтожение монархии. Слово это не только не способно нас воспламенить, но, напротив, всякий раз, как нам представляют республику как поло-

жительное, серьезное решение всех злободневных вопросов, как высшую цель, к достижению которой мы должны направлять все наши усилия, нам хочется протестовать.

Мы ненавидим монархию всем сердцем; мы не хотим ничего большего, чем ее свержения в Европе и во всем мире, и мы убеждены, как и вы, что ее уничтожение есть условие *sine qua non** освобождения человечества. С этой точки зрения мы — искренние республиканцы. Но мы не думаем, что достаточно свергнуть монархию, чтобы освободить народы и дать им мир и справедливость. Напротив, мы твердо убеждены, что крупная военная, бюрократическая, политически централизованная республика может стать и непременно станет державой, стремящейся к внешним завоеваниям, к угнетению внутри страны, что она будет неспособна обеспечить своим подданным, даже если те будут называться гражданами, благоденствие и свободу. Разве мы не видели великую французскую нацию дважды объявляющей себя демократической республикой и оба раза теряющей свою свободу и дающей себя вовлечь в завоевательные войны?

Припишем ли мы, подобно многим другим, эти плачевные падения легкомысленному темпераменту и историческим дисциплинарным привычкам французского народа, который, как утверждают его клеветники, способен завоевать свободу внезапным сокрушительным порывом, но не умеет пользоваться ею и применять ее на практике?

Мы не можем, господа, присоединиться к этому осуждению целого народа, одного из самых просвещенных народов Европы. Мы убеждены, что если Франция дважды теряла свободу, а демократическая республика там превращалась в военную диктатуру и в военную демократию, то в этом повинен не характер ее народа, а ее *политическая централизация*. Централизация эта, издавна подготовленная французскими королями и государственными людьми, воплотившаяся позже в человеке, названном льстивой придворной риторикой Великим Королем**, затем повергнутая в бездну позорными деяниями одряхлевшей монархии, конечно, погибла бы в грязи, если бы Революция не подняла ее своей могучей рукой. Да, странная вещь эта великая революция, впервые в истории провозгласившая свободу не только гражданина, но и человека: став наследницей монархии, которую она убила, она вос-

кресила в то же время отрицание всякой свободы — *централизацию и всемогущество Государства*.

Вновь созданная Учредительным собранием (правда, против нее боролись, но почти безуспешно, жирондисты*), эта централизация была завершена Национальным Конвентом. Робеспьер и Сен-Жюст были ее истинными реставраторами: ничто не было забыто в новой правительственной машине, ни даже Верховное Существо** вместе с культом Государства. Она ожидала лишь ловкого машиниста, чтобы явить удивленному миру все могущество притеснения, которым ее одарили бездумные строители... и — нашелся Наполеон. Итак, эта Революция, которая вначале была вдохновлена лишь любовью к свободе и человечности, одним тем, что поверила в возможность примирения их с централизацией Государства, убила себя, убила их и не породила вместо них ничего, кроме военной диктатуры, Цезаризма.

Не очевидно ли, господа, что для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противопоставить этой чудовищной и подавляющей централизации военных, бюрократических, деспотических, конституционно-монархических или даже республиканских государств великий, спасительный *принцип Федерализма*, принцип, чье блистательное проявление явили нам между прочим последние события в Соединенных Штатах Северной Америки.

С этих пор для всех истинно желающих освобождения Европы должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманистическим идеям, провозглашенным Французской Революцией, мы должны отбросить ее политику Государства и решительным образом воспринять североамериканскую политику свободы.

I

ФЕДЕРАЛИЗМ

Мы рады заявить, что Женевский конгресс единодушно приветствовал этот принцип. Сама Швейцария, которая, к слову сказать, так успешно применяет его теперь на практике, присоединилась к нему без всякого ограничения и приняла его со всеми вытекающими последстви-

ями. К сожалению, в резолюциях конгресса этот принцип был очень плохо сформулирован и упомянут лишь косвенным образом, во-первых, по поводу Лиги, которую мы должны основать, и ниже по поводу журнала, который мы должны издавать под заглавием: «Соединенные Штаты Европы». Между тем, по нашему мнению, он должен был бы занять первое место в нашей декларации принципов.

Это весьма обидный пропуск, который мы должны поспешить заполнить. Согласно с единодушным мнением Женевского конгресса мы должны провозгласить:

1) Что для того, чтобы свобода, справедливость и мир восторжествовали в международных отношениях Европы, для того, чтобы сделать невозможною гражданскую войну между различными народами, составляющими европейскую семью, есть только одно средство: образование *Соединенных Штатов Европы*.

2) Что Штаты Европы не могут быть образованы из государств в том виде, в каком они сложились сейчас, по причине чудовищного неравенства их сил.

3) Что пример скончавшейся Германской конфедерации доказал неоспоримым образом, что конфедерация монархий — это насмешка, что она бессильна гарантировать населению как мир, так и свободу.

4) Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное государство, называясь оно даже республикой, не сможет серьезным и искренним образом войти в интернациональную конфедерацию. По своей конституции, которая всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно неизбежно будет постоянным призывом к войне, угрозой существованию соседних стран. Основанное существенным образом на последующем акте насилия, на завоевании или на том, что в частной жизни называется кражей со взломом, — акте, благословленном церковью любой религии, освященном временем и превратившемся, таким образом, в историческое право, — и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия как на исключительное и высшее право, всякое централистское государство считает для себя возможным абсолютное отрицание прав всех других государств, признавая их в заключенных с ними договорах только в политических интересах или по немогущности.

5) Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направлять все свои усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить старую организацию, основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции¹, провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира.

6) Следовательно, полный отход от всего, что называется историческим правом государств; все вопросы о естественных, политических, стратегических и торговых границах должны отныне считаться принадлежащими к древней истории и решительно отвергаться всеми приверженцами Лиги.

7) Признание абсолютного права каждой нации, большой или малой, каждого народа, слабого или сильного, каждой провинции, каждой коммуны на полную автономию при одном лишь условии, чтобы их внутреннее

¹ Славный итальянский патриот Джузеппе Мадзини, чей республиканский идеал не что иное, как французская республика 1793 года, исправленная в духе поэтических традиций Данте и властолюбивых воспоминаний о властелине земли Рима, потом пересмотренная и исправленная с точки зрения новой теологии, наполовину рациональной и наполовину мистичной, — этот замечательный патриот, честолюбивый, страстный и всегда исключительный, несмотря на все его усилия подняться до уровня международной справедливости, патриот, который всегда предпочитал величие и могущество своего отечества его благополучию и свободе, — Мадзини был всегда яростным противником автономии провинций, которая естественно нарушала бы строгое единообразие великого итальянского государства. Он утверждает, что для противовеса могуществу прочно устроенной республики достаточна автономия коммун. Он ошибается: ни одна коммуна, взятая в отдельности, не сможет противостоять могуществу столь сильной централизации, она будет ею раздавлена. Чтобы не пасть в этой борьбе, она должна была бы для общей самозащиты вступить в федерацию с соседними коммунами, т. е. она должна была бы образовать вместе с ними автономную провинцию. Кроме того, раз провинции не будут автономны, управлять ими надо будет ставленникам государства. Нет середины между строго последовательным федерализмом и бюрократическим режимом. Отсюда вытекает, что республика, к которой стремится Мадзини, была бы государством бюрократическим и, следовательно, военным, основанным в целях внешнего могущества, а не международной справедливости и внутренней свободы. В 1793 году, при режиме Террора, коммуны Франции были признаны автономными, что не помешало им быть раздавленными революционным деспотизмом Конвента или, лучше сказать, Парижской Коммуны, естественным наследником которой явился Наполеон.

устройство не являлось угрозой и не представляло опасности для автономии и свободы соседних земель.

8) Если страна вошла в состав какого-либо государства, даже если она присоединилась добровольно, отсюда никак не следует, что она обязана оставаться в его составе всегда. Никакое вечное обязательство не может быть допущено человеческой справедливостью, единственной, с которой мы считаемся, и мы никогда не признаем иных прав или иных обязанностей, кроме тех, которые основаны на свободе. Право свободного присоединения, и равно свободного отделения, есть первое и самое важное из всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией.

9) Из всего вышеизложенного следует, что Лига должна открыто осудить всякий союз той или иной национальной фракции европейской демократии с монархическими государствами, даже если бы этот союз имел целью вернуть независимость или свободу угнетенной стране: такой союз, могущий привести лишь к разочарованиям, был бы в то же время изменой делу революции.

10) В противоположность этому Лига, именно потому, что она Лига мира, и именно потому, что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, как на самой тесной и полной солидарности народов на началах справедливости и свободы, должна громко выразить свое сочувствие всякому народному бунту против любого угнетения, внешнего или внутреннего, лишь бы это был бунт во имя наших принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не амбициозное намерение основать могущественное Государство.

11) Лига будет вести беспощадную войну со всем, что называется славой, величием и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, которым были принесены в жертву миллионы людей, мы противопоставим славу человеческого разума, проявляющегося в науке, и всеобщего процветания, основанного на труде, справедливости и свободе.

12) Лига признает *национальность* как естественный факт, имеющий бесспорное право на свободное существование и свободное развитие, но не как принцип, ибо всякий принцип должен обладать всеобщностью, а национальность — это лишь отдельный, исключительный факт. Так называемый *принцип национальности*, каким он представляется в наши дни правительствами Франции, России

и Пруссии и даже многими немецкими, польскими, итальянскими и венгерскими патриотами, является лишь отвлекающим средством, которое реакция противопоставляет духу революции: принцип в высшей степени аристократический по своей сущности, вплоть до презрения к диалектам народов, не имеющих своей письменности, молчаливо отрицающий свободу провинций и реальную автономию коммун и поддерживаемый во всех странах не народными массами, чьими реальными интересами он систематически жертвует ради так называемого общего блага, которое всегда является лишь благом привилегированных классов,— этот принцип не выражает ничего другого, кроме пресловутых исторических прав и амбиций государств. Итак, право национальности всегда будет рассматриваться Лигой лишь как естественное следствие высшего принципа свободы, и оно перестанет быть правом как только окажется или против свободы, или даже просто вне свободы.

13) Единство есть цель, к которой непреодолимо стремится человечество. Но единство становится фатальным, разрушает просвещение, достоинство и процветание индивидуумов и народов всякий раз, как оно образуется вне свободы, или путем насилия, или под воздействием какой-либо теологической, метафизической, политической или даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству помимо свободы,— это плохой патриотизм. Он всегда причиняет вред интересам народа и подлинным интересам страны, которую он якобы хочет возвысить и которой хочет служить, будучи, зачастую помимо воли, другом реакции и врагом революции, т. е. освобождения народов и людей. Лига может признать лишь одно единство: то, которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое, с тем чтобы это последнее, не будучи больше отрицанием частных прав и интересов, кладбищем, где насильственно хоронят всякое местное процветание, стало, напротив, подтверждением и источником всякой автономии и процветания. Итак, Лига будет всеми силами бороться против всякой религиозной, политической, экономической и общественной организации, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни процветания, ни человечности.

Таковы, господа, по нашему и, без сомнения, также по вашему мнению, необходимое содержание и необходимые следствия великого принципа Федерализма, открыто провозглашенного Женевским конгрессом. Таковы непреложные условия мира и свободы.

Непреложные — да, но единственные ли? — Не думаем.

Штаты Юга в великой республиканской конфедерации Северной Америки были с момента провозглашения независимости республиканских Штатов преимущественно демократичными¹ и федералистскими, вплоть до желания отделиться. И все же они в последнее время вызвали осуждение защитников свободы и человечности во всем мире и своей несправедливой и святотатственной войной против республиканских Штатов Севера чуть было не разрушили и не уничтожили самую прекрасную политическую организацию из всех, когда-либо существовавших в истории. В чем причина такого странного факта? Была ли эта причина политической? Нет, она всецело *социальная*. Внутреннее политическое устройство Южных Штатов было даже во многих отношениях более совершенным, являло собой большую свободу, чем устройство Северных Штатов. Только в этом устройстве было одно черное пятно, как и в республиках древнего мира: свобода граждан была основана на насильственном труде рабов. Этого черного пятна было достаточно, чтобы прекратить всякое политическое существование этих Штатов.

Граждане и рабы — таков был антагонизм древнего мира, как и рабовладельческих государств нового мира. Граждане и рабы, т. е. принужденные работники, рабы если не по праву, то на деле, — вот антагонизм современного мира. Подобно тому как древние государства погибли от рабства, так и современные государства погибнут от пролетариата.

Напрасны старания утешиться мыслью, что это антагонизм скорее фиктивный, чем действительный, или что невозможно провести линию раздела между имущими и неимущими классами, так как эти классы переходят один в другой посредством множества промежуточных и неуловимых оттенков. В естественном мире также не

¹ Как известно, в Америке приверженцы интересов Юга против Севера, т. е. рабства против освобождения рабов, называют себя демократами.

существует линии раздела; так, например, в восходящем ряду существ невозможно указать точку, где кончается растительное и начинается животное царство, где кончается животное царство и начинается человечество. Тем не менее, существует вполне реальное различие между растением и животным, между животным и человеком. Так же точно в человеческом обществе, несмотря на промежуточные звенья, делающие незаметными переход от одного политического и социального положения к другому, различие между классами вполне определено, и всякий сумеет различить дворянскую аристократию от финансовой аристократии, крупную буржуазию от мелкой буржуазии, а эту последнюю от фабричных и городских пролетариев; так же точно, как крупного землевладельца, рантье, крестьянина-собственника, собственноручно обрабатывающего землю, фермера от простого деревенского пролетария.

Все эти различные политические и социальные реалии — сводятся в настоящее время к двум диаметрально противоположным основным категориям, естественным врагам друг для друга: *политические*¹ *классы*, состоящие, из лиц, имеющих привилегии в отношении как земли, так и капитала, или даже только буржуазного образования², и *рабочие классы*, обделенные как капиталом, так и землей, и лишенные всякого образования и воспитания.

Надо быть софистом или слепым, чтобы отрицать пропасть, разделяющую эти два класса. Подобно древнему миру, наша современная цивилизация с сравнительно небольшим числом привилегированных граждан основана на принудительном труде (к которому понуждает голод) громадного большинства населения, обреченного на невежество и грубость.

Напрасны также старания уверить себя, что эту пропасть можно уничтожить простым распространением просвещения в народных массах. Прекрасное дело основывать народные школы, но надо спросить себя, может ли человек из народа, перебивающийся изо дня в день и кормящий свою семью работой своих рук, лишенный

¹ *Привилегированные?*

² Даже за неимением имущества это буржуазное образование при той солидарности, которая связывает всех членов буржуазного мира, обеспечивает получившему его громадную привилегию в вознаграждении за труд — ибо труд самого посредственного буржуа оплачивается в три, в четыре раза дороже, чем труд самого умного рабочего.

сам образования и досуга и вынужденный убивать и отуплять себя работой, чтобы обеспечить свою семью хлебом на завтрашний день, — надо спросить себя, может ли такой человек хотя бы помышлять, желать, не говоря уж о том, чтобы иметь возможность, отправить своих детей в школу и содержать их во время обучения. Не будет ли он нуждаться в помощи их слабых рук, их детского труда, чтобы обеспечить все потребности семьи? Достаточно много будет и того, что он пойдет на жертву и отдаст детей в школу на год или на два, с трудом выкраивая им время, чтобы они могли научиться читать, писать, считать, с тем, чтобы их ум и сердце были отравлены христианским катехизисом, который умело и щедро преподносится в официальных народных школах всех стран. Сможет ли когда-нибудь это жалкое образование поднять рабочие массы до уровня буржуазного образования? Будет ли когда-нибудь заполнена пропасть?

Очевидно, что этот столь важный вопрос народного образования и воспитания зависит от решения другого, гораздо более трудного вопроса о коренном изменении нынешних экономических условий рабочих классов. — Возвысьте условия труда, отдайте труду все, что по справедливости ему принадлежит, и тем самым предоставьте народу спокойную уверенность, достаток, досуг, и тогда, поверьте, он займется своим образованием и создаст цивилизацию более широкую, здоровую, более возвышенную, чем ваша.

Напрасны и старания убедить себя вслед за экономистами, что улучшение экономического положения рабочих классов зависит от общего прогресса промышленности и торговли в каждой стране и от их полного освобождения от опеки и покровительства государств. Свобода промышленности и торговли — это, конечно, великая вещь, одна из главных основ международного союза всех народов мира. Сторонники свободы, всякой свободы, мы должны быть сторонниками и этой. Но, с другой стороны, мы должны признать, что покуда будут существовать современные государства, покуда труд будет рабом собственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную горстку буржуа в ущерб огромному большинству населения, приведет лишь к одному: еще больше расслабит и развратит малое число привилегированных, увеличит нищету, недовольство и справедливое возмущение рабо-

чих масс и тем самым приблизит час разрушения государств.

Англия, Бельгия, Франция и Германия являются, несомненно, теми европейскими странами, где торговля и промышленность пользуются сравнительно большей свободой и которые достигли самой высокой степени развития. И это именно те самые страны, где пауперизм чувствуется наиболее жестоким образом, где пропасть между собственниками и капиталистами, с одной стороны, и рабочими классами — с другой, увеличилась как ни в одной другой стране. В России, в скандинавских странах, в Италии, в Испании, где торговля и промышленность мало развиты, люди редко умирают от голода, разве только по случаю какого-либо необычайного бедствия. В Англии смерть от голода обычное явление. От голода умирают не единицы, а тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Не очевидно ли, что при том экономическом положении, которое царит в настоящее время во всем цивилизованном мире, — свобода и развитие торговли и промышленности, удивительные приложения науки к производству и даже сами машины, имеющие целью освободить работника, облегчая труд человека, — что все эти изобретения, весь этот прогресс, которым справедливо гордится цивилизованный человек, нисколько не улучшают положение рабочих классов, а наоборот, ухудшают его и делают еще более невыносимым.

Только Северная Америка является в значительной степени исключением из этого правила. Но это исключение не опровергает правило, а подтверждает его. Если рабочие там лучше оплачиваются, чем в Европе, если никто там не умирает от голода, если в то же время классовый антагонизм там еще почти не существует, если все трудящиеся — граждане и если вся масса граждан составляет именно единое целое, наконец, если хорошее начальное и даже среднее образование широко распространено там в массах, то все это следует в значительной мере приписать, конечно, тому традиционному духу свободы, который первые колонисты принесли из Англии: рожденному, испытанному, окрепшему в великой религиозной борьбе, этому принципу индивидуальной независимости и самоуправления коммун и провинций — *selfgovernment* способствовало еще то редкое обстоятельство, что, перенесенный на неосвоенные земли, он был свободен от духовного гнета прошлого и мог, таким образом, создать но-

вый мир, мир свободы. А свобода — это великая волшебница, она наделена такой удивительной творческой силой, что, вдохновляемая ею одной, Северная Америка менее чем в столетие смогла достичь, а ныне и превзойти цивилизацию Европы. Но не надо обманываться: этот удивительный прогресс и столь завидное благополучие обязаны своим существованием в огромной мере важному преимуществу, которое имеет Америка, равно как и Россия: мы хотим сказать о громадных просторах плодородной земли, которая остается необработанной за недостатком рабочих рук. По крайней мере до сих пор это великое пространственное богатство было почти бесполезно для России, ибо мы никогда не обладали свободой. Иначе обстояло дело в Северной Америке, которая благодаря свободе, подобной которой не существует больше нигде, привлекает каждый год сотни тысяч энергичных, трудолюбивых и умных колонистов и благодаря этому богатству может их принять в свое лоно. Тем самым одновременно отодвигается проблема пауперизма и момент постановки социального вопроса: рабочий, не находящий работы или недовольный заработком, который ему предоставляет капитал, всегда может, в крайности, эмигрировать на *far west**, чтобы возделывать там какую-нибудь дикую незанятую землю.

Эта возможность, всегда, за неимением лучшего, открытая для всех американских рабочих, естественно поддерживает там заработную плату на достаточной высоте и предоставляет каждому независимость, какой не знает Европа. Таково преимущество, но вот и недостаток: дешевизна промышленных продуктов зависит главным образом от дешевизны труда, и поэтому американские фабриканты в большинстве случаев не в состоянии конкурировать с европейскими фабрикантами; отсюда вытекает необходимость протекционистского тарифа для промышленности Северных Штатов. Но это привело в первую очередь к созданию массы искусственных производств и в особенности к притеснению и разорению непромышленных Южных Штатов, что заставило их стремиться к отделению; к скоплению, наконец, в таких городах, как Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон и многих других, массы рабочих пролетариев, которые постепенно начинают попадать в положение, аналогичное положению рабочих в крупных промышленных государствах Европы. — И мы действительно видим, что социальный вопрос выдвигает-

ся в Штатах Севера, подобно тому как он встал много раньше у нас.

Итак, мы вынуждены признать как общее правило, что в нашем современном мире, если и не так всецело, как в древнем мире, цивилизация малого числа основана на принудительном труде и относительном варварстве громадного большинства. Было бы несправедливо сказать, что этот привилегированный класс чужд труда; напротив, в наши дни его члены много работают, число совершенно бездеятельных заметно уменьшается, труд начинают уважать в этой среде; ибо наиболее благополучные понимают сегодня, что для того, чтобы быть на уровне современной цивилизации, для того хотя бы, чтобы быть в состоянии пользоваться своими привилегиями и сохранить их, надо много трудиться. Но между трудом зажиточных и рабочих классов та разница, что труд первых оплачивается в значительно большей пропорции, чем труд вторых, и потому оставляет привилегированным *досуг*, это наивысшее условие развития человека, как интеллектуального, так и нравственного, условие, никогда не существовавшее для рабочих классов. Кроме того, труд, которым занимаются в мире привилегированных, почти исключительно *умственный*, то есть работа воображения, памяти и мысли; между тем как труд миллионов пролетариев — это труд *физический* и зачастую, как, например, на всех фабриках, это труд, включающий в работу не всю мускульную систему человека, а развивающий лишь какую-нибудь часть ее в ущерб всем остальным, труд, совершаемый обычно в условиях, вредных для здоровья тела и препятствующих его гармоничному развитию. В этом отношении земледелец гораздо более благополучен: его натура, не испорченная душной и зачастую отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная аномальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум — почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих.

Итак, ремесленники, заводские рабочие и земледельцы образуют вместе одну и ту же категорию, категорию *физического труда*, противопоставляемую привилегированным представителям *умственного труда*. Каковы следствия этого не фиктивного, а вполне реального разделения, составляющего самую основу современного как политического, так и социального положения?

Для привилегированных представителей *умственного труда*, которые, скажем мимоходом, при нынешней организации общества призваны быть его представителями, не потому, что они самые умные, но единственно потому, что родились в привилегированном классе, — для них все блага, но также и все губительные соблазны современной цивилизации: богатство, роскошь, комфорт, благосостояние, семейные радости, исключительная политическая свобода вместе с возможностью эксплуатировать труд миллионов рабочих и управлять ими по своей воле и в своих интересах, все изобретения, все изощрения воображения и мысли... и, вместе с возможностью стать цельными людьми, все язвы человечества, испорченного привилегиями.

Что остается представителям *физического труда*, этим бесчисленным миллионам пролетариев или даже мелким земельным собственникам? Безысходная нужда, отсутствие даже семейных радостей, ибо семья для бедного вскоре становится обузой, невежество, дикость и, мы бы сказали, вынужденное почти животное состояние, с тем утешением, что они служат пьедесталом для цивилизации, свободы и разложения немногих. Но зато они сохранили свежесть ума и сердца. Воспитанные трудом, хотя бы и принудительным, они сохранили чувство справедливости, много более правильной, чем справедливость юрис-консультов и кодексов; сами несчастные, они сочувствуют всякому несчастью, они сохранили здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики, и, так как они еще не злоупотребили и даже не воспользовались жизнью, они имеют веру в жизнь.

Но, скажут нам, этот контраст, эта пропасть между малым числом привилегированных и огромным количеством обездоленных всегда существовала и теперь существует: так что же изменилось? Изменилось то, что прежде эта пропасть была заполнена религиозным туманом, так что народные массы ее не видели, а теперь, после того как Великая Революция* начала рассеивать этот туман, они тоже начинают видеть пропасть и спрашивать о ее причине. Значение этого безмерно.

С тех пор как Революция ниспослала в массы свое Евангелие, не мистическое, а рациональное, не небесное, а земное, не божественное, а человеческое, — свое Евангелие прав человека**; с тех пор как она провозгласила, что все люди равны, что все одинаково призваны к свободе и

человечности, народные массы всей Европы, всего мира начинают мало-помалу пробуждаться ото сна, который их сковывал с тех пор, как христианство усыпило их своими маковыми цветами, и начинают спрашивать себя, не имеют ли они тоже права на равенство, свободу и человечность.

Как только этот вопрос был поставлен, народ, как в силу своего удивительного здравого смысла, так и инстинкта, понял, что первым условием его действительно-го освобождения, или, если вы мне позволите это слово, его *очеловечения*, является коренная реформа экономических условий. Вопрос о хлебе правомерно является для него первым вопросом, ибо еще Аристотель заметил: человек, чтобы мыслить, чтобы чувствовать свободно, чтобы сделаться человеком, должен быть свободен от забот материальной жизни. Впрочем, буржуа, громко выступающие против материализма народа и призывающие его к идеалистическому воздержанию, знают это очень хорошо, ибо они проповедают на словах, а не на примере. Второй вопрос для народа — это досуг после работы, условие *sine qua non* человечности; но хлеб и досуг не могут быть им получены иначе как путем радикального преобразования современного устройства общества, и это объясняет, почему Революция как логическое следствие своего собственного принципа породила *социализм*.

II

СОЦИАЛИЗМ

Французская Революция, провозгласив право и обязанность каждого человеческого индивидуума сделаться человеком, пришла в своих последних выводах к бабувизму. Бабеф — один из последних энергичных и безупречных граждан, созданных Революцией, а затем уничтоженных ею в таком количестве, — которому посчастливилось иметь в числе своих друзей таких людей, как Буонарроти, соединил в своей неповторимой концепции политические традиции своего древнего отечества с новейшими идеями социальной революции. Видя, что Революция утасует за недостатком коренного преобразования, впрочем, по всей вероятности, и невозможного при экономической структуре того общества, верный, с другой

стороны, духу этой Революции, которая завершилась заменой всякой личной инициативы всемогущим действием Государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере воспитанием, образованием, средствами к существованию, развлечениями и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого, к физическому и умственному труду. Заговор Бабефа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Подхваченная его другом Буонарроти, величайшим конспиратором века, эта идея как священное сокровище была передана им новым поколениям; и благодаря тайным обществам, основанным Буонарроти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи зародились в воображении народа. Они нашли с 1830 по 1848 год талантливых выразителей в лице Кабе и Луи Блана, которые создали в окончательном виде *революционный социализм*. Другое социалистическое течение, исходящее из того же революционного источника, стремящееся к той же цели, но совершенно иными средствами, — течение, которое мы бы охотно назвали *доктринерским социализмом*, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. Сен-симонизм был истолкован, развит, переработан и утвержден в виде чуть ли не обрядовой системы, своего рода церкви, отцом Анфантенном вместе со многими друзьями, из которых большая часть стала ныне финансистами и государственными людьми, чрезвычайно преданными Империи. Фурьеризм нашел своего интерпретатора в «*Мирной демократии*» *, издававшейся до 2 декабря г. Виктором Консидераном.

Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается главным образом в глубокой, научной, строгой критике современного устройства общества, чьи чудовищные противоречия они смело раскрыли; затем в том важном факте, что эти системы яростно нападали на христианство и расшатали его во имя восстановления в своих правах материи и человеческих страстей, оклеветанных и в то же время так хорошо практикуемых христианскими священниками. Сен-симонисты хотели заменить христианство новой религией, в основе которой был мистический культ плоти,

с новой иерархией священников, новых эксплуататоров толпы своей привилегией гения, способностей и таланта. Фурьеристы, куда большие и, можно сказать, даже искренние демократы, придумали свои фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием руководителями, фаланстеры, где каждый сам себе, по мысли фурьеристов, нашел бы работу и место в соответствии с природой его страстей. Ошибки сен-симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная неправота фурьеристов заключалась, во-первых, в том, что они искренне верили, что единственно силой убеждения и мирной пропагандой они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те в конце концов сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во-вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, а priori построить социальный рай, в котором разместится будущее человечество. Они не поняли, что мы можем провозглашать какие угодно великие принципы его грядущего развития, но мы должны оставить опыту будущего практическую реализацию этих принципов.

Вообще, все социалисты, за исключением одного, до 1848 года питали общую страсть к регламентации. Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты — все были одержимы страстью поучать и устраивать будущее, все были более или менее *авторитарными*.

Но вот явился Прудон, сын крестьянина, в сто раз больший революционер и в делах, и по инстинкту, чем все эти доктринерские буржуазные социалисты; он вооружился критикой столь же глубокой и пронизательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противопоставив свободу авторитету, он в противоположность этим государственным социалистам смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист или, точнее, *позитивист*, подобно Огюсту Контю.

Социализм Прудона, основанный как на индивидуальной, так и на коллективной свободе и на спонтанной деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме как общим законам социальной экономики; законам, которые открыты или которые еще предстоит открыть науке; социализм, стоящий вне всякой правительственной регламентации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным инте-

ресам общества, должен был с течением времени прийти, в силу необходимой последовательности, к федерализму.

Таково было положение социальной науки до 1848 г. Полемика в газетах, листках и социалистических брошюрах привнесла массу новых идей в рабочие классы; они были ими насыщены, и, когда разразилась революция 1848 года, социализм заявил о себе как мощная сила.

Как мы сказали, социализм был последним детищем Великой Революции; но до его рождения она произвела на свет своего более прямого наследника, своего старшего сына, любимца Робеспьеров и Сен-Жюстов: *чистый республиканизм*, без примеси социалистических идей, перенесенный из античного мира и вдохновляемый героическими традициями великих граждан Греции и Рима. Гораздо менее человечный, чем социализм, этот республиканизм почти не принимает в расчет человека, а признает лишь гражданина; если социализм стремится основать *республику людей*, то республиканизм желает лишь *республику граждан*, хотя бы они, как это было при конституциях*, явившихся естественным и необходимым следствием конституции 1793 года (раз уж эта конституция после недолгого колебания сознательно не затронула социального вопроса), — хотя бы они в качестве *активных граждан* (если воспользоваться выражением Учредительного собрания**) основывали свое благополучие на эксплуатации труда *пассивных граждан*. Впрочем, политический республиканец сам по себе не является, или по крайней мере ему не полагается быть, эгоистом лично для себя, но он должен им быть для отечества, которое он должен ставить в своем свободном сердце выше себя самого, выше всех индивидуумов, выше всех наций в мире, выше всего человечества. Следовательно, он будет всегда игнорировать международную справедливость; во всех спорах, будет ли его отечество право или нет, он будет становиться на его сторону, он будет желать, чтобы оно всегда имело верх и подавляло другие народы своим могуществом и славой. Он сделается по естественной склонности завоевателем, несмотря на опыт веков, показывающий ему, что военные победы неизбежно должны привести к цезаризму. Республиканец-социалист ненавидит величие, могущество и военную славу государства, он предпочитает им свободу и благоденствие. Федералист во внутренней политике, он стремится и к международной конфедерации прежде всего из чувства справедливости, а также из

убеждения, что экономическая и социальная революция может осуществиться, переступив искусственные и пагубные границы государств, лишь при совместных действиях если не всех, то, по крайней мере, большей части наций, составляющих ныне цивилизованный мир, и что все нации рано или поздно должны будут к ним присоединиться. Исключительно политический республиканец — это стоик; он не признает для себя прав, а только обязанности, или, как в республике Мадзини, он признает лишь одно право: право быть самоотверженным и жертвовать собой для отечества, жить лишь для служения ему и с радостью умереть за него, как говорится в песне, которой г. Александр Дюма слишком щедро одарил жирондистов. *«Умереть за отечество — это самый прекрасный, самый завидный жребий»**. Социалист, напротив, опирается на свое позитивное право на жизнь и на все как интеллектуальные и моральные, так и физические жизненные наслаждения. Он любит жизнь, он хочет полностью ею насладиться. Так как его убеждения составляют часть его самого и его обязанности по отношению к обществу неразрывно связаны с его правами, то, оставаясь верным тем и другим, он сумеет жить, следуя справедливости, как Прудон, и, если нужно, умереть, как Бабеф; но он никогда не скажет, что жизнь человечества должна быть принесена в жертву и что смерть является самым сладким жребием. Для политического республиканца свобода лишь пустой звук; это свобода быть добровольным рабом, преданной жертвой государства; готовый всегда пожертвовать ради него собственной свободой, он легко пожертвует и свободой других. Итак, политический республиканизм обязательно приведет к деспотизму. Но для республиканца-социалиста свобода, соединенная с благоденствием и создающая всеобщую человечность посредством человечности каждого, это все, между тем как Государство является в его глазах лишь инструментом, служителем благоденствия и свободы каждого. Социалист отличается от буржуа *справедливостью*, ибо он требует для себя лишь действительный плод своего собственного труда; от чистого республиканца он отличается своим *искренним и человечным эгоизмом*, живя открыто и без громких фраз для самого себя; он знает, что, поступая *по справедливости*, он служит всему обществу, а служа всему обществу, служит самому себе. Республиканец суров и часто — от патриотизма, как священник — из-за религии, — жесток. Социалист естест-

вен, умеренно патриотичен, но зато всегда очень человечен. Одним словом, республиканца-социалиста и политического республиканца разделяет пропасть: один, *полуре-лигиозное* существо, относится к прошлому; другой, *позитивист или атеист*, принадлежит будущему.

Эта противоположность проявилась в полной мере в 1848 году. С первых часов революции республиканцы и социалисты не смогли прийти ни к какому соглашению: их идеалы, все их инстинкты влекли их в диаметрально противоположные стороны. Все время от февраля до июня* прошло в перестрелке; вызвав междоусобную войну в лагере революционеров и парализуя их силы, это естественно должно было склонить чашу весов на сторону выросшей до громадных размеров коалиции реакционеров всех оттенков, которые, гонимые страхом, объединились и образовали единую партию. В июне к ним присоединились и республиканцы, чтобы раздавить социалистов. Они полагали, что одержали победу, а на самом деле столкнули в бездну свою дорогую республику. Генерал Кавеньяк, знаменосец контрреволюции, был предвестником Наполеона III. Тогда это поняли все, если не во Франции, то всюду за ее пределами, ибо эта пагубная победа республиканцев над парижскими рабочими была отпразднована как великое торжество всеми дворами Европы, и офицеры прусской гвардии, с генералами во главе, поспешили отправить адрес с братскими поздравлениями генералу Кавеньяку.

Напуганная красным призраком, европейская буржуазия впала в полное раболепство. По природе своей она либеральна и фрондерски настроена, и потому ей не нравится военный режим, но она выбрала его перед лицом опасности народного освобождения. Пожертвовав своим достоинством и всеми своими славными завоеваниями XVIII-го и начала этого века, она полагала, по крайней мере, что покупает мир и спокойствие, необходимые для успеха ее торговых и промышленных предприятий: «Мы приносим вам в жертву свою свободу, — как бы говорила она власти военных, вновь поднявшейся из руин третьей революции, — взамен предоставьте нам возможность спокойно эксплуатировать народные массы и защитите нас от их притязаний, которые могут казаться справедливыми в теории, но которые ненавистны нам с точки зрения наших интересов». Буржуазии обещали все и даже сдержива-

ли данное ей слово. Почему же буржуазия, вся европейская буржуазия в настоящее время недовольна?

Она не рассчитала, что военный режим дорого стоит, что уже в силу своей внутренней организации он парализует, беспокоит, разоряет нации и что, более того, верный свойственной ему логике, которой он никогда не изменял, он имеет неизбежным последствием *войну*: войны династические, войны ради славы, войны завоевательные или территориальные, войны ради равновесия — постоянное уничтожение и поглощение одних государств другими, реки человеческой крови, сожжение деревень, разорение городов, опустошение целых провинций — и все это, чтобы удовлетворить честолюбие царствующих лиц и их фаворитов, чтобы их обогащать, чтобы подчинить, держать в повиновении народы и войти в историю.

Теперь буржуазия понимает это, и потому она недовольна режимом*, установлению которого она так сильно способствовала. Он ей надоед; но чем она его заменит?

Конституционная монархия отжила свое время, да она никогда и не пользовалась особым успехом на европейском континенте; даже в Англии, этой исторической колыбели современного конституционализма, ныне под сокрушительными ударами поднимающейся демократии она поколеблена, она шатается и вскоре будет уже не в состоянии сдерживать волну народных страстей и требований.

Республика? Но какая республика? Только политическая, или демократическая и социальная? Имеют ли еще народы социалистические настроения? Да, более чем когда-либо.

В 1848 году погиб не социализм вообще, а только *государственный социализм*, тот авторитарный и регламентированный социализм, который верил и надеялся, что Государство сможет полностью удовлетворить потребности и законные стремления рабочих классов, что, достигнув всемогущества, оно захочет и будет в состоянии положить начало новому общественному порядку. Итак, не социализм умер в июне, а Государство объявило себя банкротом перед социализмом и, признав себя неспособным заплатить ему долг и тем самым выполнить заключенный с ним договор, оно попробовало его убить, чтобы самым легким образом освободиться от этого долга. Убить его не удалось, но Государство убило веру, которую социализм в него питал, и тем самым уничтожило все теории

авторитарного или доктринерского социализма, из которых одни, как «Икария» Кабе или «Организация труда» г. Луи Блана*, советовали народу во всем положиться на Государство, а другие продемонстрировали свою бездейственность рядом смехотворных опытов. Даже банк Прудона**, который при более счастливом стечении обстоятельств мог бы процветать, потерпел крах, раздавленный буржуазией, проявлявшей к нему неприязнь и враждебность.

Социализм проиграл это первое сражение по очень простой причине: он был полон стремлений и отрицательных теоретических идей, тысячекратно обосновывавших его борьбу против привилегий, но у него совсем не было положительных, практических идей, необходимых для того, чтобы на развалинах буржуазной системы построить новую систему, систему народной справедливости. Рабочие, сражавшиеся в июне за освобождение народа, были объединены инстинктом, а не идеями. Те неясные идеи, которые они имели, являли собой Вавилонскую башню, хаос, из которого ничего не могло выйти. Такова была главная причина их поражения. Надо ли из-за этого сомневаться в будущем и в действительной силе социализма? Христианству, поставившему своей целью основание царства справедливости на небе, нужно было несколько столетий, чтобы одержать победу в Европе. Нужно ли удивляться, что социализм, поставивший перед собой гораздо более трудную задачу — основание царства справедливости на земле, не одержал победу в течение нескольких лет?

Господа, нужно ли доказывать, что социализм не умер? Чтобы в этом убедиться, надо лишь бросить взгляд на то, что происходит в настоящее время во всей Европе. Если отбросить все дипломатические сплетни и слухи о войне, наполняющие Европу с 1852 года, то какой серьезный вопрос, если не вопрос социальный, стоит во всех странах? Это великий незнакомец, чье приближение чувствуют все, который заставляет трепетать каждого и о котором никто не смеет говорить... Но он сам за себя говорит, и чем дальше, тем громче; не доказывают ли рабочие кооперативные ассоциации, эти банки взаимопомощи и рабочего кредита, эти тред-юнионы***, эта интернациональная лига рабочих всех стран****, все это нарастающее движение трудящихся в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Швейцарии, не доказывает ли все это,

что рабочие не отказались от своей цели, не потеряли веру в свое близкое освобождение и в то же время поняли, что для приближения часа своего освобождения они не должны более полагаться ни на государства, ни на помощь, всегда более или менее лицемерную, привилегированных классов, а рассчитывать только на самих себя и на свои собственные спонтанные ассоциации?

В большинстве европейских стран это движение, внешне по крайней мере, чуждое политике сохраняет исключительно экономический и, так сказать, частный характер. Но в Англии оно твердо стало на раскаленную землю политики и, организовавшись в громадную лигу, «Лигу Реформы», уже одержало большую победу над политически организованной привилегией аристократии и крупной буржуазии. С чисто английским терпением и последовательностью «*Reform League*» наметила себе план действий; она ничем не брезгует, не дает себя запугать и не останавливается ни перед каким препятствием. «Самое позднее через десять лет, — говорят они, — беря в расчет самые большие препятствия, мы будем иметь всеобщее избирательное право и тогда...», — тогда они совершат социальную революцию!

Во Франции, как и в Германии, социализм, молча действуя через частные экономические ассоциации, достиг уже такой силы в среде рабочих классов, что Наполеон III, с одной стороны, и граф Бисмарк, с другой, начинают искать союза с ним... В Италии и Испании, при плачевном фиаско всех политических партий и страшной нищете, всякий другой вопрос скоро затеряется в вопросе экономическом и социальном. А в России и в Польше есть ли, в сущности, другой вопрос? Это он недавно разрушил последние надежды старой, исторической, дворянской Польши. Это он угрожает существованию и разрушит эту уже сильно расшатанную страшную всероссийскую Империю. Даже в Америке не проявился ли в полной мере социализм в предложении замечательного человека, бостонского сенатора г. Чарльза Самнера наделить землей освобожденных негров из Штатов Юга?

Как видите, господа, социализм — всюду; и, несмотря на июньское поражение, он путем подпольной работы постепенно проник в самые недра политической жизни всех стран и везде дает о себе знать как скрытая сила века. Еще несколько лет, и он проявится как открытая и действенная сила.

За немногими исключениями, все народы Европы, некоторые даже не зная слова «социализм», являются сегодня социалистическими; они не признают другого знамени, кроме того, которое им возвещает прежде всего их экономическое освобождение, и в тысячу раз охотнее отступились бы от всякого другого вопроса, но не от этого. Следовательно, только через социализм можно вовлечь их в политику, в настоящую политику.

Не достаточно ли сказанного, господа, чтобы убедиться, что нам непозволительно умолчать в своей программе о социализме и что такое умолчание обрекло бы все наше дело на бессилие? Провозгласив себя в нашей программе республиканцами-федералистами, мы показали себя достаточно революционными, чтобы оттолкнуть от себя добрую часть буржуазии: ту, которая спекулирует на нищете и несчастьях народов, ухитряется извлекать выгоду даже из великих бедствий, ныне более чем когда-либо постигающих народы. Если мы отставим в сторону эту деятельную, беспокойную, интриганскую, спекулятивную часть буржуазии, то у нас еще останется большинство буржуа: спокойных, предприимчивых, причиняющих иногда зло, но скорей по необходимости, чем по доброй воле, которые ничего так не желают, как быть освобожденными от этой фатальной необходимости, ставящей их в постоянное враждебное отношение с рабочим народом и в то же время разоряющей их самих. Нельзя не отметить, что в настоящее время мелкая буржуазия, мелкая промышленность и мелкая торговля начинают бедствовать почти так же, как и рабочие классы, и если так будет продолжаться, то это достойное уважения буржуазное большинство может скоро слиться по своему экономическому положению с пролетариатом. Крупная торговля, крупная промышленность и в особенности крупная и бесчестная спекуляция давят его, пожирают, толкают в бездну. Мелкая буржуазия становится все более революционной, и ее идеи, остававшиеся долгое время реакционными, ныне, вследствие горьких уроков, начинают проявляться и обязательно разовьются в обратном направлении. Самые умные начинают понимать, что для честной буржуазии единственное спасение — в союзе с народом и что социальный вопрос касается ее в той же степени и *таким же образом*, в какой мере и как он касается народа.

Это постепенное изменение в воззрениях мелкой буржуазии Европы является фактом столь же утешитель-

ным, сколь и неоспоримым. Но не надо обманываться: инициатива нового развития будет принадлежать народу, а не ей; на Западе — фабричным и городским рабочим; у нас, в России, в Польше и в большинстве славянских стран — крестьянам. Мелкая буржуазия сделалась слишком трусливой, робкой, скептической, чтобы взять на себя какую-либо инициативу; она даст себя увлечь, но никого не повлечет за собой, ибо бедна на идеи и ей не хватает веры и страсти.

Та страсть, которая крушит препятствия и творит новые миры, есть только у народа. Итак, инициатива нового движения бесспорно будет принадлежать народу. И мы бы умолчали о народе? и мы бы ничего не сказали о социализме, новой религии народа?

Но, скажут нам, социализм проявляет склонность к союзу с цезаризмом. Во-первых, это клевета; напротив, именно цезаризм, видя на горизонте появление грозной силы социализма, стремится завоевать его симпатии, чтобы эксплуатировать их на свой манер. Но не является ли это для нас лишней причиной устремить сюда свою энергию, чтобы не допустить этого чудовищного союза, плодом которого явилось бы, конечно, самое большое бедствие, угрожающее свободе мира?

Мы должны заняться этим, даже и не принимая в расчет всех практических мотивов, ибо социализм — это *справедливость*. Говоря о справедливости, мы подразумеваем не ту, которая заключена в кодексах и в римской юриспруденции, основанных в громадной степени на фактах насилия, силою же внедренных, освященных временем и благословением какой-либо, христианской или языческой, церкви и признанных т. о. за абсолютные принципы, из которых логически следует все остальное¹, — мы говорим о справедливости, основывающейся единственно на сознании людей, на справедливости, которую вы найдете у каждого человека и даже в сознании детей и суть которой передается одним словом: *равенство*.

¹ В этом отношении юридическая наука подобна теологии: одна исходит из реального, но несправедливого факта присвоения силой, завоевания; другая — из факта фиктивного и нелепого, божественного откровения как высшего принципа. Основываясь на этой абсурдности или на этой несправедливости, обе науки прибегают к самой строгой логике, чтобы построить, с одной стороны, теологическую, с другой — юридическую систему.

Эта всеобщая справедливость, которая, однако, благодаря насильственным захватам и религиозным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без нее нет ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира! Итак, мы должны руководствоваться ею во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно способствовать установлению мира.

Эта справедливость повелевает нам взять в свои руки дело народа, с которым до сих пор столь ужасно обращались, и потребовать для него вместе с политической свободой также экономическое и социальное освобождение.

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и нравственные средства для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме:

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей работе; создать такое устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию.

Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие.

Добавим сразу, что мы решительно отклоняем всякую попытку социальной организации, которая, будучи далекой от самой полной свободы как индивидов, так и ассоциаций, требовала бы какого-нибудь регламентирующего авторитета. Во имя свободы, которую мы признаем как единственную основу и единственный законный творческий принцип всякой организации, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм.

Единственное, что, по нашему мнению, может и должно сделать государство, это начать с постепенного изменения права наследования, с тем чтобы по мере возможности упразднить его полностью. Право наследования, будучи всецело созданием государства, одним из основных условий самого существования авторитарного и божественного государства, может и должно быть уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно раствориться в обществе, свободно организованном на началах справедливости. Это право, по нашему мнению, необходимо упразднить, ибо, пока существует *наследование*, будет существовать *наследственное* экономическое неравенство — не естественное неравенство индивидуумов, а искусственное неравенство классов; а оно всегда будет непременно порождать наследственное неравенство в развитии и культуре умов и останется источником и освящением всякого политического и социального неравенства. Равенство исходного пункта в начале жизненного пути для каждого, при том, что это равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, и с тем, чтобы каждый, независимо от разницы натуры, был бы дитя своих дел, — вот в чем состоит проблема справедливости. По нашему мнению, единственным наследником умирающих должен быть общественный фонд воспитания и образования детей обоого пола, включая их содержание от рождения до совершеннолетия. Добавим, что у нас, как у славян и русских, социальной идеей, основанной на общем и традиционном для населения чувстве, является та, что земля, собственность всего народа, может быть во владении лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками.

Мы убеждены, господа, что этот принцип справедлив, что он является существенным и обязательным условием всякой серьезной социальной реформы и что поэтому Западная Европа непременно должна будет, в свою очередь, его признать и принять, несмотря на трудности, с которыми его осуществление может столкнуться в некоторых странах, например, во Франции. Там большинство крестьян уже пользуется земельной собственностью, но вскоре большая часть этих самых крестьян не будет владеть почти ничем, вследствие той раздробленности земли, которая неизбежна при политико-экономической системе, господствующей в настоящее время в этой стране. Мы ничего не предлагаем по этому вопросу, как и вообще мы

воздерживаемся от всяких предложений, касающихся проблемы социальной науки и политики, ибо мы убеждены, что все эти вопросы должны стать в нашей газете предметом серьезного и глубокого обсуждения. Итак, мы ограничиваемся сегодня тем, что предлагаем вам сделать следующую декларацию:

«Убежденная в том, что серьезное осуществление в обществе свободы, справедливости и мира невозможно до тех пор, покуда огромное большинство населения остается лишенным всех благ, образования, низведенным до политического и социального ничтожества и обреченным на фактическое, если не юридическое рабство, вследствие нищеты и необходимости работать без отдыха и досуга, производя все те богатства, которыми кичится сегодня мир, и получая столь малую их часть, что ее едва хватает для обеспечения хлеба насущного;

Убежденная в том, что для всей массы населения, с которой обращались столь ужасно в течение столетий и по сие время, вопрос хлеба является вопросом интеллектуального освобождения, свободы и человечности;

Что свобода без социализма — это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы — это рабство и животное состояние;

Лига провозглашает необходимость коренной социальной и экономической реформы, которая имеет своей целью освобождение труда народа от ига капитала и собственников на основе самой строгой справедливости, не юридической, теологической и метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе.

Она заявляет также, что страницы ее газеты будут широко открыты для всех серьезных дискуссий по экономическим и социальным вопросам, если только они будут воодушевлены искренним желанием самого полного освобождения народа как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной».

Изложив свои взгляды на Федерализм и Социализм, мы полагаем, господа, своей обязанностью рассмотреть вместе с вами еще третий вопрос, который мы считаем нераздельно связанным с двумя первыми вопросами, т. е. *религиозный вопрос*, и мы просим у вас позволения резюмировать все наши взгляды по этому вопросу в одном слове, которое покажется вам, быть может, варварским:

III

АНТИТЕОЛОГИЗМ

Господа, мы убеждены, что в мире не произошло ни одного крупного политического и социального изменения, которое бы не сопровождалось, а зачастую и не предвещалось, аналогичным движением в философских и религиозных идеях, управляющих сознанием как индивидов, так и Общества.

Все религии со своими богами всегда были только созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистой рефлексии и свободной, основанной на науке мысли; религиозное небо было лишь миражом, в котором воспламененный верой человек находил свой собственный образ, но увеличенный и перевернутый, то есть *обожествленный*.

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов — не что иное, как история развития коллективного ума и коллективного сознания людей. По мере того как они открывали в себе или вне себя какую-либо силу, способность или качество, они приписывали его своим богам, увеличив его, расширив сверх всякой меры актом своей религиозной фантазии, подобно тому, как это делают дети. Таким образом, благодаря скромности и великодушию людей, небо обогатилось плодами земли, и, естественно, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, источником, дарителем всего: реальный мир стал существовать лишь через него, и человек, его бессознательный творец, пал перед ним на колени и объявил себя творением, рабом божества.

Христианство является религией *par excellence* именно потому, что оно показывает и выражает саму природу и сущность всякой религии: систематическое и абсолютное обнищание, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества — высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как теистической, так и пантеистической. Если Бог — все, то реальный мир и человек — ничто. Если Бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, несправедливость и смерть. Если Бог — господин, то человек — раб. Неспособный сам отыскать путь справедливости и исти-

ны, он должен получить их, как откровение свыше, через посланников и избранников божьей милости. Кто возвещает откровение, тот признает глашатаев его, пророков, священников, а раз они признаны представителями божества на земле, учителями, воспитателями человечества для вечной жизни, то они получают тем самым право руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все люди обязаны абсолютно верить и беспрекословно им повиноваться; рабы Божьи, люди должны быть также рабами Церкви и, с благословения Церкви, рабами Государства. Из всех существующих или существовавших религий только христианство это целиком поняло, а из всех христианских сект только римский католицизм провозгласил и осуществил это со строгой последовательностью. Вот почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему апостольская и римская церковь является единственно последовательной, законной и божественной.

Не в обиду будь сказано всем полуфилософам, всем так называемым религиозным мыслителям: *существование Бога обязательно предполагает отречение от человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицанием человеческой свободы и неизбежно приводит не только к теоретическому, но и к практическому рабству.*

И если мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать ни малейшей уступки теологии, ибо в этом мистическом и строго последовательном алфавите всякий, начав с А, неизбежно дойдет до Я, и всякий, кто хочет поклоняться Богу, должен отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит, человек — раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, — значит, Бога нет.

Мы призываем всех выйти из этого круга, теперь выбирайте.

К тому же история показывает, что священники всех религий, за исключением преследуемых, были союзниками тирании. И даже преследуемые священники, хотя они и боролись против притеснения властей, и проклинали их, разве они не дисциплинировали своих верующих и не приготавливали тем самым элементы новой тирании? Каким бы ни было духовное рабство, оно всегда будет иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. В настоящее время христианство во всех

своих формах, вместе с вытекающей из него доктринерской и деистической метафизикой, которая в сущности не что иное, как замаскированная теология, несомненно является самым большим препятствием на пути освобождения общества. Поэтому-то все правительства, все государственные люди Европы, которые сами не являются ни метафизиками, ни теологами, ни деистами, которые в глубине души не верят ни в бога, ни в дьявола, так страстно, так неистово защищают и метафизику, и религию, какую бы то ни было религию, лишь бы она проповедовала смирение, подчинение и терпение,— что, впрочем, все религии и делают.

Неистовство, с которым они встают на защиту религий, доказывает, насколько нам необходимо бороться с ними и их уничтожить.

Нужно ли вам, господа, напоминать, как деморализуют и развращают народы религиозные влияния? Они убивают разум, это главное орудие человеческого освобождения, и сводят его к слабоумию, заполняя ум божественным абсурдом — главной основой всякого рабства. Они убивают в людях трудовую энергию, славу и спасение народа. Ведь труд есть то творческое деяние человека, коим он созидает свой мир, основание и условия своего человеческого существования и завоевывает одновременно свою свободу и свою человечность. Религия убивает в людях производительную силу, заставляя их презирать земную жизнь в ожидании небесного блаженства, представляя им труд как проклятие или заслуженное наказание, а праздность — как божественную привилегию. Религия убивает в людях справедливость, эту суровую хранительницу братства и это высшее условие мира, всегда склоняя чашу весов в сторону более сильных, избранных объектов божией заботы и милости и благословения. Наконец, она убивает в них человечность, заменяя ее в их сердцах божественною жестокостью.

Всякая религия основана на крови, ибо все религии, как известно, опираются главным образом на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве человек всегда является жертвой, а священник, тоже человек, но человек, возвышенный благодатью, — божественным палачом. Это нам объясняет, почему священники всех религий, даже самые лучшие, самые человеческие, самые добрые, почти всегда несут в глу-

бине своего сердца, и если не в сердце, то по крайней мере в уме и в воображении, — а известно, какое влияние они имеют на сердце, — нечто жестокое и кровожадное; и почему, когда повсюду обсуждался вопрос об отмене смертной казни, все священники, римско-католические, православные, московские и греческие, протестантские, все единогласно высказывались за ее сохранение!

Христианская религия более, чем всякая другая, была основана на крови и исторически крещена кровью. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви и прощения заклала ради удовлетворения жестокой мести своего Бога. Вспомните пытки, которые она выдумала и применяла. Разве ныне она сделалась более кроткой и гуманной? Нет, поколебленная равнодушием и скептицизмом, она лишь сделалась бессильной, или, скорее, гораздо менее сильной, ибо, к сожалению, она не утратила еще, даже и в настоящее время, способности творить зло. Посмотрите на страны, в которых, гальванизированная реакционными страстями, она словно воскресла: разве не остается ее первым словом — месть и кровь, ее вторым словом — отречение от человеческого разума, а ее заключением — рабство? Покуда христианство и христианские священники, покуда какая бы то ни было божеская религия будет иметь хотя бы малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы находятся во власти религиозных суеверий, они будут послушным орудием в руках всех деспотизмов, объединившихся против освобождения человечества.

Поэтому нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из-за любви к ним, но также и из-за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя средствами: *рациональной наукой* и *пропагандой социализма*.

Мы подразумеваем под *рациональной наукой* ту, которая, освободившись от всех призраков метафизики и религии, отличается и от чисто экспериментальных и критических наук прежде всего тем, что не ограничивает свои исследования тем или иным определенным предметом, а старается охватить весь доступный познанию мир, ибо ей нет дела до непознаваемого; далее, тем, что она пользуется не только и исключительно аналитическим методом, как это делают вышеупомянутые науки, но позво-

ляет себе прибегать и к синтезу, довольно часто пользуется аналогией и дедукцией, но всегда придает своим синтетическим выводам чисто гипотетическое значение, пока они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом.

Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики в том отношении, что эта последняя, выводя свои гипотезы как логические следствия из абсолютной системы, пытается заставить природу их принять, тогда как гипотезы рациональной науки, исходящие не из трансцендентной системы, а из синтеза, являющегося не чем иным, как резюме или общим выражением множества доказанных на опыте фактов, никогда не могут иметь такого императивного, обязательного характера, поскольку они всегда выдвигаются таким образом, что их можно отбросить сейчас же, как только они окажутся опровергнутыми новыми опытами.

Рациональная философия или универсальная наука не ведет себя ни аристократически, ни авторитарно, как то делала усопшая госпожа метафизика. Эта последняя, смотря всегда сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах, правда, признавала автономию и свободу частных наук, но на деле страшно их притесняла. Доходило до того, что она навязывала им законы и даже факты, которых часто нельзя было обнаружить в природе, и препятствовала проведению ими опытов, результаты которых могли бы уничтожить ее спекуляции. Как видите, метафизика действовала по методу централизованных государств.

Рациональная философия, наоборот, является совершенно демократической наукой. Она свободно строится снизу вверх, и опыт — ее единственная основа. *Она не может принять ничего, что не было бы подвергнуто действительному анализу и подтверждено опытом или самой строгой критикой.* Поэтому Бог, Бесконечное, Абсолют — все эти столь любимые метафизикой объекты — полностью из нее устраниаются. Она с равнодушием отворачивается от них, считая их призраками или миражами. Но поскольку призраки и миражи играют существенную роль в развитии человеческого духа, ибо человек обычно приходит к постижению простой истины лишь после того, как он создал и исчерпал в своем воображении все возможные иллюзии, и поскольку развитие человеческого ума является реальным предметом науки, постольку естественная философия уделяет им место, но, занимаясь ими лишь с исто-

рической точки зрения, она старается одновременно показать нам как физиологические, так и исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических идей, а также их относительную и преходящую необходимость для развития человеческого духа. Таким образом, отдав им все, на что они по справедливости имеют право, она отворачивается от них навсегда.

Ее предмет — это реальный и познаваемый мир. В глазах рационального философа в мире существует лишь одно сущее и одна наука. Поэтому он стремится охватить и согласовать все частные науки в единой системе. Эта координация всех позитивных наук в единое человеческое знание составляет *позитивную философию*, или универсальную науку. Наследуя религии и метафизике и в то же время совершенно их отрицая, эта философия, издавна предчувствуемая и подготовляемая лучшими умами, была впервые представлена в виде целостной системы великим французским мыслителем *Огюстом Контом*, который умелой и твердой рукой сделал ее первый набросок.

Координация наук, устанавливаемая позитивной философией, не является простым их рядомположением, это своего рода органическое сцепление, начинающееся с самой абстрактной науки, с той, которая занимается фактами самого простого порядка, а именно с математики, и постепенно восходящее к наукам сравнительно более конкретным, предметом которых являются все более и более сложные факты. Так, от чистой математики переходят к механике, к астрономии, потом к физике, к химии, геологии и биологии (включая сравнительную классификацию, анатомию и физиологию сначала растений, затем животных) и завершают социологией, которая охватывает всю историю человечества в развитии человеческого Существа, коллективного и индивидуального, в политической, экономической, социальной, религиозной, художественной и научной жизни. Между всеми этими следующими одна за другой науками, начиная с математики и кончая социологией, нет ни одного перерыва непрерывности. Единое Существо, единое знание и в основе всегда один и тот же метод, который лишь усложняется, по мере того как факты, с которыми он имеет дело, становятся более сложными; каждая последующая наука широко и всецело опирается на предыдущую и предстает, насколько это позволяет современное состояние наших реальных знаний, как ее необходимое развитие.

Любопытно отметить, что порядок наук, установленный Огюстом Контом, почти такой же, как в «Энциклопедии» Гегеля*, величайшего метафизика настоящих и прошлых времен, который имел счастье и славу довести развитие спекулятивной философии до ее кульминационного момента, так что, следуя своей собственной диалектике, она должна была сама себя разрушить. Но между Огюстом Контом и Гегелем есть громадное различие. Если Гегель, как истинный метафизик, спиритуализировал материю и природу, выводя их из логики, т. е. из духа, Огюст Конт, напротив, материализировал дух, основывая его единственно на материи. Именно в этом его безмерная заслуга.

Так, психология, эта столь важная наука, служившая даже фундаментом метафизики, которую спекулятивная философия рассматривала как мир чуть ли не абсолютный, спонтанный и свободный от всякого материального влияния, в системе Огюста Конта основывается единственно на физиологии и является просто ее развитием. Таким образом, то, что мы называем умом, воображением, памятью, чувством, ощущением и волей, является в наших глазах лишь различными способностями, функциями или видами деятельности человеческого тела.

С этой точки зрения, человеческий мир в его развитии и истории, который раньше рассматривался как проявление теологической, метафизической и юридико-политической идеи и который теперь мы вновь должны начать изучать, взяв за исходную точку природу, а за путеводную нить нашу собственную физиологию, предстанет перед нами в совершенно новом свете, более естественно, более широко, более человечно, с множеством выводов для будущего.

На этом пути уже предчувствуется появление новой науки, *социологии*, т. е. науки об общих законах, управляющих всем развитием человеческого общества. Социология будет последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому природному телу, повинуетя в своих изменениях и превращениях общим законам, которые, по-видимому, столь же необходимы, как и законы физического мира. Выявление этих законов из событий прошлого и массы фактов настоящего — таков должен быть предмет этой науки. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она

обещает в будущем и большую практическую пользу; ибо, подобно тому как мы можем властвовать над природой и преобразовывать ее согласно нашим возрастающим нуждам лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, мы сумеем осуществить свободу и благоденствие в социальной среде лишь с учетом естественных, постоянных законов, управляющих этой средой. Коль скоро мы признали, что пропасти, которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, вовсе не существует, мы должны рассматривать человеческое общество как тело, — правда, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, а также законам, исключительно ему свойственным. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое соблюдение этих законов необходимо для того, чтобы социальные изменения, которые мы намерены произвести, были бы действительны.

Но, с другой стороны, мы знаем, что *социология* — это наука, которая только что родилась, что она еще в поисках своих принципов, и если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и сколько-нибудь полной и самодостаточной. Что же тогда делать? Надо ли, чтобы страдающее человечество ожидало избавления от угнетающих его несчастий в продолжение еще одного столетия или более, до тех пор пока окончательно утвердившаяся позитивная социология не объявит ему, что она, наконец, в состоянии дать ему указания и инструкции, необходимые для его рационального переустройства?

Нет, тысячу раз нет! Прежде всего, чтобы ждать еще несколько столетий, надо иметь терпение... По старой привычке мы чуть было не сказали: терпение немцев — но нас остановила мысль, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в проявлении этой добродетели. Затем, даже если предположить, что у нас есть возможность и терпение ждать, то чем было бы общество, представляющее собой лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? — Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, — разве не являлся бы он

лачугой по сравнению с тем миром, который действительно существует?

Мы полны уважения к науке и считаем ее драгоценнейшим сокровищем, чистейшей славой человечества. Ею человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошлом; она дает ему возможность быть свободным. Тем не менее необходимо также признать ограниченность науки, напомнить ей, что она не есть целое, а только часть, что целое — это жизнь: универсальная жизнь миров или, дабы не потеряться в неведомом и неопределенном, жизнь нашей Солнечной системы или хотя бы нашего земного шара, наконец; говоря более узко: человеческий мир — движение, развитие, жизнь человеческого общества на Земле. Все это бесконечно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, отнюдь не является применением какой бы то ни было человеческой или божеской теории; мы сказали бы, что это — творение, если бы мы не опасались превратного толкования этого слова. Сравнивая народы, творящие собственную историю, с художниками, мы могли бы спросить: разве великие поэты ждали когда-нибудь открытия наукой законов поэтического творчества для создания своих шедевров? Разве Эсхил и Софокл не создали свои великолепные трагедии много раньше, чем Аристотель построил на основании их творений первую эстетику? Разве какая-нибудь теория вдохновляла Шекспира? А Бетховен? Не расширил ли он созданием своих симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произведение искусства, созданное по правилам самой лучшей эстетики в мире? Скажем еще раз: чем-то ничтожным. Но народы, творящие свою историю, по всей вероятности, ничуть не беднее инстинктом и творческой силой, не более зависимы от господ ученых, чем художники!

Если мы колеблемся, употребить ли слово «творение», то только из опасения, что ему придадут смысл, который мы никак не можем принять. Кто говорит о творении, говорит как будто и о творце, а мы отвергаем существование единого творца как в отношении к человеческому миру, так и к миру физическому, которые, впрочем, вместе составляют, на наш взгляд, один мир. Даже говоря о народах, творцах своей собственной истории, мы сознаем, что употребляем метафорическое выражение, неточное

сравнение. Каждый народ является коллективным существом, обладающим как физиолого-психологическими, так и политико-социальными особенностями, которые в какой-то степени индивидуализируют его, отличая от всех других народов; но никогда не индивид, единое и неделимое существо в истинном смысле слова. Как ни развито его коллективное сознание, как ни концентрировано в момент великого национального кризиса страстное, направленное на одну цель стремление, именуемое народной волей, никогда эта концентрация не сравнится с тою, что свойственна реальному индивиду. Одним словом, ни один народ, каким бы единым он себя ни чувствовал, никогда не может сказать: я хочу! Он должен всегда говорить: мы хотим. Только индивидуум имеет привычку говорить: я хочу! И если говорят от имени всего народа: он хочет! — будьте уверены, что за этим скрывается какой-нибудь узурпатор, человек это или партия.

Итак, мы не подразумеваем здесь под словом «творение» ни теологическое или метафизическое творение, ни художественное, научное, промышленное, ни какое-либо иное творение, за которым стоит индивидуум-творец. Мы подразумеваем под этим словом просто бесконечно сложный продукт бесчисленного множества самых различных причин, больших и малых, частью известных, но в подавляющем большинстве остающихся неизвестными, которые, соединившись в данный момент, конечно, не без причины, но и без заранее начертанного плана, совершенно непреднамеренно, создали данный факт.

Но в таком случае, скажут нам, история и судьбы человеческого общества должны были бы представлять собой один лишь хаос и быть игрою случая? Напротив, только с момента освобождения истории от всякого божественного и человеческого произвола, тогда и только тогда она предстает перед нами во всем величии и рациональности закономерного развития, подобно органической и физической природе, чьим непосредственным продолжением она является. Природа, несмотря на неисчерпаемое богатство и разнообразие составляющих ее существ, нисколько не представляет собой хаоса; напротив, это великолепно организованный мир, где каждая часть сохраняет, так сказать, необходимую логическую связь со всеми остальными. Но, скажут, значит, был тогда устроитель? Вовсе нет, устроитель, будь он хоть богом, мог бы лишь испортить личным произволом естественное

устройство и логическое развитие вещей, а мы видели, что во всех религиях главное свойство божества — это быть именно выше, то есть против всякой логики и всегда иметь только одну собственную логику: логику естественной невозможности, абсурдности¹. Ибо что такое логика, как не естественный ход и развитие вещей, или же естественный способ, посредством которого множество определяющих причин производит факт. Следовательно, мы можем высказать эту столь простую и в то же время столь смелую аксиому: *все естественное — логично, и все логичное — осуществлено или должно осуществиться в реальном мире, в самой природе и в ее дальнейшем развитии — естественной истории человеческого общества.*

Итак, вопрос в том, что логично и в природе, и в истории? Это не так легко определить, как может сначала показаться. Ибо, чтобы знать это в совершенстве, никогда не ошибаясь, надо обладать знанием всех причин, влияний, действий и противодействий, определяющих природу какой-либо вещи или факта, не исключая ни одной причины, хотя бы самой отдаленной или незначительной. И какая философия или наука сможет похвалиться, что она в состоянии объять все причины и исчерпать их своим анализом? Надо обладать очень скудным умом, весьма слабо сознавать бесконечное богатство реального мира, чтобы претендовать на это.

Надо ли из-за этого сомневаться в науке? Надо ли отбрасывать ее, потому что она дает нам лишь то, что может дать? Это было бы еще одним безумием, и более пагубным, чем первое. Если вы потеряете науку, то за неимением знаний возвратитесь к состоянию горилл, наших предков, и вам придется в течение еще нескольких тысяч лет повторить весь путь, пройденный человечеством при фантазмагорическом мерцании религии и метафизики, чтобы вновь прийти к свету, правда, еще несовершенно, но, по крайней мере, вполне несомненному, которым мы уже обладаем сегодня.

¹ Сказать, что Бог не против логики, значит утверждать, что он совершенно идентичен ей, что он сам — не что иное, как логика, т. е. естественный ход и развитие реальных вещей, иначе говоря, что Бога нет. Существование Бога может иметь значение лишь как отрицание естественных законов, отсюда эта неопровержимая дилемма: Бог существует, значит нет естественных законов и мир представляет собой хаос. Мир не есть хаос, он упорядочен сам по себе — значит, Бога нет.

Самой большой и решительной победой, одержанной наукой в наши дни, является, как мы уже видели, включение психологии в биологию. Наука установила, что все интеллектуальные и моральные акты, отличающие человека от всех других видов животных — мышление, деятельность человеческого разума и проявления сознательной воли — имеют своим единственным источником бесуловно более совершенную, но чисто материальную организацию человека без всякого духовного или нематериального вмешательства, одним словом, что это результат сочетания различных чисто физиологических функций мозга.

Значение этого открытия безмерно как для науки, так и для жизни. Благодаря ему становится наконец возможной наука о человеческом мире, включая антропологию, психологию, логику, мораль, социальную экономию, политику, эстетику, даже теологию и метафизику, историю, одним словом, всю социологию. Между человеческим и природным миром нет больше разрыва. Но, подобно тому как мир органический, являясь непрерывным и прямым развитием неорганического мира, существенно отличается от него наличием нового активного элемента, *органической материи*, произведенной не вмешательством некоей внеземной причины, а доныне нам неизвестными сочетаниями той же самой неорганической материи, которая, в свою очередь, на основании и в условиях этого неорганического мира, будучи его высшим результатом, производит все богатство растительной и животной жизни; точно так же человеческий мир, являясь непосредственным продолжением органического мира, существенно отличается от него новым элементом, *мыслью*, продуктом чисто физиологической деятельности мозга, производящей в то же время в этом материальном мире и в органических, и в неорганических условиях, последним резюме которых, так сказать, она является, все то, что мы называем интеллектуальным и моральным, политическим и социальным развитием человека, — историю человечества.

Для людей, мыслящих действительно логично, ум которых достиг уровня современной науки, единство Мира, или Бытия, является отныне установленным фактом. Но нельзя не признать, что этот факт, настолько простой и очевидный, что все противоречащее ему представляется нам теперь уже абсурдным, находится в явном противо-

речи со всемирным сознанием человечества, которое, несмотря на различие форм его проявления в истории, всегда единогласно высказывалось за существование двух различных миров: мира духовного и мира материального, мира божественного и мира реального. Начиная с грубых фетишистов, поклоняющихся в окружающем их мире действию сверхъестественной силы, воплощенной в некоем материальном объекте, все народы верили и доньше верят в существование какого-то божества.

Это впечатляющее единогласие имеет, по мнению многих, большее значение, чем все научные доказательства; и если логика малого числа последовательных, но одиноких мыслителей противоречит ему, тем хуже, говорят они, для этой логики, ибо единодушное согласие, всеобщее приятие какой-либо идеи всегда считалось самым убедительным доказательством ее истинности, и считалось не без основания, так как мнение всех и во все времена не может быть ошибочным. Оно должно корениться в какой-то необходимости, свойственной самой природе человечества. Но если правда, что в согласии с этой необходимостью человек испытывает безусловную потребность верить в существование какого-то бога, то в таком случае тот, кто не верит в него, является аномальным исключением, чудовищем, какова бы ни была логика, приведшая его к этому скептицизму.

Вот излюбленная аргументация теологов и метафизиков наших дней, даже прославленного Мадзини, который не может обойтись без доброго бога, чтобы основать свою аскетическую республику и заставить принять ее народные массы, чьей свободой и благоденствием он систематически жертвует ради величия идеального государства.

Таким образом, давность и всеобщность веры в бога оказываются, в противоположность всякой науке и всякой логике, неоспоримыми доказательствами существования бога. Но почему же? До времен Коперника и Галилея все, за исключением, быть может, пифагорейцев*, верили, что Солнце вращается вокруг Земли: была ли эта вера доказательством истинности данного предположения? С самого начала исторического общества и до наших дней, всегда и везде имелаась эксплуатация подневольного труда рабочих масс, рабов или наемников властвующим меньшинством. Следует ли из этого, что эксплуатация паразитами чужого труда не есть несправедливость, грабеж

или кража? Вот два примера, доказывающие, что аргументация наших современных деистов ничего не стоит.

И в самом деле, нет ничего более всеобщего и более древнего, чем абсурд, а истина, напротив, сравнительно молода, являясь всегда результатом, продуктом истории и никогда — ее началом. Ибо человек, по своему происхождению двоюродный брат, если не прямой потомок, гориллы, прошел путь от глубокой ночи животного инстинкта до света разума, что само по себе объясняет все его прошлые сумасбродства и утешает нас отчасти в его настоящих заблуждениях. Таким образом, вся история человека — не что иное, как его постепенное удаление от чистой животности путем созидания своей человечности. Отсюда следует, что древность идеи не только ничего не говорит в ее пользу, но и делает ее в наших глазах подозрительной. Что касается всеобщности заблуждения, то оно доказывает лишь одно: тождественность человеческой природы во все времена и во всех климатах. И если все народы во все эпохи верили и верят в бога, то, не поддаваясь этому, конечно, бесспорному факту, который, однако, не сможет в наших умах возобладать ни над логикой, ни над наукой, мы должны просто отсюда заключить, что идея божества, исходящая, конечно, от нас самих, является неизбежным заблуждением в процессе развития человечества. И мы должны задать себе вопрос: как и почему она родилась, почему она до сих пор необходима громадному большинству человеческого рода?

Покуда мы не будем в состоянии дать себе отчет, каким образом идея сверхъестественного, или божественного, мира появилась и должна была непременно появиться в ходе естественного исторического развития человеческого ума и человеческого общества, до тех пор, как бы ни убеждала нас наука в абсурдности этой идеи, мы никогда не сможем разрушить ее в общественном мнении, поскольку, не зная этого, мы никогда не сможем бороться с этой идеей в самых глубинах человеческого существа, где она укоренилась. Обреченные на бесплодную и бесконечную борьбу, мы должны будем довольствоваться сражением с ней на поверхности, в тысячах ее проявлений. Абсурдность ее, едва сраженная ударами здравого смысла, тотчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме, ибо покуда корень веры в бога остается неврежденным, он всегда будет давать новые ростки. Так, например, в некоторых кругах современного цивилизованного об-

щества спиритизм* стремится в настоящее время утвердиться на руинах христианства.

Более того, нам необходимо уяснить этот вопрос для себя самих, так как, сколько бы мы ни называли себя атеистами, до тех пор, пока мы не узнаем историю естественного зарождения идеи бога в человеческом обществе, мы всегда будем в той или иной степени находиться под властью отголосков этого всеобщего сознания, чья тайна, то есть естественная причина, нам так и не раскрыта. И ввиду природной слабости индивида перед лицом окружающей его социальной среды мы постоянно рискуем рано или поздно попасть в рабство религиозного абсурда. Примеры таких печальных обращений нередки в современном обществе.

Господа, мы более чем когда-либо убеждены в необходимости безотлагательно и полностью решить сейчас следующий вопрос.

Так как человек составляет со всей природой одно сущее и есть лишь материальный продукт неопределенного количества исключительно материальных причин, каким же образом могла возникнуть, утвердиться и так глубоко укорениться в человеческом сознании эта двойственность: предположение о существовании двух противоположных миров, одного духовного, другого материального, одного божественного, другого естественного?

Мы настолько убеждены, что от решения этого важного вопроса зависит наше окончательное и полное освобождение от цепей всякой религии, что просим у вас позволения изложить свои мысли по этому вопросу.

Многим покажется, пожалуй, странным, что в политическом, социалистическом сочинении обсуждаются вопросы метафизики и теологии. Но, по нашему глубочайшему убеждению, эти вопросы не могут быть отделены от проблем социализма и политики. Реакционный мир под натиском непобедимой логики становится все более религиозным. Он поддерживает в Риме папу, он преследует в России естественные науки, во всех странах свои военные, гражданские, политические и социальные беззакония он защищает именем Бога, которого, в свою очередь, он яростно защищает в церквях и в школах с помощью лицемерно религиозной, раболепной, льстивой, тягеловесно-доктринерской науки и всеми другими средствами, находящимися в распоряжении Государства. Царство божие на небесах с соответствующим ему явным или замаскированным царством кнута и узаконенной эксплуатацией труда поработченных масс на земле — таков сего-

дня религиозный, социальный, политический и вполне логичный идеал реакционных партий в Европе. По противоположной причине революция, наоборот, должна быть атеистической: исторический опыт и логика доказали, что достаточно одного господина на небе, чтобы создать тысячи господ на земле.

Наконец не является ли социализм по самой своей сущности, которая состоит в осуществлении и свершении всех человеческих судеб здесь, на земле, а не на небе, завершением и, следовательно, отрицанием всякой религии, существование которой потеряет всякий смысл, как только ее стремления будут осуществлены?

Излагая свои мысли относительно происхождения религии, мы постараемся говорить как можно более кратко и конкретно.

Не углубляясь в философские спекуляции, мы считаем возможным признать за аксиому следующее положение. *Все что существует, все существа, составляющие беспредельную совокупность Вселенной, все существующие в мире вещи, какой бы ни была их природа в качественном или количественном отношении, вещи большие, средние или бесконечно малые, близкие или бесконечно далекие, помимо воли и сознания постоянно оказывают друг на друга и каждая на всех непосредственные или опосредованные действия и противодействия, каковы, соединяясь в одно движение, составляют то, что мы называем взаимозависимостью, универсальной жизнью и причинностью.* Называйте эту взаимозависимость Богом или Абсолютом, если так вам нравится, — нам все равно, — лишь бы вы не придавали этому Богу другого значения, кроме того, о котором мы только что сказали, — значения универсального, естественного, необходимого, но отнюдь не предопределенного и не предвиденного соединения бесконечного множества частных действий и противодействий. Эту всегда подвижную и действительную взаимозависимость, эту универсальную жизнь мы всегда можем рационально предполагать, но мы никогда не сумеем охватить ее даже нашим воображением и тем более познать ее. Ибо мы можем познать лишь то, что доступно нашим чувствам, а они всегда способны уловить лишь бесконечно малую часть Вселенной. Само собой разумеется, мы принимаем эту взаимозависимость не как абсолютную и первую причину, а наоборот, как *равнодействующую*¹, постоянно производимую

¹ Так и всякий человеческий индивид есть не что иное, как равнодействующая всех причин, предшествовавших его появлению на свет, комбинированных со всеми условиями его дальнейшего развития.

и воспроизводимую одновременным действием всех частных причин, действием, которое и составляет универсальную причинность. Определив ее таким образом, мы можем теперь сказать, не опасаясь какой бы то ни было двусмысленности, что всеобщая жизнь творит миры. Это она определила геологическое, климатическое и географическое строение нашей Земли и, одев ее всем великолепием органической жизни, продолжает еще *творить* человеческий мир: общество с его прошедшим, настоящим и будущим развитием.

Теперь ясно, что в творении, понятом в этом смысле, нет места ни предшествующим ему идеям, ни предустановленным, предначертанным законам. В действительном мире сначала есть факты — результат стечения бесчисленных влияний и условий, — только потом, вместе с думающим человеком, приходит осознание этих фактов и более или менее подробное и совершенное знание того, *каким образом* они произошли; когда мы замечаем частое или постоянное повторение одного и того же явления или образа действия в каком-то порядке фактов, то мы называем его *законом природы*.

Под словом *природа* мы подразумеваем не какую-либо мистическую, пантеистическую или субстанциальную идею, а просто-напросто сумму существ, фактов и реальных способов, которые производят эти факты. Очевидно, что в природе, определенной таким образом, благодаря стечению одних и тех же условий и влияний, возможно также благодаря однажды избранному направлению потока непрерывного творчества, сделавшемуся постоянным от слишком частого повторения, очевидно, говорим мы, что в некоторых определенных порядках фактов всегда воспроизводятся одни и те же законы и только благодаря этому постоянству образа действий в природе человеческий ум смог установить и познать то, что мы называем механическими, физическими, химическими и физиологическими законами; только им объясняется чуть ли не постоянное повторение как растительных, так и животных родов, видов и разновидностей, в которых до сих пор протекало развитие органической жизни на Земле. Это постоянство и эта повторяемость совсем не абсолютны. Они всегда оставляют широкое поле для так называемых аномалий и исключений, а это совершенно неверное их обозначение, ибо факты, к которым оно относится, показывают только, что эти общие правила, принятые нами за

естественные законы, будучи не более чем абстракциями, выделенными нашим умом из действительного течения вещей, не в состоянии охватить, исчерпать, объяснить все беспредельное богатство развития. Кроме того, как это превосходно доказал Дарвин, эти так называемые аномалии, часто сочетаясь друг с другом и тем самым все больше закрепляясь, создавая, так сказать, новые привычные образы действия, новые способы воспроизводства и существования в природе, являются тем путем, следуя которому органическая жизнь порождает новые виды и разновидности. Именно так, начавшись с едва организованной простой клетки, органическая жизнь проходит через все трансформации вначале растительной, а потом животной организации и создает человека.

Останется ли человек последним и самым совершенным органическим созданием на этой земле? Кто мог бы ответить на этот вопрос и поклясться, что через несколько десятков или сотен веков от самой высшей разновидности человеческого вида не произойдет вид существ, превосходящих человека, которые будут относиться к нему так же, как он сам сейчас относится к горилле? Наше тщеславие может быть спокойно. Природа действует очень медленно, и в настоящем состоянии человечества ничто не предвещает вероятности рождения более высокого вида существ. Впрочем, разве природа не продолжает свое непосредственное дело непрерывного творения в историческом развитии человеческого мира? Не ее вина, если мы в нашем разуме отделили этот мир, человеческое общество от того, что мы называем исключительно природным миром.

Причина этого отделения — в самой природе нашего разума, который существенным образом отличает человека от животных всех других видов. Мы должны все же признать, что человек — не единственное разумное животное на земле. Напротив, сравнительная психология доказывает, что нет животного, которое было бы совершенно лишено ума, и чем ближе какой-либо вид по своей организации и в особенности по развитости своего мозга к человеку, тем более развит и значителен его ум. Но только у человека развитие разума достигает такого уровня, который может быть назван способностью мыслить, то есть комбинировать представления как о внешних, так и о внутренних предметах, данных нам чувствами, создавать из них группы, затем сравнивать и снова комбиниро-

вать эти различные группы, которые уже являются не реальными сущностями — объектами наших чувств, а понятиями, созданными в нас первым действием способности, которую мы называем рассудком; эти понятия, оставшиеся в нашей памяти, соединяются затем благодаря этой же способности и образуют то, что мы называем идеями; наконец, из всего этого человеческий разум выводит следствия или логически необходимые применения. Мы достаточно часто встречаем людей, которые, увы, еще не достигли полного осуществления этой способности, но мы никогда не видели и даже не слышали, чтобы какое-нибудь существо низшего вида обладало этой способностью, разве что приведут в пример Валаамову ослицу* и некоторых других животных, предоставляемых любой религией для веры и почитания. Итак, мы можем сказать, не опасаясь быть опровергнутыми, что из всех животных, существующих на земле, мыслит один человек.

Он один одарен этой силой абстракции, усиленной и развитой в человеческом виде вековым упражнением. Способность эта постепенно внутренне возвышает человека над всеми окружающими предметами, над всем так называемым внешним миром и даже над ним самим, индивидом, и позволяет ему задумать, создать идею тотальности Существ, Вселенной, Бесконечного или Абсолюта — идею совершенно абстрактную и, если хотите, лишенную всякого содержания. Тем не менее эта идея всесильна и является причиной всех дальнейших завоеваний человека, ибо она одна вырывает человека из пресловутого блаженства и тупой невинности животного рая и обрекает его на победы и бесконечные муки беспредельного развития...

Благодаря этой способности к абстракции человек возвышается над непосредственным давлением, которое все внешние предметы неизбежно оказывают на каждого индивида, может сравнивать одни предметы с другими и исследовать их взаимоотношения. Вот начало *анализа и экспериментальной науки*. Благодаря той же способности человек раздваивается и, отделяясь в себе от самого себя, возвышается над своими собственными побуждениями, инстинктами и различными желаниями как над преходящими и частными, что дает ему возможность сравнивать их, подобно тому, как он сравнивает внешние предметы и движения, и становиться на сторону одних против других, сообразуясь со сформировавшимся в нем (социаль-

ным) идеалом, — вот пробуждение *сознания* и того, что мы называем *волей*.

Обладает ли человек в самом деле свободной волей? И да и нет, в зависимости от того, как ее понимать. Если под свободной волей подразумевается свобода выбора, т. е. предполагаемая способность человеческого индивида спонтанно самоопределяться, самостоятельно и независимо от всякого внешнего влияния; если же, подобно тому как это делали все религии и все метафизики, с помощью так называемой свободы воли хотят вырвать человека из потока всеобщей причинности, определяющей существование всякой вещи и делающей каждую вещь зависящей от всех остальных, то нам следует только отбросить эту свободу, как бессмыслицу, ибо ничто не может существовать вне причинности.

Непрестанное действие и противодействие целого на всякую отдельную точку и всякой отдельной точки на целое составляют, как мы сказали, жизнь, общий и высший закон, тотальность миров, которая всегда есть одновременно и производящее, и производное. Вечно деятельная, всеобщая взаимозависимость, эта взаимная причинность, которую мы будем называть отныне *природой*, создала, как мы сказали, среди бесчисленного множества других миров нашу Землю, со всей лестницей ее существ, от минерала до человека. Она постоянно воспроизводит их, развивает, кормит, сохраняет, затем, когда наступает их срок, а часто и раньше, чем он наступил, она их уничтожает или, скорее, превращает в новые существа. Природа — это всемогущество, по отношению к которому не может быть никакой независимости или автономии, это высшее существо, которое охватывает и пронизывает своим непреодолимым действием бытие всех сущих, и среди живых существ нет ни одного, которое бы не несло в себе, конечно, в более или менее развитом состоянии, чувства или ощущения этого высшего влияния и этой абсолютной зависимости. Так вот, это ощущение и это чувство и составляют основу всякой религии.

Как видите, религия, подобно всему человеческому, имеет свой первоисток в животной жизни. Нельзя сказать, что какое-либо животное, за исключением человека, имеет религию, ибо самая грубая религия предполагает все-таки известную степень рефлексии, до которой еще не поднялось ни одно животное, кроме человека. Но столь же невозможно отрицать, что в существовании всех

без исключения животных имеются все составные, так сказать, материальные элементы религии, за исключением, конечно, ее идеальной стороны, той именно, которая рано или поздно ее уничтожит, — мысли. В самом деле, какова действительная сущность всякой религии? Это именно чувство абсолютной зависимости преходящего индивида от вечной и всемогущей природы.

Нам трудно обнаружить это чувство и анализировать все его проявления у животных низших видов; однако мы можем сказать, что инстинкт самосохранения, наблюдаемый в относительно простых организациях, конечно, в меньшей степени, чем в высших организациях, — это своего рода обычная мудрость, образующаяся в каждой под влиянием этого чувства, которое, как мы уже сказали, есть не что иное, как религиозное чувство. У животных, наделенных более совершенной организацией и стоящих ближе к человеку, это чувство проявляется более заметно, например, в инстинктивном и паническом страхе, охватывающем их иногда при приближении какой-нибудь крупной природной катастрофы вроде землетрясения, лесного пожара или сильной бури. Вообще можно сказать, что страх является одним из преобладающих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, пугливы, и это доказывает, что они живут в непрестанном инстинктивном страхе, что они всегда испытывают чувство опасности, т. е. ощущают присутствие всемогущего влияния, которое их преследует, пронизывает и охватывает всегда и везде. Этот страх, страх Божий, как сказали бы теологи, есть начало мудрости, т. е. религии. Но у животных он не становится религией, ибо им недостает той способности мыслить, которая фиксирует чувство, определяет его объект и превращает его в сознание, в мысль. Таким образом, совершенно справедливо утверждают, что человек по природе религиозен; он религиозен подобно всем другим животным — но он один на этой земле осознает свою религиозность.

Говорят, что религия — это первое пробуждение разума; верно, но пробуждение в неразумной форме. Религия, как мы только что видели, начинается со страха. И в самом деле, человек, пробуждаясь с первыми лучами того внутреннего солнца, которое мы называем самосознанием, и медленно, шаг за шагом выходя из гипнотического полусна, из чисто инстинктивного существования, в котором он находился в состоянии полнейшего неведе-

ния, т. е. животности, будучи к тому же рожденным, подобно всякому животному, в страхе перед внешним миром, который, правда, его производит и кормит, но который в то же время его притесняет, давит и грозит каждую минуту поглотить, — человек непременно должен был обратить свою зарождающуюся рефлексию именно на этот страх. Можно предположить, что у первобытного человека при пробуждении разума этот инстинктивный ужас должен был быть сильнее, чем у животных всех других видов. Прежде всего потому, что он рождается менее вооруженным, чем другие животные, и его детство более продолжительно; затем потому, что эта самая рефлексия, едва расцветшая и еще не достигшая достаточной степени зрелости и силы, чтобы распознавать внешние предметы и пользоваться ими, должна была тем не менее вырвать человека из единения согласия и инстинктивной гармонии с природой, в которой он находился, подобно своему двоюродному брату горилле, покуда в нем не пробудилась мысль. Так, рефлексия изолировала его от природной среды, которая, становясь, таким образом, для него чуждой, должна была являться ему сквозь призму воображения, возбужденного и расширенного под действием зарождающейся рефлексии, в виде темной и таинственной силы, гораздо более враждебной и опасной, чем она есть в действительности.

Для нас чрезвычайно трудно, если не невозможно, представить себе первые религиозные чувства и представления дикого человека. В подробностях они, без сомнения, должны были быть столь же разнообразны, сколь разнообразны были характеры первобытных народностей, которые их испытывали, а также сколь разнообразны были климатические и природные условия и все другие внешние обстоятельства и определения, в среде которых эти чувства развивались. Но так как, при всем этом, это были все же человеческие чувства и представления, то, несмотря на это великое множество особенностей, они должны были сводиться к некоторым одинаковым моментам общего характера, которые мы и постараемся определить. Каким бы ни было происхождение различных человеческих групп и расселение человеческих рас по земле, имели ли все люди родоначальником одного Адама — гориллу или двоюродного брата гориллы, или же они произошли от нескольких предков, созданных природой в различных местах и в различные эпохи, неза-

висимо друг от друга, способность, создающая и составляющая собственно человеческую природу всех людей, а именно: рефлексия, способность к абстракции, разум, мысль, одним словом, способность создавать идеи, а также законы, определяющие проявление этой способности, всегда и везде тождественны, всегда и везде одинаковы, и никакое человеческое развитие не могло бы происходить вопреки этим законам. Это дает нам право предположить, что основные фазы, отмеченные в начальном религиозном развитии одного какого-нибудь народа, должны воспроизводиться в развитии всего остального населения Земли.

Судя по единодушным отзывам путешественников, как тех, которые в прошлом столетии посетили острова Океании*, так и тех, которые в наши дни проникли в Африку, *фетишизм* должен быть самой первой религией, религией всех диких племен, которые в наименьшей степени удалились от естественного состояния. Но фетишизм — не что иное, как *религия страха*. Он является первым человеческим выражением того ощущения абсолютной зависимости, смешанного с инстинктивным ужасом, которое мы находим в основе всякой животной жизни и которое, как мы уже сказали, составляет религиозное отношение индивидов даже самых низших видов к всемогуществу природы. Кто не знает, какое влияние и впечатление производят на всех живых существ, не исключая даже растения, великие регулярные явления природы, такие, как восход и заход солнца, лунный свет, повторение времен года, чередование холода и тепла, постоянные и своеобразные воздействия океана, гор, пустынь, или же природные бедствия: бури, затмения, землетрясения, а также столь разнообразные и взаимно разрушительные отношения животных между собой и с различными видами растений — все это составляет для каждого животного совокупность условий существования, характер, природу и, мы могли бы даже сказать, особый культ, ибо у всех животных, у всех живых существ вы найдете своего рода обожание природы, смешанное со страхом и радостью, надеждой и беспокойством, очень похожее, как чувство, на человеческую религию. Здесь нет недостатка даже в поклонах и молитвах. Посмотрите на домашнюю собаку, молящую о ласке или взгляде своего хозяина; разве это не изображение человека, стоящего на коленях перед своим богом? Не переносит ли эта собака

при помощи своего воображения и даже начатков рефлексии, развитой в ней опытом, подавляющее всемогущество природы на своего хозяина, подобно тому, как верующий человек переносит его на бога? В чем же различие между религиозным чувством человека и собаки? Даже не в рефлексии, а лишь в степени рефлексии, или же в способности фиксировать и понимать это чувство как абстрактную мысль и обобщать через наименование, ибо человеческая речь имеет ту особенность, что, не будучи способной назвать действительные вещи, непосредственно действующие на наши чувства, она выражает лишь их понятие или абстрактную общность. А так как речь и мысль — это две различные, но нераздельные формы одного и того же акта человеческой рефлексии, то эта последняя, фиксируя предмет страха и обожания животного или первого естественного человеческого культа, универсализирует его, превращает в абстрактное сущее и стремится обозначить его каким-нибудь именем. Предметом действительного почитания того или иного индивидуума всегда остается *этот* камень, *этот*, а не другой, кусок дерева, но коль скоро он был словесно обозначен, он становится предметом или абстрактным понятием: камнем, куском дерева *вообще*. Так, с первым пробуждением мысли, выраженной словом, начинается собственно человеческий мир, мир абстракций.

Благодаря этой способности к абстракции, как мы уже сказали, человек, рожденный, произведенный природой, творит для себя среди природы и в самих ее условиях второе бытие, соответствующее его идеалу и развивающееся вместе с ним.

Все, что живет, добавим мы для большей ясности, стремится осуществиться во всей полноте своего существа. Человек, существо одновременно живое и мыслящее, чтобы реализовать себя, должен сначала познать самого себя. Вот причина громадного отставания, наблюдаемого нами в его развитии, и по этой причине, чтобы достигнуть современного состояния общества в самых цивилизованных странах — состояния, столь мало еще соответствующего идеалу, к которому мы ныне стремимся, — человеку потребовалось несколько сотен веков... Можно было бы сказать, что в поисках самого себя, после всех физиологических и исторических странствий, человек должен был исчерпать все возможные глупости и все возможные беды, прежде чем сумел осуществить то малое количе-

ство разумности и справедливости, что царит ныне в мире.

Последним пределом, высшей целью всего человеческого развития является *свобода*. Ж. Ж. Руссо и его ученики ошибались, ища ее в начале истории, когда человек, еще лишенный всякого самосознания и, следовательно, неспособный заключить какой бы то ни было договор, находился под игом той фатальности естественной жизни, которой подчиняются все животные и от которой человек смог в известном смысле освободиться лишь благодаря последовательному использованию разума, развивавшегося, правда, очень медленно на протяжении всей истории. Постепенно он познавал законы, управляющие внешним миром, а также законы, присущие нашей собственной природе; он их, так сказать, присваивал, превращая их в идеи — почти спонтанные создания нашего собственного мозга, — и делал так, что, *продолжая подчиняться этим законам, человек подчинялся теперь только собственным мыслям*. По сравнению с природой в этом — единственное достоинство и вся возможная свобода человека. У него никогда не будет другой, ибо законы природы неизменны, неизбежны; они являются основанием всего сущего и определяют наше бытие, так что никто не может восстать против них, не убедившись тотчас же в бессмысленности этого и не обрекая себя на верное самоубийство. Но, познавая и осваивая их своим умом, человек возвышается над непосредственной властью внешнего мира и, становясь, в свою очередь, творцом, повинаясь с этих пор лишь собственным идеям, он более или менее преобразует этот мир сообразно своим возрастающим потребностям и как бы привносит в него свой человеческий образ.

Таким образом, то, что мы называем *человеческим миром*, не имеет другого непосредственного творца, кроме человека, который создает его, отвоевывая шаг за шагом у внешнего мира и собственной животности свою свободу и человеческое достоинство. Он завоевывает их, влекомый независимой от него силой, непреодолимой и равно присущей всем живым существам. Эта сила — всеобщий поток жизни, тот самый, который мы называем всеобщей причинностью, природой и который проявляется во всех живых существах, растениях или животных как стремление каждого осуществить условия, необходимые для жизни своего вида, т. е. удовлетворить свои потребности. Это стремление, существенное и высшее проявление жизни,

составляет основу того, что мы называем *волей*. Фатальная и непреодолимая у всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно было бы даже сказать, механическая — в низших по организации, более сознательная — в высших видах, она полностью раскрывается только в человеке, который благодаря своему разуму, возвышающему его над каждым из его инстинктивных побуждений и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать свои собственные потребности, один среди всего живого на Земле обладает сознательным самоопределением, *свободной волей*.

Само собой разумеется, эта свобода человеческой воли во всеобщем потоке жизни или этой абсолютной причинности, где каждая отдельная воля — это как бы только ручеек, имеет лишь тот смысл, который ей придает рефлексия в противоположность механическому действию или даже инстинкту. Человек улавливает и понимает природную необходимость, которая, отражаясь в его мозгу, возрождается в нем посредством еще мало изученного реактивного физиологического процесса в виде логической последовательности его собственных мыслей. Это понимание дает ему, при всей его несколько не прерывающейся абсолютной зависимости, чувство самоопределения, сознательной спонтанной воли и свободы. Без полного или частичного самоубийства ни один человек никогда не освободится от своих естественных желаний, но он может их регулировать и модифицировать, стремясь все более соотносить их с тем, что в различные периоды своего интеллектуального и нравственного развития называет справедливым и прекрасным.

В сущности, основные моменты самого утонченного человеческого и самого темного животного существования суть и всегда останутся тем же самым: рождаться, развиваться и расти, работать, чтобы есть и пить, чтобы иметь кров и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в социальном равновесии своего вида, любить, размножаться, затем умирать... К этим моментам только у человека прибавляется новый: мыслить и познавать — способность и потребность, которые обнаруживаются, правда, в меньшей, но уже весьма ощутимой степени и у животных наиболее близких по организации к человеку, ибо, по-видимому, в природе не существует абсолютных качественных различий, и все качественные различия сводятся, в конце концов, к количественным.

Только у человека эти способности становятся настолько настоящими и господствующими, что мало-помалу преобразуют всю его жизнь. Как верно заметил один из величайших мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах, человек делает все, что делают животные, но только он должен делать это все более и более *человечно*¹. В этом все различие, но оно огромно¹. Оно включает в себе всю цивилизацию, со всеми чудесами промышленности, науки и искусств, со всем религиозным, эстетическим, философским, политическим, экономическим и социальным развитием человечества, — одним словом, весь мир истории. Человек создает этот исторический мир силой своей деятельности, которую вы обнаружите во всех живых существах и которая составляет самую сущность всей органической жизни и стремится ассимилировать и трансформировать внешний мир согласно потребностям каждого. Деятельности, следовательно, инстинктивной и неизбежной, предшествующей всякому мышлению, но которая, будучи озарена разумом человека и направлена его волей, преобразуется в нем и для него в *сознательный и свободный труд*.

Только посредством мысли человек приходит к сознанию своей свободы в производшей его природной среде; но только *трудом* он ее осуществляет. Мы отметили, что деятельность, составляющая труд, т. е. *медленная работа по преобразованию поверхности нашей планеты физической силой каждого живого существа* сообразно с потребностями каждого, встречается более или менее развитой на всех стадиях органической жизни. Но она начинает быть *собственно челове-*

¹ Никогда нелишне повторять это многим приверженцам современного натурализма или материализма, которые — ввиду того, что человек в наши дни обнаружил свое полное родство со всеми другими видами животных и свое непосредственное и земное происхождение, ввиду того, что он отказался от нелепых и пустых претензий спиритуализма, который под предлогом дарования ему абсолютной свободы приговаривал его к вечному рабству, — воображают, что это дает им право отбросить всякое уважение к человеку. Этих людей можно сравнить с лакеями, которые, открыв плебейское происхождение человека, заставившего себя уважать своими личными достоинствами, считают себя вправе относиться к нему как к равному по той простой причине, что в их представлении не существует другого достоинства, кроме аристократического происхождения. Иные же настолько счастливы открытием родства человека с гориллой, что хотели бы навсегда сохранить его в состоянии животного, отказываясь понять, что все историческое назначение, все достоинство и свобода человека заключаются в удалении от этого состояния.

ческим трудом только тогда, когда, направленная человеческим разумом и сознательной волей, служит удовлетворению не только строго определенных и неизменных потребностей исключительно животной жизни, но и потребностей *мыслящего существа, которое приобретает свою человечность, утверждая и осуществляя в мире свою свободу.*

Исполнение этой безмерной, бесконечной задачи является не только делом интеллектуального и нравственного развития, но также делом материального освобождения. Человек действительно становится человеком, получает возможность развиваться и внутренне совершенствоваться лишь при условии, что он порвал, хотя бы в какой-то степени, рабские цепи, налагаемые природой на всех своих детей. Цепи эти — голод, всякого рода лишения, боль, влияние климата, времен года и вообще тысячи условий животной жизни, удерживающих человеческое существо в чуть ли не абсолютной зависимости от окружающей его среды; это постоянные опасности, которые в виде природных явлений угрожают человеку и подавляют его со всех сторон: этот непрестанный страх, составляющий сущность всякого животного существования и до того подавляющий природного дикого индивида, что он не находит в себе ничего, что воспротивилось бы этому страху и победило бы его... одним словом, присутствуют все элементы самого абсолютного рабства. Первый шаг, который делает человек, чтобы освободиться от этого рабства, состоит, как мы уже сказали, в акте разумной абстракции, который, внутренне возвышая человека над окружающими вещами, позволяет ему исследовать их отношения и законы. Но вторым шагом является непременно материальный акт, определяемый волей и направляемый более или менее глубоким познанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к преобразованию этого мира сообразно своим возрастающим потребностям. Эта борьба человека, сознательного труженика, против матери-природы не является бунтом против нее или ее законов. Он использует полученное им знание этих законов лишь с целью стать сильнее и обезопасить себя от грубых нападений и случайных катастроф, а также от периодических и регулярных явлений физического мира. Только познание и самое почтительное соблюдение законов природы делает человека способным, в свою очередь, покорить ее, заставить служить его целям и превра-

тить поверхность земного шара во все более и более благоприятную для развития человечества среду.

Как видите, способность к отвлечению, источник всех наших знаний и всех наших идей, является также единственной причиной всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, являющейся не чем иным, как разумом, не приводит тотчас же к свободе. Когда она начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животной инстинктивности, то вначале она проявляется не в виде разумной рефлексии, обладающей знанием и познанием своей собственной деятельности, а в виде *рефлексии воображения* или неразумия. Она постепенно освобождает человека от природного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, только для того, чтобы тотчас же отдать его в новое рабство, в тысячу раз более суровое и ужасное — в рабство религии.

Именно воображение человека превращает естественный культ, элементы и следы которого мы находим у всех животных, в культ человеческий, в элементарной форме фетишизма. Мы обратили внимание на животных, инстинктивно поклоняющихся великим явлениям природы, действительно оказывающим непосредственное и могущественное влияние на их существование, но мы никогда не слыхали о животных, поклоняющихся безобидному куску дерева, тряпке, кости или камню. Между тем мы находим этот культ в первобытной религии дикарей и даже в католицизме. Как объяснить эту столь странную, по крайней мере на первый взгляд, аномалию, представляющую человека, с точки зрения здравого смысла и понимания действительности, стоящим гораздо более низко, чем самые скромные животные?

Эта абсурдность есть продукт воображения дикаря. Он не только чувствует, подобно другим животным, всемогущество природы, он делает его предметом своей непрерывной рефлексии, фиксирует и обобщает его посредством какого-нибудь наименования, делает его центром, вокруг которого группируются все его детские воображения. Еще неспособный охватить своей бедной мыслью Вселенную, даже земной шар и даже столь ограниченную среду, в которой он родился и живет, он повсюду ищет, где же именно находится то всемогущество, ощущение которого, теперь уже осознанное и закрепленное, преследует его. И посредством наблюдения, игры своей неразви-

той фантазии, которую нам сейчас понять трудно, он привязывает его к этому куску камня, к этой тряпке, к этому камню... таков чистый фетишизм, самая религиозная, т. е. самая абсурдная, из всех религий.

Вслед за фетишизмом и часто в одно время с ним идет культ колдунов. Это культ, если и не намного более разумный, то во всяком случае более естественный: он удивляет нас меньше чистого фетишизма, ибо мы к нему привыкли. Мы ведь еще сегодня окружены колдунами: спириты, медиумы, ясновидящие, всякие магнетизеры и даже священники римской католической, а также восточной греческой церкви, которые утверждают, что они имеют власть заставить Бога с помощью каких-то таинственных формул сойти на воду или же воплотиться в хлебе и вине. Разве все эти насильники покоренного их заклинаниями божества не колдуны? Правда, их божество, развивавшееся в течение нескольких тысячелетий, гораздо более сложно, чем божество первобытного колдовства, объектом которого является только зафиксированный, но еще не определенный образ всемогущества, без какого-либо другого интеллектуального или морального атрибута. Различие между добром и злом, справедливым и несправедливым здесь еще неизвестно; не знают, что такое божество любит и что оно ненавидит, что оно хочет и чего не хочет, оно ни доброе, ни злое — оно всемогуще и больше ничего. Однако божественный характер уже начинает вырисовываться; божество эгоистично и тщеславно, оно любит комплименты, коленопреклонение, унижение и заклятие людей, их обожание и жертвоприношения, — и оно преследует и жестоко наказывает тех, кто не хочет ему поклониться: бунтовщиков, гордецов, нечестивцев. Как известно, это основная черта божественной природы древних и современных богов, созданных человеческим неразумием. Существовало ли когда-нибудь в мире столь завистливое, тщеславное, эгоистичное, кровавое существо, как Иегова евреев или Бог-отец христиан?

В культе первобытного колдовства божество или это неопределимое всемогущество является вначале как неотделимое от личности колдуна: он сам — бог, подобно фетишу. Но с течением времени роль сверхъестественного человека, человека-бога, становится невозможной для реального человека и в особенности для дикаря, который не имеет никаких средств укрыться от нескромного любопытства верующих и остается с утра до вечера открытым

для наблюдения. Здравый смысл, практический ум дикого племени, продолжающие развиваться параллельно его религиозному воображению, доказывают ему в конце концов невозможность того, чтобы человек, доступный всем человеческим слабостям и немощам, был богом. Колдун остается для народа сверхъестественным существом, но только иногда, когда он одержим. Но чем же он одержим? Всемогуществом, богом... Значит, божество находится обычно вне колдуна. Где его искать? Фетиш, бог-вещь превзойден, как и колдун, человеко-бог. Все эти трансформации в первобытные времена могли занимать столетия. Дикарь, уже продвинувшийся в своем развитии, обогатившийся опытом и традициями многих веков, ищет теперь божество вдали от себя, но все еще среди реально существующего: в солнце, в луне, в звездах. Религиозная мысль уже начинает охватывать вселенную.

Как мы уже сказали, человек смог достигнуть этого пункта лишь по прошествии долгого ряда веков. Его способность отвлеченно мыслить, его разум развились, окрепли, изощрились в практическом познании окружающих его вещей и в наблюдении их отношений и взаимной причинности, тогда как повторяемость некоторых явлений дала ему начальное представление о законах природы. Человек начинает интересоваться совокупностью явлений и их причинами; он их разыскивает. В то же время он начинает познавать самого себя и благодаря той же способности к абстракции, которая позволяет ему внутренне подниматься мыслью над самим собою и делать себя объектом рефлексии, он начинает отделять свое материальное и жизненное существо от своего мыслящего существа, внешнее от внутреннего, свое тело от своей души. Но раз это различие открыто им и зафиксировано, то он с естественной необходимостью переносит его на своего бога и начинает искать невидимую душу этого видимого мира. Так должен был родиться религиозный пантеизм индусов.

Мы должны остановиться на этом, ибо именно здесь начинается, собственно, религия в полном смысле этого слова и вместе с ней теология и метафизика. До сих пор религиозное воображение человека, одержимое закрепившимися представлениями о всемогуществе, шло естественным образом, ища причину и источник этого всемогущества путем экспериментального исследования,

вначале в самых близких предметах, в фетишах, потом в колдунах, еще позже в значительных явлениях природы, наконец, в звездах, но всегда приписывая его какому-нибудь действительному и видимому предмету, каким бы далеким он ни был. Теперь человек предполагает существование духовного, внемирового, невидимого бога. С другой стороны, до сих пор его боги были ограниченными и обособленными существами среди множества других небожественных существ, одаренными всемогуществом, но все же реально существующими. Теперь он впервые полагает универсальное божество: Существо Существ, субстанцию и творца всех ограниченных и обособленных Существ, всеобщую душу всей Вселенной, Великое Целое. Вот начало настоящего бога и вместе с ним настоящей религии.

Мы должны теперь исследовать, каким путем человек пришел к этому результату, дабы познать по самому его историческому происхождению истинную природу божества.

Весь вопрос сводится к следующему: каким образом зарождаются в человеке представление о Вселенной и идея ее единства? Начнем с того, что у животного представление о Вселенной не может существовать, ибо это не есть предмет, непосредственно данный ему чувствами, подобно всем окружающим его реальным предметам, большим или малым, далеким или близким,— это абстрактное сущее, а потому может существовать лишь для способности к абстрактному мышлению, т. е. для одного лишь человека. Рассмотрим же, каким образом это представление формируется у человека. Человек видит себя окруженным внешними предметами: сам он, будучи живым телом, является таким предметом для собственной мысли. Все эти предметы, которые он последовательно и медленно учится познавать, находятся между собой в определенных отношениях, которые он также более или менее познает; и тем не менее, несмотря на эти отношения, сближающие их, но не соединяющие, не сливающие их в одно, предметы остаются вне друг друга. Внешний мир, таким образом, представляется человеку как бесконечное разнообразие отдельных и отличных друг от друга предметов, действий и отношений без малейшей видимости единства; это неопределенное рядоположение, но не единство. Человеческий разум наделен способностью к абстракции, которая позволяет ему, после

того как он медленно обошел и по отдельности исследовал, один за другим, множество предметов, охватить их в мгновение ока в едином представлении, соединить их в одной и той же мысли. Итак, именно мысль человека создает единство и переносит его на многообразие внешнего мира.

Отсюда следует, что это единство не является конкретным и реальным сущим, а абстрактным, созданным исключительно способностью человека к абстрактному мышлению. Мы говорим: способность к *абстракции*, ибо для того, чтобы соединить столько различных предметов в единое представление, наша мысль должна отвлечься от всего, что составляет различие между ними, т. е. от их раздельного и реального существования, и отметить лишь то, что они имеют общего; в результате, чем больше предметов объемлет мыслимое нами единство, чем больше оно возвышается и чем больше разрешается уловленное им общее составляющее его положительное определение, его содержание, — тем более абстрактным и лишенным реальности оно становится. Жизнь со всем своим преходящим изобилием и великолепием находится внизу, в разнообразии, — смерть со своей вечной и возвышенной монотонностью пребывает наверху, в единстве. Поднимитесь с помощью той же способности к абстракции все выше и выше, уйдите за пределы земного мира, охватите в одной мысли солнечный мир, представьте себе это возвышенное единство: что же вам останется для его заполнения? Дикарю было бы непросто ответить на этот вопрос! Но мы ответим за него: останется материя с тем, что мы называем силой абстракции, движущая материя с различными феноменами, такими как свет, теплота, электричество и магнетизм, которые, как это теперь доказано, являются различными проявлениями одного и того же. Но если в силу той же не знающей пределов способности к отвлечению вы подниметесь еще выше, выше Солнечной системы и соедините в своей мысли не только эти миллионы солнц, сияние которых мы видим на небосклоне, но также бесконечное множество других солнечных систем, которые мы не видим и никогда не увидим, но чье существование мы предполагаем, ибо наши мысли по той самой причине, что деятельность абстракции не знает пределов, отказывается верить, чтобы Вселенная, г. е. тотальность всех существующих миров, могла бы иметь предел или конец, — затем, опять же мысленно от-

влекаясь от отдельного существования каждого из существующих миров, если вы попытаетесь представить себе единство этого бесконечного мира — что у вас останется для его определения и заполнения? Одно слово, единственная абстракция: *неопределенное Сущее*, т. е. недвижность, пустота, абсолютное ничто — Бог.

Бог — это абсолютная абстракция, собственный продукт человеческой мысли; как сила абстракции, оставив позади все известные существа, все сущее мира, и освободившись тем самым от всякого реального содержания, превратившись уже в абсолютный мир, не узнавая себя в этой возвышенной наготе, он предстает сам перед собой *как единственное и высшее Существо*.

Нам могут возразить, что мы сами говорили на предыдущих страницах о *действительном единстве Вселенной*, определив которое как универсальную взаимозависимость или причинность, как единственное всемогущество, управляющее всем и ощущаемое в той или иной степени всеми живыми существами, теперь как будто бы отрицаем его. Но нет, мы его вовсе не отрицаем, мы лишь утверждаем, что между этим реальным всеобщим единством и идеальным единством, к которому стремится и которое создает путем абстракции религиозная и философская метафизика, нет ничего общего. Мы определили первое как беспредельную сумму вещей или, скорее, как сумму непрерывных трансформаций всех реальных сущих, их постоянных действий и противодействий, которые, соединяясь в одно движение, образуют, как мы сказали, так называемую всеобщую взаимозависимость, или причинность. Мы прибавили, что понимаем эту взаимозависимость не как абсолютную и первую причину, а напротив, как *равнодействующую*, постоянно производимую и воспроизводимую одновременным действием всех частных причин, — действием, которое и составляет собственно *универсальную причинность* — вечно творящую и творимую. Определив ее таким образом, мы можем сказать, не боясь более никакого недоразумения, что эта универсальная причинность творит миры. И хотя мы очень настойчиво прибавляли, что она это делает без какой-либо предшествующей мысли или воли, без всякого плана, без преднамеренности или предопределенности — ведь у нее нет никакого отдельного или предшествующего существования помимо непрерывной самореализации, и она есть не что иное, как абсолютная равнодействующая, — тем не менее

мы признаем теперь, что это выражение не является ни удачным, ни точным и что, несмотря на все добавленные объяснения, оно все-таки может привести к недоразумению, до того мы привыкли связывать с этим словом *творение* мысль о сознательном творце, о творце, отдельном от своего произведения. Мы должны были бы сказать, что каждый мир, каждое существо бессознательно и непроизвольно производится, рождается, развивается, живет, умирает и превращается в новое существо под всемогущим, абсолютным влиянием всеобщей взаимозависимости и, чтобы выразить нашу мысль еще более точно, мы добавим теперь, что *реальное единство Вселенной есть не что иное, как абсолютная взаимозависимость и бесконечность ее реальных превращений, ибо непрерывное изменение каждого отдельного существа составляет единственную, подлинную реальность каждого, и Вселенная — не что иное, как история без границ, без начала и без конца*. Подробностям этой истории нет конца. Человеку всегда будет дано познать бесконечно малую долю. Наше звездное небо с множеством солнц образует лишь незаметную точку в неизмеримости пространства, и хотя мы можем объять его взором, мы никогда о нем почти ничего не узнаем. Мы вынуждены удостовериться некоторым познанием нашей Солнечной системы, относительно которой мы должны предположить, что она находится в совершенной гармонии с остальной Вселенной; ибо, если бы не было этой гармонии, то или она должна была установиться, или же наша Солнечная система погибла бы. Мы уже неплохо знаем последнюю с точки зрения небесной механики и начинаем познавать ее также с точки зрения физики, химии и даже геологии. Наша наука с трудом перейдет этот предел. Если мы хотим более конкретного познания, мы должны придерживаться нашего земного шара. Мы знаем, что он возник во времени, и мы предполагаем, что через некоторое, неизвестное нам число веков он осужден на гибель, — как рождается и погибает или, скорее, трансформируется все, что существует.

Каким образом наш земной шар, бывший вначале раскаленной, газообразной, несравненно более легкой, чем воздух, материей, сгустился, охладился, сформировался, через какой нескончаемый ряд геологических изменений он должен был пройти, прежде чем на его поверхности появилось все это бесконечное богатство органической жизни, начиная с первой и самой простой клетки и кон-

чая человеком? Как он изменялся и продолжает свое развитие в историческом и социальном мире человека? Куда мы идем, влекомые высшим и фатальным законом неперестанного изменения?

Вот единственно доступные нам вопросы, единственные, которые могут и должны быть действительно охвачены, детально изучены и решены человеком. Эти вопросы, как мы уже сказали, будучи неуловимым моментом безграничного и неопределимого вопроса о Вселенной, являют, тем не менее, нашему уму истинно бесконечный мир — не в божественном, т. е. абстрактном смысле этого слова, не в смысле верховного существа, созданного религиозной абстракцией, нет, наоборот, бесконечный по богатству своих подробностей, которое никогда не смогут исчерпать никакое наблюдение и никакая наука.

И для того, чтобы познать *этот* мир, *наш* бесконечный мир, недостаточно одной абстракции. Она снова привела бы нас к Богу, к Верховному Существу, к ничто. Используя эту способность к абстракции, без которой мы бы никогда не смогли возвыситься от низшего порядка к высшему и, следовательно, никогда не смогли бы понять естественную иерархию существ, — необходимо, говорим мы, чтобы наш ум с уважением и любовью погрузился в тщательное изучение деталей и бесконечно малых подробностей, без которых нам невозможно представить себе живую реальность существ. Итак, только соединяя эти две способности, эти две на первый взгляд столь противоположаемые тенденции: абстракцию и внимательный, тщательный, терпеливый анализ всех деталей, мы сможем подняться до реального понятия о нашем *не внешне, а внутренне бесконечном мире* и составить себе хоть сколько-нибудь полное представление о *нашей собственной Вселенной* — о нашем земном шаре или, если хотите, о нашей Солнечной системе. Итак, очевидно, что если наши чувства и наше воображение и могут дать нам какой-то образ, какое-то представление, непременно в той или иной степени ложное, об этом мире, даже если они могут посредством своего рода инстинктивной догадки дать нам почувствовать тень, отдаленное подобие истины, то чистую и полную истину нам может дать только наука.

Что же представляет собой эта властная любознательность, толкающая человека к познанию окружающего мира, к постижению с неутомимой страстью секретов этой природы, чьим последним и самым совершенным созда-

нием на нашей Земле он сам является? Является ли любознательность просто роскошью, приятным времяпрепровождением или же одной из основополагающих потребностей его природы? Мы, не колеблясь, утверждаем, что из всех потребностей, присущих природе человека, это наиболее человеческая и что он действительно становится человеком, что он действительно отличается от животных всех других видов лишь благодаря этой неукротимой жажде знания. Чтобы осуществить себя во всей полноте своего бытия, человек должен, как мы сказали, себя познать, а он никогда себя действительно не познает, пока он не познает окружающую его природу, произведением которой он сам является. Если человек не хочет отказаться от своей человечности, он должен *знать*, он должен пронизывать своей мыслью весь видимый мир и без надежды достичь когда-нибудь его сущности углубляться все более и более в изучение его устройства и законов, ибо наша человечность приобретает лишь этой ценой. Ему нужно познать все низшие, предшествующие и современные ему области, все механические, физические, химические, геологические и органические изменения на всех ступенях развития растительной и животной жизни, т. е. все причины и условия его собственного рождения и существования, дабы он мог понять свою собственную природу и свое призвание на этой земле — его единственном отечестве и месте действия, — чтобы в этом мире слепой фатальности он мог основать царство свободы.

Такова задача человека: она неисчерпаема, бесконечна и вполне достаточна для удовлетворения самых честолюбивых умов и сердец. Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всеобщей изменчивости, с неведомой вечностью позади него и неведомой вечностью впереди, человек, мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое назначение, остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, освобождая, в случае необходимости поднимая на бунт окружающий его мир и помогая ему. В этом его утешение, награда, его единственный рай. Если вы спросите после этого, каково его внутреннее убеждение и последнее слово относительно реального единства Вселенной, то он вам скажет, что оно заключается в *вечном и универсальном преобразовании*, в движении без начала, без предела и конца. А это полная противоположность всякому Провидению — отрицание Бога.

Во всех религиях, поделивших между собой мир и обладающих сколько-нибудь развитой теологией, — за исключением, впрочем, буддизма, чья странная и к тому же не понятая до конца несколькими сотнями миллионов последователей доктрина устанавливает религию без Бога, — во всех системах метафизики Бог является нам как всевышнее существо, предвечно существовавшее и все предопределившее, все в себе содержащее, как мысль и воля, вдохновляющее всякое существование и предшествующее всякому существованию: источник и вечная причина всякого творения, неизменное и вечно равное самому себе существо во всеобщем движении сотворенных миров. Как мы видели, этот Бог не находится в действительной Вселенной, по крайней мере в той ее части, которая доступна человеку. Поэтому, не находя его вне самого себя, человек должен был найти его в себе самом. Каким образом он его искал? Отвлекаясь от всех живых, реальных вещей, от всех видимых, известных миров. Но мы видели, что в конце этого бесплодного путешествия человеческая способность к абстракции встречает лишь один объект: саму себя, но освобожденную от всякого содержания и лишенную всякого движения за неимением предмета, который бы можно еще превзойти, — себя как абстракцию, как абсолютно неподвижное, абсолютно пустое бытие. Мы сказали бы; абсолютное Небытие. Но религиозная фантазия говорит: Верховное Существо — Бог.

К тому же, как мы уже отметили, фантазия следует здесь примеру того различия или даже противоположения, которое делается уже достаточно развившимся мышлением между внешним человеком — телом — и его внутренним миром, заключающим в себе его мысль и волю, — человеческой душой. Естественно, не подозревая, что душа — не что иное, как продукт и последнее, постоянно обновляемое, воспроизводимое выражение человеческого организма, видя, напротив, что в повседневной жизни тело кажется всегда повинующимся внушениям мысли и воли; предполагая, следовательно, что душа есть если не творец, то, по крайней мере, хозяин тела, для которого не остается другого назначения, как служить ей и выражать ее, — религиозный человек, с того момента, как его способность к отвлечению дошла, описанным нами образом, до идеи универсального и всевышнего существа, которое, как мы доказали, является не чем иным, как этой самой способностью к абстракции, полагающей

самое себя как объект, — естественно принимает ее за душу всей вселенной — Бога.

Так впервые в истории появился истинный Бог — всемирное, вечное, неизменное существо, созданное двойным действием религиозного воображения и человеческой способности к отвлечению. Но как только Бог был таким образом познан и признан, человек, забывая или, скорее, даже не зная о своей собственной интеллектуальной деятельности, которая и создала Бога, не узнавая себя самого в своем собственном создании: в *универсальном абстрактуме*, — начал ему поклоняться. Роли тотчас же переменились: творение стало предполагаемым творцом, а настоящий творец, человек, занял место между множеством других презренных тварей как жалкая тварь, стоящая чуть выше всех прочих.

Раз Бог был признан, то постепенное и прогрессирующее развитие различных теологий естественно объясняется как отражение исторического развития человечества. Ибо с того момента, как идея сверхъестественного и всевышнего существа завладела воображением человека и укрепилась в его религиозном убеждении, — вплоть до того, что это существо кажется ему более реальным, чем действительные вещи, которые он видит и осязает руками, — она естественным и необходимым образом становится главной основой всего человеческого существования, она его изменяет, пронизывает его, оно находится в ее исключительной и абсолютной власти. Верховное существо тотчас же представляется как абсолютный господин, как мысль, воля, первоисток — как творец и устроитель всех вещей. Ничто не может более соперничать с ним и все должно исчезнуть в его присутствии: всякая истина пребывает в нем одном и каждое существо, сколь бы могущественным оно ни казалось, включая самого человека, отныне может существовать лишь с божьего соизволения. Все это, впрочем, совершенно логично, ибо в противном случае Бог не был бы всевышним, всемогущим, абсолютным существом, т. е. его вовсе бы не было.

С этих пор, естественно, человек приписывает Богу все качества, все силы, все добродетели, которые он последовательно открывает в себе или вне себя. Мы видели, что Бог, признанный верховным существом и являющийся в действительности не чем иным, как абсолютным абстрактумом, совершенно лишен всякой определенности и всякого содержания: он обнажен и ничтожен, как само

Небытие. И вот он наполняется и обогащается всеми реальностями существующего мира, будучи лишь его абстракцией; но для религиозной фантазии он — Господь и Владыка. Отсюда следует, что Бог — это неограниченный грабитель, и так как антропоморфизм составляет самую сущность всякой религии, небо, местопребывание бессмертных богов, является просто кривым зеркалом, которое посылает верующему человеку его собственное отражение в перевернутом и увеличенном виде.

Ведь действие религии заключается не только в том, что она отнимает у земли естественные богатства и силы, а у человека — его способности и добродетели, по мере того как он открывает их в ходе исторического развития и тотчас переносит на небо, делает из них божественные атрибуты или существа. Таким превращением религия коренным образом изменяет природу этих сил или качеств, она их извращает, портит, придавая им направление, диаметрально противоположное первоначальному.

Так человеческий разум, единственный орган, которым мы обладаем для познания истины, превращаясь в божественный разум, становится для нас совершенно непонятным и предстает перед верующими как откровение абсурда. Так почитание неба делается презрением к земле, а поклонение божеству — уничтожением человечества. Человеческая любовь, эта великая естественная солидарность, связующая всех индивидов, все народы, делающая счастье и свободу каждого зависимой от свободы и счастья всех других, призванная соединить рано или поздно всех людей во всеобщем братстве, несмотря на различия цвета и расы, — эта любовь, превратившись в божественную любовь и религиозное милосердие, тотчас же становится бичом человечества: вся кровь, пролитая во имя веры с самого начала истории, все эти миллионы человеческих жизней, принесенных в жертву ради вящей славы богов, свидетельствуют об этом... Наконец, сама справедливость, эта будущая мать равенства, единожды перенесенная религиозной фантазией в небесные дали и превращенная в божественную справедливость, тут же возвращается на землю в теологической форме благодати и, принимая всегда и везде сторону самых сильных, сеет с этих пор среди людей лишь насилие, привилегии, монополию и все чудовищное неравенство, освященное историческим правом.

Мы не думаем отрицать историческую необходимость религии, мы не утверждаем, что она была абсолютным злом в истории. Если она зло, то она была и, к сожалению, поныне остается для громадного большинства невежественного человечества злом неизбежным, подобно тому, как неизбежны недостатки и ошибки в развитии всякой человеческой способности. Религия, как мы уже сказали,— это первое пробуждение человеческого разума в форме божественного неразумия; это первый проблеск человеческой истины сквозь божественные покровы лжи; это первое проявление человеческой морали, справедливости и права сквозь исторические несправедности божественной благодати; наконец, это первый опыт свободы под унижительным и тягостным игом божества, игом, которое в конце концов необходимо будет свергнуть, чтобы действительно завоевать разумный разум, истинную истину, полную справедливость и действительную свободу.

При помощи религии человек-животное, выходя из животности, делает первый шаг к человечности; но покуда он останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия обрекает его на абсурд и, направляя его по ложному пути, заставляет искать божественное вместо человеческого. Религия приводит к тому, что народы, едва освободившись от природного рабства, в котором остаются животные других видов, тотчас же попадают в рабство к сильным мира сего и к кастам привилегированным, кастам, этим божеским избранникам.

Одним из главных атрибутов бессмертных богов является, как известно, звание законодателей человеческого общества, основателей государства. Человек, говорят почти все религии, был бы неспособен сам распознать, что хорошо и что плохо, справедливо и несправедливо, а потому само божество должно было так или иначе спуститься на землю, чтобы просветить человека и основать в человеческом обществе политический и социальный строй. Естественным результатом этого является непреложный вывод: все законы и всякая установленная власть освящены небом и им должно всегда и везде слепо повиноваться.

Это очень удобно для правителей и очень неудобно для управляемых, а так как мы принадлежим к последним, то мы кровно заинтересованы в более близком рассмотрении правомерности этого древнего утверждения, которое всех нас обратило в рабов, чтобы найти средство освободиться от гнета.

Вопрос теперь уже для нас чрезвычайно упростился: поскольку Бог не существует или он не что иное, как продукт нашей способности к абстракции, соединенной с религиозным чувством, доставшимся нам по наследству от животных; будучи лишь всеобщим абстрактумом, неспособным на движение и самостоятельное действие, абсолютным Небытием, воображенным как верховное существо и созданным только религиозной фантазией, абсолютно лишенным всякого содержания и обогащающимся всеми реальностями земли, возвращающим человеку в извращенном, испорченном, божественном виде то, что оно раньше у него похитило, — Бог не может быть ни добр, ни зол, ни справедлив, ни несправедлив. Он не может ничего желать, ничего устанавливать, ибо в сущности он — ничто, и он становится всем лишь благодаря религиозному легковерию. Поэтому, если это последнее нашло в нем идеи справедливости и добра, то только потому, что раньше само предоставило их ему, не подозревая об этом; веруя, что получает, оно само их давало. Но, чтобы одалживать эти идеи Богу, человек должен был их иметь! Где он нашел их? Конечно, в себе самом. Но все, что он имеет, исходит от его животности: его дух — не что иное, как толкование его животной природы. Итак, идеи справедливости и добра, подобно всему другому человеческому, должны иметь корни в самой животности человека.

И в самом деле, элементы того, что мы называем *моралью*, имеются уже в животном мире. У животных всех видов, без малейшего исключения и лишь с громадной разницей в отношении развитости, мы встречаем два противоположных инстинкта: инстинкт самосохранения Индивида и инстинкт сохранения Вида, или, говоря человеческим языком, *эгоистический инстинкт* и *социальный инстинкт*. С точки зрения науки, как и с точки зрения самой природы, эти два инстинкта равно естественны и, следовательно, законны, более того, они равно необходимы для естественной экономики существ, поскольку индивидуальный инстинкт — основное условие сохранения вида;

если бы индивиды всей своей энергией не защищались от лишений, всех внешних опасностей, постоянно угрожающих их существованию, то и сам вид, который живет лишь в индивидах и через индивидов, не мог бы сохраниться. Но если судить об этих двух стремлениях, исходя только из интересов вида, то можно было бы сказать, что социальный инстинкт хорош, а индивидуальный, поскольку он ему противоположен, дурен. У муравьев, у пчел преобладает добродетель, ибо у них социальный инстинкт, как кажется, совершенно подавляет индивидуальный инстинкт. Совершенно иное видим мы у хищных зверей, и мы не ошибемся, если скажем, что в животном мире вообще преобладает эгоизм. Инстинкт вида, наоборот, пробуждается лишь на короткий срок и длится лишь столько времени, сколько необходимо для размножения и воспитания семьи.

Иначе обстоит дело с человеком. По-видимому, и это одно из доказательств его огромного превосходства над животными всех других видов, оба противоположных инстинкта, эгоизм и общественность, у человека и гораздо сильнее, как один, так и другой, и менее делимы, чем у всех низжестоящих видов животных: в своем эгоизме он свирепее самых кровожадных зверей и в то же время — куда больший социалист, чем пчелы и муравьи.

Проявление в каком-либо животном большей силы эгоизма или индивидуальности есть несомненное доказательство сравнительно большего совершенства его организма и признак более развитого ума. Каждый вид животных конституирован как таковой особым законом, т. е. свойственным только ему способом формирования и сохранения, отличающим его от всех прочих видов. Этот закон не существует вне реальных индивидов, принадлежащих виду, которым он управляет; помимо них у него нет реальности, но он безраздельно правит ими, и они являются его рабами. У самых низших видов, являясь как способ скорее растительной, чем животной жизни, он почти совсем отделен от них, являясь чуть ли не внешним законом, которому едва определенные как таковые, индивиды повинуются, так сказать, механически. Но, по мере развития видов и их постепенного восходящего приближения к человеку, все более индивидуализируется управляющий ими специальный родовой закон; все более полно он претворяется и проявляется в каждом индивиде, приобретающем тем самым все большую опре-

деленность и отличительные признаки. Продолжая повиноваться этому закону с такой же необходимостью, как и другие, при том, что этот закон все больше проявляется в нем как его собственное индивидуальное стремление, как скорее внутренняя, чем внешняя необходимость, — несмотря на то, что эта внутренняя необходимость всегда проявляется в нем, *хотя он этого и не подозревает*, под действием множества внешних причин, — индивид чувствует себя более свободным, более независимым, способным к более самостоятельным действиям, чем индивиды низжестоящих видов. У него появляется чувство *свободы*. Мы можем сказать, что сама природа в своих прогрессивных изменениях стремится к освобождению и что уже в ее лоне бóльшая индивидуальная свобода является несомненным признаком более высокого развития. *Самым индивидуальным и самым свободным существом* в сравнении с другими животными, бесспорно, является человек.

Мы сказали, что человек — это не только самое индивидуальное из земных существ, но и самое *социальное*. Большой ошибкой со стороны Ж. Ж. Руссо было предположение, что первобытное общество основано на свободном договоре, заключенном дикарями. Но Руссо не единственный, кто это утверждает. Большинство современных юристов и публицистов из школы Канта или из всякой другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающих ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого гегельянской школой, как более или менее мистическая реализация объективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут в качестве исходного пункта, *volens volens**, *молчаливый договор*. Молчаливый договор! Т. е. договор без слов и, следовательно, без мысли и без воли — возмутительная бессмыслица! Абсурдная фикция и, что хуже, злая фикция! Недостойное надувательство! Ибо он предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии ни желать, ни думать, ни говорить, — я только тем, что покорно позволил себя оболванить, мог дать согласие на вечное рабство как свое, так и всего моего потомства!

Последствия *общественного договора* поистине пагубны, ибо они приводят к полному доминированию государства. А ведь взятый за исходный пункт принцип кажется чрезвычайно либеральным. Предполагается, что индивиды до заключения этого договора пользуются абсолютной

свободой, ибо согласно этой теории только естественный, дикий человек совершенно свободен. Мы высказали свое мнение об этой естественной свободе, которая является лишь абсолютной зависимостью человека-гориллы от постоянного давления внешнего мира. Но предположим, что человек действительно свободен в исходном пункте своей истории, зачем же тогда ему образовывать общество? Чтобы защитить себя, отвечают нам, от всех возможных вторжений внешнего мира, включая других людей, объединившихся или необъединившихся, но не принадлежащих к формирующемуся новому обществу.

Таковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой до тех пор, пока не встретятся друг с другом, пока они пребывают в полной индивидуальной изоляции. Свободе одного не нужна свобода другого, напротив, свобода каждого довольствуется сама собой, существует сама по себе и непременно предстает отрицанием свободы всех других. Все эти свободы при встрече должны друг друга ограничивать, уменьшать, противоречить одна другой и взаимно уничтожаться...

Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный или молчаливый *договор*, по которому они отказываются от своей части, чтобы обеспечить остальное. Этот договор становится фундаментом общества, а скорее, Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней существует только Государство или, лучше сказать, общество в ней полностью поглощено Государством.

Общество — это естественный способ существования совокупности людей независимо от всякого договора. Оно управляется нравами и традиционными обычаями, но никогда не руководствуется законами. Оно медленно развивается под влиянием инициативы индивидов, а не мыслью и волей законодателя. Существуют, правда, законы, управляющие обществом без его ведома, но это законы естественные, свойственные социальному телу, как физические законы присущи материальным телам. Большая часть этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим обществом с его рождения, независимо от мышления и воли составляющих его людей. Отсюда следует, что их не надо смешивать с политическими и юридическими законами, провозглашенными

какой-либо законодательной властью, которые в разбираемой нами системе считаются логическими выводами из первого договора, сознательно заключенного людьми.

Государство не является непосредственным созданием природы; оно не предшествует, как общество, пробуждению человеческой мысли; и мы попытаемся в дальнейшем показать, каким образом *религиозное сознание создает его в среде естественного общества*. По мнению либеральных публицистов, первое государство было создано свободной и сознательной волей людей; по мнению абсолютистов, это — творение божие. В обоих случаях оно стоит над обществом и стремится его полностью поглотить.

Во втором случае это само собой понятно, божественное установление обязательно должно поглотить всякое естественное устройство. Любопытнее другое — индивидуалистическая школа со своим свободным договором приходит к тому же результату. И в самом деле, эта школа начинает с отрицания самого существования естественного общества, предшествующего договору, ибо подобное общество предполагало бы естественные отношения между индивидуумами и, следовательно, *взаимное ограничение их свободы*, что противоречит абсолютной свободе, которой каждый, согласно этой теории, имеет возможность пользоваться до заключения договора. Это означало бы не более и не менее, как этот самый договор, существующий в виде естественного факта и предшествующий свободному договору. Следовательно, согласно этой системе, человеческое общество начинается лишь с заключения договора. Но что тогда представляет собой это общество? Прямое и логическое осуществление договора, со всеми его постановлениями, законодательными и практическими следствиями, — это Государство.

Рассмотрим его подробнее. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, которые приносят его члены, отказывающиеся от части своей свободы ради общего блага. Мы видели, что согласно индивидуалистической теории свобода каждого — это ограничение или естественное отрицание свободы всех других: ну так вот, это абсолютное ограничение, это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права, — это и есть Государство. Итак, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная свобода, и наоборот.

Мне возразят, что Государство, представитель общественного блага, или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить ему все остальное. Но остальное — это, если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете, — это сама сущность моей свободы, это все. В силу естественного, необходимого и непреодолимого хода вещей вся моя свобода концентрируется именно в той части, которую вы удаляете, сколь бы малой она ни была. Это история жены Синей Бороды*, которая имела в своем распоряжении весь дворец с полной свободой проникать всюду, смотреть на все и дотрагиваться до всего, за исключением маленькой комнаты, которую ее ужасный муж своей высочайшей волей запретил ей открывать под страхом смерти. И вот, презрев все величие дворца, вся ее душа сосредоточилась на этой скверной комнатенке: она открыла ее и была права, ибо это было необходимым актом ее свободы, между тем как запрещение входить туда было вопиющим нарушением свободы. Такова и история грехопадения Адама и Евы: запрещение вкушать плод с древа познания без другого мотива, кроме того, что это воля Господа, являлось со стороны Бога актом ужасного деспотизма; и если бы наши прародители послушались, весь человеческий род остался бы в самом унижительном рабстве. Их непослушание нас, напротив, освободило и спасло. На языке мифологии, это было первым актом человеческой свободы.

Но разве Государство, скажут мне, демократическое Государство, основанное на свободном голосовании всех граждан, может быть отрицанием их свободы? А почему же нет? Это целиком будет зависеть от назначения Государства и власти, которую граждане ему предоставят. Республиканское Государство, основанное на всеобщей подаче голосов, может быть очень деспотичным, даже более деспотичным, чем монархическое, если под предлогом, что оно представляет общую волю, Государство будет оказывать давление на волю и свободное развитие каждого из своих членов всей тяжестью своего коллективного могущества.

Но Государство, возразят мне, ограничивает свободу своих членов лишь постольку, поскольку эта свобода направлена к несправедливости, ко злу. Оно мешает им убивать, грабить и оскорблять друг друга и вообще делать

зло, но в то же время предоставляет им полную и всецелую свободу делать добро. Это опять все та же история Синей Бороды или запретного плода: что такое зло, что такое добро?

С точки зрения разбираемой нами системы, до заключения договора не существовало различия между добром и злом, и тогда каждый индивид пользовался своей свободой и своим абсолютным правом в полном одиночестве и нисколько не был обязан оказывать какое-либо почтение другим, разве только то, которого требовала его относительная слабость или сила, — другими словами, благоразумие и личный интерес¹. Тогда, согласно все той же теории, эгоизм был верховным законом, единственным правом, добро определялось успехом, зло — одной только неудачей, а справедливость была всего лишь узакониванием свершившегося факта, как бы он ни был ужасен, жесток и отвратителен, — совершенно так же, как в политической морали, преобладающей в настоящее время в Европе.

Различие между добром и злом, согласно этой системе, начинается лишь с заключением общественного договора. Тогда все, что было признано составляющим общий интерес, было провозглашено добром, а все ему противоположное — злом. Договаривающиеся члены, сделавшись гражданами, связав себя более или менее торжественным обязательством, тем самым наложили на себя обязанность: подчинять свои частные интересы всеобщему благу, неделимому интересу всех, и свои личные права — государственному праву, единственный представитель которого, Государство, было тем самым облечено властью подавлять всякий бунт индивидуального эгоизма, но с обязанностью защищать каждого из своих членов в не-

¹ Подобные отношения, которые, впрочем, никогда не могли существовать между первобытными людьми, ибо социальная жизнь предшествовала пробуждению индивидуального сознания и сознательной воле, а также потому, что вне общества ни один человеческий индивид никогда не мог пользоваться ни абсолютной, ни даже относительной свободой, — подобные отношения, говорим мы, совершенно тождественны с теми, которые существуют в настоящее время между современными государствами, каждое из которых считает себя облеченным свободой власти и абсолютным правом в отличие от всех других. Поэтому оно оказывает всем другим государствам лишь то внимание, которого требует его собственный интерес, и все они неизбежно находятся в постоянном состоянии скрытой или открытой войны.

прикосновенности его прав, пока эти последние не вступают в противоречие со всеобщим правом.

Теперь рассмотрим, что должно из себя представлять таким способом устроенное государство, как в его отношениях к другим, подобным ему государствам, так и в его отношениях к управляемому им населению. Это исследование представляется нам тем более интересным и полезным, что государство, — так, как оно определено здесь, — это именно современное государство, поскольку оно отделилось от религиозной идеи: это *светское, или атеистическое, государство*, провозглашенное современными публицистами. Посмотрим же, в чем состоит его мораль? Это, как мы сказали, современное государство, освободившееся из-под ига церкви и, следовательно, сбросившее иго всемирной, или космополитической, морали христианской религии и, добавим, еще не проникшееся ни гуманистической идеей, ни гуманистической моралью, что, впрочем, ему невозможно сделать, не уничтожая себя, ибо в своем отдельном от других существовании и обособленной концентрации оно слишком ограничено, чтобы быть в состоянии охватить, вместить интересы, а следовательно, и мораль всего человечества.

Современные государства достигли именно такого состояния. Христианство служит им лишь предлогом и фразой, или средством обманывать простаков, ибо они преследуют цели, не имеющие никакого отношения к религиозным чувствам. И великие государственные мужи наших дней: Пальмерстоны, Муравьевы, Кавуры, Бисмарки, Наполеоны громко бы расхохотались, если бы кто-нибудь принял всерьез их демонстрации религиозных чувств. Они бы смеялись еще больше, если бы им приписали гуманистические чувства, намерения и стремления, которые они, впрочем, не упускают случая публично назвать глупостью. Что же остается, что составляет их мораль? Единственно, государственный интерес. С этой точки зрения, которая, за очень малым исключением, была точкой зрения государственных деятелей, *сильных людей* всех времен и всех стран, все, что служит к сохранению, возвеличению и укреплению Государства, каким бы святотатством это ни было с религиозной точки зрения, как бы это ни казалось возмутительно с точки зрения человеческой морали, является *добром*, и наоборот, все, что этому противоречит, будь то в высшей степени свято или по-человече-

ски справедливо, является злом. Такова в действительности мораль и вековая практика всех государств.

Это относится и к государству, основанному на теории общественного договора. Согласно этой системе, добро и справедливость начинают существовать лишь с заключения договора и являются не чем иным, как содержанием и целью договора, т. е. *общим интересом и государственным правом* всех заключивших его индивидов, *не считая тех, кто остался вне договора*, следовательно, являются *наибольшим удовлетворением коллективного эгоизма частной и ограниченной ассоциации*, которая, будучи основана на частичном пожертвовании индивидуальным эгоизмом со стороны каждого из ее членов, отторгает от себя как посторонних и как естественных врагов огромное большинство человеческого рода, входящее или не входящее в аналогичные ассоциации.

Существование одного ограниченного государства предполагает и с необходимостью провоцирует образование других государств, ибо совершенно естественно, что индивиды, находящиеся вне первого государства, существованию и свободе которых оно угрожает, объединяются, в свою очередь, против него. И вот человечество разбивается на неопределенное число государств, чуждых, враждебных и угрожающих друг другу. Для них нет общего права, нет общественного договора, ибо в противном случае они бы перестали быть абсолютно независимыми друг от друга государствами и стали бы союзными членами одного великого Государства. Но если только это великое Государство не охватит все человечество, то против него неизбежно будут враждебно настроены другие великие федеративные по своему внутреннему устройству Государства. Война будет всегда верховным законом и необходимостью, свойственной самому существованию человечества.

Каждое государство, федеративное оно или нет по внутреннему устройству, должно стремиться под страхом гибели сделаться самым могущественным. Оно должно пожирать других, дабы самому не быть растерзанным, завоевывать, чтобы не быть завоеванным, поработать, чтобы не быть поработанным, ибо две равные, но в то же время чуждые друг другу силы не могли бы существовать, не уничтожая друг друга.

Государство — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное отрицание человечности. Оно разрывает всеобщую со-

лидарность людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человечность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая вне себя никакого права, оно логически присваивает себе право самой жестокой бесчеловечности по отношению ко всем другим народам, которых оно может по своему произволу грабить, уничтожать или порабощать. Если оно и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не из чувства долга; ибо оно имеет обязанности лишь по отношению к самому себе, а также по отношению к тем своим членам, которые его свободно образовали, которые продолжают его свободно составлять или даже, как это всегда в конце концов случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, *так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая саму основу принципа суверенности государств*, то государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к наследию других государств. Следовательно, гуманно ли оно обращается с покоренным народом, грабит ли оно его и уничтожает лишь наполовину, не низводит до последней степени рабства,— оно поступает так из политических целей и, быть может, из осторожности или из чистого великодушия, но никогда из чувства долга, ибо оно имеет абсолютное право располагать покоренным народом по своему произволу.

Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является, с точки зрения Государства, высшим долгом и самой большой добродетелью: оно называется *патриотизмом* и составляет всю *трансцендентную мораль* Государства. Мы называем ее трансцендентной моралью, потому что она обычно превосходит уровень человеческой морали и справедливости, частной или общественной, и тем самым чаще всего вступает в противоречие с ними. Например, оскорблять, угнетать, грабить, обирать, убивать или порабощать своего ближнего считается, с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. В общественной жизни, напротив, с точки зрения патриотизма, если это делается для большей славы государства, для сохранения или увеличения его могущества, то становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для

каждого гражданина-патриота; каждый должен их выполнять — и не только по отношению к иностранцам, но и по отношению к своим соотечественникам, подобным ему членам и подданным государства, — всякий раз, как того требует благо государства.

Это объясняет нам, почему с самого начала истории, т. е. с рождения государств, мир политики всегда был и продолжает быть ареной наивысшего мошенничества и разбоя — разбоя и мошенничества, к тому же высоко почитаемых, ибо они предписаны патриотизмом, трансцендентной моралью и высшим государственным интересом. Это объясняет нам, почему вся история древних и современных государств является лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры в прошлом и настоящем, во все времена и во всех странах, государственные деятели, дипломаты, бюрократы и военные, если их судить с точки зрения простой морали и человеческой справедливости, сто раз, тысячу раз заслужили виселицы или каторги; ибо нет ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничного воровства, бесстыдного грабежа и подлой измены, которые бы не были совершены, которые бы не продолжали совершаться ежедневно представителями государств без другого извинения, кроме столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: *государственный интерес!*

Поистине ужасное слово! оно развратило и обесчестило большее число лиц в официальных кругах и правящих классах общества, чем само христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает: честность, честь, справедливость, право, исчезает само сострадание, а вместе с ним логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое — черным, отвратительное — человеческим, а самые подлые предательства, самые ужасные преступления становятся достойными поступками!

Великий итальянский политический философ Макиавелли был первым, произнесшим это слово, или, по крайней мере, первым, придавшим ему его настоящее значение и огромную популярность, которою оно и доселе пользуется в мире наших правителей. Будучи реалистом и позитивистом, он первым понял, что великие и могущественные государства могут иметь своей основой и держаться только на преступлении, на множестве больших преступлений и полном презрении ко всему, что на-

зывается честностью! Он это написал, объяснил и доказал с предельной откровенностью. И так как идея человечности в его время совершенно игнорировалась; так как идея братства, не человеческого, а религиозного, проповедуемая католической церковью, была тогда, как и всегда, лишь отвратительной иронией, и церковь опровергала ее ежесекундно своими же поступками; так как в то время никому бы даже в голову не пришло, что существует какое-то народное право, — ибо народ всегда принимали за инертную и тупую массу, которой уготовано вечное послушание, на которую беспрепятственно можно налагать барщину и оброк; так как нигде, ни в Италии, ни вне ее, не было ничего, что бы было выше Государства, то Макиавелли вполне логично заключил, что Государство есть высшая цель всего человеческого существования, что надо служить ему во что бы то ни стало и что настоящий патриот не должен останавливаться, служа ему, ни перед каким преступлением, ибо интерес Государства превышает всего. Макиавелли советует совершать преступление, он предписывает его и делает его условием *sine qua non* политической мудрости и истинного патриотизма. Называется ли государство монархией или республикой, преступление равно необходимо и для его сохранения, и для его торжества. Преступление изменит, конечно, свое направление и цель, но характер его останется тот же. Это всегда будет энергичное, непрестанное поправление справедливости, сострадания и честности — ради блага Государства.

Да, Макиавелли прав, мы не можем в этом сомневаться, имея, вдобавок к его опыту, опыт трех с половиной столетий. Да, вся история говорит нам об этом: малые государства добродетельны лишь благодаря своей слабости, а могущественные государства поддерживаются лишь преступлением. Только вывод наш будет совершенно иной, чем вывод Макиавелли, и это по очень простой причине: мы — дети Революции и мы наследовали от нее Религию человечности, которую мы должны основать на руинах Религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в человеческое братство, основанное на человеческой справедливости. Одним словом, мы верим в победу человечности на Земле. Но эта победа, которой мы желаем всем сердцем и хотим ее приблизить, объединив наши усилия, эта победа, будучи по своей природе отрицанием преступления,

собственно, отрицанием человечности, может осуществиться, лишь когда преступление перестанет быть тем, чем оно является в настоящее время почти повсюду: *самой основной политического существования наций, поглощенных, порабощенных идей Государства*. И так как теперь уже доказано, что никакое государство не может существовать, не совершая преступлений или, по крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая, как их исполнить, когда оно бесильно их совершить, мы в настоящее время приходим к выводу о *безусловной необходимости уничтожения государств*. Или, если хотите, их полного и коренного переустройства в том смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какого-нибудь принципа, и, напротив, реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей объединяться или не объединяться и с постоянным сохранением для каждой части свободы выхода из этого объединения, даже если бы она вошла в него по доброй воле; реорганизовались бы согласно действительным потребностям и естественным стремлениям всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, округов, провинций и наций в единое человечество.

Таковы выводы, к которым нас неизбежно приводит исследование внешних отношений даже так называемого свободного государства с другими государствами. В дальнейшем мы увидим, что государство, основывающееся на божественном праве или религиозной санкции, приходит совершенно к тем же результатам. Рассмотрим теперь отношение государства, основанного на свободном договоре, к своим собственным гражданам или подданным.

Мы убедились, что исключая огромное большинство человеческого рода, ставя его вне сферы взаимных обещаний и обязанностей, связанных с моралью, справедливостью и правом, государство отрицает человечность и, посредством великого слова *Патриотизм*, принуждает своих подданных к несправедливости и жестокости, как к высшему долгу. Оно ограничивает, обрубает, убивает в них человечность, дабы, перестав быть людьми, они были бы только гражданами или, с точки зрения исторической последовательности фактов, справедливей сказать, чтобы они не переросли уровень гражданина, не достигли высоты человека. Кроме того, мы увидели, что всякое государство, под страхом гибели и поглощения соседними

государствами, должно стремиться к всемогуществу, а став могущественным, оно должно завоевывать. Кто говорит о завоевании, говорит о завоеванных, угнетенных, обращенных в рабство народах, какую бы форму это ни имело и как бы ни называлось. Итак, рабство является необходимым следствием существования государства.

Рабство может менять форму и название, но суть его остается прежней. Эта суть выражается в следующих словах: *быть рабом — значит быть принужденным работать для другого, так же как быть господином — значит жить за счет труда другого*. В древнем мире, подобно тому, как теперь в Азии, в Африке и даже еще в части Америки, рабы прямо назывались рабами. В средние века они получили имя крепостных, в настоящее время их называют *наемными работниками*. Положение последних гораздо более достойно и менее тяжко, чем положение рабов, но, тем не менее, они все же принуждены голодом, а также политическими и общественными институтами поддерживать своим тяжким трудом абсолютное или относительное безделье других. Следовательно, они рабы. И вообще ни одно древнее или современное государство никогда не могло обойтись без принудительного труда наемных или порабощенных масс как главного и неперемennого условия досуга, свободы и цивилизации политического класса — *граждан*. В этом отношении даже Соединенные Штаты Северной Америки не составляют исключения.

Таковы внутренние условия государства, которые обязательно следуют из его внешнего положения, т. е. из его естественной, постоянной и неизбежной враждебности по отношению ко всем другим государствам. Посмотрим теперь, каковы условия, непосредственно вытекающие для граждан из свободного договора, на котором они основывают государство.

Назначение государства не ограничивается обеспечением защиты своих членов от всех внешних нападений, оно должно еще во внутренней жизни защищать их друг от друга и *каждого — от самого себя*. Ибо государство, — и это его характерная и основная черта, — всякое государство, как и всякая теология, основывается на предположении, что человек, в сущности, зол и плох. В рассматриваемом нами государстве *добро*, как мы видели, начинается лишь с заключения общественного договора и является, следовательно, не чем иным, как порождением этого договора, самым его содержанием. Оно не является порождением

свободы. Напротив, покуда люди остаются изолированными друг от друга в своей абсолютной индивидуальности, пользуясь всей своей естественной свободой, не знающей других границ, кроме границ возможности, а не права, они признают только один закон, закон природного эгоизма: они оскорбляют, истязают и обкрадывают, убивают и пожирают друг друга, каждый в меру своего ума, хитрости, материальных возможностей, подобно тому, как поступают, что мы и видели, в настоящее время государства. Таким образом, человеческая свобода рождает не *добро*, а *зло*, человек по природе дурен. Каким образом он стал плохим? Объяснить это — дело теологии. Факт тот, что государство при своем рождении находит человека уже дурным и берется сделать его хорошим, т. е. превратить естественного человека в гражданина.

На это можно было бы заметить, что, поскольку государство является продуктом свободно заключенного людьми договора, а добро является произведением государства, то, следовательно, оно — произведение свободы! Подобный вывод совершенно неверен. Само государство, по этой теории, является не произведением свободы, а, наоборот, добровольным жертвованием и отречением от нее. Люди в естественном состоянии совершенно свободны с точки зрения *права*, но на деле они подвержены всем опасностям, которые каждую минуту угрожают их жизни и безопасности. Чтобы обеспечить и сохранить эту безопасность, они жертвуют, они отрекаются от большей или меньшей части своей свободы, и поскольку они жертвуют ею ради своей безопасности, поскольку становятся гражданами, они делаются *рабами государства*. Поэтому мы вправе утверждать, что, с точки зрения государства, *добро рождается не из свободы, а, наоборот, из отрицания свободы*.

Не знаменательно ли это сходство между теологией — этой наукой церкви, и политикой — этой теорией государства, и то, что два внешне столь различных порядка мысли и фактов приходят к одному и тому же убеждению: *о необходимости пожертвовать человеческой свободой, чтобы сделать людей нравственными и превратить их согласно церкви — в святых, согласно государству — в добродетельных граждан*. Что касается до нас, то мы нисколько не удивлены, ибо мы убеждены и стараемся ниже это доказать, что политика и теология две сестры, имеющие одно происхождение и преследующие одну цель, хотя и под разными названиями; что всякое государство является земной цер-

ковью, подобно тому, как всякая церковь, в свою очередь, со своими небесами — местопребыванием блаженных и бессмертных богов, является не чем иным, как небесным государством.

Итак, государство, как и церковь, исходит из той основной посылки, что люди по своей сущности дурны и что, предоставленные своей естественной свободе, они бы растерзали друг друга и явили зрелище самой ужасной анархии, где сильные убивали бы или эксплуатировали слабых. Не правда ли, это было бы нечто совершенно противоположное тому, что происходит в настоящее время в наших образцовых государствах*? Государство возводит в принцип положение, что для того, чтобы установить общественный порядок, необходим верховный авторитет; чтобы управлять людьми и подавлять их дурные страсти, необходимы вождь и узда; но что этот авторитет должен принадлежать человеку гениальному и добродетельному¹, законодателю своего народа, как Моисей, Ликург и Солон, — и что тогда этот вождь и эта узда будут воплощать в себе мудрость и карающую мощь Государства.

Во имя логики мы вполне могли бы придраться к слову «законодатель», ибо в рассматриваемой нами системе речь идет не о кодексе законов, предписанном каким-нибудь авторитетом, а о взаимном обязательстве, свободно принятом свободными основателями государства. И так как эти основатели, согласно разбираемой системе, были не более и не менее, как дикарями, которые до тех пор жили в самой полной естественной свободе и, следовательно, должны были бы не знать различия между добром и злом, мы могли бы спросить: каким образом они вдруг сумели их различить и отделить друг от друга? Правда, нам могут возразить, что, поскольку дикари заключили вначале между собой договор с единственной целью обеспечить их общую безопасность, то, что они называли *добром*, представляло собой лишь несколько пунктов, предусмотренных договором, например: не убивать друг друга, не грабить имущество друг друга и оказывать

¹ Это идеал Мадзини. См. *Doveri dell'uomo* (Napoli, 1860), p. 83** и *a Pio IX Papa*, p. 27***: «Мы верим, что Высшая Власть свята, когда, освященная гением и добродетелью, этими единственными священнослужителями будущего, и явившая в себе великую жертвенную силу, она проповедует добро и, добровольно признанная, ведет к нему видимым образом...».

взаимную поддержку против всех нападений извне. Но впоследствии законодатель, гениальный и добродетельный человек, рожденный уже в среде сформировавшейся ассоциации и поэтому воспитанный в какой-то степени в ее духе, мог расширить и углубить условия и основы договора и таким образом создать первый моральный кодекс и первый кодекс законов.

Но сразу возникает другой вопрос: предположим, что человек, одаренный необыкновенным умом, рожденный еще первобытным обществом, получивший в этом обществе очень грубое воспитание, смог, благодаря своей гениальности, составить моральный кодекс; но каким образом он смог добиться того, чтобы этот кодекс был принят его народом? Силою одной логики? — Это невозможно. Логика в конце концов всегда торжествует, даже над самыми твердолобыми, но для этого надо много больше времени, чем продолжительность жизни одного человека, а если речь идет об умах слабых, то потребовалось бы, пожалуй, несколько столетий. С помощью силы, насилия? Но тогда это было бы общество, основанное уже не на свободном договоре, а на завоевании, на порабощении, что прямо привело бы нас к действительным, историческим обществам, в которых все вещи объясняются, правда, гораздо более естественно, чем в теориях наших либеральных публицистов, но чье исследование и изучение не только не служат прославлению государства, как того хотели бы эти господа, а ведут нас, напротив, как мы это позже увидим, к желанию его скорейшего радикального и полного уничтожения.

Остается третий способ, посредством которого великий законодатель дикого народа мог бы заставить массу своих сограждан принять свой кодекс: а именно — божественный авторитет. И в самом деле, мы видим, что величайшие из известных законодателей, от Моисея до Магомета включительно, прибегали к нему. Он очень эффективен для наций, где верования и религиозное чувство еще имеют большое влияние, и, естественно, это сильнейшее средство для дикого народа. Но только общество, которое было бы создано таким путем, не имело бы уже своим фундаментом свободный договор: созданное, конституированное прямым вмешательством божьей воли, оно неизбежно будет государством теократическим, монархическим или аристократическим, но ни в коем случае не демократическим. А так как с богами торговать

ся нельзя, ибо они так же могущественны, как и деспотичны, и приходится слепо принимать все, что они предписывают, и подчиняться их воле во что бы то ни стало, отсюда следует, что в продиктованном богами законодательстве нет места для свободы. Поэтому оставим пока основание государства — кстати, вполне историческое — путем прямого или косвенного вмешательства божественного всемогущества, пообещав вернуться к нему позже, и продолжим рассмотрение свободного государства, основанного на свободном договоре. Правда, мы пришли к убеждению в совершенной невозможности объяснить противоречивый сам по себе факт законодательства, порожденного гением одного человека и единогласно одобренного, свободно принятого целым народом дикарей, без того чтобы законодатель должен был прибегнуть к грубой силе или какому-нибудь божественному обману; но мы согласны допустить это чудо и просим теперь объяснения другого чуда, не менее трудного для понимания, чем первое: предположим, что новый кодекс нравственности и законов провозглашен и единогласно принят, но каким образом он применяется на практике, в жизни? Кто наблюдает за его исполнением?

Можно ли предположить, чтобы после этого единогласного принятия все или хотя бы большинство дикарей, составляющих первобытное общество, которые, до того как новое законодательство было провозглашено, были погружены в самую полную анархию, вдруг сразу, в силу одного этого провозглашения и свободного принятия, до такой степени преобразились, что начали бы по собственному почину и без другой побудительной причины, кроме своих собственных убеждений, добросовестно соблюдать и правильно выполнять все предписания и законы, налагаемые на них неведомой до сих пор моралью?

Допустить возможность такого чуда — значит признать одновременно бесполезность государства и способность естественного человека, побуждаемого только своей собственной свободой, понимать, желать и делать добро, что противоречило бы как теории так называемого свободного государства, так и теории религиозного, или божественного, государства. Фундаментом обоих является предполагаемая неспособность человека возвыситься до добра и делать его по естественному побуждению, ибо такое побуждение, согласно этим теориям, непреодолимо и непрестанно влечет людей ко злу. Следовательно, обе

теории учат нас, что для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов и выполнение законов в каком бы то ни было человеческом обществе, необходимо, чтобы во главе государства стояла бдительная, регулирующая и, в случае нужды, репрессивная, карающая власть. Остается узнать, кто может и должен ею обладать?

Относительно государства, основанного на божественном праве и при вмешательстве какого-либо бога, ответ прост: власть должна принадлежать прежде всего священникам, а затем освященным ими светским властям. Гораздо более затруднителен ответ, если речь идет о теории государства, основанного на свободном договоре. В чистой демократии, где царит свобода, кто мог бы быть действительно стражем и исполнителем законов, защитником справедливости и общественного порядка против низких страстей каждого? Ведь каждый, как считается, неспособен следить за самим собой и обуздывать самого себя в той мере, в какой это необходимо для общего блага, ибо свобода каждого имеет естественное влечение ко злу. Словом, кто же будет исполнять государственные функции?

Это будут лучшие граждане, ответят нам, самые умные и добродетельные, те, которые лучше других поймут общие интересы общества и необходимость для каждого, долг каждого подчинять им все частные интересы. В самом деле, необходимо, чтобы эти люди были так же умны, как и добродетельны, ибо если бы они были только умны без добродетельности, они бы могли заставить общественное дело служить их личным интересам, а если бы они были добродетельны, но не умны, они неизбежно провалили бы общественное дело, несмотря на все свои благие намерения. Итак, для того чтобы республика не погибла, необходимо, чтобы она обладала во все эпохи известным количеством людей такого рода; надо, чтобы на всем продолжении ее существования не прерывался последовательный ряд добродетельных и вместе с тем умных граждан.

Вот условие, которое реализуется не легко и не часто. В истории каждой страны эпохи, являющие значительное число выдающихся людей, отмечаются как эпохи необыкновенные, сияние которых проходит через века. Обычно в правящих сферах преобладает посредственность, серость, а часто, как мы это видим из истории, место этого цвета занимают черный и красный, т. е. тор-

жествуют пороки и кровавое насилие. Мы могли бы отсюда заключить, что если бы действительно, как это явствует из теории так называемого рационального или либерального государства, сохранение и продолжительность существования всякого политического общества зависели от непрерывающейся последовательности замечательных как по уму, так и по добродетели людей, то из всех в настоящее время существующих обществ нет ни одного, которое не должно бы было уже давно погибнуть. Если мы к этой трудности, чтобы не сказать невозможности, добавим те, возникающие из совершенно особого развращающего воздействия власти, а также чрезвычайные искушения, которым неизбежно подвержены все люди, ею облеченные; добавим еще также воздействие честолюбия, соперничества, зависти и величайшего корыстолюбия, которые день и ночь осаждают именно самых высокопоставленных лиц и от соблазна которых не может спасти ни ум, ни даже добродетель — ибо добродетель отдельного человека хрупка, — то мы думаем, что мы вправе кричать о чуде при виде существования стольких обществ! Но оставим это.

Предположим, что в идеальном обществе в каждую эпоху есть достаточное число людей равно умных и добродетельных, которые могут достойно выполнять основные государственные функции. Но кто их будет искать, кто их найдет, кто их различит, кто вложит в их руки бразды правления? Или они сами их возьмут, в сознании соответственного ума и добродетели, подобно тому, как это сделали два греческих мудреца — Клеобул и Периандр, которым, несмотря на их предполагаемую великую мудрость, греки все же дали ненавистное имя тиранов? Но каким образом они захватят власть? Посредством убеждения или посредством силы? Если посредством убеждения, то заметим, что можно хорошо убеждать лишь в том, в чем сам убежден, и что именно лучшие люди бываю менее всего убеждены в своих собственных заслугах; даже если они сознают их, то им обычно претит навязывать себя другим, между тем как дурные и средние люди, всегда собою довольные, не испытывают никакого стеснения в самопрославлении. Но предположим, что желание служить своему отечеству заставило замолчать в истинно достойных людях эту чрезмерную скромность и они сами себя представят своим согражданам для избрания. Будут ли они всегда приняты народом и предпоч-

тены честолюбивым, красноречивым и ловким интриганам? Если же, напротив, они хотят прийти к власти силой, то им необходимо прежде всего иметь в своем распоряжении достаточно силы, чтобы сломить сопротивление целой партии. Они придут к власти посредством гражданской войны, результатом которой будет побежденная, но не примирившаяся и всегда враждебная партия. Чтобы сдерживать ее, они должны будут продолжать применение силы. Таким образом, это будет уже не свободное общество, а основанное на насилии деспотическое общество, в котором вы, быть может, найдете много заслуживающих восхищения вещей, но никогда не найдете свободы.

Чтобы сохранить фикцию свободного государства, рожденного общественным договором, нам нужно предположить, что большинство граждан всегда обладают необходимыми благоразумием, прозорливостью и справедливостью, чтобы поставить во главе правительства самых достойных и самых способных людей. Но для того, чтобы народ проявлял прозорливость, справедливость, благоразумие не единожды и не случайно, а всегда, на всех выборах, в продолжение всего своего существования, не надо ли, чтобы он сам в своей массе достиг такой высокой степени нравственного развития и культуры, при которой правительство и государство ему больше не нужны? Такой народ нуждается не только в жизни, предоставляющей полную свободу всем его влечениям. Справедливость и общественный порядок возникнут сами по себе и естественно из его жизни, и государство, перестав быть провидением, опекуном, воспитателем, регулятором общества, отказавшись от всякой репрессивной власти и снизойдя до подчиненной роли, отведенной ему Прудоном, сделается простой канцелярией, своего рода центральной конторой на службе общества.

Без сомнения, такая политическая организация или, лучше сказать, такое уменьшение политической деятельности в пользу свободы общественной жизни было бы для общества великим благодеянием, хотя оно несколько не удовлетворило бы приверженцев государства. Им непременно нужно государство-провидение, государство-руководитель общественной жизни, податель справедливости и регулятор общественного порядка. Другими словами, признаются ли они себе в этом или нет, называют ли себя республиканцами, демократами или даже социали-

стами, им всегда нужно, чтобы управляемый народ был более или менее невежественным, несовершеннолетним, неспособным, или, называя вещи своими именами, чтобы народ был более или менее управляемым *сбродом*. С тем чтобы они, превозмогши в себе бескорыстие и скромность, могли оставаться на первых ролях, чтобы всегда иметь возможность посвятить себя общественному делу и чтобы, уверившись в своей добродетельной преданности и исключительном уме, эти привилегированные стражи людского стада, направляя его к его благу и спасению, могли бы также его понемногу обирать.

Всякая последовательная и искренняя теория государства основана главным образом на принципе *авторитета*, т. е. на той в высшей степени теологической, метафизической и политической идее, что массы, будучи *всегда* неспособными к самоуправлению, во всякое время должны пребывать под благотворным игом мудрости и справедливости, так или иначе навязанными им сверху. Но кем и во имя чего? Авторитет, который массы признают и которому подчиняются, как таковому, может иметь лишь три источника: силу, религию и воздействие высшего разума. Дальше мы будем говорить о государствах, основанных на двойной власти религии и силы, но, пока мы рассматриваем теорию государства, основанного на свободном договоре, мы должны не принимать во внимание ни ту, ни другую. Пока что нам остается авторитет высшего разума, который, как известно, всегда составляет удел меньшинства.

И в самом деле, что мы наблюдаем во всех государствах прошлого и настоящего, даже если они наделены самыми демократическими институтами, как, например, Соединенные Штаты Северной Америки и Швейцария? Self-government масс, несмотря на весь аппарат народного всемогущества, является там по большей части только видимостью. В действительности правит меньшинство. В Соединенных Штатах вплоть до последней освободительной войны, а отчасти и теперь, например, вся партия нынешнего президента Джонсона — это были и есть так называемые демократы, при этом сторонники рабства и хищной олигархии плантаторов, демагоги без стыда и совести, готовые все принести в жертву своей корысти, своему низкому честолюбию. Своей отвратительной деятельностью и влиянием, которым они беспрепятственно обладали около пятидесяти лет кряду, они значительно способствовали извращению политических нравов Соеди-

ненных Штатов. В настоящее время истинно просвещенное, благородное меньшинство, но все же и опять-таки *меньшинство*, партия республиканцев, с успехом борется с пагубной политикой демократов. Будем надеяться, что оно полностью восторжествует, будем на это надеяться ради блага всего человечества; но сколь бы ни была велика искренность этой партии свободы, сколь бы ни были возвышенны и благородны провозглашаемые ею принципы, не следует уповать на то, что, достигнув власти, эта партия откажется от исключительного положения правящего меньшинства, чтобы слиться с народной массой и чтобы народное self-government стало, наконец, действительностью. Для этого понадобилась бы куда более глубокая революция, чем все те, которые до сих пор потрясали старый и новый мир.

В Швейцарии, несмотря на все совершившиеся здесь демократические революции, по-прежнему правит зажиточный класс, буржуазия, т. е. меньшинство, привилегированное в отношении имущества, досуга и образования. Суверенитет народа — слово, которое нам, впрочем, ненавистно, ибо всякая верховная власть, на наш взгляд, достойна ненависти, — самоуправление масс в Швейцарии тоже является фикцией. Народ суверенен по праву, но не на деле, ибо, вынуждено поглощенный ежедневной работой, не оставляющей ему никакого свободного времени, и, если не совершенно невежественный, то, во всяком случае, сильно уступающий в образовании буржуазному классу, он принужден отдать в руки буржуазии свой так называемый суверенитет. Единственная выгода, которую он из него извлекает, как в Соединенных Штатах Северной Америки, так и в Швейцарии, заключается в том, что честолюбивые меньшинства, политические классы, стремясь к власти, ухаживают за ним, льстя его мимолетным, иногда очень дурным страстям и чаще всего обманывая его.

Не надо думать, что мы подвергаем критике демократическое правительство в угоду монархии. Мы твердо убеждены, что самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия, ибо в республике бывает так, что народ, хотя он постоянно эксплуатируем, не угнетен, между тем как в монархиях он угнетен постоянно. И кроме того, демократический режим поднимает мало-помалу массы до общественной жизни, чего монархия никогда не делает. Но, отдавая предпочтение республике, — мы принуждены признать и провозгласить,

что, какова бы ни была форма правления, все же, пока есть *наследственное* неравенство занятий, имущества, образования и прав, человеческое общество останется разделенным на различные классы, а меньшинство будет править большинством и неизбежно его эксплуатировать.

Государство и является именно таким господством и эксплуатацией, возведенными в правило и систему. Попробуем это доказать, рассматривая последствия управления народными массами меньшинством, сколь угодно просвещенным и преданным, в идеальном государстве, основанном на свободном договоре.

После определения условий договора остается лишь применить их на практике. Предположим, что какой-то народ, достаточно мудрый, чтобы признать свою собственную несостоятельность, имеет еще и необходимую прозорливость, чтобы вверить управление общественными делами лишь самым лучшим гражданам. Эти избранные имеют привилегии не с точки зрения права, а лишь фактически. Они были выбраны народом потому, что они самые просвещенные, самые ловкие, самые мудрые, самые мужественные и самые преданные. Взятые из массы граждан, которые, по предположению, все между собой равны, они еще не образуют отдельный класс, а лишь группу людей, имеющих природные преимущества, а потому отмеченных народным избранием. Их число неизбежно весьма ограничено, ибо во всякой стране и во всякое время количество людей, одаренных столь выдающимися качествами, что они выдвигаются как будто сами собой при всеобщем уважении нации, бывает, как показывает опыт, весьма незначительным. Значит, под страхом сделать неверный выбор народ должен будет всегда избирать среди них своих правителей.

И вот общество уже разделено на две категории, чтобы не сказать на два класса, из которых один, состоящий из громадного большинства граждан, свободно подчиняется правлению своих избранных; другой, состоящий из незначительного числа даровитых натур, признанных таковыми и избранных народом, уполномочен управлять им. Завися от народного избрания, эти люди вначале отличаются от массы граждан только теми самыми качествами, которые снискали им доверие соотечественников, и являются среди всей массы граждан, естественно, самыми полезными и преданными. За ними еще не признаны никакие привилегии, никакое особенное право, за исключением права выполнять социальные функции, которые

на них возложены, покуда этого желает народ. Во всем остальном — в образе жизни, условиях и средствах существования — они нисколько не отличаются от народа, так что между всеми продолжает царить полное равенство.

Но может ли это равенство долго сохраняться? Думаем, что нет, и нет ничего легче, как доказать это.

Нет ничего более опасного для личной морали человека, чем привычка повелевать. Самый лучший, самый просвещенный, бескорыстный, великодушный, чистый человек неизбежно испортится в этих условиях. Два присущих власти чувства всегда неизбежно ведут к этому разложению: *презрение к народным массам и преувеличение своих собственных заслуг.*

Массы, осознав свою неспособность к самоуправлению, выбрали меня в вожди. Тем самым они открыто признали свою *неполноценность* и мое *превосходство*. Из всей этой толпы людей, в которой лишь несколько человек я признаю равными себе, я один способен управлять общественными делами. Народ во мне нуждается, он не может обойтись без моих услуг, между тем как я довольствуюсь самим собой. Значит, народ должен повиноваться мне ради собственного блага, и, снисходя до управления им, я делаю его счастливым. Не правда ли, есть от чего потерять голову и сердце и обезуметь от гордости? Таким образом, власть и привычка повелевать становятся даже для самых просвещенных и добродетельных людей источником интеллектуального и одновременно морального извращения.

Вся человеческая нравственность — немного ниже мы постараемся доказать абсолютную истину этого принципа, развитие, объяснение и самое широкое применение которого составляют главную цель этого сочинения, — всякая коллективная и индивидуальная мораль покоится главным образом на *уважении к человеку*. Что подразумеваем мы под уважением к человеку? — Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, каковы бы ни были его раса, цвет кожи, уровень развития его ума и даже нравственности. Но могу ли я уважать человека, если он глуп, злобен, достоин презрения? Конечно, если он обладает этими качествами, то невозможно, чтобы его подлость, тупоумие, грубость вызывали мое уважение; они мне противны и возмутительны; я приму против них, в случае надобности, самые энергичные меры, и даже убью этого человека, если у меня не останется других средств защитить мою

жизнь, мое право или то, что мне дорого и мною уважаемо. Но во время самой решительной, ожесточенной и в случае необходимости смертельной борьбы с ним я должен уважать в нем его человеческую природу. Только этой ценой я могу сохранить свое собственное человеческое достоинство. Однако, если этот человек не признает ни в ком этого достоинства, можно ли признавать его в нем? Если он своего рода хищный зверь, если, как это иногда случается, хуже, чем зверь, можно ли признавать в нем человеческую природу, не будет ли это заблуждением? Нет, ибо каково бы ни было его теперешнее интеллектуальное и моральное падение, если органически он не является ни идиотом, ни безумным — в каких случаях с ним надо было бы обращаться не как с преступником, а как с больным, — если он вполне владеет своими чувствами и рассудком, отпущенными ему от природы, его человеческая натура, при всех ужасных отклонениях, тем не менее весьма реально существует в нем *как всегда живущая, откуда он жив, способность возвыситься до сознания своей человечности — если только произойдет коренная перемена в социальных условиях, сделавших его тем, что он есть.*

Возьмите самую умную, самую способную обезьяну, поместите ее в наилучшие, в наиболее человеческие условия — и все же вы никогда не сделаете из нее человека. Возьмите самого закоренелого преступника и самого бедного умом человека; если только ни в одном из них нет какого-нибудь органического дефекта, определяющего его идиотизм или неизлечимое безумие, то вы убедитесь, что если один сделался преступником, а другой еще не возвысился до сознания своей человечности и своих человеческих обязанностей, то *виноваты в этом не они сами, даже не их натура, а социальная среда, в которой они родились и развивались.*

Мы подошли здесь к самому важному моменту социального вопроса и науки о человеке вообще. Мы уже неоднократно повторяли, что *мы полностью отрицаем свободу воли* в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и юридическая наука, т. е. в смысле спонтанного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всякого природного или социального влияния.

Мы отрицаем существование души, существование духовной субстанции, независимой и отделимой от тела. Напротив, мы утверждаем, что, подобно тому, как тело индивида, со всеми

своими способностями и инстинктивными предрасположениями, является лишь равнодействующей всех общих и частных причин, определивших его индивидуальную организацию, — то, что неправильно называется душой человека, его интеллектуальные и моральные качества являются прямым произведением или, лучше сказать, естественным, непосредственным выражением этой самой организации, а именно выражением уровня органического развития, которого благодаря стечению независимых от воли причин достиг его мозг.

Всякий, даже самый непритязательный индивид является продуктом веков; история причин, способствовавших его образованию, не имеет начала. Если бы мы имели дар, которым никто не обладает и не будет никогда обладать, — дар познать и объять бесконечное многообразие превращений материи, или Сущего, которые происходили с фатальной последовательностью от рождения нашего земного шара до рождения этого индивида, то мы могли бы, никогда его не видав, сказать с почти математической точностью, какова его органическая природа, определить до малейших подробностей меру и характер его интеллектуальных и моральных способностей — одним словом, его душу в том виде, какова она есть в час его рождения. Не имея возможности изучить и объять все эти последовательные трансформации, мы можем безошибочно утверждать, что *всякий человеческий индивид в момент своего рождения является всецело продуктом исторического, т. е. физиологического и социального развития его расы, народа, касты — если в его стране существуют касты, — его семьи, его предков и индивидуальных особенностей его отца и матери, передавших ему непосредственно, путем физиологического наследования, в качестве его естественного исходного пункта и определения его индивидуальности все неизбежные следствия их собственного предшествующего существования как материального, так и морального, как индивидуального, так и социального, включая их мысли, чувства и поступки, включая все превратности их жизни и все большие или малые события, в которых они принимали участие, включая также бесконечное многообразие случайностей, которые могли с ними произойти¹, вместе со всем тем, что они наследовали таким же образом от своих собственных родителей.*

¹ Случайности, которым подвержен эмбрион во время своего развития в чреве матери, прекрасно объясняют различие, чаще всего существующее между детьми одних родителей, и делают для нас понятным, каким образом у умных родителей может быть дитя-идиот. Но это всегда лишь печальное исключение вследствие какой-либо случайной мимолетной причины. Природа, благодаря несуществованию благого

Нам нет надобности напоминать о том, чего никто и не думает отрицать, а именно, что различия рас, народов и даже классов и семей определяются причинами географическими, этнографическими, физиологическими, экономическими (включая два больших вопроса: вопрос о занятиях, т. е. о разделении коллективного труда общества, о способе распределения богатств; и вопрос о питании как в отношении количества, так и в отношении качества), а также причинами историческими, религиозными, философскими, юридическими, политическими и социальными. Все эти причины, комбинируясь различным образом для каждой расы, каждой нации и, более того, для каждой провинции и каждой коммуны, каждого класса, каждой семьи, придают всем им собственную физиономию, т. е. особый физиологический тип, сумму специальных предрасположений и способностей, — независимо от воли индивидов, входящих в их состав и всецело являющихся их продуктом.

Таким образом, каждый человеческий индивид уже в момент своего рождения является *материальной, органической равнодействующей* всего того бесконечного разнообразия причин, которые, скомбинировавшись, произвели его. Его душа, т. е. его органическое предрасположение к развитию чувств, идей и воли, является лишь продуктом. Она вполне определяется индивидуальным физиологическим качеством его мозговой и нервной системы, которая, как и все его тело, полностью зависит от более или менее удачного сочетания этих причин. Она составляет то, собственно, что мы называем *отличительной, изначальной натурой индивида*.

Существует столько же различных натур, сколько и индивидов. Эти индивидуальные различия проявляются тем яснее, чем более они развиваются или, лучше сказать, они не только проявляются с большей силой, *они действительно увеличиваются по мере того, как развиваются индивиды, потому что различные вещи, внешние обстоятельства, одним словом, тысячи по большей части неуловимых при-*

Бога, никогда не бывая капризной и ничего не делая без достаточной на то причины, никогда не меняет тенденцию или направление, не будучи принуждаемой к этому превосходящей ее силой. Таким образом, правило воспроизводства человеческого рода путем последовательности пар, образующих семью, должно быть таким: *если бы каждая пара прибавляла к физиологическому наследию своих родителей новое физическое, интеллектуальное и моральное развитие, то — так как всякое идеальное совершенствование есть материальное совершенствование, идущее от мозга, — каждое вновь рождающееся существо должно бы быть во всех отношениях выше своих родителей.*

чин, воздействующих на развитие индивидов, сами по себе весьма различны. Это обуславливает то, что чем более подвигается в жизни какой-нибудь индивид, тем более вырисовывается его индивидуальная натура, тем более он отличается как достоинствами, так и недостатками, от всех других индивидов.

В какой степени особая натура, или душа индивида, т. е. индивидуальные особенности мозгового и нервного устройства, развиты у новорожденного ребенка? Разрешение этого вопроса является делом физиологов. Мы знаем только, что все эти особенности обязательно должны быть наследственными в том смысле, который мы попытались объяснить, т. е. определенными бесконечным множеством самых различных, самых разнообразных причин, причин материальных и моральных, механических и физических, органических и духовных, исторических, географических, экономических и социальных, больших и малых, постоянных и случайных, непосредственных и очень отдаленных в пространстве и во времени, *сумма которых комбинируется в единое живое Существо и индивидуализируется в первый и в последний раз в потоке универсальных трансформаций только в этом ребенке, который, в узком значении этого слова, никогда не имел и никогда не будет иметь себе подобного.*

Остается узнать, до какой степени и в каком смысле эта индивидуальная натура действительно детерминирована в тот момент, когда ребенок выходит из чрева матери. Является ли эта детерминация только материальной или в то же время духовной и моральной, хотя бы в качестве тенденции естественной способности или инстинктивного предрасположения? Рождается ли ребенок умным или глупым, добрым или злым, наделенным волей или лишенным ее, предрасположенным к развитию того или иного таланта? Может ли он унаследовать характер, привычки, недостатки или интеллектуальные и моральные качества своих родителей и предков?

Вот вопросы, решить которые чрезвычайно сложно, и мы не думаем, чтобы экспериментальная физиология и экспериментальная психология были бы в настоящее время достаточно зрелыми и развитыми, чтобы суметь ответить на них с полным знанием дела. Наш славный соотечественник г. Сеченов говорит в своем замечательном труде о деятельности мозга, что в громадном большинстве случаев, 999/1000 частей психического характера инди <вида> *, конечно, более или менее заметны в человеке до самой его смерти. «Я не утверждаю, — говорит он, —

чтобы можно было посредством воспитания переделать дурака в умного человека. Это также невозможно, как дать слух индивиду, рожденному без акустического нерва. Я думаю лишь, что взяв с детства умного от природы негра, лапландца или самоеда, можно из них сделать при помощи европейского воспитания в самой среде европейского общества людей, очень мало отличающихся в психическом отношении от цивилизованного европейца».

Устанавливая это отношение между 999/1000 частями психического характера, принадлежащими, по его мнению, воспитанию, и только одной тысячной, оставляемой им на долю наследственности, г. Сеченов не имел в виду, конечно, исключений: гениальных и необыкновенно талантливых людей или идиотов и дураков. Он говорит лишь о громадном большинстве людей, одаренных обыкновенными или средними способностями. Они являются, с точки зрения социальной организации, самыми интересными, мы сказали бы даже, единственно интересными, ибо общество создано ими и для них, а не гениальными людьми и не для них одних, сколь безмерной ни казалась бы их сила.

В этом вопросе нас особенно интересует, могут ли подобно интеллектуальным способностям и *моральные качества*: доброта или злоба, храбрость или трусость, сила или слабость характера, великодушие или жадность, эгоизм или любовь к ближнему и другие положительные или отрицательные качества этого рода, быть физиологически унаследованы от родителей и предков или независимо от наследственности сформироваться под влиянием какой-либо случайной, известной или неизвестной причины в то время, когда ребенок находится еще в чреве матери. Одним словом, может ли ребенок при рождении уже иметь *какие-либо моральные предрасположенности*?

Мы так не думаем. Чтобы точнее поставить вопрос, заметим, во-первых, что если бы существование *врожденных* моральных качеств было допустимо, то это могло бы быть лишь при условии, что они были связаны в новорожденном ребенке с какой-нибудь физиологической, чисто материальной особенностью его организма: ребенок, выходя из чрева матери, не имеет еще ни души, ни разума, ни чувств, ни даже инстинктов; он рождается для всего этого; так что он является лишь физическим существом, и его способности и качества, если он их имеет, могут быть лишь анатомическими и физиологическими. Чтобы ребенок мог родиться добрым, великодушным,

надо было бы чтобы каждое из этих достоинств или недостатков соответствовало какой-нибудь материальной и, так сказать, местной особенности его организма, а именно его мозга, — это вернуло бы нас к системе Галля*, который думал, что он нашел для каждого качества и для каждого недостатка соответствующие шишки и впадины на черепе. Система эта, как известно, единогласно отвергнута современными физиологами.

Но если бы она оказалась верной, что бы отсюда вытекало? Раз недостатки и пороки, так же как и хорошие качества, врожденны, то оставалось бы узнать, могут ли они быть побеждены воспитанием или нет? В первом случае вина за все преступления, совершенные людьми, падала бы на общество, не сумевшее дать им надлежащее воспитание, а не на них, которых можно было бы рассматривать, наоборот, как жертвы социальной непредусмотрительности. Во втором случае, поскольку *врожденные* predispositions были бы признаны фатальными и непоправимыми, обществу не оставалось бы ничего другого, как избавиться от всех людей, имеющих какой-либо природный или врожденный порок. Но, дабы не впасть в отвратительный порок лицемерия, общество должно было бы признать, что оно делает это единственно в интересах своего сохранения, а не ради справедливости.

Есть еще одно соображение, которое может прояснить этот вопрос: в мире интеллектуальном и моральном, так же как и в мире физическом, существует только положительное; отрицательное не существует, оно не составляет обособленное бытие, это лишь более или менее значительное уменьшение положительного. Так, например, холод есть лишь иное свойство тепла, это лишь относительное отсутствие, лишь незначительное уменьшение тепла! Так же обстоит дело с мраком, являющимся лишь светом, уменьшенным донельзя... Абсолютный мрак и абсолютный холод не существуют. В мире интеллектуальном глупость является не чем иным, как слабостью ума, а в нравственности недоброжелательство, жадность, трусость являются лишь доброжелательством, великодушием и храбростью, доведенными не до нуля, а до очень малого количества. Но, сколь ни мало это количество, все же это количество положительное, которое может быть развито, усилено и увеличено воспитанием в положительном смысле, — что было бы невозможно, если бы пороки или отрицательные качества являлись самостоятельными свойствами; тогда их надо было бы убивать, а не разви-

вать, ибо развитие их могло бы в таком случае идти лишь в отрицательном направлении.

Наконец, не позволяя себе предрешать эти важные физиологические вопросы, относительно которых мы не скрываем своего полного невежества, добавим лишь, опираясь на единогласный авторитет всех современных физиологов, последнее соображение: кажется установленным и доказанным отсутствие в человеческом организме отдельных участков и органов для инстинктивных, эффективных или моральных и интеллектуальных способностей; все они вырабатываются *в одной и той же части мозга посредством одного и того же нервного аппарата*¹. Отсюда яс-

¹ Смотрите замечательную статью г. Литтре: «О методе в психологии» в журнале «Позитивная философия». Физиологически установлено, говорит знаменитый позитивист, что *мозг ничего не создает; он лишь воспринимает*. Его функции заключаются в превращении того, что ему передается (чувствами) в эмоции и идеи; но сам он не приносит своего в то, что составляет субстрат этих идей и этих чувств. По правде сказать, все приходит к нему извне, ибо органические предрасположения, без которых нет ни индивидуальной, ни коллективной жизни и без которых не было бы и чувства, являются столь внешними (для человека), что природа осуществляет их независимо от всякого мозга и всякой психики в растениях и в особенности в низших животных. Поэтому следует слегка изменить смысл слова *субъективное*. Субъективное не может означать ничего предшествующего развитию человека: я, идею, чувство, идеал. Оно может означать лишь *перерабатывающую способность нервных клеток*; во всем остальном субъективное всегда смешано с объективным (№ III, стр. 302). А на стр. 343—344 г. Литтре говорит еще: «Рассудок не является способностью, витающей над принесенными ему впечатлениями; его единственное дело (чисто физиологическое) состоит в сравнении их между собой для получения заключения; но он не имеет над ними никакой юрисдикции. Галлюцинации доказывают это; галлюцинации — это производствo впечатлений, не вызванных ничем объективным. В силу болезненной игры нервных клеток, передающих впечатления, иллюзорные впечатления поступают в интеллектуальный центр («серое вещество оболочки той части мозга, которая занимает всю верхнюю и переднюю часть черепной полости, или мозга в собственном смысле»), как будто бы они были реальны. Рассудок, воспринимающий их, по необходимости работает над фиктивным материалом, и вот являются воображаемые представления. Кроме того, за исключением патологического нарушения, совершенно подобное же доказательство доставляется нам развитием человеческих идей в истории. В начале наблюдения — за исключением самых простых — ошибочны, а вслед за ними ошибочны и суждения. Люди видят, что солнце встает на востоке и заходит на западе; основываясь на этом, рассудок строит неверную концепцию, которую он впоследствии исправляет лишь благодаря лучшим наблюдениям. Если бы рассудок был первичным, а не вторичным, то человеческая история была бы иной (человечество не имело бы предком двоюродного брата гориллы): *вначале были бы великие истины, из которых были бы выведены второстепенные истины; такова фактически теологическая гипотеза...*». Г. Литтре мог бы добавить: *а также метафизическая и юридическая*.

но следует, что не может стоять вопрос о различных нравственных или безнравственных предрасположениях, фатально определенных самим организмом ребенка с наследственными и врожденными достоинствами и пороками, и что *моральная врожденность* ничем и ни в чем не отличается от *интеллектуальной врожденности*, ибо и та и другая сводятся к большей или меньшей степени совершенства, достигнутого вообще развитием мозга.

«Раз признаны анатомические и физиологические свойства ума, — говорит г. Литтре (стр. 355), — то можно проникнуть в самую глубь его истории. Покуда ум не был перестроен и обогащен цивилизацией, обладал лишь *простыми идеями*¹, производимыми как внутренними, так и внешними² впечатлениями, он находился, таким образом, на *низшей ступени развития*; для того, чтобы подняться выше, ум обладает лишь способностью *удерживания и ассоциации*³, но этого достаточно. Постепенно образуются *сложные комбинации*, увеличивающие силу и поле деятельности мозга⁴; наконец, подвигаясь вперед, человек приходит к великим интеллектуальным свершениям. *Умственный аппарат* увеличивается и совершенствуется, а без инструментария нельзя сделать ничего значительного ни в интеллектуальной области, ни в промышленности».

«По мере того как совершается это развитие, оно призывает себе на помощь важное свойство жизни, а именно *наследственность*, которая способствует закреплению его в настоящем и облегчению в будущем. *Новые умственные способности, будучи раз приобретенными, передаются* — это экспериментальный факт — *потомкам в форме врожденных черт*; врожденности вторичной, третичной, которая в умственной области создает своего рода улучшенные человеческие расы. Это заметно, когда встречаются народности, прошедшие через разное развитие; низшая исчезает или через длительный промежуток времени достигает уровня высшей».

Ниже, процитировав слова г. Льюиса: «Мозговая сфера, где царят аффективные страсти, как и та, где находят-

¹ Мы сказали бы — «первичными понятиями» или даже «простыми представлениями предметов».

² Чувственные впечатления, получаемые индивидом посредством его нервов от *внешних* и *внутренних* предметов.

³ Удержание простых идей памятью и ассоциация их деятельностью мозга.

⁴ Посредством ассоциации простых идей.

ся чисто интеллектуальные проявления, тесно взаимосвязаны», г. Литтре добавляет¹: «Это совершенное подобие между интеллектом и чувством, а именно источником, откуда черпают нервы², и центром, где почерпнутое ими перерабатывается³, с учетом тождественности обоих центров, все это указывает на то, что физиология чувства не может разниться от физиологии интеллекта».

Вследствие этого пришлось отказаться от поисков в мозге органов для влечения и страстей и признать в нем лишь различного рода аффективные процессы, которые и надлежит определить.

Источником идей являются чувственные впечатления, источником чувств — впечатления инстинктивные. Назначением нервных клеток является превращение инстинктивных впечатлений в чувства. Проблема происхождения чувств в точности параллельна проблеме происхождения идей.

Этот род деятельности мозга осуществляется через инстинктивные впечатления двух типов: впечатления, которые принадлежат к инстинктам поддержания индивидуальной жизни, и те, которые принадлежат к инстинктам поддержания жизни вида. Первая категория здесь трансформируется в себялюбие, вторая — в любовь к другому, в первоначальной форме половой любви друг к другу, любви матери к ребенку и ребенка к матери.

С этой точки зрения нелишне бросить взгляд на сравнительную физиологию. У рыб, стоящих в отношении развитости мозга на самой низшей ступени среди позвоночных и не знающих ни семьи, ни детенышей, инстинкт

¹ Стр. 357.

² Источником, откуда нервы черпают как чувственные, так и инстинктивные впечатления, *sensorium commune* * является, по мнению г. Литтре и г. Льюиса, *оптический слой*, где сходятся все, как внешние, так и внутренние, впечатления, т. е. произведенные внешними предметами или же явившиеся из внутренних тканей организма, который «системой волокон и соединений передает эти впечатления коре головного мозга (серому веществу) — центру как аффективных, так и интеллектуальных способностей» (стр. 340—341).

³ Серое вещество мозга в собственном смысле, состоящее из нервных клеток: «Установлено, что нервные клетки, составляющие вещество мозга, являясь анатомически окончанием нервов и через них завершением всех внутренних впечатлений, функционально предназначены для переработки этих впечатлений в идеи; получив идеи — для суждения об их сходстве или различии, для удержания памятью, для соединения по ассоциации. Не более и не менее. Все интеллектуальное развитие человека имеет своим исходным пунктом эти анатомические и физиологические условия» (стр. 352).

остается чисто половым. Но чувства, порождаемые им, начинают проявляться у многих млекопитающих и птиц; устанавливается настоящее сожительство, но по большей части оно временное. Так же точно обстоит дело с зарождением семьи, которая требует заботы родителей о детенышах и детенышей о родителях. Наконец, у иных животных, и между прочим у человека, между различными семьями образуются такого же рода отношения, как между членами одной и той же семьи; там и сям, в некоторых точках животного царства зарождается общественность.

«Если таким образом положен фундамент, то нетрудно понять, что *из изначальных чувств*, по мере того как существование усложняется как для индивида, так и для общества, *образуются вторичные чувства и комбинации чувств, делающиеся столь же нераздельными, как нераздельны в интеллекте ассоциированные идеи*» (стр. 357).

Итак, кажется, установлено, что в мозгу не существует *специальных органов* ни для различных интеллектуальных способностей, ни для различных моральных качеств, чувств и страстей, добрых или дурных. Следовательно, ни достоинства, ни недостатки не могут быть унаследованы, врожденны, ибо, как мы отметили, эта наследственность и врожденность может быть в новорожденном лишь физиологической, материальной. В чем же может заключаться постепенное исторически передаваемое совершенствование мозга как в интеллектуальном, так и в моральном отношении? Единственно в гармоническом развитии всей мозговой и нервной системы, т. е. как в верности, тонкости и живости нервных впечатлений, так и в способности мозга перерабатывать эти впечатления в чувства, в идеи и комбинировать, охватывать и удерживать все более и более широкие ассоциации чувств и идей.

Весьма вероятно, что если у какой-нибудь расы, нации, у какого-нибудь класса или в какой-нибудь семье, вследствие их отличительной природы, всегда обусловленной их географическим и экономическим положением, характером их занятий, количеством и качеством пищи, также как их политической и социальной организацией, одним словом, всей их жизнью и большей или меньшей степенью интеллектуального и морального развития, — что если, вследствие всех этих условий, одна или несколько систем органических функций, совокупность которых образует жизнь человеческого тела, будут развиты в ущерб

всем другим системам в родителях, — весьма вероятно, почти несомненно, говорим мы, что их ребенок унаследует в той или иной степени ту же плачевную дисгармонию — с возможностью только исправить ее до некоторой степени благодаря своей собственной будущей работе над самим собой, а иногда также благодаря социальным революциям, без которых установление более полной гармонии в физиологическом развитии индивидов, взятых в отдельности, может быть часто невозможным.

Во всяком случае, надо сказать, что абсолютная гармония в развитии человеческих мускульных, инстинктивных, интеллектуальных и моральных способностей является идеалом, который никогда нельзя будет осуществить; во-первых, потому что история физиологически тяготеет более или менее (и да придет время, когда можно будет сказать: все менее и менее) — над всеми народами и над всеми индивидами; и затем потому, что всякая семья и всякий народ всегда находятся в разных обстоятельствах и в различных условиях, по крайней мере некоторые из которых будут препятствовать полному и нормальному развитию людей.

Так что передаваемое наследственным путем из поколения в поколение и то, что может быть *физиологически врожденным* в индивидах, появляющихся на свет, — это не достоинства или недостатки, не идеи или ассоциации чувств и идей, а только лишь мускульный и нервный механизм, *более или менее усовершенствованные и гармонизированные друг с другом органы*, посредством которых человек движется, дышит, ощущает себя, получает и удерживает внешние впечатления и воображает, судит, комбинирует, ассоциирует и понимает чувства и идеи, являющиеся теми же самыми, как внешними, так и внутренними, впечатлениями, сгруппированными и трансформированными сначала в конкретные представления, затем в абстрактные понятия при помощи чисто физиологической и, добавим еще, совершенно произвольной деятельности мозга.

Ассоциации чувств и идей, развитие и последовательные трансформации которых составляют всю интеллектуальную и моральную часть истории человечества, не обуславливают образование в человеческом мозгу новых органов, соответствующих каждой отдельной ассоциации, и не могут быть переданы индивидам путем физиологической наследственности. То, что физиологически наследуется, — это все более и более усиленная, расширенная

и усовершенствованная способность понимать их и создавать новые. Но сами ассоциации и представляющие их сложные идеи, как, например, идея Бога, отечества, нравственности и т. д., не могут быть врожденными и передаются индивидам лишь путем *общественной традиции и воспитания*. Они действуют на ребенка с первого дня его рождения, и так как они уже воплотились в окружающей его жизни, во всех как материальных, так и моральных деталях социального мира, в котором он родился, то и проникают тысячью различных способов в его вначале еще детское, затем отроческое и юношеское сознание, которое рождается, растет и формируется под их всесильным влиянием.

Понимая воспитание в самом широком смысле этого слова, подразумевая под ним не только образование и уроки нравственности, но также и главным образом пример, который подают ребенку все окружающие его лица, влияние всего того, что он слышит, что он видит, не только его духовную культуру, но также развитие его тела посредством питания, гигиены, физических упражнений, — мы утверждаем с полной уверенностью, что никто серьезно не будет возражать против того, что всякий ребенок, всякий подросток, всякий юноша и, наконец, всякий взрослый человек является всецело произведением мира, который вскормил его и воспитал, произведением фатальным, невольным и, следовательно, безответственным.

Человек приходит в жизнь без души, без сознания, без тени какой-нибудь идеи или чувства, но имея человеческий организм, индивидуальность которого определена бесконечным числом обстоятельств и условий, предшествовавших самому рождению воли; она же, в свою очередь, обуславливает большую или меньшую способность человека к восприятию и присвоению чувств, идей и ассоциаций чувств и идей, выработанных веками и переданных каждому как *общественное наследство* при помощи полученного воспитания. Плохое это воспитание или хорошее, но оно дано человеку, и он не несет никакой ответственности за него. Оно формирует человека, насколько это позволяет более или менее восприимчивая индивидуальная натура последнего, так сказать, по своему образу, так что он думает, чувствует и желает то же самое, что хотят, чувствуют и думают все окружающие.

Но в таком случае нас могут спросить, как же объяснить, что одинаковое, по крайней мере внешне, воспитание часто приводит к совершенно различным результатам с точки зрения развития характера, ума и сердца? А разве не различны при рождении индивидуальные натуры? Это природное и врожденное различие, сколь оно ни мало, является, однако, положительным и реальным: различие в темпераменте, в жизненной энергии, в преобладании одного чувства, одной группы органических функций над другими, в живости и природных способностях. Мы стараемся доказать, что пороки, так же как и моральные качества, — факты индивидуального и общественного сознания и не могут быть физически унаследованы, что никакая физиологическая особенность не может обречь человека на зло, сделать его непоправимо неспособным к добру; но мы нисколько не хотим отрицать, что есть очень разные натуры, из которых одни, более одаренные, способны к большему человеческому развитию, чем другие. Мы считаем, правда, что в настоящее время излишне преувеличивают природные различия между индивидами и что наибольшую часть ныне существующих различий надо приписывать не столько природе, сколько воспитанию, полученному каждым. Для решения этого вопроса надо было бы, во всяком случае, чтобы две науки, призванные разрешить его, а именно: физиологическая психология, или наука о мозге, и педагогика, или наука о воспитании и социальном развитии мозга, — вышли из детского возраста, в котором они обе еще пребывают. Но из признания физиологического различия между индивидами следует, что любая система воспитания, сама по себе превосходная, будучи абстрактной системой, может быть хороша для одного человека и дурна для другого.

Для того чтобы быть совершенным, воспитание должно быть гораздо более индивидуализированным, чем теперь, должно быть индивидуализировано в духе свободы и уважения свободы, даже и у детей. Его задачей должна быть не *дрессировка* характера, ума и сердца, а их пробуждение к независимой и свободной деятельности. Оно не должно преследовать иной цели, кроме созидания свободы, не иметь другого культа или, лучше сказать, другой морали, другого объекта уважения, кроме свободы каждого и всех; кроме простой справедливости, не юридической, а человеческой; кроме простого разума, не теологического, не метафизического, а научного; кроме труда,

физического и умственного, первой и обязательной для всех основы всякого достоинства, всякой свободы и права. Такое воспитание, широко распространенное на всех, как на мужчин, так и на женщин, при экономических и социальных отношениях, основанных на строгой справедливости, привело бы к исчезновению многих так называемых природных различий.

Нам могут возразить: хорошо, пусть современное воспитание несовершенно, но, во всяком случае, им одним нельзя объяснить тот неоспоримый факт, что часто в среде семейств, наиболее лишенных нравственного чувства, можно встретить личности, поражающие нас благородством своих инстинктов и чувств, и, напротив, в среде самых развитых в нравственном и интеллектуальном отношении семей еще чаще встречаются индивиды, низменные умом и сердцем. Этот факт как будто бы совершенно противоречит мнению, согласно которому большая часть интеллектуальных и моральных качеств человека является результатом полученного им воспитания. Но это лишь видимое противоречие. В самом деле, хотя мы и утверждали, что в огромном большинстве случаев человек является всецело произведением социальных условий, в которых он формируется; хотя мы и оставили сравнительно малую долю влияния физиологической наследственности естественных качеств, с которыми рождается человек, тем не менее, мы не отрицали этого влияния. Мы признали даже, что в некоторых исключительных случаях, например, у людей гениальных или очень талантливых, как и у идиотов и людей нравственно очень испорченных, это влияние или природная детерминация развития индивида — детерминация столь же фатальная, как и влияние воспитания и общества, — может быть очень велика. Последнее слово по всем вопросам принадлежит физиологии мозга, а она еще не достигла той степени развития, чтобы быть в состоянии в настоящее время разрешить их даже приблизительно. Единственное, что мы можем сегодня с уверенностью утверждать, это то, что все эти вопросы будут между двумя фатализмами: фатализмом естественным, органическим, физиологически наследственным и фатализмом общественной наследственности и традиции, воспитания и социально-политического и экономического устройства каждой страны. Здесь нет места для свободной воли.

Но помимо естественной, положительной или отрицательной детерминации индивида, которая может поставить его в большее или меньшее противоречие с духом, царящим в семье, могут существовать для каждого отдельного случая еще другие тайные причины, которые в большинстве случаев так и остаются неизвестными, но которые должны быть нами приняты, тем не менее, в расчет. Стечение особых обстоятельств, неожиданное событие, иногда даже очень незначительный, сам по себе, случай, случайная встреча какого-нибудь человека, иногда книга, попавшая в руки данного индивида в надлежащий момент, — все это в ребенке, в подростке, в юноше, когда воображение кипит и еще полностью открыто для жизненных впечатлений, для жизни, может произвести коренной переворот как к добру, так и ко злу. Добавьте к этому характерную для молодости гибкость, в особенности когда молодые люди одарены известной естественной энергией, которая заставляет их противиться всем излишне повелительным и настойчиво-деспотичным влияниям и благодаря которой иногда даже избыток зла может породить добро.

Может ли в свою очередь избыток добра или то, что обычно называется добром, породить зло? Да, когда добро выступает как деспотический, абсолютный закон, религиозный, доктринерски-философский, политический, юридический, социальный или как закон семейно-патриархальный, — одним словом, когда, каким бы хорошим оно ни было или ни казалось, оно предписывается как отрицание свободы, а не является ее продуктом. Но в таком случае бунт против добра, навязываемого таким образом, является не только естественным, но и законным; этот бунт не только не зло, а, напротив, добро; ибо не существует добра вне свободы, а свобода является источником и абсолютным условием всякого добра, которое поистине достойно этого слова, ведь *добро есть не что иное, как свобода*.

Единственной целью этой статьи является развитие и доказательство этой истины, которая нам представляется такой простой. Возвратимся теперь к нашему вопросу

Примеры того же явного противоречия или аномалии часто встречаются в более широкой сфере, в истории народов. Например, как объяснить, что еврейский народ, бывший некогда самым ограниченным и исключительным народом на свете, до того исключительным и ограничен-

ным, что, признавая, так сказать, абсолютную привилегированность, божественное избрание главным основанием своего национального существования, он выставлял себя богоизбранным народом, вплоть до фантазии, будто его Бог, Иегова, Бог-отец христиан, доводит свою попечительность о еврейском народе до самой дикой жестокости ко всем другим народам, приказывая еврейскому народу уничтожить огнем и мечом все племена, занимавшие раньше землю обетованную, для того чтобы очистить место для своего народа-Мессии; как объяснить, что в среде этого народа мог родиться Иисус Христос, основатель вселенской, мировой религии и тем самым разрушитель самой еврейской нации как политического и социального тела? Каким образом этот исключительно национальный мир мог породить такого преобразователя, религиозного революционера, каким является апостол...*

НАУКА И НАРОД

Чего мы ищем? Чего мы хотим? Того же самого, чего хотели и искали живые люди всех времен и всех стран: **Истины, Справедливости и Свободы.**

Да не побоится читатель, что мы затеряемся в заоблачных рассуждениях о том, что такое **Истина**? Мы знаем, что за облаками ее не найдешь. Под этим словом мы разумеем простую, естественную логику, присущую всему действительному, или всеобщий порядок явлений, подчеркнутый человеческим разумом как в мире вещественном, так и в мире социальном.

Мы, разумеется, отрицаем самым решительным образом произвольное и нелепое разделение мира действительности на физический и духовный; но считаем полезным сказать несколько слов о том, как произошло это разделение, пожалуй, естественное и в историческом смысле необходимое, но тем не менее имевшее на судьбу человечества самое плачевное действие. Оно было порождено в начале истории как бы недоразумением едва проснувшегося разума, не сознававшего себя и потому не подозревавшего, что он сам ни более ни менее как одно из естественных порождений природы. Лишенный, таким образом, возможности действовать самосознательно, трезво, разум проявился сначала в поэтических грезах и в религиозных представлениях, а потом в форме метафизического самоуглубления и отвлеченного самостроения и стал искать в *едином* себе причины всего. Но раз противопоставив себя как нечто отдельное и самостоятельное не только всему внешнему миру, но даже и непосредственному производителю своему — человеческому организму, он непременно должен был раздвоить единый мир действительности на мир «физический» и на мир «духовный».

С тех пор как мы узнали физиологическое происхождение всей нашей умственной деятельности, мы с оди-

наковую необходимостью пришли к сознанию нелепости подобного раздвоения.

Един мир, и едино средство для познания назначения законов или порядков его для добывания **Истины** — *Наука*; не метафизика и не отвлеченные умопостроения, а наука, основывающая свои рассуждения на опыте, употребляющая одинаково метод дедуктивный и метод индуктивный и проверяющая беспрестанно свои гипотезы строжайшим наблюдением и анализом фактов.

Таким образом изгнано из науки все сверхъестественное, все неразумное: понятие о боге и все другие понятия, вытекающие из него или соприкосновенные с ним. Единство и самая возможность рациональной науки впервые поставлены. Остается восстановить то же единство и тот же разум в жизни. Жизнь человека, коллективная и индивидуальная, от начала истории по самое настоящее время делится, как известно, между двумя противоположными, друг друга отрицающими, друг друга уничтожающими мирами: духовным и материальным, земным и небесным. К небесному стремятся все религиозные помыслы и чувства, все идеальные движения души; к земному все интересы земли, все материальные хотения и похоти живого человека. Первому миру приписывается все, что называют истиною и добром; второму — все грехи и вся ложь. Историческая судьба человека, переходя через многоразличные пути и ступени развития, была до сих пор результатом этой непримиримой борьбы двух миров, соединение которых в один мир, в одну дружную жизнь после многих серьезных попыток, сделанных в различные времена искусством, религией, политикою, и, наконец, метафизикою, — оказалось решительно невозможным. Человек не умел и, пока оба мира в его сознании будут существовать друг от друга отдельно, он никогда не успеет освободиться в жизни своей от пагубного раздвоения: одна часть его существа будет в непрерывной борьбе с другою, а результатом такой борьбы может быть только «преступная анархия» — бунт материи или торжество духа, покорение материи, водворение порядка — добродетельное рабство.

Итак, чтобы окончательно освободить человека, надо положить конец его внутреннему раздвоению — надо изгнать бога не только из науки, но и из самой жизни; не только положительное знание и разумная мысль человека, но и воображение и чувство его должны быть избавле-

ны от привидений небесных. Кто верит в бога, тот признает существование отдельного духовного или небесного мира, кто допускает в малейшей мере сверхъестественный, для разума непостижимый порядок вещей, тот обречен на неминуемое и безвыходное рабство. Люди науки освобождаются от него путем науки и *только в области науки*, но не в действительности, не в жизни. Потому что жизнь каждого человека, как бы он ни был учен и мудрен, находится, вследствие закона общественной солидарности, в прямой и непременной зависимости от жизни всех, от жизни народа; народ же своею верою обречен на рабство. Кто поэтому хочет быть сам свободен действительно, в жизни и в деле, тот должен устремить все усилия свои на уничтожение народной религии.

Вот главный пункт, по которому мы расходимся с *позитивистами* — последователями Огюста Конта.

Огюст Конт, точно так же как Прудон, Шопенгауэр и некоторые из новейших английских мыслителей, принял за основание своей позитивно-философской системы известное учение Еммануила Канта о неспособности человеческого ума проникать в сущность вещей.

Наш разум, — говорит кенигсбергский философ¹, — обнимает *только явления* как внешнего, или физического, так и внутреннего, или духовно-нравственного мира, как жизни природы, так и исторического развития общественной жизни; обнимает лишь взаимные отношения явлений, многообразные виды их соприкосновения и связи между собою, а также порядок их следования одного за другим, их происхождения и исчезновения в пространстве и времени, одним словом, все, что мы называем *законами природы*. Но сущность вещей, существование их для себя, независимо от нашего сознания и вне всякого к нему отношения, вещь, так как она есть *по себе* (Ding an Sich), и *действительная причина, ее порождающая*, для нас недоступны. У нас недостает ни органов, ни средств, чтобы добраться до них.

Нет средств, потому что всякая вещь, *являющаяся* нам необходимым образом, облекается в формы, или категории, которые принадлежат не ей, а нам, нашему сознанию, присущи нашему разуму прежде всякого опыта, т. е. прежде всякого столкновения его с какими бы то ни было предметами. Эти формы, или законы, нашего *чистого созерцания*, *нашего чистого представления*, рассуждение и умозаключение, Кант называет *чистыми априористическими категориями разума*. Таковы, например: кате-

¹ Мы приводим здесь не собственные слова его, но смысл сказанного им в сочинении, известном под названием *Критика Чистого Разума* *

гория пространства и времени, величины и количества, качества, меры, сущности, отношения, явления, причины и действия, взаимодействия, случайности и необходимости и т. д.

Вся беда Канта состояла в его идеализме, вследствие которого он приступил к критике чистого разума, не заботясь узнать о его физиологическом происхождении, и стал его разбирать как нечто абсолютное, существующее независимо от всего. Нашедши в нем, таким образом, формы, или законы, мышления, выработанные в нас веками, но принятые им за формы, присущие самому разуму и потому будто бы независимые от всякого опыта, Кант естественным образом заключил, что, так как всякая вещь может являться нам только через посредство этих форм, которые принадлежат не вещи, а нам, то мы можем знать ее только так, как она нам является, а не так, как действительно по себе существует.

Если б Кант поверил современнику своему Юму, утверждавшему ему наперекор и совершенно сообразно с истиной, что мнимо априористические формы сознания не что иное, как продукты бесчисленного множества бессознательных или позабытых нами впечатлений и опытов; если б, главным образом, Кант дожил до того времени, когда всем лучшим умам стало ясно, что разум не искра, упавшая с неба, а не более как деятельность самого мозга, следовательно, продукт нашего телесного организма, он не противопоставил бы идеальный мир сознания действительному миру вещей, не разделил бы их искусственною пропастью и, разумеется, догадался бы, что между *явлением* и *вещью по себе* нет и не может быть разницы.

Как бы то ни было, установив раз по-своему теорию чистого разума, Кант провел через неумолимую критику все богословские и метафизические идеи: о бесконечном, о первоначальной причине, о сущности и о конечной цели мироздания, о боге, о бессмертии души и т. п. и заключил, что все эти идеи, даже и в том предположении, что они соответствуют в самом деле действительности, по сущности своей недоступной для нашего сознания, не могут быть дознаны, оправданы или доказаны нашим разумом. Причем должно заметить, что сам Кант так мало сомневался в действительном существовании идеального или бесконечного мира, бога, бессмертия души и свободного произвола ее, что в своей *Критике Практического Разу-*

ма* он поставил их как *постулаты*, или как предполагающие требования разумной воли.

Германская умозрительная философия на этом не остановилась. Фихте, Шеллинг и Гегель в качестве последних метафизиков пытались вновь вывести объективность или действительность бесконечных идей из самого разума. Но вместе с тем именно Гегель, которому принадлежит несомненная и великая честь доведения метафизического метода до самоубийства, нанес этим идеям решительный и последний удар, показав их натуральное историко-психологическое и социологическое происхождение; в Феноменологии своей, в Философии истории, в Эстетике, в Философии религии и в Философии истории философских систем** он явным образом и с гениальной сметливостью и смелостью представил их как необходимые исторические моменты постепенного саморазвития, самопроявления и самоуразумения человеческого разума; так что все эти мнимо бесконечные идеи, которые в продолжение нескольких тысячелетий были признаваемы человеком за самостоятельные и верховные сущности, не только от него независимые, но преобладающие над ним и над миром, оказались теперь собственным, правда бессознательным, произведением его ума — говоря проще — необходимым продуктом его натуральной исторической глупости. Таким образом, бог, бессмертная душа, таинственный мир бесконечных субстанций объяснились самым простым образом как обманчивое отражение, как мираж нашего еще детского разума, созерцавшего себя вне себя и перенесшего свою собственную, фантастически им до бесконечности расширенную суть в фантастическое небо.

Вот, как бы наперекор самому Гегелю, последнее слово всей его системы. Правда, что это слово было высказано им так неясно, что огромное большинство гегельянцев, как заметил поэт Гейне, его не поняли. Но понял и высказал его с великолепною простотою и искренностью в самом начале сороковых годов единый великий ум в этой школе после Гегеля, последний гегельянец, можно сказать вообще, душеприказчик осужденной на смерть метафизики, знаменитый Людвиг Фейербах, столь много читаемый русскою молодежью.

После Фейербаха необходимость обращения к миру действительному, необходимость фактического изучения и разумного, но не метафизического понимания его, не-

обходимость основания целой системы наук, включая сюда, разумеется, всю психологию и всю социологию, на естествознании стала ясна в Германии для всякого здравого ума, для всякой живой души. И вот появилась целая вереница ученых, основателей новой натуральной школы и, если нам позволено будет так выразиться, *апостолов революционной науки*. Имена Бюхнера, Карла Фохта, Молешотта и нескольких других точно так же известны в России, как имя самого Фейербаха.

Мы их называем по праву апостолами революции. Они не только ученые, нет, они выступили как бойцы против всех призраков, порожденных идеализмом религиозным и метафизическим и преграждающих человеку путь к свободе. Они на всенародном языке называли себя атеистами и материалистами, поняв, что назначение науки — освобождать без исключения *все* умы и готовить тем самым освобождение самого общества.

Признание в мире, вне его и над ним, высшего бесконечного существа; богопризнания и богочитания всякого рода; учение о бессмертной душе и о загробных наградах и наказаниях и неразрывно связанное с ними существование *церквей*, попов — посредников и примирителей с богом, чудотворцев, пророков и *богопомазанных законодателей и царей*; так же как необходимо из них вытекающее существование богопоставленных *государств* со всем их историческим хламом: с правом государственным, уголовным, гражданским; с наследственной собственностью и деспотизмом семейным; с полицейскою властью и с военным насилием; все эти темные порождения религии были несомненно продуктом того первобытного рабства, в котором наш род погрязал в начале своей истории, когда он только что стал выделяться из рода горилл или других обезьян. Все эти несомненные следы нашей первоначальной животности человек тащил, постепенно их уменьшая по мере того как он сознавал и осуществлял свое человечество, сквозь всю историю; тащил их, как освобождающийся Спартак тащит свою цепь. И очевидно, что чрезвычайная тяжесть этой исторической цепи была и продолжает быть главною причиною нестерпимой медленности человеческого освобождения и развития. Но очевидно также, с другой стороны, что все эти продукты нашего доисторического *натурального* рабства непременно образом должны были сделаться, в свою очередь, новым источником нового *исторического* рабства, которое продолжа-

ет тяготеть над нами и от которого мы освободиться можем только путем рациональной науки.

Поэтому, не спрашивая даже, до какой степени вышеупомянутые основатели новой натуральной школы в Германии сами желают или даже понимают **практические** последствия созданного ими учения, мы были вполне вправе назвать их апостолами революции. Уничтожая *в народе* веру в небесный мир, они готовят свободу земного. Между этою школою и школою Огюста Конта существует именно по этому пункту огромная разница.

Огюст Конт, бесспорно, один из замечательнейших умов нашего века, развился чисто на французской почве и, можно сказать, совершенно независимо от всякого влияния со стороны германской философии, из которой ему был несколько знаком только Кант. Он был в своей молодости учеником Сен-Симона, а в 1830 году появилась уже первая часть его знаменитого *Курса Положительной Философии*. Его великое преимущество перед германскими философами состояло в близком знакомстве с положительными науками. Он был одним из последних и наименее способных представителей той славной математической и физической школы, которая со времен революции процветала во Франции до начала пятидесятих годов и которой знаменитый Араго, впрочем, гонитель Конта, был, можно сказать, последним замечательным представителем. Огюст Конт был *позитивист* по природе, по преданию, по характеру своей нации, по всей общественной обстановке. В его уме не могло быть места для германского идеализма.

Порядок следования наук в его системе чрезвычайно схож с порядком, установленным *Энциклопедиею* Гегеля*; но у Конта перед Гегелем то огромное преимущество, что, в то время как последний силился основать природу на логике, на разуме, на духе, — Конт напротив, и совершенно справедливо, основывает разум и так называемый дух на природе, зиждет все духовно-нравственное развитие человека — психологию и социологию исключительно на космических, физиологических и антропологических основаниях. В этом — каковы бы ни были его ошибки в разрешении специальных вопросов — его бессмертная заслуга. Таким образом он, со своей точки зрения, так же как и новые натуралисты Германии, нанес тяжелый удар идеализму, изгнав его окончательно и *систематически* из науки.

Но именно вследствие того, что ему не была известна новейшая история последовательного саморазрушения метафизического начала в Германии, он не умел покончить с идеализмом. Он только обошел его. Изгнав его из науки, он дозволил ему царствовать бесконтрольно в широкой области воображения и чувства. Руководясь критикою Канта, взяв как бы на веру его заключения о неспособности разума познавать бесконечное и проникать в сущность вещей, он принял за основание своей системы мысль, уже давно, впрочем, принятую в виде аксиомы всеми французскими учеными, — вы найдете ее в предисловиях или в введениях многих французских учебников механики, физики, химии или другой положительной науки, — а именно, что человек способен познавать только явления и отношения явлений между собою, т. е. законы природы и общества; но что первоначальная причина явлений, их настоящая суть останется для него вечно недостижимой тайною; причем предоставляется воображению и чувству заниматься ими сколько и как им будет угодно, позволяется даже им восстановить для своего собственного обихода бессмертие и бога, отнюдь не отрицаемых позитивным учением, но только изгнанных из науки. Таким образом, остаются и овцы целы, и волки сыты.

Вот главный пункт, по которому мы расходимся не только с нашими доморощенными позитивистами, но и с серьезнейшими представителями «Положительной философии» в Европе. Они, несмотря на большую ученость и на многие другие достоинства, — или лицемеры, или недодумки.

«Мы не атеисты и не материалисты, — гласят они, — мы только позитивисты. Мы не отрицаем отнюдь существования ни бога, ни бессмертной души, а только говорим и доказываем, что для всех этих бесконечных существ, ежели они существуют, для всех этих идей, преходящих границу *известного* мира явлений, не может быть места в науке, — что они для разума недоступны».

Не то ли же самое говорят богословы всех церквей и религий?..

Число недодумок, а, пожалуй, также и лицемеров всего значительнее между позитивистами в Англии. Известно, что в привилегированном, буржуазном и аристократическом английском мире при большом развитии свободы

политической существует чрезвычайное социальное рабство, проявляющееся главным образом инквизиционным могуществом «святых»¹ и полуверующим, полулицемерным библейским настроением публики, не на шутку трепещущей перед ними. Известно, что почти всякий порядочный англичанин, как бы он ни был умен, образован, считает обязанностью выслушивать несноснейшую проповедь каждое воскресенье, потому что того требует его джентльменство и потому что он должен служить примером народу, который, если отпадет от религии, пожалуй, возьмется за удовлетворение своих земных appetitов и тем нарушит спокойствие и комфорт джентльменского существования. В XVII и в XVIII веке еще были искренние и смелые мыслители в Англии. Но в XIX веке, кроме поэта Шеллея, никто еще не осмелился назвать себя громко атеистом и материалистом.

Немудрено, что при таком расположении умов английские философы и натуралисты ухватились с большою радостью за возможность, открытую им системою Конта, идти до конца в ученых исследованиях и вместе с тем не прослыть ни атеистами, ни материалистами. Таковую практическую двойственность найдете вы во всех сочинениях *Бокля, Дарвина, Льюиса, Герберта Спенсера и Стюарта Милля*. Они не революционеры, а потому боятся, не хотят и не находят нужным посягать на веру народную. Но если б буржуазный инстинкт и вытекающие из него *практические соображения* не омрачили их логики, они давно бы поняли и признали бы честно и громко, что одного допущения наукою возможности существования бога действительного, хотя и недоступного для самой науки, достаточно, чтобы, с одной стороны, утвердить в сердцах непросвещенных людей царство этой идеи, а следовательно, и рабство людей, и чтобы, с другой стороны, уничтожить самую возможность науки. Потому что, куда вмещается сверхъестественная и всемогущая сила, там не может быть ни порядка, ни смысла, ни логики, не может быть и свободы. Всемогущество же, ни во что не вмещающееся, ничего не прерывающее и ничему не мешающее, — равно нулю.

Должно признать, что французские позитивисты если и немногим искреннее, то, по крайней мере, гораздо по-

¹ Нередко называют так в Англии членов библейского и многих других обществ, ревностно занимающихся религиозною пропагандою.

следовательнее английских. Умнейшие между ними — атеисты и материалисты. Но весьма немногие между ними согласятся признаться в этом публично. Они философы, а не бойцы и официальным гонениям слишком себя подвергать не намерены. А ныне, как всем известно, преобладает на правительственных вершинах во Франции самое трогательное католическое настроение: сенат, камера народных представителей, вся бюрократия, магистратура и войско, сама академия наук проникнуты христианством. В такой среде выступать с атеизмом и материализмом неловко.

К тому же французские позитивисты отнюдь не ощущают потребности посвящать темные массы в свое неверие. Они *аристократы интеллигенции*, попы науки.

«Напрасно, — говорят они, — правительства стали бы нас преследовать. Мы им не мешаем, и хотя правда не отталкивает от себя ни одного из тех немногих избранных, которые к нам приходят, требуя от нас посвящения в тайны *научного метода*, мы не зовем к себе никого; и не только мы не делаем пропаганды против общественной метафизики и против народной религии, но находим, напротив, что как та, так и другая *необходимы* для тех классов, в среде которых они продолжают царствовать ныне, — необходимы для всех тех, которые или вследствие умственной неспособности, или вследствие отсутствия средств и времени для учения не могут подняться на высоту чистой науки».

Позитивисты, с консервативной точки зрения, без сомнения, правы: религия для народной черни необходима. Так как до сих пор всякое управление народом имело постоянною и непременною целью порабощение народной производительной силы в пользу привилегированного и более или менее праздного меньшинства — в этом ведь именно и состоит вся суть государства, — то всем правительствам необходимо иметь в руках средство для убеждения непросвещенной толпы в необходимости такой жертвы. Средство это может быть только двоякое: или религиозное убеждение, или насилие — или страх божий, или палочный страх. Но только одним насилием не удержать в повиновении даже самого смиренного, самого вялого народа. Всякое существо, живущее в мире, какова бы ни была его относительная слабость, способно к самому энергическому отпору, когда у него отнимают условия, необходимые для его жизни; а материальная си-

ла народа всегда значительнее силы притесняющего и эксплуатирующего его меньшинства. Поэтому для одержания полной и продолжительной победы над народом необходимо ослабить его натуральную энергию, ослабить и развратить в нем силу отпора.— Это дело религии.

С другой стороны, недостаточно также и одного действия религии для порабощения народов. Логика интересов, нужд и потребностей жизни сама по себе так ясна, так сильна, что если бы ей дали только волю и не воздерживали бы ее постоянным насилием от фактической постановки вопросов, она была бы способна разбить все кумиры в народном воображении и сердце; что имело бы опять непременно последствием уничтожение всех привилегий ныне повсюду царящего меньшинства. Итак, для сохранения порядка необходимо, чтобы обе власти: церковная и государственная, оба страха: земной и небесный — дополняли друг друга. Вот почему во всех государствах, с тех пор как существует история, палочное управление и религиозное управление были родными и неразлучными братьями.

Сторонники революции — мы враги не только всех религиозных попов, но также и попов науки, — враги всех, утверждающих, что *религия нужна для народа*, — отвратительная и подлая фраза, которая в сущности имеет вот какое значение: *«Народное невежество необходимо нам, эксплуататорам и притеснителям народа»*.

Мы хотим разрушения всякой народной религии и ее замещения народным знанием. Да, мы хотим для народа разумного, строго научного знания.

Мы хотим его, потому что хотим окончательного освобождения народа из-под всякой государственной опеки; но не для того, чтобы подвергнуть его новой опеке революционных доктринеров. Настоящая революция именно состоит в совершенном уничтожении всякой опеки, в коренном упразднении всякого государственного управления. Мы хотим совершеннолетия народного, а для совершеннолетия действительного нужна наука.

Значит, ответят нам, вы признаете, по крайней мере, законность и необходимость хоть временной опеки над народом, а именно до тех пор, пока он не просветится наукою? Нет, не значит. Мы не только не признаем этой необходимости, но, напротив, уверены, что как бы ни была низка степень просвещения народного и как бы ни были

просвещенны и искренне честны народолюбивые люди, берущиеся за честолюбивое дело опеки народа, эта опека развратила бы их самих непременно и стала бы для народа неперменным источником рабства, обеднения, умственного и нравственного застоя. *Такова уж логика всякой власти, что она в одно и то же время неотразимым образом портит того, кто ее держит в руках, и губит того, кто ей подчинен.*

Итак, мы ни в каком случае не признаем ни права, ни пользы опеки над народом, в какой бы степени развития этот народ ни стоял.

Все, что мы можем признать, это *естественность самого факта народного подчинения, народного терпения и повиновения там, где еще народ одержим суеверием, опьянен религиозными верованиями и надеждами, там, где трезвый голос науки не объяснил еще смысла вещей и где продолжительное отсутствие свободы имело результатом неразвитость характеров и незнание своей собственной силы.* Но люди, пользующиеся таким образом народным невежеством, от этого не становятся красивее.

Наша задача состоит поэтому прежде всего в уничтожении народного невежества. Но оно может быть побеждено окончательно только наукою. Доступна ли наука для народа? А почему ж нет? Ведь она нам доступна, а в народных рядах есть много, много людей, которые будут, пожалуй, и поумнее нас с вами, любезный читатель. К тому ж вам известно, что именно наш народ природой не обижен, ум его свеж, могуч, а главное, свободен. Все предрассудки его на поверхности, ни один не успел залечь в нем тяжелым, неповоротливым камнем. Но у него нет досуга, нет средств на учение. К тому ж правительство, теперь еще всемогущее, употребит, без сомнения, все громадные средства свои, чтоб помешать настоящему народному просвещению.

Да, в этом весь вопрос, весь социальный вопрос. В нем лежит необходимость самой революции.

И посмотрите, как странно поставлен этот вопрос! Кажется, безвыходный круг: *чтобы освободить народ, надо его научить; а для того, чтобы его научить, надо дать ему средства, охоту и время на учение, т. е. надо освободить его из-под того политического и социального гнета, которым он задавлен теперь.* Что же делать, с чего начать, с какой точки должны мы приняться за дело?

Многие говорят: *надо устроить по целой России народные школы*. Так говорят, особливо теперь, все усталые и от усталости или от испуга ослабевшие люди. Да, народные школы, без сомнения, — прекрасное дело. Только кто даст народу время, охоту, возможность их посещать или посылать в них своих детей? Ведь он задавлен работою, которая еле-еле спасает его от голода. И кто будет устраивать школы? правительство? дворянство? богатые люди? попы? т. е. те самые, против которых именно надо устраивать народные школы? Ведь это нелепость.

И, странное дело, нелепость эта у нас в России в известной мере чуть было не осуществилась. В среде дворянского сословия, бывшего, без сомнения, от самого основания Московского Царства по сегодняшний день заодно с государством, злейшим врагом, грабителем и мучителем народа, — нашлись люди, искренно преданные делу народного просвещения и народного освобождения. Все Декабристы и Петрашевцы принадлежали к нему; к нему же принадлежит и немалая часть политических преступников, сосланных ныне благополучно царствующим и благодушным императором в Сибирь на заточение и в каторгу. Так называемые **Нигилисты**, отчасти и огромное большинство **Нигилистов**, вышли из того же сословия; так же как и некоторые отдельные личности, ратующие в настоящее время за народ, — разумеется, *против огромного дворянского большинства* в судах и земских собраниях. Дворяне, представители целой губернии, в 1862 году требовали уничтожения сословий и созвания всенародного земского собора. Наконец, оказались дворяне, хотевшие записаться в крестьяне. Правительство, лучше их понимавшее дворянское достоинство, дворянский долг и дворянские интересы, разумеется, ни на то ни на другое не согласилось.

Это странное явление объясняется, впрочем, весьма естественно. Дворянство, как известно, было у нас первым и в продолжение многих десятилетий единственным сословием, до которого коснулся свет западного просвещения; а просвещение одарено такою плодотворною силою, что, несмотря на все гнусные политические и экономические условия (обрекающие до сих пор наше дворянство на холопство и зверство), оно успело образовать даже в дворянской среде, и особенно в дворянской молодежи, людей, ненавидящих рабство, любящих справедливость и требующих более человеческих отношений к на-

роду, на поте и крови которого было основано даже самое их образование. Весьма редкие из них, разумеется, понимали, что первым условием действительного осуществления того, что они признают справедливым, и желаемого ими освобождения народного должно было быть *совершенное уничтожение* тех экономических условий, в силу которых они — привилегированное сословие — получили возможность образоваться, а народ, обрабатывающий на них *свою*, ими отнятую у него землю, был обречен на невежество. Тем не менее стремления их, хотя бессильные и бесплодные, потому что не основаны на праве и на интересах народа, были искренни и благородны. Но цивилизация, основанная на привилегированной, наследственной собственности, т. е. на эксплуатации народного труда в России, в Европе, везде, ныне, как и всегда, заключает в себе внутреннее противоречие, которое рано или поздно должно задавить под возрастающею силою эгоистических или сословных интересов первоначальное бескорыстно-юное стремление к правде, справедливости и общему благу.

И действительно, *логика сословных интересов* стала в последнее время преобладать видимым образом в сознании и в самом политическом направлении наших сословий, не имеющих, впрочем, вне правительства ни смысла, ни силы. Та часть дворянства, которая вконец разорилась от новых реформ и которая сохранила возможность по старой привычке поддерживать свои поместья воровством казенно-служебным, начинает действительно понимать, что для соблюдения своих выгод и для спасения себя как сословия она должна дружно стать за правительство, за государство, за царя против народа. К тому же и самый революционный вопрос поставлен у нас теперь гораздо определеннее и яснее и выпутывается все более и более из того странного и, по нашему убеждению, чрезвычайно вредного смешения понятий и стремлений, которое позволяло еще недавно людям, чуждым всяких революционных инстинктов, принимать себя не на шутку за революционеров. Они обманывали и себя, и других и положительно портили дело. Но с тех пор как стало ясно, что ни в России, ни в целой Европе не может быть другой революции, кроме социальной, зная, что социальная революция на полдороге остановиться не может, большинство богатых людей, желающих сохранить и передать своим детям унаследованное или *благоприобретенное* ими богат-

ство, поняли, что им в революционных рядах не место и что их собственные интересы требуют союза неразрывного с правительством, с государством. Вследствие чего число *имущих* дворян и недворян в наших рядах стало значительно уменьшаться, заменяясь людьми, более способными любить, понимать и представлять народное дело; таковы: дети в пух разоренных дворян, разночинцы, семинаристы, мещане и крестьянские дети. В них состоит теперь главным образом и почти исключительно наша народная, противогосударственная фаланга — посредница между революционной мыслью и народом.

В начале нынешнего царствования этой розни еще не было или она мало чувствовалась. Образованная молодежь всех сословий как бы сливалась в партии движения; и когда вследствие благодетельного крымского погрома, вслед за постыдной *для государства* войной, достойным образом увенчавшей царствование императора Николая, когда вся Россия восторжествовала и как бы воскресла, мысль об освобождении народа стала мыслью всеобщей; и так как никто не сомневался в том, что наука есть вернейшее средство для достижения этой цели, множество молодых людей разных сословий бросились учреждать народные школы, воскресные и не воскресные. В короткое время возникло в России значительное число таких школ и все пошло прекрасно: народ, возбужденный светлой надеждой, стал учиться умно и охотно. Каких-нибудь десять лет такого учения, и он ушел бы далеко... Но мудрое правительство вдруг все остановило.

Да, правительство выказало в этом случае мудрость несомненную. Оно поняло, что просвещение народа будет губительно для него, для государственной власти, для целой империи. Екатерина II, без сомнения, умнейшая из потомков Петра, писала одному из своих губернаторов, который, поверив ее обычным фразам о необходимости народного просвещения, поднес ей проект об установлении школ для народа: «Дурак! все эти фразы пригодны, чтобы морочить западных болтунов; ты же знать должен, что *коль скоро народ наш станет грамотным, ни ты, ни я не останемся на своих местах*». И действительно, народ, познавший при свете науки свою силу и свою настоящую пользу, не захочет платить ежегодно несколько сотен миллионов рублей и отдавать свою кровь на содержание империи, все существование и процветание которой со времени ее

основания было и необходимым образом всегда будет основано на его разорении и рабстве.

Народу нашему, по счастливому выражению, высказавшему в двух словах вековые требования его, нужны прежде всего Земля да Воля. Империя же наша в особенности и вообще всякое военно-бюрократическое государство устроены так, что если б они даже хотели, они ни того, ни другого решительно дать народу не могут. В тот день, когда народ наш это поймет, империи не будет, следовательно, все существование ее основано на народном невежестве. Как же надеяться после того, чтоб правительство когда-либо захотело серьезно распространить просвещение в народе? И не право ли оно, *с своей точки зрения*, когда противится всеми возможными мерами созданию рациональных школ для народа?

Нет сомнения, что оно поступает бесчеловечно, жестоко со всеми искренними ревнителями народной науки. Но мы удивляться его жестокости, ни даже упрекать его в ней не станем. Оно делает свое дело. Дело же всякого государства — душить народ для сохранения себя; точно так же как дело людей революции — *разрушить государство для избавления народа*.

«Кто устоит в неравном бое?» Сила настоящего, без сомнения, за государство. Но зато сила будущего и, надемся, не слишком далекого будущего — за народ.

Мы удивляемся, напротив, тем, которые решаются утверждать, что правительство *могло не закрывать* воскресных и других школ, основанных передовыми людьми для народа; *могло терпеть* образование и процветание рабочих артелей; *могло выдерживать* свободную критику и даже *извлечь для себя пользу* из бесцензурного печатного слова; *могло не звать к себе на помощь* лучшего представителя государственной мысли и пользы нашего государственного патриота Михаила Николаевича Муравьева-вешателя; *могло не засекаать и не расстреливать крестьян*, не сумевших раскусить с первого раза комедию мнимого освобождения; *не купаться в польской крови** и не ссылатъ на каторгу, в заточение и не губить сотни наших молодых людей, отдавших себя делу народного просвещения и народного освобождения; что оно могло, одним словом, *помирить интересы империи с интересами русских и не русских народонаселений, работающих на нее как рабы и заключенных в ней, как в остроге*. Признаемся, что нам такая вера в способность правительства не делать зла и делать добро, творить чудеса не

только по минусу, но также и по плюсу казалась всегда удивительною наивностью.

Мы к этой наивности не причастны; ждем от правительства или даже, вернее, от государства, интересы которого оно представляет, всякого зла; и наперед обещаем, что как бы гнусно оно и впредь ни поступало, мы не только удивляться не станем, но будем видеть в его мерзейших поступках естественные и необходимые проявления его существа. Удивимся, напротив, и мало порадуемся, когда ему удастся сделать хоть малейшую вещь в действительную пользу народа; потому что эта капля случайно сделанного им добра возбуждением новой и непременно глупой веры в него могла бы произвести много зла.

Спешим закончить эту статью практическим заключением. Несомненно, говорим мы, что правительство воспротивится всеми силами устройству достаточных и разумных школ для народа. Должно ли это нас останавливать? Нисколько. Будем устраивать и помогать устройству школ, в крайнем случае даже правительственных, где и сколько будет возможно. Но не будем себя обманывать и скажем себе, что при бедности наших средств и при громадности правительственного противодействия мы путем школ никогда не добьемся до положительных результатов.

Путь освобождения народа посредством науки и для нас загражден; нам остается поэтому только один путь, путь революции. Пусть освободится сперва наш народ, и, когда он будет свободен, он сам захочет и сумеет всему научиться. Наше же дело приготовить всенародное восстание путем пропаганды. О том, во имя чего и как должно вести пропаганду, поговорим в другой раз. Теперь же скажем еще несколько слов об отношении нашем к народной религии.

Мы уважаем безусловно свободу каждого, лишь бы она не была свободой притеснения и гнусным произволом эксплуататора и притеснителя. Поэтому мы уважаем свободу всякой веры; уважаем не самую веру, если она глупа (глупости уважать невозможно), но только несомненное право каждого человека верить во всякую глупость, если он находит в ней утешение и удовлетворение. Это нам отнюдь мешать не должно говорить, писать, печатать, вести самую ярую пропаганду против всего, что нам кажется нелепостью, ложью, хотя бы миллионы людей верили в них. Это наша обязан-

ность, наше право. Обязанность, потому что всякая ложь и всякая глупость непременно действуют пагубно на общество, принимающее их за добро и за истину. Право, потому что, вследствие зависимости всякого человека от общества, ущерб общества — наш ущерб; его пагуба — наша пагуба. Итак, наше право и наша обязанность вести неотступную пропаганду против народной религии не могут быть подвергнуты сомнению. Другой вопрос: как надо вести ее для того чтоб она действительно достигала своей цели?

Наш совет всем нашим друзьям: поступайте осторожно с верой народа. Не потакайте ей, не притворяйтесь перед нею, но и не оскорбляйте ее. Иначе вы оттолкнете народ от себя, *прежде чем он успеет увериться в нашей честной преданности его делу*, и сами поможете правительству, которое и без того употребляет все усилия, чтоб отделить вас от него пропастью. Боритесь против народного суеверия во всех тех случаях, когда будет возможно вести эту борьбу без опасности потерять доверие народа. Но там, где противурелигиозная пропаганда могла бы восстановить его против вас, вы должны решительно от нее воздержаться. Эта осторожность необходима для самого успеха противурелигиозной пропаганды в народе.

Убедившись раз, что нам нет возможности идти путем просвещения к свободе и что мы должны достигать народной науки путем революции, мы должны устремить главным образом всю свою пропаганду против царя, должны прежде всего уничтожить в сердце народа остатки той несчастной веры в царя, которая в продолжение столь многих веков обрекала его на гибельное рабство, должны окончательно его убедить, что помещичество и чиновничество, два главные предмета его исторической ненависти, собственной силы никогда не имели, но держались всегда и продолжают держаться только волею и силой царя. Мы, наконец, должны пробудить в народе сознание его собственной, со времени Пугачева опять заснувшей, силы; должны уму указать, как соединением всех местных доселе разрозненных усилий своих в одно дружное всенародное дело он должен восторжествовать над всеми притеснителями и врагами.

Исполним эту задачу, будем только честными и неусыпными приуготовителями и повивателями революции. Все остальное сделает сама революция.

А до тех пор, да служит нам ободрением тот несомненный и, впрочем, нами выше упомянутый факт, *что религия нашего народа*, хотя и облекается большей частью в грубые формы и содержит, как все христианство, догматы, поражающие не только своей нелепостью, но и безнравственностью, — что эта религия в нашем народе *болезнь только накожная, отнюдь не проникающая в глубь его жизни*.

Народная религиозная вера коренится не в одном только невежестве, но главным образом в неполноте и в искусственной тесноте народной жизни, заедаемой собственниками и подавляемой государством; она есть как бы протест живого и жизни жаждущего сердца народа против гнусной действительности. **Напрасно бы было ждать освобождения народа от религиозного сумасшествия или пьянства, пока само положение его коренным образом не изменится.** Вы никогда не достигнете отрезвления его одним только *путем умственной пропаганды*. **Окончательно освободит его от всякой религии только СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.**

НАУКА И НАСУЩНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕЛО

В первом номере «Народного дела», единственном, в котором я участвовал и который почти исключительно принадлежит мне¹, я старался определить отношение, какое имеет *в настоящее время* наука к народу*. Теперь хочу сказать несколько слов об отношении той же самой науки к настоящей, революционной молодежи.

В «Народном деле» я старался и, кажется, успел доказать, что, как ни огромно значение науки в послереволюционном будущем для народа, в настоящее время, т. е. до той революции, которая должна поставить его на ноги и дать ему действительную возможность учиться, она решительно для него не имеет ни малейшего смысла, просто для него недоступна и ему не нужна; что правительство, слишком хорошо понимающее государственные интересы, живой и освобождающей науки до него не допустит; мертвая же или подтасованная наука, имеющая единственной целью провести в народ целую систему ложных представлений и пониманий, была бы для него положительно пагубна, заразила бы его нашим официально общественным ядом и, во всяком случае, отвлекла бы его хоть на малое время от единственно ныне полезного и спасительного дела — от бунта.

Из всего этого я заключил, что люди, толкующие в настоящей среде и при настоящих условиях об образовании народном — или пустые мечтатели и фразеры, или, что еще хуже, всенародные надуватели, эксплуататоры, просто враги.

Для всякого честного человека это должно быть ясно. И потому, оставив этот вопрос в стороне, как уже решен-

¹ Касательно всех следующих номеров я должен объявить, что я не принимал и не могу принимать в них участия, так как я не согласен ни с содержанием, ни с формой их.

ный, рассмотрим другой вопрос, *об отношении науки к революционной молодежи.*

Месяца два тому назад я написал «Воззвание к молодым братьям»*, в котором поздравлял молодежь с тем, что правительство гонит ее из университетов и школ в Народ. Немало досталось мне с разных сторон за такое дерзкое проявление искренней мысли. Не говорю уже о законном негодовании людей, принадлежащих к официальному миру, или к так называемой *порядочной*, патристически-литературной публике нашей. Заслуживать и вызывать негодование *этих* господ я всегда буду считать для себя величайшей честью, и мне стало бы горько и стыдно, если б я хотя раз, ненарочно, заслужил чем бы то ни было их одобрение.

Но между порицателями моего воззвания нашлось довольно много людей, принадлежащих к разряду более мне близкому, таких людей, между теоретическими взглядами которых и моими понятиями разницы почти нет никакой, но воззрения которых на практическое дело зато совершенно противны моим воззрениям. Выскажусь яснее.

Люди, мыслящие и занимающиеся ныне политическими и социальными вопросами в России, делятся на два разряда: одни хотят или воображают себе, что хотят, всевозможных реформ, улучшений, освобождений и всякого преуспеяния для нашего бедного, измученного народа, но стремятся ко всем этим благам путем государственным; они почти всегда порицают и часто ругают правительство, того или другого министра, пожалуй, самого государя, но вместе с тем думают, что государство есть лучшее и даже единственное средство для достижения народных целей и для осуществления высоких народных судеб; и потому ставят всегда и везде на первом плане преуспеяние и силу государства как единственно возможную основу для блага народного. Другие, напротив, дошли до того убеждения, что государство по существу и по форме вместе с церковью принадлежит к гнуснейшим и ко вреднейшим порождениям исторического невежества и рабства; что вообще всякое государство, а по преимуществу Всероссийское, не только мешает, но уничтожает в корне самую возможность благосостояния и свободы народов. Основываясь на таком убеждении, они думают, что для освобождения народа нашего необходимо полнейшее разрушение Всероссийского государства.

К первому разряду принадлежат *реформаторы-государственники*, ко второму — *революционеры*.

Я, со своей стороны, пришел к тому убеждению, что не стоит тратить слов с *государственниками*, какими бы либеральными они ни казались. Кажись или будь они в самом деле от природы и мягкосерды, и человеколюбивы, и благородны, суровая логика обрекает их на подлость, на зверство, потому что никакое государство, а тем паче Всероссийское, без подлости и без зверства ни существовать, ни даже год продержаться не может. Им прямая дорога если не в полнейшую отставку от всякого дела, так в *Муравьевщину**.

Другое дело *революционеры*; с ними говорить можно и должно. Но и революционеры делятся, в свою очередь, на две категории: на *доктринеров* и на *людей живого и насущного дела*.

Революционерами доктринерными я называю тех, которые дошли до революционного понимания и до сознания необходимости революции не из жизни, а по книжкам. В иных, менее серьезных, но зато более драматических и самолюбивых, чтение истории прошедших революций возбудило юношеское воображение; пример знаменитых революционных героев возбудил желание сделаться или, по крайней мере, казаться такими же героями. Они мечтают о насильственных переворотах, в которых разыгрывают, разумеется, сами не последнюю роль, о баррикадном бое, о терроре и об общеспасительных, издаваемых ими, декретах, и им самим становится страшно при одной мысли о том, как они будут страшны. Эти люди тешатся невинною игрою в революцию. Всегда самолюбивые и даже тщеславные, они в начале своей карьеры довольно искренни; принимая пыл юношеского воображения за жар сердца, громкую фразу за мысль и стремительность темперамента за доказательство энергии и воли, они сначала серьезно верят в себя. Потом жар остывает, но пустота мысли и привычка ходульности остаются, и они становятся под конец неисправимыми фиглярами и фразерами.

С этими людьми всякий разговор бесполезен. Им дела нет до дела, а только до себя. Говоря беспрестанно во имя народа, они никогда не заботились и ничего знать не хотят о народе. Народ для них только предлог, пешка, подстава, бессмысленная и мертвая масса, ожидающая жизни, мысли, счастья, свободы от них и единственно только

от них. Они чувствуют в себе диктаторское призвание и не сомневаются в том, что народ будет двигаться как глупое стадо по их мановению. Постоянное вождение с собою доходит в них до сумасшествия. Никакой предмет, никакое происшествие, как бы велики они ни были, не могут заставить их забыть о себе: во всем они видят только себя. Пусть же продолжают они собою любоваться; мы отвернемся от них.

Есть доктринеры более серьезные: люди, дошедшие до революционного сознания не путем личной, самолюбивой фантазии, а путем глубокого объективного мышления, путем серьезного изучения истории и настоящего положения народа. Эти люди знают и объясняют вам как нельзя лучше, почему в настоящее время всякий порядочный человек должен быть революционером. И — странная вещь! — зная это так хорошо, они редко и с необыкновенным трудом становятся сами настоящими революционерами. Как объяснить это явление?

По-моему, оно объясняется очень хорошо. Дошли они до революционного сознания не путем жизни, а мысли, наперекор всей их жизненной обстановке. Сравнительно с невыносимою жизнью миллионов их жизнь хороша и легка. Даже сама государственная действительность, столь черствая и беспощадная для народа, касается до них гораздо учтивее и мягче. В их собственной жизни сравнительно редко встречаются обстоятельства, происшествия и случаи, могущие пробудить в человеке непримиримую ненависть, неутолимую страсть разрушения. Их революционная страсть по преимуществу отвлеченная, головная и только редко серьезная.

Разумеется, тяжело и часто становится невыносимо для умного и благородного человека жить в мире подлости, пошлости, зверства, быть ежедневным свидетелем самой гнусной и вопиющей неправды. Но к чему человек не привыкнет? Само чувство негодования притупляется, когда мерзость становится фактом непрерывным и повсеместным. Лишь только личная обида смертельна, к чужим же обидам привыкнуть можно.

Наконец, когда становится невтерпеж, можно уехать на время и отдохнуть за границей, можно также уйти в святой и вечно юный мир науки, искусства, дружбы, любви; можно заняться или устройством какого-нибудь невинного кооперативного товарищества, или разумною обстановкою своей собственной жизни.

Если же совесть бунтует и не соглашается на такие примирения и сделки, то ее можно уговорить следующими рассуждениями: «Действительность, без сомнения, мерзка, но она сильна, и мы против нее бессильны. Сила же не заключается в произволе того или другого лица, а в совокупности всех drobных общественных сил, фактов, стремлений и настроений, которых она есть порождение и полнейшее выражение. Она существует как непременный результат всего живущего и действующего в обществе; значит, никакая личная сила не в состоянии ее уничтожить, и было бы смешно со стороны одного или нескольких лиц пытаться ее уничтожить. Если действительность наша такова, что она производит из своей среды, делает возможными и даже необходимыми царей, как Александр II, министров и государственных людей, подобных нынешним, то мы должны поневоле покориться неотвратимой необходимости, против которой всякая попытка бунта была ребячеством. Если б даже нам удалось уничтожить Александра Николаевича вместе со всем царским семейством и со всеми его чудотворцами, архангелами, и ангелами-исполнителями, то другие, такие же или даже, пожалуй, их хуже, не замедлили бы стать на их место. Они не болезнь, а только проявление болезни, точно так же как вошь в голове нечистоплотного человека есть продукт нечистоты, или гной раны продукт не зависящего от него телесного повреждения.

Хотите вы, чтоб вперед такие цари и министры сделались невозможными, не занимайтесь ими; и, не тратя сил на бесплодные бунты, устремите их исключительно на изменение общественной среды, которая, в виде паразитов и гноя, порождает таких уродов. Будем действовать неуспно и неутомимо, но действовать разумно, осторожно и хладнокровно, не ожидая плодов на будущий день и довольствуясь мыслью, что наши усилия готовят разумный общественный строй для будущих поколений. Что ж станем мы делать? Отказавшись от всякой политической и служебной деятельности, которая для нас в настоящее время ни в правительственном, ни в антиправительственном смысле решительно невозможна, предадимся изучению и живой пропаганде печатью, словом и жизнью зрелых социальных идей; образуем кружки литературно-социальные, кооперативные общества науки, работы и жизни. Прежде всего нам нужен свет, как можно более света! Большинство между нами невежи, мы дол-

жны много учиться и всему научиться прежде, чем станем помышлять о практических преобразованиях общества. Итак, станем учиться и помогать учиться другим. Научим невеж, поддержим бедных. Таким образом, мы образуем в непродолжительное время фалангу молодых людей, честных деятелей, знающих, чего им желать, чего им хотеть, куда им стремиться. Разумеется, главным предметом изучения у наших кружков будет Россия, ее история, ее настоящее положение. Мы все толкуем о ней, каждый хочет ее освободить, и никто не знает ее, не знает, чего действительно надо народу, чего он хочет и куда неотвратимый фатум истории его ведет? Вот когда мы действительно узнаем его, узнаем его прошедшее и его настоящее, тогда нам будет легко угадать его будущее, а раз его угадав, мы с знанием и непоколебимой верой, осмысленной этим знанием, вступим на поприще дела, и тогда мы будем всемогущи, тем более, что к тому же времени, вероятно, созреет сознание народное, зреющее ныне гораздо быстрее, чем прежде. Да наконец, и мы сами, занимаясь, с одной стороны, своим собственным образованием, можем, с другой, более или менее способствовать его скорейшему созреванию. Несмотря на все преграды, противопоставляемые нам правительством, мы можем распространять нашу пропаганду и на народ посредством сельских учителей, посредством дельных и умных книжек, посредством кооперативных мужских и женских артелей, посредством сельских школ, наконец, даже посредством земских учреждений. Нет сомнения, что правительство будет нам мешать на каждом шагу — катковские, скарятинские и другие благомыслящие журналы* вместе со всеми скотами и дураками в дворянстве — а их легион! — будут на нас клеветать, доносить, нас будут жестоко преследовать. Но если нас будет много, если мы своими мирными, но вместе с тем непреклонно к одной и той же цели стремящимися фалангами покроем всю Русскую землю и пойдем дружно, опираясь друг на друга, опираясь на закон и на свое несомненное право, сильные мыслью, служащие нам звездой путеводной, — мы победим всех противников, все препятствия, мы будем сильнее правительства и *додумаемся*, наконец, до народа, до возбуждения жизни народной».

Вот, кажется, во всей ее полноте программа наших умных доктринеров. Тут есть и светлая мысль, и высокий подвиг. Нет только никакой реальности, нет действитель-

ной почвы, нет настоящего дела, нет жизни. Для того чтоб разбить раз навсегда эту систему, это последнее убежище получестного доктринаризма — вполне честным никакое доктринерство быть не может, — я прослежу ее аргументацию шаг за шагом; а для того чтоб не удалаться от своего предмета, буду брать доказательства и примеры по преимуществу из русской государственной и общественной действительности. Итак, поклонившись по русскому обычаю на все четыре стороны, вступаю в бой с этим современным чудовищем — доктринерством, поедающим столько живых сил и губящим столько молодых людей в России.

Я допускаю охотно первое положение его, что действительность, т. е. политические, гражданские и общественные порядки, существующие в данное время во всякой стране, — есть окончательный итог или, вернее, результат борьбы, столкновения, взаимного уничтожения, переселения и вообще комбинации и взаимного действия всех разнородных внутренних и внешних сил, действующих в этой стране и на эту страну. Что ж из этого следует? Во-первых, то, что изменение этих порядков не иначе возможно и никогда иначе не происходит, как через изменение самого равновесия между силами, действующими в данном обществе.

Для того чтобы решить важный вопрос, как изменились в истории и как в настоящее время могут быть изменены существующие равновесия или порядки в обществе, взглянем поближе на самую сущность общественных сил.

Точно так же, как в органическом и неорганическом мире все, что живет или даже просто механически, физически и химически существует, непременно, в какой бы то ни было мере, влияет на весь окружающий мир, точно также в обществе самое ничтожное человеческое существо представляет собою частицу общественной силы. Разумеется, что если взять эту частицу в ее полнейшем уединении, то она будет в сравнении с громадною совокупностью всех общественных сил ничтожна, почти равна нулю. Поэтому, если б я сам один и без всякой связи с кем бы то ни было намеревался переменить существующие порядки только потому, что они мне, именно мне и только мне одному не нравятся, — я был бы дураком.

Если б нас собралось десять, двадцать, тридцать человек с одинаковою целью, то это было бы уж гораздо серьезнее, хотя все еще далеко не достаточно для достижения

самой цели, если только эта цель по самому существу своему не чересчур ограничена и ничтожна. Дружное усилие нескольких десятков людей гораздо серьезнее всякого одинакового усилия не потому только, что сумма нескольких единиц всегда больше одной единицы, — в многомиллионном обществе сумма нескольких десятков ничтожных частиц в сравнении с громадною суммою всех общественных сил также почти равна нулю, — но потому, что когда десять или более людей соединяют свои усилия для достижения общей цели, между ними зарождается новая сила, далеко превосходящая простую арифметическую сумму их частных усилий. В политической экономии этот факт был впервые подмечен Адамом Смитом и приписан натуральному действию *разделения работы*. Но в рассматриваемом мною случае действует, т. е. создает новую силу, не только разделение работы, а также, и еще в гораздо большей мере, сговор — *сговор* и последующее за ним непременно создание плана действия, а потом и наилучшее *распределение и механическое или рассчитанное устройство немногочисленных сил* сообразно с созданным планом.

Дело в том, что со времени, как существует история, во всех странах, даже самых просвещенных и сознательных, вся сумма общественных сил делится на два главные, существенно друг от друга различные и часто, можно даже сказать почти всегда, друг другу противоположные разряды. На сумму сил бессознательных, инстинктивных, традиционных, как бы стихийных и совсем почти неорганизованных, хотя и исполненных жизни, и на несравненно меньшую сумму сил сознательных, сговоренных, соединенных намеренно и действующих по заданному плану и сообразно плану механически организованных. К первому разряду принадлежит вся многомиллионная масса народа и даже по многим отношениям значительное большинство образованного и привилегированных сословий и, наконец, даже вся низшая бюрократия и войско; хотя и сословия, и бюрократия, и войско по существу своему, по выгодам своего положения и по целесообразному, более или менее механическому устройству принадлежат ко второму разряду, центр которого, разумеется, занимает правительство. Одним словом, общество разделено на меньшинство, состоящее из эксплуататоров, и на огромную массу, более или менее сознательно эксплуатируемую.

Разумеется, что нет возможности отделить резкою чертою один мир от другого. В обществе, как в природе, самые противоположные силы в предельных пунктах сливаются. Но можно сказать, что у нас, например, крестьянский народ и мещане — чистые представители огромной массы эксплуатируемых. Над ними возвышаются один за другим целые общественные слои, которые, чем ближе к народу, тем более принадлежат к разряду эксплуатируемых и тем менее эксплуатируют сами, и чем от него дальше, тем в большей мере принадлежат к разряду эксплуататоров и тем менее терпят от эксплуатации.

Так, у нас над крестьянством и над мещанством возвышается в деревнях общество кулаков, в городах купеческие гильдии, несомненно эксплуатирующие народ, но в свою очередь эксплуатируемые, так же как и сам народ, богатейшим купечеством, поповством, дворянством и па-че всего низшим и высшим правительством. То же самое можно сказать и о низшем духовенстве, заедаемом высшим, и о мелкопоместном, а теперь даже и о среднем дворянстве, затираемом все более и более, с одной стороны, богатыми поземельными собственниками из купеческого сословия, а с другой — чиновною и придворною аристократиею. Сама бюрократия и войско представляют страннейшее смешение страдательности и деятельности в деле государственного эксплуатации, причем, разумеется, чем ниже, тем более страдательности, чем выше, тем более сознательной деятельности.

На самом верху этой лестницы стоит немногочисленная группа чистейших и сознательнейших эксплуататоров: Верховное Правительство, т. е. прежде всего Государь-Император со всем августейшим домом своим, потом его двор, его министры, его генерал-адъютанты и флигель-адъютанты, все высшие чины в военном, в гражданском и в духовном ведомстве, а обок них высший финансовый, промышленный и торговый мир, заедающий, с позволения правительства и под его покровительством, все богатство или, вернее, всю бедность народную.

Вот, кажется, верное распределение русского мира. Теперь посмотрим, в каком количественном отношении эти три разряда находятся между собою? Из 70 миллионов жителей целой империи на долю первой, или низшей, категории людей, чисто эксплуатируемых, выпадает никак не меньше 67 или даже 68 миллионов. Количество

чистых и вполне сознательных, значит, вполне злонамеренных эксплуататоров никак не превышает трех, четырех, ну, скажем, 10 000 людей. Около двух или трех миллионов остаются поэтому на средний разряд, состоящий из людей в одно и то же время, хотя и не в одинаковой мере, эксплуатирующих и эксплуатируемых. Этот разряд может быть разделен на два отдела: на огромное большинство, состоящее из людей гораздо более эксплуатируемых, чем эксплуатирующих, и на меньшинство мало эксплуатируемых и более или менее сознательных эксплуататоров; присоединим этот последний отдел к высшему разряду чистейших и высокопоставленных эксплуататоров, и мы получим на 70 миллионов жителей много, много, что 200 тысяч настоящих, злостных эксплуататоров, так что на каждую эксплуатирующую душу выпадет около 350 душ эксплуатируемых.

Теперь спрашивается: откуда могло взяться такое уродливое отношение? Почему в государстве 200 000 человек могут безнаказанно эксплуатировать 70 миллионов? Разве в этих двухсот тысячах более физической силы или более природного ума, чем в остальных семидесяти миллионах? Достаточно поставить этот вопрос, для того чтобы отвечать на него отрицательно. О физической силе и говорить нечего, что же касается до природного ума, то если вы возьмете из народа, без всякого выбора, первые двести тысяч человек, попавшихся вам под руку, и сравните их с двумястами тысяч эксплуататоров, то вы немедленно убедитесь, что в первых гораздо более природного ума, чем в последних. Но последние имеют перед первыми огромное преимущество: *образование*.

Да, образование есть несомненная сила, и как бы плохо, поверхностно и уродливо ни было образование наших высших сословий, нет сомнения, что оно вместе с другими причинами способствует к удержанию власти и силы в руках привилегированного меньшинства. Но тут же является вопрос: почему меньшинство образованно, почему не образованно огромное большинство? Потому ли, что меньшинство более способно к образованию, чем большинство? Опять-таки стоит только поставить этот вопрос, для того чтоб отвечать на него отрицательно. Образовательной способности в народе несравненно больше, чем в меньшинстве, значит, меньшинство пользуется привилегией образования совсем по иным причинам. Какие же это причины? Причина одна и к тому же всем извест-

ная: меньшинство находилось и продолжает находиться в таком положении, что образование для него доступно, а народные массы в таком, что образование для них невозможно, т. е. меньшинство находится в выгодном положении эксплуататоров, а народ — жертва их эксплуатации. Значит, отношение эксплуатирующего меньшинства к эксплуатируемому народу определялось гораздо прежде того момента, когда меньшинство путем исключительного самообразования стало стремиться к утверждению власти в своих руках. На чем же могло оно основаться прежде этого момента? На единственной силе *сговора*.

Все государства, настоящие и прошедшие, имели неперменным и главным началом *сговор*. Напрасно отыскивают главную причину образования государств в религии. Нет сомнения, что религия, т. е. народное невежество, изуверие и обусловленная ими народная глупость, много способствовала к устройству систематической эксплуатации народных масс, называемой государством. Но для того чтобы глупость была эксплуатируема, непременно нужно, чтоб нашлись эксплуататоры, которые, *сговорившись* между собою, и создают Государство.

Возьмите сто дураков, между ними непременно найдутся несколько людей посмышленнее, которые хотя и глупы, но менее глупы, чем все другие; поэтому самым естественным образом они сделаются вожаками и в этом звании или, скорей, положении, будут, пожалуй, сначала друг против друга бороться, пока не поймут, что они таким образом уничтожают друг друга без всякой пользы для себя и для того, что им кажется делом. Поняв это, они будут стремиться к соединению; пожалуй, соединятся не все, но разделятся на две, на три группы, на два, на три *сговора*. Между группами необходимо начнется борьба, причем каждая будет употреблять *все возможные* средства: и услуги, и подкуп, и обман, и, разумеется, религию, чтобы привлечь на свою сторону народную массу, т. е. всех остальных дураков. Вот вам и начало государственной эксплуатации. Наконец, одна партия, наиболее обширный и умный *сговор*, победив все другие, воцаряется и создает *правильное государство*. Победа, естественным образом, привлекает на сторону победителей много людей из лагеря побежденных, и если победившая партия умна, то она охотно принимает в свою среду, оказывает всякое уважение и дает всякую льготу наивлиятельнейшим и сильнейшим из партии побежденных, распределяя их по роду их

специальных занятий, т. е. тех способов и тех средств, к которым они привычным или наследственным образом прибегают для эксплуатирования более или менее сознательно всех остальных дураков, — кого в поповство, кого в дружину или в боярщину, кого в купечество. Таким образом создаются *государственные сословия*, и государство совсем готово. Та или другая религия потом объясняет, т. е. обоготворяет, совершившийся факт насилия и тем самым кладет основание так называемому *государственному праву*.

Раз утвердившись, государственные сословия продолжают развиваться и укрепляться над народною массою путем естественного нарастания и унаследования. Дети и внуки первых сословников становятся, чем далее, тем в обширнейшей мере, эксплуататорами народа еще более по своему положению, чем по сознательному и преднамеренно рассчитанному плану. Заговор преднамеренный сосредоточивается все выше и выше в руках верховного правительства и наиболее близко стоящего к нему меньшинства и превращается для огромнейшего большинства привилегированных сословий в эксплуатацию все более и более привычное, традиционное, обрядное и более или менее наивное.

Мало-помалу, и тем сильнее, чем дольше, большинство эксплуататоров по рождению и по унаследованному ими положению в обществе начинают верить серьезно в *свои исторические и прирожденные права*. И не только они сами, массы эксплуатируемых ими, подвергаясь влиянию той же традиционной привычки и тлетворному действию *злоумышленных* религиозных учений, начинают также верить в права своих эксплуататоров и мучителей и продолжают верить в них до тех пор, пока мера их мук не переполнится и страдания всякого рода не пробудят в них другое сознание.

Это новое сознание пробуждается и развивается в народных массах чрезвычайно медленно. Века проходят, прежде чем оно совсем не пробудится; но зато уж когда оно пробудилось, оно ломает все, никакая сила не может ему воспротивиться. Поэтому главная задача государственной мудрости состоит именно в том, чтоб помешать всеми средствами пробуждению разумного сознания в народе или, по крайней мере, чтоб замедлить его донельзя.

Медленность же развития разумного сознания в народе происходит от двух главных причин. *Во-первых*, народ задавлен тяжелой работой и еще более тяжкою заботой

о жизни. А во-вторых, он самим политическим и экономическим положением своим обречен на невежество.

Нищета, голод, изнурительная работа и непрерывное притеснение достаточны, чтобы забить самого сильного и самого умного человека. Присоедините ко всему этому невежество, и вы подивитесь, что этот бедный народ, хоть самым медленным шагом, двигается еще вперед и не становится, напротив, год от году глупее.

Знание — сила, невежество — причина общественного бессилия. Еще бы ничего, если б в обществе все были бы погружены в одинаковое невежество. Тогда кто от природы умнее, тот был бы и сильнее. Но ввиду вперед движущегося образования государственных сословий сама натуральная сила ума народного тратит свое значение. Что такое образование, если не умственный капитал, сумма умственных трудов всех прошедших поколений? Где ж невежественному уму, как бы он ни был силен от природы, выдержать борьбу против коллективной умственной силы, выработанной веками? Вот почему мы видим нередко, что умный человек из народа пасует перед образованным дураком. Дурак поражает его не своим умом, а чужим, приобретенным. Это случается, впрочем, только тогда, когда умный мужик встречается с образованным дураком в вопросах для него неизвестных. На своей собственной почве, им досконально изведанной, мужик в состоянии забить десяток и целую сотню образованных дураков. Но в том-то и беда, что вследствие невежества область народного мышления чрезвычайно тесна. Редкий умный мужик видит далее своей деревни, в то время как самый ограниченный человек, получивший образование, приучается обнимать своим слабым умом интересы и жизнь целых стран. Невежество главным образом мешает народу сознать свою повсеместную солидарность, свою громадную численную силу; мешает ему *сговориться* и создать организацию бунта против организованного грабежа и утеснения — против государства.

Всякое благоразумное государство употребит поэтому всевозможные средства для того, чтоб поддержать в народе это драгоценное невежество, на котором зиждется вся его сила и самое существование.

Точно так же, как в государстве народ обречен на невежество, точно так же сословия государственные самим положением своим призваны двигать вперед дело государственной цивилизации. До сих пор не было другой ци-

визации в истории, кроме цивилизации сословной. Народ настоящий, чернорабочий народ был для нее до сих пор только орудием и жертвою. Он черной и тяжелой работой своей создает материал для общественного просвещения, которое, в свою очередь, увеличивая все более и более преобладание государственных сословий над ним, вознаграждает его нищетою и оковами.

Если б сословное просвещение подвигалось постоянно вперед, а народное сознание было бы лишено всякого развития, то рабству народному не было бы конца, напротив, оно должно бы было становиться с каждым новым поколением все глубже и глубже. К счастью, ни сословия не подвигаются постоянно вперед, ни народ ни остается недвижим. В самом ядре сословного просвещения есть червь, сначала еле заметный, но разрастающийся вместе с ним и разъедающий и разрушающий его под конец совершенно. Червь этот не что иное, как привилегия, неправда, эксплуатирование и притеснение народа, составляющие самую суть всякого сословного существования и поэтому также и всякого сословного сознания.

В первые, героические времена сословной жизни все это мало чувствуется и еще менее сознается. Эгоизм сословный прикрывается в начале истории героизмом лиц, жертвующих собою отнюдь не для пользы народной, но для пользы и для славы сословия, составляющего для них весь народ и за которым они видят только врагов или рабов. Таковы были пресловутые греческие и римские республиканцы. Но героические времена скоро проходят, наступают за ними времена прозаического пользования и наслаждения, когда привилегия, являясь в своем настоящем виде, порождает эгоизм, трусость, подлость и глупость. Сословная сила обращается мало-помалу в дряхлость, в разврат и в бессилье.

В этот период падения сословий выделяется из него меньшинство людей неиспорченных или менее испорченных — людей живых, умных и великодушных, предпочитающих правду своим собственным интересам и додумавшихся до права народного, попранного сословными привилегиями. Они обыкновенно начинают с того, что пытаются тщетно пробудить совесть в сословии, к которому принадлежат по рождению; потом, убедившись в тщетности своих усилий, поворачиваются к нему спиною, отвергаются от него и становятся апостолами народного осво-

по инстинкту и по направлению, только с демократическими и республиканскими фразами, отнюдь не мешающими, а напротив, чрезвычайно помогающими ныне исполнению самых реакционных мер, человек, одним словом, между которым и революцией нет и никогда не было ничего общего и который в 1870 и 1871 годах был одним из самых ревностных поборников буржуазного порядка в Лионе. Но он в настоящее время, как и много других буржуазных патриотов, находит для себя выгодным подвизаться под знаменем, отнюдь не революционным, г. Гамбетты. В этом смысле он был избран Парижем в пик президенту республики Тьеру и монархическому псевдонародному собранию, царствующему в Версале. И выбора этого ничтожного лица было достаточно, чтобы взбудоражить всю консервативную партию! И знаете ли, какой их главный аргумент? Немцы!

Раскройте любой журнал и вы увидите, как они грозят французскому пролетариату законным гневом князя Бисмарка и его императора, — каков патриотизм! Да они просто зовут немцев на помощь против грозящей им французской социальной революции. В своем дурацком испуге они приняли даже невинного Бароде за революционного социалиста.

Такое настроение французской буржуазии подает мало надежды на восстановление государственного могущества и преобладания Франции посредством патриотизма привилегированных классов.

Патриотизм французского пролетариата также не представляет много надежды. Границы его отечества расширились до того, что обнимают ныне пролетариат целого мира в противоположность всей буржуазии, не исключая, разумеется, и французской. Заявления Парижской Коммуны в этом смысле решительны; а симпатии, высказываемые ныне так ясно французскими работниками к испанской революции, особенно в Южной Франции, где обнаруживается явное стремление пролетариата к братскому соединению с испанским пролетариатом и даже к образованию с ним народной федерации, основанной на освобожденном труде и на коллективной собственности, наперекор всем национальным различиям и государственным границам, — эти симпатии и стремления, говорю я, доказывают, что собственно для французского пролетариата, так же как и для привилегированных классов, время государственного патриотизма прошло.

бождения и народного бунта. Таковы были наши Декабристы.

Если Декабристы не имели успеха, так это по двум главным причинам. Во-первых, они все-таки были дворяне; и, не имея никакого общения с народом, они плохо знали, что ему нужно. Во-вторых, потому, что они, вследствие той же причины, не умели к нему подойти, не умели пробудить в нем страсть и веру, говорили ему своим языком свои, а не народные мысли. Настоящими предводителями народного освобождения могут быть только люди из народа. Но каким образом из самой глубины народного невежества могут выработаться освободители народные?

По мере того как ум и сила сословные падают, подымается народный ум, а за ним и народная сила. В народе, как бы ни развивался он медленно и хотя книжное образование для него недоступно, движение вперед никогда не останавливается. У него есть две настольные книги, по которым он учится беспрестанно: первая — горький опыт, нужда, притеснения, обиды, грабеж и мучения, претерпеваемые им каждодневно со стороны правительства и сословий; другая книга — это живое, изустное предание, переходящее от поколения к поколению и становящееся с каждым новым поколением полнее, разумнее и шире. За исключением весьма редких моментов, в которые народ, выведенный из терпения, выходил сам, собственным движением на сцену, народ играл до сих пор во всех государствах гораздо более роль зрителя, чем актера, в исторической драме, а если и был отчасти актером, так вроде тех безгласных, которых выводят на сцену для представления войска или народа. В борьбе сословных партий между собою народ, разумеется, был всегда призываем на помощь каждую, и каждая, пока в нем нуждалась, обещала ему, разумеется, всевозможные блага; но лишь только борьба кончалась победой той или другой партии или их обоюдною сделкою, обещания естественным образом забывались; мало того, народ должен был вознаградить и той и другой все убытки. Примирение или победа не могла иначе совершиться, как на его исключительный счет. Впрочем, ведь иначе и быть не могло, и всегда будет так, пока не изменятся совершенно экономические и политические условия общественной жизни.

О чем могут спорить сословные партии между собою? Только о богатстве и власти. Что ж такое богатство

и власть, как не два неразлучные вида эксплуатирования народного труда и народной неорганизованной силы. Все сословные партии богаты и сильны только силою и богатством, уворованными ими у народа. Значит, поражение какой бы то ни было партии есть поражение известной части силы народной; убыток и разорение ее непременно есть разорение такой же части народного богатства. Торжество же и обогащение торжествующей партии не только ничего не приносит народу, но ухудшает его положение; во-первых, потому что он всегда один платит все издержки борьбы; а во-вторых, потому что победившая сторона, не имея более соперника в деле эксплуатирования народной жизни и силы, начинает его эксплуатировать с гораздо большею энергиею и бессовестностью.

Таков опыт, сделанный всеми народными массами от начала самой истории, и народ, этот многовековой ученик, доходит, наконец, до разумного сознания, до ясного понимания вещей рядом подобных опытов, из которых каждый стоил ему невесть сколько мучения, разорения и крови.

В основании всех исторических вопросов, национальных, религиозных и политических, лежал всегда не только для чернорабочего народа, но и для всех сословий и даже для государства и церкви, самый важный, самый существенный *вопрос экономический*. Богатство было всегда и до сих пор остается неперменным условием для осуществления всего человеческого: власти, силы, ума, знания, свободы. Это до такой степени справедливо, что самая идеальная церковь в мире, христианская, проповедующая презрение к благам мира сего, едва только успела победить язычество и на развалинах его поставить свое могущество, как уж устремила всю энергию свою на приобретение богатства. Политическая сила и богатство неразлучны. Кто силен, тот имеет все средства для приобретения богатства и непременно должен стремиться к приобретению его, потому что без богатства он долго не сохранит своей силы. Кто богат, тот может и непременно должен стать сильным, потому что если у него не будет силы, сила чужая отнимет у него богатство. Чернорабочий народ во все времена и во всех странах был бессилён, потому что был в нищете, и оставался он нищим потому, что у него не было организованной силы. Мудрено ли после того, что во всевозможных вопросах он видел и видит

главным образом и прежде всего *вопрос экономический* — вопрос о хлебе.

Чернорабочий народ, эта постоянная жертва цивилизации, этот страдалец истории, далеко не понимал и не видел его всегда, как видит и понимает теперь, но зато во все времена чувствовал его одинаково сильно, и можно сказать, что посреди всех исторических вопросов, вызывавших его доселе на более или менее страдательное содействие, во всех инстинктивных стремлениях и попытках его на религиозном или на политическом поприще он чувствовал только его и стремился только к его разрешению. Всякий народ, взятый в своей совокупности, и всякий чернорабочий человек из народа — *социалист* по своему положению. А эта манера быть социалистом несравненно серьезнее манеры тех социалистов, которые, по выгодной обстановке всей своей жизни принадлежа к высшим сословиям, пришли к социалистическим убеждениям только путем науки и мысли.

Я отнюдь не пренебрегаю ни наукой, ни мыслью. Знаю, что ими, главным образом, человек отличается от всех других животных, и признаю их за единственные путеводные звезды всякого человеческого преуспевания. Но знаю вместе с тем, что они холодно светят, когда не идут рука об руку с жизнью, и знаю, что самая правда их становится бессильною и бесплодною, когда она не опирается на правду в жизни. Противуречие с этою последнею правдою обрекает нередко и науку, и мысль на ложь, на софизм, на служение неправде — или, по крайней мере, на постыдную трусость и бездеятельность. Ведь ни наука, ни мысль не существуют особо, в абстракте, они проявляются только в живом человеке, а всякий живой человек — существо нераздельное, которое не может в одно и то же время искать строгой правды в теории и пользоваться плодами неправды на практике. Во всяком, даже самом искреннем социалисте, принадлежащем не по рождению — это бы еще ничего, мало ли какие перемены могут случаться с ним после рождения! — но по настоящей жизни своей к какому-нибудь из привилегированных, т. е. народ эксплуатирующих, сословий, вы непременно найдете это противуречие между мыслью и жизнью; противуречие это непременно парализует его, делает его более или менее бессильным, и он не может сделаться иначе социалистом вполне искренним и могучим, как разорвавши решительно *все связи* с привилегиро-

ванным или эксплуатирующим миром и отказавшись от всех выгод его.

Чернорабочему человеку не от чего отказываться, не от чего отрываться — он *социалист* именно по своему положению. Вечно нищий, обиженный и забитый, он по инстинкту, на факте — естественный представитель всех нищих, обиженных и забитых, — а что такое весь социальный вопрос, если не вопрос об окончательном и всецелом освобождении всех нищих, обиженных и забитых? Существенная разница между образованным социалистом, принадлежащим, хоть даже по одному образованию своему, к государственно-сословному миру, и бессознательным социалистом из чернорабочего люда состоит именно в том, что первый, желая быть социалистом, никогда не может сделаться им вполне, в то время как последний, будучи вполне социалистом, не подозревает о том и не знает, что есть социальная наука на свете, и даже никогда не слышал самого имени социализма. Один знает, но не есть, другой есть, но не знает. Что лучше? По-моему, *быть* лучше. Из отвлеченной мысли, не сопровождаемой жизнью и не толкаемой жизненной необходимостью, переход в жизнь, можно сказать, невозможен. Возможность же перехода бытия к мысли доказывается всею историею. Она доказывается именно историею чернорабочего люда.

Весь социальный вопрос сводится на вопрос чрезвычайно простой. Толпы народные обречены были до сих пор, всегда и везде, на нищету и на рабство. Они составляли везде и всегда огромное большинство в сравнении с притесняющим и эксплуатирующим их меньшинством. Значит, численная сила была всегда, как и теперь, на их стороне. Почему ж не воспользовались они ею до самой настоящей минуты для того, чтоб свергнуть с себя разорительное и ненавистное иго? Можно ли представить себе, чтоб было время, когда они его любили, когда оно им не было тяжело? Это было бы противно здравому смыслу, противно самой природе. Все живое стремится к благосостоянию и воле, и для того, чтоб ненавидеть своего притеснителя или грабителя, не нужно даже быть человеком, достаточно быть животным. Следовательно, долготерпеливость масс объясняется другими причинами.

Одна из главных причин, несомненно, заключается в народном невежестве. Вследствие этого невежества народ не обнимает себя как солидарную и в своей солидарности всемогущую массу, он разъединен в своем понятии

о себе, точно так же как под влиянием гнетущих его обстоятельств разъединен в жизни. Эта двойная разъединенность есть главный источник его ежедневного бессилия. Вследствие этой разъединенности в народе, невежественном или стоящем на низшей степени исторического образования или исторического коллективного опыта, каждое лицо, каждая община, каждая волость видит в претерпеваемых ими бедах и притеснениях явление личное или частное, а не общее явление, касающееся всех одинаково и долженствующее поэтому всех связать в едином и общем предприятии, отпоре или деле. Напротив, область смотрит на область, община на общину, семья на семью и лицо на другое лицо как на врага, готового его притеснить и ограбить, а пока продолжается это взаимное отчуждение, всякой еле-еле сговорившейся и организованной партии, касте или государственной власти, представляющей собою сравнительно даже самое незначительное число людей, весьма легко терроризировать, надувать и притеснять миллионы чернорабочих.

Вторая причина, также непосредственное последствие того же самого невежества, состоит в том, что народ не видит и не знает главных источников своих бедствий и ненавидит часто только проявления причины, а не самую причину, точно так же как собака нередко кусает палку, которою ее бьет человек, а не человека, бьющего ее палкою. Поэтому правительствам, кастам, партиям, основывавшим доселе все существование свое на заблуждении народном, было чрезвычайно легко обманывать народ, эту постоянную жертву всех государств и всякого государствования. Не зная настоящих причин своих бед, народ, разумеется, не мог знать и тех путей, и тех средств, которыми он может от них избавиться, а прибегал или, лучше, давал себя увлекать от одного ложного пути на другой, столько же ложный, и, ища средств для спасения там, где их не было и быть не могло, сам служил средством против себя для своих эксплуататоров и притеснителей.

Таким образом, народные массы, подвигаемые все тою же самою социальною потребностью улучшения своей жизни и освобождения от нестерпимого гнета, давали себя увлекать из одной религиозной бредни в другую, из одной политической формы, созданной для их притеснения, в другую, готовящую им притеснение такое же и нередко и худшее; точно человек, мучимый болезнью, пово-

рачивающийся с бока на бок в надежде, что на другом боку ему будет легче, и чувствующий при каждом новом повороте, что ему все становится хуже и хуже.

Такова была до сих пор история чернорабочего люда во всех странах, в целом мире. История безнадежная, страшная, гнусная, способная привести в отчаяние всякого ищущего в ней человеческой справедливости. И все-таки в отчаяние приходить не следует. Как она ни гадка, нельзя сказать, чтоб она прошла даром и не принесла никакой пользы. Что ж делать, если самой природой своей человек осужден путем всевозможных мерзостей и мучений дорабатываться из тьмы кромешной до разума, из скотства до человечества! Путем исторических заблуждений и неразлучных с ними бед образовались безграмотные толпы. Они потом и кровью, нищетой, голодом, рабской работой, мучением и смертью платили за каждое новое движение, в которое их вовлекали эксплуатировавшие их меньшинства. Вместо книг, которых они читать не умели, вся история записывалась на их шкуре. Такие уроки не забываются. Платя так дорого за каждую новую веру, надежду, ошибку, народные толпы рядом исторических глупостей доходят до разума.

Они дознали горьким опытом суетность всех религиозных верований, всех национальных и политических движений, вследствие чего в их понимании впервые поставился определенно и ясно социальный вопрос, вопрос, который один соответствует их первоначальному и многовековому инстинкту, но который в продолжение веков, от самого начала государственной истории, был заслонен от них религиозными, политическими и патриотическими туманами. Туманы рассеяны, и вся Европа охвачена ныне социальным вопросом.

Народные массы в настоящее время везде начинают понимать настоящую причину всех своих бед, начинают понимать свою солидарность и сравнивать свое число, необъятное, с ничтожным числом своих вековых грабителей... Но если они уже дошли до такого сознания, что ж мешает им освободиться теперь?

Недостаток организации, трудность сговора.

Мы видели, что во всяком исторически развитом обществе, например, хоть во всех нынешних обществах европейских, вся масса людей разделяется на три главные категории:

на огромное большинство массы, совсем неорганизованной, *эксплуатируемой*, но не *эксплуатирующей*;

на довольно значительное меньшинство, обнимающее *все государственные сословия*; меньшинство, в разную меру эксплуатирующее и эксплуатируемое, притеснительное и притесненное вместе;

и, наконец, на самое незначительное меньшинство чистых и совершенно сознательных и сговоренных между собою эксплуататоров и притеснителей — *верховно-правительственное сословие*.

Мы видели, что по мере своего разрастания и дальнейшего развития большинство государственных сословий само превращается в полуинстинктивную, пожалуй, государственно-организованную, но не сговоренную, не сознательнодвигающуюся и действующую массу, так что в отношении к чернорабочей массе, совсем не организованной, оно, разумеется, продолжает играть роль эксплуататорскую, продолжает эксплуатировать народ уже не по сословному преднамерению и не вследствие сговора, а на основании привычки, традиционного и юридического права, веря большею частью в законность и святость этого права; но в то же самое время в отношении к правительственному, сознательно сговоренному меньшинству оно играет в той или другой мере страдательную роль более или менее эксплуатируемой жертвы. А так как у сословного большинства, хотя и недостаточно организованного, все-таки несравненно более богатства, свободы движения и действия, образования и всех других средств, необходимых для заговора и для создания организации, чем у чернорабочего люда, то и случалось нередко, что из среды сословного большинства подымались бунты и что эти бунты одерживали победу над правительством и ставили на его место другое, свое. Таковы были доселе все внутренние политические перевороты, о которых нам повествует история.

Из таких переворотов и бунтов для народа собственно, разумеется, не могло произойти никакого добра. Бунты сословные делаются за обиды сословные, а не за народные, имеют сословные, а не народные цели. Как бы ни спорили сословия между собою и как бы они ни восставали против существующего правительства, ни одна сословная революция не имела еще и не могла иметь целью низвержение тех экономических и политических основ государства, которые делают возможным эксплу-

атирование чернорабочих масс, т. е. самое существование сословности и сословий. Как бы революционно ни было настроение сословий, как бы они ни ненавидели той или иной государственной формы, само государство для них свято; целость, сила, все интересы его провозглашаются ими единодушно как высшие интересы. Патриотизм, т. е. жертвование собою, своим лицом и имуществом для государственных целей, всегда признавался и до сих пор признается ими за высшую добродетель.

Поэтому ни одна революция, как бы она насильственна и дерзка ни была в своих проявлениях, не смела наложить святотатской руки на священный ковчег государства — а так как никакое государство без организации, без администрации, без войска и без довольно значительного количества людей, облеченных властью, т. е. без *правительства*, невозможно, то за свержением одного правительства всегда следовало постановление другого, более симпатичного или более полезного для восторжествовавших сословий.

Но, как бы оно ни было для них полезно и симпатично, новое правительство после первого медового месяца непременно начнет навлекать на себя негодование тех же самых сословий. Такова уж природа всякой власти, что она обречена делать зло. Я не говорю уже о зле народном; государство, эта крепость сословная, и правительство, как блюститель государственных интересов, для народа, в какой бы форме они ни существовали, — непременно и безусловное зло. Нет, говорю о зле, претерпеваемом самими сословиями, для исключительного блага которых существование и государства, и правительства необходимо, — говорю, что, несмотря на эту необходимость, оно всегда тяжело ложится на них и, служа их государственным интересам, не менее того их обирает и притесняет, разумеется, не в такой мере, в какой оно обирает и притесняет народ.

Правительство, не злоупотребляющее властью, не притеснительное, не лицепрятное и не ворующее, действующее только в смысле общесословных интересов и не забывающее их очень часто в заботе об исключительном удовлетворении лиц, стоящих во главе его, — такое правительство — это квадратура круга, идеал недостижимый, потому что противный человеческой природе. А природа человека, всякого человека, такая, что дайте ему власть над собою, он вас притеснит непременно, поставьте его

в положение исключительное, вырвите его из равенства, он делается негодяем. Равенство и безвластие — вот единственные условия нравственности для всякого человека. Возьмите самого яростного революционера и посадите его на всероссийский престол или дайте ему власть диктаторскую, о которой так много мечтают наши зеленые революционеры, и он через год делается хуже самого Александра Николаевича.

Государственные сословия давно в этом убедились и создали даже пословицу, которая гласит, что *«правительство есть необходимое зло»*, необходимое опять-таки, разумеется, только для них, отнюдь не для народа, для которого само государство, ради которого необходимо правительство, есть зло не необходимое, а губительное. Если б сословия могли обойтись без правительства, сохраняя только одно государство, т. е. возможность и право эксплуатации народного труда, то они, разумеется, не ставили бы одного правительства вместо другого. Но исторический опыт, например, плачевный исход шляхетской польской республики*, доказал им невозможность существования государства без правительства. Отсутствие правительства порождает анархию, а анархия ведет к разрушению самого государства, т. е. к порабощению края чужим государством, как это было с несчастною Польшею, или к совершенному освобождению чернорабочего люда и к уничтожению сословий, как это будет, надеемся, скоро в целой Европе.

Для возможного уменьшения сословного зла, творимого непременно всяким правительством, государственные сословия придумали разные конституционные порядки и формы, которые обрекли ныне существующие европейские государства на беспрестанное колебание между сословной анархией и правительственным деспотизмом и которые до такой степени расшатали государственное здание, что даже мы, старики, можем надеяться быть еще свидетелями и помощниками его окончательного разрушения. Но нет сомнения, что, когда время разгрома наступит, огромное большинство людей, принадлежащих к государственным сословиям, как бы им ни были ненавистны существующие правительства, сплотятся вокруг них и будут защищать их против разъяренного чернорабочего люда, дабы спасти государство, спасти краеугольный камень своего сословного существования.

Почему ж правительство так необходимо для сохранения государства? Потому, что никакое государство без *постоянного заговора* существовать не может, заговора, направленного, разумеется, против народных чернорабочих масс, ради порабощения и правильного обирания которых существуют решительно все государства; и в каждом государстве правительство — не что иное, как заговор постоянный меньшинства против обираемого и порабощаемого им большинства. Из самого существа государства выходит ясно, что не было и не может быть такого государственного устройства, которое не было бы совершенно противно интересам народным и к которому вследствие того народные массы не питали бы, сознательно или бессознательно, глубокой ненависти. При большой неразвитости масс случается, что они не только что не восстают против самого государства, но даже относятся к нему как будто бы с уважением, с любовью, ожидая от него возмездия, правды, и кажутся поэтому преисполненными патриотических чувств. Но взгляните хорошенько в действительные отношения любого и даже самого патриотического народа к своему государству и вы увидите, что они любят и чтят в нем только идеальное представление, отнюдь же не его настоящие проявления. Его действительность, его настоящую суть, поскольку она приходит в действительное соприкосновение с народом, народ ненавидит всегда и всегда готов разрушить ее, если только его не удерживает организованная правительственная сила.

Мы видели, что чем более эксплуатирующее или сословное меньшинство умножается в государстве, тем менее оно становится способным к непосредственному управлению государственными делами. Многосторонность и разнородность интересов сословных порождают разногласие, а разногласие в свою очередь вызывает беспорядок, анархию, расслабление государственного строя, необходимого для удержания обираемого народа в должном повиновении. Поэтому сама выгода всех сословий без исключения требует непременно, чтоб из среды их выработалось еще более тесное, *правительственное* меньшинство, способное вследствие относительной малочисленности своей *сговориться* между собою, организовать и организовать в пользу сословий и против народа государственные силы.

Всякое правительство имеет двойную цель: одну главную и громко признаваемую — сохранение и усиление государства, цивилизации и порядка гражданского, т. е. систематического и узаконенного преобладания сословий над эксплуатируемым ими народом. Другую, в глазах самого правительства чуть ли не столь же важную, хотя и не так охотно признаваемую целью, — сохранение своих, тесно правительственных преимуществ и своего *личного состава*. Первая цель относится к благу общесословному, вторая же относится только до честолюбия и до исключительных выгод правительственных лиц. Первою целью правительство ставится во враждебное отношение только к народу; второю ж и к народу, и к сословиям вместе, и даже бывают в истории моменты, когда для достижения ее оно как бы становится к сословиям еще враждебнее, чем к самому народу. Это случается, именно когда сословия, недовольные им, стараются его свергнуть или уменьшить его власть. Тогда чувство самосохранения заставляет правительство забывать иногда свою главную цель, составляющую весь смысл его существования: сохранение государства или сословного преобладания и блага против народного бунта. Но такие моменты долго продолжаться не могут, потому что правительству, какое бы оно ни было, так же невозможно существовать без сословий, как и сословиям без правительства. За неимением другого оно создает сословие бюрократическое, подобное нашему дворянству в России.

Вся правительственная задача состоит единственно в следующем: как наименьшими и наилучше организованными средствами и силами, взятыми у народа, держать этот народ в повиновении или гражданском порядке и в одно и то же время как, с одной стороны, предохранить независимость не говорю, народа, о котором здесь и речи не может быть, но своего государства против честолюбивых замыслов соседних держав, а с другой стороны, как увеличить свои владения в ущерб тем же самым державам. Одним словом, война внутри, война внаружу — вот жизнь правительства. Оно должно быть вооружено и начеку беспрестанно против врагов внутренних и внешних. Дыша само притеснением и обманом, оно должно смотреть на всех внутри и внаруже как на врагов и должно быть против всех в заговоре.

Впрочем, вражда государств и заправляющих ими правительств между собою никак не может сравниться с вра-

жду каждого из них к своему чернорабочему народу; и точно так же как два сословия, борющиеся между собою, готовы позабыть самую непримиримую вражду ввиду восстания чернорабочего люда, точно так же два государства и правительства, воюющие друг против друга, готовы будут помириться, лишь только в одном из них подымется социальная революция. Главный и самый существенный вопрос, равно для всех правительств, государств и сословий, в той или другой форме и под каким бы то ни было предлогом или названием — это покорение и содержание в рабстве народа, потому что это вопрос жизни и смерти для всего, что называется ныне цивилизацией или гражданственностью.

Для достижения таковой цели правительствам все позволено. Что в частной жизни называется гнусностью, подлостью, преступлением, то для правительства становится доблестью, добродетелью, долгом. Макиавелли был гысячу раз прав, утверждая, что существование, преуспевание и сила *всякого* государства — монархического или республиканского все равно — должно быть основано на преступлении. Жизнь каждого правительства есть по необходимости непрерывный ряд подлостей, гнусностей и преступлений против всех чужеземных народов, а также, и главным образом, против своего собственного чернорабочего люда, есть нескончаемый заговор против благосостояния народа и против свободы его.

Правительственная наука выработалась и усовершенствовалась веками. Я не думаю, чтоб кто-нибудь мог упрекнуть меня в преувеличении, если я назову ее наукою высшего государственного мошенничества, добытого посреди постоянной борьбы опытом всех государств, прошедших и настоящих. Это наука о том, как грабить народ наименее для него чувствительным образом, так, чтоб не оставить у него ничего лишнего, потому что всякое лишнее богатство дало бы ему лишнюю силу, но вместе с тем так, чтоб и не отнять у него последнего, необходимого для его паскудной жизни и для дальнейшего производства богатств¹; наука о том, как брать из народной среды солдат и, организовав их посредством искусственной дисциплины, как создавать войско, эту главную государствен-

¹ Мы должны быть благодарны нашему правительству за то, что оно соблюдает так плохо это благоразумное правило.

ную, народопротивную и народоукротительную силу; как умным и целесообразным распределением нескольких десятков тысяч солдат по главнейшим пунктам известного края держать в страхе и повиновении миллионы людей; наука о том, как покрывать целые страны мельчайшею бюрократической сетью и как рядом бюрократических порядков, узаконений и мер опутать, разъединить и обессилить народные массы так, чтоб они не могли ни сговориться, ни соединиться, ни двинуться, чтоб они всегда оставались в относительном, спасительном для правительства, для государства и для сословий невежестве и чтоб к ним не могли подойти ни мысль новая, ни живой человек.

Вот единственная цель всякой правительственной организации, правительственного постоянного заговора против народа. И этот заговор, признаваемый всеми законным и не дающий себе даже труда скрывать свои действия, ни даже от себя отпираться, обнимает внаружу всю дипломатию, внутри всю администрацию: военную, гражданскую, полицейскую, судебную, финансовую, просветительную и церковную.

И против такой громадной организации, вооруженной решительно всеми возможными средствами, умственными и материальными, законными и незаконными, и в крайнем случае всегда могущей рассчитывать на единодушное содействие всех или почти всех государственных сословий, должен бороться бедный народ, правда, сравнительно бесчисленный, но безоружный, невежественный и лишенный всякой организации! Возможна ли победа? Возможна ли только борьба?

Нет дела до того, что народ проснулся, что он сознал, наконец, свою беду и причину своей беды. Сознания мало, надо силы. Правда, силы стихийной в народе достаточно, несравненно более, чем в самом правительстве, взятом вместе со всеми сословиями; но сила стихийная, лишенная организации не есть настоящая сила. Она не в состоянии выдержать долгой борьбы против силы гораздо слабейшей, но хорошо организованной. На этом неоспоримом преимуществе силы организованной над стихийною силой народа основано все государственное могущество.

Поэтому первое условие народной победы — это *народный сговор* или *организация народных сил*.

Эта организация совершается ныне в Европе посредством *Интернациональной ассоциации рабочих*. Посмотрим, каким образом она может совершиться в России?

Учение революционных доктринеров и позитивистов, в ряды которых перешли ныне самые способные и ученые доктринеры, основывается главным образом на следующих трех положениях:

- 1) Всякий народ имеет то правительство, которое он по настоящей степени своего образования может иметь.
- 2) Всякое правительство есть прямое выражение суммы или, вернее, комбинации народных потребностей.
- 3) Всякое правительство есть продукт равновесия, установившегося между разнородными общественными силами.

Изю всего этого доктринеры выводят, что пока в данной стране не изменится: *степень образования, направление народных потребностей и равновесие общественных сил*, до тех пор правительство изменено быть не может.

Насчет первого положения я замечу, что выражение «образование народное» полно двусмысленности. О каком образовании здесь идет речь? О книжном или об исторически опытном? Если только о книжном, то не следует говорить об образовании народном, должно говорить об образовании сословном. Книжное образование народных масс во всех ныне существующих государствах Европы и даже в Соединенных Штатах ничтожно. Не говоря об Италии, Испании, европейской Турции, Венгрии, Австрии, Польше и России, даже в Англии и Франции огромная часть народонаселения не умеет ни читать, ни писать. В Германии северной и южной значительная часть народонаселения пишет, читает, знает катехизис и умеет считать; в Швейцарии, а тем паче в Соединенных Штатах Америки к этому присоединяется еще легкая перечень самых главных исторических и географических фактов да катехизис республиканский. Теперь спрашиваю, можно ли сказать, чтоб, например, германское народонаселение в отношении к политическому развитию стояло выше французского и английского? Решительно нет. Напротив, замечено, что за исключением тех сотен тысяч немецких крестьян и работников, которые переселились в Америку и которые вследствие этой перемены почвы и среды как будто бы получили новое вдохновение и направление, германский народ при всей своей относительной грамот-

ности имеет гораздо менее политического развития и смысла, чем безграмотные французский и великобританский народы.

И, наконец, неужели же механическое умение читать, писать и считать вместе с знанием дурацкого и развратного катехизиса составляют образование действительное, такое, о котором стоило бы говорить? Сравните это бедное знание с той суммою знания, которое требуется ныне от всякого сколько-нибудь образованного человека в высших кругах, и вы скажете, что народное знание даже в самых передовых странах мира равно нулю. С точки зрения книжного знания, самый умный человек из народа окажется дураком перед первым молокососом, вышедшим из университета, перед всяким образованным дураком. Поэтому, кто ставит меркою для политической способности народа степень его грамотного образования, тот непременно должен прийти к тому убеждению, что ни один народ в мире не в состоянии еще управляться сам собою и что он должен быть управляемым образованными сословиями. А так как никакое правительство в мире и ни одно из государственных сословий не имеет ни охоты, ни времени заняться серьезным образованием народа; так как они имеют, напротив, много причин его не желать, потому что народное образование, с этой точки зрения, имело бы непременно результатом упразднение их власти; и наконец, так как сам народ по роду своих занятий и по всему настоящему положению своему решительно не имеет ни средств, ни времени, ни даже охоты к приобретению книжной науки, последнее заключение будет то, что народные массы никогда не освободятся из-под сословной опеки, что и следовало доказать с точки зрения книжного доктринерства.

Пойдем далее; если уж делать книжное образование мерилом для способности управления, то мы дойдем до странного результата. Если взять вместе все так называемые образованные сословия, много ли найдется в них людей действительно образованных, т. е. думавших о том и серьезно знающих и понявших то, чему их учили? Огромное большинство состоит из болтающих попугаев, из китайских мандаринов по экзамену. Неужели ж такая наука составляет прогресс, дает ум и право на управление? Останется поэтому в целой Европе много-много несколько сотен людей, способных заправлять целым миром! Но, во-первых, сословно-образованные дураки их до

того не допустят, а если б и допустили, то они сами сделались бы в самое скорое время такими же дураками, потому что всякая власть исключительная, а тем паче власть, основанная на ученом дипломе, имеет то неперменное свойство, что она добрых людей делает скотами, умных — дураками.

Да, если б книжное образование народа было неперменным условием его освобождения, то все народы без исключения были бы обречены на безвыходное и нескончаемое рабство: они оставались бы в невежестве вследствие своего рабства и оставались бы в рабстве вследствие своего невежества.

Но, к счастью, народы образуются и развиваются, как мы видели, не столько книжною, сколько исторически опытною наукою, многовековою жизнью и испытаниями жизни. Если принять слово «народное образование» в этом смысле, то я буду совершенно согласен с *первым положением* господ доктринеров. Только отправляясь от этого положения *в этом смысле*, вряд ли мы дойдем до тех результатов, к которым они *инстинктивно* стремятся, а именно к *преобладанию доктрины, науки над жизнью*; к *преобладанию ученой интеллигенции над обществом*.

Да, в самом деле, от степени исторически опытного образования народа зависит его способность к разумному освобождению. Народ, который совсем еще не жил исторически, который стоит, например, на степени людоедства, ничего не понял бы, если б вы стали ему говорить о солидарности всех чернорабочих тружеников на земле, о необходимости свергнуть иго собственности и капитала, о необходимости разрушения всех государств и сословно-государственной цивилизации. Разумеется, если вы станете говорить *теми же словами* с умным, но безграмотным человеком из народа во Франции, в Англии, в Германии, он точно так же вас не поймет. Но скажите ему то же самое, но в менее отвлеченных выражениях, простыми словами, относящимися до его ежедневной практики, и он вас поймет непременно, и пожалуй, даже поймет глубже, живее, цельнее, чем вы понимаете сами. Он вас поймет потому, что все эти кажущиеся отвлеченности прямо относятся к его страстям, исторически выработавшимся в нем инстинктом, находят тысячу подтверждений в его историческом и ежедневном опыте, дают ответ на самые мучительные запросы его ума и его сердца, обещают конец его бедам, его обидам, его страданиям, соответству-

ют, наконец, образовавшимся в нем представлениям о справедливости и о настоящем порядке. Дайте себе труд поговорить с ним серьезно, помогите ему, сколько надо и не больше как надо, формулировать его же собственные, глубокие и насущные инстинкты, запросы и требования, и вы увидите, что он серьезнее и глубже социалист, чем вы сами. Ежедневный опыт меня убедил, что в этом отношении народные массы, не испорченные мещанским образованием и не развращенные мещанскими интересами, стоят не позади, а впереди всех образованных сословий.

Я это говорю положительно не только в отношении к работникам французским, английским, германским, но без исключения в отношении ко всему европейскому чернорабочему люду и никак уже не исключая нашего умного русского мужика, этого урожденного социалиста.

Что ж из этого следует? Следует только то, что первое положение наших умников-доктринеров сводится на второе, а именно, что степень действительного, т. е. исторически опытного образования всякого народа действительным образом проявляется в высказываемых им *потребностях*.

Второе положение гласит, что *всякое правительство есть прямое выражение суммы или комбинации народных потребностей*.

Это положение дает повод к еще большим недоразумениям, чем первое. Что разумеют под словом: *народные потребности*? Сумму ли потребностей всех жителей государства без всякого различия сословий и положения? Да разве это возможно? Разве мы не видели и не знаем, что всегда и везде потребности чернорабочего люда находятся в прямом противуречии с потребностями государственных сословий; а если посмотрим поближе, то найдем, что между потребностями и стремлениями и самих сословий существует немало противуречий. Но мы оставим второстепенные различия в стороне и остановимся на существенной и непримиримой розни, открывающей пропасть между стремлениями государственных классов и нуждою народною. Каким образом может правительство соответствовать в одно и то же время и этой нужде, и этим стремлениям примирить непримиримое? Нужно ли доказывать, что интересы народа и интересы сословий непримиримы? Стоит только взглянуть на то, что происходит ныне в Европе, чтобы убедиться в этом. Примирите, прошу

вас, интересы работников и работы с интересами собственников и капитала. Разве последние не основаны именно и совсем исключительно на возможности жить чужою работою, кабалить чужую работу, т. е. на фактическом рабстве работников?

Та же самая непримиримость в России. Попробуйте примирить мужика с помещиком, с обдирающим его кулаком или купцом, работника с фабрикантом, раскольник с попом, всех вместе с чиновником, обдирающим его ради государственного блага и ради своего собственного кармана, и с самим государством, забивающим его в грязь и заедающим его до конца. Да что ж такое, наконец, вся внутренняя русская история, как не бунт нескончаемый чернорабочего люда против государства и всех сословий? Как же говорить об однородных потребностях? Говорите, пожалуй, о потребностях сословных, для удовлетворения которых государство искони жертвовало и жертвует до сих пор жизнью, правом и первыми нуждами народа, и заключите вместе с здоровою логикою и историею, что все государства и все правительства без исключения, а по преимуществу наше Всероссийское государство, наше отеческое правительство — вернейшее выражение сословных потребностей в ущерб и наперекор всем народным стремлениям, нуждам и потребностям.

Но этим самым второе положение доктринеров сводится на их третье и последнее положение, которое гласит: что *«всякое правительство есть продукт равновесия, установившегося между разнородными общественными силами»*.

Да, с этим положением я совершенно согласен и на основании его зову на борьбу и надеюсь побить всех доктринерствующих революционеров. Для лучшего определения поля битвы ограничусь по возможности примерами и доказательствами из русской истории и из русской действительности.

Приступая к оценке разнородных общественных сил, на которых зиждется могущество нашего правительства, мы должны прежде всего рассмотреть и решить весьма важный вопрос:

Кто прав?

Те ли, которые утверждают, что между народом и правительством нашим нет ничего общего и что их взаимные отношения ограничиваются непримиримою нена-

вистью, с одной стороны, неумолимым притеснением, с другой?

Или те, которые утверждают, напротив, что в нашем народе всегда существовали и хранятся еще слепая вера в правительство и чуть ли не боготворящая любовь к царю и к царскому дому; ненависть же его обращена исключительно против дворянства, помещиков и против непосредственных исполнителей правительственных распоряжений и царской воли?

Или, наконец, те, которые, придерживаясь среднего мнения, хотя и не верят в чрезмерную привязанность народа к царю и еще менее к правительству и признают в некоторой степени, что народ относится скорее недоверчиво ко всему, что делает и предпринимает последнее, думают, однако, что он, вследствие ли исторической привычки, или вследствие того, что народ в своей беде не видит для себя никакого другого исхода, все-таки ждет для себя помощи и спасения только от правительства, только от самодержавной воли царя?

Если первые правы, то бунт всенародный рано или поздно необходим. Если правы вторые, он решительно невозможен. Если, наконец, справедливо третье мнение, он, пожалуй, и не невозможен, но весьма сомнителен.

Оставив пока вопрос об отношении народа к царю в стороне, мне кажется, что нет ни малейшей возможности сомневаться в глубокой и непримиримой ненависти народа к правительству, ко всему официальному миру и ко всему вообще, что выражает и представляет у нас государство, значит, к самому государству.

Да ведь и не может быть иначе. Кто ж знающий сколько-нибудь русскую историю и русскую действительность не видит, что от самого основания Московского государства по самое нынешнее время народ, народное право, народная воля и благосостояние, да самая жизнь народа были постоянною жертвою государства? Кто отдал народную землю дворянам? — Государство. Кто отдал самих крестьян в рабство тем же самым дворянам? — Государство. Кто карал жесточайшими казнями долготерпеливых и многотерпеливых крестьян, когда, выведенные, наконец, из всякой возможности терпения блудным и свирепым неистовством своих бар, они против них восставали? — Опять-таки государство. Кто разоряет народ рекрутчиной, податными сборами и воровским управлением? Кто опутал и парализирует малейшие движения его по-

средством самой нахальной, безжалостной и притеснительной бюрократии в мире? Кто бесцеремонно жертвовал и продолжает жертвовать десятками и сотнями тысяч людей для достижения так называемых государственных целей? — Все то же государство. Кто попрали обычаи и свободную веру народа, кто оскорбляет его во всем его существе? — Государство. Для кого всякое право народа равно нулю, а жизнь его не стоит копейки? — Для государства.

Возможно ли после этого, чтоб народ не ненавидел государства, не ненавидел правительства? Нет, невозможно.

Но, скажут, наш народ похож именно на ту собаку, которая кусает палку, а не человека, бьющего ее палкою; он, пожалуй, ненавидит всех мелких и средних чиновников, непосредственных исполнителей мер правительственных, но вместе с тем питает если не любовь, то суеверное почтение, смешанное с страхом, ко всем высшим духовным, гражданским и военным сановникам, представляющим в его глазах самого государя, и вообще ко всему высшему правительству.

Такое рассуждение нелепо, противно всем фактам. Правда, что когда вышел указ о мнимом освобождении крестьян и когда он был прочитан народу на площадях и в церквях, во всех городах и селах империи, когда народ так долго, так жадно ждавший свободы, увидел обман и сначала подумал, что это не может быть настоящий царский указ с золотою строкою и под золотою печатью, а должен быть указ, сочиненный и подмененный дворянством и преданным ему чиновничеством; правда, что тогда в многих местах мужики ждали, что вот приедет к ним генерал или другой сановник прямо от государя с настоящим царским указом и объявит им от имени государя настоящую волю. Но что ж из этого следует? Это не значит отнюдь, что мужики верили в сановников и генералов; они глядели на них только как на царских курьеров, везущих указ, и несдобровалося бы этим сановникам и генералам, если б в момент разочарования народного они не нашли бы охраны против народного негодования в солдатских штыках и пулях.

Русский народ имеет вообще о высшем правительстве какое-то смутное и совсем невыгодное для него представление. Он видит в нем собрание знатных и вороватых дворян, опутавших волю царскую и направляющих ее против него в свою пользу. Со времени основания Мо-

сковского государства народ ненавидит дворянское управление: «А против бояр,— писали друг к другу волости и области в смутные времена Лжедмитриев,— мы будем стоять вместе». С тех пор отношение народа к боярам и к высшему правительству отнюдь не переменялось. Народ не уважает правительство, но, разумеется, боится его: да и нельзя ему не бояться. Ведь до сих пор вся сила, рукоятка кнута в руках правительства, как же ему не бояться кнута! Но дайте только народу веру в его собственную силу, покажите ему только возможность вырвать кнут, вырвать силу из рук правительства, и вы увидите, как мало он уважает правительство.

Но, скажут, русский народ чрезвычайно религиозен, а церковь и духовенство, к которым он традиционно привязан, стоят, несомненно, на стороне правительства и связывают с ним народ. Тут что ни положение, то ложь. Во-первых, далеко не доказано, чтоб все духовенство было на стороне правительства. Но мы об этом поговорим ниже, когда станем перебирать все сословия. Во-вторых, решительно несправедливо, чтоб народ питал какую бы то ни было привязанность к государственной церкви и хоть малейшее уважение к православному духовенству. Все это опровергается и чрезвычайным развитием раскола в России, и несомненным презрением народа к попам; и, наконец,— несправедливо, чтоб наш народ был религиозный народ. Напротив, кто сколько-нибудь знает Россию, должен был убедиться, что изо всех европейских народов наименее религиозен именно наш великорусский народ.

Несомненно, что если духовенство будет говорить вещи для народа приятные, народ будет охотно слушать его, но также несомненно и то, что когда духовенство говорит в духе правительственном, чиновничьем и дворянском, в духе противународном, народ его ненавидит и, когда чувствует себя в силе, так же готов его истреблять, как истребляли его Степан Тимофеевич Разин и Емельян Пугачев.

Наконец, пожалуй, скажут еще: народ, правда, ненавидел правительство до восшествия на престол Александра Николаевича, но эта ненависть превратилась в любовь с тех пор, «когда по воле царя-освободителя зажглась заря свободы для миллионов безответных тружеников и новая пугачевщина сделалась невозможною»¹.

¹ Смотри статью «Граф Панин» в майской книжке *Русского Вестника* *

Такие отвратительные фразы можно только писать в русских официальных или подкупленных журналах. Нужно иметь медный лоб, чтоб повторять их в то самое время, когда положение народа в России, именно вследствие лживого освобождения, стало невыносимым, когда разоренный дотла, принужденный платить вдвое или даже втрое дороже за землю, которую ему навязали и к которой его приковали, задавленный вдвое против прежнего податями государственными и земскими, ограбленный и соседом-помещиком, и кулаком, и купцом, и мировым посредником, и полицией, продающею все его имущество до последней коровы и до последней подушки для покрытия его недоимок, когда подверженный, наконец, к военным экзекуциям и розгам за то только, что он смеет отказываться от земли, которую ему так милостиво, втрое дороже, подарили, когда он, говорю я, на всем пространстве России умирает с голоду и бежит в леса!

Ныне, более чем когда-нибудь, народ ненавидит правительство. Скажу более, эта ненависть начинает простирается и на самого царя.

Да, долго возился этот несчастный русский народ с идеею царя, и дорого, мучением многовековым поплатился он за свою веру в нее. Вот что я писал об этом предмете в 1862 году, прежде польского восстания и немедленно после первых пожаров, когда политика Александра II еще не успела обрисоваться вполне¹.

«Русский народ, по преимуществу, реальный народ. Ему и утешение-то надо земное; земной бог-царь, лицо, впрочем, довольно идеальное, хотя и облеченное в плоть и в человеческий образ и заключающее в себе самую злую иронию против царя действительного. Царь, идеал русского народа, — это род земного Христа, отец и кормилец народа, весь проникнутый мыслью о его благе и любовью к нему. Он бы давно дал народу все, что нужно ему: и волю и землю. Да он сам, бедный, в неволе: лиходеи-бояре да злое чиновничество вяжут его. Но вот наступит время, когда он воспрянет и, позвав народ свой на помощь, истребит и дворян, и попов, и всякое другое начальство, и тогда наступит в России пора *золотой воли*. Вот чего на-

¹ Смотри брошюру мою: *Народное дело — Романов, Пугачев или Пестель?* Теперь я не написал бы ее. Много с тех пор объяснилось, и мно- гому я успел с тех пор научиться*.

род ждет от царя... Ведь он более двухсот лет, проведенных в неизъяснимых муках, ждет от царского слова спасения; и теперь, когда все надежды, все ожидания его ожились предварительным обещанием царя, согласится ли он ждать еще долее? — Не думаю».

С тех пор прошло семь лет. И, надо отдать справедливость Александру Николаевичу, он много, много поставился и поработал для того, чтоб разоблачить и представить во всей ее отвратительной наготе самую идею государства и по преимуществу Всероссийского государства, а главное для того, чтоб убить в самом народе эту несчастную веру в царя.

Да, было время, когда слово царя могло быть всеильно в народе. В продолжение целых четырех лет, от смерти Николая до обнародования шулерского манифеста об освобождении, Александр II был идолом, да, действительно, можно сказать, Христом народным. В нем собрал и сосредоточил народ всю историческую фантазию свою о царе-избавителе. Положение великолепное, в истории почти беспрецедентное, но вместе с тем и в высшей степени опасное. Императору Александру надо было сделать много, очень много для народа, для того, чтоб не упасть самым позорным образом с высоты, на которую поставили его народная вера и народное упование... Ну, и он бухнулся, сказать нечего, бухнулся так, что и сам более подняться не может, да и самую идею царя разбил, будем надеяться, навсегда, в сердце народном.

Если б я писал для иностранцев, я рассказал бы им, как рядом точно как будто нарочно придуманных, народоненавистных и народопгубных мер, предписаний и действий император Александр II, точно как бы подвигаемый тайным революционным замыслом и желанием вырвать с корнем из народного сердца веру в царя, как он добился-таки, наконец, того, что народ, который даже и после указа 19-го февраля оставался еще долго в сомнении, приписывая все царские злодеяния исполнителям царским, стал, наконец, понимать, что главная причина всех его бедствий сам царь, да, наконец, начинает ненавидеть его. Для соотечественников моих, живущих в России, такой рассказ не нужен. Они были и остаются свидетелями царских злодеяний и разочарования народного.

Лицо императора Александра II для нас теперь священо и дорого, и мы вместе с православною церковью готовы петь ему многолетие. Как прежде сосредоточива-

лась на нем вся любовь и вся вера народная, так точно собирается ныне против него вся ненависть того же самого, глубоко разочарованного и им же самим до отчаяния доведенного народа... Пусть же хранит его Всевышний до времени, и пусть же продолжает он так же ревностно, как и прежде, служить революционному делу по-своему.

Но, скажут: что если царь вдруг изменит систему управления и, начав царствовать в духе народном, рядом мер и указов даст полное удовлетворение всем главным потребностям и нуждам народа, разве народ будет тогда его ненавидеть? Нет, не будет: можно даже сказать наверное, что народ простил бы ему все прошедшее и, приписав ему по-прежнему все совершенные им злодеяния изменникам, продавшимся дворянству, стал бы любить царя лучше прежнего. В народе нашем, к несчастью, еще немного политического смысла и нет еще ясного понятия о *политической* свободе. Он требует теперь только широкой и полной свободы в жизни; а что ему до того, будет ли эта свободная жизнь с императором или без императора!

В таком случае, ответят мне, что ж мешает Александру Николаевичу переменить систему управления и можете ли вы быть уверены, что он не переменит ее? А если не переменит он, то переменит наследник.

В том-то и дело, что ни наследник, ни он тут ничего переменить не могут. Они не могут отступить от существующей системы ни на один шаг, не разрушив самого государства. Они могут, правда, наобещать и в известной мере даже осуществить еще много реформ, могут в крайнем случае даже дать дворяно-купеческую конституцию, парламент на наполеоновский или даже на бисмарковский манер... Но они ничего не могут сделать для народа.

Что нужно народу? На это *Колокол* в 1862 году отвечал, и отвечал превосходно: «Народу нужна земля и воля!» *. Больше ничего. Но посмотрим, что заключается в этих словах. Народу нужна земля, *вся земля*, значит, надо разорить, ограбить и уничтожить дворянство, и теперь уже не только одно дворянство, но и ту довольно значительную часть купечества и кулаков из народа, которые, пользуясь новыми льготами, в свою очередь, стали помещиками, столь же ненавистными и чуть ли еще не более притеснительными для народа, чем помещики стародавние.

Народу нужна воля, *настоящая*, полная воля, значит, надо уничтожить чиновничество и все войско. Значит, надо уничтожить государство, а без государства и государь

невозможен; из чего заключить должно, что для того, чтобы сделать что-нибудь серьезное и удовлетворительное для народа, император и вся династия его должны бы были, вместе со всем государством, отправиться к черту.

Ну, к такому подвигу они неспособны, и потому чем долее они царствовать будут, тем сильнее и глубже будет против них накапливаться народная ненависть, и будет она до тех пор накапливаться, пока не произведет всенародного и всеразрушительного взрыва.

Но способен ли русский народ к революции? Кажется, в этом сомневаться нельзя. Со времени Лжедмитрия по настоящее время ведь у нас был только один неизменный бунтовщик против государства — это крестьянский народ и городские мещане. Декабрьский бунт составляет лишь одно исключение, в высшей степени доблестное, но вместе с тем, с точки зрения народной, и бесплодное, так как он был гораздо более продуктом иностранных влияний, чем жизни народной. После него не было и не будет дворянских движений. Народ же никогда не переставал бунтовать. Бунтовал он победоносными массами два раза: один раз под Стенькою, другой раз под Пугачевым. Сначала бил войска государские, потом был разбиваем ими, потому что не было в нем никакой организации. Разбитый в последний раз в царствование Екатерины II-ой, он не переставал заявлять свой протест против государственного-сословного гнета, против всех представителей государства, значит, против самого государства рядом ежегодных частных бунтов, всегда укрощаемых и возобновляющихся то в той, то в другой форме беспрестанно. Следовательно, вопрос не в способности его бунтовать, а в способности создать организацию, которая могла бы доставить его бунту победу, и не случайную только, а продолжительную и окончательную. В этом именно и, можно сказать, исключительно сосредоточивается весь наш насущный вопрос.

Я, разумеется, к нему возвращусь. Но прежде рассмотрим те силы, с которыми придется бороться народному бунту.

Между сословиями, эксплуатирующими русский народ, на первом плане стоит, разумеется, *дворянство*. Сословие историческое, почтенное. О добродетели его надо справиться у люда мужицкого; о честности, независимости характера и благородстве чувств — у правительства, о гражданской доблести его говорит вся история. Был

у меня один знакомый приказчик, человек дельный и умный, сам из крепостного сословия, который, будучи еще крепостным, заправлял всем имением барина и самим баринном. Он говаривал: «Как посмотрю я на всех дворян, какое это *блудное* сословие!» Да, именно блудное! Трудно найти другое, которое бы в такой же степени соединяло в себе спесь с унижением, бестолковость с умничаньем, ветреность с сухим эгоизмом, хвастовство с трусостью, татарское зверство с либеральничанием европейским, которое было бы, одним словом, так ничтожно перед всякою властью и в то же время так высокомерно жестоко в отношении к народу, до тех пор, разумеется, пока народ, выведенный из терпения, сам не выкажет своей силы.

Кольб считает в России около 880 000 дворян обоих полов, наследственных и личных. Значительная часть между ними принадлежит собственно к бюрократическому и к офицерскому миру. Помещиков же считается не более 120 000 человек мужского пола. Из них, по старому распределению, никак уж не более 4 000 людей, имевших от 500 до 1 000 и более крепостных душ, не более 1 000 людей богатых или весьма достаточных. Дворянство среднее, жившее до указа об освобождении в довольстве благодаря крепостному труду, ныне разорено, на две трети оно не заключает в себе даже 20 000 человек. Остальные 96 000 были бедны всегда и теперь живут в нищете. Образование их совсем ничтожно, протекции нет никакой, в службу доступа нет, так что нередко случается, что бывшие господа продают себя ныне крестьянам для заступления места детей их в рекрутской повинности — отдают себя сами за деньги в солдаты.

Из 440 000 дворян наследственных и личных мужского пола большая половина (около 250 000 душ) находится ныне в самом отчаянном и безвыходном положении. Со времени упразднения крепостного права между ними и государством не осталось ни одного общего интереса, так что сила вещей с каждым годом тянет их все более и более в наш лагерь. Появись новый Стенька Разин, одинокий или коллективный, немногие между ними пойдут против него, зато множество пристанет к нему.

Около 120 000 принадлежат к мелкой бюрократии и к мелкому офицерству, живут службою: военные — одним паскудным жалованьем; гражданские — жалованьем с значительною примесью казнокрадства и наро-

дообкрадывания. Я возвращусь к ним, когда буду говорить о бюрократии и о войске.

Около 50 000 или 60 000 принадлежат, собственно, к тому, что в настоящее время можно назвать средним дворянством. Это сословие людей полуразоренных, но еще не вполне разоренных и ведущих борьбу отчаянную против невозможности помещичьего хозяйства при настоящих условиях. Половина из них живет в имениях и хозяйничает с грехом пополам. Другая и несомненно бо́льшая половина служит казне или по частным делам; иные занимаются науками и литературою. Получив университетское или военное образование, они придерживаются более или менее доктринерского либерализма или книжного социализма, и только весьма немногие между ними способны отдаться искренно и всецело революционному делу. Довольно значительное меньшинство образованных дворян принадлежит зато к партии плантаторов.

Над ними возвышаются еще от пяти до семи, много до десяти тысяч самых богатых и самых изящных дворян, совсем не разорившихся или разорившихся мало. Они сохранили, впрочем, свое состояние отнюдь не благодаря хозяйственному уму и деятельности, а совсем по другим причинам. Во-первых, потому, что значительность их состояния и ширина их владений позволили им выдержать лучше других кризис, воследовавший для всех помещиков после указа 19-го февраля; а во-вторых, и главным образом потому, что занимая первые и самые выгодные места в государственной службе и при дворе, воруя не десятками, не сотнями и не тысячами, а десятками и сотнями тысяч, иногда даже миллионами, они естественным образом могли себя удержать на прежней экономической высоте и даже над ней возвыситься, несмотря на всю беспотолковую расточительность, свойственную им как русским дворянам.

Эта незначительная кучка людей составляет нашу аристократию, нашу высшую государственную и придворную сволочь. В ней скот погоняет скота, и встреча с сколько-нибудь порядочным человеком в этом мире — явление самое исключительное. В нем сосредоточилась и развилась до самых уродливых размеров вся наследственная пустота, свирепость и подлость храброго русского дворянства.

Образование этих аристократов-лакеев ничтожно, гораздо ниже образования среднего дворянского класса. Им

некогда читать и учиться. Все время их проходит в прислуживании и в грязных интригах. Разумеется, что они принадлежат почти все к категории самых ярых и свирепых государственников-реакционеров. Все они Муравьевы, Мезенцовы, Шуваловы, Потаповы, Тимашевы, Треповы... если еще не в действительности, то в желании и в готовности, и, несмотря на их несомненное зверство, несмотря на всю их готовность проглотить всякого и погубить целый народ в угоду государю, а главное, в угоду своим собственным интересам, все-таки в них нет никакой собственной силы, нет именно силы сословной. Они хамы, а хамство никогда и нигде еще не умело сплотиться. Они подлые трусы, живущие только силою и карманом своего царственного барина, и достаточно будет этому барину претерпеть первое поражение, для того чтоб они попрятались все по углам.

Гораздо серьезнее *среднее дворянство*, и если б в русском дворянстве была хоть какая-нибудь сила, ее бы следовало искать в нем. Но напрасно будем искать, ее нет.

Либерализм дворянский бессилён, у него решительно нет никакой точки опоры в России. В героическом периоде своего развития, во времена Декабристов, он создал, правда, целую кучку людей высокородных, самоотверженных и энергических, людей, которые, не удовлетворяясь мечтою, страстно верили в дело, умели решиться на самоотверженное, высокое дело, которые сделали решительно все, что в их положении было возможно сделать, и которые все-таки не могли создать силы. Неорганизованная, но громадная сила была в народе. Вся организованная сила со стороны правительства. Декабристы стояли между правительством и народом, пошли против первого, не соединившись с другим и не имея сами никакой другой силы, кроме силы своих убеждений. Они погибли.

Декабристы с самого начала и до самого трагического исхода своего доблестного предприятия были обреченные жертвы. Дело их, как всякое честное дело, порождаемое святою любовью к человечеству и свободе, их дело принесло плод несомненный, бросив в будущие поколения семена освобождения. Но сами они должны были погибнуть.

После Декабристов героический либерализм образованных дворян переродился в либерализм книжный, в доктринаризм более или менее ученый, вследствие чего

он стал, разумеется, еще бессильнее: слово стало подвигом, резонерство — умом, пустословие — красноречием, многочитание — делом. О настоящем деле забыли, мало того, стали его презирать и с высоты метафизического самоудовлетворения стали смотреть на все революционные помышления, на все попытки смелого публичного протеста как на проявления ребяческого фанфаронства. Я говорю об этом знаемо, потому что в тридцатых годах, увлеченный гегельянизмом, сам участвовал в этом грехе.

В тридцатых годах под гнетом николаевского управления впервые появилось в России учение *объективистов*, объясняющее все исторические факты логическою необходимостью, исключаяющею из истории участие личного подвига и признающее в ней только одну действительную, неотвратимую и всемогущую силу — *самопроявление объективного разума*; учение весьма удобное для тех, которые, боясь делать, должны извинить перед всеми и перед собою свое постыдное бездействие.

Объективное учение продолжает и ныне развращать большую часть нашего образованного молодого дворянства. Сущность его осталась та же; изменилась только научная обстановка и терминология. В мое время все объяснялось, по Гегелю, самопроявлением или самоосуществлением объективного разума; ныне, по Конту, неотвратимым сцеплением или следованием естественных и социологических фактов. Как в той, так и в другой системе, *по-видимому*, нет места для личного дела¹. И та и другая служит превосходным предлогом для людей, боящихся дела.

Не будем дивиться поэтому, что большинство нашей привилегированной молодежи, что наше образованное дворянство вообще, за весьма редкими исключениями, приняло так охотно учение объективистов. Помещик-собственник, человек при месте или надеющийся получить место, не имеют ни малейшей нужды в революции. Напротив, они должны быть врагами ее, потому что революционный вопрос ныне повсюду, а в России более

¹ К такому заключению несомненно приводит метафизическая система Гегеля. Там действует Абсолют, а где этот господин распоряжается, там, разумеется, не может быть ни возможности, ни места для личного дела. К тому же результату часто и весьма охотно, но совершенно несправедливо и отнюдь не логично приходят многие приверженцы контковского наукословия, именно те, которых в статье «Наука и народ» в 1-м № *Народного дела* я назвал попами науки.

чем где-нибудь, принял характер по преимуществу экономический и социальный, т. е. разрушительный для всех выгодных положений и мест, и надо, чтоб справедливая мысль стала в них страстью и чтобы наперекор всем выгодам положения в сердцах этих господ загорелась беспощадная страсть разрушения, для того чтоб они могли желать революции.

Такие явления не невозможны, но редки. Блестящий сонм Декабристов принадлежал без сомнения к разряду людей, жертвовавших всем для торжества мысли. Но не позабудем, что мысль Декабристов носила по преимуществу и почти исключительно характер политический и героический и что со времени основания первых государств в истории политические страсти имели всегда дар возбуждать именно в среде привилегированных или высших сословий подвиги доблестного самоотвержения. Не позабудем также, что Декабристы жили и действовали в такую эпоху, когда в образованном сословии целой Европы преобладал дух героического либерализма, во времена Тугендбунда* и карбонаризма**, когда имена Занда, Морелли и Пепе, графов Бальба и Сантероза, Риго и Мана, Боливари, Лафаета и Боцариса произносились с полумистическим восторгом целой Европой.

КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Лион, 29 сентября 1870 г.

Дорогой друг*!

Мне не хочется уезжать из Лиона, не поговорив с тобой на прощанье. Осторожность не позволяет мне еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего здесь делать. Я приехал в Лион для того, чтобы сражаться или умереть с вами. Меня привела сюда непоколебимая уверенность, что дело Франции вновь стало делом человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы величайшим несчастьем с точки зрения свободы и человеческого прогресса, какое только может постигнуть Европу и весь мир**.

Я принял участие во вчерашних событиях и поставил свое имя под резолюциями *Центрального комитета спасения Франции****, потому что для меня очевидно, что после полного и реального разрушения всей административной и правительственной машины вашей страны для спасения Франции не остается иного пути, как восстание, стихийная, немедленная и революционная организация и федерация коммун, вне всякой официальной опеки и руководства.

Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, состоящие большей частью из буржуа или из рабочих, обращенных в буржуа, людей косных, неумных, неэнергичных и неискренних; все эти прокуроры республики, эти префекты и субпрефекты, а в особенности чрезвычайные комиссары, имеющие неограниченные военные и гражданские полномочия, комиссары, которых немислимая и роковая власть обрубка правительства, заседающего в Туре****, только что облекла бессильною диктатурой, — все это годится лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и отдать ее пруссакам.

Вчерашнее движение, если бы оно восторжествовало, — а оно неизбежно бы восторжествовало, если бы генерал Ключере, слишком желавший угодить всем партиям, не оставил бы так скоро дело народа; движение, которое опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона* и заменило бы его сильным революционным комитетом, сильным потому, что он был бы не фиктивным, а непосредственным и реальным выражением воли народа; это движение, я повторяю, могло бы спасти Лион, а вместе с Лионом и Францию.

Вот уже прошло двадцать пять дней с тех пор, как провозглашена республика, и что же сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего.

Лион — вторая столица Франции и ключ к Югу. Кроме обеспечения своей собственной защиты, он должен, стало быть, выполнить двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж. Он мог и теперь еще может сделать и то и другое. Если поднимется Лион, он непременно увлечет за собою весь Юг Франции. Лион и Марсель станут двумя полюсами грозного революционного национального движения, которое, подняв разом города и деревни, привлечет сотни тысяч сражающихся и противопоставит военной организации сил вторжения все могущество революции.

И каждому, напротив, должно быть ясно, что если Лион попадет в руки пруссаков, то Франция будет безвозвратно потеряна. От Лиона до Марселя они не встретят более препятствий. И что ж тогда? Тогда Франция делается тем, чем так долго, слишком долго была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом его величества императора Германии. Возможно ли пасть ниже?

Только Лион может избавить Францию от этого падения и постыдной смерти. Но для этого надо, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни одного дня, ни одной минуты. К сожалению, пруссаки не медлят. Они разучились спать: с присущей немцам последовательностью и поразительной точностью они осуществляют свои продуманно составленные планы, и, присоединив к этому древнему качеству своей расы быстроту действий, которая до сих пор считалась свойственной только французским войскам, они решительно продвигаются к само-

му сердцу Франции, представляя небывалую угрозу. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.

А между тем никогда еще Франция не находилась в таком отчаянном, в таком ужасном положении. Все армии уничтожены. Бóльшая часть военного снаряжения благодаря честности правительства и императорской администрации всегда существовала только на бумаге, а остальное, ввиду их осторожности, было так хорошо спрятано в крепостях Меца и Страсбурга, что, вероятно, скорее послужит пруссакам, чем национальной обороне. А ей во всех уголках Франции недостает сейчас пушек, боеприпасов, ружей, и, что еще хуже, — нет денег, чтобы их купить. Не то чтобы у французской буржуазии был недостаток в деньгах; наоборот, благодаря защищавшим ее законам, которые позволили ей широко эксплуатировать труд пролетариата, карманы ее полны. Но деньги буржуа никоим образом не патриотичны, они явно считают за лучшее эмигрировать и даже быть насильственно реквизированными пруссаками, чем подвергнуться опасности быть призванными помочь спасению отечества. Наконец, что уж тут скажешь, во Франции нет более администрации. Та, которая еще существует и которую правительство Национальной обороны имело преступную слабость сохранить, — это бонапартистский механизм, созданный, чтобы служить особым интересам разбойников Второго Декабря*, и, как я уже говорил, способный не организовать, а лишь окончательно предать Францию, отдать ее пруссакам.

Лишенная всего, что составляет могущество государств, Франция — больше не государство. Это — огромная страна, богатая, умная, полная природных сил и ресурсов, но полностью дезорганизованная и при этой ужасающей дезорганизованности вынужденная защищаться против самого губительного нашествия, которому когда-либо подвергалась нация. Что она может противопоставить пруссакам? Ничего, кроме стихийной организации огромного народного восстания — *Революции*.

Здесь я слышу, как все сторонники сохранения общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеры, адвокаты, все эти эксплуататоры буржуазного республиканства в желтых перчатках и даже изрядная часть так называемых представителей народа, вроде вашего гражданина Бриалу, предателей народного дела, которых жал-

кое тщеславие, возникшее вчера, сегодня толкает в лагерь буржуа, — я слышу, как они восклицают:

«Революция! О чем вы думаете, ведь это было бы верным несчастьем для Франции! Это было бы внутренним раздором, гражданской войной в присутствии неприятеля, стремящегося подавить и уничтожить нас! Самое полное доверие правительству Национальной обороны; самое беспрекословное повиновение военным и гражданским чиновникам, которых оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных убеждений, между всеми классами и партиями — вот единственный путь спасения Франции».

Доверие порождает единение, а единение создает силу — вот истина, которую, конечно, никто не вздумает отрицать. Но, чтобы это стало истиной, необходимы две вещи: надо, чтобы доверие не дошло до глупости и чтобы единение, одинаково искреннее у всех сторон, не было иллюзией, ложью или лицемерным использованием одной партии в отношении другой. Надо, чтобы все объединяющиеся партии, полностью забыв — конечно, не навсегда, а на время их союза — свои особые и заведомо противоположные интересы, те интересы и цели, которые в обычное время их разделяют, были одинаково поглощены достижением общей цели. Что же получится в противном случае? Партия искренняя неизбежно сделается жертвою партии менее искренней или вовсе неискренней; это произойдет не во имя торжества общего дела, а в ущерб ему и исключительно в интересах той партии, которая лицемерно использует этот союз в своих целях.

Чтобы союз был реальным и возможным, не надо ли, по крайней мере, чтобы цель, во имя которой партии должны объединиться, была единой? Разве так обстоит дело сегодня? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят совершенно одного и того же? Вовсе нет.

Французские рабочие хотят спасти Францию любой ценой, пусть даже для ее спасения пришлось бы превратить ее в пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого сердцу буржуа: поместья, капиталы, промышленность и торговлю, одним словом, всю страну превратить в огромную могилу, чтобы

похоронить в ней пруссаков. Они хотят смертного боя, варварской войны с ножом в руках, если понадобится. Не имея никаких материальных благ, которыми они могли бы пожертвовать, они отдают свою жизнь. Многие из них, а именно большая часть тех, кто состоит членами Международного товарищества рабочих, вполне сознают высокую миссию, которая в настоящее время выпала на долю французского пролетариата. Они знают, что если Франция падет, то в Европе дело всего человечества можно считать проигранным по крайней мере на полвека. Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но и перед всем миром. Эти идеи свойственны, конечно, только самой передовой части рабочих, но все без исключения рабочие Франции инстинктивно понимают, что если их страна попадет под иго пруссаков, то все их надежды на будущее рухнут. И они готовы скорее умереть, чем обречь своих детей на жалкое рабское существование. Поэтому они хотят во что бы то ни стало, любой ценой спасти Францию.

Буржуазия, или по крайней мере огромное большинство этого почтенного класса, желает как раз обратного. Для нее важнее всего сохранение во что бы то ни стало своих домов, имений и капиталов; для нее важна не столько целостность национальной территории, сколько целостность ее карманов, наполненных трудом пролетариата, эксплуатируемого ею под охраной государственных законов. Поэтому в глубине души, не смея сознаться в этом публично, она желает мира любой ценой, пусть даже ценою упадка и порабощения Франции.

Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют цели не только различные, но совершенно противоположные, то каким чудом мог бы возникнуть между ними реальный и искренний союз? Ясно, что это столь усиленно проповедуемое и восхваляемое примирение всегда будет лишь ложью. Ложь убила Францию, так можно ли надеяться, что ложь вернет ее к жизни? Сколько бы ни осуждали раскол, от этого он не перестанет существовать фактически, а раз он существует, раз в силу самих обстоятельств он должен существовать, то было бы ребячеством, скажу больше, было бы преступлением, с точки зрения спасения Франции, игнорировать, отрицать, не признавать открыто его существования. А поскольку спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, оставьте все свои личные интересы, притязания и разног-

ласия; забудьте все партийные разногласия и, насколько это возможно, пожертвуйте ими; но во имя этого же спасения остерегайтесь всяких иллюзий, ибо при нынешнем положении иллюзии смертельны! Ищите союза только с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как и вы сами, хочет спасти Францию *любой ценою*.

Когда люди идут навстречу большой опасности, не лучше ли идти в небольшом числе, с полной уверенностью, что вас не покинут в разгар борьбы, чем тащить с собою толпу неверных союзников, которые предадут вас в первом же бою?

К дисциплине и к доверию относится все то, что и к союзу. Сами по себе это прекрасные вещи, но когда они относятся к тем, кто их не заслуживает, они становятся пагубными. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что с недоверием отношусь к тем, у кого слово «дисциплина» постоянно на языке. Оно особенно опасно во Франции, где дисциплина большею частью означает деспотизм, с одной стороны, и автоматизм, с другой. Во Франции мистический культ власти, любовь к господству и привычка к подчинению уничтожили как в обществе, так и в огромном большинстве индивидов всякое чувство свободы, всякую веру в стихийный и жизнедеятельный строй, создать который может только свобода. Заговорите с ними о свободе, и они тотчас же станут кричать об анархии, поскольку им кажется, что как только эта давящая и насильственная дисциплина государства перестанет действовать, общество разорвет себя на куски и рухнет. В этом — секрет того поразительного состояния рабства, которое французское общество терпит с тех пор, как оно совершило свою великую революцию. Робеспьер и якобинцы завещали ему культ государственной дисциплины. Этим культом до мозга костей пропитаны все ваши буржуазные республиканцы, официальные и официозные; он-то и губит сейчас Францию. Он губит ее, парализуя единственный источник и единственное остающееся у нее средство освобождения — свободное развитие народных сил, и заставляя ее искать спасения в авторитете и иллюзорной активности государства, выдвигающего сегодня лишь тщетные деспотические требования при полной беспомощности.

Хотя я и враг всего того, что во Франции называют дисциплиной, тем не менее я признаю все-таки, что известная дисциплина, не автоматическая, а добровольная и разумная, в полном согласии со свободой индивидов, остается и всегда будет необходимой во всех случаях, когда множество свободно объединившихся индивидов займется какой-либо работой или предпримет какое-либо совместное действие. Тогда эта дисциплина есть не что иное, как добровольная и разумная согласованность всех индивидуальных усилий, направленных к общей цели. Во время деятельности, в пылу борьбы роли распределяются естественным образом в зависимости от способностей каждого, которые определяются и оцениваются всем коллективом: одни управляют и отдают приказания, другие их исполняют. Но никакая функция не застывает, не закрепляется и не обращается в неотъемлемую принадлежность какой-нибудь личности. Иерархии ранга и продвижения не существует, так что вчерашний руководитель может сегодня стать подчиненным. Никто не поднимается выше других, а если и поднимается, то только для того, чтобы в следующий момент вновь опуститься, как волны моря, к благотворному уровню равенства.

При такой системе больше нет собственно власти. Власть основывается на коллективе и становится открытым выражением свободы каждого, истинным и верным воплощением воли всех. При этом каждый повинуеться только потому, что тот, кто руководит им в данный момент, приказывает ему то, чего он и сам хочет.

Вот истинно гуманная дисциплина, необходимая для организации свободы. Не такова дисциплина, проповедуемая вашими государственными людьми — республиканцами. Они хотят старой французской дисциплины, автоматической, рутинной и слепой. Руководитель, не избранный свободно и только на один день, а навязанный государством надолго, если не навсегда, приказывает — и ему надо повиноваться. Только такой ценою, говорят они вам, можно добиться спасения и даже свободы Франции. Пассивное повиновение, основа всякого деспотизма, будет, следовательно, также и краеугольным камнем, который вы хотите положить в основание вашей новой республики.

Но если тот, кто мной командует, прикажет обратить оружие против этой самой республики или отдать Францию пруссакам, должен ли я ему повиноваться; да или

нет? Если я ему повинуюсь, то изменяю Франции; а если ослушаюсь, то нарушу эту дисциплину, которую вы хотите мне навязать как единственное средство спасения Франции. И не говорите мне, что дилемма, которую я предлагаю вам решить, — праздная. Нет, это животрепещущий вопрос, и именно он стоит в настоящее время перед вашими солдатами. Кто не знает, что их командование, генералы и подавляющее большинство высших офицеров душой и телом преданы императорскому режиму? Кто не видит, что они всюду, не скрываясь, плетут заговоры против республики? Что же должны делать солдаты? Если они подчинятся, то предадут Францию, а если ослушаются, то уничтожат остатки ваших регулярных войск.

Для республиканцев, сторонников государства, общественного порядка и безусловной дисциплины, эта дилемма неразрешима. Для нас, социалистических революционеров, она не представляет никакой трудности. Да, солдаты должны выйти из повиновения, должны взбунтоваться, должны сломать эту дисциплину и разрушить теперешнюю организацию регулярных войск. Во имя спасения Франции они должны уничтожить этот призрак государства, неспособного к добру и чинящего зло, потому что спасти Францию может сейчас только одна оставшаяся реальная сила — революция.

Что же сказать теперь о том доверии, которое рекомендуется вам в настоящее время как высшая добродетель республиканцев? Прежде, когда люди в самом деле были республиканцами, демократии рекомендовалось недоверие. Впрочем, ей не надо было даже и советовать этого: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также в силу своего исторического опыта, поскольку во все времена демократия была жертвою обмана всех честолюбцев и интриганов — классов и отдельных лиц, — которые под предлогом руководства ею и доведения до благополучного конца всегда ее эксплуатировали и обманывали. До сих пор она служила лишь трамплином.

Теперь господа республиканцы из буржуазной прессы советуют ей быть доверчивой. Но к кому и в чем? Кто они такие, чтобы сметь призывать к доверию, и что они сделали, чтобы самим заслужить его? Они писали очень

бледные фразы республиканского содержания, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом, по столько-то за строчку. А сколько среди них маленьких будущих Оливье?* Что общего между ними, этими корыстными и раболепными защитниками интересов имущего, эксплуатирующего класса, и пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания того рабочего мира, к которому они смеют презрительно обращаться с выговорами и советами? Сочувствовали ли они, по крайней мере, этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права трудящихся против буржуазной эксплуатации? Наоборот, всякий раз, как вставал основной вопрос века, вопрос экономический, они становились поборниками буржуазной доктрины, которая обрекает пролетариат на вечную нищету и вечное рабство ради свободы и материального благополучия привилегированного меньшинства.

Вот каковы люди, которые считают себя вправе рекомендовать народу оказать доверие. Но посмотрим, кто же заслужил и заслуживает в настоящее время доверия?

Не буржуазия ли? Но, не говоря уж о той реакционной ярости, которую этот класс выказал в июне 1848 года**, и об угодливой и рабской низости, какую она проявляла в течение двадцати лет, как в годы президентства, так и во время империи Наполеона III; не говоря о безжалостной эксплуатации, когда в ее карман поступает весь результат работы народа, а несчастным наемным работникам остается лишь самое необходимое; не говоря о ненасытной алчности, об ужасном и несправедливом корыстолюбии, которые, основывая процветание буржуазного класса на нищете и экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа,— посмотрим, какое же право *в настоящее время* может иметь буржуазия на доверие народа.

Изменили ли ее вдруг несчастья Франции? Может быть, она сделалась искренне патриотичной, республиканской, демократичной, народной и революционной? Быть может, она продемонстрировала намерение дружно подняться и отдать жизнь и кошелек ради спасения Франции? Быть может, она раскаялась в прежнем беззаконии, в прошлых и недавних низких изменах, быть может, она имеет искреннее намерение, полностью доверяя народу, броситься в его объятия? Быть может, она всей душой стремится встать во главе народа, чтобы спасти страну?

Не правда ли, мой друг, достаточно поставить эти вопросы, чтобы все, при виде того, что сейчас происходит, были вынуждены ответить отрицательно. Увы! Буржуазия не изменилась, не исправилась и не раскаялась. Сегодня, как и вчера, и даже в большей степени, чем раньше, под ослепительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она предстает во всей своей черствости, эгоизме, алчности, узости, глупости, грубости и в то же время низкой угодливости, жестокости, когда ей кажется, что ей ничего не грозит, как в несчастные Июньские дни. Она всегда распростерта ниц перед властью и силой, от которых она ждет своего спасения всегда, и при всех обстоятельствах враждебна народу.

Буржуазия ненавидит народ даже за все то зло, которое она ему причинила; она его ненавидит, потому что в нищете, невежестве и рабстве этого народа видит свой собственный приговор, потому что знает, что она более чем заслужила ненависть народа, и потому что она чувствует, что эта ненависть, становясь с каждым днем все сильнее и непримиримее, угрожает самому ее существованию. Буржуазия ненавидит народ, потому что он ей внушает страх; ее ненависть теперь удвоилась, потому что народ, единственный искренний патриот, которого несчастья Франции вывели из оцепенения, хотя, как и все другие страны мира, она была для него мачехой, осмелился подняться. Он начинает осознавать себя, подсчитывать свои силы, организуется, говорит во весь голос, поет *Марсельезу* на улицах и своим шумом и угрозами в адрес изменников Франции нарушает общественный порядок, будоражит совесть господ буржуа и лишает их душевного покоя.

Доверие можно завоевать только доверием. Проявила ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Ничего подобного. Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, наоборот, что ее недоверие к народу перешло всякие границы, вплоть до того, что в момент, когда стало совершенно очевидно, что в интересах Франции и ради ее спасения весь народ должен быть вооружен, она не пожелала дать ему оружие. Буржуазия уступила только тогда, когда народ стал угрожать взять его силою. Но, выдав ему ружья, она приложила все возможные усилия, чтобы не дать боеприпасов. Она вынуждена была уступить еще раз, и вот теперь, когда народ вооружен, он стал в глазах буржуазии еще более опасным и ненавистным.

Из ненависти к народу и в страхе перед ним буржуазия не хотела и не хочет республики. Не будем забывать, дорогой друг, что в Марселе, в Лионе, в Париже, во всех больших городах Франции не буржуазия, а народ, рабочие провозгласили республику. В Париже ее провозгласили не малоусердные непримиримые республиканцы из Законодательного корпуса*, почти все в настоящее время члены правительства Национальной обороны, а рабочие Ла-Виллетты и Бельвиля**, и это было сделано вопреки желанию и ясно выраженным намерениям вчерашних странных республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, все это заставило их потерять интерес к республике. Не будем забывать, что когда 4-го сентября рабочие Бельвиля при встрече приветствовали г-на Гамбетта возгласом: «Да здравствует республика!», он ответил им так: «Да здравствует Франция! — *говорю я вам*».

Г-н Гамбетта, как и все остальные, совсем не стремился к республике. Революции он желал еще меньше. Нам это известно, впрочем, из всех произнесенных им речей, с тех пор как его имя привлекло к нему всеобщее внимание. Г-н Гамбетта может сколько угодно называть себя государственным человеком, *мудрым, умеренным, консервативным, рационалистичным и позитивистским республиканцем*¹, но он страшится революции. Он хочет управлять народом, но не позволить народу управлять им. Поэтому все усилия г-на Гамбетта и его сторонников из радикального левого крыла Законодательного корпуса свелись 3-го и 4-го сентября к одной цели: во что бы то ни стало предотвратить создание правительства в результате народной революции. В ночь с 3-го на 4-е сентября они приложили невероятные усилия, чтобы заставить правых бонапартистов и министерство Паликао принять проект г-на Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всем радикальным левым крылом, проект, требовавший всего только учреждения *правительственной комиссии*, легально назначенной Законодательным собранием, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве, и не ставя иного условия, кроме включения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.

Все эти хитроумные замыслы были разрушены народным движением вечером 4-го сентября. Но даже в разгар

¹ См. его письмо в *Progrès de Lyon****.

восстания парижских рабочих, когда народ заполнил зал и трибуны Законодательного собрания, г-н Гамбетта, верный своим антиреволюционным идеям, еще приказывает народу молчать и уважать *свободу прений (!)*, чтобы никто не мог сказать, что правительство, избранное голосованием Законодательного собрания, было сформировано под сильным давлением народа. Как истинный адвокат, решительный сторонник легальной фикции, г-н Гамбетта, без сомнения, полагал, что правительство, назначенное Законодательным собранием, рожденным императорским обманом и имеющим в своем составе самых отъявленных подлецов Франции, что подобное правительство будет в тысячу раз внушительнее и почтеннее, чем правительство, вызванное к жизни отчаянием и негодованием народа, которого предали. Эта любовь к конституционной лжи так ослепила г-на Гамбетта, что, несмотря на свой ум, он не понял, что все равно никто бы не мог и не хотел поверить в свободу голосования в подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, напуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и презрения, разбежалось, и г-н Гамбетта, оставшись один со своими приверженцами из радикальной левой в зале Законодательного собрания, был вынужден отказаться, правда, с большим нежеланием, от своих мечтаний о власти, приобретенной легальным путем, и страдать от того, что народ передал в руки этой левой революционную власть. Я расскажу сейчас о том ничтожном применении, которое г-н Гамбетта и его сторонники нашли этой власти за четыре недели, истекшие с 4-го сентября, власти, которую дал им народ Парижа с тем, чтобы они подняли на спасительную революцию всю Францию, и которую они употребили до сих пор, наоборот, чтобы парализовать ее повсюду.

В этом отношении Гамбетта и его приверженцы, составляющие правительство Национальной обороны, явились лишь подлинными выразителями мыслей и чувств буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение отечества в результате социальной революции — а в настоящее время не может быть иной революции, кроме социальной, — или его порабощение пруссаками? Если они без опасения смогут высказать свои мысли и решатся быть откровенными, то девять десятых — что я говорю! — девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных отве-

тят вам, не колеблясь, что предпочитают порабощение. Спросите их еще: если бы для спасения Франции потребовалось пожертвовать значительною частью их собственности, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя готовыми принести эту жертву? Или, пользуясь образным выражением г-на Жюля Фавра, действительно ли они полны решимости скорее быть погребенными под руинами своих городов и домов, чем отдать их пруссакам? Они в один голос ответят, что предпочтут выкупить их у пруссаков. Неужели вы думаете, что если бы парижские буржуа не были постоянно на глазах и под угрозой непосредственного воздействия парижских рабочих, Париж оказал бы пруссакам такое мужественное сопротивление?

Не клеветшу ли я, однако, на буржуа? Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. Впрочем, в настоящее время существует неопровержимое и очевидное доказательство истинности и справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Злая воля и индифферентность буржуазии слишком ясно выразилась в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны разорены, что нет ни одного су в кассе правительства Национальной обороны, которое господа буржуа как будто бы горячо и ревностно поддерживают. Все понимают, что казна не может быть пополнена обычными средствами — займами и налогами. Неустойчивое правительство не может иметь кредита; что касается дохода от налогов, то он свелся к нулю. Часть Франции, включающая наиболее промышленно развитые и богатые провинции, занята пруссаками и подвергается ими систематическому грабежу. Во всех других местах торговля, промышленность и все деловые операции остановились. Косвенные налоги не дают уже ничего или почти ничего. Прямые налоги платятся с огромными затруднениями и с приводящею в отчаяние медлительностью. И это в тот момент, когда Франции нужны все ее ресурсы и весь кредит, чтобы покрыть чрезвычайные, громадные расходы на национальную оборону. Даже для непосвященных очевидно, что если Франция не найдет немедленно денег, много денег, она не в силах будет более бороться с пруссаками.

Кому, как не буржуазии понять это лучше других, буржуазии, которая всю жизнь занимается деловыми операциями и не признает другой силы, кроме силы денег. Она должна понимать, что раз Франция не может из обычных государственных ресурсов добыть всех денег, необходимых для ее спасения, то она вынуждена, она имеет право и обязана брать их там, где они есть. А где же они есть? Уж, конечно, не в кармане несчастного пролетариата, которому из-за алчности буржуазии едва удастся не умереть с голоду; следовательно, они могут находиться только в несгораемых сундуках господ буржуа. Только они имеют деньги, необходимые для спасения Франции. Предложили ли они сразу, добровольно хотя бы малую их толику?

Я еще вернусь, дорогой друг, к этому денежному вопросу, который является главным, когда речь идет об оценке чувств, принципов и патриотизма буржуазии. Общее правило таково: хотите вы точно знать, действительно ли буржуа желает того или иного? Тогда спросите, пожертвует ли он для этого денег: будьте уверены, если буржуа страстно желают чего-нибудь, они не отступят ни перед какими расходами. Разве они не истратили огромные суммы, чтобы убить, задушить республику в 1848 году? А позднее, разве они не голосовали за все налоги и займы, которые требовал от них Наполеон III, и не нашли в своих сундуках баснословные суммы, чтобы подписаться на эти займы? Наконец, предложите им и укажите верный способ восстановить во Франции сильную реакционную монархию, которая возвратила бы им вместе со столь милым их сердцу общественным порядком и спокойствием на улицах экономическое господство, драгоценную привилегию без стыда и совести, законно и постоянно использовать в своих интересах нищету пролетариата, — и вы увидите, поспеют ли они!

Пообещайте им только, что, как только пруссаки будут изгнаны из Франции, будет восстановлена монархия во главе с Генрихом V*, или с герцогом Орлеанским, или с одним из потомков гнусного Бонапарта, и вы убедитесь, что их несгораемые сундуки тотчас же откроются и там найдутся необходимые средства для изгнания пруссаков. Но им обещают республику, царство демократии, власть народа, эмансипацию народной черни, а они ни за что не хотят ни вашей республики, ни этой эмансипации и в до-

казательство этого держат сундуки на запоре, не жертвуя ни одним су.

Вы лучше меня знаете, дорогой друг, что произошло с этим несчастным займом, объявленным муниципалитетом Лиона для организации защиты города. Сколько было на него подписчиков? Столь мало, что даже те, кто превозносил патриотизм буржуазии, были сконфужены, огорчены и пришли в отчаяние.

И народ еще призывают оказать доверие этой буржуазии! А она настолько нагла и цинична, что сама говорит об этом доверии, я бы даже сказал, требует его. Она намерена одна управлять этой республикой, которую в глубине души ненавидит. Именем республики она пытается восстановить и укрепить свою власть и свое исключительное господство, которые в какой-то момент были поколеблены. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для нескольких отщепенцев из рабочих, довольных тем, что могут восседать рядом с господами буржуа. А на что они употребляют власть, которой они таким образом завладели? Об этом можно судить по деятельности вашего муниципалитета.

Но, могут мне возразить, муниципалитет нельзя трогать, ибо он был образован после революции, непосредственным выбором самого народа, он — результат всеобщего избирательного права. В этом качестве он должен быть для вас священен.

Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, что я решительно не разделяю суеверного благоговения ваших буржуазных радикалов или ваших буржуазных республиканцев перед всеобщим избирательным правом. В следующем письме я постараюсь изложить причины, в силу которых я остаюсь к нему равнодушным. Здесь же ограничусь принципиальной констатацией кажущейся мне бесспорной истины, которую потом мне нетрудно будет доказать как теоретически, так и с помощью множества фактов, взятых из политической жизни стран с демократическими и республиканскими институтами. Вот эта истина: *в обществе, где над народом, над трудящейся массой экономически господствует меньшинство, владеющее собственностью и капиталом, как бы ни было или как бы ни казалось свободно и независимо в политическом отношении всеобщее избирательное*

право, оно может привести только к обманчивым и антидемократическим выборам, совершенно не соответствующим потребностям, побуждениям и действительной воле населения.

Разве все выборы, проведенные непосредственно французским народом со времени декабрьского государственного переворота, не были диаметрально противоположны интересам этого народа, и разве последнее голосование императорского плебисцита не дало семь миллионов «ДА» императору? Без сомнения, нам скажут, что в империи всеобщее избирательное право никогда не осуществлялось свободно, ибо свобода печати, союзов и собраний, это основное условие политической свободы, была запрещена, и народ был отдан на произвол развращенной, продажной прессы и гнусной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 года в Учредительное собрание и президентские выборы, майские выборы 1849 года в Законодательное собрание были, я думаю, абсолютно свободны. Они происходили без всякого давления и даже без официального вмешательства, при всех условиях абсолютной свободы. И, однако, что они дали в результате? Ничего, кроме реакции.

«Одним из первых актов, которым более всего гордилось временное правительство, — говорит Прудон¹, — был декрет о введении всеобщего избирательного права. В тот самый день, когда он был обнародован, мы написали буквально те слова, которые тогда можно было счесть за парадокс: *«Всеобщее избирательное право есть контрреволюция»*. По дальнейшим событиям можно судить, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были проведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами*, сторонниками династии, вообще теми, кто воплощает во Франции все самое реакционное, ретроградное. Иначе и быть не могло».

Нет, не могло быть и теперь тоже не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни по-прежнему будет господствовать в организации общества, пока общество будет делиться на два класса, из которых один, привилегированный и эксплуатирующий, будет пользоваться всеми благами богатства, образования и досуга, а на долю другого, включающего в себя всю массу пролетариата, выпадает физический труд, изнуряющий и насильственный, невежество, нищета

¹ *Idée révolutionnaire***.

и их неизбежный спутник — рабство, не юридическое, а фактическое.

Да, рабство, ибо как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, работающих по найму, этим истинным каторжникам голода, вам никогда не удастся оградить их от пагубного влияния, естественного господства всевозможных представителей привилегированного класса, начиная от священника и кончая буржуазным республиканцем, даже самым якобинским, самым красным; представителей, которых при всем их кажущемся различии и действительном разногласии по политическим вопросам объединяет нечто общее, стоящее выше всего этого: эксплуатация нищеты, невежества, политической неопытности и наивной веры пролетариата в интересах экономического господства имущего класса.

Как мог бы городской и сельский пролетариат противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики? Для защиты от нее у него есть только одно оружие — его инстинкт, который почти всегда влечет его к истинному и справедливому, потому что он сам — главная, если не единственная, жертва несправедливости и всевозможной лжи, которые царят в современном обществе, а также и потому, что, испытывая угнетение со стороны привилегированных, он требует равенства для всех.

Но оружия инстинкта недостаточно, чтобы защитить пролетариат от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт сам по себе, пока он не превратился в основательное сознание, в четкое мышление, можно легко ввести в заблуждение, извратить и обмануть. Но без помощи образования, науки инстинкт не может подняться до сознания, а у пролетариата полностью отсутствуют научные знания, познания в делах и в людях, нет политического опыта. Отсюда нетрудно сделать вывод: пролетариат хочет одного, а ловкие люди, пользуясь его незнанием, вынуждают его делать другое, причем он и не подозревает, что делает как раз противоположное тому, что он хочет, а когда он это, наконец, замечает, обычно бывает слишком поздно, чтобы поправить дело, и первой, и основной жертвой содеянного зла всегда и непременно, конечно же, становится он сам.

Таким-то образом духовенство, знать, крупные собственники и вся бонапартистская администрация*, которая

благодаря преступной глупости правительства, называющего себя правительством Национальной обороны¹, может сегодня спокойно продолжать вести империалистскую пропаганду в деревне; таким-то образом, пользуясь полным невежеством французского крестьянина, эти пособники откровенной реакции стараются поднять его против республики, в пользу пруссаков. И, увы, это им слишком хорошо удастся! Разве нам не известны коммуны, которые не только открывают ворота пруссакам, но и выдают им волонтеров, явившихся им на выручку, прогоняют их?

Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Вовсе нет. Я думаю даже, что нигде более патриотизм в самом прямом и узком смысле этого слова не сохранил такой силы и искренности, поскольку крестьяне, больше чем все другие слои населения, привязаны к земле, проникнуты ее культом, что и составляет основу патриотизма. Как же могло случиться, что они не хотят или все еще медлят подняться на защиту этой земли от пруссаков? Да потому, что они были обмануты и их продолжают обманывать. Посредством макиавеллистской пропаганды, начатой в 1848 году легитимистами и орлеанистами* вместе с умеренными республиканцами, такими как Жюль Фавр и К°, и успешно продолженной бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, будто рабочие-социалисты — сторонники раздела земли — только и думают о том, как бы отобрать у крестьян землю, что только император хочет и может защитить их от этого грабежа и что из чувства мести революционеры-социалисты отдали его самого и его армию в руки пруссаков, но что прусский король, только что помирившись с императором, вернет его победителем, чтобы восстановить порядок во Франции.

Очень глупо, но это так. Во многих, да что я говорю, в большинстве французских провинций крестьянин совершенно искренне верит во все это. Более того, в этом единственная причина его инертности и враждебности к республике. Это — большое несчастье, так как ясно, что если деревня останется безучастной, если крестьяне в союзе с городскими рабочими не поднимутся всей массой, чтобы изгнать пруссаков, то Франция погибнет. Как бы ни

¹ Не справедливее ли было бы назвать его правительством разорения Франции?

был велик героизм, который мы наблюдаем в городах, — а он действительно повсеместно велик! — города, разделенные сельской местностью, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они неизбежно должны будут сдать.

Доказательством непроходимой глупости этого странного правительства Национальной обороны является в моих глазах то, что, придя к власти, оно не приняло сразу же всех необходимых мер для разъяснения крестьянам положения вещей в настоящее время и для того, чтобы повсеместно поднять их на вооруженное восстание. Разве так трудно было понять столь простую и очевидную для всех вещь, что от массового восстания крестьян и городского населения зависело и еще теперь зависит спасение Франции? А сделало ли правительство Парижа и Тура до сих пор хоть один шаг в этом направлении? Предприняло ли оно хоть что-нибудь, чтобы вызвать крестьянский бунт? Оно не только ничего не сделало для того, чтобы поднять крестьян, наоборот, оно предприняло все для того, чтобы этот бунт стал невозможен. В этом его безрассудство и преступление, которые могут убить Францию.

Оно сделало восстание деревни невозможным, сохранив во всех коммунах Франции муниципальную администрацию империи: это те же мэры, мировые судьи, полевые сторожа, не забыты и гг. кюре, которых выбирали и назначали, которым покровительствовали гг. префекты, субпрефекты, а также императорские епископы с одной целью: отстаивать интересы династии во что бы то ни стало, даже вопреки интересам самой Франции. Это те же чиновники, которые проводили все выборы в империи, включая последний плебисцит, те, которые еще в августе под руководством г-на Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, организовали против всех и всяческих либералов и демократов в защиту Наполеона III, в то время, когда этот негодяй отдал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, ужасную пропаганду, распространяя во всех коммунах нелепую и вместе с тем гнусную клевету, будто республиканцы, навязав императору эту войну, объединились теперь с немецкими солдатами против него.

Таковы люди, которые благодаря одинаково преступному благодушию или глупости правительства Национальной обороны по сей день стоят во главе всех сельских коммун Франции. Могут ли эти люди, безвозвратно скомпрометировавшие себя, изменить теперь свое мнение, могут ли они, вдруг изменив свою линию, взгляды и речи, действовать как искренние сторонники республики и борцы за спасение Франции? Да крестьяне смеялись бы им в лицо. Поэтому они *вынуждены* говорить и действовать сегодня так, как и прежде, вынуждены отстаивать и защищать дело императора против республики, династии против Франции и дело пруссаков, ныне союзников императора и его династии, против Национальной обороны. Вот чем объясняется, почему все коммуны открывают ворота пруссакам вместо того, чтобы оказывать им сопротивление.

Повторяю еще раз, в этом — величайший позор, огромное несчастье и страшная опасность для Франции; и вся вина за это падает на правительство Национальной обороны. Если дела будут продолжать идти таким же образом, если положение в деревне не изменится в самое ближайшее время, если не удастся поднять крестьян против пруссаков, то Франция безвозвратно погибнет.

Но как поднять крестьян? Я подробно останавливался на этом вопросе в другой брошюре¹. Здесь же скажу коротко. Без сомнения, первое условие, это — немедленно и в массовом количестве отозвать всех чиновников, находящихся в данный момент в коммунах, потому что, пока эти бонапартисты остаются на местах, сделать ничего нельзя. Но это будет только отрицательной мерой. Она совершенно необходима, но недостаточна. На крестьянина, натуру реалистичную и недоверчивую, можно успешно воздействовать только при помощи положительных средств. Достаточно сказать, что декреты и прокламации, даже подписанные всеми членами правительства Национальной обороны, впрочем, ему совершенно незнакомы, точно так же и газетные статьи не оказывают на него ровно никакого влияния. Крестьянин не читает. Ни воображением, ни сердцем он не воспринимает идеи, выраженные в литературной или отвлеченной форме. Чтобы повлиять на крестьянина, идеи должны быть выражены в живом слове живых людей и воплощены в делах. Тогда

¹ *Lettres à un Français sur la crise actuelle*. Septembre 1870*.

он слушает, понимает и в конце концов позволяет себя убедить.

Следует ли посылать в деревню пропагандистов, борников республики? Это было бы неплохим средством, но здесь есть одна трудность и двойная опасность. Трудность заключается в том, что правительство Национальной обороны, тем ревнивее оберегающее свою власть, чем более она колеблется, и верное своей злополучной системе политической централизации, оказавшись в положении, когда централизация стала совершенно невозможной, захочет само выбрать и назначить всех пропагандистов, или, вернее, оно возложит эту обязанность на своих новых префектов и чрезвычайных комиссаров, почти поголовно исповедующих одну с ней политическую религию, т. е. на буржуазных республиканцев, адвокатов, редакторов газет, иногда бескорыстных (лучших, но не всегда самых разумных), а большею частью и очень даже своекорыстных почитателей республики, о которой они знают не из жизни, а из книг и которая одним сулит славу с ореолом мученика, другим — блестящую карьеру и доходное место. Притом речь идет о республиканцах очень умеренных, *консервативных, рациональных и позитивистских*, каков сам Гамбетта, и в качестве таковых — ожесточенных врагов революции и социализма и уж, конечно, сторонников сильной государственной власти.

Эти почтенные чиновники новой республики, конечно, захотят послать в деревни в качестве миссионеров людей их собственной закваски, тех, кто полностью разделяет их политические убеждения. Для всей Франции их потребовалось бы по меньшей мере несколько тысяч. Где они их возьмут, черт побери? Буржуазные республиканцы теперь так редки, даже среди молодежи! Так редки, что в таком городе, как Лион, например, их не найдется в достаточном количестве для самых важных должностей, которые можно доверить только самым искренним республиканцам.

Первая опасность состоит в следующем: даже если бы префекты и субпрефекты нашли в своих департаментах достаточное число молодых людей для пропаганды в деревне, эти новые миссионеры были бы, безусловно, почти во всех случаях и повсюду по уровню революционной убежденности и твердости характера ниже по сравнению с посланными их префектами и субпрефектами, которые, в свою очередь, в этом отношении сами стоят ниже этих

никчемных эпигонов великой революции, занимающих сегодня высокие посты членов правительства Национальной обороны и посмевавшихся взять в свои немощные руки судьбы Франции. Так, опускаясь все ниже и ниже, от ничтожества к еще большему ничтожеству, не найдут ничего лучшего, как направить в деревню для пропаганды республиканцев типа г-на Андрие, прокурора республики, или г-на Эжена Верона, редактора лионского *Прогресса*, людей, которые от имени республики будут заниматься пропагандой реакции. Как вы думаете, дорогой друг, может ли это расположить крестьян в пользу республики?

Увы, я боюсь обратного. Между хилыми почитателями буржуазной республики, отныне невозможной, и французским крестьянином, который хотя и не *позитивист* и не *рационалист*, как Гамбетта, но тем не менее очень положителен и полон здравого смысла, нет ничего общего. Если бы даже они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они не замедлили бы убедиться, что все их литературное, доктринерское, адвокатское витийство рухнуло бы перед хитровой замкнутостью неотесанных деревенских тружеников. Расшевелить крестьян возможно, но очень трудно. Для этого прежде всего нужно нести в самом себе глубокую, могучую страстность, которая волнует души и творит то, что в обычной жизни, в однообразном повседневном существовании зовется чудом. Она творит чудеса энергии, преданности, самопожертвования и победного действия. Люди 1792—1793 гг., особенно Дантон, обладали этой страстностью, и она-то им и давала силу творить чудеса. Они были неутомимы, и им удалось передать эту энергию всей нации, или, лучше сказать, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, охватившей народ.

Среди нынешних или бывших членов радикально-буржуазной партии Франции случалось ли вам знать хоть одного, который бы нес в своем сердце что-то близкое страстности и вере, воодушевлявших людей первой революции, или, может быть, вы хотя бы слышали о таком человеке? Нет ни одного, не правда ли? Позже я изложу вам причины, которым, по-моему, следует приписать этот прискорбный упадок буржуазного республиканизма. Здесь я просто констатирую этот упадок и утверждаю — дальше я это докажу, — что буржуазный республиканизм морально и интеллектуально выродился, утратил

разум и силу, стал лживым, подлым, реакционным и, как таковой, полностью вытеснен из исторической реальности революционным социализмом.

Мы с вами, дорогой друг, наблюдали представителей этой партии в самом Лионе. Мы их видели в действии. И что же они говорили, что предприняли, чем продолжают заниматься в условиях ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Они насаждают реакцию, мелкую, жалкую реакцию. На большую у них еще не хватает смелости. Не прошло и двух недель, как население Лиона убедилось, что руководители республики и монархии отличаются друг от друга только названием. Та же ревностная забота о сохранении власти, которая ненавидит народ и страшится его контроля, то же недоверие к народу, то же почтение и угодливость перед привилегированными классами. И тем не менее, г-н Шальмель-Лакур, префект, ставший благодаря рабскому малодушию Лионского муниципалитета диктатором этого города, — задушевный друг г-на Гамбетта, его дорогой избранник, конфиденциальный доверенный и точный выразитель самых сокровенных мыслей этого великого республиканца, этого *твердого человека*, от которого Франция тупо ждет своего избавления. А г-н Андрие, нынешний прокурор республики, — прокурор, поистине достойный этого звания, поскольку он обещает скоро превзойти своим ультраюридическим усердием и чрезмерным пристрастием к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи, — при прежнем режиме слыл за вольнодумца, за заклятого врага священников, за преданного сторонника социализма и друга Интернационала. Мне кажется даже, что незадолго до падения империи он был за это удостоен чести попасть в тюрьму, откуда был освобожден ликующим народом Лиона.

Как же так случилось, что эти люди изменились и вчерашние революционеры стали сегодня убежденными реакционерами? Не следствие ли это удовлетворенного честолюбия, того, что, заняв благодаря народной революции довольно высокое и выгодное положение, они во что бы то ни стало стараются удержать его за собой? Да, конечно, честолюбие и корысть — могучие двигатели, развратившие немало людей, но я не думаю, чтобы две недели власти были достаточны, чтобы развратить чувства этих новых чиновников республики. Может быть, они обманывали народ, выдавая себя во время империи за привер-

женцев революции? Так вот, откровенно говоря, я не могу этому верить. Они не хотели никого обмануть; но они сами обманулись на свой счет, вообразив себя революционерами. Свою ненависть к империи, очень искреннюю, даже если она не была очень действенной и страстной, они приняли за сильную любовь к революции и, строя иллюзии в отношении самих себя, не подозревали, что одновременно были и сторонниками республики, и реакционерами.

«Реакционная идея¹, — говорит Прудон, — зародилась — пусть народ этого никогда не забывает! — внутри самой республиканской партии». И далее он добавляет, что источником этой идеи «было ее *правительственное рвение*», ее суетливое, мелочное, фанатичное, полицейское усердие, ее деспотизм, под предлогом самого спасения свободы и республики.

Буржуазные республиканцы совершают грубую ошибку, отождествляя *свою* республику со свободой. В этом-то и есть главная причина их иллюзий, когда они в оппозиции, и их разочарования и непоследовательности, когда они у власти. Их республика вся основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно быть тем более сильно и действенно, что оно избрано народом; и они не хотят постичь истину, такую простую и притом подтвержденную опытом всех времен и всех стран, что всякая организованная власть, установленная, чтобы управлять народом, неизбежно исключает свободу народа. Единственное назначение политического государства — защищать эксплуатацию народного труда экономически привилегированными классами, поэтому государственная власть может соответствовать свободе только этих классов, чьи интересы она представляет, и по этой же причине она должна быть враждебна свободе народа. Слова «государство», «власть» означают господство, а всякое господство подразумевает существование масс, над которыми господствуют. Следовательно, государство не может доверять стихийным действиям, свободному движению масс, самые кровные интересы которых противоречат его существованию. Государство — их естественный враг, их обязательный угнетатель, и, всячески остерегаясь признать это, оно всегда будет действовать именно так.

¹ *Idée générale de la Révolution**.

Вот чего не понимают молодые сторонники авторитарной или буржуазной республики, пока они остаются в оппозиции и сами еще не попробовали власти. Презируя всем сердцем, со всею страстью, на какую еще способны эти жалкие, выродившиеся и расслабленные натуры, монархический деспотизм, они воображают, что презируют деспотизм вообще. Им очень бы хотелось иметь силу и мужество опрокинуть трон, и потому они считают себя революционерами. Они и не подозревают, что ненавидят не деспотизм, а лишь его монархическую форму и что этот же деспотизм, приняв республиканское обличье, найдет в них самых рьяных приверженцев.

Они не понимают, что деспотизм заключается не столько в *форме* государства или власти, сколько в самом *принципе* государства и политической власти, и что, следовательно, республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое императором или королем. Между этими двумя государствами есть только одно реальное различие. Оба равно имеют своей основой и целью экономическое порабощение масс в интересах имущих классов. Отличаются же они друг от друга тем, что для достижения этой цели монархическая власть, повсюду неизменно стремящаяся к военной диктатуре, не допускает свободы ни одного класса, даже того, который она защищает в ущерб народу. Она хочет и вынуждена служить интересам буржуазии, но она не позволяет ей всерьез вмешиваться в управление делами страны.

Эта система, если она попадает в неумелые или весьма нечестные руки или если она слишком явно противопоставляет интересы династии интересам тех, кто занимается промышленностью и торговлей страны, как это только что случилось во Франции, может причинить большой вред интересам буржуазии. Кроме того, она имеет еще один очень серьезный, с точки зрения буржуа, недостаток: она задевает их тщеславие и гордость. Правда, система защищает их и предоставляет им, с точки зрения эксплуатации труда народа, полную безопасность, но в то же время она их унижает, резко ограничивая их маниакальную рассудительность, а когда они осмеливаются протестовать, она грубо обращается с ними. Это возмущает, конечно, самую пылкую, если хотите, самую великодушную и наименее рассудительную часть буржуазного класса, и таким образом в нем самом из ненависти к это-

му подавлению образуется республиканско-буржуазная партия.

Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Искоренения эксплуатации народных масс, официально охраняемой государством и гарантируемой им? Действительной и полной эмансипации для всех посредством экономического освобождения народа? Ничуть не бывало. Буржуазные республиканцы — самые непримиримые и злейшие враги социальной революции. Во время политического кризиса, когда они нуждаются в могучих руках народа, чтобы низвергнуть трон, они снисходят до обещания улучшения материального положения этого вызывающего *такой интерес* класса трудящихся. Но так как в то же время они полны решимости сохранить и укрепить все принципы, все *священные основы* существующего общества, все экономические и правовые институты, которые имеют своим неперменным следствием действительное рабство народа, то все их обещания, естественно, всегда обращаются в дым. Обманутый народ ропщет, угрожает, возмущается, и тогда, чтобы предупредить взрыв народного недовольства, они, буржуазные революционеры, вынуждены прибегнуть к репрессивному всемогуществу государства. Отсюда следует, что республиканское государство так же угнетает, как и монархическое, но делает это только в отношении народа и ни в коей мере — в отношении имущих классов.

Поэтому ни одна форма правления не была столь угодна буржуазии и так любима этим классом, как республика, если бы при настоящем экономическом положении Европы она была способна устоять под натиском все более и более угрожающих социалистических стремлений рабочих масс. Если буржуа в чем-нибудь и сомневается, то отнюдь не в добротности республики, в которой все как нельзя более благоприятствует ему, а в ее могуществе как государства, в ее способности выстоять и защитить его от пролетарских бунтов. Вы не встретите ни одного буржуа, который не сказал бы вам: «Республика — прекрасная вещь, но, к сожалению, она невозможна; она недолговечна, потому что она никогда не найдет в себе достаточно силы, чтобы стать настоящим, почтенным государством, способным заставить себя уважать и внушить массам почтение к нам». Обожая республику платонической любовью, но сомневаясь в ее возможностях или по крайней мере в ее продолжительности, буржуа, следовательно,

всегда готов стать под защиту военной диктатуры, которую он ненавидит, которая его оскорбляет, унижает, в конце концов рано или поздно его разорит, но которая по крайней мере предоставляет ему все условия, гарантирующие силу, спокойствие на улицах и общественный порядок.

Это роковое пристрастие большей части буржуазии к военному режиму приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они прилагали и продолжают прилагать, особенно в настоящее время, *«сверхчеловеческие»* усилия, чтобы заставить ее полюбить республику, убедить в том, что, ничуть не вредя интересам буржуазии, республика будет, наоборот, вполне благоприятствовать ей, т. е., иначе говоря, она всегда будет противостоять интересам пролетариата и у нее всегда будет достаточно силы, чтобы заставить народ уважать законы, гарантирующие спокойное экономическое и политическое господство буржуа.

Такова сегодня главная забота всех членов правительства Национальной обороны, так же как и всех префектов, субпрефектов, адвокатов республики и генеральных комиссаров, направленных ими в департаменты. Речь идет не столько о защите Франции от вторжения пруссаков, сколько о том, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы, обладающие в настоящее время государственной властью, имеют твердое намерение и необходимую силу, чтобы предотвратить бунты пролетариата. Станьте на эту точку зрения и вам станут ясны все непонятные ранее действия этих странных защитников и спасителей Франции.

Движимые этим принципом и преследуя эту цель, они невольно тянутся к реакции. Как могли бы они служить революции и вызывать ее, даже если бы они были уверены, как это и случилось сегодня, в том, что революция — единственное средство спасения Франции? Как могли бы эти люди, официально несущие в самих себе паралич и смерть всякого выступления народа, как могли бы они внести жизнь и движение в деревню? Что могли бы они сказать крестьянам, чтобы поднять их против пруссаков, в присутствии этих бонапартистских кюре, мировых судей, мэров и полевых сторожей, к которым они, в силу своего чрезмерного пристрастия к общественному порядку, питают уважение и которые, имея в сельской местности гораздо большее влияние и обладая гораздо большей

силой воздействия, чем они, с утра до вечера ведут совершенно иную пропаганду и будут продолжать ее вести? Удастся ли им взволновать крестьян словами, притом что все факты будут находиться с этими словами в противоречии?

Учтите, крестьянин ненавидит все правительства. Он их терпит из осторожности, регулярно платит им налоги, допускает, что берут его сыновей в солдаты, потому что не видит иного выхода, он не способствует никакой перемене, потому что он убежден, что все правительства стоят одно другого и что новое правительство, как бы оно ни называлось, будет не лучше старого, и потому что он хочет избежать риска и издержек, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов для него ненавистнее всего республиканское правительство, потому что оно напоминает ему о добавочных сантиматах 1848 года. К тому же в течение двадцати лет это правительство чернили в его глазах. Для него это — пугало, прежде всего потому, что представляет в его глазах режим насилия, разорительных набегов, режим, который не приносит никакой выгоды, а только материальные убытки. Республика для него — это господство того, что он более всего ненавидит. Это — диктатура городских адвокатов и буржуа, а уж раз необходима диктатура, то его дурной вкус сказывается в предпочтении сабельной диктатуры.

Как же после этого надеяться, что *официальным* представителям республики удастся склонить к ней крестьянина? Если он почувствует себя сильным, он будет насмехаться над ними и выгонит их из своей деревни; в противном же случае он замкнется в своем молчании и бездействии. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов или редакторов в деревню для пропаганды республики значило бы нанести ей смертельный удар.

Но что же тогда делать? Есть только одно средство: революционизировать деревни так же, как и города. А кто может это сделать? Единственный класс, который в настоящее время действительно и искренне несет в себе революцию, — это класс трудящихся городов.

Но как могут трудящиеся приняться за революционизирование деревни? Пошлют ли они в каждую деревню отдельных рабочих для пропаганды республики? Но откуда они возьмут деньги, необходимые для этой пропаганды? Правда, гг. префекты, субпрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но

тогда они были бы посланцами не рабочего мира, а государства, что коренным образом изменило бы их особенности, их роль и даже сам характер их пропаганды, которая вследствие этого непременно стала бы реакционной вместо революционной, потому что первое, что они должны были бы сделать,— внушить крестьянам доверие ко всем вновь учрежденным или сохраненным республикой органам власти, следовательно, и к бонапартистским властям, отрицательное воздействие которых продолжает еще сказываться в деревне. Впрочем, очевидно, что гг. субпрефекты, префекты и генеральные комиссары согласно естественному закону, по которому каждый предпочитает то, что ему нравится, а не то, что ему претит, выбрали бы для выполнения роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных и угодливых. Это была бы опять-таки реакция в рабочем обличье, а мы уже сказали, что одна только революция может революционизировать деревню.

Наконец, следует добавить, что пропаганда отдельных лиц, если бы даже она велась самими революционными людьми на свете, не могла бы оказать большого влияния на крестьян. Красноречие их совсем не привлекает, и, если слова не являются проявлением силы и не сопровождаются непосредственно делами, они остаются для них только словами. Рабочий, явившийся в деревню один для произнесения речей, подвергся бы риску быть осмеянным и изгнанным, как буржуа.

Так что же надо делать?

Для пропаганды революции в деревне нужно посылать волонтеров.

Общее правило: кто хочет пропагандировать революцию, тот сам должен быть истинным революционером. Чтобы поднять людей, надо самому быть очень деятельным, неутомимым, иначе это только пустые слова, бесполезный шум, а не действия. Итак, прежде всего волонтеры-пропагандисты должны быть сами революционно настроены и организованы. Они должны нести революцию в своем сердце, чтобы создать революционное настроение вокруг себя. Затем они должны выработать систему, линию поведения в соответствии с поставленной перед собой целью.

Какова же эта цель? Это — не навязать революцию деревне, а вызвать, возбудить ее там. Революция, навязанная официальными предписаниями или вооруженною силою, — это уже не революция, а нечто прямо ей противоположное, ибо такая революция непременно приводит к реакции. Кроме того, волонтеры должны в деревне представлять внушительную силу, способную заставить уважать себя. Это необходимо, конечно, не для принуждения, а для того, чтобы не возникло желания посмеяться над ними или дурно с ними обойтись, прежде чем выслушать их, — а это легко могло бы случиться с пропагандистами, действующими в одиночку, не поддержанными внушительной силой. Крестьяне неотесанны, а грубые натуры легко подчиняются престижу и демонстрации силы; потом они могут восстать против нее, если эта сила навязывает им условия, совершенно противоположные их инстинктам и интересам.

Вот чего должны остерегаться волонтеры. Они не должны ничего навязывать и должны все пробуждать. Первое, что они могут и, разумеется, должны сделать, — это устранить все, что могло бы помешать успеху пропаганды. Так, они должны начать с устранения без кровопролития всей администрации коммун, неизбежно зараженной бонапартизмом, а возможно, и легитимизмом или орлеанизмом. Они должны изгнать, если нужно, арестовать гг. чиновников в коммунах, а также всех реакционно настроенных крупных собственников, а с ними и господина кюре *ни по какой иной причине, как только за тайное соглашение с пруссаками*. Легальный муниципалитет должен быть заменен революционным комитетом, сформированным из небольшого числа наиболее энергичных и искренне принявших революцию крестьян.

Но прежде чем учреждать этот комитет, надо совершить переворот в настроениях если не всех, то по крайней мере у подавляющего большинства крестьян. Необходимо, чтобы это большинство охватила революционная страсть. Как совершить это чудо? Надо заинтересовать. Говорят, что французский крестьянин жаден; так вот, надо сделать так, чтобы именно в силу своей алчности он был заинтересован в революции. Необходимо предложить и немедленно дать ему большие материальные преимущества.

Пусть не сетуют на безнравственность подобной системы. В наши дни — имея перед собой примеры, которые являют нам все милостивейшие властители, в чьих руках судьбы Европы, их правительства, генералы, министры, крупные и мелкие чиновники, все привилегированные классы, духовенство, дворянство, буржуазия — было бы неумно возмущаться против нее. Это было бы совершенно бесполезным лицемерием. Сегодня материальные интересы правят всеми, ими объясняется все. И так как материальные интересы и корыстолюбие крестьян теперь губят Францию, почему бы интересам и корыстолюбию крестьян не спасти ее? Тем более, что один раз они ее уже спасли, в 1792 году.

Вот что говорит по этому поводу великий французский историк Мишле, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме¹:

«Никогда не было такой пахоты, как в октябре 91 г., когда хлебопашец, серьезно предупрежденный событиями в Варенне и Пильнице*, впервые призадумался над грозившими ему опасностями, над тем, что у него хотят отнять завоевания революции. Его труд, вдохновленный воинственным негодованием, в мыслях представлялся ему боевым походом. Он пахал, как солдат, шел за сохой военным шагом и, суровее обыкновенного стегая кнутом своих быков, кричал одному: «Но-о, Пруссия!», а другому: «Вперед, Австрия!». Бык шел, как боевой конь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась дыханием жизни.

Не мог этот человек, в котором впервые проснулось человеческое достоинство, терпеливо ждать, пока у него отнимут *то, чем он недавно стал владеть. Свободный и идущий по свободному полю, он, ступая ногой, чувствовал под собою землю без податей и десятинного сбора, землю, которая уже принадлежит ему или будет принадлежать ему завтра... Нет больше господ! Все господа! Все короли, каждый на своей земле. Сбывается старая поговорка: бедный человек — в своем доме король.*

В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?»

И далее, где он говорит о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением Брауншвейга:

¹ *Histoire de la révolution française*, par Michelet, t. III**.

«Вступив в Верден, Брауншвейг так удобно устроился, что остался там на неделю. Уже там эмигранты, окружавшие прусского короля, начали ему напоминать о данных им обещаниях. Принц сказал при отъезде странные слова (Гарденберг слышал их) о том, что он «не будет вмешиваться в управление Францией, а только возвратит королю абсолютную власть». Возвратить королю королевскую власть, церкви — священникам, *собственность — собственникам* — в этом заключалось все его честолюбие. И за все эти благодеяния чего требовал он от Франции? Никаких территориальных уступок. Пруссии должны быть только возвращены издержки войны, предпринятой для спасения Франции.

Эта короткая фраза, *возвратить собственность*, заключала в себе многое. Крупным собственником было духовенство; речь шла о том, чтобы возвратить ему *имущество в четыре миллиарда, возвратить все то, что было продано на миллиард* уже в январе 92 г. и что за истекшие с тех пор девять месяцев возросло в громадных размерах. Что должно было стать с бесчисленными контрактами, которые были прямым или косвенным следствием этой операции? При этом был бы нанесен ущерб не только тем, кто приобрел, но и тем, кто давал им займы деньги, и тем, кому они перепродали, и множеству других лиц... множеству людей, *действительно связанных с Революцией значительным интересом. Этим владениям*, которые уже несколько веков не служат цели, поставленной их благочестивыми основателями, *Революция вернула их истинное назначение: обеспечить жизнь и содержание бедняка. Они перешли из мертвых рук в живые, от лентяев к труженикам, от развратных аббатов, пузатых каноников, чванливых епископов к честному хлебопашцу. В этот короткий промежуток времени возникла новая Франция.* А эти невежды (эмигранты), которые привели иностранца, и не подозревали об этом...

Услышав многозначительные слова о восстановлении священников, о возврате к старому и т. д., крестьянин наострил уши и понял, что во Франции начинается контрреволюция, что близятся большие перемены, касающиеся и *вещей*, и людей. Не все имели ружья, но у кого они были, тот взялся за оружие, у кого были вилы, тот взял вилы, у кого коса, тот взял косу. Что-то происходило на французской земле. Казалось, она сразу менялась там, где проходил иностранец. Она обратилась в пустыню. Хлеб с полей исчез, как будто бы его унес ураган; он был уве-

зен на запад. На своем пути враг встречал только одно: зеленый виноград, болезнь и смерть».

А еще далее Мишле рисует такую картину восстания французских крестьян:

«Население стремилось к бою с таким увлечением, что власти начинали бояться этого и удерживали его. Беспорядочные массы, почти невооруженные, устремлялись к одному и тому же месту; не знали, где их поместить и чем кормить. На востоке, главным образом в Лотарингии, холмы и все возвышенные участки превратились в лагеря, наскоро укрепленные срубленными деревьями, вроде наших древних лагерей времен Цезаря. Если бы это увидел Верцингеториг, он решил бы, что находится в центре Галлии. Немцам было над чем призадуматься, когда они проходили мимо, оставляя позади себя эти народные лагеря. Каково-то им будет возвращаться? Каково должно было бы быть их бегство в окружении этих враждебных масс, которые хлынут на них, как вешние воды?.. Они должны были заметить, что им придется иметь дело не с армией, а с Францией».

Увы! Разве не обратное тому видим мы теперь? Но почему та же самая Франция, которая в 1792 году поднялась вся целиком, чтобы отбросить чужеземное нашествие, не поднимается теперь, когда ей угрожает гораздо большая опасность, чем в 1792 году? О, да потому, что в 1792 году она была наэлектризована Революцией, а теперь она парализована Реакцией, представленной в лице правительства пресловутой Национальной обороны, которое ее защищает.

Почему в 1792 году крестьяне поднялись против пруссаков, и почему теперь они остаются не только инертными, но скорее даже благожелательными к тем же пруссакам и враждебными к той же республике? О, ведь для них это уже не та самая республика. Республика, основанная Национальным Конвентом* 22 сентября 1792 года, была именно народной и революционной. Она представила народу огромный или, как говорит Мишле, *значительный*, интерес. Путем конфискации в большом количестве прежде всего церковных владений, а затем имений эмигрировавших, восставших, подозреваемых в измене, гильотинированных дворян она дала ему землю, и, чтобы

сделать невозможным возврат этой земли ее прежним владельцам, народ поднялся всей массой. Между тем теперешняя республика — вовсе не народная, напротив, она полна неприязни и недоверия к народу, эта республика адвокатов, несносных доктринеров, провозглашенная буржуазной, ничего не дает народу, кроме фраз, роста налогов и опасностей, без какой бы то ни было компенсации.

Крестьянин не верит в эту республику, хотя и по другим причинам, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазной, слишком благоприятной для буржуазии, и он питает к буржуазии в глубине своего сердца мрачную ненависть, которая, проявляясь в несколько иной форме, чем ненависть городских рабочих к этому потерявшему уважение классу, тем не менее также сильна.

Крестьяне, по крайней мере огромное большинство крестьян — этого никогда не надо забывать, — хотя и стали собственниками, но тем не менее *живут трудами своих рук*. Это резко отделяет их от класса буржуазии, большая часть которого живет прибыльной *эксплуатацией труда народных масс*, а, с другой стороны, объединяет с городскими трудящимися, несмотря на все различие их положений, которое не в пользу рабочих, несмотря на все различие идей и расхождение в принципах, которое, к сожалению, возникает слишком часто.

Городских рабочих от крестьян особенно отдаляет некий *аристократизм ума*, кстати, почти безосновательный, которым они часто кичатся перед крестьянами. Рабочие, несомненно, более начитанны, их ум более развит, знания и идеи более широки. Пользуясь этим небольшим превосходством, они иногда обходятся с крестьянином свысока, пренебрежительно. И, как я уже отметил в другой статье¹, рабочие в этом случае совершенно неправы, так как по той же причине буржуа, которые гораздо более развиты и образованны, чем рабочие, имели бы еще больше оснований относиться к этим последним свысока. И буржуа, как известно, не упускают случая показать свое превосходство.

Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из статьи, о которой я только что упомя-

¹ *Lettres à un Français sur la crise actuelle*. Septembre 1870*.

нул. «Крестьяне, — писал я в этой брошюре, — считают городских рабочих *приверженцами раздела земли* и боятся, как бы социалисты не конфисковали их земли, которые они ценят превыше всего. Что же должны предпринять рабочие, чтобы преодолеть недоверие и враждебность крестьян к ним? Прежде всего, перестать выражать им свое пренебрежение, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян несет в себе огромную опасность. Не будь этого недоверия и этой ненависти, революция совершилась бы уже давно, так как, к сожалению, враждебное отношение деревни к городу составляет не только во Франции, но и в других странах основу и главную силу реакции. Поэтому в интересах революции, которая их освободит, рабочие должны как можно скорее перестать выражать это презрение к крестьянам. Справедливость требует этого, потому что на самом деле у рабочих нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не лежебоки, они такие же неутомимые труженики, как и рабочие*; только работа их ведется при иных условиях, вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина*.

Крестьяне встанут вместе с городскими рабочими на защиту родины, как только они убедятся, что *городские рабочие не стремятся навязать им ни своей воли, ни какого бы то ни было политического и социального строя, придуманного городом для вящего благополучия деревни, как только у них явится уверенность, что рабочие не имеют никаких притязаний на их землю*.

Итак, самое необходимое в данное время — это чтобы рабочие действительно отказались от всех подобных притязаний и намерений и отказались бы так, чтобы крестьяне знали об этом и действительно убедились в этом. Рабочие должны отказаться от этого, ибо если бы даже подобные притязания были осуществимы, они бы оказались в высшей степени *несправедливы и реакционны*. А теперь, когда это абсолютно невозможно, они стали бы просто преступным безумием.

По какому праву рабочие стали бы навязывать крестьянам какую-либо форму правления и организации? По праву революции, скажут нам. Но революция перестает быть революцией, если вместо того, чтобы звать массы к свободе, она вызывает в их среде реакцию. Средство и условие, если не сказать, главная цель революции,

это — отрицание принципа авторитета во всевозможных его проявлениях, это — полное уничтожение политического и правового государства, потому что государство, младший брат церкви, как это хорошо показал Прудон, есть историческое закрепление всякого деспотизма, всех привилегий, политическая основа всякого экономического и социального порабощения, сущность и средоточие всякой реакции. Устраивая именем революции государство, хотя бы временное, тем самым создают реакцию и деспотизм, а не свободу, привилегии, а не равенство.

Это ясно, как Божий день. Но французские рабочие-социалисты, воспитанные в политических традициях якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они будут вынуждены это понять во благо революции и их самих. Откуда явилось у них это притязание, настолько же смешное, как и высокомерное, настолько же несправедливое, как и пагубное, навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающих его? Очевидно, это также наследие буржуазии, политическое завещание буржуазной революционности. Каково же объяснение, какова же теоретическая основа этого притязания? Это не более как мнимое или хотя бы даже действительное превосходство ума, образования, одним словом, цивилизации рабочих над цивилизацией деревни. Но разве вы не знаете, что этот же принцип может оправдать все завоевания и всякого рода притеснения? У буржуа, например, никогда и не было иного принципа для доказательства своего призвания *управлять* или — что одно и то же — эксплуатировать рабочих. Переходя от одной нации к другой, от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий из себя не что иное, как принцип авторитета, объясняет и возводит в право все захваты и завоевания. Разве не им руководствовались немцы для осуществления всех своих посягательств на свободу и независимость славянских народов, разве не им оправдывают они все жестокости насильственной германизации? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцам начинает приходить в голову и то, что германская протестантская цивилизация вообще гораздо выше католической цивилизации, представителями которой являются народы латинской расы, в частности французской цивилизации. Берегитесь, как бы им вскоре не пришло в голову, что их назначение просветить и осчастливить вас, подобно тому,

как вы воображаете, что ваша миссия состоит в том, чтобы цивилизовать и осчастливить ваших соотечественников, ваших братьев, французских крестьян. По-моему, как то, так и другое притязание одинаково гнусно, и я заявляю вам, что и в международных отношениях, и в отношениях между классами я всегда буду на стороне тех, кого хотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих высокомерных цивилизаторов, будь то рабочие или немцы, и, восстав против них, я тем самым буду служить делу революции против реакции.

Но даже если это и так, возразят мне, разве можно оставить невежественных и суеверных крестьян под влиянием реакции, во власти ее происков? Конечно, нет. Нужно уничтожить реакцию как в деревне, так и в городе; но это надо сделать фактически, а не объявляя ей войну посредством декретов. Повторяю, декретами ничего нельзя уничтожить. Наоборот, декреты и всякие авторитарные акты укрепляют то, что они хотят разрушить.

Вместо того чтобы стремиться отобрать у крестьян земли, которыми они в настоящее время владеют, предоставьте им следовать природному инстинкту, и знаете, что произойдет тогда? Крестьянин хочет, чтобы *вся земля принадлежала ему*; в каждом знатном вельможе и богатом буржуа, обширные владения которых, обрабатываемые наемными работниками, уменьшают его поле, он видит чуждого ему человека и узурпатора. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли; *они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы завладеть землями знати и буржуазии.*

Но если бы это случилось, если бы крестьяне присвоили себе все земли, которые им еще не принадлежат, не привело бы это к губительному укреплению принципа индивидуальной собственности и не стали бы крестьяне еще более враждебны по отношению к городским рабочим — социалистам?

Вовсе нет, потому что, *если государство уничтожено, то с его стороны нет политического, правового закрепления, гарантии собственности. Не будучи кодифицированной, она сведется просто к факту.*

Тогда начнется гражданская война, скажете вы. Если личная собственность не будет более гарантирована никакой высшей властью, властью политической, административной, юридической и полицейской, и будет защищена

только силою энергии владельца, то каждый захочет завладеть имуществом другого, более сильные будут грабить более слабых.

Разумеется, с самого начала события не будут происходить исключительно мирным путем: не обойдется без борьбы; *общественный порядок*, этот ковчег завета* буржуазии, будет нарушен, и первые результаты подобного состояния дел приведут к тому, что принято называть гражданской войной. Но неужели вы предпочитаете отдать Францию пруссакам?..

Впрочем, не бойтесь, что крестьяне разорвут друг друга; если б у них и было даже это намерение вначале, они не преминули бы скоро убедиться в материальной невозможности упорствовать в этом направлении, и после этого можно быть уверенным, что они постараются договориться друг с другом, пойти друг другу на уступки и организоваться. Потребность кормиться и кормить свои семьи и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, оберегать свой дом, жизнь своих близких и свою собственную от неожиданных нападений — все это, несомненно, скоро заставит их вступить на путь взаимных договоренностей.

И вовсе не надо думать, что в этих соглашениях, заключаемых вне всякой официальной опеки, единственно силою вещей наиболее богатые и сильные получают преимущества. Богатство богатых, не защищенное более правовыми институтами, потеряет свою силу. В настоящее время богатые имеют влияние только потому, что благодаря угодничеству государственных чиновников они находятся под особым покровительством государства. Раз у них не будет этой опоры, их могущество тотчас исчезнет. Что же касается наиболее ловких и сильных, то они будут сметены коллективной силой массы малоимущих и беднейших крестьян, а также массы сельских пролетариев, обреченных ныне на молчаливое страдание, но которых революционное движение наделит неодолимой силой.

Я не утверждаю — заметьте, — что при такой переделке деревни снизу доверху она сразу создаст совершенную организацию, соответствующую по всем пунктам тому идеалу, о котором мы мечтаем. В одном убежден я: это будет *живая* организация и как таковая она станет в тысячу раз выше существующей теперь. Притом, поскольку эта новая организация останется вполне доступной для городской пропаганды и не будет более закреплена и, так

сказать, не заостенее благодаря юридической санкции государства, она будет свободно и безгранично прогрессировать, развиваться и совершенствоваться и при этом будет всегда живой и свободной, не декретированной и юридически не оформленной, до тех пор пока не достигнет такого совершенства, о котором мы в настоящее время можем только мечтать.

Так как спонтанная жизнь и деятельность, на долгие века прерванная всепоглощающим действием государства, вернется в коммуны, то естественно, что каждая коммуна возьмет за отправную точку своего нового развития не то мнимое интеллектуальное и моральное состояние, которое официальная фикция считала уже достигнутым, но действительное, реальное состояние своей цивилизованности, а поскольку степень действительной цивилизованности весьма различна в различных коммунах Франции, как и вообще всей Европы, то следствием этого неизбежно явится большая разница в развитии. Но взаимопонимание, гармония и равновесие, установленное с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство государств. Начнется новая жизнь, зародится новый мир...

Вы можете мне сказать: «Но разве это революционное движение, эта внутренняя борьба, которая неизбежно должна разгореться при разрушении политических и правовых институтов, не ослабит защиту отечества и, вместо того, чтобы способствовать изгнанию пруссаков, не облегчит ли она, наоборот, завоевание Франции?»

Вовсе нет. Опыт истории показывает, что нации достигают вершины своего могущества во внешней политике именно в эпохи внутренних смут и волнений и, наоборот, оказываются всего бессильнее в эпохи кажущегося единства и спокойствия под чьей-нибудь властью. Да иначе и быть не может: борьба — это работа мысли, это жизнь, а деятельная и живая мысль — это сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей истории. Возьмите Францию молодого Людовика XIV, только что покончившую с Фрондой*, закаленную в этой борьбе, и Францию, когда этот король был уже старым, твердо установившуюся монархию, объединенную и умиротворенную *великим королем*. Первая блистает победами, вторая, идя от поражения к поражению, клонится к упадку. Сравните также Францию 1792 года с сегодняшней

Францией. Если когда-нибудь Францию раздирала гражданская война, так это было в 1792 и 1793 годах: движение, борьба, борьба не на жизнь, а на смерть кипела по всей республике, и, однако, Франция победоносно отразила нападение почти всей Европы, образовавшей коалицию против нее. В 1870 году Франция, объединенная и умиротворенная империей, терпит поражение от немецких войск и до такой степени деморализована, что приходится опасаться за ее существование»*.

Здесь возникает вопрос: революция 1792 и 1793 годов могла дать крестьянам, не даром, но по очень низкой цене, национальные владения, т. е. церковные земли и земли эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, крестьянам больше нечего дать. Найдется, если поискать! Разве церковь и монашеские ордена обоего пола не стали снова очень богатыми благодаря преступному потворству законной монархии и особенно Второй империи**? Правда, большая часть их богатств была весьма благоразумно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами никогда не пренебрегала материальными интересами и всегда славилась хитроумностью своих экономических спекуляций, конечно, поместила большую часть своих земных благ, которые она продолжает ежедневно приумножать для блага несчастных и бедных, во всякого рода коммерческие, промышленные и банковские предприятия, как общественные, так и частные, и в ренты всех стран, так что понадобилось бы ни больше ни меньше, как всеобщее банкротство, неизбежное следствие всеобщей социальной революции, чтобы лишить ее этого богатства, составляющего в настоящее время главное орудие ее могущества, увы, еще слишком значительного. Верно и то, что она владеет в настоящее время, особенно на Юге Франции, обширными земельными участками и сооружениями, а также большим количеством украшений и принадлежностей культа, настоящими сокровищами из серебра, золота и драгоценных камней. Так вот, все это может и должно быть конфисковано, но не в пользу государства, а коммунами.

Затем есть еще собственность тысяч бонапартистов, которые в продолжение двадцати лет императорского режима всеми силами его поддерживали и которым империя явно покровительствовала. Конфисковать эту собственность было и остается не только правом, но и долгом, потому что бонапартистская партия — это не обычная в историческом смысле партия, органически и закономерно возникающая в результате последовательного религиозного, политического и экономического развития страны и основанная на каком-либо национальном принципе, истинном или ложном. Это — шайка разбойников, убийц и воров, которая, опираясь, с одной стороны, *на реакционную подлость буржуазии, дрожащей перед красным призраком и обливавшей руки кровью парижских рабочих*, а с другой — на благословение священников и преступное честолюбие высших офицеров, ночью завладела Францией. «Дюжина светских Robert Mاسаige'ов*, разоренных и потерявших доброе имя, объединенных пороком и нуждой, чтобы вернуть себе положение и богатство, не остановилась перед одним из самых ужасных из известных истории покушений. Разбойники восторжествовали. Они нераздельно царствуют вот уже восемнадцать лет над прекраснейшей страной Европы, страной, на которую Европа по справедливости смотрит как на центр цивилизованного мира. Они создали официальную Францию по своему образу и подобию. Внешне они сохранили почти нетронутыми институты и установленный порядок вещей, но они лишили их самой сущности, низведя до уровня собственных понятий и нравов. Все старые слова остались. По-прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и гуманности; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, так что каждое слово означает в действительности нечто противоположное тому, что оно должно выражать; можно было бы сказать, что это общество бандитов по какой-то злой иронии употребляет самые благородные выражения для обсуждения самых гнусных намерений и действий. Не таков ли еще и в настоящее время характер императорской Франции? Есть ли, например, что-нибудь презреннее и отвратительнее, чем императорский сенат, составленный согласно конституции *из всех знаменитостей страны*? Не есть ли это, как всем известно, дом инвалидов для всех сообщников преступления, для всех пресыщенных героев декабря? Известно ли что-нибудь более бесчестное, чем правосудие

империи, чем все эти суды и магистраты, единственной обязанностью которых является поддерживать во всех случаях и во что бы то ни стало беззакония креатур империи?»¹.

Вот что писал один из моих ближайших друзей в марте месяце, когда империя была еще в полном расцвете. То, что он говорил о сенаторах и судьях, одинаково относится ко всему официальному и официозному миру, к военным и гражданским чинам в коммунах и департаментах, ко всем преданным избирателям, равно как и ко всем депутатам-бонапартистам. Разбойничья шайка, вначале немногочисленная, с каждым годом все увеличивалась, привлекая в свою среду возможностью легкой наживы все негодные и развращенные элементы, и, затем, сплотившись их солидарностью в подлости и преступлении, кончила тем, что распространилась на всю Францию, опутав ее своими щупальцами, как огромная рептилия.

Вот что называют бонапартистской партией*. Если когда-либо существовала преступная и губительная для Франции партия, то это именно бонапартисты. Эта партия не только лишила ее свободы, испортила ее характер, развратила ее совесть, принизила ее ум, опозорила ее имя; занимаясь в течение восемнадцати лет безудержным грабежом, она уничтожила богатство и силу Франции, а затем, доведя ее до упадка, отдала на произвол пруссаков. И теперь еще, когда можно было бы подумать, что эту партию терзают муки совести, что она должна была бы умереть от стыда, исчезнуть от сознания своей подлости, быть раздавленной всеобщим презрением, после нескольких дней кажущегося бездействия и молчания она снова поднимает голову, осмеливается снова говорить, открыто злоумышляет против Франции, принимая сторону подлого Бонапарта, с этого времени союзника и протезе пруссаков.

Это непродолжительное затишье и бездействие были вызваны не раскаянием, а исключительно ужасным страхом, испытанным при первом взрыве народного негодования. В первых числах сентября бонапартисты поверили в реальность революции и, хорошо сознавая, что нет такого наказания, которого бы они не заслужили, они бежали и попрятались, как подлые трусы, содрогаясь перед спра-

¹ *Les Ours de Bern et l'Ours de Saint-Petersbourg*, complainte patriotique d'un Suisse Humilié et désespéré. Neuchatel, 1870**.

ведливым народным гневом. Они знали, что революция фраз не любит и, пробудившись от сна и начав действовать, народ не станет шутить. Бонапартисты сочли себя поэтому политически уничтоженными и в первые дни провозглашения республики только и думали, как бы надежнее спрятать награбленные богатства и свои драгоценные особы.

Они были приятно удивлены, увидев, что они могут без всякого затруднения и без малейшей опасности открыто демонстрировать и то и другое. Как в феврале и марте 1848 года буржуазные доктринеры и адвокаты, стоящие ныне во главе нового временного республиканского правительства*, вместо того, чтобы принять спасительные меры, стали довольствоваться фразами. Незнакомые с революционной практикой и истинным положением Франции, испытывая лишь ужас перед революцией, подобно своим предшественникам, гг. Гамбетта и К° захотели удивить мир рыцарским великодушием, не только несвоевременным, но и преступным; это явилось истинным предательством Франции, так как они выказали доверие и дали оружие в руки ее самому опасному врагу — шайке бонапартистов.

Движимое этим тщеславным желанием, этими фразами, правительство Национальной обороны приняло все необходимые меры, на этот раз даже весьма энергичные, к тому, чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры, могли спокойно покинуть Париж и Францию, захватив с собою их движимое имущество и поручив свои дома и земли, которых нельзя было увезти с собой, его особому попечению. Свою поразительную заботливость об этой шайке убийц Франции они довели до того, что рисковали потерять свою популярность, оказывая ей покровительство вопреки совершенно законному негодованию и недоверию народа. В частности, во многих провинциальных городах народ, ничего не понимающий в этом смешном проявлении столь неуместного великодушия, раз поднявшись, чтобы действовать, и идя прямо к цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся низостью и жестокостью своих официальных и частных действий. Как только правительство Национальной обороны и главным образом г-н Гамбетта как министр внутренних дел узнали об этом, он, воспользовавшись властью диктатора, которую считал возложенною на него народом и которую, по

странному противоречию, считал нужным употреблять только против народа собственных провинций, а не в своих дипломатических отношениях с иностранным завоевателем, поспешил отдать решительный и высокомерный приказ немедленно освободить всех этих мерзавцев.

Вы, конечно, помните, дорогой друг, сцены, происходившие во второй половине сентября в Лионе вслед за освобождением бывшего префекта, генерального прокурора и имперских жандармов. Эта мера, исходившая непосредственно от г-на Гамбетта и с усердием и радостью приведенная в исполнение г-ном Андрие, прокурором республики, не без помощи муниципального совета, тем более возмутила народ Лиона, что в это же время в крепости этого города сидели закованные в кандалы солдаты, единственное преступление которых состояло в открытом выражении симпатий к республике и освобождения которых уже в течение нескольких дней народ тщетно добивался.

Я еще вернусь к этому случаю, в котором впервые ясно обнаружилась неизбежность разрыва между народом Лиона и республиканскими властями, как городскими выборными, так и назначенными правительством Национальной обороны. Теперь же, дорогой друг, я только хочу обратить ваше внимание на более чем странное противоречие, существующее между исключительной, чрезмерной, скажу больше, непростительной терпимостью этого правительства по отношению к людям, разорившим, опозорившим и предавшим страну и продолжающим еще и теперь ее предавать, и драконовской строгостью, проявляемой им в отношении республиканцев, несравненно более революционных, нежели оно само. Можно подумать, что диктаторская власть дана ему не революцией, а реакцией с единственной целью свирепствовать против революции и что оно носит имя республиканского правительства лишь для того, чтобы продолжать маскарад империи.

Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем наиболее усердных и самых скомпрометированных слуг Наполеона III лишь затем, чтобы освободить место для республиканцев. Вы сами были свидетелем, а отчасти и жертвой жестокости и усердия при преследовании, изгнании, арестах и заключении в тюрьму республиканцев. Не довольствуясь этими *официальными и легальными мерами*, преследователи прибегли к самой гнусной

клевете. Они осмелились утверждать, что эти люди, отважившиеся среди официальной лжи, унаследованной от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, говорить правду, всю правду народу, были платными агентами пруссаков.

Они освобождают бонапартистов, доморощенных пруссаков, явных, общеизвестных, потому что кто же теперь может сомневаться в явном союзе Бисмарка с приверженцами Наполеона III? Они сами устраивают иностранное вторжение; во имя не знаю уж какой смехотворной законности и ради поддержания правительственного авторитета, существующего только на словах и на бумаге, они повсюду парализуют народное движение, бунты, стихийное вооружение и организацию коммун, которые при настоящих ужасных обстоятельствах только и могли бы спасти Францию; и уже этим они, члены правительства Национальной обороны, сами предают ее в руки пруссаков. Не довольствуясь арестами настоящих революционеров за то единственное преступление, что те посмели разоблачить их неспособность, бессилие и злонамеренность и указали единственный путь спасения Франции, они позволяют бросать им в лицо грязное прозвище пруссаков. О, как прав был Прудон, говоря (позвольте мне привести здесь весь этот отрывок; мысли, высказанные в нем, настолько верны и выражены так ярко, что жаль пропустить из него хоть одно слово):

«Увы! Предателями всегда могут быть только свои. В 1848 г., как и в 1793 г., революцию тормозили те, кто были ее представителями. Наш республиканизм, как и старое якобинство, есть *не что иное, как буржуазная прихоть без принципа и плана, которая и хочет, и не хочет*; всегда ворчит, подозревает и тем не менее все-таки остается в дураках; *видит повсюду, кроме своей партии, только крамольников и анархистов*; роясь в полицейских архивах, умеет в них находить лишь настоящие или мнимые погрешности патриотов; запрещая культ Шателя*, заставляет парижского архиепископа служить обедни; *боится называть вещи своими именами из страха скомпрометировать себя*; воздерживается от всего, никогда ничего не решает, не доверяет ясным доводам и точным положениям. Не есть ли это все тот же Робеспьер, *краснобай без инициативы*, находящий, что Дантон слишком тверд, *порицающий великодушную отвагу, на которую он чувствует себя неспособным*, уклоняющийся от событий 10 августа** (как г-н Гамбетта и К° до 4 сентя-

бря*), не одобряющий, но и не осуждающий сентябрьскую резню** (как эти же граждане — провозглашение республики народом Парижа), подающий голос за конституцию 93 года и в то же время за ее отсрочку до полного восстановления мира, омрачающий праздник Разума и устраивающий праздник *Верховного Существа*, преследующий Каррье и поддерживающий Фукье-Тинвилля; утром обнимающий в знак примирения Камилла Демулена, а ночью приказывающий арестовать его; предлагающий отмену смертной казни и составляющий закон 22 Прериала, превозносящий поочередно Сиейеса, Мирабо, Барнава, Петiona, Дантона, Марата, Эбера и приговаривающий одного за другим к смертной казни: Эбера, Дантона, Петiona, Барнава, первого — как анархиста, второго — как слишком снисходительного, третьего — как федералиста, четвертого — как конституционалиста; *почитающий только правящую буржуазию* и строптивое духовенство; *дискредитирующий революцию* то путем установления церковной присяги, то посредством выпуска ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находит свое прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, *наконец, в тот день, когда, оставшись один с людьми, принадлежащими к золотой середине, он вместе с ними собирался извлечь из революции свою выгоду*¹.

О да, главной особенностью всех буржуазных республиканцев, верных учеников Робеспьера, является их неизменное пристрастие к авторитету Государства и ненависть к Революции. Эта ненависть и это пристрастие у них общие с монархистами всех оттенков, включая и бонапартистов; и вот именно это-то сходство чувств, эта инстинктивная и скрытая солидарность заставляет их быть такими снисходительными и такими великодушными к наиболее преступным сообщникам Наполеона III. Они отлично знают, что многие из государственных людей империи заслужили гильотину и что все они причинили Франции огромное, почти непоправимое зло. Но все-таки они были государственными людьми, эти полицейские комиссары, эти патентованные шпионы с орденами, которые неустанно травили все, что было честного во Франции. И даже императорские жандармы, эти привилегированные народные убийцы, что бы о них ни говорили, разве они не были в конце концов слугами государства? А госу-

¹ Proudhon. *Idée générale de la Révolution****.

дарственные люди питают друг к другу почтение, официальные же буржуазные республиканцы прежде всего — государственные люди и обижаются, когда кто-то позволяет себе в этом сомневаться. Прочтите все их речи, в особенности речи г-на Гамбетта. Вы там найдете в каждом слове свидетельства неустанной заботы о государстве, это смешное и наивное притязание демонстрировать себя повсюду как государственного человека.

Никогда не следует упускать это из виду, ибо этим объясняется все: и их снисходительность к разбойникам империи, и их суровое отношение к революционным республиканцам. Будь он монархист или республиканец, государственный человек не может иначе как с ужасом смотреть на Революцию и революционеров, потому что Революция — это ниспровержение Государства, а революционеры — разрушители буржуазного порядка, общественного порядка.

Вы думаете, я преувеличиваю? Я докажу это вам на фактах.

Те самые буржуазные республиканцы, которые в феврале и марте 1848 г. аплодировали великодушию временного правительства*, способствовавшего бегству Луи-Филиппа и всех министров, и которые, отменив смертную казнь за политическое преступление, приняли благородное решение не преследовать ни одно должностное лицо за проступки, совершенные при предыдущем режиме, эти самые буржуазные республиканцы, включая, конечно, г-на Жюля Фавра, как известно, одного из самых фанатичных представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном собрании и в 1849 г. в Законодательном собрании, а в настоящее время члена правительства Национальной обороны, представителя республиканской Франции во внешних делах, что они провозгласили, постановили и сделали в июне? Проявили ли они такую же мягкость и доброту по отношению к рабочим массам, доведенным голодом до мятежа?

Г-н Луи Блан, тоже государственный человек, но социалист, ответит вам так¹: «15 000 граждан были арестованы после июньских событий**, и 4348 приговорены к ссылке без суда *ради общественной безопасности*. В течение двух лет они обращались к судьям: к ним были направлены комис-

¹ *Histoire de la Révolution de 1848*, par Louis Blanc, tome II***.

сии милосердия, и их освобождение было так же произвольно, как и аресты. Можно ли было думать, что в середине XIX века найдется человек, который осмелится произнести перед Собранием следующие слова: «Предать суду сосланных на Белль-иль не было никакой возможности; против большинства из них нет никаких вещественных улик». И вот, так как, по утверждению этого человека, которым был Барош (Барош — сторонник империи и в 1848 г. пособник Жюля Фавра и многих других республиканцев, участвовавших в преступлении, совершенном против рабочих в июне), — за недостатком вещественных доказательств нельзя было с уверенностью рассчитывать на обвинительный вердикт, 468 заключенных плаவுчей тюрьмы без суда были отправлены в Алжир. В число их попал Лагард, бывший руководитель делегатов от Люксембурга. Он написал из Бреста рабочим Парижа прекрасное, хватающее за сердце письмо. Вот оно:

«Братья, тот, кто в февральские дни был достоин высокой чести идти во главе вас; кто вот уже девятнадцать месяцев в молчании переносит вдали от своей многочисленной семьи страдания самого сурового заключения; кто, наконец, приговорен теперь без суда к десяти годам каторжных работ на чужой земле на основании *обратно действующего закона, составленного, вотирированного и принятого под влиянием ненависти и страха* (буржуазными республиканцами), — тот не хотел покидать землю матери-родины, не узнав мотивов, на основании которых один дерзкий министр посмел состряпать ужасное предписание.

Поэтому я обратился к командиру понтон *Ля-Геррьер*, который дал следующие сведения, *буквально списанные* с бумаг, приложенных к делу:

«*Лагард, делегат Люксембурга, человек несомненной честности, человек очень мирный, образованный, всеми любимый и именно вследствие этого очень опасный для пропаганды.*

Оценке моих сограждан я предоставляю только этот факт, убежденный, что их совесть сумеет рассудить, кто заслуживает больше их сочувствия — палачи или жертва.

Что касается вас, братья, то позвольте мне сказать: я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но не говорю вам: прощайте!

Нет, братья, я не говорю вам — прощайте. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в республику, незыблемую, как мир! Вот почему я говорю вам: до свидания, и особенно призываю к *единению и милосердию!*

Да здравствует Республика!

На рейде Бреста. Понтон *Ля-Геррьер*

Лагард,

бывший руководитель делегатов Люксембурга.*

Что может быть красноречивее этих фактов! Они дают нам достаточное основание утверждать, что июньская буржуазная реакция, жестокая, кровавая, ужасная, циничная, постыдная, была истинной матерью декабрьского государственного переворота. Принцип был один и тот же, императорская жестокость была лишь подражанием буржуазной жестокости, превосходя ее лишь числом жертв, убитых и сосланных. Относительно убитых с уверенностью этого еще нельзя сказать, потому что июньская резня, короткая расправа национальной буржуазной гвардии с рабочими без всякого предварительного суда и даже не в самый день победы, но на другой день после нее, была ужасна. Что же касается числа сосланных, то разница значительна. Буржуазные республиканцы арестовали 15 000 и сослали 4 348 рабочих. Декабрьские разбойники**, в свою очередь, арестовали около 26 000 граждан и сослали почти половину, около 13 000. Конечно, с 1848 г. до 1852 г. произошел прогресс, но только в количестве, а не в качестве. Что касается качества, т. е. принципа, то нужно признать, что разбойникам Наполеона III можно гораздо больше простить, чем буржуазным республиканцам 1848 года. Они были разбойниками, наемными убийцами деспота; следовательно, убивая искренних республиканцев, они просто занимались своим делом, и даже можно сказать, что, отправляя половину своих пленников в ссылку, а не убивая их всех сразу, они проявляли в некотором роде великодушие; между тем как буржуазные республиканцы, сослав без всякого суда *ради общественной безопасности* 4 348 граждан, попрали свою совесть, наплевали на собственный принцип и, подготовив и *узаконив* декабрьский государственный переворот, они убили республику.

Да, я говорю это открыто, по моему искреннему убеждению, все эти Морни, Бароши, Персиньи, Флери, Пьетри и все их соучастники в кровавой имперской оргии гораздо менее виновны, чем г-н Жюль Фавр, теперешний член правительства Национальной обороны, менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые голосовали вместе с ним в Учредительном и Законода-

тельном собрании с 1848 до декабря 1851 года. Не чувство ли этой виновности и этой преступной солидарности с бонапартистами делает их теперь такими снисходительными и такими великодушными относительно этих последних?

Есть еще другой факт, который следует отметить и над которым следует подумать. Исключая Прудона и г-на Луи Блана, почти все историки революции 1848 года и декабрьского государственного переворота, а также крупнейшие писатели буржуазно-радикального направления, такие, как Виктор Гюго, Кине и проч., много говорили о декабрьском преступлении и декабрьских преступниках, но они ни разу не соизволили остановиться на июньском преступлении и июньских преступниках*. Однако совершенно очевидно, что декабрь был не чем иным, как роковым следствием июня и его повторением в большем масштабе!

Почему же молчат об июне? Не потому ли, что июньскими преступниками были буржуазные республиканцы, с которыми упомянутые писатели чувствовали себя нравственно солидарными, были сторонниками их принципа, а следовательно, так или иначе косвенными соучастниками в их деле? Такое объяснение допустимо. Но есть еще и другое, достоверное: июньское преступление коснулось только рабочих, революционных социалистов, следовательно, людей *чуждых* классу и прирожденных врагов принципа, который представляют эти уважаемые писатели. Между тем как декабрьское преступление коснулось тысяч буржуазных республиканцев, которые были сосланы, их братьев по социальному положению, их политических единомышленников. К тому же многие из них сами попали в число жертв. Отсюда их большой интерес к декабрю и равнодушие к июню.

Общее правило: буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо сильнее огорчен и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, хотя бы этот последний был самый отчаянный империалист, чем несчастьем рабочего, человека из народа. Подобное различие является величайшей несправедливостью, но эта несправедливость непредумышленна, она инстинктивна. Происходит она от того, что условия жизни и привычки, которые имеют над людьми несравненно большую власть, чем идеи и политические убеждения, эти условия и привычки, особый образ жизни, развития, мышления и действия, все эти социальные отношения, та-

кие разнообразные и в то же время всегда сводящиеся к одной цели, которые составляют буржуазную жизнь, буржуазный мир, устанавливают между людьми, принадлежащими этому миру, как бы различны ни были их политические взгляды, солидарность гораздо более реальную, более глубокую, более крепкую и в особенности более искреннюю, чем та, которая могла бы установиться между буржуа и рабочими вследствие большей или меньшей общности убеждений и идей.

Жизнь доминирует над мыслью и детерминирует волю. Вот истина, которую никогда не следует упускать из виду, если хочешь понять что-либо в политических и социальных явлениях. Желая установить между людьми искреннюю и безусловную общность мыслей и воли, нужно исходить из одних и тех же условий жизни и общности интересов. А так как сами условия существования создают пропасть между буржуазным миром и миром рабочих, потому что один из них — мир эксплуатирующий, а другой — мир эксплуатируемый и жертва, то я делаю отсюда вывод, что если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет искренне и без лишних слов стать другом и братом рабочих, он должен отказаться от условий своей прошлой жизни, от всех буржуазных привычек, чувств и симпатий, решительно порвать с буржуазным миром и, повернувшись к нему спиной и объявив ему беспощадную, непримиримую войну, полностью окунуться, без ограничений и оговорок, в мир рабочих.

Если его жажда справедливости не настолько сильна, чтобы внушить ему это решение и мужество, чтобы это сделать, то пусть не обманывается он сам и не обманывает рабочих: он никогда не станет их другом. В своих отвлеченных мыслях, мечтах о справедливости, в моменты раздумий, теоретических рассуждений и затишья, когда внешне все спокойно, он может стать на сторону эксплуатируемого мира. Но как только настанет момент великого социального кризиса, когда эти два мира, непримиримо враждебные друг другу, сойдутся лицом к лицу в пылу великой битвы, все его жизненные привязанности непременно бросят его в мир эксплуатирующий. Так и произошло со многими нашими бывшими друзьями и всегда будет случаться со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.

Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо сильнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот объяс-

нение снисходительности ваших буржуазных демократов по отношению к бонапартистам и их исключительной строгости к революционерам-социалистам. Они гораздо меньше ненавидят первых, чем последних, вследствие чего они объединяются с бонапартистами в общей реакции.

Вначале сильно перепуганные, бонапартисты, однако же, скоро заметили, что в правительстве Национальной обороны и во всем этом новом и официальном квазиреспубликанском мире они имеют могучих союзников. Они, должно быть, очень удивились и обрадовались — те, которые, за неимением других качеств, являются по крайней мере людьми практичными и знают средства для достижения своей цели, — когда увидели, что это правительство не только проявило уважение к их персонам и предоставило им полную свободу пользоваться награбленным, но оставило в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников империи, заменив только префектов и субпрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставив неприкосновенными бюро префектур, а также сами министерства, полные бонапартистов, и огромное большинство французских коммун в развращающем подчинении муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III, тех самых муниципалитетов, которыми был проведен последний плебисцит* и которые вели в деревнях при министерстве Паликао и под иезуитским руководством Шевро такую ужасную пропаганду в пользу подлеца.

Они, должно быть, много смеялись над этой действительно непонятной глупостью со стороны умных людей, входящих в состав нынешнего временного правительства, надеявшихся, что стоит им, республиканцам, захватить власть, как тотчас же вся бонапартистская администрация станет тоже республиканской. Совсем иначе действовали в декабре бонапартисты. Первой их заботой было сместить и изгнать всю республиканскую администрацию, вплоть до самых низших чиновников включительно, и поставить на все должности, от самых высших до самых незначительных и низких, креатуры бонапартистской банды. Что касается республиканцев и революционеров, то множество последних сослали и посадили в тюрьмы,

а первых изгнали из Франции, оставив внутри страны только наиболее безобидных, наименее решительных и убежденных, самых глупых или же таких, которые так или иначе согласились продаться. Вот какими средствами им удалось овладеть страной и притеснять ее более двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. При этом, как я уже отмечал, началом бонапартизма нужно считать не декабрь, а июнь, а истинными его основателями — г-на Жюля Фавра и его друзей, буржуазных республиканцев Учредительного и Законодательного собраний.

Надо быть справедливым в отношении всех, даже бонапартистов. Это, конечно, мошенники, но мошенники очень практичные. Повторяю еще раз, они сознательно и намеренно пользовались средствами, ведущими к намеченной цели, и в этом отношении они оказались гораздо выше республиканцев, которые в настоящее время делают вид, будто они управляют Францией. Даже теперь, после их поражения, бонапартисты кажутся выше и гораздо сильнее, чем все эти республиканцы, которые заняли их места. И теперь не республиканцы, а они управляют Францией. Убедившись в великодушии правительства Национальной обороны, видя повсюду вместо Революции, которая так их ужасала, правительственную Реакцию, встречая во всех сферах республиканской администрации своих старых друзей, соучастников, неразрывно связанных с ними *солидарностью в подлости и преступлении*, о чем я уже говорил и к чему я еще вернусь, и имея в своих руках страшное орудие, все это огромное богатство, накопленное двадцатилетним грабежом, бонапартисты решительно подняли голову.

Их скрытое, но могучее воздействие, в тысячу раз более сильное, чем влияние коллективного короля Ивто*, правящего в Туре**, чувствуется повсюду. Их газеты, *Patrie*, *Constitutionnel*, *Pays*, *Peuple* г-на Дювернуа, *Liberté* г-на Эмиля де Жирардена*** и многие другие, продолжают выходить. Они поносят республиканское правительство и открыто разглагольствуют, без стыда и страха, как будто они не подкупленные изменники, развратители, предатели и могильщики Франции. К г-ну Эмилю де Жирардену, умолкнувшему было в первые сентябрьские дни, вновь вернулся голос, цинизм и его несравненное красноречие. Как и в 1848 году, он великодушно предлагает республиканскому правительству каждый день по новой идее. Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента,

как он убедился, что и его личность, и его карман останутся невредимы, он успокоился и снова чувствует твердую почву под ногами. «Только установите Республику, — говорит он, — и я не замедлю предложить вам десятки плодотворнейших, прекрасных политических, экономических и философских реформ». Имперские газеты открыто проповедают реакцию в пользу империи. Иезуитские органы вновь начали говорить о благодеяниях религии.

Козни бонапартистов не ограничиваются пропагандой в прессе. Они имеют большое влияние в деревне и в городе тоже. В деревне, пользуясь поддержкой многих крупных и средних землевладельцев, кюре и старых муниципалитетов империи, бережно сохраненных республиканским правительством и находящихся под их покровительством, они проповедают более страстно, чем когда-либо, ненависть к Республике и любовь к империи. Их пропаганда отвращает крестьян от всякого участия в Национальной обороне и советует им, наоборот, хорошо принимать пруссаков, этих новых союзников императора. В городах, опираясь на бюро префектур и субпрефектур, если не на самих префектов и субпрефектов, на судей империи, если не на товарищей прокурора и прокуроров республики, на генералов и почти на всех высших офицеров армии, если не на солдат, хотя и патриотов, но связанных старой дисциплиной, на большую часть муниципалитетов, на огромное количество крупных и мелких коммерсантов, промышленников, землевладельцев и лавочников, находя себе опору даже в массе буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых и даже антиреволюционных, которые, направляя свою энергию только против народа, бессознательно и вопреки желанию вынуждены служить бонапартизму; встречая себе поддержку во всех этих элементах неосознанной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, всякое стихийное и организованное действие народных сил и безоговорочно отдают пруссакам города и деревни, а через пруссаков главе своей банды, императору. Наконец, куда же больше, они сдают пруссакам крепости и армии Франции; доказательство — постыдная капитуляция Сезанна, Страсбурга и Руана. Они убивают Францию.

Могло ли и должно ли было все это переносить правительство Национальной обороны? Мне кажется, что на этот вопрос может быть только один ответ: нет, тысячу раз нет! Его первым и самым священным долгом, с точки зрения спасения Франции, было с корнем вырвать заговор бонапартистов, прекратить их вредные действия. Но как это сделать? Было только одно средство: это прежде всего арестовать и посадить в тюрьму их всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с императрицы Евгении и ее двора, всех высших военных и гражданских чиновников, сенаторов, государственных советников, депутатов-бонапартистов, генералов, полковников, капитанов, если потребуется, архиепископов и епископов, префектов, субпрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и судебный корпус, не забыв и полицию, всех собственников, явно преданных империи, — одним словом, всех тех, кто составляет бонапартистскую банду.

Были ли возможны такие массовые аресты? Ничего не могло быть легче. Правительству Национальной обороны и его представителям в провинции стоило только сделать знак, рекомендуя при этом населению никому не приносить вреда, и можно было быть уверенным, что в продолжение немногих дней без особого насилия и без всякого кровопролития огромное большинство бонапартистов, особенно людей богатых, влиятельных, известных, были бы арестованы по всей Франции и заключены в тюрьмы. Разве население департаментов не арестовало многих по своей собственной инициативе в первой половине сентября, и, заметьте, не причинив никому зла, самым деликатным и гуманным образом?

Жестокость и зверство больше не свойственны французскому народу, особенно городскому пролетариату Франции. Если и остались некоторые следы, то частично у крестьян, но особенно в классе лавочников, настолько же тупом, насколько и многочисленном. О, они действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 года¹,

¹ Вот в каких выражениях г-н Луи Блан описывает следующий день после победы, одержанной в июне буржуазной национальной гвардией над парижскими рабочими:

«Трудно представить себе положение и вид Парижа в часы, непосредственно предшествовавшие этой неслыханной драме и сразу после ее завершения. Как только было объявлено осадное положение, тотчас же полицейские комиссары отправились по всем направлениям, призывая прохожим расходиться по домам. И горе тому, кто, не дожидаясь

и многие факты свидетельствуют о том, что их натура не изменилась и до сего дня. Жестоким делает лавочника не только его безнадежная тупость и подлость, но и его трусость и ненасытная жадность. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, за риск, которому был подвергнут его кошелек, составляющий наряду с его непомерным тщеславием самое чувствительное место его существа. Но он мстит только тогда, когда для него самого нет ни малейшей опасности. О, тогда уж он не знает жалости!

Кто знает французских рабочих, тому известно, что если где и сохранились истинно гуманные чувства, правда, значительно ослабленные и искаженные в наши дни официальным лицемерием и буржуазной притворной чувствительностью, то это именно среди них. Это единственный класс современного общества, о котором можно сказать, что он действительно великодушен, иногда слишком великодушен и слишком незлопамятен, оставляя без возмездия ужасные преступления и гнусные измены, жертвой которых ему так часто приходилось быть. Он неспособен на жестокость. Но в то же время у него есть вер-

нового постановления, показывался на пороге своего дома! Если декрет застал вас одетым как буржуа далеко от вашего дома, вас препровождали обратно под конвоем и предписывали не выходить больше. Арестовывали женщин, подозревая, что они переносят вести в своих волосах, и искали патроны под подкладкой фиакров. Все давало повод к подозрению. В гробах мог быть порох: и трупы на пути к вечному успокоению подвергались обыску. Питье, приготовленное для солдат (разумеется, Национальной гвардии), могло быть отравлено: из предосторожности арестовывали бедных продавцов лимонада, и пятнадцатилетние марки-тантки внушали страх. Гражданам запрещалось показываться у окна и даже оставлять открытыми ставни: всюду чудились шпионаж и убийство. Колеблющийся свет лампы за стеклом, отражение лунного света на черепице крыши были достаточны, чтобы вызвать ужас. Оплакивать исчезновение мятежников, смерть близких людей — ничто не могло пройти безнаказанно. *Одну молодую девушку расстреляли за то, что она щипала корпию в лазарете мятежников, может быть, для своего любимого, для мужа, для отца!*

В продолжение нескольких дней Париж имел вид города, взятого приступом. Множество домов, обращенных в развалины или изрешеченных ядрами пушек, *ясно свидетельствовали о силе сопротивления доведенного до отчаяния народа.* Улицы пересекались рядами буржуа в мундирах; растерянные патрули маршировали по мостовой.

Нужно ли говорить о репрессиях?

«Рабочие! И все вы, поднявшие оружие против Республики, в последний раз, во имя всего того, что дорого и свято для людей, сложите ваше оружие! Национальное собрание, вся нация просит вас. *Вам говорят, что вас ожидает жестокая кара: так говорят ваши и наши враги!* Идите к нам, идите как раскаявшиеся братья, подчинившиеся закону, и объятия Республики готовы принять вас».

Вот прокламация, с которой обратился 26 июня генерал Кавеньяк к мятежникам. В другой прокламации того же дня, обращенной к На-

ный инстинкт, направляющий его прямо к цели, есть здравый смысл, подсказывающий ему, что если он хочет положить конец злу, то нужно прежде всего арестовать и обезвредить злодеев. Ясно, что Францию предали, надо было не допустить, чтобы предатели довели свое дело до конца. Вот почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьму бонапартистов.

Правительство Национальной обороны повсюду их освободило. Кто был не прав, рабочие или правительство? Без сомнения, последнее. Выпуская на свободу бонапартистов, оно не только было не право, оно совершало преступление. Почему уж было не освободить заодно всех убийц, воров и всевозможных преступников, которые содержатся во французских тюрьмах? В чем различие между ними и бонапартистами? Я не вижу никакого, а если оно и есть, то только в пользу обычных преступников и, безусловно, против бонапартистов. Первые грабили и убивали индивидов, нападали на индивидов, причиняли вред индивидам. Часть последних совершила буквально те же преступления, а все вместе они грабили, насилова-

циональной гвардии и армии, он говорил: «В Париже я вижу победителей и побежденных. Но пусть имя мое будет проклято, если я соглашусь увидеть среди них жертвы!»

Наверное, никогда в подобный момент не произносились более прекрасные слова! Но как это обещание было выполнено? Боже правый!

...Во многих местах репрессии принимали дикий характер. Так, в саду Тюильри *пленников, брошенных в подземелья у воды, расстреливали наугад, просовывая ружья в отверстия; так же наскоро были расстреляны заключенные в долине Гренель на кладбище Монпарнас, на Монмартре, во дворе замка Клюни, в монастыре св. Бенедикта и во многих других местах... наконец, после завершения борьбы над опустошенным Парижем воцарился унижительный террор...*

...Еще одна подробность завершит картину.

3-го июля множество пленников вывели из подвалов Военной школы, чтобы отправить в полицейскую префектуру, а оттуда в форты. Их *туго связали веревками по четверо по рукам. Затем, поскольку эти несчастные, измученные голодом, шли с трудом, перед ними поставили миски с похлебкой. Будучи связаны по рукам, они были принуждены ложиться на живот и ползти, как животные, к мискам при взрывах хохота конвойных офицеров, которые называли это социализмом на практике! Я знаю это от одного из тех, кто прошел через эту пытку» (Histoire de la Révolution de 1848, par Louis Blanc, t. II)**

Вот она, буржуазная гуманность, что же касается правосудия буржуазных республиканцев, то, как указано выше, оно проявилось в ссылке на каторгу *без суда, под предлогом всеобщей безопасности*, 4 348 граждан из 15 000 арестованных граждан.

ли, бесчестили, убивали, предавали и продавали Францию, целый народ. Какое из преступлений больше? Несомненно то, что совершили бонапартисты.

Разве правительство Национальной обороны причинило бы Франции больше зла, если бы освободило всех преступников, содержащихся в тюрьмах и работающих на каторге, чем ограждая свободу и собственность бонапартистов и предоставляя им беспрепятственно довершить разорение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен, даже несколько тысяч отдельных лиц, — пруссаки убивают ежедневно гораздо больше, — потом они скоро опять были бы взяты и заключены в тюрьмы самим же народом. Бонапартисты убивают народ, и если и дальше все пойдет так же, то вскоре весь народ, вся Франция будет посажена в тюрьму.

Но как арестовать и держать в тюрьмах столько людей без всякого суда? О, пусть это вас не беспокоит! Как ни мало, но все же найдется во Франции достаточное количество неподкупных судей, и им не будет стоить никакого труда, порывшись в прошлых делах служителей Наполеона III, приговорить три четверти к каторге, а многих из них — даже к смерти, просто применив к ним, и без всякой особенно исключительной строгости, уголовный кодекс.

Притом, разве сами бонапартисты не подали примера? Разве во время и после декабрьского переворота они не арестовали и не посадили в тюрьмы более 26 000 и не отправили в Алжир и Кайенну более 13 000 граждан-патриотов? Мне возразят, что им позволительно было поступать таким образом, потому что они — бонапартисты, т. е. люди без веры и без убеждений, разбойники; но что республиканцы, борющиеся во имя закона и торжества принципа справедливости, не должны и не могут попираť их основные и первейшие условия. Тогда я приведу другой пример.

В 1848 г., после вашей июньской победы вы, господа буржуазные республиканцы, вы, которые проявляете такую щепетильность в вопросе о правосудии, потому что теперь речь идет о применении его к бонапартистам, т. е. к людям, которые по своему происхождению, воспитанию, привычкам, положению в обществе и по своему отношению к социальному вопросу, т. е. к вопросу об освобождении пролетариата, принадлежат вашему классу, суть ваши братья; так вот, после победы, одержанной ва-

ми в июне над парижскими рабочими, Национальное собрание, в котором заседали и вы, г-н Жюль Фавр, и вы, г-н Кремье, и в котором по крайней мере вы, г-н Жюль Фавр, были тогда вместе с г-ном Паскалем Дюпра, вашим единомышленником, одним из самых красноречивых сторонников яростной реакции, — это собрание буржуазных республиканцев ведь не страдало от того, что три дня подряд рассвирепевшая буржуазия расстреливала без всякого суда сотни, а, быть может, и тысячи безоружных рабочих? И сразу же после этого разве не благодаря его попустительству были *без всякого суда, просто ради общественной безопасности* сосланы на галеры 15 000 рабочих? А потом, после нескольких месяцев, в течение которых эти несчастные тщетно зывали к правосудию, во имя которого так энергично вы ратуете теперь в надежде, что этими фразами вам удастся замаскировать ваше потворство реакции, разве не то же самое собрание буржуазных республиканцев, имея во главе все вас же, г-н Жюль Фавр, допустило приговорить 4 348 человек к высылке, опять *без суда* и все *ради той же всеобщей безопасности*? Оставьте, все вы не кто иные, как гнусные лицемеры!

Как случилось, что г-н Жюль Фавр не нашел в себе и не счел нужным употребить против бонапартистов немного той *отважной энергии*, немного той безжалостной жестокости, которые он так широко проявил в июне 1848 года, когда дело шло о наказании рабочих-социалистов? Или он думает, что рабочие, требующие своего права на жизнь, на существование в человеческих условиях, требующие с оружием в руках справедливости, равной для всех, более виновны, чем бонапартисты, губящие Францию?

Ну да, совершенно очевидно, что его мысль именно такова, только признаться в ней откровенно даже самому себе решится не всякий. Этим всепоглощающим буржуазным инстинктом проникнуты все декреты правительства Национальной обороны, как и все акты большинства его провинциальных представителей: генеральных комиссаров, префектов, субпрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров республики, которые, принадлежа или к сословию адвокатов, или к республиканской прессе, представляют собою, так сказать, цвет молодого буржуазного радикализма. В глазах всех этих горячих патриотов, а также по *исторически сложившемуся* мнению г-на Жюля Фавра, *социальная революция представляет для Франции несрав-*

ненно большую опасность, нежели само нашествие чужеземцев. Я согласен верить, что хотя и не все, но во всяком случае значительная часть этих достойных граждан охотно пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти славу, величие и независимость Франции; но, с другой стороны, я так же и даже в большей мере верю в то, что еще большее число их предпочло бы скорее видеть Францию под временным игом пруссаков, чем быть обязанным ее спасением поистине народной революции, которая при этом неизбежно разрушила бы экономическое и политическое господство их класса. Неизбежным следствием подобного образа мыслей является их возмутительная, чрезмерная снисходительность к многочисленным и, к сожалению, все таким же сильным сторонникам бонапартистского предательства и их пристрастная суровость, их неумолимые гонения на революционных социалистов, представителей тех рабочих классов, которые одни теперь всерьез озабочены освобождением страны.

Очевидно, что не праздные опасения нарушить справедливость и правосудие, но боязнь вызвать и поддержать социальную революцию мешает правительству подавить открытый заговор бонапартистов. Иначе как объяснить то, что оно ничего не предприняло даже 4 сентября*? Возможно ли было ему хотя одну минуту сомневаться, ему, дерзнувшему взять на себя страшную ответственность за спасение Франции, сомневаться в своем долге прибегнуть к самым энергичным мерам по отношению к подлым сторонникам режима, который не только вверг Францию в пропасть, но и теперь усиленно старается парализовать все ее попытки к самозащите в надежде восстановить императорский престол при помощи и под покровительством пруссаков?

Члены правительства Национальной обороны ненавидят революцию. Пусть так. Но если доказано, если с каждым днем делается все очевиднее, что при том бедственном положении, в котором находится Франция, не остается иной альтернативы: *или революция, или прусское иго*, — то, разбирая этот вопрос только с точки зрения патриотизма, эти люди, установившие диктаторскую власть во имя спасения Франции, не будут ли преступниками, не будут ли сами изменниками своего отечества, если из ненависти к революции они предадут Францию или допустят предать ее пруссакам?

Вот уже скоро месяц, как императорский режим, разрушенный прусскими штыками, повергнут в прах. Временное правительство, составленное из более или менее радикальных буржуа, заняло его место. Что же оно сделало для спасения Франции?

Таков истинный вопрос, единственно уместный вопрос. Что же касается вопроса о законности правительства Национальной обороны, или, точнее говоря, о том, имело ли оно право, я сказал бы даже, должно ли оно было принять власть из рук парижского народа после того как он, наконец, вышвырнул бонапартистскую нечисть, то этот вопрос мог быть поставлен на следующий день после постыдной Седанской катастрофы только сторонниками Наполеона III или, что то же самое, врагами Франции. Г-н Эмиль де Жирарден был, конечно, в их числе¹.

¹ Никто лучше г-на Эмиля де Жирардена не воплощает политическую и социальную безнравственность современной буржуазии. Шарлатан мысли под личиной серьезного мыслителя, под внешностью, обманувшей многих, даже самого Прудона, имевшего наивность поверить, что г-н де Жирарден мог по совести и искренно служить какой-нибудь идее, бывший редактор *Presse* и *Liberté* хуже, чем софист, это фальсификатор, извратитель всех принципов. Достаточно ему затронуть самую простую, самую непреложную, самую полезную идею, как она немедленно становится отравленной и лживой. Притом, он никогда ничего не придумывал, его дело только и состоит в том, чтобы фальсифицировать идеи других. В известных кругах на него смотрят как на самого ловкого создателя и редактора газет. Конечно, его натура эксплуататора и фальсификатора чужих идей, его наглое шарлатанство, должно быть, сделали его особенно пригодным к этому ремеслу! Вся сущность его натуры резюмируется в двух словах: *реклама* и *шантаж*. Всем своим состоянием он обязан журнализму, но пресса не могла бы обогатить человека, честно держащегося одного и того же убеждения, одного и того же знамени. Никто в такой степени, как он, не постиг искусства так ловко и вовремя менять свои убеждения и знамена. Поочередно он был орлеанистом, республиканцем и бонапартистом и сделался бы легитимистом или коммунистом, если бы понадобилось. Можно подумать, что он одарен крысиным инстинктом, потому что он всегда умел покинуть государственный корабль накануне кораблекрушения. Так, он повернулся спиной к правительству Луи-Филиппа за несколько месяцев до Февральской революции, но отнюдь не из-за побуждений, толкнувших Францию к ниспровержению июльского трона*, а из-за своих собственных соображений, из которых двумя главными были, без сомнения, его тщеславие и любовь к наживе, потерпевшие крах. Сразу же после февраля** он выдает себя за пламенного республиканца, более республиканского, чем вчерашние республиканцы; он предлагает свои идеи и самого себя; каждый день по идее, разумеется, украденной у кого-нибудь, но приготовленной и приправленной самим г-ном Эмилем де Жирарденом так, чтобы ею мог отравиться всякий, кто воспользуется ею из его рук; кажущаяся правдивость на фоне бесконечной лжи и его личность, несущая

Если бы момент не был так ужасен, можно было бы хорошо посмеяться над необычайной наглостью этих людей. Поистине, они перещеголяли Робера Макера, духовного главу своей церкви, даже и самого Наполеона III, их явного главу.

Подумайте! Они убили Республику и возвели на трон известными средствами достойного императора. Затем в продолжение двадцати лет подряд они были добровольными и своекорыстными орудиями самых циничных правонарушений, систематически уродовали, отравляли и развращали Францию, сея повсюду невежество, и в конце концов навлекли на эту несчастную жертву своей алчности и постыдного тщеславия бедствия, превосходящие по своим размерам все, что может нарисовать самое пессимистическое воображение. Застигнутые этой ужасной катастрофой, вызванной их стараниями, раздавленные угрызениями совести, стыдом, опасаясь народного возмездия, тысячу раз заслуженного, они должны были бы провалиться сквозь землю — не так ли? — или, по крайней мере, сбежать, подобно своему господину, под знамя пруссаков, которое только и могло бы прикрыть их низость. Как бы не так! Уверившись в преступной снисхо-

эту ложь, а с нею утрату доверия и крушение всех дел, которых она касается. Идеи и личность были отвергнуты народным презрением. Тогда г-н де Жирарден делается заклятым врагом республики. Никто так зло не издевался над нею, никто так усердно не способствовал, по крайней мере в своих помыслах, ее падению. Он не замедлил сделаться одним из самых деятельных и самых пронырливых агентов Бонапарта. Этот журналист и этот *государственный деятель* были созданы друг для друга. Наполеон III осуществил в действительности все то, о чем мечтал г-н Эмиль де Жирарден. Это был сильный человек, умевший жонглировать, подобно Э. де Жирардену, всеми принципами и одаренный достаточно непосредственной натурой, чтобы уметь подняться над всеми напрасными угрызениями совести, над всеми узкими и смешными предрассудками честности, деликатности, чести, личной и общественной нравственности, над всеми гуманными чувствами, которые только мешают политике; одним словом, это был человек своей эпохи, явно призванный править миром. В первые дни после государственного переворота было что-то вроде легкого облачка между *августейшим государем* и *августейшим журналистом*. Но это было не что иное, как ссора влюбленных, а никак не разногласие в принципах. Г-н Эмиль де Жирарден считал себя недостаточно вознагражденным. Он, несомненно, очень любит деньги, но ему еще нужны почести и причастность к власти. Вот чего Наполеон III, при всем своем желании, никогда не мог ему предоставить. Всегда около него был какой-нибудь Морни, какой-нибудь Флери, какой-нибудь Бийо, какой-нибудь Руэ, которые мешали этому. Так что только в конце своего правления он мог пожало-

дительности правительства Национальной обороны, они остались в Париже или рассеялись по всей Франции, громко понося правительство, объявляя его незаконным именем прав народа, именем всеобщего избирательного права.

Их расчет верен. Раз падение Наполеона III стало бесповоротно свершившимся фактом, то нет другого средства снова вернуть его во Францию, кроме решительной победы пруссаков. Но чтобы обеспечить и ускорить эту победу, нужно парализовать все патриотические и действительно революционные усилия Франции, истребить до последнего все средства защиты; а для достижения этой цели кратчайший и самый верный путь — это немедленный созыв Учредительного собрания. Я докажу это в дальнейшем.

Но сначала я считаю нужным доказать, что пруссаки могут и должны желать возвращения Наполеона III на французский престол.

вать г-ну Эмилю де Жирардену сан сенатора империи. Если бы Эмиль Оливье, сердечный друг, приемный сын и в некотором роде креатура г-на Эмиля де Жирардена, не пал так быстро, мы увидели бы, конечно, великого журналиста министром. Г-н Эмиль де Жирарден был одним из основных создателей министерства Оливье*. С того времени его политическое влияние все возрастало. Это он был вдохновителем и отчасти автором двух последних политических актов императора, которые погубили Францию: плебисцита и войны. С этого времени поклонник Наполеона III, друг генерала Прима в Испании, духовный отец Эмиля Оливье и сенатор империи, г-н Эмиль де Жирарден почувствовал себя в конце концов слишком великим, чтобы продолжать свое ремесло журналиста. Он оставил редакцию *Liberté* своему племяннику и ученику, верному пропагандисту своих идей, г-ну Детруайя; и, подобно молодой девушке, готовящейся к первому причастию, предался созерцательному настроению, чтобы принять со всем подобающим достоинством эту так давно желанную власть, которая, наконец, готова была упасть в его объятия. Какое горькое разочарование! На этот раз, лишившись своего обычного инстинкта, г-н Эмиль де Жирарден совсем не почувствовал, что империя рухнет и что именно его внушения и советы толкнули ее в пропасть. Сменить взгляды уже было поздно.

Падая вместе с империей, г-н де Жирарден низвергся с высоты своих честолюбивых мечтаний в тот самый момент, когда они, казалось, были ближе всего к осуществлению. Он упал плашмя и уже больше не поднялся. Начиная с 4 сентября он употребляет всевозможные старания, пуская в ход все свои старые приемы, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Не прошло и недели, как его племянник, новый редактор *Liberté*, объявляет его первым государственным деятелем Франции и Европы. Но все напрасно! Никто не читает *Liberté*, а у Франции слишком много других дел, чтобы заниматься величием г-на Эмиля де Жирардена. На этот раз он умер, и дай Бог, чтобы вместе с ним умерло современное шарлатанство прессы, достигшее в его лице своего высшего расцвета.

РУССКИЙ АЛЬЯНС И РУСОФОБИЯ НЕМЦЕВ

Как ни победно положение графа Бисмарка и его государя Вильгельма I, но оно далеко не из легких. Их цель ясна: это наполовину насильственное, наполовину добровольное объединение всех германских государств под прусским королевским скипетром, который скоро обратится в скипетр императорский; иными словами, их цель — основать в сердце Европы могущественнейшую империю. Всего каких-нибудь пять лет назад из пяти великих держав Европы на Пруссию смотрели как на последнюю. Теперь она хочет сделаться и, без сомнения, скоро сделается первой. Берегись тогда независимость и свобода Европы, особенно маленьких государств, которые имеют несчастье включать в себя германское или бывшее германское население, например, фламандцев! Аппетит немецкого буржуа так же свиреп, как велико его раболепство, и, опираясь на этот патриотический аппетит и на это совершенно немецкое раболепство, граф Бисмарк, будучи человеком не очень разборчивым в средствах и слишком государственным человеком, чтобы щадить кровь народов и беречь их кошельки, свободу и права, вполне способен в интересах своего хозяина приняться за осуществление мечты Карла Пятого*.

Часть громадной задачи, взятой им на себя, завершена. Благодаря соучастию Наполеона III, которого он одурачил, и благодаря союзу с императором Александром II, которого он одурачит, ему удалось уже раздавить Австрию**. Теперь он держит ее в повиновении угрозой вторжения своего верного союзника, России.

Что же касается империи царя, то со времени раздела Польши и именно благодаря этому разделу она стала в зависимое положение по отношению к прусскому королевству, как и это последнее по отношению к Всероссийской империи. Они не могут начать войну между собой, не освободив доставшихся им польских провинций, чего они никак не согласятся допустить, потому что обладание этими провинциями составляет для каждого из них существенное условие его могущества как государства. Не имея таким образом возможности вступать в войну друг с другом, они *volens-volens* должны быть близкими союзниками. Достаточно Польше шевельнуться, как тотчас же Российская империя и Прусское королевство будут обязаны испытывать друг к другу самые нежные чувства. Эта

вынужденная солидарность есть роковое, зачастую невыгодное и всегда тягостное следствие разбоя, совершенного ими обоими против благородной и несчастной Польши. Ведь не надо думать, что русские, даже официальные лица, любят пруссаков и что пруссаки обожают русских. Напротив, они всем сердцем, глубоко ненавидят друг друга. Но как два разбойника, связанные между собой общим преступлением, они вынуждены идти рука об руку и помогать друг другу. Вот источник трогательной нежности, соединяющей два двора, петербургский и берлинский, которую граф Бисмарк никогда не забывает поддерживать скромными подарками, например, в виде нескольких несчастных польских патриотов, выдаваемых время от времени варшавским и виленским палачам.

Однако на горизонте этой безоблачной дружбы появляется черная точка: это вопрос о балтийских провинциях. Как известно, эти провинции не являются ни русскими, ни немецкими. Они латышские или финские; немецкое население, состоящее из дворянства и буржуазии, составляет там самое незначительное меньшинство. Эти провинции прежде принадлежали Польше, потом Швеции, затем они были завоеваны Россией. Самое удачное решение для них, с точки зрения народа, — а я другой не признаю — по-моему, было бы их возвращение вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но в федеративный, очень тесный союз с ней, в качестве членов Скандинавской федерации, долженствующей включить в себя Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть Шлезвига, пусть не прогневаются гг. немцы! Это было бы справедливо, это было бы естественно, а этих двух доводов совершенно достаточно, чтобы рассердить немцев. Это положило бы, наконец, спасительный предел их морским притязаниям. Русским хочется русифицировать эти провинции, немцам — онемечить. И те и другие не правы. Огромное большинство населения, одинаково ненавидящее немцев и русских, хочет оставаться тем, что оно есть, т. е. финским и латышским, но оно сможет добиться уважения своей автономии и права быть самим собой только в Скандинавской конфедерации.

Но, как я уже сказал, это вовсе не согласуется с патриотическими вожделениями немцев. С некоторых пор этим вопросом очень интересуются в Германии. Причиной послужили гонения русского правительства на протестантское духовенство; в этих провинциях оно немецкое

Эти гонения гнусны, как гнусны все проявления какого бы то ни было деспотизма, русского или прусского. Однако они не превосходят тех, которые прусское правительство совершает ежедневно в прусско-польских провинциях, и все же та же самая немецкая общественность воздерживается протестовать против прусского деспотизма. Из всего этого следует, что для немцев все дело совсем не в справедливости, а в приобретении, в завоевании. Они очень хотят иметь эти провинции, которые действительно были бы для них очень полезны с точки зрения их морского могущества на Балтике, и я не сомневаюсь, что Бисмарк лелеет заветную мечту овладеть ими рано или поздно, тем или иным способом. Вот та черная точка, которая возникла в отношениях между Россией и Пруссией.

Но пока этого еще недостаточно, чтобы разъединить их. Они слишком нуждаются друг в друге. Пруссию удерживает от разрыва опасение, что она не найдет для себя в Европе другого союзника, потому что все другие государства, не исключая даже Англии, напуганные ее притязаниями, которые скоро не будут иметь предела, выступают или рано или поздно выступят против нее. Итак, Пруссия поостережется сейчас поднять вопрос, могущий поссорить ее с ее единственным другом, Россией. Ей будет нужна ее помощь или, по крайней мере, ее нейтралитет до тех пор, пока она не уничтожит совершенно или не ослабит по крайней мере лет на двадцать могущества Франции; пока не разрушит Австрийскую империю и не присоединит немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландию и всю Данию. Обладание двумя последними королевствами необходимо для создания и для упрочения ее морского могущества. Все это будет неизбежным следствием ее победы над Францией, если только эта победа будет полной и окончательной. Но все это, даже при самых благоприятных для Пруссии обстоятельствах, не сможет осуществиться сразу. Выполнение этих грандиозных проектов займет немало лет, и в продолжение всего этого времени Пруссии более, чем когда-либо, будет нужна поддержка России; ибо можно предположить, что остальная часть Европы, какой бы трусливой и глупой она ни казалась теперь, кончит, однако, тем, что проснется, когда почувствует нож у горла, и не допустит без сопротивления и борьбы приготовить себя под прусско-германским соусом. Изолированная, хотя бы даже и победоносная Пруссия даже после разгрома Франции была бы

слишком слаба, чтобы бороться с коалицией всех европейских государств. Если бы и Россия стала против нее, она бы погибла. Она не устояла бы даже при нейтралитете России. Ей необходима деятельная поддержка России, вроде той огромной услуги, которую она ей теперь оказывает, угрожая Австрии; так как вполне очевидно, что если бы Россия не угрожала Австрии, на другой же день после вступления немецких войск на французскую территорию Австрия перебросила бы свои войска в Пруссию, в Германию, покинутую солдатами, чтобы вернуть утраченное господство и получить блестящий реванш за Садову*.

Г-н Бисмарк — слишком осторожный человек, чтобы при подобных обстоятельствах ссориться с Россией. Разумеется, во многих отношениях этот союз для него не особенно приятен. Он вредит его популярности в Германии. Но г-н Бисмарк — слишком государственный человек, чтобы чувствовать потребность в таком сентиментальном вздоре, как любовь и доверие народа. Но он знает, что эта любовь и доверие составляет временами большую силу, а сила в глазах такого политика, как он, — единственное, с чем должно считаться. Поэтому непопулярность союза с русскими все же его смущает. Без сомнения, ему приходится сожалеть, что единственный союз, возможный теперь для Германии, это именно такой, к которому Германия чувствует единодушное отвращение.

Когда я говорю о чувствах Германии, я, разумеется, имею в виду чувства буржуазии и пролетариата. Немецкое дворянство вовсе не питает ненависти к России, так как оно знает Россию только как империю, варварская политика и скорые расправы которой ему нравятся, соответствуют его инстинктам и его собственной натуре. Что касается покойного Николая I, то он вызывал у немецких дворян восхищение, настоящий культ. Этот германизированный Чингисхан или, лучше сказать, этот монголизированный немецкий принц был в их глазах высшим идеалом абсолютного владыки. Теперь они находят повторение того же идеала в своем короле-пугале**, будущем германском императоре. Кто-кто, только не немецкое дворянство будет против союза с русскими. Наоборот, оно поддерживает его с удвоенной силой: прежде всего, из глубокой симпатии к деспотическим тенденциям русской

политики, а также и потому, что ее король желает этого союза, а пока королевская политика будет стремиться к порабощению народов, эта воля для немецкого дворянства будет священна. Без сомнения, дело обстояло бы иначе, если бы король, вдруг перестав следовать традициям своей династии, объявил освобождение народов. Тогда и только тогда оно способно было бы восстать против него, что, впрочем, не представляло бы большой опасности, так как немецкое дворянство, несмотря на свою многочисленность, совершенно бессильно. Оно не имеет корней в стране и существует только по милости государства как бюрократическая и, в особенности, как военная каста. К тому же, так как совершенно невероятно, чтобы будущий германский император *свободно* и по собственному своему побуждению подписал бы когда-нибудь декрет об освобождении, то можно надеяться, что трогательное согласие, существующее между ним и его верным дворянством, сохранится навсегда и оно до века пребудет верным рабом грубого деспота, готовым не за страх, а за совесть пресмыкаться перед ним и выполнять все его приказания, какими бы гнусными и жестокими они ни были.

Совершенно иначе обстоит дело с немецким пролетариатом. Я имею в виду главным образом городской пролетариат. Сельский пролетариат слишком подавлен, слишком принижен как своим необеспеченным положением, так и привычкой к подчинению собственникам-крестьянам; он слишком отравлен систематической ложью, политической и религиозной, которой его пичкают в начальной школе, чтобы самому понять свои чувства и желания. Его мысли редко заходят за безнадежно узкий горизонт его жалкого существования. Конечно, по своему положению и по натуре он социалист, но — сам того не подозревая. Одна только всеобщая социальная революция, более всеобщая и более широкая, чем та, о какой мечтают немецкие демократы-социалисты, будет в состоянии разбудить дьявола, сидящего в нем. Этот дьявол: инстинкт свободы, страстное стремление к равенству, святое возмущение, раз проснувшись в его груди, не уснет уже больше. Но до этого наивысшего момента еще далеко, а пока сельский пролетариат, по совету г-на пастора, останется покорным подданным своего короля, самым послушным орудием в руках любой власти, государственной или частной.

Что же касается крестьян-собственников, они в большинстве скорее склонны поддерживать королевскую политику, чем бороться с ней. Для этого есть много причин прежде всего, антагонизм деревень и городов, существующий в Германии так же, как и везде, и особенно усилившийся там с 1525 г., когда немецкая буржуазия во главе с Лютером и Меланхтоном так постыдно и притом во вред себе самой предала единственную крестьянскую революцию, имевшую место в Германии*; затем глубоко ретроградное воспитание, о котором я уже говорил и которое преобладает во всех германских школах, особенно в Пруссии; эгоизм, консервативные инстинкты и предрассудки, свойственные всем крупным и мелким собственникам; наконец, относительная изолированность сельских трудящихся, которая так сильно задерживает проникновение идей и развитие политических страстей. Из всего этого следует, что немецкие крестьяне-собственники гораздо больше интересуются близко их касающимися общинными делами, чем общей политикой. А так как немецкой натуре вообще более свойственно послушание, чем сопротивление, благочестивая доверчивость, чем бунт, то немецкий крестьянин охотно вверяет мудрости высших, установленных от Бога властей все общие интересы своей страны. Без сомнения, наступит момент, когда и немецкий крестьянин проснется. Это произойдет тогда, когда величие и слава новой Пруско-германской империи, которая основывается теперь не без некоторого мистического и исторического влечения с его стороны, скажутся на нем тяжелыми налогами и экономическим разорением. Это произойдет, когда он увидит, как его маленькая собственность, отягощенная всевозможными долгами, закладными, налогами, растает и растечется сквозь пальцы, чтобы округлить богатство крупного землевладельца; это произойдет, когда для него станет очевидно, что в силу непреложного экономического закона он, в свою очередь, вовлекается в ряды пролетариата. Тогда он проснется и, наверное, также восстанет. Но этот момент еще далек, и, ожидая его, даже Германия, которую нельзя упрекнуть в недостатке терпения, может это терпение потерять.

Фабричный и городской пролетариат находится в совершенно ином положении. Хотя и прикрепленные, как крепостные, нуждою к определенной местности, где они трудятся, рабочие, не имея собственности, не имеют и местного интереса. Все их интересы имеют характер об-

щий, даже не национальный, а международный, потому что вопрос о труде и плате за него — единственный, который прямо, реально, ежедневно и живо интересует их, но является центром и основанием всех других вопросов, как социальных, так и политических и религиозных, этот вопрос, вследствие роста могущества капитала в промышленности и торговле, все более и более принимает международный характер. Именно этим объясняется небывалый рост *Международного товарищества рабочих*, которое, будучи основано всего шесть лет тому назад, насчитывает уже в одной Европе более миллиона человек.

Немецкие рабочие не отстали от других. В особенности в последние годы они сделали значительные успехи, и, быть может, не далек момент, когда они выступят как могучая сплоченная сила. Правда, к намеченной цели они идут не тем путем, который мне кажется наилучшим. Так, вместо того, чтобы стремиться создать силу открыто революционную, отрицательную, разрушительную по отношению к государству, единственную, которая, по моему глубокому убеждению, может иметь результатом полное и повсеместное освобождение трудящихся и труда, они увлекаются, или, скорее, позволяют своим вожакам увлекать себя мечтами о создании позитивной власти, об учреждении нового рабочего, народного государства (*Volkstaat*), непременно национального, патриотического и пан-германского, что ставит их в явное противоречие с основными принципами *Международного товарищества* и в очень двусмысленное положение по отношению к Пруско-германской империи, аристократической и буржуазной, о создании которой хлопочет Бисмарк. Они надеются, конечно, что путем сначала легальной агитации, а позднее путем более решительного и энергичного революционного движения им удастся завладеть этой империей и превратить ее в чисто народное государство. Эта политика, на которую я смотрю как на призрачную и губительную, придает их движению прежде всего характер реформаторский, а не революционный, что, впрочем, отчасти зависит также от прирожденных свойств немецкого народа, более склонного к медленным и постепенным реформам, чем к революции. Эта политика имеет, кроме того, еще один недостаток, являющийся, в сущности, лишь следствием основной ошибки: социалистическое движение германских трудящихся идет на буксире у буржуазной демократической партии. Позднее хотели даже отрицать само

существование этого союза, но он был слишком очевидно подтвержден частичным принятием буржуазно-социалистической программы д-ра Якоби* как основы для возможного соглашения между буржуазными демократами и пролетариатом Германии, а также различными попытками заключить соглашение на конгрессах в Нюрнберге и Штутгарте. Это во всех отношениях пагубный союз. Он не может принести рабочим никакой пользы, даже частичной, потому что партия демократов и буржуазных социалистов в Германии на самом деле слишком ничтожна, до смешного неможна, чтобы придать рабочим какую-то силу, но она во многом способствовала ограничению и извращению социалистической программы трудящихся Германии. Программа рабочих Австрии, например, пока они не дали себя вовлечь в социал-демократическую партию, была гораздо шире, значительно шире и более практичной, чем теперь.

Как бы то ни было, это скорее ошибка в системе, чем в инстинкте; инстинкт немецких рабочих явно революционен и с каждым днем будет становиться все более и более революционным. Интриганы, подкупленные г-ном Бисмарком, будут стараться напрасно: им никогда не удастся подчинить массу немецких трудящихся своей Прусско-германской империи. Впрочем, время заигрывания правительства с социализмом прошло. Имея отныне на своей стороне рабский и тупой энтузиазм всей германской буржуазии, равнодушие и пассивное подчинение, а отчасти и симпатии деревни, все немецкое дворянство, ждущее только знака, чтобы уничтожить «чернь», и организованное могущество огромных военных сил, вдохновляемых и предводительствуемых тем же дворянством, г-н Бисмарк непременно захочет раздавить пролетариат и истребить до самого корня огнем и мечом эту гангрену, этот проклятый социальный вопрос, в котором сконцентрировался весь дух возмущения, оставшийся в людях и нациях. Как в Германии, так и повсюду будет вестись смертельная война с пролетариатом. Но, призывая рабочих всех стран хорошо подготовиться к борьбе, я заявляю, что эта война не страшит меня. Наоборот, все свои надежды я возлагаю на нее; она одна может вселить боевой дух в рабочие массы. Она сразу положит конец всем этим бесконечным и бесцельным рассуждениям (*in's Blaue hinein*)**, которые усыпляют, истощают, не приводя ни к какому результату, и зажжет в груди европейского

пролетариата ту страсть, без которой никогда не бывает победы. Что же касается окончательного торжества пролетариата, кто может в нем сомневаться? Справедливость, логика истории — за него.

Был в начале этой войны один момент, когда немецкий рабочий, несмотря на свою растущую с каждым днем революционность, начал колебаться. С одной стороны, он видел Наполеона III, с другой — Бисмарка с его королем-пугалом, первый означал вторжение, два последних — национальную оборону. Не было ли естественно, что, несмотря на все свое отвращение к этим двум представителям немецкого деспотизма, он на мгновение поверил, что его долг как немца стать под их знамя? Но это колебание было непродолжительным. Как только первые известия о победах немецких войск дошли до Германии, тотчас же стало очевидно, что французы не смогут перейти Рейн, особенно после сдачи Седана и памятного и окончательного падения Наполеона III; когда война Германии с Францией утратила значение законной защиты и приняла завоевательный характер, стала войной немецкого деспотизма против свободной Франции, чувства немецкого пролетариата сразу изменились и открыто обратились против этой войны, в нем пробудилась глубокая симпатия к французской республике. И здесь я спешу отдать справедливость вождям партии демократов-социалистов, всему руководящему комитету, Бебелю, Либкнехту и многим другим, которые среди воплей официального мира и всей буржуазии Германии, взбесившейся от патриотизма, имели мужество громко заявить о священных правах Франции. Благородно, героически исполнили они свой долг, потому что на самом деле требовалось героическое мужество, чтобы отважиться говорить человеческим языком среди всей этой рычащей буржуазной животности.

Разумеется, немецкие рабочие — решительные противники союза с Россией и русской политикой. Русские революционеры не должны ни удивляться, ни слишком огорчаться, если случается иногда, что немецкие трудящиеся на сам русский народ переносят ту глубокую и вполне законную ненависть, какую внушает им само существование и все политические акты Всероссийской империи, точно

так же, как и немецкие рабочие не должны отныне слишком удивляться и слишком обижаться, если случится, что французский пролетариат поставит на одну доску официальную, бюрократическую, военно-дворянско-буржуазную Германию с Германией народной. Чтобы быть справедливыми и не слишком сетовать на это, немецкие рабочие должны судить по самим себе. Следуя примеру и указаниям многих своих вожаков, разве не смешивают они слишком часто в одном чувстве презрения и ненависти Российскую империю и русский народ, не подозревая о том, что этот народ — первая жертва и непримиримый враг империи, всегда готовый восстать против нее, как я неоднократно имел возможность доказывать это в моих речах и брошюрах и повторяю здесь снова. Но немецкие рабочие могут возразить, что они основываются не на словах, что их суждения основаны на фактах и что все поступки русских в своих внешних проявлениях были поступками антигуманными, жестокими, варварскими, деспотичными. К сожалению, русским революционерам нечего ответить на это обвинение. Они должны признать, что в известном отношении немецкие рабочие правы: пока народ не свергнул и не разрушил своего государства, он более или менее солидарен с ним и, следовательно, ответствен за его поступки, совершаемые именем народа и его руками. Но если это соображение справедливо для России, то оно должно быть одинаково верно и для Германии.

Конечно, русская империя представляет и воплощает варварскую систему, антигуманную, подлую, презренную, гнусную. Можете применить к ней все прилагательные, какие только захотите; я ничего не буду иметь против. Друг русского народа, но отнюдь не патриот государства, всероссийской империи, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь ненавидел эту последнюю больше меня. Но желая быть справедливым прежде всего, я предложил бы немецким патриотам оглядеться повнимательнее вокруг себя, и, я уверен, они не замедлили бы убедиться, что, помимо прикрытой лицемерием приличной внешности, их Прусское королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были сколь-нибудь либеральнее, ни тем более гуманнее, чем всероссийская империя. Что же касается Пруско-германской, или *кнуто-германской* империи, воздвигаемой ныне немецким патриотизмом на развалинах и в крови Франции, то последняя обещает даже превзойти Россию своими злодеяниями. Посмотрим: при всей

своей гнусности причиняла ли русская империя когда-либо Германии, Европе хоть сотую часть того зла, какую Германия причиняет теперь Франции и угрожает причинить всей Европе? Если кто и имеет право презирать Российскую империю и русских, так это поляки. Если русские и обесчестили себя когда-либо и творили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я обращаюсь к самим полякам: все русские армии, солдаты и офицеры, совершили ли они хоть десятую часть тех гнусных поступков, какие совершают теперь во Франции все германские армии, солдаты и офицеры? Поляки, повторяю, имеют право презирать Россию. Но немцы не имеют права, нет! если они в то же время не презирают самих себя! Посмотрим, причинила ли когда-либо Россия какое-нибудь зло? Разве кто-нибудь из русских императоров мечтал о завоевании Германии? Разве он когда-нибудь отнял у нее провинцию? Разве русские войска приходили в Германию, чтобы уничтожить ее республику, которой, впрочем, никогда и не существовало, — и чтобы вернуть трон ее деспотам, которые никогда и не переставали править?

Только два раза с тех пор, как установились международные отношения между Россией и Германией, русские императоры причиняли этой последней позитивное зло. Первый раз это был Петр III, который, только что поднявшись на трон, в 1761 г. спас Фридриха Великого и вместе с ним Прусское королевство от неминуемой гибели, приказав русской армии, сражавшейся до того вместе с австрийцами против Фридриха, примкнуть к нему и выступить против австрийцев*. В другой раз это был Александр I, который в 1807 году спас Пруссию от полного уничтожения**.

Вот неоспоримо две очень плохие услуги, оказанные Россией Германии, и если именно на это жалуются немцы, то я должен признать, что они тысячу раз правы, так как, спасая дважды Пруссию, Россия, несомненно, если не ковала сама, то, по крайней мере, помогала ковать цепи для Германии. Но если это не так, то мне трудно понять, на что могут жаловаться эти добрые немецкие патриоты?

В 1813 году русские пришли в Германию как освободители и, что бы там ни говорили господа немцы, немало способствовали ее освобождению от ига Наполеона. Или,

быть может, озлобление против русских ведет свое начало со времен императора Александра I за то, что он не допустил в 1814 г. прусского фельдмаршала Блюхера, вопреки его настойчивому требованию, разгромить Париж? Последнее обстоятельство служит доказательством, что у пруссаков всегда были одни и те же намерения и что по натуре они не изменились. Или они не прощают императору Александру I, что он почти принудил Людовика XVIII дать Франции конституцию* вопреки желанию прусского короля и австрийского императора и удивил Европу и Францию, выказав себя, российского императора, более гуманным и более либеральным, чем два великих властелина Германии?

Может быть, немцы не могут простить России гнусного раздела Польши? Увы! Они не имеют на это ни малейшего права, так как они получили добрую часть пирога. Конечно, этот раздел был преступлением**. Но среди коронованных разбойников, совершивших его, только один — русский, а немцев — двое: императрица Мария Терезия Австрийская и великий король Пруссии Фридрих II. Я даже мог бы сказать, что все трое были немцы, потому что императрица Екатерина II, гнусной памяти, была чистокровной немецкой принцессой. Фридрих II, как известно, обладал хорошим аппетитом. Не он ли предложил своей доброй кумушке из России также разделить и Швецию, где царствовал его племянник? Инициатива раздела Польши по праву принадлежит ему. При этом Прусское королевство выиграло от дележа гораздо больше, чем два других сообщника по разделу, так как его подлинное могущество началось с завоевания Силезии и этого раздела Польши.

Наконец, не ставят ли немцы в вину Российской империи жестокое, варварское, кровавое подавление двух польских революций, 1830 и 1863 годов? Но опять-таки они не имеют и на это ни малейшего права, потому что в 1830 г., как и в 1863 г., Пруссия была самой близкой соучастницей санкт-петербургского кабинета, любезной и верной поставщицей его палачей. Граф Бисмарк, канцлер и основатель будущей кнуто-германской империи, разве не считал своим приятным долгом выдавать Муравьевым и Бергам все польские головы, попадавшие ему в руки? И разве не те же прусские наместники, которые теперь во Франции проявляют свою гуманность и свой

пангерманский либерализм, организовали в 1863, 1864 и 1865 годах в польской Пруссии и в Познанском великом герцогстве, подобно истым жандармам, которыми они и являются по своей натуре и пристрастиям, настоящую охоту на несчастных польских повстанцев, бежавших от казаков, чтобы предать их закованными в цепи русскому правительству? Когда в 1863 г. Франция, Англия и Австрия представили князю Горчакову свои протесты в защиту Польши, только одна Пруссия не захотела, да и не могла присоединиться к протесту, по той простой причине, что начиная с 1860 года все усилия ее дипломатии были направлены к тому, чтобы отговорить императора Александра II сделать хотя бы малейшую уступку полякам¹.

Из приведенных соображений с очевидностью следует, что немецкие патриоты не имеют ни малейшего права обращать свои упреки к Российской империи. Если она поет фальшиво, если ее голос отвратителен, то во всяком случае Пруссия, составляющая ныне ум, сердце и руку великой объединенной Германии, никогда не отказывала ей в услужливом аккомпанементе. Существует, правда, один упрек, последний.

«Россия, — говорят немцы, — оказывала с 1815 года до сего дня самое губительное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Германии. Если Германия оставалась так долго разделенною, если она остается рабскою, то это именно вследствие этого рокового влияния».

Признаюсь, этот упрек всегда мне казался крайне нелепым, недобросовестным и недостойным великого народа; достоинство каждой нации, как и каждого индивида, состоит, по-моему, главным образом в том, что каждый берет на себя всю ответственность за свои поступки, не делая жалких усилий свалить свою вину на других. Разве не нелепы сетования взрослого парня, пришедшего со слезами жаловаться, что кто-то другой совратил его, вовлек в дурное дело? Ну, а что непозволительно мальчишке, тем более непростительно нации, и самое элементар-

¹ Когда посол Великобритании в Берлине, лорд Блумфилд, если не ошибаюсь в имени, предложил г-ну Бисмарку подписать от имени Пруссии знаменитый протест западных правительств, г-н Бисмарк отказался, сказав английскому посланнику: «Как вы хотите, чтобы мы протестовали, когда мы вот уже три года то и дело повторяем России, чтобы она не делала никаких уступок Польше».

ное самоуважение должно было бы удержать ее от подобных жалоб¹.

В конце этого письма, бросив беглый взгляд на германско-славянский вопрос, я докажу, опираясь на неопровержимые исторические факты, что до 1866 года * дипломатическое влияние России на Германию — а иного влияния никогда не было, — как в отношении ее внутреннего развития, так и в отношении ее территориального расширения, в большинстве случаев было равно нулю или почти нулю. В любом случае это влияние гораздо ничтожнее, чем воображали себе эти добропорядочные немецкие патриоты и сама русская дипломатия. И я докажу, что начиная с 1866 года Санкт-Петербургский кабинет в благодарность если не за материальную, то за моральную поддержку, оказанную ему Берлином в Крымскую войну, и более чем когда-либо зависимый от прусской политики, угрожая Австрии и Франции, в значительной мере содействовал осуществлению грандиозных проектов

¹ Признаюсь, я был глубоко изумлен, найдя этот самый упрек в письме, адресованном в прошлом году г-ном Карлом Марксом, знаменитым главой немецких коммунистов, редактором маленького русского листка, печатавшегося на русском языке в Женеве. К. Маркс утверждает, что, если Германия еще не организована демократически, то в этом всецело вина России. Он в высшей степени неверно судит об истории своей собственной страны, поскольку высказывает утверждение, легко опровергаемое не только историческими фактами, но и опытом всех времен и всех стран. Случалось ли когда-нибудь так, чтобы нация, стоящая на более низкой ступени цивилизации, смогла навязать или привить свои собственные принципы другой стране, несравненно более цивилизованной, — если только не путем завоевания? Но Германия, насколько мне известно, никогда не была завоевана Россией. Поэтому возможность усвоения немцами каких-либо русских устоев совершенно невероятна, тогда как более чем вероятно, что Германия, наоборот, благодаря своему непосредственному соседству и неоспоримому перевесу своего политического, административного, юридического, промышленного, торгового, научного и социального развития, имела на Россию значительное идейное влияние, с чем охотно соглашались и сами немцы, когда говорят не без гордости, что Россия обязана Германии всей той малой долей цивилизации, какая у нее имеется. К большому счастью для нас, для будущего России, эта цивилизация не проникла дальше официальной России, в народ. Но, действительно, мы обязаны немцам нашим политическим, административным, полицейским, военным и бюрократическим воспитанием, законченностью здания нашей империи, даже нашей августейшей династией.

Кто может сомневаться, что соседство великого Монголо-византийско-немецкого Эмира более по душе деспотам Германии, чем ее народом, что это соседство более способствует развитию ее коренного, сугубо национального, германского рабства, чем распространению либеральных и демократических идей, вынесенных из Франции? Германия развивалась бы гораздо быстрее в направлении равенства и свободы, если бы вместо русской империи имела своим соседом Северо-Американские Со-

графа Бисмарка, следовательно, окончательному построению великой Пруско-германской империи, предстоящее установление которой увенчает, наконец, вожделенные желания немецких патриотов.

Подобно доктору Фаусту, эти достопочтенные патриоты преследовали две цели, две противоположные тенденции: одною из них было всемогущее национальное единство, другою — свобода. Желая примирить эти две несогласуемые вещи, они долго парализовали одну другой до тех пор, пока, наконец, на опыте не убедились в невозможности их согласовать и не решились пожертвовать одной ради другой. И вот таким образом на развалинах не свободы — свободны они не были никогда, — но их либеральных мечтаний они готовятся теперь воздвигнуть великую Пруско-германскую империю. Отныне они, по их собственному признанию, *свободно* создадут сильную нацию, могущественное государство и рабский народ.

единенные Штаты, например. Но ведь раньше у нее и была другая соседка, отделявшая ее от Московской империи. Это была Польша, правда, не демократическая, а дворянская, подобно феодальной Германии, также основанная на рабстве крестьян, но гораздо менее аристократическая, более либеральная, более просвещенная во всех отношениях, чем эта последняя. И что же? Германия, недовольная этим бурлящим соседством, так противоречащим ее привычкам к порядку, елейному низкопоклонству и верноподданнической зависимости, проглотила добрую половину ее, предоставив другую половину Московскому царству, все-русской империи, тем самым и сделавшись с того времени ее непосредственной соседкой. А теперь она жалуется на это соседство! Смешно.

Россия также много бы выиграла, если бы вместо Германии имела бы своей соседкой на западе Францию, а на востоке вместо Китая — Северную Америку. Но революционные, или, как начинают их называть в Германии, русские анархисты слишком дорожат достоинством своего народа, чтобы свалить всю вину своего рабства на немцев или китайцев. А между тем они имеют гораздо более исторического права свалить ее как на тех, так и на других. Ведь известно, что монгольские орды, завоевавшие Россию, пришли от границ Китая. Известно, что более двух веков они держали ее под своим игом. Два столетия варварского ига, какое воспитание! К великому счастью, это воспитание почти не коснулось собственно русского народа, массы крестьян, которые и под татарским игом продолжали жить, придерживаясь своего обычного общинного права, не признавая и совершенно не считаясь с какой-либо иной политикой и юриспруденцией, как они живут и до сих пор. Но оно совершенно развратило дворянство, а также и значительную часть русского духовенства, и эти два привилегированных класса, одинаково жестокие, одинаково раболепные, можно считать подлинными основателями Московской империи. Известно, что эта империя была главным образом основана на порабощении народа, и русский народ, не отличающийся вовсе той прирожденной покорностью, которой в высшей степени ода-

Пятьдесят лет кряду, начиная с 1815 и кончая 1866 годом, немецкая буржуазия питала по отношению к самой себе поразительную иллюзию: она считала себя либеральной, совсем не будучи таковой. В действительности же она утратила последние проблески инстинкта свободы еще во времена Меланхтона и Лютера, позволив им *посредством религии* подчинить себя абсолютной власти своих князей. Уже начиная с этой эпохи покорность и послушание обратились у нее в привычку, в сознательное выражение ее самых заветных убеждений и в результате привели к созданию суеверного культа всемогущества Государства. Бунтарское чувство, эта сатанинская гордость, отрицающая власть какого бы то ни было господина, бога или человека, — чувство, которым исключительно питается в человеке любовь к независимости и свободе, это чувство у немца не только отсутствует, но даже сама его возмож-

рен немецкий народ, никогда не переставал ненавидеть эту империю и восставать против нее. Он был и теперь остается единственным истинным революционным социалистом в России. Его бунты или, точнее, его революции (в 1612 г., 1667 г. и 1771 г.) * часто угрожали самому существованию Московской империи, и я твердо убежден, что пройдет немного времени и новая народная социалистическая революция, на этот раз победоносная, сметет ее совсем с лица земли. Известно, что если московские цари, ставшие потом санкт-петербургскими императорами, до сих пор и торжествовали победу над этим упорным и страстным народным сопротивлением, то благодаря политической, административной, бюрократической и военной науке, заимствованной у немцев, которые, одарив нас столькими прекрасными вещами, не забыли принести с собой, не могли не принести не восточный, но протестантско-германский культ государя, лично воплощающего государственный разум, философию дворянского, буржуазного, военного и бюрократического рабства, возведенного в систему. Это было, по-моему, величайшим несчастьем для России. Ибо восточное рабство, варварское, хищническое, оплот нашего дворянства и нашего духовенства, было очень жестоким, но совершенно естественным следствием неблагоприятных исторических обстоятельств, еще более неблагоприятного экономического и политического положения и глубокого невежества. Это рабство было естественным фактом, а не системой, и, как таковое, могло и должно было измениться под благотворным влиянием либеральных, демократических, социалистических и гуманитарных идей Запада. Оно действительно изменилось до такой степени, что — упомянем только наиболее характерные факты — с 1818 по 1825 год ** мы видели, как несколько сот дворян, цвет дворянства, принадлежащего к наиболее образованному и богатому классу, подготовили заговор, серьезно угрожавший императорскому деспотизму, с целью образовать на его обломках согласно желанию одних монархическо-либеральную конституцию или согласно желанию других, значительного большинства, федеративную и демократическую республику, основываясь в том и другом случае на полном освобождении крестьян с наделением их землею. С тех пор не было в России ни одного заговора, в котором бы не участвовала дворянская молодежь, часто очень богатая. С другой стороны, все знают, что по пре-

ность отталкивает, смущает и страшит его. Германская буржуазия не может жить без хозяина: у нее слишком велика потребность в почитании, обожании и подчинении кому угодно. Если это не король, император, ну что ж! тогда это будет коллективный монарх — Государство и все государственные чиновники, как это и было до сих пор во Франкфурте, Гамбурге, Бремене и Любеке, городах, которые носят название республиканских и свободных, отныне поступят во владение нового германского императора, не заметив даже, что они утратили свою свободу.

Немецкий буржуа, стало быть, недоволен не тем, что он должен подчиняться какому-то господину: это его привычка, вторая натура, религия, страсть, — а незначительностью, слабостью, относительной немощью того, кому он должен и хочет подчиняться. Немецкий буржуа, кроме того, обладает непомерной гордостью, присущей всем лакеям, которые переносят на себе важность, богат-

имуществу сыновья наших священников, студенты академий и семинарий составляют в России священную фалангу революционной социалистической партии. Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неоспоримых фактов, которых даже их общеизвестной недобросовестности не удастся опровергнуть, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов-теологов, восстававших против государства и ратовавших за освобождение народа? И однако ни в дворянах, ни в теологах у них недостатка никогда не было. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать — отсутствие либеральных и демократических чувств в дворянстве, в духовенстве и, добавлю также, чтобы быть искренним до конца! — и в буржуазии Германии? А это потому, что раболепство, присущее всем этим почтенным классам, представителям немецкой цивилизации, возникнув как естественное следствие естественных же причин, стало системой, наукой, чем-то вроде религиозного культа, и именно вследствие этого оно превратилось в неизлечимую болезнь. Можете ли вы вообразить себе немецкого бюрократа или же офицера немецкой армии, которые были бы способны составить заговор и восстать за свободу, за освобождение народов? Несомненно, нет. Недавно мы были свидетелями заговора офицеров и высших чиновников Ганновера против Бисмарка*, но с какой целью? Чтобы возвести на его трон короля-деспота, законного монарха. Ну, а бюрократия русская и русские офицеры насчитывают в своих рядах многих заговорщиков, борющихся за благо народа. Вот разница, и она всецело в пользу России. — Но если поработавшее действие немецкой цивилизации и не смогло окончательно развратить даже привилегированные и официальные сословия России, то все же оно постоянно оказывало неблагоприятное влияние на эти классы. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он не проникся этой цивилизацией точно так же, как не проникся и цивилизацией монголов.

В противовес всем этим фактам могут ли буржуазные немецкие патриоты указать хоть один, который бы доказывал губительное влияние

ство, величие и могущество своего хозяина. Этим объясняется ретроспективный культ исторической и почти мифической фигуры германского императора, культ, зародившийся с 1815 года, одновременно с немецким псевдолиберализмом, который постоянно сопровождал его и должен был раньше или позже быть разрушен и задуман этим культом, как это недавно и произошло. Возьмите все немецкие патриотические песни, сочиненные после 1815 года; я не говорю о песнях рабочих-социалистов, открывающих новую эру, пророчествующих о новом мире, о мире всеобщего освобождения. Нет, возьмите песни патриотов буржуа, начиная с пангерманского гимна Арндта*. Какое чувство там преобладает? Любовь к свободе? Нет, это чувство национального величия и могущества. «Где немецкое отечество?» — спрашивается в гимне. От-

монголо-византийской официальной России на Германию? Подобная попытка оказалась бы совершенно тщетной, потому что русские никогда не приходили в Германию ни как победители, ни как учителя, ни как администраторы, откуда следует, что если Германия и заимствовала что-либо у официальной России — что я решительно отрицаю, — то это могло быть сделано лишь по склонности и для собственного удовольствия.

Поистине, несравненно более соответствовало бы достоинству лучшего немецкого патриота и искреннего социалиста-демократа, каким несомненно является г-н Карл Маркс, и было бы гораздо полезнее для народа Германии, если бы вместо того, чтобы тешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии чужеземному влиянию, он постарался бы воспользоваться своей громадной эрудицией для доказательства, в соответствии со справедливостью и исторической истиной, что Германия сама произвела, воспитала и исторически развила в себе все элементы своего нынешнего рабства. Я с удовольствием предоставил бы ему выполнение такого труда, столь полезного и необходимого прежде всего с точки зрения эмансипации германского народа, труда, который, выйдя из-под его пера, опираясь на его удивительную эрудицию, превосходство которой я уже признавал, оказался бы, разумеется, несравненно более полным. Но так как я не надеюсь, чтобы он когда-либо счел удобным и необходимым сказать всю правду по этому вопросу, то я уж сам беру на себя труд доказать в этом письме, что рабство, преступления и настоящий позор сегодняшней Германии совершенно местного происхождения и являются следствием четырех великих исторических причин: дворянского феодализма, дух которого, далеко не побежденный, как во Франции, и донныне благополучно процветает в структуре современной Германии; абсолютизма монарха, санкционированного протестантизмом и через него возведенного в объект культа; упорного и хронического раболепства германской буржуазии и непоколебимого терпения народа. Наконец, пятая причина, Впрочем, весьма близкая к первым четырем, это — зарождение и быстрое образование совершенно механического и совершенно антинационального могущества прусского государства.

вет: «Где слышен немецкий язык». Свобода мало вдохновляет этих певцов немецкого патриотизма, можно сказать, что они упоминают о ней из приличия. С искренним же пафосом и энтузиазмом они говорят только о единстве. И даже теперь какие аргументы приводят они, чтобы убедить сделаться немцами жителей Эльзаса и Лотарингии*, нареченных французами Революцией и в теперешний столь ужасный для них момент чувствующих себя французами более чем когда-либо? Обещают ли они им свободу, освобождение труда, материальное благополучие, благородное и широкое человеческое развитие? Нет, ничего подобного. Эти аргументы так мало трогают их самих, что они даже не понимают, как они могли бы убедить других. Впрочем, они не решились бы зайти так далеко во лжи во время гласности, когда ложь становится делом трудным, если вообще возможным. Всем, и им в том числе, отлично известно, что ни одной из этих прекрасных вещей в Германии не существует и что Германия может сделаться великой кнута-германской империей, лишь надолго отказавшись от них даже в мечтах, ибо действительность оказалась сегодня слишком пугающей и жестокой, чтобы в ней нашлись время и место для мечтаний.

А поскольку всех этих прекрасных человеческих вещей в действительности нет, то о чем говорят им публицисты, ученые, патриоты и поэты немецкой буржуазии? Они говорят о прошлом величии Германской империи, о Гогенштауфенах и об императоре Барбароссе**. Что они, с ума сошли, превратились в идиотов? Нет, они — немецкие буржуа, немецкие патриоты. Но почему, черт возьми, они, эти добрые буржуа, эти превосходные немецкие патриоты, так почитают это великое католическое, императорское и феодальное прошлое Германии? Черпают ли они, подобно жителям итальянских городов, в XII, XIII, XIV и XV веках воспоминания о былом могуществе, о свободе, о разуме, о славе буржуазии? Были ли тогда буржуазия или, говоря вообще, немецкий народ менее, чем теперь, закрепощены, менее угнетены своими князьями-деспотами и своим спесивым дворянством? Нет, без сомнения, было гораздо хуже, чем теперь. Но что в таком случае хотят отыскать в прошедших веках эти немецкие ученые буржуа? Могущество своего хозяина. Это — честолюбие лакеев.

Видя, что сейчас происходит, сомневаться больше невозможно. Немецкая буржуазия никогда не любила, не

понимала свободу, не стремилась к ней. Она живет в своем рабстве спокойная и счастливая, как крыса в сыру, но ей хочется, чтобы сыра было побольше. Начиная с 1815 года и до наших дней, она желала только одного; но этого одного она добивалась со страстным, энергичным упорством, достойным лучшего применения. Она желала чувствовать себя под властью могучего господина, пусть он будет даже свирепый и жестокий деспот, лишь бы он давал ей в награду за ее необходимое рабство то, что она называет своим национальным величием, лишь бы он заставил во имя немецкой цивилизации трепетать все народы, включая и народ немецкий.

Мне возразят, что буржуазия всех стран выражает в данное время те же стремления, что, перепуганная, она повсюду спешит укрыться под покровительство военной диктатуры, своего последнего прибежища от все более и более угрожающих выступлений пролетариата. Повсюду она отказывается от своей свободы во имя спасения своего кошелька и отказывается от своего права, чтобы спасти привилегии. Буржуазный либерализм во всех странах существует лишь по имени и есть не что иное, как обман.

Да, это верно. Но, по крайней мере, итальянский, швейцарский, голландский, бельгийский, английский и французский буржуазный либерализм в прошлом действительно существовал, между тем как либерализма германской буржуазии никогда и не было. Вы не отыщете его следов ни до, ни после Реформации.

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Гражданская война, столь пагубная для могущества государств, наоборот, именно вследствие этого разрушительного действия на государство всегда благоприятна для пробуждения народной инициативы, а также для умственного, нравственного и даже материального развития народов. Причина этого весьма проста: необходимость, за отсутствием руководства свыше, самим устраивать свою судьбу нарушает в массе их бараньи сноровки, столь драгоценные для всех правительств и дающие последним возможность пасти и стричь народное стадо, как им заблагорассудится. Гражданская война нарушает животное однообразие их ежедневного, машинального существования, лишенного мысли, и, заставляя их призаду-

маться над междоусобными распрями князей или партий, оспаривающих друг у друга право притеснять и эксплуатировать их, приводит их чаще всего если не к сознательному, то по крайней мере к инстинктивному уяснению себе той глубокой истины, что права одних из них так же неосновательны, как и права других, и что их намерения одинаково неблагоприятны. А как только одна дремавшая дотоле мысль пробудится, она неизбежно захватывает и все остальное. Народный ум приходит в движение, сбрасывает вековую неподвижность; нарушая границы бездумной веры, освобождаясь из-под ига традиционных и окаменелых представлений и понятий, занимавших у него место всякой мысли, он подвергает всех своих вчерашних кумиров строгой, страстной критике, направляемой его здравым смыслом и честной совестью, которые зачастую значат больше, чем научные истины. Так пробуждается народный ум. Вместе с умом в нем пробуждается и священный, сугубо человеческий инстинкт возмущения, источник всякого освобождения, и одновременно поднимаются его нравственность и материальный уровень, братья-близнецы свободы. Эта столь благодетельная для народа свобода находит опору и черпает воодушевление в самой гражданской войне, которая, разъединяя его притеснителей, его эксплуататоров, его наставников и его господ, неизбежно уменьшает зловерное могущество тех и других. Когда господа грызутся между собой, бедный народ, освободившись, по крайней мере отчасти, от однообразия общественного строя или, лучше сказать, от окаменелой системы анархии и беззакония, навязанных ему ненавистной властью под именем общественного строя, может немного перевести дух. К тому же каждая из враждебных партий, ослабленная разъединением и борьбой, нуждается в симпатии масс для победы над другой партией. За народом начинают ухаживать, как за любовницей, перед ним заискивают, ему льстят. Его забрасывают всевозможными обещаниями, и когда народ достаточно умен, чтобы не довольствоваться одними посулами, ему делают всевозможные реальные уступки, политические и материальные. И если тогда он не сумеет добыть себе свободу, то винить в этом должен себя самого.

Таким путем, какой только что описан, или более или менее сходным с ним шло освобождение городских средневековых общин во всех странах Западной Европы. По тем приемам, с помощью которых они освобождались, и в особенности по тем политическим, духовным и соци-

альным последствиям, которые они умели извлечь из своего освобождения, можно судить об их уме, о господствующих стремлениях и присущем им национальном темпераменте.

Так, уже в конце XI века мы застаем в Италии значительный расцвет ее муниципальных свобод, ее торговли и ее зарождающихся искусств. Итальянские города умеют извлекать выгоду из памятной борьбы императоров с папами, начатой с целью завоевания независимости. В этом же веке во Франции и в Англии достигает широкого распространения схоластическая философия, и как следствие этого первого пробуждения мысли в вере и первого неясно выраженного бунта разума против веры мы видим на юге Франции зарождение ереси вальденсов*. В Германии же — ничего. Она трудится, молится, поет, строит свои храмы, высшее выражение своей грубой и наивной веры, и безропотно повинуетсЯ своим священникам, своим дворянам, своим принцам и своему императору, которые угнетают и грабят ее без всякого стыда и жалости.

В XII веке образуется великая лига независимых и свободных городов Италии, союз, организованный против императора и папы. Вместе с политической свободой естественно начинается пробуждение и бунт разума. Мы видим великого Арнольда Брешианского, сожженного в Риме за ересь в 1155 году. Во Франции сжигают Петра де Брюи и преследуют Абельяра; но что еще важнее, возникает истинно народная и революционная ересь альбигойцев**, направленная против владычества папы, священников и феодальных сеньоров. Преследуемые, они бегут во Фландрию, Богемию, даже в Болгарию, но только не в Германию. В Англии король Генрих I вынужден подписать хартию, основание всех последующих свобод. Среди этого движения лишь одна верная Германия остается неподвижна и безгласна. Ни одной мысли, ни одного движения, которые бы указывали на пробуждение независимой воли или какого-либо стремления в народе. Только два факта заслуживают быть отмеченными. Прежде всего, создание двух новых рыцарских орденов, ордена Тевтонских крестоносцев и ордена Ливонских меченосцев***. На эти ордена была возложена миссия подготовить величие и могущество будущей кнута-германской империи путем вооруженной пропаганды католицизма и германизма в Северной и Северо-Восточной Европе. Всем известен обычный и неизменный метод, который пускали в ход эти милые проповедники Христова Еванге-

лия для обращения в христианство и германизации славянских, варварских и языческих народностей. Впрочем, это тот же самый метод, который их достойные преемники применяют сегодня, чтобы *морализовать, цивилизовать и германизовать* Францию; эти три разных глагола в устах и в мыслях немецких патриотов имеют одинаковый смысл. На практике же они означают обстоятельную и массовую резню, пожары, грабеж, насилие, разорение одной части населения и порабощение остальной. В завоеванных странах вокруг окопанных лагерей этих вооруженных цивилизаторов формировались впоследствии немецкие города. В центре обосновывался епископ, непременно благословлявший все совершенные или предполагаемые набеги этих благородных разбойников; вместе с епископом появлялась целая свора священников, силой крестившая бедных язычников, избегнувших резни; затем этих рабов принуждали строить храмы. Влекомые стремлением к святости и славе, прибывали, наконец, добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло почтительные по отношению к дворянской спеси, падающие ниц перед всеми установленными властями, политическими и религиозными, одним словом, преклонявшиеся перед всем, что представляло собой какую-либо силу, но до крайности жестокие, преисполненные презрения и ненависти к побежденному местному населению. К этому еще нужно прибавить, что буржуазные выходцы соединяли с этими полезными, хотя и неблагородными качествами силу, ум, редкое упорство в труде и невероятную способность к росту и воинствующей экспансии. Все это, вместе взятое, делало этих трудолюбивых паразитов очень опасными для независимости и целостности национального характера даже в тех странах, где они водворились не по праву завоевания, но из милости, как, например, в Польше. Вот таким-то образом оказались германизованными в один прекрасный день Восточная и Западная Пруссия и часть великого герцогства Познанского. — Другой немецкий факт, имевший место в этом веке, — это возрождение римского права, осуществленное, конечно, не по народной инициативе, но особой волей императоров, которые, покровительствуя и способствуя изучению Пандектов, составленных Юстинианом*, заложили основы современного абсолютизма.

В XIII веке немецкая буржуазия, казалось, начинает, наконец, пробуждаться. Война гвельфов и гибеллинов**, продолжавшаяся около столетия, внесла диссонанс в ее

песни и мечты и, наконец, вывела ее из благочестивой латаргии. Начало было недурно. Следуя, несомненно, примеру итальянских городов, у которых были обширные торговые связи со всей Германией, более шестидесяти немецких городов образуют торговую и по необходимости политическую грозную лигу, знаменитый Ганзейский союз*.

Если бы немецкая буржуазия обладала инстинктом свободы, хотя бы зачаточным, единственно возможным в те отдаленные времена, она могла бы завоевать свою независимость и утвердить свое политическое могущество даже в XIII веке, как это сделала гораздо раньше итальянская буржуазия. Притом политическое положение немецких городов в эту эпоху очень походило на положение итальянских городов, с которыми они были вдвойне связаны, как притязаниями Священной империи, так и более существенными торговыми отношениями.

Подобно республиканским городам Италии, немецкие города могли рассчитывать только на самих себя. Они не могли, как французские коммуны, опираться на возрастающее могущество монархической централизации; власть императоров, зависевшая гораздо больше от их личных способностей и от их личного влияния, чем от политических учреждений, и, следовательно, изменявшаяся вместе со сменой личностей, никогда не могла упрочиться и утвердиться в Германии. Притом, всегда занятые итальянскими делами и своей нескончаемой борьбой против пап, императоры проводили три четверти своего времени вне Германии. Вследствие этой двойной причины могущество императоров, всегда непрочное и оспариваемое, не могло представить из себя, подобно могуществу французских королей, серьезную и достаточную опору для освобождения коммун.

Немецкие города также не смогли, подобно английским общинам, вступить в союз с земельной аристократией против императорской власти, чтобы потребовать свою часть политической свободы; владетельные дома и все феодальное немецкое дворянство в противоположность английской аристократии всегда отличалось полным отсутствием политического чутья. Это был просто сброд грубых разбойников, жестоких, глупых, невежественных, любящих только жестокую и грабительскую войну, преданных разврату и пьянству. Они только и умели, что нападать на городских купцов на больших дорогах или же грабить сами города, когда чувствовали себя до-

статочны сильными для этого, но отнюдь не умели понять пользы союза с этими последними.

Немецкие города в деле защиты себя от притеснений, регулярного и нерегулярного грабежа императоров, владетельных принцев и дворян могли рассчитывать только на свои собственные силы и на союз между собой. Но чтобы этот союз Ганза, бывший почти исключительно союзом торговым, мог оказать им достаточное покровительство, было необходимо, чтобы он по характеру и значению стал явно политическим союзом, чтобы он вошел как признанная и значительная сила в государственную систему и чтобы империя считалась с ним как во внешних, так и во внутренних своих делах.

Обстоятельства вполне благоприятствовали этому. Могущество империи было значительно ослаблено борьбой гибеллинов и гвельфов; а поскольку немецкие города чувствовали себя достаточно сильными, чтобы образовать лигу взаимной защиты от коронованных и некоронованных грабителей, угрожавших им со всех сторон, то ничто не мешало им придать этому союзу гораздо более позитивный политический характер, то есть характер огромной коллективной силы, внушающей уважение. Они имели возможность сделать даже больше: пользуясь более или менее фиктивным союзом, который мистическая Священная империя создала между Италией и Германией, немецкие города могли бы объединиться или образовать федерацию с итальянскими городами, как они заключили союз с фламандскими городами, а позднее даже с некоторыми польскими городами. Само собой разумеется, они должны бы были это сделать не на исключительно немецкой, но на широко интернациональной основе. И кто знает, такой союз, присоединивший к прирожденной немного тяжеловесной и грубой силе немцев ум, политические способности и любовь к свободе, свойственные итальянцам, не придал ли бы он политическому и социальному развитию Запада совершенно иное направление, несравненно более благоприятное для цивилизации всего мира. Один только большой изъян мог появиться из-за подобного союза; это — образование нового политического мира, могучего и свободного, вне земледельческих масс и, следовательно, направленного против них. При подобной политической комбинации итальянские и германские крестьяне еще больше были бы предоставлены произволу феодальных сеньоров, чего, впрочем, не удалось совсем избежать, так как муниципальная организа-

ция городов имела своим следствием глубокое отчуждение крестьян от буржуа и от рабочих и в Италии, и в Германии.

Но перестанем мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они сами мечтают достаточно; беда только в том, что никогда свобода не была предметом их мечтаний. У них никогда не было, ни тогда, ни после, необходимого умственного и нравственного предрасположения постичь, полюбить, пожелать и создать свободу. Дух независимости им всегда был неведом. Сама мысль о протесте и возмущении внушает им страх и отвращение. Бунт несовместим с их покорным и терпеливым характером, и их мирно и покорно трудолюбивыми привычками, и их благоразумным и вместе с тем мистическим культом власти. Можно сказать, что все немецкие буржуа обязательно являются на свет с шишкой почтения, общественного порядка и послушания. С такими предрасположениями никогда не добьешься освобождения и даже в самых благоприятных условиях останешься рабом.

Так обстояло дело с лигой ганзейских городов. Она никогда не выходила за пределы умеренности и благоразумия, добиваясь только трех вещей: чтобы ей предоставили мирно богатеть с помощью ее промышленности и торговли; чтобы признали ее внутреннюю организацию и судопроизводство; чтобы не требовали от нее слишком огромных денежных пожертвований взамен оказываемых ей покровительства и снисходительности. Что касается общих дел империи, как внутренних, так и внешних, то немецкая буржуазия охотно предоставляла исключительную заботу об этом «важным господам» (*den grossen Herren*), будучи сама слишком скромною, чтобы в них вмешиваться.

Подобная политическая умеренность должна была с необходимостью сопровождать крайнюю медлительность интеллектуального и социального развития нации, точнее, являться определенным ее симптомом. И действительно, мы видим, что в продолжение всего XIII века немецкий ум, несмотря на значительное торговое и промышленное развитие, несмотря на все материальное процветание немецких городов, абсолютно ничего не произвел. В том же самом веке в Парижском университете, несмотря на короля и папу, уже преподавалась доктрина, смелость которой могла бы привести в ужас наших метафизиков и теологов, утверждавшая, например, что мир, будучи вечным, не мог быть сотворен, и отрицающая бес-

смертие души и свободу воли*. В Англии мы встречаем великого монаха Роджера Бэкона, предшественника современной науки и истинного изобретателя компаса и пороха, хотя немцам и очень хотелось бы приписать себе это последнее изобретение. В Италии писал Данте. В Германии же — беспросветный интеллектуальный мрак.

В четырнадцатом веке** Италия уже обладает превосходной национальной литературой: Данте, Петрарка, Боккаччо; на политической арене фигурируют такие люди, как Риенци и Микеле Ландо, рабочий-чесальщик из Флоренции. Во Франции коммуны, представленные в Генеральных Штатах***, окончательно определяют свой твердый политический характер, поддерживая королевскую власть против аристократии и папы. Это также век Жаке-рии, первого восстания французской деревни, воспоминание о котором должно пробуждать энтузиазм в сердцах искренних социалистов, подобно тому, как оно будит презрение и ненависть в сердцах буржуа. В Англии начинает проповедовать Джон Уиклиф, истинный инициатор религиозной реформации. В Богемии, славянской стране, имевшей несчастье сделаться частью Германской империи, мы находим в народных массах, среди крестьян, такую любопытную секту, как фратичелли****, которые в борьбе между небесным деспотом и сатаной дерзают брать сторону сатаны, этого духовного главы всех революционеров, прошедших, настоящих и будущих, истинного творца человеческого освобождения, по свидетельству Библии, отрицателя небесной империи, подобно тому, как мы являемся отрицателями всех земных империй, создателя свободы, того, кого Прудон в своей книге о Справедливости приветствует с таким неподражаемым красноречием. Fraticelli приготовили почву для революции Гуса и Жижки. Наконец, в этом веке зарождается швейцарская свобода.

Восстание немецких кантонов Швейцарии против деспотизма дома Габсбургов — факт, настолько противоречащий национальному духу Германии, что он своим необходимым, непосредственным следствием имел основание новой швейцарской нации, крещенной именем восстания и свободы и, как таковой, с тех пор отделенной от Германской империи непроходимой преградой.

Немецкие патриоты любят повторять вместе со знаменитой пангерманской песенкой Арндта, что «их отечество простирается настолько же далеко, насколько звучит их язык, возносящий хвалы Господу».

Sie weit die deutsche Zunge klingt,
Und Gott im Himmel Lieder singt!

Если бы они больше прислушивались к подлинному смыслу их истории, чем к внушениям их безудержной фантазии, то должны были бы сказать, что их отечество простирается настолько же далеко, насколько господствует рабство народов, и что оно кончается там, где начинается свобода.

Не только Швейцария, но и города Фландрии, хотя и связанные с германскими городами материальными интересами, интересами возрастающей и развивающейся торговли, и несмотря на то, что они составляли часть Ганзейского союза, начиная именно с этого века стремятся отдалиться все более и более от городов германских под влиянием того же самого духа свободы.

В Германии на протяжении всего этого века, при все возрастающем материальном благополучии не замечается ни малейшего умственного или социального движения. В политике заслуживают быть отмеченными только два факта: первый — это заявление имперских принцев, которые, подражая примеру французских королей, объявляют, что империя должна быть независима от папы и что выше императора один только Бог; второй — обнародование знаменитой Золотой Буллы*. Этими фактами окончательно организуется империя и учреждается институт семи принцев-выборщиков в честь семи подсвечников Апокалипсиса**.

Наконец, мы в XV веке. Это век Возрождения. Италия в полном расцвете. Во всеоружии вновь открытой философии античной Греции она разбивает мрачную тьму, в которой в продолжение десяти веков католицизм держал человеческий дух. Падает вера, зарождается свободная мысль. Это — блестящая и радостная заря человеческой эмансипации. Под небом свободной Италии рождаются без счета независимые и смелые мыслители. Сама церковь становится там языческой. Папы и кардиналы, презирая св. Павла, поклоняются Аристотелю и Платону, проникаются материалистической философией Эпикура и, забыв христианского Юпитера, клянутся только Бахусом и Венерой, что не мешает им, однако, время от времени заниматься преследованием свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых угрожает уничтожить веру народных масс, источник их могущества и доходов. Горячий и знаменитый проповедник новой веры, религии человечества Пико делла Мирандола, умерший таким молодым, особенно навлекает на себя громы Ватикана.

Во Франции и в Англии — застой. Первая половина этого века занята гнусной и бессмысленной войной*, начавшейся из-за самолюбия королей и неразумно поддержанной английской нацией, войной, отодвинувшей на целый век назад Англию и Францию. Как пруссаки в настоящее время, англичане XV века хотели разорить Францию, подчинить ее себе. Они даже овладели Парижем — что при всем их желании немцам еще не удалось сделать до сих пор — и сожгли Жанну д'Арк в Руане, как немцы теперь вешают вольных стрелков. В конце концов они были изгнаны из Парижа и из Франции, чем — будем надеяться — окончится и немецкое нашествие.

Во второй половине XV века во Франции мы видим зарождение подлинного королевского деспотизма, усиленного этой войной. Это — эпоха Людовика XI, неотесанного грубияна под стать Вильгельму I с его Бисмарками и Мольтке, зачинателя бюрократической и военной централизации Франции, создателя Государства. Он благоволит еще иногда опираться на своекорыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с удовольствием смотрит, как король рубит родовитые и гордые головы своих феодальных сеньоров, но буржуазия уже чувствует по манере, с какой он обращается с ней, что если бы она не захотела поддерживать его, он сумел бы ее принудить к тому. Всякая независимость, дворянская или буржуазная, духовная или светская, ему одинаково ненавистна. Он уничтожает остатки феодального строя и рыцарство; учреждает военные ордена: это для дворянства. Он облагает налогами свои верные города по своему усмотрению и диктует свою волю Генеральным Штатам. Это для буржуазной свободы. Он, наконец, запрещает читать *номиналистов* и предписывает чтение *реалистов*¹. Это для свободы мысли. Но все же, несмотря на такое суровое притеснение, Франция в конце XV века дает миру Рабле, истинно народного галльского гения, глубоко одаренного бунтарским духом, который характеризует собою век Возрождения.

В Англии, несмотря на ослабление народного духа, естественное следствие гнусной войны против Франции, мы видим в продолжение всего XV века учеников Уиклифа, проповедующих, несмотря на жестокие гонения, до-

¹ *Номиналисты*, материалисты, насколько могли ими быть схоластические философы, не признавали реальности отвлеченных идей; *реалисты*, наоборот, правоверные мыслители, поддерживали *реальное* бытие этих идей.

ктрину своего учителя и приготовляющих таким образом почву для религиозной революции, разразившейся веком позже. В то же время путем индивидуальной пропаганды, не видной на поверхности, но тем не менее живучей, в Англии так же, как и во Франции, свободный дух Возрождения стремится создать новую философию. Фламандские города, гордые своей свободой и сильные своим богатством, с полным правом вливаются в культурное и научное развитие, все более и более отделяясь от Германии.

Что касается Германии, то мы видим, что она спит крепким сном в продолжение всей первой половины этого века. Однако в недрах империи и в самом ближайшем соседстве с Германией произошло событие огромной важности, достаточное, чтобы вывести из оцепенения всякую другую нацию. Я имею в виду религиозное восстание Яна Гуса, великого славянского реформатора.

С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше, чем религиозное движение, это был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократически-буржуазной цивилизации немцев; это было восстание древней славянской общины против немецкого государства. Два великих славянских восстания имели место уже в XI веке. Первое было направлено против благочестивых притеснений бравых тевтонских рыцарей, предков современных прусских поместных дворянчиков. Славянские повстанцы сожгли тогда все церкви и истребили всех священников. Они вполне справедливо ненавидели христианство, представшее перед ними в самой своей отвратительной, германистской форме: под личиной любезного рыцаря, добродетельного священника и честного буржуа, всех троих — чистокровных немцев и как таковых представителей власти прежде всего, представителей грубого, наглого и жестокого гнета. Второе восстание было спустя тридцать лет в Польше. Это было первое и единственное чисто польское крестьянское восстание. Оно было подавлено королем Казимиром. Вот каково суждение об этом событии великого польского историка Лелевеля, в патриотизме которого и даже в известной любви к классу, называемому им *«благородная демократия»*, никто не может усомниться:

«Партия Мазлава (предводителя мазовецких крестьян-повстанцев) была народной и была связана с язычеством. Партия Казимира была аристократической и сторонницей христианства» (т. е. германизированной). Далее он добавляет: «Несомненно, на это бедственное событие нужно смотреть как на победу, одержанную над низшими классами, судьба которых могла вследствие этого только ухудшиться. Порядок был восстановлен, но социальный курс с тех пор круто повернулся против низших классов» (*Histoire de la Pologne, par Joachim Lelewel, t. II, p. 19*) *.

Богемия позволила германизировать себя еще более, чем Польша. Как и последняя, она никогда не была завоевана немцами, но она позволила им глубоко развратить себя. Став членом Священной империи со времени ее основания как государства, она, к сожалению, никогда не могла освободиться от нее и приняла все ее клерикальные, феодальные и буржуазные институты. Города и дворянство Богемии частью германизировались; дворянство, буржуазия и духовенство, не будучи немцами по рождению, превратились в них благодаря крещению, воспитанию и своему политическому и социальному положению. Прimitивно организованные славянские общины не признавали ни священников, ни классов. Одни богемские крестьяне не заразились этой немецкой проказой и стали, разумеется, жертвой этого, что объясняет их инстинктивную симпатию ко всем народным ересям. Так, мы видели, что уже в XII веке по Богемии распространилась ересь вальденсов; в XIV в. — ересь фратичелли; а к концу этого века на очереди стояла ересь Уиклифа, сочинения которого были переведены на богемский язык. Все эти ереси стучались также и в двери Германии; прежде чем добраться до Богемии, они должны были даже пройти через Германию. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. Неся в себе зародыш бунта, они проскользнули бесследно по ее поверхности, не проникнув в глубину, не затронув ее, не нарушив ее глубокого сна. Но зато все они находили благоприятную почву в Богемии, народ которой, поработенный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство, и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим объясняется, почему на пути религиозного протестантизма чешский народ опередил на целый век народ немецкий.

Одним из первых проявлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немец-

ких профессоров из Пражского университета, ужасное преступление, которое немцы никогда не могли простить чешскому народу. И все же, если присмотреться ближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгнав этих дипломированных раболепных развратителей славянской молодежи. Вспомните только: за исключением очень короткого периода, приблизительно около тридцати пяти лет, между 1813 и 1848 гг., когда дерзкий либерализм и даже французский демократизм контрабандой проскользнул и утвердился в немецких университетах в лице двух-трех десятков знаменитых ученых, проникнутых искренним либерализмом, чем были немецкие профессора до этой эпохи и чем они сделались вновь под влиянием реакции 1849 года? Они были и остались льстецами всех властей, профессорами раболепства. Происходя из немецкой буржуазии, они добросовестно выражают ее стремления и дух. Их наука — верное выражение рабского сознания. Это — идеальное освящение исторического рабства.

Немецкие профессора XV века в Праге были по крайней мере такими же раболепными лакеями, как и современные профессора Германии. Эти душой и телом преданы Вильгельму I, свирепому будущему государю кнуто-германской империи. Те были заранее раболепно преданы всем императорам, которых соблаговолили бы выбрать семь германских апокалипсических принцев-выборщиков для Священной Германской империи. Их мало интересовало, кто хозяин, лишь бы он был; общество без господина казалось им чудовищной аномалией, возмущавшей их буржуазно-германское воображение. Это было, по их мнению, ниспровержением германской цивилизации.

Притом, какие науки преподавались ими, этими немецкими профессорами XV века? Католическо-римская теология и кодекс Юстиниана, два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схоластическую философию, и это в ту пору, когда, оказав в прошедшие века несомненные услуги освобождению духа, она остановилась и застыла в своем окаменелом педантизме, осаждаемая современным мышлением, которое оживляло предчувствие — если не присутствие — живой науки. Прибавьте сюда еще немного варварской медицины, преподаваемой, как и все остальное, на варварском латинском языке, и перед вами весь научный багаж этих профессоров. Стоило ли держать их ради этого? Тем более, что кроме развращения

молодежи своим преподаванием и своим раболепным примером они еще были очень деятельными, очень усердными агентами этого рокового дома Габсбургов, который смотрел уже на Богемию как на свою добычу.

Ян Гус и Иероним Пражский, его друг и ученик, много способствовали их изгнанию. Характерно, что когда император Сигизмунд, нарушив данный им охранный лист, велел их сперва осудить Констанцским собором* потом обоих сжечь, одного в 1415 году, другого в 1416 году, перед лицом всей Германии при огромном стечении немцев, съехавшихся издалека для присутствия на этом зрелище, ни один немецкий голос не поднялся, чтобы протестовать против этого беззакония и отвратительной жестокости. Нужно было ждать еще сто лет, чтобы Лютер реабилитировал в Германии память этих двух великих славянских реформаторов и мучеников.

Но если немецкий народ, вероятно, еще дремавший и грезивший, оставил без протеста это ужасное преступление, то чешский народ ответил на него грозной революцией. Поднялся великий, ужасный Жижка, этот герой, этот мститель народный, память о котором, как обет грядущего, еще живет в недрах богемской деревни,— и во главе своих таборитов**, обойдя всю Богемию, сжег церкви, уничтожил священников и смел всю императорскую, или немецкую, сволочь, что тогда означало одно и то же, потому что все богемские немцы были сторонниками императора. Вслед за Жижкой Прокоп Великий наполнил ужасом сердце немцев. Сами пражские буржуа, разумеется, бесконечно более умеренные, чем крестьяне-гуситы, заставили выпрыгнуть из окна, по древнему обычаю этой страны, сторонников императора Сигизмунда в 1419 г., когда этот подлый клятвопреступник, этот убийца Яна Гуса и Иеронима Пражского имел бесстыдство и циничную наглость выставить себя в качестве претендента на освободившуюся Богемскую корону. Пример, достойный подражания! Пример того, как следует обращаться друзьям всеобщего освобождения со всеми, кому вздумается предстать перед народными массами в качестве *официальной власти*, под какой бы то ни было маской, под каким бы то ни было предлогом и под каким бы то ни было наименованием!

В продолжение семнадцати лет подряд эти грозные табориты, живущие между собою в братском согласии, разбивали все саксонские, франконские, баварские, рейнские и австрийские войска, которые император и папа по-

сылали против них крестовым походом; они очистили Моравию и Силезию и перенесли ужас своего нашествия в сердце самой Австрии. В конце концов они были разбиты императором Сигизмундом. Почему? Причина та, что они были ослаблены интригами и предательством чешской партии, которая, однако, состояла из коалиции местного дворянства и пражской буржуазии, немцев по воспитанию, по положению, по идеям и нравам, если не по происхождению, присвоивших себе, в противоположность таборитам — коммунистам и революционерам, — наименование *каликстинцев**, т. е. людей, требующих *мудрых, возможных* реформ, бывших, одним словом, в Богемии того времени представителями той самой политики лицемерной умеренности и плутоватого бессилия, которую теперь там не без успеха поддерживают гг. Палацки, Ригер, Браунер и К°.

С этого момента народная революция быстро пошла к упадку, уступив место сначала дипломатическому влиянию, а веком позднее — абсолютному господству австрийской династии. Умеренные и ловкие политики, воспользовавшись торжеством проклятого Сигизмунда, овладели правительством, как им это удастся, вероятно, сделать, к ее вящему несчастью, и во Франции по окончании этой войны. Они послужили, одни сознательно и с большой пользой для своих карманов, другие глупо, сами того не подозревая, орудиями австрийской политики, как Тьеры, Фавры, Симоны, Пикары и многие другие будут служить орудиями Бисмарка. Австрия магнетизировала и вдохновляла их. Спустя двадцать пять лет после уничтожения Сигизмундом гуситов эти ловкие и осторожные патриоты нанесли последний удар независимости Богемии, разрушив руками своего короля Подебрада город Табор, укрепленный лагерь таборитов. Так же жестоко поступают буржуазные республиканцы Франции, заставляющие своего президента или короля принимать жестокие меры против социалистического пролетариата, этого последнего оплота будущего и единственного защитника национального достоинства Франции.

В 1526 году корона Богемии, наконец, досталась Австрийской династии, которая уже никогда не выпустит ее из своих рук. В 1620 г. после агонии, длившейся немного менее ста лет, Богемия, преданная огню и мечу, опустошенная, разграбленная, разбитая, с населением, уменьшившимся наполовину, утратившая все, что еще оставалось от ее независимости и ее национальных поли-

тических прав, оказалась закованной в цепи под тройным игом: императорской администрации, немецкой цивилизации и австрийских иезуитов. Будем надеяться, во имя счастья и спасения человечества, что этого не произойдет с Францией.

В начале второй половины XV века немецкая нация представила, наконец, доказательство жизнеспособности своего гения, казалось, уснувшего навеки, и это доказательство, нужно сознаться, было блестящим: она изобрела книгопечатание, и при его посредстве она включилась в культурную жизнь всей Европы. Ветер Италии, сирокко* свободной мысли, подул на нее, и под этим жгучим веянием растопилось ее варварское равнодушие, ее ледяная неподвижность. Германия становится гуманистичной и человеческой.

Помимо распространения книг связь с Италией поддерживалась еще и путем личных сношений. Немецкие путешественники, возвращавшиеся из Италии в конце этого века, приносили оттуда новые идеи, евангелие человеческого освобождения, и пропагандировали их с религиозной страстностью. На этот раз драгоценные семена не пропали даром. Они нашли в Германии почву, готовую для их восприятия. Эта великая нация, пробужденная к мысли и деятельности, внесла свой вклад в идейное течение века. Но увы! ее духовный подъем длился не более двадцати пяти лет.

Надо различать движение Возрождения и движение религиозной Реформации. В Германии первое движение опередило второе лишь на несколько лет. Был короткий период, между 1517 и 1525 гг., когда эти два движения, казалось, слились, хотя по духу они были совершенно противоположны друг другу: первое, представленное такими людьми, как Эразм, Рейхлин, великодушный и героический Ульрих фон Гуттен, поэт и гениальный мыслитель, ученик Пико делла Мирандолы и друг Франца фон Зикингена, Эколампадия и Цвингли, являющийся в некотором роде связующим звеном между чисто философским переворотом Возрождения, чисто религиозным преобразованием веры протестантской Реформацией и революционным восстанием масс, вызванным началом этой последней; второе, представленное главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового, исключительно религиозного и богословского течения в Герма-

нии. Первое из этих течений, глубоко гуманистическое, стремилось через посредство философских и литературных трудов Эразма, Рейхлина и других к полному освобождению духа и к разрушению глупых верований христианства; и в то же время, в лице более практических и более революционных деятелей, таких, как Ульрих фон Гуттен, Эколампаций и Цвингли, оно ставило своею целью освобождение народных масс из-под ига дворян и князей. Движение же Реформации, фанатически религиозное, богословское и, как таковое, преисполненное почтения ко всему божескому и презрения ко всему человеческому, суеверное до такой степени, что верило в возможность видеть дьявола и бросать ему в голову чернильницу, — как это произошло, говорят с Лютером в замке Вартбург, где еще и теперь показывают на стене чернильное пятно, — должно было неизбежно стать непримиримым врагом свободы духа и свободы народов.

Был, однако же, один момент, как я уже сказал, когда эти оба течения, такие противоречивые по существу: первое революционное по принципу, второе — в силу условий, должны были реально слиться в один поток. Этому отчасти способствовала двойственность, присущая самому Лютеру. Как богослов он был и должен был быть реакционером; но по натуре своей, по темпераменту, по инстинкту он был страстным революционером. У него была натура человека из народа, могучая натура, вовсе не созданная для того, чтобы терпеливо сносить какой бы то ни было гнет. Перед одним Богом, в которого он слепо верил и благодать которого ощущал в сердце своем, готов он был преклониться; и во имя Бога удалось *кроткому* Меланхтону, ученому богослову, и только богослову, его другу и его ученику, а на самом деле руководителю и укротителю этой лвиной натуры, направить его решительно в сторону реакции.

Первое рычание этого сурового и великого немца было совершенно революционно. Действительно, трудно себе представить что-либо революционнее его воззваний против Рима; его обвинений и угроз, брошенных им в лицо германским принцам; его страстной полемики против лицемерного, утопающего в роскоши деспота и реформатора Англии Генриха VIII. Начиная с 1517 года до 1525 года только и слышно было в Германии, что громовые раскаты этого голоса, призывавшего, как казалось, немецкий народ ко всеобщему обновлению, к революции.

Его призыв был услышан. Немецкие крестьяне поднялись с тем грозным кличем, кличем социалистов: *«Война дворцам, мир хижинам!»*, который в наши дни превратился в еще более грозный призыв: *«Долой всех эксплуататоров и всех опекунов человечества, свобода и равенство в труде и пользовании земными благами, братство всех людей да расцветет на развалинах всех государств!»*

Это был критический момент для религиозной Реформации и для всей политической судьбы Германии. Если бы Лютер захотел стать во главе этого великого народно-социалистического движения, сельское население восстало бы против своих феодальных владельцев, городская буржуазия поддержала бы его и с империей, с деспотизмом владетельных принцев и с наглостью дворянства в Германии было бы покончено. Но для того, чтобы дать этому движению развиваться, нужно было, чтобы Лютер не был богословом, более заботившимся о прославлении Творца небесного, чем о достоинстве человеческом, если бы его не возмущало, а, напротив, радовало, что угнетенные люди, бесправные крепостные вместо того, чтобы думать о спасении своих душ, дерзали требовать свою долю человеческого счастья *на этой земле*; нужно было также, чтобы городские буржуа Германии не были немецкими буржуа.

Подавленное и дезорганизованное равнодушием, а зачастую также и явной недоброжелательностью городов и теологическими проклятиями Меланхтона и Лютера гораздо более, чем вооруженной силой дворян и князей, это грозное крестьянское восстание в Германии было побеждено. Спустя десять лет также было подавлено другое восстание, последнее, вызванное в Германии религиозной Реформацией. Я имею в виду попытку мистико-коммунистической организации анабаптистов Мюнстера *, столицы Вестфалии. Мюнстер был взят, и Иоанн Лейденский, пророк анабаптистов, казнен при рукоплесканиях Меланхтона и Лютера.

Но еще за пять лет до этого печального финала народной революции, в 1530 году, оба германских богослова наложили роковую печать на все будущее страны, как религиозное, так и социальное. Я говорю об Аугсбургском исповедании**, представленном Лютером и Меланхтоном германскому императору и князьям, которое одним ударом парализовало свободный душевный подъем, отвергло даже ту свободу совести, во имя которой была со-

вершена Реформация. Но еще пагубнее был тот пункт нового исповедания, который признавал протестантских князей естественными покровителями и главами религиозного культа и устанавливал новую официальную церковь, которая не замедлила сделаться даже более абсолютной, чем римско-католическая, и такой же раболепной относительно светской власти, как церковь византийская. Таким образом, Реформация, в своем конечном результате, дала в руки протестантских императоров и владетельных князей орудие страшного деспотизма и повергла всю Германию, протестантскую, а также и католическую, по меньшей мере в трехвековое грубейшее рабство, которое — увы! — и доныне не расположено, как мне кажется, уступить свое место свободе¹.

Для Швейцарии было большим счастьем, что заседавший в том же году Страсбургский собор, руководимый Цвингли и Бюсе, отверг эту конституцию рабства, называемую религиозной и действительно являвшуюся таковой, поскольку именем самого Бога она освящала абсолютную власть князей. Будучи почти исключительно порождением богословской и ученой головы профессора Меланхтона, созревавшая на почве глубокого, безграничного, непоколебимого и раболепного преклонения, которое каждый буржуа и немецкий профессор испытывает к личности своего господина, эта доктрина была слепо принята немецким народом, *потому что его князья приняли ее*. Новый симптом исторического рабства, не только внешнего, но и внутреннего, давящего на народ.

¹ Чтобы убедить в духе раболепства, характерном для германской лютеранской церкви и в наши дни, как и прежде, достаточно прочесть формулу декларации или клятвенного обещания, которое должен подписать и поклясться исполнять каждый пастор, прежде чем приступить к отправлению своих обязанностей. Оно не превосходит обязанности, но совершенно равно по своему раболепству присяге русского духовенства. Каждый пастор в Пруссии клянется быть всю свою жизнь покорным и преданным слугою своего господина и своего государя — не Господа Бога, а короля прусского; клянется точно и неуклонно исполнять все святыя повеления и никогда ни ради чего не поступаться священными интересами его величества и, кроме того, клянется внушать такое же абсолютное почтение и послушание своей пастве и *доносить правительству о всех мыслях, о всех делах и о всех начинаниях своей паствы, идущих вразрез с волей и интересами королевского правительства*. И вот таким-то рабам доверяется исключительное руководство народными школами в Пруссии! Это столь хваленое обучение есть не что иное, как отравление масс, систематическое культивирование доктрины рабства.

Это вполне понятное со стороны германских протестантских князей стремление разделить между собою обломки духовной власти папы и каждому сделаться маленьким папой в пределах своего государства мы встречаем также и в других монархических протестантских странах Европы, например, в Англии или в Швеции, но ни в той, ни в другой этой тенденции не удалось восторжествовать над гордым чувством независимости, пробудившимся в народах. В Швеции, Дании и Норвегии народ и особенно класс крестьян сумел отстоять свою свободу и свои права как от притязаний дворянства, так и от посягательств монархии. В Британии борьба официальной англиканской церкви* со свободными церквями, пресвитерианцами** Шотландии и индепендентами Англии***, заканчивается великой и памятной революцией, от которой ведет свое начало национальное величие Великобритании. Но в Германии этот вполне естественный деспотизм князей не встретил подобного противодействия. Все прошлое германского народа, полное грез, но бедное свободой мысли и действия, чуждое свободных проявлений народной инициативы, наложило на весь его характер печать приниженной и почтительной покорности, и в этот критический момент своей истории германский народ не нашел в себе ни необходимой энергии, ни достаточной независимости, ни темперамента, чтобы отстоять свою свободу против традиционной и жестокой власти своих бесчисленных владык, князей и господ. В первый момент энтузиазма он выказал необычайно высокий подъем духа, и казалось даже, что пределы Германии слишком узки, чтобы сдерживать взрыв ее революционной энергии. Но это был только момент, только порыв и как бы преходящее и искусственное проявление болезненно воспаленного мозга. Скоро он выдохся; тяжеловесный, малодушный и бессильный, раздавленный своей собственной тяжестью, он покорно позволил Лютеру и Меланхтону ответить себя на поводу в лоно церкви и надеть на шею спасительное и привычное ярмо своих князей.

Он во сне видел свободу и пробудился еще большим рабом, чем когда-либо. С тех пор Германия стала подлинным центром реакции в Европе. Не довольствуясь проповедью рабства посредством своего примера и посылки своих принцев, принцесс и своих дипломатов для наса-

ждения и распространения его во всех европейских странах, она избрала рабство предметом своих наиболее глубоких научных умозрений. Во всех других странах администрация, взятая в самом широком смысле как организация бюрократической и фискальной эксплуатации, осуществляемой государством над народными массами, рассматривается как искусство: искусство водить на поводу народ, держать его в суровой дисциплине и стричь его, не позволяя слишком много кричать при этом. В Германии это искусство преподается как наука во всех университетах. Эту науку можно было бы назвать современной теологией, теологией культа Государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюрократы являются священниками, а народ, разумеется, жертвой, постоянно приносимой на алтарь Государства.

Если верно, что только инстинкт свободы, ненависть к притеснителям и способность восставать против всевозможной эксплуатации и деспотизма служит мерилom человеческого достоинства наций и народов, — а в правильности этого суждения я глубоко убежден, — то нужно сознаться, что с тех пор, как существует германская нация, и до 1848 г. только одни немецкие крестьяне доказали своим восстанием в XVI веке, что этой нации не вполне чуждо это достоинство. Что же касается немецкой буржуазии, то, судя по ее чувствам, по ее поступкам, нам ничего не остается, как признать ее предназначенной к осуществлению идеала добровольного рабства.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ

*Борьба двух партий
в Интернациональном обществе рабочих*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интернациональное общество рабочих*, едва зародившееся тому назад девять лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуататоров чернорабочего труда смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и мало определенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственно-экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам.

Известно, что по окончании последней войны**, сломившей историческое преобладание государственной Франции в Европе и заместившей его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственного пангерманизма, мероприятия против Интернационала сделались любимой темой междуправительственных переговоров. Явление чрезвычайно естественное. Государства, по существу своему друг другу противные и до конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном порабощении народных масс, составляющих общую основу и цель их существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и останется главным возбудителем и двигателем этого нового Священного союза. Но не он первый выступил с своими

предложениями на сцену. Он предоставил сомнительную честь подобной инициативы униженному правительству только что разгромленного им французского государства.

Министр иностранных дел псевдонародного правления, неизменный изменник республики, но зато верный друг и защитник ордена иезуитов, верующий в Бога, но презиравший человечество и презираемый, в свою очередь, всеми честными поборниками народного дела, пресловутый ритор Жюль Фавр, уступающий разве только одному г. Гамбетта честь быть прототипом всех адвокатов, с радостью принял на себя роль злостного клеветника и доносчика. Между членами так называемого правительства *«Национальной Защиты»** он, без сомнения, был один из тех, которые наиболее способствовали обезоружению народной обороны и явно изменнической сдаче Парижа в руки надменного, дерзкого и беспощадного победителя. Князь Бисмарк одурачил его и надругался над ним в виду целого света. И вот, как бы возгордившись двойным позором, и своим собственным, и позором преданной, а может быть, и проданной им Франции, побуждаемый в одно и то же время желанием угодить осрамившему его великому канцлеру победоносной Германской империи, а также и глубокою ненавистью своею к пролетариату вообще, а в особенности к парижскому рабочему миру, г. Жюль Фавр выступил с формальным доносом против Интернационала, члены которого, стоя во Франции во главе рабочих масс, пытались возбудить восстание всенародное и против немецких завоевателей, и против домашних эксплуататоров, правителей и предателей. Преступление ужасное, за которое Франция официальная или буржуазная должна была наказать с примерно строгостью Францию народную!

Таким образом случилось, что первым словом, произнесенным французским государством на другой день страшного и постыдного поражения, было слово гнуснейшей реакции.

Кто не читал достопамятного циркуляра Жюля Фавра**, в котором грубая ложь и еще грубейшее невежество уступают лишь бессильной и яростной злости республиканца-ренегата? Это отчаянный вопль не одного человека, а целой буржуазной цивилизации, истощившей все на свете и осужденной на смерть своим окончательным изнеможением. Чувствуя приближение неминуемого конца, она с злобным отчаянием хватается за все, лишь бы

продлить свое зловерное существование, призывая на помощь всех идолов прошедшего, низвергнутых некогда ею же самою, — и Бога, и церковь, и папу, и патриархальное право, а пуще всего как вернейшее средство спасения полицейское покровительство и военную диктатуру, хотя бы даже прусскую, лишь бы она охраняла «честных людей» от ужасной грозы социальной революции.

Циркуляр г. Жюля Фавра нашел отголосок, и где бы вы думали — в Испании! Г. Сагаста, минутный министр минутного испанского короля Амедея, захотел, в свою очередь, угодить князю Бисмарку и обессмертить свое имя. Он также поднял крестовый поход против Интернационала и, не довольствуясь бессильными и бесплодными мероприятиями, вызвавшими только весьма обидный смех испанского пролетариата, также написал фразистый дипломатический циркуляр*, за который, однако, с несомненным одобрением князя Бисмарка и его адъютанта Жюля Фавра получил заслуженную нахлобучку от более осмотрительного и менее свободного правительства Великобритании, а спустя несколько месяцев и свалился.

Кажется, впрочем, что циркуляр г. Сагасты, хотя и говоривший во имя Испании, был задуман, если не сочинен, в Италии под непосредственным руководством многоопытного короля Виктора Эммануила, счастливого отца несчастного Амедея.

В Италии гонение против Интернационала было поднято с трех разных сторон; во-первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов Интернационала с франкмасонами, с якобинцами, с рационалистами, деистами и либеральными католиками**. По определению св. отца, принадлежит к этому отверженному обществу всякий, кто не покоряется слепо его боговдохновенным словоизвержениям. Так точно 26 лет тому назад один прусский генерал определял коммунизм: «Знаете ли вы, — говорил он своим солдатам, — что значит быть коммунистом? Это значит мыслить и действовать наперекор высочайшей мысли и воле его величества короля».

Но не один римско-католический папа проклял Интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер *Джюзеппе Маццини*, известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как метафизик-деист и основатель новой церкви в Ита-

лии, да, сам Маццини в 1871 г., на другой день после поражения Парижской Коммуны, в то самое время как зверские исполнители зверских версальских декретов расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению также и свое, якобы патриотическое и революционное, в сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем богословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к Парижской Коммуне и задушить в зародыше только что возникавшие интернациональные секции. Вышло совсем напротив: ничто не способствовало так усилению этих симпатий и умножению интернациональных секций, как его громкое и торжественное проклятие.

Итальянское правительство, враждебное папе, но еще более враждебное Маццини, в свою очередь, не дремало. Сначала оно не поняло опасности, грозящей ему со стороны Интернационала, быстро распространяющегося не только в городах, но даже в селах Италии. Оно думало, что новое общество будет лишь служить противодействием успехам буржуазно-республиканской пропаганды Маццини, и в этом отношении оно не ошиблось; но оно скоро убедилось, что пропаганда принципов социальной революции в среде страстного населения, доведенного им же самим до крайней степени нищеты и угнетения, для него опаснее всех политических агитаций и предприятий Маццини. Смерть великого итальянского патриота, воследовавшая скоро после его гневного выступления против Парижской Коммуны и против Интернационала*, вполне успокоила с этой стороны итальянское правительство. Обезглавленная партия маццинистов не грозит ему отныне ни малейшею опасностью. В ней начался уже видимый процесс разложения, и так как ее начала и цель, а также и весь состав чисто буржуазные, то она являет несомненные признаки той немощи, которою поражены в наше время все буржуазные начинания.

Другое дело пропаганда и организация Интернационала в Италии. Они обращаются прямо и исключительно к чернорабочей среде, которая в Италии, равно как и во всех других странах Европы, сосредоточивает в себе всю жизнь, силу и будущность современного общества. Из буржуазного мира примыкают к ней только те немногие люди, которые от души возненавидели настоящий поря-

док, порядок политический, экономический и социальный, повернулись спиной к классу, их породившему, и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется, только тогда, когда, возненавидев общечужужазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия; в таком случае, повторю я, они действительно драгоценны. Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву; но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и разобщения и умение организоваться и создавать союзы, которые, в свою очередь, создают ту сознательную боевую силу, без которой немислима победа.

В Италии, как в России, нашлось довольно значительное количество таких молодых людей, несравненно более, чем в какой-либо другой стране. Но, что несравненно важнее, в Италии существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большею частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат, состоящий из двух-трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян-несобственников. Как уже сказано выше, вся эта бесчисленная масса людей доведена притеснительным и воровским управлением высших классов под либеральным скипетром короля-освободителя и собирателя итальянских земель до такого отчаянного положения, что самые поборники и заинтересованные участники настоящего управления начинают признаваться и говорить громко как в парламенте, так и в официальных журналах, что далее идти по этому пути невозможно и что необходимо сделать что-нибудь для народа во избежание всеразрушающего народного погрома.

Да, может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии, нигде, не исключая даже самой Испании, несмотря на то, что в Испании уже существует официальная революция*, а в Италии, по-видимому, все тихо. В Италии весь народ ожидает социального переворота и всякий день сознательно стремится к нему. Можно себе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается поныне итальянским пролетариатом программа Интернационала. В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особенно рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в не-

которой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и в Швейцарии таких работников много; в Италии же, напротив, очень мало, так мало, что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции.

Об этом мы поговорим ниже пространнее, теперь же ограничимся выводом следующего заключения: именно вследствие этого решительного преобладания нищенского пролетариата в Италии пропаганда и организация Интернационального общества рабочих в этой стране приняли характер самый страстный и истинно народный; и именно вследствие этого, не ограничиваясь городами, они немедленно охватили сельское население.

Итальянское правительство вполне понимает ныне опасность этого движения и всеми силами, но тщетно старается задуть его. Оно не издает громких, фразистых циркуляров, но действует, как подобает полицейской власти, втихомолку, душит без объяснений, без крика. Закрывает наперекор всем законам одно за другим все рабочие общества, исключая только те, почетными членами которых считаются принцы крови, министры, префекты и вообще люди знатные и почтенные. Все же другие рабочие общества оно гонит немилосердно, захватывает их бумаги, их деньги, а членов их держит по целым месяцам без суда и даже без следствия в своих грязных тюрьмах.

Нет сомнения, что, действуя таким образом, итальянское правительство руководствуется не только своею собственною мудростью, но также советами и указаниями великого канцлера Германии, точно так же, как прежде следовало послушно приказаниям Наполеона III. Итальянское государство находится в том странном положении, что по количеству жителей и по объему своих земель оно должно бы быть причислено к великим держа-

вам, по своей же действительной силе, разоренное, гнило организованное и, несмотря на все усилия, весьма плохо дисциплинированное, к тому же ненавидимое народными массами и даже мелкой буржуазией, оно еле-еле может быть признано державой второй величины. Поэтому ему необходим покровитель, т. е. повелитель вне Италии, и всякий найдет естественным, что после падения Наполеона III князь Бисмарк заступил место *необходимого союзника* этой монархии, созданной пьемонтскою интригою* на почве, уготованной патриотическими усилиями и подвигами Маццини и Гарибальди.

Впрочем, рука великого канцлера пангерманской империи чувствуется теперь в целой Европе, исключая разве только Англии, которая, однако, не без беспокойства смотрит на это возникающее могущество, да еще Испании, обеспеченной против реакционного влияния Германии по крайней мере на первое время своею революциею, равно как и своим географическим положением. Влияние новой империи объясняется изумительным торжеством, одержанным ею над Францией; всякий признает, что она по своему положению, по громадным средствам, завоеванным ею, и по своей внутренней организации занимает ныне решительно первое место между европейскими великими державами и в состоянии дать почувствовать каждой из них свое преобладание; а что влияние ее непременно должно быть реакционным, в этом не может быть и сомнения.

Германия в настоящем своем виде, объединенная гениальным и патриотическим мошенничеством¹ князя Бисмарка и опирающаяся, с одной стороны, на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля-императора; а с другой — на верноподданнический патриотизм, на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкое мещанство, немецкая бюрократия, немецкая церковь, весь цех немецких ученых и под их соединенным влиянием нередко — увы! — и сам немецкий народ — Германия, го-

¹ В политике, равно как и в высших финансовых сферах, мошенничество считается доблестью.

ворю я, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции.

Германия — государство по преимуществу, как им была Франция при Людовике XIV и при Наполеоне I, как им не переставала быть Пруссия по настоящее время. Со времени окончательного создания прусского государства Фридрихом II был поднят вопрос: кто кого поглотит, Германия ли Пруссию или Пруссия Германию? Оказывается, что Пруссия съела Германию. Значит, доколе Германия останется государством, несмотря ни на какие мнимо либеральные, конституционные, демократические и даже социально-демократические формы, она будет по необходимости первостепенною и главною представительницею и постоянным источником всех возможных деспотизмов в Европе.

Да, со времени образования новой государственности в истории, с самой половины шестнадцатого века, Германия, причисляя к ней Австрийскую империю, поскольку она немецкая, никогда не переставала быть, в сущности, главным центром всех реакционных движений в Европе, даже не исключая того времени, когда великий коронованный вольнодумец Фридрих II переписывался с Вольтером. Как умный государственный человек, ученик Маккиавеля и учитель Бисмарка, он ругался над всем: над Богом и над людьми, не исключая, разумеется, своих корреспондентов-философов, и верил только в свой *«государственный разум»*, опиравшийся притом, как всегда, на *«божественную силу многочисленных баталионов»* (Бог всегда на стороне сильных баталионов, говорил он), да еще на экономию и возможное совершенство внутреннего административного управления, разумеется, механического и деспотического. В этом, по его, да также и по нашему мнению, заключается, действительно, вся суть государства. Все же остальное лишь невинная фиоритура*, имеющая целью обмануть нежные чувства людей, неспособных вынести сознания суровой истины.

Фридрих II усовершенствовал и окончил государственную машину, построенную его отцом и дедом и подготовленную его предками; и эта машина сделалась в руках достойного преемника его, князя Бисмарка, орудием для

завоевания и для возможного пруссогерманизирования Европы.

Германия, сказали мы, со времени реформы не переставала быть главным источником всех реакционных движений в Европе; от половины XVI века до 1815 года инициатива этого движения принадлежала Австрии. От 1815 до 1866 года она разделилась между Австриею и Пруссиею, однако с преобладанием первой, покуда управлял ею старый князь Меттерних, т. е. до 1848 года. С 1815 года приступил к этому святому союзу чисто германской реакции гораздо более в виде охотника, чем дельца, наш татаро-немецкий, всероссийско-императорский кнут.

Побуждаемые естественным желанием снять с себя тяжкую ответственность за все мерзости, учиненные Священным союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому, что мы страстно желаем ему полнейшего преуспеяния и свободы, мы ненавидим эту поганую всероссийскую империю так, как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социальным демократам, программа которых ставит первою целью основание пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся прежде всего к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность, в каком бы то виде ни было, будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее.

В самом деле, императорская Россия, в лице двух венценосцев, Александра I и Николая, казалось, весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы: Александр рыскал с конца в конец и много хлопотал и шумел; Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому, что не хотели, а потому, что не могли, оттого что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы; им предоставлена была лишь почетная роль пугал, действовали же только Австрия, Пруссия и, наконец, под руководством и с позволения той и другой — французские Бурбоны (против Испании).

Империя всероссийская только один раз выступила из своих границ, в 1849 г., и то только для спасения Австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжение нынешнего века Россия два раза душила польскую революцию и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю, разумеется, об императорской России. Россия народная немыслима без польской независимости и свободы.

Что русская империя, по существу своему, не может хотеть другого влияния на Европу, кроме самого вредного и противусвободного, что всякий новый факт государственной жестокости и торжествующего притеснения, всякое новое потопление народного бунта в народной крови, в какой бы то стране ни было, всегда встретят в ней самые горячие симпатии, кто может в этом сомневаться? Но не в этом дело. Вопрос в том, как велико ее действительное влияние, и занимает ли она по своему уму, могуществу и богатству такое преобладающее положение в Европе, чтобы голос ее был в состоянии решать вопросы?

Достаточно вникнуть в историю последнего шестидесятилетия, а также и в самую суть нашей татаро-немецкой империи, чтобы ответить отрицательно. Россия далеко не такая сильная держава, какую любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших квасных патриотов, ребяческое воображение западных и юго-восточных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклоняться перед всякою военною диктатурою, домашнею и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждою, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение петербургской империи, тот знает, что на западе и против запада она собственно инициативною, не будучи вызвана к тому какою-либо великою западною державою и не иначе как в самом тесном союзе с нею, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла искои только в том, чтобы примазаться как-нибудь к чужому начинанию; и со времени хищнического разделения Польши, задуманного, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собою точно так же и Швецию, Пруссия была именно тою

западную державую, которая не переставала оказывать эту услугу всероссийской империи.

В отношении к революционному движению в Европе Россия в руках прусских государственных людей играла роль пугала, а нередко и ширм, за которыми они очень искусно скрывали свои собственные завоевательные и реакционные предприятия. После же удивительного ряда побед, одержанных прусско-германскими войсками во Франции, после окончательного низложения французской гегемонии в Европе и замещения ее гегемонией пан-германскою, ширм этих стало не нужно, и новая империя, осуществившая заповеднейшие мечты немецкого патриотизма, выступила откровенно во всем блеске своего завоевательного могущества и своей систематически реакционной инициативы.

Да, Берлин стал теперь видимою главою и столицею всей живой и действительной реакции в Европе, князь Бисмарк — ее главным руководителем и первым министром. Я говорю, реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума выжившая реакция, по преимуществу римско-католическая, бродит еще как зловещая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе; другая, кнуто-петербургская, положим, хоть и не тень, но тем не менее, лишенная смысла и будущности, продолжает еще бесчинствовать в пределах всероссийской империи. Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине и распространяется на все страны Европы из новой Германской империи, управляемой государственным, а по этому самому в высшей степени противународным гением князя Бисмарка.

Эта реакция не что иное, как окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках: значит, торжество жидовского царства, банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентскою игрою мнимого конституционализма.

Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции для дальнейшего и полнейшего развития своего

требуют тех огромных государственных централизаций, которые только одни способны подчинить многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, волостей и, наконец, областей и народов это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы, столь же противна их существу, как несовместима с ними никакая экономическая автономия. Зато они уживаются отлично с так называемою *представительною демократиею*; так как эта новейшая государственная форма, основанная на мнимом *господстве мнимой* народной воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо народных собраниях, соединяет в себе два главные условия, необходимые для их преуспевания, а именно: государственную централизацию и действительное подчинение государя-народа интеллектуальному управляющему им, будто бы представляющему его и непременно эксплуатирующему его меньшинству.

Когда мы будем говорить о социально-политической программе марксистов, лассальянцев и вообще немецких социальных демократов, мы будем иметь случай ближе рассмотреть и уяснить эту фактическую истину. Теперь обратим внимание на другую сторону вопроса.

Всякая эксплуатация народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства и мнимой народной свободы она позолочена ни была, горька для народа. Значит, никакой народ, как бы от природы смирен ни был и как бы послушание властям ни обратилось в привычку, охотно ей подчиняться не захочет; для этого необходимо постоянное принуждение, насилие, значит, необходимы полицейский надзор и военная сила.

Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимостью становится государством завоевательным; если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение или действие ее. Из этого опять-таки следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством; это есть неперемненное условие сохранения его.

И точно так же, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже

это самое производство, точно так же, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны стремиться стать единственными, универсальными, всемирными; точно так же новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным; но всемирное государство, разумеется, неосуществимое, могло бы быть во всяком случае только одно; два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны.

Гегемония есть только скромное, возможное обнаружение этого неосуществимого стремления, присущего всякому государству; а первое условие гегемонии — это относительное бессилие и подчинение по крайней мере всех окружающих государств. Так, пока существовала гегемония Франции, она была обусловлена государственным бессилием Испании, Италии и Германии, и до сих пор не могут простить французские государственные люди — и между ними г. Тьер, разумеется, первый — Наполеону III-му, что он позволил Италии и Германии объединиться и сплотиться.

Теперь Франция очистила место, и его заняло германское государство, по нашему убеждению, ныне единственное настоящее государство в Европе.

Французскому народу несомненно предстоит еще великая роль в истории, но государственная карьера Франции покончена. Кто сколько-нибудь знает характер французов, тот скажет вместе с нами, что если Франция долго могла быть первенствующею державою, то для нее быть государством второстепенным, даже только равносильным с другими — решительно невозможно. Как государство и пока она будет управляема людьми государственными, все равно, г-ном ли Тьером, или г-ном Гамбеттою, или даже Орлеанскими герцогами*, она с своим унижением не примирится; она будет готовиться к новой войне и будет стремиться к мести и к восстановлению утраченного первенства.

Может ли она достигнуть его? Решительно нет. На это много причин; упомянем две главные. Последние события доказали, что патриотизм, эта высшая *государственная* добродетель, эта душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального

тщеславия; но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезано в корне буржуазною необходимостью и привычкою жертвовать *интересам реальным* всеми *идеальными интересами*, что во время последней войны оно не могло даже, как делало прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов лавочников, дельцов, биржевых спекуляторов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов, собственников и иезуитами воспитанных дворян. Все трусили, все изменили, все бросились только спасать свое имущество, все пользовались несчастьем Франции, чтобы только интриговать против Франции; все старались нахальнейшим образом опередить друг друга в милости беспощадного и надменного победителя, ставшего распорядителем французских судеб; все, единодушно и во что бы то ни стало проповедовали покорение, смирение и молили о мире... Теперь все эти развратные болтуны опять занациональничали, захвастали, но этот смешной и отвратительный крик дешевых героев не в состоянии заглушить чересчур громкого свидетельства их вчерашней подлости.

Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию французский мужик, с тех пор как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Ну, тогда было другое дело: благодаря дешевой продаже церковных и дворянских имений он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения дворянская эмиграция, шедшая вслед за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную собственность; теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества. За исключением Эльзаса и Лотарингии, где странным образом, как бы на смех немцам, упорствующим видеть в них чисто немецкие провинции, проявились несомненные признаки патриотизма, во всей средней Франции крестьяне гнали французских и иностранных волонтеров, вооружившихся на спасение Франции, отказывая им во всем, нередко даже выдавая их пруссакам и, напротив, самым гостеприимным образом встречали немцев.

Можно сказать с полной истиною, что патриотизм сохранился только в городском пролетариате.

В Париже, равно как и во всех других провинциях и городах Франции, только он один хотел и требовал все-народного вооружения и войны насмерть. И странное явление: за это именно на него обрушилась вся ненависть имущих классов, точно как будто бы им стало обидно, что «младшие братья» (выражение г. Гамбетты) выказывают более добродетели, патриотической преданности, чем старшие.

Впрочем, имущие классы были отчасти правы. То, что двигало пролетариат городской, не было чистым патриотизмом в древнем и тесном смысле этого слова. Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вместе с тем узкое, исключительное, противучеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, любя страстно свое отечество и все свое, также страстно ненавидит все иностранное, ни дать ни взять, как наши славянофилы. Во французском же городском пролетариате не осталось даже и следа такой ненависти. Напротив, в последние десятилетия, можно сказать, с 1848 года и даже гораздо прежде, под влиянием социалистической пропаганды в нем развилось положительно братское отношение к пролетариям всех стран рядом со столь же решительным равнодушием к так называемому величию и к славе Франции. Французские работники были противниками войны, затеянной последним Наполеоном, и накануне этой войны они манифестом, подписанным парижскими членами Интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии: и когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма.

Война эта началась ровно шесть лет после первого основания Интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате французском, но также и между рабочими многих других стран, особенно латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайно широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узости страстей патриотических или местных.

Это новое миросозерцание высказалось торжественно уже в 1868 году на народном митинге и — где бы вы думали, в какой стране? — в Австрии, в Вене, в ответ на целый ряд политических и патриотических предложений, сделанных венским работникам сообща г-ми бюргерами-демократами южно-германскими и австрийскими и клонившихся к торжественному признанию и провозглашению пангерманского, единого и нераздельного отечества. К ужасу своему, они услышали следующий ответ: «Что вы толкуете нам о немецком отечестве? Мы работники, эксплуатируемые, вечно обманутые и утесненные вами, и все работники, к какой бы стране они ни принадлежали, эксплуатируемые и утесненные пролетарии целого мира — нам братья; все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплуататоры — нам враги. Интернациональный лагерь рабочих — вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплуататоров — вот чуждая и враждебная нам страна».

И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму «к парижским братьям как пионерам всемирно-рабочего освобождения».

Такой ответ венских рабочих, вытекший, помимо всех политических рассуждений, прямо из глубины народного инстинкта, наделал в свое время много шума в Германии, перепугал всех бюргеров-демократов, не исключая почтенного ветерана и предводителя этой партии, доктора Иоганна Якоби, и оскорбил не только их патриотические чувства, но и государственную веру школы Лассалья и Маркса. Вероятно, по совету последнего г. Либкнехт, в настоящее время считающийся одним из глав социальных демократов Германии, но тогда бывший еще сам членом бюргерско-демократической партии (покойной народной партии), тотчас отправился из Лейпцига в Вену для переговоров с венскими работниками, «политическая бестактность» которых дала повод к такому скандалу. Должно отдать ему справедливость, он действовал так успешно, что несколько месяцев спустя, а именно в августе 1868 года, на Нюрнбергском конгрессе германских работников все представители австрийского пролетариата без всякого протеста подписали узкую патриотическую программу социально-демократической партии*.

Но это самое обнаружило только глубокое различие, существующее между политическим направлением пред-

водителей, более или менее ученых и буржуазных, этой партии и собственным революционным инстинктом германского или по крайней мере австрийского пролетариата. Правда, в Германии и в Австрии этот народный инстинкт, подавляемый и беспрестанно отклоняемый от своей настоящей цели пропагандою партии более политической, чем революционно-социальной, с 1868 года мало развился вперед и не мог перейти в сознание народное; зато в странах латинского племени, в Бельгии, в Испании, в Италии и особенно во Франции, свободный от этого гнета и от этого систематического развращения, он развился широко, на полной свободе и обратился действительно в революционное сознание городского и фабричного пролетариата¹.

Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англии, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в девяностых годах, что, борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество.

Эти великие слова, употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные, — свобода, равенство и братство всего человеческого рода — встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою и определили, даже помимо их сознания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя. Напрасно политические позитивисты и радикалы-республиканцы вроде г. Гамбетты старались и стараются отклонить французский пролетариат от этого космополитического направления и уверить его, что он должен подумать об

¹ Нет сомнения, что усилия английских работников, стремящихся лишь только к собственному освобождению или к улучшению своей собственной участи, неизменно образом обращаются в пользу всего человечества; но англичане этого не знают и не ищут; французы же, напротив, знают и ищут, что, по-нашему, составляет огромную разницу в пользу французов и дает действительно всемирный смысл и характер всем их революционным движениям.

устройстве своих собственных, исключительно национальных дел, связанных с патриотической идеею величия, славы и политического преобладания французского государства, обеспечить в нем свою собственную свободу и своё собственное благосостояние, прежде чем мечтать об освобождении всего человечества, целого мира. Усилия их, по-видимому, весьма благоразумны, но тщетны — природы не переделаешь, а эта мечта стала природою французского пролетариата, и она выгнала из его воображения и сердца последние остатки государственного патриотизма.

Происшествия 1870—71 годов* доказали это вполне. Да, во всех городах Франции пролетариат требовал поголовного вооружения и ополчения против немцев; и нет сомнения, что он осуществил бы это намерение, если бы не парализовал его, с одной стороны, подлый страх и повсеместная измена большинства буржуазного класса, предпочитавшего тысячу раз покориться пруссакам, чем дать оружие в руки пролетариата; а с другой стороны, систематически реакционное противодействие «правительства народной защиты» в Париже и в провинции, оппозиция, столь же противонародная, диктатора, патриота Гамбетты.

Но, вооружаясь, насколько при таких обстоятельствах это было возможно, против немецких завоевателей, французские работники были твердо убеждены, что будут бороться столько же за свободу и права немецкого пролетария, сколько и за свои собственные. Они заботились не о величии и чести французского государства, а о победе пролетариата над ненавистною военною силою, служащею против них в руках буржуазии орудием порабощения. Они ненавидели немецкие войска не потому, что они немецкие, а потому, что они войска. Войска, употребленные г. Тьером против Парижской Коммуны, были чисто французские; однако они совершили в несколько дней более злодеяний и преступлений, чем немецкие войска во все время войны. Для пролетариата отныне всякое войско, свое или чужое, равно враждебно, и французские работники это знают; поэтому их ополчение отнюдь не было ополчением патриотическим.

Восстание Парижской Коммуны против версальского *народного собрания*** и против спасителя отечества — Тьера, совершенное парижскими работниками в виду немецких войск, еще окружавших Париж, обнаруживает и объ-

ясняет вполне ту единственную страсть, которая ныне двигает французский пролетариат, для которого отныне нет и не может быть другого дела, другой цели и другой войны, кроме революционно-социальных.

Это, с другой стороны, вполне объясняет неистовое исступление, овладевшее сердцами версальских правителей и представителей, а также и неслыханные злодеяния, совершенные под их прямым руководством и благословлением над побежденными коммунарами. И в самом деле, с точки зрения государственного патриотизма, парижские работники совершили ужасное преступление: в виду немецких войск, еще окружавших Париж и только что разгромивших отечество, разбивших в прах его национальное могущество и величие, поразивших в самое сердце национальную честь, они, обуреваемые дикою космополитическою социально-революционною страстью, провозгласили окончательное разрушение французского государства, расторжение государственного единства Франции, несовместного с автономиею французских коммун. Немцы только уменьшили границы и силу их политического отечества, а они захотели совсем убить его, и как бы для обнаружения этой изменнической цели свалили в прах Вандомскую колонну, величественную свидетельницу прошедшей французской славы!*

С политически-патриотической точки зрения какое преступление могло сравниться с таким неслыханным святотатством! И вспомните, что парижский пролетариат совершил его не случайно, не под влиянием каких-нибудь демагогов и не в одну из тех минут безумного увлечения, которые нередко встречаются в истории каждого народа, и особенно французского. Нет, в этот раз парижские работники действовали спокойно, сознательно. Это фактическое отрицание государственного патриотизма было, разумеется, выражением сильной народной страсти, но страсти не мимолетной, а глубокой, можно сказать, обдуманной и уже обратившейся в народное сознание, страсти, раскрывшейся вдруг перед испуганным миром, как бездонная пропасть, готовая поглотить весь настоящий строй общества со всеми его учреждениями, удобствами, привилегиями и со всею цивилизациею...

Тут оказалось, с ясностью, столь же ужасною, сколько и несомненною, что отныне между диким, голодным пролетариатом, обуреваемым социально-революционными страстями и стремящимся неотступно к созданию ино-

го мира на основании начал человеческой истины, справедливости, свободы, равенства и братства, — начал, терпимых в порядочном обществе разве только как невинный предмет риторических упражнений, — и между пресыщенным и образованным миром привилегированных классов, отстаивающих с отчаянною энергиею порядок государственный, юридический, метафизический, богословский и военно-полицейский, как последнюю крепость, охраняющую в настоящее время драгоценную привилегию экономической эксплуатации, — что между этими двумя мирами, говорю я, между чернорабочим людом и образованным обществом, соединяющим в себе, как известно, всевозможные достоинства, красоты и добродетели, всякое примирение невозможно.

Война на жизнь и на смерть! И не в одной только Франции, а в целой Европе, и война эта может кончиться только решительною победою одной из сторон, решительным низложением другой.

Или буржуазно-образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штыков, кнута или палки, благословенных, разумеется, каким-нибудь Богом и объясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать по-прежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, т. е. в форме военной диктатуры или императорства; или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне буржуазную эксплуатацию и основанную на ней буржуазную цивилизацию — а это значит торжество социальной революции, сокрушение всего, что называется государством.

Итак, государство, с одной стороны, социальная революция, с другой, — вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе, но во Франции осязательнее, чем в какой-либо другой стране. Государственный мир, обнимающий всю буржуазию, включая, разумеется, и обмещавшееся дворянство, нашел свое средоточие, последнее убежище и последнюю защиту в Версале. Социальная революция, потерпевшая страшное поражение в Париже, но отнюдь не уничтоженная и даже не побежденная, обнимая теперь, как и всегда, весь городской и фабричный пролетариат, начинает уже захватывать свою неустанную

пропагандою и сельское население, по крайней мере, в Южной Франции, где эта пропаганда ведется и распространяется в самых широких размерах*. И вот это враждебное противоположение двух отныне непримиримых миров составляет вторую причину, по которой для Франции стало решительно невозможно сделаться вновь первостепенным, преобладающим государством.

Все привилегированные слои французского общества, без сомнения, желали бы поставить свое отечество вновь в это блестящее и внушительное положение; но вместе с тем они до такой степени пропитаны страстью любостыжания, обогащения во что бы то ни стало и антипатриотическим эгоизмом, что для осуществления патриотической цели они готовы, правда, принести в жертву имущество, жизнь, свободу пролетариата, но не откажутся ни от одной из своих выгодных привилегий и скорее подвергнутся чужеземному игу, чем поступятся своею собственностью или согласятся на уравнивание состояний и прав.

То, что делается теперь на наших глазах, вполне подтверждает это. Когда правительство г. Тьера официально объявило версальскому собранию о заключении окончательного договора с берлинским кабинетом, в силу чего немецкие войска должны будут очистить в сентябре еще занимаемые ими провинции Франции, большинство собрания, представляющее коалицию привилегированных классов во Франции, опустило головы; французские фонды**, представляющие их интересы еще действительнее, живее, — пали, как будто после государственной катастрофы... Оказалось, что *ненавистное, насильственное и позорное* для Франции присутствие победоносного немецкого воинства для привилегированных французских патриотов, представителей буржуазной доблести и буржуазной цивилизации, было утешением, опорой, спасением и что его предстоящее удаление однозначаче для них с осуждением на смерть.

Значит, странный патриотизм французской буржуазии ищет своего спасения в позорном покорении отечества. Тем же, кто еще может сомневаться в этом, укажем на любой консервативный французский журнал. Известно, до какой степени все оттенки реакционной партии, бонапартисты, легитимисты, орлеанисты, испуганы, взволнованы, взбешены избранием г. Бароде депутатом в Париже. Но кто такой этот Бароде? Один из многочисленных пошляков партии г. Гамбетты, консерватор по положению,

А при таком отсутствии патриотизма во всех слоях французского общества и при открытой ныне непримиримой войне, существующей между ними, как восстановить сильное государство? Тут все государственное умение престарелого президента республики пропадет даром, и все ужасные жертвы, принесенные им на алтарь политического отечества, как напр., бесчеловечное избиение многих десятков тысяч парижских коммунаров с женщинами и детьми и столь же бесчеловечные высылки других десятков тысяч в Новую Каледонию, окажутся несомненно бесполезными жертвами*.

Напрасно г. Тьер силится восстановить кредит, внутреннее спокойствие, старый порядок и военную силу Франции. Государственное здание, потрясенное и беспрестанно вновь потрясемое в самой основе антагонизмом пролетариата и буржуазии, трещит, лопается и каждую минуту грозит падением. Где же такому старому, неизлечимо больному государству бороться с юным и до сих пор еще здоровым государством германским.

Отныне, повторяю я, роль Франции как первостепенной державы окончена. Время ее политического могущества прошло так же безвозвратно, как прошло время ее литературного классицизма, монархического и республиканского. Все старые основы государства в ней сгнили, и напрасно силится Тьер построить на них свою консервативную республику, т. е. старое монархическое государство с подновленною мнимо республиканскою вывескою. Но так же напрасно глава нынешней радикальной партии, г. Гамбетта, очевидный наследник г. Тьера, обещает построить новое государство, будто бы искренне республиканское и демократическое, на основаниях будто бы новых, потому что эти основания не существуют и существовать не могут.

В настоящее время серьезное, сильное государство может иметь только одно прочное основание — военную и бюрократическую централизацию. Между монархией и самою демократическою республикою существует только одно существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представля-

емый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной.

Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и смирить; но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие, этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная *политическая* республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т. е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ.

Итак, удовлетворение народной страсти и народных требований для классов имущих и управляющих решительно невозможно; поэтому остается одно средство — *государственное насилие*, одним словом, *Государство*, потому что Государство именно и значит *насилие*, господство посредством насилия, замаскированного, если можно, а в крайнем случае бесцеремонного и откровенного. Но г. Гамбетта столько же представитель буржуазных интересов, как и сам г. Тьер; наравне с ним он хочет сильного государства и безусловного господства среднего класса с присоединением, быть может, обуржуазившегося слоя рабочих, составляющего во Франции весьма незначительную часть всего пролетариата. Вся разница между ним и г. Тьером состоит в том, что последний, одержимый предубеждениями и предрассудками своего времени, ищет опоры и спасенья только в чрезвычайно богатой буржуазии и с недоверием смотрит на десятки или даже сотни тысяч новых претендентов на управление из мелкой буржуазии и из вышеупомянутого класса рабочих, стремящихся к буржуазии; в то время как г. Гамбетта, отвергнутый высшими классами, до сих пор исключительно

правившими Францией, стремится основать свое политическое могущество, свою республикански-демократическую диктатуру именно на том огромном и чисто буржуазном большинстве, которое до сих пор оставалось вне выгод и почестей государственного управления.

Он уверен, впрочем, и мы думаем, совершенно справедливо, что лишь только ему удастся с помощью этого большинства овладеть властью, сами богатые классы, банкиры, крупные землевладельцы, купцы и промышленники, одним словом, все значительные спекуляторы, обогащающиеся более других народным трудом, обратятся к нему, признают его, в свою очередь, и будут искать его союза и дружбы, в которых он им, разумеется, не откажет, потому что как настоящий государственный человек он слишком хорошо знает, что никакое государство, и особенно сильное, не может существовать без их союза и дружбы.

Это значит, что гамбеттовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники; и именно потому, что оно будет облечено в широкие демократические формы, оно сильнее и гораздо вернее будет гарантировать хищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплуатацию народного труда.

Как государственный человек новейшей школы г. Гамбетта нисколько не боится самых широко-демократических форм, ни права поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплуатирующих его лиц и классов; он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как когда опирается на мнимое представительство мнимой народной воли.

Итак, если бы французский пролетариат мог увлечься обещаниями честолобивого адвоката, если бы г. Гамбетте удалось уложить этот беспокойный пролетариат на прокрустову кровать своей демократической республики, то, нет сомнения, он успел бы восстановить французское государство во всем его прежнем величии и преобладании.

Но в том-то и дело, что эта попытка удалась ему не может. Нет теперь на свете такой силы, нет такого политического или религиозного средства, которое могло бы

задушить в пролетариате какой бы то ни было страны, а особенно во французском пролетариате, стремление к экономическому освобождению и к социальному равенству. Что ни делай Гамбетта, грози он штыками, лаской он словами, ему не справиться с богатырскою силою, скрывающейся ныне в этом стремлении, и никогда не удастся ему запрячь по-прежнему массы чернорабочих в блестящую государственную колесницу. Никакими цветами красноречия не успеет он забросать и сравнять пропасть, отделяющую безвозвратно буржуазию от пролетариата, положить конец отчаянной борьбе между ними. Эта борьба потребует употребления всех государственных средств и сил, так что для удержания за собою внешнего преобладания между европейскими государствами у французского государства не останется ни средств, ни сил. Куда же ему тягаться с империєю Бисмарка!

Что ни говори и как ни хвастай французские государственные патриоты, Франция как государство осуждена отныне занимать скромное, весьма второстепенное место; мало того, она должна будет подчиниться верховному руководству, дружески-почтительному влиянию Германской империи, точно так, как до 1870 года итальянское государство подчинялось политике Французской империи.

Положение, пожалуй, довольно выгодное для французских спекуляторов, обретающих значительное утешение на всемирном рынке, но отнюдь не завидное с точки зрения национального тщеславия, которым так преисполнены французские государственные патриоты. До 1870 можно было думать, что это тщеславие так сильно, что оно в состоянии бросить самых тесных и упорных поборников буржуазных привилегий в Социальную Революцию, лишь бы только избавить Францию от позора быть побежденною и покоренною немцами. Но уже после 1870 года этого никто ждать от них не будет; все знают, что они скорее согласятся на всякий позор, даже на подчинение немецкому покровительству, чем откажутся от своего прибыльного господства над своим собственным пролетариатом.

Не ясно ли, что французское государство никогда уже не восстановится в своем прежнем могуществе? Но значит ли это, что всемирная и, легко сказать, передовая роль Франции кончилась? Отнюдь нет; это значит только, что, потеряв безвозвратно свое величие как государство,

Франция должна будет искать нового величия в Социальной Революции.

Но если не Франция, то какое другое государство в Европе может состязаться с новой Германскою империею?

Разумеется, не Великобритания. Во-первых, Англия никогда, собственно, не была государством в строгом и новейшем смысле этого слова, т. е. в смысле военной, полицейской и бюрократической централизации. Англия представляет скорее федерацию привилегированных интересов, автономное общество, в котором преобладала сначала поземельная аристократия, а теперь вместе с нею преобладает аристократия денежная, но в котором, точно так же, как во Франции, хотя и в несколько других формах, пролетариат ясно и грозно стремится к уравниванию экономического состояния и политических прав.

Разумеется, влияние Англии на политические дела континентальной Европы было всегда велико, но оно основывалось всегда гораздо более на богатстве, чем на организации военной силы. В настоящее время, как всем известно, оно значительно уменьшилось. Еще тридцать лет тому назад оно не перенесло бы так спокойно ни завоевания рейнских провинций немцами, ни восстановления русского преобладания на Черном море*, ни похода русских в Хиву**. Такая систематическая уступчивость с ее стороны доказывает несомненную и притом с каждым годом все более возрастающую политическую несостоятельность. Главная причина этой несостоятельности все тот же антагонизм чернорабочего мира с миром эксплуатирующей, политически господствующей буржуазии.

В Англии Социальная Революция гораздо ближе, чем думают, и нигде она не будет так ужасна, потому что нигде она не встретит такого отчаянного и так хорошо организованного сопротивления, как именно в ней.

Об Испании и Италии даже и говорить нечего. Никогда не сделаются они грозными, ни даже сильными государствами, не потому, чтобы у них не было материальных средств, а потому, что народный дух как той, так и другой влечет их неотвратимо к совершенно иной цели.

Испания, соvrащенная с своего нормального пути католическим изуверством и деспотизмом Карла V и Филиппа II и обогатившаяся вдруг не народным трудом, а американским серебром и золотом, в XVI и XVII веках попробовала вынести на своих плечах незавидную честь

насильственного основания всемирной монархии. Она дорого поплатилась за это. Время ее могущества было именно началом ее умственного, нравственного и материального обнищания. После короткого и неестественного напряжения всех сил, сделавшего ее страшною и ненавистною для целой Европы и даже успевшего остановить на минуту, но только на одну минуту, прогрессивное движение европейского общества, она как будто вдруг надорвалась и впала в крайнюю степень отупения, расслабления и апатии, в которой и оставалась, окончательно опозоренная чудовищным и идиотским управлением Бурбонов*, до тех пор пока Наполеон I-й своим хищническим вторжением в ее пределы не пробудил ее от двухвекового сна.

Оказалось, что Испания не умерла. Она спаслась от чужеземного ига чисто народным восстанием и доказала, что народные массы, невежественные и безоружные, в состоянии сопротивляться лучшим войскам в мире, если только они одушевлены сильною и единою страстью. Она доказала даже больше, а именно, что для сохранения свободы, силы и страсти народной невежество даже предпочтительнее буржуазной цивилизации.

Напрасно немцы кичатся и сравнивают свое национальное, но далеко не народное восстание 1812 и 1813 годов с испанским. Испанцы восстали беззащитные против огромного могущества до тех пор непобедимого завоевателя; немцы же восстали против Наполеона лишь после совершенного поражения, нанесенного ему в России. До тех пор не было примера, чтобы какая-нибудь немецкая деревня или какой немецкий город посмел оказать хотя самое ничтожное сопротивление победоносным французским войскам. Немцы так привыкли к повиновению, этой первой государственной добродетели, что воля победителей становилась для них священна, как скоро они фактически заменяли волю домашних властей. Сами прусские генералы, сдавая одну за другой крепости, самые крепкие позиции и столицы, повторяли достопамятные и обратившиеся в пословицу слова тогдашнего берлинского коменданта: «Спокойствие есть первая обязанность гражданина».

Только один Тироль составил тогда исключение. В Тироле Наполеон встретил действительно народное сопротивление. Но Тироль, как известно, составляет самую отсталую и необразованную часть Германии, и пример его

не нашел подражателей ни в одной из других областей просвещенной Германии.

Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности, своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы; они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, по-видимому, невозможных, что, имея лишь очень мало или не имея вовсе собственности, они не развращены ею. Когда это нужно для обороны или для победы, они не остановятся перед истреблением своих собственных селений и городов, а так как собственность большею частью чужая, то в них обнаруживается нередко положительная страсть к разрушению. Этой отрицательной страсти далеко не достаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и только посредством него зарождаются и возникают новые миры.

Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазною цивилизациею, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности. Бюргер или буржуа отдадут скорее жизнь, свободу, честь, но не отступятся от своей собственности; самая мысль о посягательстве на нее, о разрушении ее для какой бы то ни было цели кажется им святотатством; вот почему они никогда не согласятся на уничтожение своих городов и домов, даже когда это потребует защита края; и вот почему французские буржуа в 1870 году и немецкое бюргерство до самого 1813 года так легко поддавались счастливым завоевателям. Мы видели, что обладания собственностью было достаточно, чтобы развратить французское крестьянство и убить в нем последнюю искру патриотизма.

Итак, чтобы сказать последнее слово о так называемом национальном восстании Германии против Наполеона, повторим, во-первых, что оно воспоследовало только тогда, когда его уничтоженные войска бежали из России и когда прусские и другие немецкие корпуса, незадолго перед тем составлявшие часть наполеоновской армии, перешли на сторону русских; и, во-вторых, что даже и тогда в Германии не было собственно народного поголовного

восстания, что города и села оставались спокойны по-прежнему, а образовались только вольные отряды молодых людей, большею частью студентов, которые тотчас же были включены в состав регулярного войска, что совершенно противно методу и духу народных восстаний.

Одним словом, в Германии юные граждане или, точнее, верноподданные, возбужденные горячею проповедью своих философов и воспламененные песнями своих поэтов, вооружились для защиты и для восстановления германского государства, потому что именно в это время и пробудилась в Германии мысль о государстве пангерманском. Между тем испанский народ встал поголовно, чтобы отстоять против дерзкого и могучего похитителя свободу родины и самостоятельность народной жизни.

С тех пор Испания не засыпала, но в продолжение 60 лет мучилась, отыскивая себе новые формы для новой жизни. Бедная, чего она не перепробовала! От абсолютной монархии, два раза восстанавливаемой, до конституции королевы Изабеллы, от Эспартеро до Нарваэса, от Нарваэса до Прима и от последнего до короля Амедея, Сагасты и Сорильи, она как бы хотела примерить всевозможные видоизменения конституционной монархии, и все оказались для нее тесными, разорительными, невозможными*. Также невозможна оказывается теперь консервативная республика, т. е. господство спекуляторов, богатых собственников и банкиров под республиканскими формами. Такою же невозможностью окажется скоро и политическая мелкобуржуазная федерация, вроде швейцарской.

Испаниею овладел не на шутку черт революционного социализма. Андалузские и эстремадурские крестьяне, не спрашиваясь никого и не ожидая ничьих указаний, захватили уже и все далее захватывают земли прежних землевладельцев. Каталония и во главе ее Барселона громко заявляют свою независимость, свою автономию. Мадридский народ провозглашает федеральную республику и не соглашается подчинить революцию будущим указам учредительного собрания. В северных провинциях, находящихся будто бы во власти карлистской реакции, совершается явно Социальная Революция: провозглашаются фуэросы**, независимость областей и общин, жгутся все судебные и гражданские акты; войско во всей Испании братается с народом и гонит своих офицеров. Началось всеобщее, публичное и частное, банкротство — первое условие социально-экономической революции.

Одним словом, разгром и распадение окончательное, и все это валится само собою, разбитое или раздробленное своею собственною гниlostью. Нет более ни финансов, ни войска, ни суда, ни полиции; нет государственной силы, нет государства, остается могучий, свежий народ, одержимый ныне единою социально-революционною страстью. Под коллективным руководством Интернационала и Союза Социальных Революционеров* он сплочивает и организует свою силу и готовится на развалинах распадающегося государства и буржуазного мира основать собственный мир освобожденного работника-человека.

Италия столь же близка к Социальной Революции, как и сама Испания. В ней также, несмотря на все старания конституционных монархистов и несмотря даже на геройские, но тщетные усилия двух великих вождей, Маццини и Гарибальди, не принялась, да и никогда не примется идея государственности, потому что противна настоящему духу и всем современным инстинктивным стремлениям и материальным требованиям бесчисленного деревенского и городского пролетариата.

Так же как Испания, Италия, утратившая уже очень давно и, главное, безвозвратно централистические, или единодержавные, предания древнего Рима, предания, сохранившиеся в книгах Данте, Макиавелли и в новейшей политической литературе, но отнюдь не в живой памяти народа, — Италия, говорю я, сохранила только одну живую традицию абсолютной автономии даже не областей, а общины. К этому единственному политическому понятию, существующему собственно в народе, присоедините исторически-этнографическую разнородность областей, говорящих на диалектах столь различных, что люди одной области с трудом понимают, а иногда вовсе не понимают людей других областей. Понятно, стало быть, как далека Италия от осуществления новейшего политического идеала государственного единства. Но это отнюдь не значит, чтобы Италия была общественно разъединена. Напротив, несмотря на все различия, существующие в наречиях, обычаях и нравах, есть общий итальянский характер и тип, по которым вы сейчас отличите итальянца от человека всякого другого племени, даже южного.

С другой стороны, действительная солидарность материальных интересов и удивительная тождественность нравственных и умственных стремлений самым тесным образом соединяют и сплочивают все итальянские обла-

сти между собою. Но замечательно, что все эти интересы, равно как и эти стремления обращены именно против насильственного политического единства и, напротив, клонятся все к установлению единства общественного; так что можно сказать и доказать бесчисленными фактами из настоящей жизни Италии, что насильственно-политическое, или государственное, единство ее имело результатом общественное разъединение и что, вследствие того, разрушение новейшего итальянского государства будет иметь непременно результатом ее вольно-общественное соединение.

Все это относится, разумеется, собственно только к народным массам, потому что в высших слоях итальянской буржуазии, так же как и в других странах, с единством государственным создано и теперь развивается и расширяется все более и более социальное единство класса привилегированных эксплуататоров народного труда.

Этот класс обозначается теперь в Италии общим именем консортерии. Консортерия обнимает весь официальный мир, бюрократический и военный, полицейский и судебный, весь мир больших собственников, промышленников, купцов и банкиров, всю официальную и официозную адвокатуру и литературу, а также весь парламент, правая сторона которого пользуется ныне всеми выгодами управления, а левая стремится захватить то же самое управление в свои руки.

Итак, в Италии, как и везде, существует единый и нераздельный политический мир хищников, сосущих страну во имя государства и доведших ее, для вящей пользы последнего, до крайней степени нищеты и отчаяния.

Но нищета самая ужасная, даже когда она поражает многомиллионный пролетариат, не есть еще достаточный залог для революции. Человек одарен от природы изумительным и, право, иногда доводящим до отчаяния терпением, и черт знает, чего он не переносит, когда вместе с нищетой, обрекающей его на неслыханные лишения и медленную голодную смерть, он еще награжден тупоумием, тупостью чувств, отсутствием всякого сознания своего права и тем невозмутимым терпением и послушанием, которыми между всеми народами особенно отличаются восточные индейцы и немцы. Такой человек никогда не воспрянет; умрет, но не взбунтуется.

Но когда он доведен до отчаяния, возмущение его становится уже более возможным. Отчаяние — острое,

страстное чувство. Оно вызывает его из тупого, полусонного страдания и предполагает уже более или менее ясное сознание возможности лучшего положения, которого он только не надеется достигнуть.

В отчаянии, наконец, долго оставаться не может никто; оно быстро приводит человека или к смерти, или к делу. К какому делу? Разумеется, к делу освобождения и завоевания условий лучшего существования. Даже немец в отчаянии перестает быть резонером; только надо много, очень много всякого рода обид, притеснений, страданий и зла, чтобы довести его до отчаяния.

Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить Социальную Революцию. Они способны произвести личные или, много, местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, — нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящею его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать.

Именно в таком положении находится итальянский народ. Нищета и претерпеваемые им всякого рода страдания ужасны и мало уступают нищете и страданиям, удручающим русский народ. Но в то же самое время в итальянском пролетариате гораздо в большей степени, чем в нашем, развилось страстное революционное сознание, определяющееся в нем с каждым днем все яснее и сильнее. От природы умный и страстный, итальянский пролетариат начинает, наконец, понимать, чего ему надо и чего он должен хотеть для всецелого и всеобщего освобождения. В этом отношении пропаганда Интернационала, которая повелась энергично и широко только в последние два года, оказала ему громадную услугу. Она именно дала ему, или, вернее, она возбудила в нем этот идеал, крупно начертанный глубочайшим инстинктом его, без которого, как мы сказали, народное восстание, каковы бы ни были страдания народа, решительно невозможно¹; она указала

¹ См. примечания (А) в конце Введения.

ему цель, которую он должен осуществить, и вместе с тем открыла ему пути и средства для организации народной силы.

Этот идеал представляет, разумеется, народу на первом плане конец нужды, конец нищеты и полное удовлетворение всех материальных потребностей посредством коллективного труда, для всех обязательного и для всех равного; потом — конец господам и всякому господству и вольное устройство народной жизни сообразно народным потребностям, не сверху вниз, как в государстве, но снизу вверх, самим народом, помимо всех правительств и парламентов, вольный союз земледельческих и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов; и наконец, в более отдаленном будущем общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех государств.

Замечательно, что в Италии, равно как и в Испании, решительно не посчастливилось государственно-коммунистической программе Маркса, а напротив, приняли широко и страстно программу пресловутого Альянса, или Союза Социальных Революционеров, объявившую беспощадную войну всякому господству, правительственной опеке, начальству и авторитету.

При этих условиях народ может освободиться, построить свою собственную жизнь на самой широкой воле всех и каждого, но отнюдь уже не может грозить свободе других народов; поэтому ни со стороны Испании, ни со стороны Италии завоевательной политики ждать нельзя, а, напротив, должно ожидать близкой Социальной Революции.

Маленькие государства, каковы Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания и Швеция, также, именно по тем же причинам, но главным образом вследствие своей политической незначительности, никому не грозят, а, напротив, имеют много причин опасаться завоеваний со стороны новой Германской империи.

Остаются Австрия, Россия и прусская Германия. Упомянуть об Австрии не значит ли говорить о неизлечимом больном, быстрыми шагами приближающемся к смерти? Эта империя, созданная путем династических связей и военного насилия, состоящая к тому же из четырех противуположных и друг друга мало любящих рас под преобладанием расы немецкой, единодушно ненавидимой тремя другими и числом своим едва равняющейся четвертой

части всего населения, наполовину же составленная из славян, требующих автономии и в последнее время распавшихся на два государства, мадьяро-славянское и германо-славянское, — такая империя, говорим мы, могла держаться, пока преобладал в ней военно-полицейский деспотизм. В продолжение последних двадцати пяти лет она претерпела три смертельных удара. Первое поражение было ей нанесено революцией 1848 года, положившей конец старой системе и управлению князя Меттерниха. С тех пор она поддерживает дряхлое существование свое героическими средствами и самыми разнообразными конфоративами. В 1849 году, спасенная императором Николаем, она под управлением надменного олигарха, князя Шварценберга, и славянофильствующего иезуита, графа Туна, редактора конкордата*, бросилась искать спасения в самой отчаянной клерикальной и политической реакции и в водворении полнейшей и беспощаднейшей централизации во всех провинциях своих наперекор всем национальным различиям. Но второе поражение, нанесенное ей Наполеоном III в 1859 г., доказало, что военно-бюрократическая централизация ее спасти не может.

С тех пор она ударилась в либерализм. Вызвала из Саксонии неумелого и несчастного соперника князя (а тогда еще графа) Бисмарка, барона Бейста и стала отчаянно освобождать свои народы, но, освобождая их, хотела вместе с тем спасти и свое государственное единство, т. е. решить задачу просто неразрешимую.

Надо было в одно и то же время удовлетворить четыре главные племена, населяющие империю, — славян, немцев, мадьяр и валахов¹, которые не только чрезвычайно различны по своей природе, по своим языкам, равно как и по различным характерам и степеням культуры, но даже относятся друг к другу большею частью враждебно и поэтому могли и могут быть удержаны в государственной связи только посредством правительственного насилия.

Надо было удовлетворить немцев, большинство которых, стремясь к завоеванию самой либерально-демократической конституции, вместе с тем требуют настоятельно

¹ На 36 миллионов жителей племена эти распределяются так: около 16 500 000 *славян* (5 миллион. поляков и русинов; 7 250 000 других северных славян: чехов, моравов, словаков; и 4 250 000 южных славян), около 5 500 000 мадьяр, 2 900 000 румын, 600 000 итальянцев, 9 000 000 немцев и евреев и около 1 500 000 других племен.

и громко, чтобы за ними было оставлено *древнее право* на государственное преобладание в австрийской монархии, несмотря на то, что они вместе с евреями составляют только четвертую часть всего ее населения.

Не есть ли это новое доказательство той истины, которую мы неутомимо отстаиваем в убеждении, что от всеобщего уразумения ее зависит скорейшее разрешение всех социальных задач; а именно, что государство, всякое государство, будь оно облечено в самые либеральные и демократические формы, непременно основано на преобладании, на господстве, на насилии, т. е. на деспотизме, скрытом, если хотите, но тем более опасном.

Немцы, государственники и бюрократы, можно сказать, от природы, опирают свои претензии на своем историческом праве, т. е. на праве завоевания и давности, с одной стороны, а с другой, на мнимом превосходстве своей культуры. В конце этого предисловия мы будем иметь случай показать, как далеко простираются их претензии. Теперь ограничимся австрийскими немцами, хотя очень трудно отделить их претензии от общегерманских.

Австрийские немцы в последние годы скрепя сердце поняли, что им надо отказаться, по крайней мере на первое время, от преобладания над мадьярами, за которыми они признали, наконец, право на самостоятельное существование. Из всех племен, населяющих Австрийскую империю, мадьяры после немцев самый государственный народ: несмотря на жесточайшие гонения и на самые крутые меры, которыми в продолжение девяти лет, от 1850 до 1859, австрийское правительство силилось сломать их упорство, они не только не отказались от своей национальной самостоятельности, но отстаивали и отстаивали свое право, по их мнению, равно же историческое, на государственное преобладание над всеми другими племенами, населяющими вместе с ними Венгерское королевство, несмотря на то, что сами составляют не много более третьей части всего королевства¹.

Таким образом несчастная Австрийская империя распалась на два государства почти одинаковой силы и соединенные только под одною короною — на государство цислейтанское*, или славяно-немецкое, с 20 500 000 жителей

¹ В Венгерском королевстве считается 5 500 000 мадьяр, 5 000 000 славян, 2 700 000 румын, 1 800 000 евреев и немцев и около 500 000 других племен, всего 15 500 000 жителей.

(из которых 7 200 000 немцев и евреев, 11 500 000 славян и около 1 800 000 итальянцев и других племен) и на государство транслейтанское*, венгерское или мадьяро-славяно-румыно-немецкое.

Замечательно то, что ни одно из этих двух государств даже в своем внутреннем составе не представляет никаких залогов ни настоящей, ни даже будущей силы.

В Венгерском королевстве, несмотря на либеральную конституцию и на несомненную ловкость мадьярских правителей, борьба рас, эта коренная болезнь австрийской монархии, нисколько не утихла. Большинство населения, подчиненное мадьярам, не любит их и никогда не согласится добровольно нести их иго, вследствие чего между ним и мадьярами происходит непрерывная борьба, причем славяне опираются на турецких славян, а румыны на братское население в Валахии, Молдавии, Бессарабии и Буковине; мадьяры, составляющие только одну треть населения, поневоле должны искать опоры и покровительства в Вене; а императорская Вена, которая не может переварить мадьярского отторжения, питает, равно как и все одряхлевшие и падшие династические правительства, тайную надежду на чудесное восстановление утраченного могущества, чрезвычайно рада этим внутренним раздорам, не позволяющим Венгерскому королевству установиться, и втайне разжигает славянские и румынские страсти против мадьяр. Мадьярские правители и политические люди это знают и в отплату, с своей стороны, поддерживают тайное сношение с князем Бисмарком, который, предвидя неизбежную войну против Австрийской империи, обреченной на гибель, заигрывает с мадьярами.

Цислейтанское, или германо-славянское, государство находится в положении ничуть не лучшем. Тут немного больше семи миллионов немцев, включая евреев, заявляют претензию управлять одиннадцатью с половиною миллионами славян.

Претензия эта, разумеется, странная. Можно сказать, что с самых древних времен исторической задачей немцев было завоевывать славянские земли, истреблять, покорять и цивилизовать, т. е. немечить или мешчанить славян. Отсюда возникла между обоими племенами глубокая историческая и взаимная ненависть, обусловленная с обеих сторон специальным положением каждой.

Славяне ненавидят немцев, как ненавидят всех победителей народы завоеванные, но не примирившиеся

и в душе своей не покорившиеся. Немцы ненавидят славян, как господа ненавидят обыкновенно своих рабов; ненавидят их за ненависть, которую они, немцы, заслужили со стороны славян; ненавидят их за ту невольную и беспрестанную боязнь, которую возбуждают в них неугасимая мысль и надежда славян на освобождение.

Как все завоеватели чужой земли и покорители чужого народа, немцы в одно и то же время совершенно несправедливо и ненавидят, и презирают славян. Мы сказали, за что они их ненавидят, презирают же они их за то, что славяне не умели и не хотели онемечиваться. Замечательно, что прусские немцы самым серьезным образом и горько упрекают австрийских немцев и обвиняют австрийское правительство чуть ли не в измене за то, что они не умели онемечить славян. Это, по их убеждению, да и в самом деле, составляет величайшее преступление против общенемецких патриотических интересов, против *пангерманизма*.

Угрожаемые, или, вернее, уже теперь отовсюду гонимые, не совсем раздавленные этим ненавистным для них пангерманизмом, австрийские славяне, за исключением поляков, противопоставили ему другую отвратительнейшую нелепость, другой не менее свободопротивный и народоубийственный идеал — панславизм¹.

Мы не утверждаем, чтобы все австрийские славяне, даже помимо поляков, поклонялись этому столь же уродливому, сколько и опасному идеалу, к которому, заметим мимоходом, между турецкими славянами, несмотря на все происки русских агентов, беспрестанно шляющихся

¹ Мы столько же отъявленные враги *панславизма*, сколько и *пангерманизма*, и намереваемся в одной из будущих книжек посвятить этому вопросу, по-нашему, чрезвычайно важному, особую статью; теперь же скажем только, что считаем священной и неотлагаемую обязанностью для русской революционной молодежи противодействовать всеми силами и всевозможными средствами панславистической пропаганде, производимой в России и главным образом в славянских землях правительственными официальными и вольнославянофильствующими или официальными русскими агентами; они стараются уверить несчастных славян, что петербургский славянский царь, проникнутый горячею отеческою любовью к славянским братьям, и подлая народоненавистная и народогубительная всероссийская империя, задушившая Малороссию и Польшу, а последнюю даже продала частью немцам, могут и хотят освободить славянские страны от немецкого ига, и это в то самое время, когда петербургский кабинет явным образом продает и предаст всю Богемию с Моравиею князю Бисмарку в вознаграждение за обещанную помощь на Востоке.

между ними, проявляется чрезвычайно мало симпатии. Но тем не менее верно, что чаяние избавления и избавителя от Петербурга довольно сильно распространено между австрийскими славянами. Страшная и, прибавим, совершенно законная ненависть довела их до такой степени безумия, что, позабыв или не зная всех бедствий, претерпеваемых Литвою, Польшею, Малороссиею, да и самим великорусским народом под деспотизмом московским и петербургским, они стали ждать спасения от нашего всероссийски-царского кнута!

Что такие нелепые ожидания могли развиваться в славянских массах, удивляться не следует. Они не знают истории, не знают также и внутреннего состояния России, они слышали только, что на смех и наперекор немцам образовалась огромная, будто бы чисто славянская империя, до такой степени могущественная, что перед нею дрожат ненавистные немцы. Немцы дрожат, следовательно, славянам надо радоваться; немцы ненавидят, значит, славяне должны любить.

Все это очень естественно. Но странно, грустно и непростительно, что среди образованного класса в австрийско-славянских землях создавалась целая партия, во главе которой стоят люди опытные, умные, сведущие и открыто проповедают панславизм или, по крайней мере, в смысле иных, освобождение славянских племен посредством могучего вмешательства русской империи, а в смысле других — даже создание *великого царства славянского* под державою русского царя.

Замечательно, до какой степени эта проклятая немецкая цивилизация, по существу своему буржуазная и потому государственная, успела проникнуть в души даже патриотов славянских. Они родились в онемечившемся буржуазном обществе, учились в немецких школах и университетах, привыкли думать, чувствовать, хотеть по-немецки и стали бы совершенными немцами, если бы цель, которую они преследуют, не была антинемецкая: немецкими путями и средствами они хотят, думают освободить славян из-под немецкого ига. Не понимая, по своему немецкому воспитанию, другого способа освобождения, как посредством образования славянских государств или единого могущественного славянского государства, они задаются и целью совершенно немецкою, потому что новейшее государство, централистическое, бюрократическое и полицейско-военное, вроде, например, новой Германс-

кой или всероссийской империи, есть создание чисто немецкое; в России оно было прежде с примесью татарского элемента, но за татарскою любезностью, право, и в Германии теперь дела не станет.

По всей природе и по всему существу своему славяне решительно племя не политическое, т. е. не государственное. Напрасно чехи поминают свое великое царство Моравское, а сербы царство Душана*. Все это или эфемерные явления, или древние басни. Верно то, что ни одно славянское племя само собой не создало государства.

Польская монархия-республика создавалась под двойным влиянием германизма и латинизма после совершенного поражения, нанесенного крестьянскому народу (хлопам), и после рабского покорения его под иго шляхты, которая, по свидетельству и по мнению многих польских историков и писателей (между прочим Мицкевича), не была даже славянского происхождения.

Богемское, или чешское, королевство было слеплено чисто по образу и подобию немецкому, под прямым влиянием немцев, вследствие чего Богемия так рано стала органическим членом, неотрывною частью Германской империи.

Ну, а историю образования всероссийской империи все знают; тут участвовали и татарский кнут, и византийское благословение, и немецкое чиновно-военное и полицейское просвещение. Бедный великорусский народ, а потом и другие народы, малороссийский, литовский и польский, присоединенные к ней, участвовали в ее создании только своею спиною.

Итак, несомненно, что славяне никогда сами собой, своею собственною инициативой государства не слагали. А не слагали они его потому, что никогда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают государство и создают его непременно себе в пользу, в ущерб покоренным народам.

Славяне были по преимуществу племенем мирным и земледельческим. Чуждые воинственного духа, которым одушевлялись германские племена, они были по этому самому чужды тем государственным стремлениям, которые с ранних пор проявились в германцах. Живя отдельно и независимо в своих общинах, управляемых по патриархальному обычаю стариками, впрочем, на основании выборного начала и пользуясь все одинаково общин-

ною землю, они не имели и не знали дворянства, не имели даже с собой касты жрецов, были все равны между собою, осуществляя, правда, еще только в патриархальном и, следовательно, в самом несовершенном виде идею человеческого братства. Не было постоянной политической связи между общинами. Но когда угрожала общая опасность, например, нападение чужеземного племени, они временно заключали оборонительный союз, и лишь только опасность миновала, эта тень политического соединения исчезала. Значит, не было и не могло быть славянского государства. Но существовала зато связь общественная, братская между всеми славянскими племенами, в высшей степени гостеприимными.

Естественно, что при такой организации славяне должны были оказаться беззащитными против нападений и захватов воинственных племен, особенно германцев, стремившихся распространить повсюду свое господство... Славяне были отчасти истреблены, большею же частью покорены турками, татарами, мадьярами, а главным образом немцами.

Со второй половины X века начинается мученическая история их рабства, но не только мученическая, а также и героическая. В многовековой, непрерывной и упорной борьбе против завоевателей они пролили много крови за свою земскую волю. Уже в XI веке мы встречаем два факта: всеобщее восстание славянских язычников, обитавших между Одером, Эльбою и Балтийским морем, против немецких рыцарей и попов и столь же знаменательное возмущение великопольских хлопов против шляхетского господства. Затем до XV века продолжалась борьба мелкая, незаметная, но непрерывная западных славян против немцев, южных против турок, северо-восточных против татар.

В XV веке мы встречаем великую и на этот раз победоносную, а также чисто народную революцию чешских гуситов*. Оставляя в стороне их религиозный принцип, который, однако, заметим мимоходом, был несравненно ближе к началу человеческого братства и народной свободы, чем принцип католический и последовавший за ним протестантский принцип, — мы обратим внимание на чисто социальный и противогосударственный характер этой революции. Это был бунт славянской общины против немецкого государства.

В XVII веке, вследствие целого ряда измен пражского полуонемеченного мещанства, гуситы претерпели окончательное поражение. Почти половина чешского народонаселения была истреблена, и земли отданы колонистам из Германии. Немцы и вместе с ними и иезуиты восторжествовали, и в продолжение двух веков с лишком после этого кровавого поражения западно-славянский мир оставался неподвижен, нем под гнетом католической церкви и восторжествовавшего германизма. В то же самое время южные славяне владели рабскую долю под преобладанием мадьярского племени или под игом турецким. Но зато славянский бунт во имя тех же народно-общинных начал воспрянул на северо-востоке.

Не говоря уже об отчаянной борьбе Великого Новгорода, Пскова и других областей против царей московских в XVI веке, ни о союзном ополчении великорусского земства против польского короля, иезуитов, московских бояр и вообще против преобладания Москвы в начале XVII века, вспомним знаменитое восстание малороссийского и литовского населения против польской шляхты, а вслед за ним еще более решительное восстание приволжского крестьянства под предводительством Степана Разина; наконец, сто лет спустя, не менее знаменательный бунт Пугачева. И во всех этих чисто народных движениях, восстаниях и бунтах мы находим ту же ненависть к государству, то же стремление к созданию вольно-общинного крестьянского мира.

Наконец, XIX век может быть назван веком общего пробуждения для славянского племени. О Польше и говорить нечего. Она никогда не засыпала, потому что со времени разбойнического похищения ее свободы, правда, не народной, а шляхетской и государственной, со времени ее разделения между тремя хищническими державами она не переставала бороться, и, что ни делай Муравьевы и Бисмарк, она будет бунтовать, пока не добунтуется до свободы. К несчастью для Польши, руководящие партии ее, до сих еще преимущественно шляхетские, не умели отказаться от своей государственной программы и вместо того чтобы искать освобождения и обновления своей родины в социальной революции, повинаясь древним преданиям, ищут их то в покровительстве какого-нибудь Наполеона, то в союзе с иезуитами и австрийскими феодалами.

Но в нашем веке пробудились также и западные, и южные славяне. Наперекор всем немецким политическим, полицейским и цивилизаторским усилиям, Богемия после трехвекового сна воспрянула вновь как страна чисто славянская и стала естественным средоточием для всего западно-славянского движения. Тем же самым стала турецкая Сербия для движения южно-славянского.

Но вместе с возрождением славянских племен возбуждается вопрос чрезвычайно важный и, можно сказать, роковой.

Каким образом должно совершиться это славянское возрождение? Древним ли путем государственного преобладания или путем действительного освобождения всех народов, по крайней мере европейских, освобождения всего европейского пролетариата от всякого ига, и прежде всего от ига государственного?

Должны ли и могут ли славяне избавиться от чужеземного, главным образом от немецкого ига, наиболее для них ненавистного, прибегая, в свою очередь, к немецкому методу завоевания, захвата и принуждения завоеванных народных масс к ненавистному им, прежде немецкому, теперь же славянскому верноподданничеству, или только путем солидарного восстания всего европейского пролетариата, посредством Социальной Революции?

Все будущее славян зависит от того, какой из этих двух путей они выберут. На который же из них они должны решиться?

По нашему убеждению, поставить этот вопрос — значит разрешить его. Вопреки премудрому изречению царя Соломона, старое никогда не повторяется*. Новейшее государство, только вполне осуществившее древнюю идею господства, точно так же, как христианство осуществляет последнюю форму богословского верования или религиозного рабства; государство бюрократическое, военно-полицейское и централистическое, стремящееся по самой необходимости своего внутреннего существа захватывать, покорять, душить все, что вокруг него существует, живет, движется, дышит; это государство, нашедшее последнее выражение свое в пангерманской империи, отживает ныне свой век. Его дни сочтены, и от падения его все народы ждут своего окончательного избавления.

Неужели славянам суждено повторить человеконенавистный, народоненавистный, уже теперь осужденный историею ответ? И для чего же? Чести нет никакой; напро-

тив — преступление, бесславление, проклятие современников и потомков. Или славянам стало завидно, что немцы заслужили ненависть всех остальных народов Европы? Или им нравится роль всемирного Бога? Черт побери всех славян, со всею их военною будущностью, если после многолетнего рабства, мучения, молчания они должны принести человечеству новые цепи!

А польза для славян какая? Какая может быть польза для славянских народных масс от образования великого славянского государства? В таких государствах есть выгода несомненная, но только не для многомиллионного пролетариата, а для привилегированного меньшинства, поповского, дворянского, буржуазного или, пожалуй, хотя интеллектуального, т. е. такого, которое, во имя своей патентованной учености и своего мнимо умственного превосходства, считает себя призванным заправлять массами; выгода есть для нескольких тысяч притеснителей, палачей и эксплуататоров пролетариата. Для самого пролетариата, для чернорабочих масс чем обширнее государство, тем тяжелее цепи и тем теснее тюрьма.

Мы сказали и доказали выше, что общество не может быть и оставаться государством, если не сделается завоевательным государством. Та самая конкуренция, которая на экономическом поле уничтожает и поглощает небольшие и даже средние капиталы, фабричные заведения, поземельные владения и торговые дома в пользу огромных капиталов, фабрик, имуществ и торговых домов, уничтожает и поглощает маленькие и средние государства в пользу империй. Отныне всякое государство, если оно хочет существовать не на бумаге только и не по милости его соседей, пока им угодно терпеть его существование, но действительно, самостоятельно, независимо, должно непременно быть завоевательным.

Но быть завоевательным государством значит быть вынужденным держать в насильном подчинении много миллионов чужого народа. Для этого необходимо развитие громадной военной силы. А где торжествует военная сила, прощай, свобода! Особенно прощай, воля и благоденствие рабочего народа. Из этого следует, что образование великого славянского государства есть не что иное, как образование громадного славяно-народного рабства.

«Но, — ответят нам славянские государственники, — мы не хотим одного великого славянского государства, мы желаем только образования нескольких чисто славянских

государств средней величины как необходимого залога для независимости славянских народов». Но это мнение противно логике и историческим фактам, силе вещей; никакое государство средней величины существовать самостоятельно теперь не может. Значит, или славянских государств не будет, или будет одно громадное и всепоглощающее государство панславистское, кнотовое, С.-Петербургское.

Да и может ли славянское государство бороться против громадного могущества новой пангерманской империи, если оно само не будет столь же громадно и столь же могущественно? Рассчитывать на дружное действие многих отдельных государств, связанных одними интересами, никогда не следует; во-первых, потому что соединение разнородных организаций и сил, хотя бы равнялось или даже превышало по числу сил противников, все-таки слабее последних, потому что последние однородны и организация их, повинующаяся одной мысли, одной воле, крепче и проще; во-вторых, потому что никогда не следует рассчитывать на дружное содействие многих держав, даже и тогда, когда их собственные интересы требуют такого союза. Правители государств, точно так же как и простые смертные, большею частью поражены слепотою, мешающею им видеть за интересом и за страстями минуты существенные требования их собственного положения.

В 1863 прямым интересом Франции, Англии, Швеции и даже Австрии было вступить за Польшу против России, однако никто не вступился. В 1864 интерес еще более прямой предписывал Англии, Франции, особенно Швеции и даже России вступить за Данию, угрожаемую прусско-австрийским, в сущности же, прусско-германским завоеванием, и опять никто не вступился. Наконец, в 1870 Англия, Россия и Австрия, не говоря о маленьких северных государствах, должны были в своем очевидном интересе остановить торжественное вторжение прусско-германских войск во Францию до самого Парижа и чуть не до самого юга; но и на этот раз никто не вмешался, а только когда создалось новое, всем грозящее германское могущество, державы поняли, что должны были вмешаться, но было уже поздно.

Значит, на правительственный ум соседних держав рассчитывать не должно, надо рассчитывать на свои собственные силы, и эти силы должны, по крайней мере, рав-

няться силам противника. Стало быть, ни одно славянское государство, взятое отдельно, не будет в состоянии противиться напору пангерманской империи.

Но нельзя ли будет противопоставить пангерманской централизации панславянскую федерацию, т. е. союз самостоятельных славянских государств или штатов, вроде Северо-Американского или Швейцарского? И на этот вопрос мы должны отвечать отрицательно.

Во-первых, чтобы какой-нибудь союз мог состояться, необходимо, чтобы всероссийская империя рушилась, чтобы она распалась на много отдельных и друг от друга независимых и только федеративно друг с другом связанных государств, потому что соблюдение независимости и свободы небольших или даже средних славянских государств в таком федеративном союзе с такою громадною империею просто немыслимо.

Положим даже, что петербургская империя распадется на большее или меньшее число вольных штатов и что организованные, с своей стороны, как самостоятельные государства Польша, Богемия, Сербия, Болгария и т. д. образовали вместе с этими новыми русскими штатами великую славянскую федерацию. И в таком случае, утверждаем мы, эта федерация не будет в состоянии бороться против пангерманской централизации по той простой причине, что военно-государственная сила будет всегда на стороне централизации.

Федерация штатов может до некоторой степени гарантировать буржуазную свободу, но государственно-военной силы создать не может потому именно, что она федерация; государственная сила требует непременно централизации. Нам укажут на пример Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. Но Швейцария именно ради увеличения своих военных и государственных сил стремится теперь явным образом к централизации, а федерация остается поныне возможною в Северной Америке потому только, что на американском континенте в соседстве с великою республикою нет ни одного могучего централизованного государства вроде России, Германии или Франции.

Итак, чтобы противодействовать на государственном или политическом поприще торжествующему пангерманизму, остается одно только средство — создать панславянское государство. Средство во всех других отношениях чрезвычайно невыгодное для славян, потому что оно

непременно повлечет за собою общее славянское рабство под всероссийским кнутом. Но верно ли оно, по крайней мере, в отношении к своей цели, т. е. низложению германского могущества и покорению немцев панславянскому, т. е. петербурго-императорскому игу?

Нет, не только не верно, но даже, навверное, недостаточно. Правда, немцев в Европе всего 50 миллионов с половиною (включая, разумеется, 9 миллионов австрийских немцев). Но положим, что мечта немецких патриотов сбылась окончательно и что в состав Германской империи вошли бы вся фламандская часть Бельгии, Голландия, немецкая Швейцария, вся Дания и даже Швеция с Норвегией, что вместе составляет народонаселение немного более 15 миллионов. Ну что же? и тогда немцев будет в Европе много-много 66 миллионов, а славян считается около 90 миллионов. Значит, в количественном отношении славяне сильнее немцев, и несмотря на то, что в количественном отношении славянское население Европы превосходит почти на треть германское, мы все-таки утверждаем, что никогда панславянское государство не сравняется могуществом и настоящею государственно-военною силою с империей пангерманской. Почему? Потому что в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины, в славянах же не только нет этой страсти, но действуют и живут страсти совершенно противные; поэтому, чтобы дисциплинировать их, надо держать их под палкою, в то время как всякий немец с убеждением свободно съел палку. Его свобода состоит именно в том, что он вымуштрован и охотно преклоняется перед всяким начальством.

Притом немцы народ серьезный и работающий, они учены, бережливы, нарядливы, отчетливы и расчетливы, что не мешает им, когда надо, а именно, когда того хочет начальство, отлично драться. Они доказали это в последних войнах. К тому же их военная и административная организация доведена до наивозможнейшей степени совершенства, степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет. Так вообразимо ли, чтоб славяне могли состязаться с ними на поле государственности!

Немцы ищут жизни и свободы в государстве; для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе

против немецкого государства, но во всенародном бунте против всякого государства, в Социальной Революции.

Славяне могут освободить себя, могут разрушить ненавистное им немецкое государство не тщетными стремлениями подчинить, в свою очередь, немцев *своему* преобладанию, сделать их рабами своего славянского государства, а только призывом их к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств. Но государства сами не валятся; их может только повалить всенародная и всеплеменная, интернациональная Социальная Революция.

Организовать народные силы для совершения такой революции — вот единственная задача людей, искренно желающих освобождения славянского племени из-под многолетнего ига. Эти передовые люди должны понять, что то самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских народов, а именно их неспособность образовать государство, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность, дает смысл всем их настоящим народным движениям. Несмотря на громадное развитие новейших государств и вследствие этого окончательного развития, доведшего, впрочем, совершенно логически и с неотвратимою необходимостью самый принцип государственности до абсурда, стало ясно, что дни государств и государственности сочтены и что приближаются времена полного освобождения чернорабочих масс и их вольной общественной организации снизу вверх, без всякого правительственного вмешательства из вольных экономических, народных союзов, помимо всех старых государственных границ и всех национальных различий, на одном основании производительного труда, совершенно очеловеченного и вполне солидарного при всем своем разнообразии.

Передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта мане-

ра, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа.

Всякий народ, точно так же как и всякое лицо, есть поневоле то, что он есть и имеет несомненное право быть самим собою. В этом заключается все так называемое национальное право. Но если народ или лицо существуют в таком виде и не могут существовать в другом, из этого не следует, чтобы они имели право и что для них было бы полезно ставить — одному свою национальность, другому свою индивидуальность как особые начала и чтобы они должны были вечно возиться с ними. Напротив, чем меньше они думают о себе и чем более проникаются общечеловеческим содержанием, тем более оживотворяется и получает смысл национальность одного и индивидуальность другого.

Так точно и славяне. Они останутся чрезвычайно ничтожны и бедны, пока будут продолжать хлопотать о своем узком, эгоистическом и вместе с тем отвлеченном славянизме, постороннем, а по тому самому противном общечеловеческому вопросу и делу, и завоюют они только тогда как славяне свое законное место в истории и свободном братстве народов, когда проникнутся вместе с другими мировым интересом.

Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами, и тот народ или те народы, которые находят в себе призвание, т. е. достаточно понимания, страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, становятся главным образом народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи истории, были различны. Так, чтобы не идти слишком далеко, был интерес не столько человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию народов, интерес преобладающий и в высшей степени завоевательный, католической веры и католической церкви, а те народы, которые тогда находили в себе наиболее склонности и способности предаться ему, — немцы, французы, испанцы, отчасти поляки, — были именно вследствие того каждый в своем кругу народами первенствующими.

Последовал другой период умственного возрождения и религиозного бунта. Общечеловеческий интерес возрождения вывел на первый план прежде всего итальянцев,

потом французов и, в гораздо слабейшей степени, англичан, голландцев и немцев. Но религиозный бунт, еще прежде поднявший Южную Францию, выдвинул на самое видное место в XV веке наших славянских гуситов. Гуситы после вековой геройской борьбы были задавлены, так же как раньше их были задавлены французские альбигойцы*. Тогда Реформация оживотворила народы немецкий, французский, английский, голландский, швейцарский и скандинавский. В Германии она очень скоро утратила характер бунта, не свойственный немецкому темпераменту, и приняла вид мирной государственной реформы, послужившей немедленно основанием для самого правильного, систематического, ученого государственного деспотизма. Во Франции после долгой и кровавой борьбы, послужившей немало к развитию свободной мысли в этой стране, они были раздавлены торжествующим католицизмом. Зато в Голландии, в Англии, а вслед за тем и в Соединенных Штатах Америки они создали новую цивилизацию, по сущности своей антигосударственную, но буржуазно-экономическую и либеральную.

Таким образом, религиозное реформационное движение, обнявшее почти всю Европу в XVI веке, породило в цивилизованном человечестве два главные направления: экономически и либерально-буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, а потом Англию и Америку, и деспотически-государственное, по сущности своей также буржуазное и протестантское, хотя смешанное с дворянским католическим элементом, впрочем, вполне подчинившимся государству. Главными представителями этого направления были Франция и Германия — сначала австрийская, потом прусская.

Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять на первое, на первенствующее место Францию. Она создала новый общечеловеческий интерес, идеал полнейшей человеческой свободы, но только на *исключительно политическом* поприще; идеал, заключавший неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый; политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, т. е. свобода в государстве, есть ложь.

Французская революция породила, таким образом, в свою очередь, два главные направления, друг другу противоположные, друг с другом вечно борющиеся и вместе

с тем неразрывные, скажем более, сходящиеся непременно образом в одинаковом стремлении к одной и той же цели — систематического эксплуатации чернорабочего пролетариата в пользу имущего и численно постепенно уменьшающегося, а вместе с тем все более и более обогащающегося меньшинства.

На этой эксплуатации народного труда одна партия хочет построить демократическую республику; другая, более последовательная, стремится основать на ней монархический, т. е. искренний государственный, деспотизм, централистическое, бюрократическое, полицейское государство военною диктатурою, еле-еле замаскированную невинными конституционными формами.

Первая партия под предводительством г-на Гамбетты стремится ныне захватить власть во Франции. Вторая, предводимая князем Бисмарком, уже вполне воцарилась в прусской Германии.

Трудно решить, которое из этих двух направлений полезнее для народа или, говоря точнее, которое из них представляет наименее вреда и зла для народа, для чернорабочих масс, для пролетариата; оба стремятся с одинаково упорною страстью к основанию или к укреплению сильного государства, т. е. полнейшего рабства пролетариата.

Против этих народопритеснительных направлений государственных, республиканских и новомонархических, порожденных великою буржуазною революциею 1789 и 1793, из глубины самого пролетариата, сначала французского и австрийского, а потом и других стран Европы, выработалось наконец направление совершенно новое и прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатирования и всякого политического или юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, т. е. к уничтожению всех классов посредством экономического уравнивания всех состояний и к уничтожению их последней опоры, Государства.

Такова программа Социальной Революции.

Итак, в настоящее время существует для всех стран цивилизованного мира только один всемирный вопрос, один мировой интерес — полнейшее и окончательное освобождение пролетариата от экономической эксплуатации и от государственного гнета. Очевидно, что этот вопрос без кровавой, ужасной борьбы разрешиться не может и что настоящее положение, право, значение всякого

народа будет зависеть от направления, характера и степени участия, которое он примет в этой борьбе.

Не ясно ли, стало быть, что славяне должны искать и могут завоевать свое право и место в истории и в братском союзе народов только путем Социальной Революции?

Но Социальная Революция не может быть одинокою революциею одного народа; она по существу своему революция интернациональная, значит, славяне, отыскивающие своей свободы и ради своей свободы, должны связать свои стремления и организацию своих народных сил с стремлениями и с организацией народных сил всех других стран; славянский пролетариат должен войти целою массою в Интернациональную ассоциацию рабочих.

Мы уже имели случай упомянуть о великолепном заявлении интернационального братства венскими работниками в 1868, отказавшимися, несмотря на все убеждения австрийских и швабских патриотов, поднять пангерманское знамя, объявив решительно, что рабочие целого мира их братья и что они не признают другого лагеря, кроме интернационально-солидарного пролетариата всех стран; они вместе с тем очень справедливо рассудили и высказали, что именно им, как австрийским работникам, нельзя поднять никакого национального знамени, так как австрийский пролетариат состоит из самых разных племен: мадьяр, итальянцев, румынов, главнейшим образом из славян и немцев; и что поэтому они должны искать практического разрешения своих вопросов вне так называемого национального государства.

Еще несколько шагов в этом направлении, и австрийские работники поняли бы, что освобождение пролетариата невозможно решительно ни в каком государстве и что первое условие его — разрушение всякого государства; а такое разрушение возможно только при дружном содействии пролетариата всех стран, первая организация которого на почве экономической составляет именно предмет Интернациональной ассоциации рабочих.

Поняв это, немецкие работники в Австрии сделались бы инициаторами не только своего собственного освобождения, но вместе с тем и освобождения всех не немецких народных масс в Австрийской империи, включая, разумеется, и всех славян, которых бы мы первые стали уговаривать вступить с ними в союз, имеющий целью разрушение государства, т. е. народной тюрьмы, и основание

нового интернационального рабочего мира на начале полнейшего равенства и свободы.

Но австрийские рабочие этих необходимых первых шагов не сделали и не сделали их потому, что были остановлены на первом шагу германо-патриотической пропагандой г-на Либкнехта и других социальных демократов, приехавших вместе с ним в Вену, кажется, в июле 1868 года именно с целью совратить верный социальный инстинкт австрийских работников с пути интернациональной революции и направить его к политической агитации в пользу основания единого государства, называемого ими *народным*, разумеется, пангерманского — одним словом, для осуществления патриотического идеала князя Бисмарка, только на социально-демократической почве и посредством так называемой легальной народной агитации.

По этому пути не только славянам, но даже и немецким работникам идти не следует по той простой причине, что государство, называясь оно десять раз народным и будь оно разукрашено наидемократичнейшими формами, для пролетариата будет непременно тюрьмою, — славянским же идти по этому направлению еще невозможно, потому что это значило бы подчиниться охотно немецкому игу, а это противно всякому славянскому сердцу. Вследствие того мы не только не станем уговаривать братьев славян вступить в ряды социально-демократической партии немецких рабочих, во главе которых стоят прежде всего в виде дуумвирата, облеченного диктаторскою властью, гг. Маркс и Энгельс, а за ними или под ними гг. Бебель, Либкнехт и несколько литераторствующих евреев; мы, напротив, должны употребить все усилия, чтобы отвратить славянский пролетариат от самоубийственного вступления в союз с этою партией, отнюдь не народною, но по своему направлению, по цели и средствам чисто буржуазною и к тому же исключительно немецкою, т. е. славяноубийственною.

Но чем энергичнее славянский пролетариат ради своего спасения должен отвергать не только союз, но и сближение с этою партией — мы не говорим, с работниками находящимися в ней, но с ее организацией, а главное, с ее начальством везде и всегда буржуазным, — тем теснее, ради того же спасения, должен он сблизиться и связаться с Интернациональным обществом рабочих. Отнюдь не должно смешивать немецкую партию социальных демократов с Интернационалом. Политически-патриотическая

чтобы с ним освоиться и, наконец, примириться при помощи какой-нибудь либеральной или даже демократически-доктринерной лжи; а такую ложью наше время богато. Раз примирившись с железною необходимостью, против которой они бунтовать не в силах, они становятся уже отъявленными мошенниками, и мошенниками тем более опасными для народа, чем либеральнее и демократичнее их публичные заявления.

Тогда те из них, которые половчее и похитрее, приобретают в микроскопическом правительстве микроскопического княжества преобладающее влияние и, едва успев приобрести его, начинают продавать себя во все стороны: дома — владетельному князю или какому-нибудь претенденту на престол (акт низвержения одного князя для замещения его другим в Сербском княжестве называется революцией); или вместо того, а иногда в то же самое время правительствам великих покровительствующих держав, России, Австрии, Турции, теперь Германии, заступившей на востоке, как и везде, место Франции, и даже нередко всех вместе.

Можно себе представить, как легко и свободно живет-ся народу в таком государстве, а между тем не должно забывать, что Сербское княжество — государство конституционное, где все законы пекутся скупчиною, избираемою народом.

Иные сербы утешают себя мыслью, что это положение, по своему существу переходное, представляет неотвратимое зло в настоящее время, но что оно непременно изменится, как только маленькое княжество, расширив свои границы и приняв в свой состав все сербские, иные даже говорят, все юго-славянские, земли, восстановит во всем его объеме царство Душана. Тогда, говорят они, станет для народа время полнейшей свободы и самого широкого раздолья.

Да, есть между сербами люди, которые до сих пор пренаивно верят в это!

Да, они воображают, что когда это государство расширит свои пределы и когда число его подданных удвоится, утроится, удесятерится, оно сделается народнее, и его учреждения, все условия его существования, его правительственные действия будут менее противны народным интересам и всем народным инстинктам. Но на чем основывается такая надежда или такое предположение? На теории? Но теоретически, напротив, кажется ясно, что

чем обширнее государство, тем многосложнее его организм и тем более чуждо оно народу и, именно вследствие того, тем противнее интересы его интересам народных масс, тем более подавляющим гнетом оно ложится на них и тем невозможнее для народа всякий контроль над ним, тем далее государственное управление от народного самоуправления.

Или основываются их ожидания на практическом опыте других стран? В ответ достаточно указать на Россию, на Австрию, на расширенную Пруссию, на Францию, на Англию, на Италию, даже на Соединенные Штаты Америки, где заправляет всеми делами особый, совершенно буржуазный класс так называемых политиканов, или политических дельцов, а чернорабочим массам живет почти так же тесно и жутко, как и в монархических государствах.

Найдутся, пожалуй, многообразованные сербы, способные возразить, что дело совсем не в народных массах, которые имеют и будут иметь всегда своим назначением материальным грубым трудом кормить, одевать и вообще содержать цвет отечественной цивилизации, настоящей представительницы страны, и что поэтому дело лишь в образованных, более или менее имущих и привилегированных классах.

В том-то и дело, что эти так называемые образованные классы, дворянство, буржуазия, когда-то действительно процветавшие и стоявшие во главе живой и прогрессивной цивилизации в целой Европе, в настоящее время отупели и опошлели от ожирения и от трусости, что если они еще что-нибудь представляют, то разве самые зловредные и подлые свойства человеческой природы. Мы видим, что эти классы в такой высокообразованной стране, как Франция, неспособны были даже отстоять независимость своей родины против немцев. Мы видели и видим, что в самой Германии эти классы способны только к верноподданническому лакейству.

И, наконец, заметим, что в турецкой Сербии эти классы даже совсем не существуют; там существует только класс бюрократический. Итак, сербское государство будет давить сербский народ для того только, чтобы жирнее жилось сербским чиновникам.

Другие, ненавидя от всей души настоящее устройство Сербского княжества, терпят его, однако, смотря на него как на средство или орудие, необходимое для освобожде-

ния славян, еще подвластных турецкому или даже австрийскому игу. В известный момент, говорят они, княжество может сделаться основой и точкою отправления для общеславянского бунта. Это еще одно из тех пагубных заблуждений, которые надо непременно разрушить для собственного блага славян.

Их соблазняет пример Пьемонтского королевства, будто бы освободившего и соединившего всю Италию. Италия освободилась сама рядом бесчисленных героических жертв, которые не переставала приносить в продолжение пятидесяти лет. Она обязана своею политическою независимостью главным образом сорокалетним непрерывным и неудержимым усилиям своего великого гражданина, Джузеппе Мадзини, умевшего, можно сказать, воскресить, а потом воспитать итальянскую молодежь в опасном, но доблестном деле патриотической конспирации. Да, благодаря двадцатилетней работе Мадзини, в 1848, когда восставший народ позвал опять на праздник революции весь европейский мир, во всех городах Италии, от самого крайнего юга до крайнего севера, нашлась кучка смелых молодых людей, поднявших знамя бунта. Вся итальянская буржуазия за ними последовала. А в Ломбардо-Венецианском королевстве, находившемся еще тогда под австрийским владычеством, встал целый народ. И сам народ без всякой военной помощи выгнал австрийские полки из Милана и Венеции.

Что же сделал королевский Пьемонт? Что сделал король Карл Альберт, отец Виктора Эммануила, тот самый, который, будучи еще наследным принцем (1821), выдал австрийским и пьемонтским палачам своих товарищей по заговору в пользу освобождения Италии. Первым делом пьемонтского короля в 1848 было парализовать революцию во всей Италии посредством обещаний, происков и интриг. Ему очень хотелось овладеть Италией, но он столько же ненавидел революцию, сколько боялся ее. Он действительно парализовал революцию, силу и движение народа в Италии, после чего австрийским войскам нетрудно было справиться с его войском.

Сына его, Виктора Эммануила, называют освободителем и соединителем итальянских земель. Это гнусная клевета на него! Уж если кого называть освободителем Италии, то скорее Людовика Наполеона, императора французов. Но Италия освободилась сама, а главное, она

соединилась сама, помимо Виктора Эммануила и против воли Наполеона III.

В 1860, когда Гарибальди предпринял свою знаменитую высадку в Сицилию, в то самое время, когда он отправился из Генуи, граф Кавур, министр Виктора Эммануила, предупредил неаполитанское правительство об угрожавшем ему нападении. Но когда Гарибальди освободил и Сицилию, и все Неаполитанское королевство, Виктор Эммануил принял от него, разумеется, даже без большой благодарности, и то и другое.

И в продолжение тринадцати лет, что сделало его управление с этою несчастною Италией? Он ее разорил, просто ограбил, а теперь, ненавидимый всеми, своим деспотизмом заставляет почти жалеть изгнанных Бурбонов.

Так освобождают короли и государства своих соплеменников; и никому не было бы так полезно, как именно сербам, изучить в ее действительных подробностях новейшую историю Италии.

Одно из средств сербского правительства успокоивать патриотическую горячку своей молодежи состоит в периодических обещаниях объявить войну Турции будущей весною, а иногда осенью, по окончании сельских работ, и молодые люди верят, волнуются и всякое лето и всякую зиму готовятся, после чего всегда какое-нибудь непредвиденное препятствие, какая-нибудь нота одной из покровительствующих держав становится поперек обещанного объявления войны; она откладывается на полгода или на год, и таким образом вся жизнь сербских патриотов проходит в томительном и тщетном ожидании никогда не приходящего исполнения.

Сербское княжество не только не в состоянии освободить южно-славянские, сербские и не сербские племена, оно, напротив, своими происками и интригами положительно их разъединяет и обессиливает. Болгары, напр., готовы признать братьями сербов, но и слышать не хотят о сербском Душановском царстве; точно так же и хорваты, так же и черногорцы, и боснийские сербы.

Для всех этих стран спасение одно и путь к соединению один — Социальная Революция, но никак не государственная война, которая может привести только к одному — к покорению всех этих стран или Россией, или Австрией, или, по крайней мере вначале, вернее всего, разделению их между обеими.

Чешская Богемия не успела еще, благодаря небесам, восстановить во всем их древнем величии и славе державу и корону Венцеслава*; центральное правительство Вены обходится с Богемиею, как с простою провинциею, не пользующейся даже привилегиями Галиции, а между тем в Богемии столько же политических партий, сколько их в любом славянском государстве. Да, этот проклятый немецкий дух политиканства и государственности так проник в образование чешского юношества, что оно подвергается серьезной опасности утратить вконец способность понимать свой народ.

Чешский крестьянский народ представляет один из великолепнейших славянских типов. В нем течет гуситская кровь, горячая кровь таборитов**, живет память Жижекки; и что, по нашему собственному опыту и по воспоминаниям, вынесенным нами из 1848, составляет одно из завиднейших преимуществ чешской учащейся молодежи, это ее родственное, истинно-братское отношение к этому народу. Чешский городской пролетарий не уступает в энергии и в горячей преданности крестьянину; он также доказал это в 1848 году.

Пролетариат и крестьянство до сих пор любят учащуюся молодежь и верят в нее. Но молодые чешские патриоты не должны слишком рассчитывать на эту веру. Она необходимым образом должна будет ослабеть и под конец совсем исчезнуть, если они не обретут в себе достаточно справедливости, широкого чувства равенства, свободы и настоящей любви к народу, чтобы идти вместе с ним. Народ же чешский — а мы под словом народ разумеем всегда главным образом пролетариат, — итак, славянский пролетариат в Богемии стремится естественным и неотвратимым образом туда, куда стремится ныне пролетариат всех стран, к экономическому освобождению, к Социальной Революции.

Он был бы народом чрезвычайно обиженным природою и забитым историею или, говоря откровенно, чрезвычайно глупым и мертвым, если бы оставался чуждым этому стремлению, составляющему единственный существенный мировой вопрос нашего времени. Такого комплименту чешская молодежь не захочет сделать своему народу, а если бы захотела, то народ не оправдает его. Да к тому же мы имеем неопровержимое доказательство живого интереса западно-славянского пролетариата к социальному вопросу. Во всех австрийских городах, где сла-

вянское население смешано с немецким, славянские работники принимают самое энергическое участие во всех общих заявлениях пролетариата. Но в этих городах не существует почти других рабочих ассоциаций, кроме тех, которые признали программу социальных демократов Германии, так что выходит на деле, что славянские работники, увлеченные своим социально-революционным инстинктом, вербуются в партию, прямая и громко признанная цель которой — создание пангерманского государства, т. е. огромной немецкой тюрьмы.

Этот факт очень печален, но он столь же естествен. Славянским работникам предстоят два выбора: или, увлекаясь примером немецких работников, своих братьев по социальному положению, по общей судьбе, по голоду, по нужде и по всем притеснениям, вступить в партию, которая им обещает государство, правда, немецкое, но зато вполне народное и со всеми возможными экономическими льготами в ущерб капиталистов и собственников и в пользу пролетариата; или же, увлекаясь патриотической пропагандой своих маститых, знаменитых вождей и своей пылкой, но мало еще смыслящей молодежи, вступить в партию, в рядах и во главе которой они встречают ежедневных эксплуататоров и притеснителей, буржуазов, фабрикантов, купцов, денежных спекуляторов, попов-иезуитов и феодальных владельцев огромных наследственных или благоприобретенных поместий. Эта партия, впрочем, с гораздо большею последовательностью, чем первая, обещает им тюрьму национальную, т. е. славянское государство, восстановление во всем ее древнем блеске короны Венцеслава — точно будто от этого блеска чешским работникам станет легче!

Если бы славянским работникам действительно не было другого исхода, кроме этих двух путей, то, признаемся, мы сами посоветовали бы им избрать первый. Так, по крайней мере, они ошибаются, делят общую судьбу с братьями по труду, по преданиям, по жизни, немцами или не немцами, все равно; здесь же их заставляют называть братьями своих непосредственных палачей, своих кровопийц и принуждают налагать на себя самые тяжелые цепи во имя общеславянского освобождения. Там они обманываются, здесь их продают.

Но существует третий, прямой и спасительный выход — образование и союзная организация рабочих фабричных и земледельческих ассоциаций на основании

программы Интернационала; разумеется, не той программы, которая под именем Интернационала проповедуется партией, почти исключительно патриотической и политической, социальных демократов Германии; но той, которая теперь признается всеми вольными федерациями Интернационального общества рабочих*, а именно работниками итальянскими, испанскими, юрскими, французскими, бельгийскими, английскими и отчасти американскими, не признается же в сущности одними немцами¹.

Мы убеждены, что этот выход — единственный выход как для чехов, так и для всех других славянских народов, ищущих своего полного освобождения от всякого ига, немецкого и не немецкого; вне его остается только обман, для бесчестных и честолюбивых вожakov и предводителей партий — почести да карманная прибыль, а для черно-рабочих масс — рабство.

Вопрос для чешской и вообще для всякой славянской образованной молодежи поставлен теперь очень ясно: хочет ли она эксплуатировать свой народ, обогащаться его трудом и на плечах его удовлетворять подлое честолюбие? Она пойдет с старыми славянофильствующими партиями, с Палацкими, Ригерами, Браунерами и компанией. Спешим, впрочем, прибавить, что между молодыми приверженцами этих вождей есть и много ослепленных, обманутых, которые для себя собственно ничего не приобретают, но служат в руках искусных людей приманкою для народа. Роль, во всяком случае, весьма незавидная.

Те же, которые хотят искренно и действительно полной эмансипации народных масс, те пойдут с нами путем Социальной Революции, потому что нет другого пути для завоевания народной свободы.

До сих пор, однако, во всех западно-славянских странах преобладала политика старая, государственность самая узкая, разыгрывалась просто-напросто немецкая комедия, переведенная только на чешский язык; и даже не одна комедия, а целых две: одна чешская, другая польская. Кто не знает плачевной истории союзов и разрывов, перемежавшихся между государственными людьми Богемии и Галиции, и ряд уморительных представлений, данных чешскими и галицийскими депутатами, то вместе, то

¹ В Цюрихе образовалась славянская секция, вошедшая в состав Юрской Федерации; мы горячо рекомендуем всем славянам программу этой секции, которую помещаем в конце Введения (см. прим. Б).

порознь, в австрийском рейхсрате? В основе же всего лежала и лежит иезуитско-феодалная интрига. И такими жалкими, можно сказать, подлыми средствами эти господа надеются освободить своих сограждан! Странные государственные люди, и как, должно быть, потешается, глядя на их игру в государство, их близкий сосед, князь Бисмарк!

Раз, однако, после знаменитого поражения, претерпенного им в Вене, вследствие одной из бесчисленных изменений их галицийских союзников, чешский государственный триумвират, Палацкий, Ригер и Браунер, решился сделать смелую демонстрацию. По поводу славянской этнографической выставки, нарочно для этого открытой в Москве в 1867, они отправились сами и увлекли за собой большое количество западных и южных славян на поклонение белому царю, палачу славяно-польского народа. В Варшаве их встретили русские генералы, русские чиновники и русские чиновные дамы, и в польской столице, при гробовом молчании всего польского населения, эти свободолюбивые славяне целовались, обнимались с этими русскими братоубийцами, пили с ними и кричали «ура!» за славянское братство!

Все знают, какие речи они произносили потом в Москве и Петербурге. Одним словом, более постыдного поклонения дикой и беспощадной власти и более преступной измены и славянскому братству, и истине, и свободе со стороны маститых либералов, демократов и народолюбцев никогда не было видано — и эти господа преспокойно возвратились со всем синклитом своим в Прагу, и никто не сказал им, что они совершили не только подлость, но даже глупость.

Да, глупость совершенно бесполезную, потому что она нисколько им не послужила и не поправила их дел в Вене. Теперь это ясно; короны Венцеслава с ее старой независимостью они не восстановили и дожили до того, что новая парламентская реформа отняла у них и ту последнюю политическую почву, на которой они играли в государственную игру.

После своего поражения в Италии австрийское правительство, принужденное отпустить в известной мере на волю Венгерское королевство, долго думало, как ему устроить свое цислейтанское государство. Его собственные инстинкты и требования немецких либералов и демократов клонили его к централизации; но славяне, осо-

бенно Богемия и Галиция, опираясь на феодально-клерикальную партию, громко требовали федеративной системы. Это колебание продолжалось до нынешнего года. Наконец, правительство решилось, к ужасу славян и к величайшей радости немецких либералов и демократов, на все земли, входящие в состав цислейтанского государства, надеть опять старые немецкие бюрократические шапки.

Должно заметить, однако, что от этого Австрийская империя сильнее не сделалась. Она утратила настоящее средоточие. Все немцы и жидаы в империи ищут отныне своего центра в Берлине. В то же время часть славян смотрит на Россию; другие, руководимые инстинктом более верным, ищут спасения в образовании народной федерации. От Вены никто более не ждет ничего. Не ясно ли, что Австрийская империя собственно кончилась и что если она хранит еще вид существования, то только благодаря расчетливому долготерпению России и Пруссии, которые медлят и не хотят еще приступить к ее разделу, потому что каждая надеется втайне, что при удобном случае ей удастся захватить львиную часть.

Ясно, стало быть, что Австрия не в состоянии состязаться с новою Пруско-германскою империею. Посмотрим, в состоянии ли сделать это Россия.

Не правда ли, читатель, Россия сделала неслыханные успехи во всех отношениях со времени вступления на престол ныне благополучно царствующего императора Александра II?

И в самом деле, если мы захотим измерить успехи, сделанные ею за последние двадцать лет, сравним расстояние, которое во всех отношениях отделяло ее тогда, на прим., в 1856 г., от Европы, с тем расстоянием, которое существует между ними теперь, то успех окажется удивительный. Россия поднялась, правда, не слишком высоко, но зато Западная Европа, официальная и официозная, бюрократическая и буржуазная, упала значительно, так что расстояние решительно уменьшилось. Какой немец или француз посмеет, например, говорить о русском варварстве и палачестве после ужасов, совершенных немцами во Франции в 1870 г., и французскими войсками против родного Парижа в 1871. Какой француз посмеет толковать о подлости и продажности русских чиновников и государственных людей после всей грязи, выступившей наружу и чуть не затопившей французский бюрократический и политический мир. Нет, решительно, глядя на францу-

зов и немцев, русским подлецам, пошлякам, ворам и палачам не осталось более никакой причины краснеть. В нравственном отношении в целой официальной и официозной Европе установилось скотство или, по крайней мере, скотообразие удивительное.

Другое дело в отношении политического могущества, хотя и тут, по крайней мере в сравнении с французским государством, наши квасные патриоты могут кичиться, потому что в политическом отношении Россия стоит несомненно самостоятельнее и выше, чем Франция. За Россией ухаживает сам Бисмарк, а за Бисмарком ухаживает побежденная Франция. Весь вопрос в том, каково отношение могущества всероссийской империи к могуществу пангерманской империи, несомненно преобладающему, по крайней мере, на континенте Европы?

Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека знаем, что такое, с точки зрения внутренней жизни ее, наша любезная всероссийская империя. Для небольшого количества, может быть, для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и со всею знатною челядью, она — неистощимый источник всех благ, кроме умственных и человечески-нравственных; для более обширного, хотя все еще тесного меньшинства, состоящего из нескольких десятков тысяч людей, высоких военных, гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов, она — благодущная, благодетельная и снисходительная покровительница законного и весьма прибыльного воровства; для обширнейшей массы мелких служащих, все-таки еще ничтожной в сравнении с народною массою, — скупая кормилица; а для бесчисленных миллионов чернорабочего народа — злодейка-мачеха, безжалостная обирательница и в гроб загоняющая мучительница.

Такою она была до крестьянской реформы, такою осталась теперь и будет всегда. Доказывать это русским нет никакой необходимости. Какой же взрослый русский не знает, может не знать этого? Русское образованное общество разделяется на три категории: на таких, которые, зная это, находят для себя слишком невыгодным признавать эту истину, несомненную точно так же для них, как и для всех; на таких, которые не признают ее, не говорят о ней из боязни; и наконец, на тех, которые за неимением другой смелости, по крайней мере, дерзают ее выска-

зывать. Есть еще четвертая категория, к несчастью слишком малочисленная и состоящая из людей не на шутку преданных народному делу и не довольствующихся высказыванием.

Есть, пожалуй, пятая, даже и не столь малочисленная категория людей, ничего не видящих и ничего не смыслящих. Ну, да с этими и говорить нечего.

Всякий сколько-нибудь мыслящий и добросовестный русский должен понимать, что наша империя не может переменить своего отношения к народу. Всем своим существованием она обречена быть губительницею его, его кровопийцею. Народ инстинктивно ее ненавидит, а она неизбежно его гнетет, так как на народной беде построено все ее существование и сила. Для поддержания внутреннего порядка, для сохранения насильственного единства и для поддержания внешней даже не завоевательной, а только самоохраняющей силы ей нужно огромное войско, а вместе с войском нужна полиция, нужна бесчисленная бюрократия, казенное духовенство... Одним словом, огромный официальный мир, содержание которого, не говоря уже о его воровстве, неизбежно давит народ.

Нужно быть ослом, невеждою, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу; ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным — пожалуй, хотя и трудно, потому что зло доведено до конца; но освободить народ, улучшить его состояние — это просто нелепость! Пока существует империя, она будет заедать наш народ. Полезная конституция для народа может быть только одна — разрушение империи.

Итак, мы не будем говорить о ее внутреннем состоянии, убежденные, что она не может быть хуже; но посмотрим, достигает ли она действительно той внешней цели, которую дает, разумеется, не человеческий, а политический смысл ее существованию. Ценою огромных и бесчисленных народных жертв, правда, невольных, но тем еще более жестоких, умела ли она создать, по крайней мере, военную силу, способную состязаться с военной силою, например, новой Германской империи?

В этом, собственно, в настоящее время состоит весь *политический* русский вопрос; вопрос же внутренний, мы

знаем, остается теперь один — вопрос Социальной Революции. Но мы остановимся теперь на внешнем вопросе и спросим, способна ли Россия бороться против Германии?

Взаимные любезности, клятвы, лобызания и слезопролития, расточаемые теперь между двумя императорскими дворами, между берлинским дядею и петербургским племянником*, ничего не значат. Известно, что в политике все это не стоит и гроша. Вопрос, затронутый нами, поставлен с неотвратимою необходимостью новым положением Германии, которая за одну ночь выросла в огромное и всесильное государство. Но вся история свидетельствует и самая рациональная логика подтверждает, что два равносильных государства не могут существовать рядом, что это противно их существу, существующему и выражающемуся неизменно и необходимо в преобладании; но преобладание не терпит равносилья. Одна сила непременно должна быть сломлена, должна покориться другой.

Да, это составляет теперь существенную необходимость для Германии. После долгого, долгого политического унижения она вдруг стала могущественнейшей державою на континенте Европы. Может ли она терпеть, чтобы рядом, так сказать, у самого ее носа стояла держава вполне от нее независимая, ею еще не побежденная и смеющая равняться с нею, говорим мы, как с равною! И какая еще держава, русская, т. е. самая ненавистная!

Мы думаем, что мало русских, которые не знали бы, до какой степени немцы, все немцы, а главным образом немецкие буржуазы, и под их влиянием, увы! и сам немецкий народ ненавидят Россию. Они ненавидят и ненавидели французов, но эта ненависть ничто в сравнении с тою, которую они питают против России. Эта ненависть составляет одну из сильнейших национальных немецких страстей.

Каким образом создалась эта общенациональная страсть? Начало ее было довольно почтенно: это был протест все-таки несравненно более гуманный, хотя и немецкий, цивилизации против нашего татарского варварства. Потом, а именно в двадцатых годах, она приняла характер протеста более определенного политического либерализма против политического деспотизма. Известно, что в двадцатых годах немцы не на шутку называли себя либералами и верили в свой либерализм. Они ненавидели Россию как представительницу деспотизма. Правда, что

если бы они могли и хотели быть справедливы, они должны были бы, по крайней мере, разделить эту ненависть поровну между Россией, Пруссией и Австрией. Но это было бы противно их патриотизму, и потому они возложили всю ответственность за политику Священного союза на Россию.

В начале тридцатых годов польская революция* возбудила живейшую симпатию в целой Германии, и кровавое усмирение ее усилило негодование немецких либералов против России. Все это было весьма естественно и законно, хотя и тут справедливость требовала бы, чтобы хоть какая-нибудь часть этого негодования пала на Пруссию, которая, очевидно, помогала России в отвратительном деле усмирения поляков; и помогала совсем не из великодушия, а потому, что того требовал ее собственный интерес, так как освобождение Царства Польского и Литвы имело бы непременно последствием восстание всей Польши прусской, что убило бы в корне возникавшее могущество прусской монархии.

Но во второй половине тридцатых годов возникла новая причина для ненависти немцев против России, придавшая этой ненависти совершенно новый характер, уже не либеральный, а политически-национальный, — поднялся славянский вопрос, и вскоре между австрийскими и турецкими славянами образовалась целая партия, которая стала надеяться и ждать помощи из России. Уже в двадцатых годах тайное общество демократов, а именно южная отрасль этого общества, руководимая Пестелем, Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, возымела первую мысль о вольной всеславянской федерации**. Император Николай овладел этой мыслью, но переделал ее по-своему. Всеславянская вольная федерация обратилась в его уме в панславистское единое и самодержавное государство, разумеется, под его железным скипетром.

В начале тридцатых и в начале сороковых годов стали отправляться из Петербурга и из Москвы русские агенты в славянские земли, одни официальные, другие добровольные и бесплатные. Последние принадлежат к московскому, далеко не тайному обществу славянофилов. Поднялась между западными и южными славянами панславистическая пропаганда. Появилось много брошюр. Эти брошюры были частью написаны, частью же переведены по-немецки и перепугали пангерманскую публику не на шутку. Поднялся гвалт между немцами.

Мысль, что Богемия, древняя имперская земля, входящая в самое сердце Германии, может отторгнуться, стать самостоятельной славянской страной или, чего Боже упаси, русскою провинциею, лишила их аппетита и сна, и с тех пор посыпались на Россию проклятия, с тех пор по самый настоящий час ненависть немцев росла против России. Теперь она проявляется в громадных размерах. Русские, с своей стороны, также не очень жалуют немцев; возможно ли, чтобы при существовании такого трогательного взаимного отношения две соседние империи, всероссийская и пангерманская, могли оставаться долго в мире?

А между тем побудительных причин для соблюдения мира между ними по самое настоящее время было, да и теперь еще существует достаточно. Первая причина — Польша. Державных хищников, разделивших между собою самым разбойническим образом Польшу, было три — австрийский, прусский и всероссийский. Но и в самый момент деления, и потом, всякий раз, когда поднимался вновь польский вопрос, наименее заинтересованною была и осталась Австрия. Известно, что в самом начале австрийский двор протестовал даже против деления, и только по настоятельному требованию Фридриха II и Екатерины II императрица Мария Терезия согласилась принять долю, выпадавшую на ее часть. Она пролила даже по этому случаю добродетельные слезы, сделавшиеся историческими, но все-таки приняла. И как было не принять? На то она и была венценосной особой, чтобы забирать. Для царей законы не писаны, а аппетитам их границ нет. В своих записках Фридрих II замечает, что, решившись раз принять участие в союзном грабеже, учиненном над Польшею, австрийское правительство, отыскивая какую-то небывалую реку, поспешило занять своими войсками гораздо более земли, чем ей было нужно по договору.

Но все-таки замечательно, что Австрия молилась и плакала, грабя, в то время как Россия и Пруссия совершали разбойничье дело, остря и смеясь. Известно, что Екатерина II и Фридрих II вели в то же самое время преостроумнейшую и самую филантропическую переписку с французскими философами. Еще замечательнее, что потом, даже до нашего времени всякий раз, когда несчастная Польша делала отчаянную попытку освободиться и восстановиться, российский и прусский дворы приходили в трепет и бешенство и явно или тайно спешили со-

единить усилия, чтобы раздавить восстание, тогда как Австрия, как бы невольная и увлеченная сообщница, не только не приходила в волнение и не присоединялась к их мероприятиям, но, напротив, при начале всякого нового польского восстания как будто изъясляла готовность помочь полякам и в некоторой степени действительно помогала. Так было в 1831, а еще яснее в 1862, когда Бисмарк открытым образом взял на себя роль русского жандарма; Австрия же, напротив, дозволила полякам перевозить, разумеется секретно, оружие в Польшу.

Каким образом объяснить эту разницу в поведении? Не благородством же, не человеколюбием и не справедливостью Австрии? Нет, просто-напросто ее интересом. Недаром плакала Мария Терезия. Она чувствовала, что, посягая вместе с другими на политическое существование Польши, она рыла гроб Австрийской империи. Что могло быть для нее выгоднее, как соседство на ее северо-восточной границе этого дворянского, правда, не умного, но строго консервативного и вовсе не завоевательного государства; оно не только освобождало ее от неприятного соседства России, но отделяло ее и от Пруссии, служило ей драгоценною охраною против обеих завоевательных держав.

Нужно было иметь всю рутинную глупость, а главное, продажность министров Марии Терезии и потом высокомерное мелкоумие и злостно-реакционное упорство старого Меттерниха, который, впрочем, как известно, также был на пенсии у петербургского и берлинского дворов, надо было быть обреченным на гибель историей, чтобы не понять этого.

Всероссийская империя и Прусское королевство очень хорошо понимали свою обоюдную выгоду. Первое деление Польши давало значение великой *европейской* державы; второе вступило на путь, по которому ныне дошло до бесспорного преобладания. А вместе с тем, бросив окровавленный кусок растерзанной Польши Австрийской империи, обжорливой от природы, они приготовили эту империю себе на заклание, обрекли ее на позднейшую жертву своему столь же неутолимому аппетиту. Пока они не удовлетворяют этому аппетиту, пока не поделят австрийские владения между собою, до тех пор останутся и принуждены оставаться союзниками и друзьями, хотя от всей души ненавидят друг друга. Немудрено, что са-

мый дележ Австрии поспорит их, но до этого ничто в мире не в состоянии поспорить их.

Им невыгодно ссориться. У новой Пруско-германской империи нет в настоящее время в Европе и в целом мире ни одного союзника, кроме России, да может быть еще при России Соединенные Штаты Америки. Все ее боятся и все ее ненавидят, все будут радоваться ее падению, потому что она давит всех, грабит всех. А между тем ей надо еще совершить много завоеваний, чтобы вполне осуществить план и идею пангерманской империи. Ей надо отобрать у французов не часть, а всю Лотарингию; надо завоевать Бельгию, Голландию, Швейцарию, Данию и весь Скандинавский полуостров; надо также прибрать в свои руки и наши прибалтийские провинции, чтобы одной хозяйничать на Балтийском море. Ну, словом, за исключением Венгерского королевства, которое она оставит мадьярам, и Галиции, которую вместе с австрийскою Буковиною уступит России, она же, повинаясь той же силе вещей, непременно будет стремиться к захвату всей Австрии по самый Триест включительно и, разумеется, включая Богемию, которую петербургский кабинет и не подумает оспаривать у нее.

Мы уверены и положительно знаем, что насчет более или менее отдельного деления Австрийской империи уже давно ведутся тайные переговоры между дворами петербургским и германским, причем, разумеется, как и всегда бывает в дружеских отношениях двух великих держав, всегда стараются надуть друг друга.

Как ни огромно могущество Пруско-германской империи, ясно, однако, что она одна не довольно сильна, чтобы осуществить такие огромные предприятия против воли целой Европы. Поэтому союз России составляет и будет еще долго составлять насущную необходимость.

Существует ли такая необходимость для России?

Начнем с того, что наша империя более чем всякие другие есть государство по преимуществу не только военное, потому что для образования по возможности огромной военной силы она с самого первого дня своего основания жертвовала и теперь жертвует всем, что составляет жизнь, преуспевание народа. Но, как военное государство, она хочет иметь одну цель, одно дело, дающее смысл ее существованию, — завоевание. Вне этой цели она просто нелепость. Итак, завоевания во все стороны и во что бы то ни стало — вот вам нормальная жизнь нашей империи

Теперь вопрос, в какую сторону должна, захочет направиться эта завоевательная сила?

Два пути открываются перед нею: один западный, другой восточный. Западный направлен прямо против Германии. Это путь панславистский и вместе с тем путь союза с Францией против соединенных сил прусской Германии и Австрийской империи, при вероятном нейтралитете Англии и Соединенных Штатов.

Другой путь прямо ведет в восточную Индию, в Персию и в Константинополь. На нем встанут врагами Австрия, Англия и, вероятно, вместе с ними Франция, а союзниками — прусская Германия и Соединенные Штаты.

По которому из этих двух путей захочет пойти наша воинственная империя? Говорят, что наследник — страстный панславист, ненавистник немцев, отъявленный друг французов и стоит за первый путь; но зато ныне благополучно царствующий император — друг немцев, любящий племянник своего дяди и стоит за второй. Однако дело не в том, куда влекут чувства того или другого; вопрос в том, куда может идти империя с надеждою на успех и не подвергаясь опасности сломиться.

Может ли она идти первым путем? Правда, что на нем встречается союз с Францией, союз далеко не представляющий теперь тех выгод, той материальной и той нравственной силы, которую он обещал еще за три или четыре года тому назад. Национальное единство Франции рушилось безвозвратно. В пределах так называемой единой Франции существуют теперь три или, пожалуй, даже четыре различные и друг к другу решительно враждебно расположенные Франции: Франция аристократически-клерикальная, состоящая из дворян, из богатой буржуазии и из попов; Франция чисто буржуазная, обнимающая среднюю и мелкую буржуазию; и Франция рабочая, заключающая весь городской и фабричный пролетариат; и, наконец, Франция крестьянская. За исключением двух последних, которые могут сойтись и, наприм., на юге Франции уже начинают сходиться, между этими классами исчезла всякая возможность единодушия на каком бы то ни было пункте, даже когда дело идет об охране отечества.

Мы видели это на днях. Немцы еще стоят во Франции, занимают Бельфор в ожидании последнего миллиарда. Какие-нибудь три или четыре недели оставались до

очищения ими страны. Нет, большинство версальской палаты, состоящее из легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, реакционерных до безумия, до бешенства, не захотело выждать этого срока — свалило Тьера, посадило на его место маршала Мак-Магона, который силою штыков обещает восстановить нравственный порядок во Франции... Государственная Франция перестала быть страной жизни, ума, великодушных порывов. Она как будто вдруг переродилась и стала передовою страной грязи, подлости, продажничества, зверства, измены, пошлости, непроходимой и изумительной глупости. Надо всем же царит невежество, которому нет конца. Она обрекает себя папе, попам, инквизиции, иезуитам, Селестской Божией матери* и святому Лавру**. Она не на шутку ищет в католической церкви своего возрождения, в защите католических интересов свое назначение. Религиозные процессии покрыли страну и заглушают своими торжественными литаниями протесты и жалобы побежденного пролетариата. Депутаты, министры, префекты, генералы, профессора, судьи парадируют на них со свечами в руках, не краснея, без всякой веры в сердце, а потому только, *«что вера нужна для народа»*. Впрочем, есть и целый сонм верующих дворян ультрамонтанцев*** и легитимистов, воспитанных иезуитами, которые громко требуют, чтобы Франция торжественно посвятила себя Христу и его непорочной матери. И в то самое время когда народное богатство или, вернее, народный труд, производитель всех богатств, отдан на разграбление биржевых спекулянтов, аферистов, богатых собственников и капиталистов, в то самое время как все государственные люди, министры, депутаты, чиновники всякого рода, гражданские и военные, адвокаты, а главным образом, все эти ханжи-иезуиты самым бессовестным образом набивают свои карманы, вся Франция действительно отдается на управление попов. Попы забрали в руки все просвещение, университеты, гимназии, народные школы; они стали вновь исповедниками и духовными путеводителями храброго французского воинства, которое скоро окончательно потеряет способность драться против внешних врагов, но зато сделается врагом тем более опасным для собственного народа.

Вот настоящее положение государственной Франции! Она в самое короткое время перещеголяла шварценберговскую Австрию**** (после 1849), а мы знаем, чем кончи-

ла эта Австрия — поражением в Испании, поражением в Богемии и всеобщим крушением.

Правда, Франция, несмотря даже на последнее разорение, богата, несомненно богаче Германии, извлекающей в промышленном и торговом отношении немного пользы от пяти миллиардов, уплоченных Францией. Это богатство позволило французскому народу восстановить в очень короткое время все внешние признаки силы и правительственного устройства. Но не надо даже вглядываться глубоко, достаточно чуть-чуть приподнять лживо-блестящую поверхность, чтобы убедиться, как все внутри гнило, и гнило потому, что во всем этом еще громадном государственном теле не осталось даже искры живой души.

Государственная Франция безвозвратно кончается, и жестоко обманется тот, кто будет рассчитывать на ее союз. Кроме бессилия и страха, он в ней ничего не найдет; она посвящена папе, Христу, Божьей Матери, божественному разуму и человеческому бессмыслию. Она отдана на жертву вора и попам; и если у нее еще осталась военная сила, то вся она пойдет на укрощение и усмирение своего собственного пролетариата. Какая же может быть польза от ее союза?

Но есть чрезвычайно важная причина, которая никогда не позволит нашему правительству, будь во главе его Александр II или Александр III, следовать по пути западного, или панславистического, завоевания. Это путь революционный, в том смысле, что ведет прямо к возмущению народов, по преимуществу славянских, против их *законных* государей, австрийского и пруссо-германского. Он был предложен князем Паскевичем* императору Николаю.

Положение Николая было опасное; он имел против себя две могущественнейшие державы, Англию и Францию. Благодарная Австрия грозила ему. Только одна обиженная им Пруссия оставалась верна, но и эта, уступая натиску трех государств, начинала колебаться и вместе с австрийским правительством делала ему внушительные представления. Николай, полагавший всю свою славу главным образом в том, чтобы отличаться непреклонностью, должен был или уступить, или умереть. Уступить было стыдно, а умереть, разумеется, не хотелось. И в эту критическую минуту ему было сделано предложение поднять панславистское знамя; мало того, надеть на свою им-

ператорскую корону фригийскую шапку* и звать не только славян, но и мадьяр, румын, итальянцев¹ на бунт.

Император Николай призадумался, но, должно отдать ему справедливость, колебался не долго; он понял, что ему не следует кончать свое многолетнее поприще, ознаменованное чистейшим деспотизмом, на поприще революционном. Он предпочел умереть.

Он был прав. Нельзя было кичиться своим деспотизмом внутри и поднимать революцию вне своего государства. Особенно невозможно было это для императора Николая, так как на первом шагу, который он сделал бы по этому пути, он встретился бы лицом к лицу с Польшею. Возможно ли было звать славянские и другие народы к восстанию и продолжать душить Польшу! Но что же делать с Польшею? Освободить ее? Но, не говоря уже о том, как это было противно всем инстинктам императора Николая, нельзя не признать, что для всероссийской государственности освобождение Польши решительно невозможно.

Целые века длилась борьба между двумя формами государства. Вопрос шел о том, кто победит, шляхетская ли воля, или царский кнут. Собственно о народе не было речи ни в том, ни в другом лагере; в обоих он был одинаково рабом, тружеником, кормильцем и немым пьедесталом государства. Казалось сначала, что должны победить поляки. На их стороне была образованность, военное искусство и храбрость, и так как войска их состояли по преимуществу из малой шляхты, они дрались как вольные люди, а русские как рабы. Все шансы казались на их стороне. И действительно, в продолжение очень долгого времени они выходили победителями из каждой войны, громили русские области и даже один раз покорили Москву и посадили на царский престол своего королевича.

Сила, выгнавшая их из Москвы, была не царская и даже не боярская, а народная. Пока народные массы не вмешивались в борьбу, полякам счастливо. Но лишь только сам народ выступил действующим лицом на сцену один раз в 1612 г., другой раз в виде поголовного восстания малороссийского и литовского хлопства под предво-

¹ Мы слышали от самого Мацини, что в это самое время русские официозные агенты в Лондоне просили у него свидания и делали ему предложения.

дительством Богдана Хмельницкого, счастье совершенно оставило их. С тех пор вольно-шляхетское государство стало чахнуть и падать, пока не погибло окончательно.

Русский кнут победил благодаря народу и вместе с тем, разумеется, в великий ущерб народу, который в знак истинной государственной благодарности был отдан в наследственное рабство царским холопам, дворянам-помещикам. Ныне царствующий император Александр II освободил, говорят, крестьян. Мы знаем, каково это освобождение.

А между тем именно на развалинах шляхетски-польского государства основалась всероссийская кнутовая империя. Лишите ее этой основы, отберите области, входившие до 1772 г. в состав польского государства, и всероссийская империя исчезнет.

Она исчезнет, потому что с потерей этих провинций, самых богатых, самых плодородных и самых населенных, богатство ее, и без того не чрезвычайное, и сила уменьшатся наполовину. За этой потерей не замедлит последовать потеря прибалтийского края, а предположив, что восстанавливаемое польское государство будет восстановлено не только на бумаге, а в действительности и заживет новою, сильною жизнью, империя очень скоро утратит всю Малороссию, которая сделается или польскою областью, или независимым государством, утратит поэтому также и свою черноморскую границу, будет отрезана со всех сторон от Европы и загнана в Азию.

Иные полагают, что империя может отдать Польше по крайней мере Литву. Нет, не может, по тем же самым причинам. Соединенные Литва* и Польша послужили бы непременно и, можно сказать, с неотвратимою необходимостью польскому государственному патриотизму широкою точкою отправления для завоевания прибалтийских провинций и Украины. Довольно освободить только Царство Польское, и того достаточно. Варшава тотчас сойдется с Вильно, с Гродно, с Минском, пожалуй, с Киевом, не говоря уже о Подоле и Волыни.

Как же быть? Поляки такой беспокойный народ, что им нельзя оставить ни одного местечка свободным; сейчас в нем законспирируют и поведут тайные связи со всеми забранными областями с целью восстановления польского государства. В 1841, например, оставался один вольный город Краков, и Краков сделался центром общепольского революционного предприятия.

Не ясно ли, что такая империя может продолжать свое существование только под условием душить Польшу по муравьевской системе. Мы говорим империя, а не народ русский, который, по нашему убеждению, не имеет ничего общего с империей, и интересы, а также и все инстинктивные стремления которого абсолютно противоположны интересам и сознательным стремлениям империи.

Как скоро империя рушится и народы великорусский, малорусский, белорусский и другие восстановят свою свободу, для них не страшны будут честолюбивые замыслы польских государственных патриотов; они могут быть убийственны только для империи.

Вот почему никакой всероссийский император, если он только в своем уме и если его не заставит железная необходимость, никогда не согласится отпустить на волю ни малейшей части Польши. А не освободив поляков, может ли он призвать к бунту славян?

Причины, помешавшие ему поднять панславистически-бунтовское знамя, всецело существуют и теперь, с тою разницею, что тогда этот путь обещал более выгод, чем в настоящее время. Тогда можно было еще рассчитывать на восстание мадьяр, Италии, находившихся под ненавистным игом Австрии. Теперь Италия осталась бы без сомнения нейтральною, так как Австрия отдала бы ей, вероятно, без всяких споров, лишь бы от нее отделаться, те немногие остатки итальянской земли, которые она еще удерживает в своем владении. Что касается мадьяр, то можно сказать наверное, что они со всею страстью, внушаемой им их собственным господствующим отношением к славянам, приняли бы сторону немцев против России.

Итак, в случае панславистической войны, которую русский император поднял бы против Германии, он мог бы рассчитывать на содействие более или менее деятельное только славян, и то только австрийских славян, потому что если бы ему вздумалось поднять и турецких, то он вызвал бы против себя нового врага, Англию, эту ревнивую защитницу самостоятельного существования оттоманского государства. Но в Австрии славян считается около 17 миллионов, за вычетом 5 миллионов жителей Галиции, где более или менее симпатизирующие русины были бы парализованы враждебными поляками, останется 12 миллионов, на восстание которых русский император мог бы, *может быть*, рассчитывать, исключая, разумеется, еще

тех, которые завербованы в австрийское войско и которые по обычаю всякого войска стали бы драться против кого начальство прикажет.

Прибавим, что эти 12 миллионов даже не сосредоточены в одном или нескольких пунктах, а разбросаны по всему пространству Австрийской империи, говорят на совершенно разных наречиях и перемешаны то с немцами, то с мадьярами, то с румынами, то, наконец, с итальянскими населенными. Этого очень много, чтобы держать в постоянной тревоге австрийское правительство и вообще немцев, но слишком мало, чтобы доставить русским войскам серьезную опору против соединенных сил прусской Германии и Австрии.

Увы! русское правительство это знает и всегда очень хорошо понимало и потому никогда не имело и не будет иметь намерения вести панславистическую войну против Австрии, которая необходимо превратилась бы в войну против целой Германии. Но если наше правительство такого намерения не имеет, зачем же оно ведет посредством своих агентов настоящую панславистическую пропаганду в австрийских владениях? По очень простой причине, по той самой, на которую сейчас указали, а именно потому, что русскому правительству очень приятно и полезно иметь такое множество горячих и вместе с тем слепых, чтобы не сказать глупых, приверженцев во всех австрийских областях. Это парализует, связывает, беспокоит австрийское правительство и усиливает влияние России не только на Австрию, но на целую Германию. Императорская Россия возбуждает австрийских славян против мадьяр и немцев, очень хорошо зная, что в конце концов предаст их в руки тех же мадьяр и немцев. Игра подлая, но зато вполне государственная.

Итак, союзников и действительной опоры на западе, в случае панславистической войны против немцев, всероссийская империя найдет немного. Посмотрим теперь, с кем ей придется бороться. Во-первых, со всеми немцами прусскими и австрийскими, во-вторых, с мадьярами, и, в-третьих, с поляками.

Оставляя в стороне поляков и даже мадьяр, спросим, способна ли императорская Россия вести наступательную войну против соединенных сил всей Германии, прусской и австрийской, или хотя даже одной прусской. Мы говорим, войну наступательную, потому что здесь предполага-

ется, что предпримет ее Россия ввиду мнимого освобождения, собственно же, завоевания австрийских славян.

Прежде всего несомненно, что никакая наступательная война в России не будет войною национальною. Это почти общее правило; народы редко принимают живое участие в войнах, предпринимаемых и веденных их правительствами за пределами отечества. Такие войны бывают чаще всего исключительно политическими, если не примешивается интерес или религиозный, или революционный. Таковы были для немцев, французов, голландцев, англичан и даже для шведов в XVI веке войны между реформаторами и католиками. Таковы же были для Франции в конце XVIII века революционные войны. Но в новейшей истории мы знаем только два исключительные примеры, когда народные массы относились с действительною симпатиею к политическим войнам, предпринятым их правительствами ввиду расширения пределов государства или ради других исключительно государственных интересов.

Первый пример был дан французским народом при Наполеоне I. Но он еще недостаточно доказателен, потому что императорские войска были непосредственным продолжением и как бы естественным результатом революционных войск, так что французский народ даже после падения Наполеона продолжал смотреть на них как на проявление того же самого революционного интереса.

Гораздо доказательнее второй пример, а именно пример горячего упоения, принятого, можно сказать, всем немецким народом в нелепой громадной войне, предпринятой вновь образовавшимся пруссо-германским государством против второй французской империи. Да, в эту знаменательную, едва прошедшую эпоху весь немецкий народ, все слои немецкого общества, за исключением разве только небольшой кучки работников, были проникнуты исключительно политическим интересом, интересом основания и расширения пределов пангерманского государства. И теперь еще этот интерес преобладает над всеми другими в уме и сердце всех немцев без различия сословий, и это-то составляет в настоящее время специальную силу Германии.

Для всякого сколько-нибудь знающего и понимающего Россию должно быть ясно, что никакая война наступательная, предпринятая нашим правительством, не будет национальною в России. Во-первых, потому, что наш на-

род не только чужд всякого государственного интереса, но даже инстинктивно противен ему. Государство — это его тюрьма; какая же ему нужда укреплять свою тюрьму? Во-вторых, между правительством и народом нет никакой связи, ни одной живой нити, которая могла бы соединить их, хотя на одну минуту, в каком бы то ни было деле, нет даже способности, ни возможности взаимного разумения; что для правительства бело, то для народа черно, и обратно, что народу кажется очень бело, что для него жизнь, раздолье, то для правительства смерть.

Спросят, может быть, с Пушкиным:

«Иль русского царя уже бессильно слово?» *

Да, бессильно, когда оно требует от народа, что противно народу. Пусть он только мигнет и кликнет народу: вяжите и режьте помещиков, чиновников и купцов, заберите и разделите между собою их имущество — одного мгновенья будет достаточно, чтобы встал весь русский народ и чтобы на другой день даже и следа купцов, чиновников и помещиков не осталось на русской земле. Но, пока он будет приказывать народу платить подати и давать солдат государству, а на пользу помещиков и купцов работать, народ будет повиноваться, нехотя, под палкою, как теперь, а когда сможет, то и не послушается. Где же тут магическое или чудотворное влияние царского слова?

И что же может царь сказать народу такого, что бы могло взволновать его сердце или разгорячить его воображение? В 1828, объявляя войну Оттоманской Порте под предлогом обид, претерпеваемых греческими и славянскими единоверцами нашими в Турции, император Николай попробовал было своим манифестом, прочитанным в церквях, расшевелить в нем религиозный фанатизм. Попытка оказалась вполне неудачною. Если где у нас существует страшная и упорная религиозность, то разве только в раскольниках, менее всех признающих и государство, и даже самого императора. В православной же и казенной церкви царствует мертвый, рутинный церемониал рядом с глубочайшим индифферентизмом.

В начале крымской кампании, когда Англия и Франция объявили войну, Николай еще раз попытался возбудить религиозный фанатизм в народе, и столь же неудачно. Вспомним, что говорилось между народом во время этой войны: «француз требует, чтобы нас отпустили на волю». — Были народные ополчения. Но всем известно, как они были сформированы. Большею частью по царскому

приказанию и по начальственному распоряжению. Это была тоже рекрутчина, только в другом виде и срочная. Во многих же местах крестьянам обещали, что по окончании войны их отпустят на волю.

Вот каков государственный интерес нашего крестьянства! В купечестве и дворянстве патриотизм выразился самым оригинальным образом: неумными речами, громкими верноподданническими заявлениями, а главное, обедами да попойками. Когда же надо было одним давать деньги, другим самолично идти на войну во главе своих мужиков, охотников оказалось очень немного. Всякий старался поставить за себя другого. Ополчение надедало много шуму, а пользы не принесло никакой. Но Крымская война была даже не наступательная, а оборонительная, значит, могла, должна была сделаться национальной, и почему же, однако, не сделалась? Потому, что наши высшие классы гнилы, пошлы, подлы, а народ естественный враг государства.

И этот-то народ надеются поднять во имя славянского вопроса! Есть между нашими славянофилами несколько честных людей, которые не на шутку верят, что русский народ горит нетерпением лететь на помощь «братьям славянам», про существование которых он даже не знает. Его чрезвычайно удивили бы, сказав ему, что он сам славянский народ. Г. Духинский с своими польскими и французскими последователями отрицает, конечно, чтобы славянская кровь текла в жилах великорусского народа, греша этим против исторической и этнографической истины. Но г. Духинский, так мало знающий наш народ, вероятно, и не подозревает, что этот народ нисколько не заботится о своем славянском происхождении. До того ли ему, измученному, голодающему и раздавленному под гнетом мнимо славянской, в действительности же татаро-немецкой, империи.

Мы не должны обманывать славян. Те, которые говорят им о каком бы то ни было участии русского народа в славянском вопросе, или сами себя жестоко надувают, или бессовестным образом лгут и, разумеется, лгут с нечистыми целями. И если мы, русские социалисты-революционеры, зовем славянский пролетариат и славянскую молодежь на общее дело, то вовсе не предлагаем им как общую почву для дела наше общее более или менее славянское происхождение. Мы можем признать только одну почву: Социальную Революцию, вне которой мы не

видим спасения ни для их народов, ни для нашего, и думаем, что именно на этой почве, вследствие многих одинаковых черт в характере, в исторической судьбе, в прошедших и настоящих стремлениях всех славянских народов, а также и вследствие их одинакового отношения к государственным поползновениям германского племени, они могут братски соединиться, не для того, чтобы создать общее государство, а для того, чтобы разрушить все государства, и не для того, чтобы составить между собою замкнутый мир, а для того, чтобы вместе вступить на всемирное поприще, начиная по необходимости с заключения тесного союза с народами латинского племени, которым, так же как и славянам, угрожает теперь завоевательная политика немцев.

Но и этот союз против немцев должен длиться, только пока немцы, познав собственным опытом, с какими бесчисленными бедами сопряжено собственно для народа существование государства даже мнимо народного, не сбросят с себя государственного ига и не откажутся навсегда от своей несчастной страсти к государственному преобладанию. Тогда и только тогда три главные племени, населяющие Европу, латинское, славянское и германское, организуются в союз свободно, как братья.

Но до тех пор союз славянских народов с народами латинскими против завоевания, грозящего им всем одинаково со стороны немцев, останется горькою необходимостью.

Странное назначение немецкого племени! Возбуждая против себя общие опасения и общую ненависть, они соединяют народы. Таким образом они соединили славян; ибо нет сомнения, что ненависть к немцам, глубоко укорененная в сердце всех славянских народов, гораздо более способствовала успехам панславистической пропаганды, чем все проповеди и интриги московских и петербургских агентов. Теперь же, вероятно, та же ненависть будет привлекать народ славянский к союзу с латинским.

В этом смысле и русский народ вполне славянский народ. Немцев он не любит; но обманывать себя не должно, нелюбовь его к немцам не простирается так далеко, чтобы он собственным движением отправился воевать против них. Она окажется лишь, когда немцы сами придут в Россию и вздумают хозяйничать в ней. Но глубоко ошибается тот, кто будет рассчитывать на какое-либо уча-

ствие нашего народа в наступательном движении против Германии.

Отсюда следует, что если наше правительство когда-либо вздумает предпринять какое-либо движение, оно должно будет совершить его без всякой помощи народной, одними лишь своими государственными, финансовыми и военными средствами. Но достаточно ли этих средств, чтобы бороться против Германии, мало того, чтобы с успехом вести против нее наступательную войну.

Надо быть чрезвычайно невежественным или слепым квасным патриотом, чтобы не признать, что все наши военные средства и наша пресловутая будто бы бесчисленная армия ничто в сравнении с настоящими средствами и с армией германской.

Русский солдат храбр несомненно, но ведь и немецкие солдаты не трусы; они это доказали в трех кампаниях сряду*. Притом в предполагаемой наступательной со стороны России войне немецкие войска будут драться у себя дома и поддержанные патриотическим и на этот раз действительно поголовным восстанием решительно всех классов и всего населения Германии, поддержанные также своим собственным патриотическим фанатизмом, в то время как русские воины будут драться без смысла, без страсти, повинаясь только команде.

Что же касается сравнения русских офицеров с немецкими, то с точки зрения просто человеческой мы отдадим преимущество нашему офицерскому типу, не потому, что он наш, а на основании строгой справедливости. Несмотря на все старания нашего военного министра, г. Милютин, огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была прежде, грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной, — ученье, кутеж, карты, пьянство и когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного или батареиногo командира, правильное, чуть ли не узаконенное воровство составляют до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по-французски, но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять человеческое и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа.

В немецком офицерском мире нет ничего, кроме формы, военного регламента и отвратительной специально офицерской фанаберии, состоящей из двух элементов: из лакейского повиновения в отношении ко всему, что иерархически выше, и из дерзко-презрительного отношения ко всему, что, по их мнению, стоит ниже, — к народу прежде всего, а потом и ко всему, что не носит военного мундира, за исключением самых высших гражданских чиновников и дворян.

В отношении своего государя, герцога, короля, а теперь к всегерманскому императору немецкий офицер раб по убеждению, по страсти. По мановению его он готов всегда и везде совершить самые ужасные злодеяния, сжечь, истребить и перерезать десятки, сотни городов и селений, не только чужих, но даже своих.

К народу он чувствует не только презрение, но ненависть, потому что, делая ему слишком много чести, предполагает его всегда бунтующим или же готовым взбунтоваться. Впрочем, не один он это предполагает; в настоящее время все привилегированные классы, а немецкий офицер, да и вообще всякий офицер правильного войска может быть назван привилегированною сторожевою собакою привилегированных классов. Весь мир эксплуататоров в Германии и вне Германии смотрит на народ со страхом и недоверием, которые, к несчастью, не всегда оправдываются, но которые тем не менее несомненно доказывают, что в народных массах уже начинает подыматься та сознательная сила, которая разрушит этот мир.

Итак, у немецкого офицера, как у доброй сторожевой собаки, ус становится дыбом при одном воспоминании о народных толпах. Понятия его о правах и обязанностях народа самые патриархальные. По его мнению, народ должен работать, чтобы господа были одеты и сыты, повиноваться, не рассуждая, властям, платить государственные подати и общинные повинности и, в свою очередь, исполнять службу солдата, чистить ему сапоги, подавать лошадь, а когда он закомандует и замахае саблей, стрелять, колоть и рубить всякого встречного и поперечного и когда велют — идти на смерть за кайзера и фатерланд. По истечении же срока действительной службы, если ранен и искалечен, жить милостынею, если же вышел цел и невредим, идти в резерв и служить в нем до самой смерти, всегда повинаясь властям, преклоняясь перед вся-

ким начальством и быть готовым умереть по востребованию.

Всякое явление в народе, противоречащее этому идеалу, способно довести немецкого офицера до бешенства. Нетрудно себе представить, как он должен ненавидеть революционеров; а под этим общим названием он разумеет всех демократов и даже либералов, одним словом, всякого, кто в какой бы то ни было степени и форме осмеливается делать, хотеть, думать противное священной мысли и воле Е<го> И<мператорского> В<еличества> Повелителя всех Германий...

Можно себе представить, с какою специальною ненавистью он должен относиться к революционерам-социалистам или хотя даже к социальным демократам своей родины. Одно воспоминание о них приводит его в бешенство, и он не считает приличным иначе о них говорить, как с пеною у рта. Беда тому из них, кто попадет к нему в руки, — и, к несчастью, должно сказать, что в последнее время много социальных демократов в Германии перешли через офицерские руки. Не имея права их истерзать или немедленно расстрелять, не смея давать воли рукам, он рядом самых оскорбительных мер, придинок, жестов, слов силится выместить свою бешеную, пошлую злобу. Но если бы ему позволили, если бы начальство приказало, с такою неистовою ревностью и, главное, с такою офицерскою гордостью он взял бы на себя роль мучителя, вешателя и палача.

А посмотрите на этого цивилизованного зверя, на этого лакея по убеждению и палача по призванию. Если он молод, вы вместо страшилища с удивлением увидите белокурого юношу, кровь с молоком и с легким пушком на рыльце, скромного, тихого и даже застенчивого, и гордого — фанаберия сквозит, — и непременно сентиментального. Он знает наизусть Шиллера и Гете и вся гуманистическая литература великого прошлого века прошла через его голову, не оставив в ней ни одной человеческой мысли и ни одного человеческого чувства в душе.

Немцам и по преимуществу немецким чиновникам и офицерам было предоставлено решить задачу, кажется, неразрешимую: соединить образование с варварством, ученость с лакейством. Это делает их в общественном отношении отвратительными и в то же время чрезвычайно смешными, в отношении к народным массам злодеями

систематическими и беспощадными, но зато людьми драгоценными в отношении к государственной службе.

Немецкие бюргеры это знают и, зная это, патриотически переносят от них всевозможные оскорбления, потому что узнают в них свою собственную природу, а главное, потому что смотрят на этих народных и привилегированных императорских псов, так часто их от скуки кусающих, как на самый верный оплот пангерманского государства.

Для регулярной армии нельзя действительно представить себе ничего лучше немецкого офицера. Человек, соединяющий в себе ученость с хамством, а хамство с храбростью, строгую исполнительность с способностью инициативы, регулярность с зверством и зверство с своеобразною честностью, известную, правда, одностороннюю и даже худостороннюю экзальтацию с редким повиновением воле начальства; человек, всегда способный перерезать или перекрошить десятки, сотни, тысячи людей по малейшему знаку начальства, — тихий, скромный, смирный, послушный, всегда навывтяжку перед старшими и высокомерный, презрительно-холодный, а когда нужно и жестокий в отношении к солдату; человек, которого вся жизнь выражается в двух словах: слушаться и командовать — такой человек незаменим для армии и для государства.

Что касается муштрования солдат, то это дело, одно из главных в организации хорошего войска, доведено в немецкой армии до систематического, глубоко обдуманного и практически испытанного и осуществленного совершенства. Главное начало, положенное в основание всей дисциплины, состоит в следующем афоризме, повторение которого мы не так давно еще слышали от многих прусских, саксонских, баварских и других немецких офицеров, со времен французской кампании прогуливающихся целыми гурьбами по Швейцарии, вероятно, для изучения местности и снимки планов — вперед пригодится, — афоризм этот следующий:

«Чтоб овладеть душою солдата, надо прежде всего овладеть его телом».

Как же овладеть его телом? Посредством непрерывного учения. Вы не думайте, чтобы немецкие офицеры презирали шагистику, ничуть не бывало — они видят в ней одно из лучших средств для того, чтобы выломать члены и для того, чтобы овладеть телом солдата, а потом ружейные приемы, уход за оружием, чистка мундиров;

надо, чтобы солдат был с утра до вечера занят и чтобы он не переставал чувствовать над собою и за каждым шагом своим строгое, холодно-магнетизирующее око начальства. Зимой, когда времени остается побольше, солдат гонят в школу, там их доучивают читать, писать, считать, но главное — заставляют твердить наизусть военный устав, проникнутый боготворением императора и презрением к народу: императору делать на караул, а в народ стрелять. Вот квинтэссенция нравственно-политического учения солдат.

Проживя три, четыре года, пять лет в этом омуте, солдат не может иначе выйти из него, как уродом. Но и для офицеров то же самое, хотя и в другой форме. Из солдат хотят сделать палку бессознательную; офицер же должен быть палкою сознательною, палкою по убеждению, по мысли, по интересу, по страсти. Его мир — офицерское общество; из него он ни шагу, и вся офицерская коллективность, проникнутая вышеописанным духом, смотрит за каждым. Беда несчастному, если, увлеченный неопытностью или каким-нибудь человеческим чувством, он позволит себе сдружиться с другим обществом. Если это общество в политическом отношении невинно, то над ним будут только смеяться. Но если оно имеет направление политическое, несогласное с общеофицерским направлением, либеральное, демократическое, не говорю уже о социально-революционном, тогда несчастный пропал. Каждый товарищ делается для него доносчиком.

Вообще высшее начальство предпочитает, чтобы офицерство бывало больше между собою, и старается оставить им, равно как и солдатам, как можно менее свободного времени. Муштрование солдат и беспрестанный надзор за ними уже забирает три четверти дня; остальная четверть должна быть посвящена усовершенствованию в военных науках. Офицер, прежде чем дослужиться до майорского чина, должен выдержать несколько экзаменов; кроме того, им задаются срочные работы по разным вопросам, и по этим работам судят о их способности к повышению.

Как видим, военный мир в Германии, впрочем, точно так же, как и во Франции, составляет совершенно замкнутый мир, и эта замкнутость есть верное ручательство в том, что этот мир будет врагом для народа.

Но немецкий военный мир имеет перед французским, да и перед всеми европейскими огромное преимущество:

немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире положительностью и обширностью своих познаний, теоретическим и практическим знанием военного дела, горячею и вполне педантическою преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением, а также и относительною честностью.

Вследствие всех этих качеств организация и вооружение немецких армий существует действительно и не на бумаге только, как это было при Наполеоне III во Франции, как это бывает сплошь да рядом у нас. К тому же, благодаря все тем же немецким преимуществам, административный, гражданский и в особенности военный контроль устроен так, что продолжительный обман невозможен. У нас же, напротив, снизу доверху и сверху донизу рука руку моет, вследствие чего дознание истины становится почти невозможным.

Сообразите все это и спросите себя, возможно ли, чтобы русская армия могла надеяться на успех в наступательной войне против Германии? Вы скажете, что Россия может поставить миллион войска. Ну, хорошо организованного и вооруженного войска, пожалуй, не будет миллион; однако, положим, что есть миллион; половину надо будет оставить разбросанною по огромному пространству империи для соблюдения спокойствия в счастливом народе, который, того и гляди, от большого жира может взбеситься. Для одной Украины, Литвы и Польши сколько понадобится войска! Много, много, если вы будете в состоянии выслать против Германии пятисоттысячную армию. Такой армии Россия никогда еще не ставила.

Ну, а в Германии вас встретит действительно миллионная армия, по организации, по вымуштровке, по науке, по духу и по вооружению первая в мире. А за нею будет стоять громадным ополчением весь немецкий народ, который, может быть и даже вероятно, не встал бы против французов, если бы в последней войне победил не Фриц прусский, а Наполеон III, который, повторим еще раз, против русского вторжения встанет поголовно.

Скажете вы, что в случае нужды Россия, т. е. всероссийская империя, в состоянии поставить еще миллион войска; отчего же и не поставить, да только на бумаге. Стоит для этого только предписать указом новый рекрутский набор по столько-то с тысячи. Вот вам и ваш миллион. Да как его собрать? Кто будет его собирать? Ваши резервные генералы, генерал-адъютанты, флигель-адъ-

ютанты, командиры резервных и гарнизонных батальонов на бумаге, ваши губернаторы, чиновники, Боже мой, сколько же десятков, а пожалуй, и сотен тысяч уморят они с голоду, прежде чем их соберут. Да где вы, наконец, возьмете достаточное количество офицеров для организации нового миллионного войска и чем вооружите его? Палками? Ведь у вас нет достаточного количества денег для порядочного вооружения одного миллиона, а вы грозитесь вооружить другой миллион. Ни один банкир не даст вам займы; ну а если и даст, ведь на вооружение миллиона требуются года.

Сравним вашу бедность и вашу беспомощность с германским богатством и с германскою силою. Германия получила от Франции пять миллиардов, положим, что три миллиарда были потрачены на вознаграждение разных издержек, на вознаграждение принцев, государственных людей, генералов, полковников, офицеров, разумеется, не солдат, а также и на разные внутренние и заграничные поездки. Остаются два миллиарда, которые исключительно употреблены на вооружение Германии, на постройку новых или на укрепление старых бесчисленных крепостей, на заказ новых пушек, ружей и т. д. Да, вся Германия обратилась теперь в грозный, во все стороны щетинящийся арсенал. И вы, обученные и вооруженные кое-как, надеетесь ее победить.

При первом шаге, лишь только сунете нос на немецкую землю, вы будете самым страшным образом разбиты наголову, и ваша наступательная война тотчас же обратится в оборонительную; немецкие войска вступят в пределы всероссийской империи.

Но тогда, по крайней мере, возбудят ли они против себя всеобщее восстание русского народа? Да, если немцы вступят в русские области и пойдут, например, прямо в Москву; но если этой глупости не сделают, а пойдут севером на Петербург, через балтийские провинции, в которых найдут не только между мещанством, протестантскими пасторами и жидами, но и посреди недовольных баронов и их детей, студентов, а через их посредство и в наших бесчисленных остзейских генералах, офицерах, высших и низших чиновниках, наполняющих Петербург и разбросанных по всей России, много, много приятелей; мало того, они подымут против русской империи Польшу и Малороссию.

Правда, что из всех врагов, притеснителей Польши со дня ее разделения Пруссия оказалась самым назойливым, самым систематическим, а потому и самым опасным; Россия действовала, как варвар, как дикая сила, всех резала, вешала, мучила, ссылала в Сибирь и все-таки обрусить до ставшейся ей части Польши не умела, да и до сих пор, не смотря на муравьевские рецепты, не умеет; Австрия, с своей стороны, также нисколько не онемечила Галиции, да и не старалась об этом. Пруссия как истый представитель германского духа и великого германского дела, насильственного и искусственного германизирования стран не немецких, сейчас приступила к онемечиванию во что бы то ни стало Данцигской области и Познанского герцогства, не говоря уже о кенигсбергском крае, доставшемся ей гораздо прежде.

Было бы слишком долго говорить о средствах, которые она употребила для достижения этой цели; между ними широкое колонизирование немецких крестьян на польской земле занимало огромное место. Полное освобождение крестьян в 1807 г. с правом выкупа земли и со всеми возможными облегчениями для совершения этого выкупа также много способствовало к популяризированию прусского правительства даже между польскими крестьянами. Потом основались сельские школы, и в них и через них введен был немецкий язык. Вследствие подобных мер оказалось уже в 1848 г., что более трети Познанского герцогства совсем онемечилось. О городах же и говорить нечего. С самого начала польской истории в них говорилось по-немецки благодаря массе немецких бюргеров, ремесленников, а главное, жидов, получивших в них широкое гостеприимство. Известно, что с самых древних времен большинство городов в этой части Польши управлялось так называемым магдебургским правом*.

Таким образом Пруссия достигала своей цели в мирное время. Когда же польский патриотизм подымал или силился поднять народное движение, она не останавливалась, разумеется, перед самыми решительными и варварскими мерами. Мы уже имели случай заметить, что в деле укрощения польских бунтов, не только в своих собственных пределах, но также и в Царстве Польском, Пруссия не переставала оказывать неизменную верность и самую горячую готовность на помощь русскому правительству. Прусские жандармы, что говорим, прусские благородные офицеры всякого оружия, гвардейские и армей-

ские, с какою-то особенною страстью охотились на поляков, скрывавшихся в прусских владениях, ловили их и со злобною радостью выдавали русским жандармам, с выражением нередко надежды, что их в России повесят. В этом отношении Муравьев-вешатель не мог довольно нахвалиться Бисмарком.

До вступления в министерство князя Бисмарка Пруссия постоянно делала то же самое, но она делала это стыдливо, втихомолку и, когда было возможно, отпиралась от своих собственных действий. Князь Бисмарк первый сбросил маску. Он цинически, громко не только признался, но хвастался в прусском парламенте и перед европейскою дипломатией тем, что прусское правительство употребляло все свое влияние на правительство русское, чтобы уговорить его задушить Польшу до конца, не останавливаясь ни перед какими кровавыми мерами, и что в этом отношении Пруссия всегда будет оказывать самую деятельную помощь России.

Наконец, в настоящее время, еще недавно, князь Бисмарк прямо высказал в парламенте неизменное решение правительства искоренить остатки польской национальности в польских областях, наслаждающихся ныне пруссо-германским управлением. К несчастью, как мы это заметили выше, поляки познанские, точно так же, как и поляки галицийские, связали теперь, теснее чем когда-нибудь, свое польско-национальное дело с вопросом о преобладании папской власти. Их адвокатами стали иезуиты, ультрамонтанцы, монашеские ордена и епископы. Не поздоровится полякам от такого союза и от такой дружбы, как не поздоровилось в XVII веке. Но это не наше, а их, польское дело.

Мы упомянули обо всем этом для того только, чтобы показать, что у поляков нет врага опаснее и злее князя Бисмарка. Кажется, что он поставил задачею своей жизни стереть их с лица земли. И все-таки это не помешает ему позвать поляков к бунту против России, когда того требуют интересы Германии. И, несмотря на то, что поляки ненавидят его и Пруссию, чтобы не сказать всю Германию, в этом поляки не хотели бы сознаться, хотя в глубине их души, не менее, чем у всех других славянских народов, живет та же самая историческая ненависть против немцев, несмотря на то, что они не могут забыть кровных обид, вынесенных ими со стороны прусских немцев, поляки несомненно подымутся на зов Бисмарка.

В Германии и самой Пруссии уже очень давно существует многочисленная и серьезная политическая партия, даже три партии: либерально-прогрессивная, чисто демократическая и социально-демократическая, вместе составляющие несомненное большинство в парламентах германском и прусском и еще более решительное в самом обществе, партии, которые, предвидя и отчасти желая и как бы вызывая войну Германии против России, поняли, что восстание и восстановление Польши *в известных пределах* будет необходимым условием этой войны.

Разумеется, что ни князь Бисмарк и ни одна из этих партий никогда не согласятся возвратить Польше всех областей, забранных у нее Пруссией. Не говоря уже о Кенигсберге, они ни за что в мире не отдадут ни Данцига, ни даже ни малейшего клочка западной Пруссии. Даже в Познанском герцогстве они отделили себе значительную часть, будто бы уже совсем онемеченную, и оставят полякам, в сущности, из всей части Польши, доставшейся на долю пруссакам, очень немного. За то, как отдадут им всю Галицию, со Львовом и с Краковом, так как все это принадлежит теперь Австрии, и отдадут им еще охотней столько земли далеко в глубь России, сколько у поляков станет сил захватить и удержать за собою. Вместе с тем она предложит полякам нужные деньги, разумеется, в виде польского займа за поручительством Германии, оружие и военную помощь.

Кто может сомневаться в том, что поляки не только согласятся, но с радостью ухватятся за немецкое предложение; их положение так отчаянно, что если бы им сделали предложение во сто раз хуже, они бы его приняли.

Целый век прошел со времени разделения Польши*, и в продолжение этих ста лет не прошло почти ни одного года, в который бы не была пролита мученическая кровь патриотов польских. Сто лет непрерывной борьбы, отчаянных бунтов! Есть ли другой народ, который мог бы похвастаться подобною доблестью?

Чего поляки не перепробовали? Шляхетские конспирации, мещанские заговоры, вооруженные банды, народное восстание, наконец, все ухищрения дипломатии и даже помощь церковную. Все они перепробовали, за все цеплялись и все порвалось, все изменило. Как же им отказать, когда сама Германия, их опаснейший враг, предлагает им свою помощь на известных условиях?

Найдутся, пожалуй, славянофилы, которые упрекнут их за то в измене. В измене чему? Славянскому союзу, славянскому делу? А чем проявился этот союз, в чем состоит это дело? Не проявился ли он в поездке гг. Палацкого и Ригера в Москву на панславистическую выставку и на поклонение царю? Чем и когда, каким именно делом славяне как славяне выразили свою братскую симпатию полякам? Не тем ли, что те же самые гг. Палацкий и Ригер и вся их многочисленная свита западно- и югославянская в Варшаве лобызались с русскими генералами, еле-еле омывшимися от польской крови, пили за славянское братство и за здоровье царя-палача?

Поляки мученики и герои, у них в прошедшем великая слава; славяне же еще дети, и все значение их в будущем. Славянский мир, славянский вопрос — это не действительность, а надежда, которая осуществиться может только посредством Социальной Революции; а к этой революции у поляков, говоря, разумеется, о патриотах, принадлежащих большею частью к образованному сословию и по преимуществу к шляхте, до сих пор выказывалось очень немного охоты.

Что же может быть общего между славянским миром, еще не существующим, и патриотически-польским миром, более или менее отжившим? И действительно, за исключением весьма немногих лиц, старающихся создать славянский вопрос в польском духе и на польской почве, поляки вообще нисколько не занимаются этим вопросом, им гораздо понятнее и ближе мадьяры, с которыми они имеют некоторое сходство и много общих исторических воспоминаний, от славян же южных и западных отделяют их главным и, можно сказать, решительным образом симпатии этих народов к России, т. е. к тому из врагов, которого они сами ненавидят более всех.

В Польше и в польской эмиграции, как и во всех странах, политический мир разделялся некогда на много политических партий. Была партия аристократическая, клерикальная и монархически-конституционная; была партия военной диктатуры; партия республиканцев умеренных, поклонников Соединенных Штатов; партия красных республиканцев по французскому образцу; наконец, даже немногочисленная партия демократов социальных, не говоря уже о мистически-сектаторских партиях или, вернее, церковных. В сущности, однако, стоило только проникнуть в каждую из них немного глубже, чтобы убе-

даться, что основа у всех одна и та же: страстное стремление у всех к восстановлению польского государства в границах 1772 г. Помимо же взаимных противоречий, происходящих от взаимной борьбы начальников партий, главное различие их состояло в том, что каждая была уверена, что эта общая цель, восстановление старой Польши, может быть достигнута только на пути специально рекомендуемым ею.

До 1850 г. можно сказать, что огромное большинство польской эмиграции революционное, именно потому, что большинство было уверено, что восстановление независимой Польши будет непременно результатом торжества революции в Европе. И что же, можно сказать, что в 1848 г. не было ни одного движения в целой Европе, в котором бы не участвовали и даже часто не предводительствовали поляки. Нам помнится, как один саксонский немец выразил на этот счет свое удивление: где только беспорядок, там непременно поляки!

В 1850 г. вследствие повсеместного поражения эта вера в революцию упала, поднялась наполеоновская звезда, и множество, множество польских эмигрантов, огромное большинство сделались отъявленными и страшными бонапартистами. Боже мой, чего не ждали и не надеялись они от помощи Наполеона III! Даже явная, гнусная измена его в 1862—63 г. не в силах была убить в них этой веры. Она окончилась только в Седане.

После этой катастрофы оставалось для польской надежды только одно убежище, иезуитско-ультрамонтанское. Австрийские и большинство польских патриотов ринулось в Галицию, ринулось туда с отчаяния. Но вообразите себе, что Бисмарк, их отъявленный враг, вынужденный положением Германии, позовет их на восстание против России; покажет им не отдаленную надежду, нет, даст им деньги, оружие и военную помощь. Возможно ли, чтобы они отказались от этого?

Правда, что взамен этой помощи от них потребуются формальное отречение от большей части старых польских земель, находящихся теперь во владении Пруссии. Это будет им очень горько, но вынужденные обстоятельствами и ввиду верного торжества над Россией, утешая себя, наконец, мыслью, что лишь бы только восстановить Польшу, а потом они возвратят свое, они поднимут все несомненно и с своей точки зрения будут десять тысяч раз правы.

Правда, что Польша, восстанавливаемая с помощью немецкого войска, под покровительством князя Бисмарка, будет странною Польшею. Но лучше странная Польша, чем никакой; да наконец, потом, подумают непременно поляки, можно будет и освободиться от покровительства князя Бисмарка.

Одним словом, поляки на все согласятся, и Польша встанет, Литва встанет, а немного погодя и Малороссия встанет; польские патриоты, правда, плохие социалисты, и у себя дома они не станут заниматься революционно-социалистической пропагандой, а если бы и захотели, то покровитель, князь Бисмарк, не позволил бы — слишком близко к Германии; чего доброго, такая пропаганда могла бы проникнуть и в прусскую Польшу. Но чего нельзя будет делать в Польше, то можно будет делать в России и против России. Чрезвычайно полезно будет и для немцев, и для поляков поднять в России крестьянский бунт, а поднять его будет, правда, не трудно, и подумайте, сколько поляков и немцев рассеяно теперь по России. Большинство, если не все, будут естественными союзниками Бисмарка и поляков. Вообразите себе такое положение: войска наши, разбитые наголову, бегут; за ними вслед на севере к Петербургу идут немцы, а на западе и на юге, на Смоленск и на Малороссию, идут поляки — и в то же самое время, возбужденный внешнею и внутреннею пропагандою, в России, в Малороссии всеобщий крестьянский, торжествующий бунт.

Вот почему можно сказать наверное, что никакое правительство и что ни один русский царь, если он только не сумасшедший, не поднимет панславистического знамени и не пойдет никогда войною против Германии.

Поразив окончательно сначала Австрию, а потом Францию, новая и великая Германская империя низведет безвозвратно на степень второстепенных и от нее зависящих держав не только эти два государства, но позже и нашу всероссийскую империю, которую она навсегда отрезала от Европы. Мы говорим, разумеется, об империи, а не о русском народе, который, когда ему будет нужно, найдет или пробьет себе всюду дорогу.

Но для всероссийской империи ворота Европы отныне закрыты; от этих ворот ключи же хранятся у князя Бисмарка, который ни за что в мире не даст их князю Горчакову.

Но если ворота северо-запада заперты для нее навсегда, не останутся ли открытыми, и, может быть, еще тем вернее и шире, ворота южные и юго-восточные: Бухара, Персия и Афганистан до самой восточной Индии и, наконец, последняя цель всех замыслов и стремлений, Константинополь? Уже давно русские политики, горячие ревнители величия и славы нашей любезной империи, обсуждают вопрос, не лучше ли перенести столицу, а с ней вместе и средоточие всех сил, всей жизни империи с севера на юг, от суровых берегов моря Балтийского на вечно цветущие берега Черного и Средиземного морей, одним словом, из Петербурга в Константинополь.

Есть, правда, до того ненасытные патриоты, что они хотели бы сохранить Петербург и преобладание на Балтийском море и вместе овладеть Константинополем. Но это желание до того неосуществимо, что даже они, несмотря на всю веру во всемогущество всероссийской империи, начинают отказываться от надежды на его исполнение, к тому же за последний год случилось происшествие, которое должно было открыть им глаза. Это происшествие: присоединение Гольштейна, Шлезвига и Ганновера к Прусскому королевству, обратившемуся непосредственно через это в северную морскую державу.

Аксиома всем известная, что не может ни одно государство стать в числе первенствующих держав, если оно не имеет обширных морских границ, обеспечивающих непосредственное сообщение его с целым светом и позволяющих ему принять участие прямое в мировом движении, как материальном, так и общественном, политически-нравственном. Эта истина столь очевидна, что ее доказывать нечего. Предположим государство самое сильное, образованное и самое счастливое — сколько в государстве общее счастье возможно — и вообразим, что какие-нибудь обстоятельства уединили его от остального света. Можете быть уверены, что по прошествии каких-нибудь пятидесяти лет, двух поколений, все в нем придет в застой: сила ослабевает, образованность станет граничить с глупостью, ну а счастье будет издавать запах лимбургского сыра*.

Посмотрите на Китай, кажется, был и умен, и учен, и, вероятно, также, по-своему, счастлив; отчего он сделался таким дряблым, что достаточно самых небольших усилий морским европейским державам для того, чтобы подчинить его своему уму и если не своему владычеству, то, по

крайней мере, своей воле? Оттого, что в продолжение веков он оставался в застое, а оставался он в нем потому, что в продолжение этих веков он, благодаря отчасти своим внутренним учреждениям, отчасти же тому, что течение мировой жизни происходило так далеко от него, что долго не могло его коснуться.

Есть много разных условий, чтобы народ, замкнутый в государство, мог принять участие в мировом движении; сюда принадлежит природный ум и прирожденная энергия, образованность, способность к производительному труду и самая обширная внутренняя свобода, столь невозможная, впрочем, для масс в государстве. Но к этим условиям также принадлежит непременно морское плавание, морская торговля, потому что морские сообщения по своей относительной дешевизне, скорости, а также и свободе, в том смысле, что море никем не присвоено, превосходят все другие более известные, не исключая, разумеется, и железных дорог. Может быть, воздухоплавание когда-нибудь окажется еще более удобным во всех отношениях и будет особенно важно, так что оно окончательно уравнивает условия развития и жизни для всех стран. Но до сих пор о нем говорить нельзя как о средстве серьезном, и мореплавание все-таки остается главным средством для преуспеяния народов.

Будет время, когда не будет более государств, — а к разрушению их стремятся все усилия социально-революционной партии в Европе, — будет время, когда на развалинах политических государств оснуется совершенно свободно и организуясь снизу вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей, ну, тогда путь к морю будет равно открыт для всех; для береговых жителей непосредственно, а для живущих в отдалении от моря посредством железных дорог, освобожденных вполне от всяких государственных попечений, взиманий, пошлин, ограничений, придинок, запрещений, позволений и применений. Но и тогда даже морские береговые жители будут иметь множество естественных преимуществ, не только материальных, но и умственно-нравственных. Непосредственное прикосновение к мировому рынку и вообще к мировому движению жизни развивает чрезвычайно, и, как ни уравнивайте отношения, все-таки внутрен-

ние жители, лишенные этих преимуществ, будут жить и развиваться ленивее и медленнее прибрежных.

Вот почему так важно будет воздухоплавание. Воздушная атмосфера — это океан, проникающий всюду, берег его везде, так что в отношении к нему все люди, даже живущие в самых отдаленных захолустьях, без исключения все — прибрежные жители. Но до тех пор, пока воздухоплавание не заменит мореплавания, прибрежные жители останутся во всех отношениях передовыми и будут составлять род аристократии в человечестве.

Вся история, а главное — большая часть прогресса в истории была сделана народами прибрежными. Первый народ, создатель всей цивилизации, греки — и что же, можно сказать, что вся Греция — не что иное, как берег. Древний Рим сделался государством могучим, мировым только с тех пор, как сделался морским государством. А в новейшей истории, кому обязаны воскресением политической свободы, общественной жизни, торговли, искусств, науки, свободной мысли, одним словом, возрождением человечества? Италии, которая почти вся, как Греция, — берег. После Италии кто унаследовал передовое место в мировом движении? Голландия, Англия, Франция и, наконец, Америка.

Посмотрим же, напротив, на Германию. Почему, несмотря на много несомненных качеств, которыми наделены ее народы, как, напр., чрезвычайное трудолюбие, способности к размышлению и к науке, эстетическое чувство, породившее великих артистов, художников и поэтов, и глубокомысленный трансцендентализм, породивший не менее великих философов, — почему, спрашиваем мы, Германия отстала так далеко от Франции и от Англии во всех других отношениях, кроме одного, в котором опередила всех, в развитии бюрократического, полицейского и военного государственного порядка, почему в торговом отношении она стоит еще теперь ниже Голландии, а в индустриальном ниже Бельгии.

Скажут, потому что у ней никогда не было свободы, любви к свободе, ни требования свободы. Это будет отчасти справедливо, но это не единственная причина. Другая, столь же важная — это отсутствие широкого побережья. Еще в XIII веке, именно в эпоху зарождения* Ганзы, Германия не терпела недостатка в морском берегу, по крайней мере, на западе. Голландия и Бельгия еще принадлежали к ней, а именно в этом столетии торговля Герма-

нии, казалось, обещала развитие довольно широкое. Но уже с XIV века нидерландские города, увлеченные своим предприимчивым и смелым духом и своею любовью к свободе, стали видимым образом отделяться от Германии и чуждаться ее. В XVI веке это отделение окончательно совершилось и великая империя, неуклюжая наследница Римской империи, оказалась государством почти совсем средиземным. Осталась у нее только узкая форточка в море между Голландией и Данией, далеко не достаточная для свободного дыхания такой огромной страны. Вследствие этого на Германию и напала сонливость, чрезвычайно похожая на китайский застой.

С тех пор все политическое *переходное* движение Германии, в смысле образования нового сильного государства, сосредоточилось в небольшом курфюрстве Бранденбургском. И в самом деле, бранденбургские курфюрсты постоянным стремлением своим овладеть берегами Балтийского моря оказали значительную услугу Германии, создали, можно сказать, условия ее настоящего величия, сначала овладели Кенигсбергом, а потом, в эпоху первого деления Польши, взяли Данциг. Но всего этого было недостаточно, надо было овладеть Килем и вообще всем Шлезвигом и Гольштейном.

Эти новые завоевания были сделаны Пруссией при рукоплескании целой Германии. Мы все были свидетелями, с какою страстью немцы решительно всех отдельных государственных фатерландов, и северных, и южных, и западных, и восточных, и центральных, следили с самого 1848 г. за развитием шлезвиг-гольштинского вопроса*, и ошибались глубоко те, которые объясняли себе эту страсть в смысле участия к родным братьям, немцам, будто бы задыхающимся под датским деспотизмом. Тут был интерес совсем другой, интерес государственный, пангерманский, интерес завоевания морских границ и морских сообщений, интерес создания могучего немецкого флота.

Вопрос о немецком флоте был уже поднят в 1840 или 41 г., и мы помним, с каким энтузиазмом было принято целою Германиею стихотворение Гервега: германский флот**.

Немцы, повторяем мы еще раз, народ в высшей степени государственный***, эта государственность преобладает в них над всеми другими страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы. Но она-то составляет именно в настоящее время их специальное величие; она

служит и будет еще служить некоторое время неизменною и прямою подставкою для всех честолюбивых замыслов берлинского государя. На нее крепкой ногой опирается князь Бисмарк.

Немцы народ ученый и знают, что без прочных* морских границ нет и не может быть великого государства. Вот почему они, наперекор исторической, этнографической и географической истине, утверждают еще теперь, что Триест был, есть и будет немецким городом, что весь Дунай — река немецкая. Они рвутся к морю. И если не остановит их социальная революция, можно быть уверенным, что прежде, чем пройдут двадцать, десять лет, а может быть и еще менее, — происшествия ныне идут так быстро друг за другом, — можно быть уверенным, говорим мы, что в короткое время они завоюют всю *немецкую* Данию, всю *немецкую* Голландию, всю *немецкую* Бельгию. Все это лежит, так сказать, в натуральной логике их политического положения и их инстинктивных стремлений.

Один этап на этом пути уже пройден.

Пруссия, нынешнее олицетворение, голова и вместе руки Германии, крепко основалась на Балтийском море, а вместе с тем и на Северном море. Независимость бременская, гамбургская, любекская, мекленбургская и ольденбургская — пустая и невинная шутка. Все это вместе с Гольштейном, Шлезвигом и Ганновером вошло в состав Пруссии, и Пруссия, богатая французскими деньгами, строит два сильных флота: один на Балтике, другой на Северном море, и благодаря судоходному каналу, который ныне копают для соединения двух морей, эти два флота скоро составят один флот. И не много лет надо будет ждать для того, чтобы этот флот, превосходящий уже и датский, и шведский, сделался бы гораздо сильнее русского Балтийского флота. И тогда русское преобладание на море Балтийском канет в... Балтийское море. Прощай Рига, прощай Ревель, прощай Финляндия и прощай Петербург, вместе с своим неприступным Кронштадтом!

Все это для квасных патриотов, привыкших преувеличивать всероссийские силы, покажется бредом, злою сказкою, а между тем это не что иное, как совершенно верное заключение из осуществившихся уже фактов, на основании справедливой оценки характера и способностей немецких и русских, не говоря уже о денежных средствах, о сравнительном количестве добросовестных, преданных и знающих чиновников всякого рода и также

не говоря о науке, которая дает решительный перевес всем немецким предприятиям перед русскими.

Немецкая государственная служба дает результаты не красивые, неприятные, можно сказать, мерзкие, но зато положительные и серьезные.

Русская государственная служба дает результаты столь же неприятные и некрасивые, а по форме нередко еще более дикие и с этим вместе пустые. Возьмем пример: положим, что в одно и то же время в Германии и в России правительства назначили одну и ту же сумму, положим, миллион, на совершение какого-нибудь дела, хоть на постройку нового судна. Что же, вы думаете, в Германии украдут? Украдут, быть может, сто тысяч, положим, двести тысяч, зато уж восемьсот тысяч прямо пойдут на дело, которое совершится с тою аккуратностью и с тем знанием, которым отличаются немцы. Ну, а в России? В России прежде всего половину раскрадут, четверть пропадет вследствие нерадения и невежества, так что много-много, если на остальную четверть состряпают что-нибудь гнилое, годящееся напоказ, но для дела негодное.

Почему же русский флот способен устоять против немецкого, русские приморские укрепления, напр., Кронштадт, выдержать стрельбу немцев, умеющих бросать не только чугунные, но также и золотые снаряды?

Прощай господство на Балтийском море! Прощай все политическое значение и сила северной столицы, воздвигнутой Петром на финских болотах! Если наш маститый великий канцлер князь Горчаков не совсем выжил из ума, он должен был сказать себе это в те дни, когда союзная Пруссия грабила безнаказанно и как бы с нашего согласия столь же нам союзную Данию. Он должен был понять, что с того дня, как Пруссия, опирающаяся теперь на всю Германию и составляющая в неразрывном единстве с последнею сильнейшую континентальную державу, с тех пор, одним словом, как новая Германская империя, создавшаяся под скипетром прусским, заняла на Балтийском море свое настоящее и для всех других прибалтийских держав столь грозное положение, преобладанию петербургской России на этом море был положен конец, уничтожено великое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и самое могущество всероссийского государства, если в вознаграждение утраты вольного морского пути на севере не откроется для него новый путь на юге.

Ясно, что на Балтийском море станут теперь господствовать немцы. Правда, что входы в него находятся еще в руках Дании. Но кто не видит, что этому бедному маленькому государству не остается уже теперь почти другого выбора, как сделаться сначала, пожалуй, вольно-федеративным, а вскоре потом и вполне *быть поглощенным* пангерманской государственной централизацией; а это значит, что Балтийское море в самое короткое время превратится в море исключительно немецкое и что Петербург должен будет утратить всякое политическое значение.

Князь Горчаков должен был знать это, когда соглашался на раздробление Датского королевства и на присоединение Гольштейна и Шлезвига к Пруссии. И силою самых происшествий мы приведены к следующей дилемме: или он изменил России, или взамен пожертвованного им преобладания всероссийского государства на северо-западе он обеспечился формальным обязательством князя Бисмарка содействовать России в завоевании нового могущества на юго-востоке.

Для нас существование такого акта, существование оборонительного и наступающего союза, заключенного между Россией и Пруссией чуть ли не сейчас же после парижского мира или, по крайней мере, во время польского восстания, в 1863, когда увлеченные примером Франции и Англии почти все европейские державы, кроме Пруссии, громогласно и официально протестовали против всероссийского варварства; для нас, говорим мы, формальное и для обеих сторон равно обязательное согласие между Пруссией и Россией несомненно, только подобным союзом может быть объяснена та спокойная, можно сказать, беззаботная уверенность, с какою Бисмарк предпринял войну против Австрии и против большей части Германии с опасностью французского вмешательства и еще более решительную войну против Франции. Малейшей враждебной демонстрации со стороны России, напр., движения русских войск к прусской границе, было бы достаточно, чтобы остановить и в той и в другой войне, особенно в последней, дальнейшие движения победоносного прусского воинства. Вспомним, что в конце последней войны вся Германия, по преимуществу же северная часть ее, была совершенно очищена от войск, что невмешательство Австрии в пользу Франции не имело другой причины, как объявление России, что если Австрия двинет свои

войска, то она двинет против них свою армию, и что Италия и Англия только потому не вмешались, что этого не хотела Россия. Не заяви она себя таким решительным союзником пруссо-германского императора, немцы никогда бы не взяли Парижа.

Но Бисмарк, видимо, был уверен, что Россия не изменит ему. На чем же была основана такая уверенность? Ужели на родственных связях и на личной дружбе двух императоров? Но Бисмарк человек слишком умный и опытный, чтобы рассчитывать на чувства в политике. Положим даже, что наш император, одаренный, как всем известно, чувствительным сердцем и проливающий слезы чрезвычайно легко, мог увлечься подобными чувствами, не раз высказанными им в царских попойках; вокруг него целое правительство, двор, наследник, ненавидящий будто бы немцев и, наконец, наш маститый государственный патриот князь Горчаков, все вместе, общественное мнение и сама сила вещей напомнила бы ему, что государства руководствуются интересами, а не чувствами.

Не мог же Бисмарк рассчитывать на тождество интересов русских и прусских. Такого тождества нет, да и быть не может, оно существует только в одном пункте, а именно в польском вопросе. Ну да, этот вопрос давно уже порешен, а во всех других отношениях ничто не может быть так противно интересам всероссийского государства, как образование обок его огромной и могущественной всегерманской империи. Существование двух огромных империй друг подле друга влечет за собой войну, которая не может кончиться иначе, как разрушением или одной, или другой.

Война эта, повторяем мы, неизбежна, но она может быть отдалена, если обе империи сознают, что они еще недостаточно укрепились внутри, не довольно расширились для того, чтобы начать друг против друга войну решительную, борьбу на жизнь и на смерть. Тогда, хотя и ненавидя друг друга, они продолжают друг друга поддерживать, обменивать услуги между собою, причем каждая надеется, что она воспользуется лучше другой невольным союзом, приобретет больше силы и средств для будущей, неизбежной борьбы, — таково именно взаимное положение России и прусской Германии.

Германская империя далеко еще не укрепилась ни внутри, ни снаружи. Внутри она представляет странное соединение многих самостоятельных, средних и малень-

ких государств, правда, обреченных на уничтожение, но еще не уничтоженных и стремящихся во что бы то ни стало спасти остатки своей, видимо, исчезающей самостоятельности. Снаружи хмурится против новой империи униженная, но не окончательно еще сраженная Австрия, побежденная и именно вследствие того непримиримая Франция. К тому же новогерманская империя далеко еще не достаточно округлила свои границы. Повинуясь внутренней необходимости, свойственной военным государствам, она задумывает новые приобретения, новые войны. Поставив себе целью восстановление средневековой империи в первобытных границах, и к этой цели влечет ее неуклонно патриотизм пангерманский, обуявший все немецкое общество, она мечтает о присоединении всей Австрии, кроме Венгрии, отнюдь не кроме Триеста, но кроме Богемии, всей немецкой Швейцарии, части Бельгии, всей Голландии и Дании, необходимых для основания ее морского могущества, — планы гигантские, осуществление которых возбудит значительную часть западной и южной Европы против нее, и которое поэтому без согласия России решительно невозможно. Значит, для новогерманской империи еще необходим русский союз.

Всероссийская империя, с своей стороны, также не может обойтись без пруссо-германского союза. Отказавшись от всяких новых приобретений и расширений на северо-западе, она должна идти на юго-восток. Уступив Пруссии преобладание на Балтийском море, она должна завоевать и установить свое могущество на Черном море. Иначе она будет отрезана от Европы. Но для того, чтобы владычество ее на Черном море было действительно и полезно, она должна овладеть Константинополем, без которого не только вход в Средиземное море может быть возбранен ей во всякое время, но самый вход в Черное море будет всегда открыт для неприятельских флотов и армий, как это и было во время крымской кампании.

Значит, единая цель, к которой больше чем когда-нибудь стремится завоевательная политика нашего государства, — Константинополь. Осуществлению этой цели противны интересы всей южной Европы, не исключая, разумеется, Франции, противны английские интересы, а также интересы Германии, так как безграничное владычество России на Черном море поставит все дунайское побережье в прямую зависимость от России.

И, несмотря на это, нельзя сомневаться в том, что Пруссия, вынужденная опираться на русский союз для исполнения своих завоевательных планов на западе, формально обязалась помогать России в ее юго-восточной политике, так же как нельзя сомневаться и в том, что она воспользуется первою возможностью для того, чтобы изменить обещанию.

Такого нарушения договора нельзя ожидать теперь, в самом начале исполнения его. Мы видели, какую горячую поддержку Пруско-германская империя оказала империи всероссийской в вопросе об уничтожении условий парижского трактата, стеснительных для России, и нет сомнения, что она так же горячо продолжает ее поддерживать в хивинском вопросе. К тому же для немцев выгодно, чтобы русские удалились как можно глубже на восток.

Но что заставило русское правительство предпринять поход против Хивы? Нельзя же предполагать, чтобы оно предприняло его в защиту интересов русского купечества и русской торговли. Если бы это было так, то можно было бы спросить, почему оно не предпринимает таких же походов внутри России, против самого себя, как, напр., против московского генерал-губернатора и вообще против тех губернаторов и градоначальников, притесняющих и грабящих, как известно, самым наглым манером и всеми возможными способами и русскую торговлю, и русских купцов.

Какая же польза может быть для нашего государства в завоевании песчаной пустыни? Иные, пожалуй, готовы ответить, что правительство наше предприняло этот поход ради исполнения великого призвания России внести цивилизацию Запада на Восток. Но такое объяснение годится, пожалуй, для академических или официальных речей, а также и для доктринерных книг, брошюр и журналов, всегда наполненных возвышенным вздором и говорящих всегда противное тому, что делается и что есть; нас же оно удовлетворить не может. Вообразите себе петербургское правительство, руководимое в своих предприятиях и действиях сознанием цивилизаторского назначения России! Для человека, сколько-нибудь знакомого с природою и с побуждениями наших правителей, одного такого представления достаточно, чтобы уморить его со смеху.

Не станем говорить также об открытии новых торговых путей в Индию. Торговая политика — это политика Англии, она никогда не была русской. Русское государство по преимуществу и, можно сказать, исключительно — военное государство. В нем все подчинено единому интересу могущества всенасилюющей власти. Государь, государство — вот главное; все же остальное — народ, даже сословные интересы, процветание промышленности, торговли и так называемой цивилизации — лишь средства для достижения этой единой цели. Без известной степени цивилизации, без промышленности и торговли никакое государство, и особенно новейшее, существовать не может, потому что так называемое богатство национальное, далеко не народное, а богатство привилегированных сословий, есть сила. В России оно все поглощается государством, которое, в свою очередь, становится кормильцем огромного государственного класса — военного, гражданского и духовного. Казенное повсеместное воровство, казнокрадство и народообирание есть самое верное выражение русской государственной цивилизации.

Поэтому нет ничего мудреного, что между другими и более главными причинами, побудившими русское правительство к предпринятию похода против Хивы, были также и так называемые торговые причины; надо было открыть для умножающегося официального люда, к которому мы причисляем и наше купечество, новое поприще, дать ему новые области на разграбление. Но значительное умножение богатства и силы для государства с этой стороны ждать нельзя. Напротив, можно быть уверенным, что в финансовом отношении предприятие представит гораздо более убытков, чем прибыли.

Зачем же пошли в Хиву? Для того ли, чтобы дать занятие войску? В продолжение многих десятков лет Кавказ служил военною школою, но теперь Кавказ умиротворен, поэтому надо было открыть новую школу; вот и задумали хивинскую кампанию. Такое объяснение также не выдерживает критики, даже если мы предположим, что русское правительство из рук вон неспособно и глупо. Опыт, приобретенный войсками нашими в хивинской пустыне, отнюдь не применим к войне против Запада, а с другой стороны, он слишком дорог, так что приобретенные выгоды далеко не могут сравниться с величиной затрат и издержек.

Но, может быть, русское правительство задумало не на шутку завоевание Индии? Мы не грешим излишнею верою в мудрость наших петербургских правителей, но все-таки не можем допустить, чтобы оно задалось такою нелепою целью. Завоевать Индию! Для кого, зачем и какими средствами? Ведь для этого надобно было бы двинуть по крайней мере четверть, если не целую половину русского населения на восток, и почему именно завоевать Индию, до которой не иначе можно добраться, как покорив сперва воинственное и многочисленное племя Афганистана. Завоевать же Афганистан, вооруженный и отчасти даже дисциплинированный англичанами, было бы по крайней мере в три или четыре раза труднее, чем совладать с Хивою.

Уж если пошло на завоевание, почему бы не начать с Китая? Китай очень богат и во всех отношениях доступнее для нас, чем Индия, так как между ним и Россиею нет никого и ничего. Ступай и возьми, если можешь.

Да, пользуясь неурядицею и междуусобными войнами, ставшими хроническою болезнью Китая, можно было бы распространить очень далеко завоевание в этом крае, и кажется, что русское правительство затевает что-то в этом роде; оно силится явным образом отделить от него Монголию и Манчжурию; пожалуй, в один прекрасный день мы услышим, что русские войска совершили вторжение на западной границе Китая. Дело чрезвычайно опасное, ужасно напоминающее нам пресловутые победы древних римлян над германскими народами, победы, кончившиеся, как известно, разграблением и покорением Римской империи дикими германскими племенами.

В одном Китае считают одни — четыреста, а другие — около шестисот миллионов жителей, которым видимым образом становится тесно жить в границах империи и которые все большими массами переселяются теперь неотвратимым течением одни в Австралию, некоторые через Тихий океан в Калифорнию; другие массы могут двинуться, наконец, на север и на северо-запад. И тогда? Тогда в одно мгновение ока Сибирь, весь край, простирающийся от Татарского пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, перестанет быть русским.

Подумайте, что в этом огромном крае, превосходящем объемом своим (12 220 000 квадратных километров) более чем в двадцать раз объем Франции (528 600 кв. км), считается до сих пор не более 6 миллионов жителей, из

которых только около 2 600 000 русских, все же остальные туземцы, татарского или финского происхождения, а численность войска самая ничтожная. Будет ли какая возможность остановить вторжение китайских масс, которые не только наводнят всю Сибирь, включая новые владения наши в Центральной Азии, но перевалят и через Урал, и к самой Волге.

Такова опасность, грозящая нам чуть ли не неизбежно со стороны Востока. Напрасно презирают китайские массы. Они грозны уже одним своим огромным количеством, грозны, потому что чрезмерное умножение делает почти невозможным их дальнейшее существование в границах Китая; грозны также и потому, что о них не должно судить по китайским купцам, с которыми купцы европейские ведут дела в Шанхае, в Кантоне или в Маймачине. Внутри Китая живут массы, гораздо менее изуродованные китайскою цивилизациею, несравненно более энергические, к тому же непременно воинственные, воспитанные в военных привычках нескончаемого междоусобною войною, в которой гибнут десятки и сотни тысяч людей. Надо заметить еще, что в последнее время они стали знакомиться с употреблением новейшего оружия и также с европейскою дисциплиною — этим цветком и последним официальным словом государственной цивилизации Европы. Соедините только эту дисциплину и знакомство с новым оружием и с новою тактикою с первобытным варварством китайских масс, с отсутствием в них всякого понятия о человеческом протесте, всякого инстинкта свободы, с привычкою самого рабского повиновения, а они соединяются именно теперь, под влиянием множества военных авантюристов, американских и европейских, наводнивших Китай после последнего франко-английского похода в эту страну в 1860 году; да примите в соображение чудовищную огромность населения, принужденного искать себе выхода, и вы поймете, как велика опасность, грозящая нам со стороны Востока.

Вот с этою-то опасностью и играет наше русское правительство, невинное, как дитя. Подвигаемое нелепым стремлением расширения своих границ и не принимая в соображение того, что Россия так мало населена, так бедна и так беспомощна, что она до сих пор не в состоянии, да и никогда не сможет населить новоприобретенного Амурского края, в котором на пространстве 2 100 000 километров (почти в четыре раза более, чем

Франция) считается вместе с войском и флотом всего только 65 000 жителей. И при таком бессилии, при поголовной нищете всего русского народа, взятого вместе, доведенного отеческим управлением во всех отношениях до положения столь отчаянного, что ему не остается другого выхода и спасения, как только в самом разрушительном бунте, — да, при таких условиях правительство русское надеется водворить свое могущество на всем азиатском Востоке.

Для того, чтобы идти далее, с самыми малыми задатками успеха, оно должно бы было не только повернуть спину Европе и отказаться от всякого вмешательства в дела европейские — а этого князь Бисмарк только и желает теперь, — оно должно бы было двинуть решительно всю свою военную силу в Сибирь и в Центральную Азию и идти на завоевание Востока, как Тамерлан со всем своим народом. Но за Тамерланом народ его шел, за русским же правительством русский народ не пойдет.

Возвращаемся к Индии. Как оно ни нелепо, русское правительство не может питать надежды на завоевание ее и на укрепление в ней своего могущества. Англия завоевала Индию прежде всего своими торговыми компаниями, у нас же таких компаний нет, а если они кое-где и существуют, так только карманные, для вида. Англия ведет свою громадную эксплуатацию Индии или свою насильственную торговлю с нею морем, посредством огромных флотов, купеческих и военных, у нас таких флотов нет, и вместо моря нас отделяет от Индии нескончаемая пустыня — значит, не может быть и речи о завоевании в Индии.

Но если мы не можем завоевать, то мы можем разрушить или, по крайней мере, сильно поколебать в ней владычество Англии, возбуждая туземные бунты против нее и помогая этим бунтам, поддерживая их даже, когда это станет нужно, военным вмешательством.

Да, можем, хотя это и будет стоить нам, не богатым ни деньгами, ни людьми, огромных трат людей и денег. Но зачем же мы понесем эти траты? Неужели для того только, чтобы доставить себе невинное удовольствие напакостить англичанам без всякой пользы, а, напротив, с положительным ущербом для себя? Нет, потому, что англичане нам мешают. Где же они нам мешают? — В Константинополе. Пока Англия сохранит свою силу, она никогда и ни за что в мире не согласится, чтобы Констан-

тинополь в наших руках стал снова столицей уже не одной только всероссийской, ни даже славянской, а восточной империи.

Так вот почему русское правительство предприняло войну в Хиве и почему оно вообще издавна стремится приблизиться к Индии. Оно ищет пункта, где бы можно нанести вред Англии и, не находя другого, грозит ей в Индии. Таким образом оно надеется помирить англичан с мыслью, что Константинополь должен сделаться русским городом, принудить их согласиться на это завоевание, более чем когда-нибудь необходимое для государственной России.

Преобладание ее на море Балтийском утрачено безвозвратно. Не одному всероссийскому государству, сплоченному штыком да кнутом, ненавистному для всех народных масс, в нем заключенных и скованных начиная с народа великорусского, деморализованному, дезорганизованному и разоренному родным самодурствующим произволом, родною глупостью и родным воровством, не его военной силе, существующей больше на бумаге, чем в действительности и только для безоружных, да и то пока только у нас решимости не хватает, не ей бороться против страшного и великолепно организованного могущества вновь возникающей Германской империи. Значит, надо отказаться от Балтийского моря и ожидать того момента, когда вся прибалтийская область сделается немецкой провинцией. Помешать этому может только народная революция. Ну, а такая революция для государства смерть, и не в ней будет наше правительство искать для себя спасения.

Ему не остается другого спасения, как только в союзе с Германиею, потому что принуждено отказаться в пользу немцев от Балтийского моря, оно должно теперь на Черном море искать новой почвы, новой основы для своего величия или просто даже для своего политического существования и смысла, но приобретать ее без позволения и помощи немцев оно не может.

Немцы обещали эту помощь. Да, как мы в этом уверены, они формальным договором, заключенным между князем Бисмарком и князем Горчаковым, обязались оказать ее российскому государству, но никогда не окажут ее, в этом мы также уверены. Не окажут, потому что не могут отдать на произвол России своего дунайского побережья и своей дунайской торговли; а также и потому,

что не может быть в их интересах способствовать воздвигению нового русского могущества, великой панславянской империи на юге Европы. Это было бы просто нечто вроде самоубийства со стороны пангерманской империи. — Вот направить и толкнуть русские войска в Центральную Азию, в Хиву, под предлогом, что это самый прямой путь в Константинополь, — это другое дело.

Нам кажется несомненным, что наш маститый государственный патриот и дипломат князь Горчаков и высочайший патрон его государь Александр Николаевич разыграли во всем этом плачевном деле самую глупую роль и что знаменитый немецкий патриот и государственный мошеник князь Бисмарк надул их чуть ли даже не ловчее, чем он надул Наполеона III.

Но дело сделано, его переменить невозможно. Новая Германская империя встала величавая и грозная, смеясь над своими завистниками и врагами. Не русским дряблым силам свалить ее, это может сделать только одна революция, а до тех пор пока революция не восторжествовала в России или в Европе, будет торжествовать и всем повелевать государственная Германия, и русское государство, так же как и все континентальные государства в Европе, будут существовать отныне только с ее позволения и милости.

Это, разумеется, чрезвычайно обидно для всякого русского государственно-патриотического сердца, но грозный факт остается фактом; немцы более чем когда-нибудь стали нашими господами, и недаром все немцы в России так горячо и шумно праздновали победы германских войск во Франции, недаром так торжественно принимали своего нового пангерманского императора все петербургские немцы.

В настоящее время на целом континенте Европы осталось только одно истинно самостоятельное государство — это Германия. Да, между всеми континентальными державами — мы говорим, конечно, только о больших, так как само собою разумеется, что малые и средние обречены сначала на неприменную зависимость, а в течение скорого времени и на гибель, — между всеми первостепенными государствами только одна Германская империя представляет все условия полнейшей самостоятельности, все же другие поставлены в зависимость от нее. И это не потому только, что она одержала в течение последних годов блистательные победы над Даниею, над Австриею

и над Франциею; что она овладела всем оружием последней и всеми военными запасами; что она заставила ее заплатить себе пять миллиардов; что она присоединением Эльзаса и Лотарингии заняла против нее в оборонительном, так же как и в наступательном отношении великолепную военную позицию; а также и не потому только, что германская армия численностью, вооружением, дисциплиною, организацией, точною исполнительностью и военною наукою не только своих офицеров, но также и своих унтер-офицеров и солдат, не говоря уже о неоспоримом сравнительном совершенстве своих штабов, превосходит ныне решительно все существующие армии в Европе, не потому только, что масса германского народонаселения состоит из людей грамотных, трудолюбивых, производительных, сравнительно весьма образованных, чтобы не сказать ученых, к тому же смиренных, послушных властям и закону, и что германская администрация и бюрократия чуть ли не осуществили идеал, к достижению которого тщетно стремятся бюрократия и администрация всех других государств...

Все эти преимущества, разумеется, способствовали и способствуют изумительным успехам нового пангерманского государства, но не в них должно искать главную причину ее настоящей, всеподавляющей силы. Можно даже сказать, что они сами все не более как проявления общей и более глубокой причины, лежащей в основании всей германской общественной жизни. Эта причина — *инстинкт общности*, составляющий характеристическую черту немецкого народа.

Инстинкт этот разлагается на два элемента, по-видимому, противоположные, но всегда неразлучные; рабский инстинкт повиновения во что бы то ни стало, смиренного и мудрого подчинения себя торжествующей силе под предлогом послушания так называемым законным властям; а в то же самое время господский инстинкт систематического подчинения себе всего, что слабее, командования, завоевания и систематического притеснения. Оба эти инстинкта достигли значительной степени развития почти в каждом немецком человеке, исключая, разумеется, пролетариат, положение которого исключает возможность удовлетворения по крайней мере второго инстинкта; и всегда не разделяя, дополняя и объясняя друг друга, оба лежат в основании патриотического немецкого общества.

О классическом послушании немцев всех чинов и рядов властям гласит вся история Германии, а особенно новейшая, которая представляет непрерывный ряд подвигов покорности и терпенья. В немецком сердце выработалось веками истинное богопочитание государственной власти, богопочитание, которое создало постепенно бюрократическую теорию и практику и благодаря стараниям немецких ученых легло потом в основание всей политической науки, проповедуемой поныне в университетах Германии.

О завоевательных и притеснительных стремлениях германского племени, начиная от средневековых германских крестоносцев-рыцарей и баронов до последнего филистера-бюргера новейших времен, также громко гласит история.

И никто не испытал на себе так горько этих стремлений, как славянское племя. Можно сказать, что все историческое назначение немцев, по крайней мере на севере и на востоке, и, разумеется, по немецким понятиям, состояло и чуть ли еще не состоит и теперь именно в истреблении, в порабождении и в насильственном германизировании славянских племен.

Это длинная и печальная история, память о которой глубоко хранится в славянских сердцах и которая, без сомнения, отзовется в последней неизбежной борьбе славян против немцев, если социальная революция не помирит их прежде.

Для верной оценки завоевательных стремлений всего немецкого общества достаточно бросить беглый взгляд на развитие германского патриотизма с 1815 года.

Германия с 1525 года, эпохи кровавого усмирения крестьянского бунта*, до второй половины XVIII века, эпохи литературного возрождения ее, оставалась погружена в сон непробудный, иногда прерываемый пушечным выстрелом и грозными сценами и испытаниями беспощадной войны, которой она была большей частью театром и жертвою. Тогда она с ужасом пробуждалась, но скоро вновь опять засыпала, убаюканная лютеранскою проповедью.

В этот период времени, т. е. в продолжение почти двух с половиною столетий, выработался до конца, именно под влиянием этой проповеди, ее послушный и до истинного героизма рабски-терпеливый характер. В это время образовалась и вошла в целую жизнь, в плоть и кровь

каждого немца система безусловного повиновения и благословения власти. Вместе с этим развилась наука административная и педантски систематическая, бесчеловечная и безличная бюрократическая практика. Всякий немецкий чиновник сделался жрецом государства, готовый заколоть не ножом, а канцелярским пером любимейшего сына на алтаре государственной службы. В то же самое время немецкое благородное дворянство, не способное ни к чему другому, кроме лакейской интриги и военной службы, предлагало свою придворную и дипломатическую бессовестность и свою продажную шпату лучше платящим европейским дворам; и немецкий бюргер, послушный до смерти, терпел, трудился, безропотно платил тяжелые подати, жил бедно и тесно и утешал себя мыслью о бессмертии души. Власть бесчисленных государей, разделявших между собою Германию, была безгранична. Профессора били друг друга по щекам и потом друг на друга доносили начальству. Студенчество, разделявшее свое время между мертвою наукою и пивом, было вполне их достойно. А о чернорабочем народе никто даже не говорил и не подумал.

Таково было положение Германии еще во второй половине XVIII века, когда каким-то чудом, вдруг, из этой бездонной пропасти пошлости и подлости возникла великолепная литература, созданная Лессингом и законченная Гете, Шиллером, Кантом, Фихте и Гегелем. Известно, что эта литература образовалась сначала под прямым влиянием великой французской литературы XVII и XVIII века, сначала классической, а потом философской; но она с первого же раза, в произведениях своего родоначальника Лессинга, приняла характер, содержание и формы совершенно самостоятельные, вытекшие, можно сказать, из самой глубины германской созерцательной жизни.

По нашему мнению, эта литература составляет самую большую и чуть ли не единственную заслугу новейшей Германии. Смелым и вместе широким захватом своим она двинула значительно вперед человеческий ум и открыла новые горизонты для мысли. Главное ее достоинство состоит в том, что, будучи, с одной стороны, вполне национальною, она была вместе с тем литературою в высшей степени гуманною, общечеловеческою, что, впрочем, составляет характеристическую черту вообще всей или почти всей европейской литературы XVIII века.

Но в то самое время, как, напр., французская литература в произведениях Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Дидро и других энциклопедистов стремилась перенести все человеческие вопросы из области теории на практику, германская литература хранила целомудренно и строго свой отвлеченно теоретический и главным образом пантеистический характер. Это была литература гуманизма отвлеченно поэтического и метафизического, с высоты которого посвященные смотрели с презрением на жизнь действительную; с презрением, впрочем, вполне заслуженным, так как немецкая ежедневность была пошла и гадка.

Таким образом, немецкая жизнь разделилась между двумя противоположными и друг друга отрицающими, хоть и дополняющими сферами. Один мир высокой и широкой, но совершенно абстрактной гуманности; другой мир исторически наследственной, верноподданнической пошлости и подлости. В этом раздвоении застала Германию французская революция.

Известно, что эта революция была встречена весьма одобрительно, и, можно сказать, с положительною симпатиею почти всюю литературною Германиею. Гете немного поморщился и проворчал, что шум неслыханных происшествий помешал, прервал нить его ученых и артистических занятий и его поэтических созерцаний; но большая часть представителей или сторонников новейшей литературы, метафизики и науки приветствовала с радостью революцию, от которой ждала осуществления всех идеалов. Франкмасонство, игравшее еще очень серьезную роль в конце XVIII века и соединявшее невидимым, но довольно действительным братством передовых людей всех стран Европы, установило живую связь между французскими революционерами и благородными мечтателями Германии. Когда республиканские войска после героического отпора, данного Брюнсвигу, обращенному в постыдное бегство*, переступили в первый раз через Рейн, они были встречены немцами как избавители.

Это симпатическое отношение немцев к французам продолжалось недолго. Французские солдаты, как подобает французам, были, разумеется, очень любезны, и, как республиканцы, достойны всякой симпатии; но они были все-таки солдаты, т. е. бесцеремонные представители и слуги насилия. Присутствие таких освободителей скоро стало тягостно для немцев, и симпатия их охладилась значительно. К тому же сама революция приняла вслед за

тем такой энергический характер, который уже никаким образом не мог совместиться с отвлеченными понятиями и с филистерски-созерцательными нравами немцев. Гейне рассказывает, что под конец в целой Германии только один кенигсбергский философ, Кант, сохранил свои симпатии к революции французской, несмотря на сентябрьскую резню*, на казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты и несмотря на робеспьеровский террор.

Потом республика заменилась сначала директорией, потом консульством и, наконец, империей**»; республиканские войска стали слепым и долго победоносным оружием наполеоновского честолюбия, гигантского до безумия, и в конце 1806 г., после Иенского сражения***, Германия была поработана окончательно.

С 1807 г. начинается ее новая жизнь. Кому неизвестна изумительная история быстрого возрождения Прусского королевства, а посредством его и целой Германии. В 1806 г. вся государственная сила, созданная Фридрихом II, его отцом и дедом, была разрушена. Армия, организованная и дисциплинированная великим полководцем, уничтожена. Вся Германия и вся Пруссия, исключая кенигсбергской окраины, была покорена французскими войсками и управлялась в действительности французскими префектами, а политическое существование Прусского королевства пощажено только благодаря просьбам Александра I, императора всероссийского.

В этом критическом положении нашлась группа людей, горячих прусских, или, даже более, германских патриотов, умных, смелых, решительных, которые, наученные уроками и примером французской революции, задумали спасение Пруссии и Германии посредством широких либеральных реформ. В другое время, например, перед Иенским сражением или, пожалуй, даже после 1815 г., когда вступила вновь во все свои права дворянско-бюрократическая реакция, они не успели бы и подумать о таких реформах. Их задавила бы придворная и военная партия, и добродетельнейший и глупейший король Фридрих Вильгельм III, не знавший ничего, кроме своего безграничного богом постановленного права, засадил бы их в Шпандау****, лишь только бы они осмелились пикнуть о них.

Но в 1807 г. положение было совсем иное. Военно-бюрократическая и аристократическая партия была уничтожена, осрамлена и унижена до такой степени, что потеря-

ла голос, а король получил такой урок, от которого и дурак хоть на короткое время мог сделаться умным. Барон Штейн стал первым министром, и смелою рукою он начал ломку старого порядка и устройство новой организации в Пруссии.

Первым делом его было освобождение крестьян от прикрепления к земле не только с правом, но и с действительною возможностью приобретать землю в личную собственность. Вторым делом было уничтожение дворянских привилегий и уравнивание всех сословий перед законом в военной и гражданской службе. Третьим делом — устройство провинциальной и муниципальной администрации на основании выборного начала; главным же делом его было совершенное преобразование войска, вернее, обращение целого прусского народа в войско, разделенное на три категории: действующей армии, ландвера и штурмвера. В заключение всего барон Штейн открыл широкий вход и убежище в прусских университетах для всего, что было тогда умного, горячего, живого в Германии, и принял в Берлинский университет знаменитого Фихте, только что выгнанного из Иены герцогом Веймарским, другом и покровителем Гете, за то, что он проповедовал атеизм.

Фихте начал свои лекции пламенною речью, обращенною главным образом к германской молодежи, но опубликованной впоследствии под названием «Речи к немецкой нации»*, в которой он очень хорошо и ясно предсказал будущее политическое величие Германии и высказал гордое патриотическое убеждение, что германской нации суждено быть высшим представителем, мало того, управителем и как бы венцом человечества; заблуждение, в которое впадали, правда, и прежде немцев другие народы, и с большим правом, например, древние греки, римляне, а в новейшее время французы, но которое, укоренившись глубоко в сознании всякого немца, приняло в настоящее время в Германии размеры чрезмерно уродливые и грубые. У Фихте, по крайней мере, оно носило характер действительно героический. Фихте высказывал его под французским штыком, в то время как Берлин управлялся наполеоновским генералом, а на улицах раздавался французский барабан. К тому же мирозерцание, внесенное идеальным философом в патриотическую гордость, в самом деле дышало гуманностью, тою широкою, отчасти пантеистическою гуманностью, которою запечатлена ве-

ликая германская литература XVIII века. Но современные немцы, сохранив всю громадность претензии своего философа-патриота, от гуманности его отказались. Они просто не понимают ее и готовы даже над нею смеяться как над выродком абстрактного, отнюдь не практичного мышления. Для них доступнее патриотизм князя Бисмарка или г. Маркса.

Все знают, как немцы, воспользовавшись совершенным поражением Наполеона в России, его несчастным отступлением или, вернее, бегством с кой-какими остатками армии, наконец сами встали; они, разумеется, чрезвычайно славят себя за восстание, и совершенно напрасно. Самостоятельного народного восстания, собственно, никогда не было; но когда разбитый Наполеон перестал быть опасным и страшным, немецкие корпуса, сначала прусский, а потом и австрийский, обратясь прежде против России, теперь обратились против Наполеона и присоединились к русскому победоносному войску, шедшему вслед за Наполеоном. Законный, но доселе несчастный прусский король Фридрих Вильгельм III со слезами умиления и благодарности обнял в Берлине своего избавителя императора всероссийского и вслед за тем издал прокламацию, призывавшую своих верноподданных к законному восстанию против незаконного и дерзкого Наполеона. Послушные голосу своего короля и отца, немецкие, по преимуществу же прусские юноши поднялись и составили легионы, которые были включены в регулярную армию. Не очень ошибся прусский тайный советник и известный шпион, официальный доносчик*, когда в брошюре, возбудившей негодование всех патриотов, изданной в 1815 г., он, отрицая всякое самостоятельное действие народа в деле освобождения, сказал, «что прусские граждане взялись за оружие, только когда это им было приказано королем, и что тут не было ничего героического, ни чрезвычайного, а только простое исполнение обязанности всякого верноподданного».

Как бы то ни было, Германия была освобождена от французского ига и по совершенном окончании войны принялась за дело внутреннего преобразования под верховным руководством Австрии и Пруссии. Первым делом было медиатизированье множества маленьких владений, которые таким образом из независимых государств обратились в почетных и богато деньгами (насчет одного миллиарда, взятого у французов) вознагражденных поддан-

ных, осталось в Германии всего тридцать девять государств и государей.

Вторым делом было установление взаимных отношений государей с подданными.

В эпоху борьбы, когда над всеми висела еще шпага Наполеона и государи большие и маленькие нуждались в *верноподданнической* помощи своих народов, они надавали множество обещаний. Прусское правительство, а за ним и все другие обещали конституцию. Теперь же, когда беда миновала, правительства убедились в бесполезности конституции. Австрийское правительство, руководимое князем Меттернихом, прямо заявило решение возвратиться к старым патриархальным порядкам. Добрейший император Франц, пользовавшийся огромною популярностью между венскими бюргерами, прямо выразил это в аудиенции, данной им профессорам лайбахского лицея:

«Теперь мода на новые идеи, — сказал он, — я этого похвалить не могу и никогда не похвалю. Держитесь старых понятий, с ними наши предшественники были счастливы, почему же и нам не быть с ними также счастливыми? Мне не нужно ученых, а только честных и послушных граждан. Образование таковых — вот ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен учить тому, что я приказываю. Кто не может или не хочет этого делать, тот пусть себе идет, иначе я его удалю...»*

Император Франц Иосиф сдержал слово. В Австрии до самого 1848 царствовал безграничный произвол. Самым строгим образом была проведена система управления, поставившая главною целью усыпление и оглупение подданных. Мысль спала и оставалась неподвижною в самых университетах. Вместо живой науки там проходили какие-то рутинные зады. Не было литературы, кроме доморощенных романов скандального содержания и весьма плохих стихов; естественные науки были на пятьдесят лет назад от их современного положения в остальной Европе. Политической жизни никакой не было. Земледелие, промышленность и торговля были поражены китайскою неподвижностью. Народ, чернорабочие массы находились в полнейшем порабощении. И если бы не Италия, а отчасти и Венгрия, тревожившие своими крамольными волнениями счастливый сон австрийских верноподданных, можно принять всю эту империю за огромное царство мертвых.

Опираясь на это царство, Меттерних в продолжение тридцати трех лет силился привести всю Европу в такое же положение. Он сделался краеугольным камнем, душою, руководителем европейской реакции, и, разумеется, главною заботою его должно было быть уничтожение всяких либеральных поползновений в Германии.

Более всего его беспокоила Пруссия, государство новое, молодое, вступившее в ряд первостепенных держав только в конце последнего столетия, благодаря гению Фридриха II, благодаря Силезии, отнятой им у Австрии, а потом благодаря разделу Польши, благодаря смелому либерализму барона Штейна, Шарнгорста и других сподвижников прусского возрождения, и поэтому вставшего во главе общегерманского освобождения. Казалось, что все обстоятельства, события, недавно происшедшие, испытания, успех и победы и самый интерес Пруссии должны были побудить ее правительство идти смело по новому пути, оказавшемуся для нее столь счастливым и спасительным. Этого именно так страшно боялся и должен был бояться князь Меттерних.

Уже со времени Фридриха II, когда вся остальная Германия, дошедшая до самой крайней степени умственного и нравственного порабощения, была жертвою бесцеремонного, нахального и цинического управления, интриг и грабительства развратных дворов, в Пруссии был осуществлен идеал порядочной, честной и по возможности справедливой администрации. Там был только один деспот, правда, неумолимый, ужасный — государственный разум или логика государственной пользы, которой решительно все приносилось в жертву и перед которою должно было преклоняться всякое право. Но зато там было гораздо менее личного, развратного произвола, чем во всех других немецких государствах. Прусский подданный был рабом государства, олицетворившегося в особе короля, но не игрушкою его двора, любовниц или временщиков, как в остальной Германии. Поэтому уже тогда вся Германия смотрела на Пруссию с особенным уважением.

Это уважение увеличилось чрезвычайно и обратилось в положительную симпатию после 1807 г., когда прусское государство, доведенное почти до совершенного уничтожения, стало искать своего спасения и спасения Германии в либеральных реформах и когда после целого ряда счастливых преобразований прусский король позвал не только свой народ, но всю Германию к восстанию против

французского завоевателя, причем он обещал по окончании войны дать своим самую широкую либеральную конституцию. Даже был назначен срок, когда это обещание должно было исполниться, а именно 1 сентября 1815. Это торжественное королевское обещание было обнародовано 22 мая 1815 после возвращения Наполеона с о-ва Эльбы и перед ватерлооским сражением и было только повторением коллективного обещания, данного всеми европейскими государями, собранными на конгрессе в Вене, когда известие о высадке Наполеона поразило их всех паническим страхом. Оно было внесено как один из существеннейших пунктов в акты только что созданного *Германского союза*.

Некоторые из небольших владетелей Средней и Южной Германии довольно честно сдержали свое обещание. В Северной же Германии, где преобладал решительно военно-бюрократический дворянский элемент, сохранилось старое аристократическое устройство, прямо и сильно покровительствуемое Австриею.

От 1815 до мая 1819 вся Германия надеялась, что в противоположность Австрии, Пруссия примет под свое могучее покровительство общее стремление к либеральным реформам. Все обстоятельства и очевидный интерес прусского правительства, казалось, должны были склонить ее в эту сторону. Не говоря уже о торжественном обещании короля Фридриха Вильгельма III, обнародованном в мае 1815, все испытания, пережитые Пруссией от 1807, ее изумительное восстановление, которым она была главным образом обязана либерализму своего правительства, должны были укрепить его в этом направлении. Наконец, было соображение еще более важное, которое должно было побудить прусское правительство заявить себя откровенным и решительным покровителем либеральных реформ. Это историческое соперничество юной прусской монархии с древнею Австрийскою империей.

Кто станет во главе Германии — Австрия или Пруссия? Таков вопрос, поставленный предыдущими событиями и силою логики их обоюдного положения. Германия, как раба, привыкшая к послушанию, не умеющая и не желающая жить свободно, искала себе господина могущественного, верховного повелителя, которому бы она могла вполне отдаться и который, соединив ее в одно нераздельное государственное тело, дал бы ей почетное положение между сильнейшими державами Европы. Таким

господином мог быть или австрийский император, или прусский король. Оба вместе не могли занять этого места, не парализуя друг друга и не обрекая тем самым Германию на прежнюю беспомощность и на бессилие.

Австрия должна была естественным образом тянуть Германию назад. Она не могла действовать иначе. Отжившая и дошедшая уже до той степени старческого расслабления, когда всякое движение становится смертельным, а неподвижность — необходимым условием поддержки дряхлого существования, она, ради спасения самой себя, должна была защищать то же начало неподвижности не только в Германии, но в целой Европе. Всякое проявление народной жизни, всякое стремление вперед в каком бы то ни было угле европейского континента было для нее оскорблением, угрозой. Умирая, она хотела, чтобы все вместе с нею умерло. В политической же жизни, так же как и во всякой другой, идти назад или только оставаться на одном месте значит умирать. Понятно поэтому, что Австрия употребила свои последние и в материальном отношении еще громадные силы, чтобы подавить безжалостно и неуклонно всякое движение в Европе вообще и в Германии в особенности.

Но именно потому, что такова была необходимая политика Австрии, политика Пруссии должна была быть совершенно противоположною. После наполеоновских войн, после Венского конгресса, округлившего ее значительно в ущерб Саксонии, от которой она отобрала целую провинцию, особенно после роковой битвы при Ватерлоо, выигранной соединенными армиями, прусскою под предводительством Блюхера и английскою под предводительством Веллингтона, после торжественного второго вступления прусских войск в Париж Пруссия заняла пятое место между первостепенными державами Европы. Но в отношении действительных сил, государственного богатства, числа ее жителей и даже географического положения она еще далеко не могла сравняться с ними. Штетина, Данциг и Кенигсберга на Балтийском море было слишком недостаточно для образования не только сильного военного флота, но даже значительного торгового. Уродливо растянутая и отделенная от вновь приобретенной Прирейнской провинции чужими владениями, Пруссия представляла в военном отношении чрезвычайно неудобные границы, делающие нападения на нее со стороны Южной Германии, Ганновера, Голландии, Бельгии

и Франции очень легкими, а защиту весьма трудною. Наконец, число ее жителей в 1815 еле-еле доходило до 15 миллионов.

Несмотря на такую материальную слабость, еще гораздо большую при Фридрихе II, административному и военному гению великого короля удалось создать политическое значение и военную силу Пруссии. Но создание его было обращено в прах Наполеоном. После Иенского сражения надо было все создавать вновь, и мы видели, что единственно только рядом самых смелых и самых либеральных реформ просвещенные и умные государственные патриоты сумели возратить Пруссии не только прежнее значение и прежнюю силу, но и значительно их увеличить. И действительно, они увеличили их до такой степени, что Пруссия могла занять не последнее место между великими державами, но недостаточно, однако, чтобы она могла долго удержаться на нем, если бы она не продолжала неуклонно стремиться к увеличению своего политического значения, нравственного влияния, а также к округлению и расширению своих границ.

Для достижения таких результатов перед Пруссией открывались два различные пути. Один, по крайней мере с виду, более народный, другой чисто государственный и военный. Следуя первому пути, Пруссия смело должна была бы встать во главе конституционного движения Германии. Король Фридрих Вильгельм III, следуя великому примеру знаменитого Вильгельма Оранского (1688 г.), должен был бы написать на своем знамени: «За протестантскую веру и за свободу Германии» и таким образом явиться открытым бойцом против австрийского католицизма и деспотизма. На втором же пути, нарушив свое торжественное королевское слово и отказавшись решительно от всяких дальнейших либеральных реформ в Пруссии, он должен был встать столь же открыто на сторону реакции в Германии и вместе с тем сосредоточить все внимание и все усилия на усовершенствовании внутренней администрации и войска ввиду будущих возможных завоеваний.

Был еще третий путь, открытый, правда, очень давно, именно еще римскими императорами, Августом и его преемниками, но после них давно затерянный и вновь открытый лишь в последнее время Наполеоном III и вполне очищенный и улучшенный учеником его, князем Бисмарком. Это путь государственного, военного и политиче-

ского деспотизма, замаскированного и украшенного самыми широкими и вместе с тем самыми невинными народно-представительными формами.

Но в 1815 году этот путь был еще вполне неизвестен. Тогда никто и не подозревал истины, ставшей ныне известною даже самым глупым деспотам, что так называемые конституционные или народно-представительные формы не мешают государственному, военному, политическому и финансовому деспотизму, но, как бы узаконяя его и давая ему ложный вид народного управления, могут значительно увеличить его внутреннюю крепость и силу.

Тогда этого не знали, да и не могли знать, потому что совершенный разрыв между эксплуатирующим классом и между эксплуатируемым пролетариатом далеко еще не был так ясен ни для буржуазии, ни для самого пролетариата, как в настоящее время. Тогда все правительства, да и сами буржуа, думали, что за буржуазиею стоит сам народ и что ей стоит только пошевелиться, дать знак, чтобы весь народ встал бы вместе с нею против правительства. Теперь совсем другое дело: буржуазия во всех странах Европы пуще всего боится социальной революции и знает, что против этой грозы ей нет другого убежища, как государство, и потому она всегда хочет и требует возможно *сильного* государства, или, говоря просто, военной диктатуры; а для того чтобы спасти свое тщеславие, а также и для того чтобы легче обмануть народные массы, она желает, чтобы эта диктатура была облечена в народно-представительные формы, которые бы ей позволили эксплуатировать народные массы *во имя самого народа*.

Но в 1815 году ни этого страха, ни этой ухищренной политики еще не существовало ни в одном из государств Европы. Напротив, буржуазия была везде искренно и наивно либеральна. Она еще верила, что, работая для себя, она работает для всех, и потому не боялась народа, не боялась возбуждать его против правительства, а вследствие чего и все правительства, опираясь, сколько было возможно, на дворянство, относились к буржуазии как к революционерному классу, враждебно.

Нет сомнения, что в 1815 году, как и гораздо позже, было бы достаточно малейшего либерального заявления со стороны Пруссии, достаточно было бы, чтобы прусский король дал тень буржуазной конституции своим подданным, для того чтобы вся Германия признала его своею главою. Тогда еще не успело образоваться в немцах не-

прусской Германии той сильной нелюбви к Пруссии, которая проявилась гораздо позже и особенно в 1848 году. Напротив, все немецкие страны смотрели на нее с упованием, ожидая именно от нее освободительного слова, и достаточно было бы половины тех *либеральных и народно-представительных учреждений*, которыми прусское правительство в последнее время без всякого, впрочем, ущерба для деспотической власти так щедро наделило не только прусских, но даже и всех непрусских немцев, исключая австрийских, для того чтобы, по крайней мере, вся не-австрийская Германия признала прусскую гегемонию.

Этого именно чрезвычайно боялась Австрия, потому что этого было бы достаточно, чтобы поставить ее уже тогда в то несчастное и безвыходное положение, в котором она находится теперь. Утратив первое место в Германском союзе, она сама перестала быть державою немецкою. Мы видели, что немцы составляют лишь четвертую часть всего населения Австрийской империи. Пока немецкие области, а также и некоторые славянские области Австрии, как, наприим., Богемия, Моравия, Силезия, Штирия, взятые вместе, были одним из членов Германского союза, то австрийские немцы, опираясь на всех остальных многочисленных жителей Германии, могли до некоторой степени смотреть на всю империю как на немецкую. Но лишь только совершилось бы отделение империи от Германского союза, как оно совершилось в настоящее время, то девятимиллионное, а тогда еще меньшее, немецкое население ее оказалось бы слишком слабым, для того чтобы сохранить в ней свое историческое преобладание; и австрийским немцам ничего более не оставалось бы, как отрешиться от подданства габсбургскому дому и соединиться с остальною Германиею. К этому именно одни сознательно, другие бессознательно стремятся теперь, и это стремление обрекает Австрийскую империю на весьма близкую смерть.

Лишь только бы утвердилась в Германии прусская гегемония, австрийское правительство принуждено было бы исторгнуть свои немецкие области из общего состава Германии, во-первых, потому что, оставив их в Германском союзе, оно фактически подчинило бы их, а через них и себя верховному владычеству короля прусского; и, во-вторых, потому что в таком случае Австрийская империя разделилась бы на две части, на немецкую, признающую прусскую гегемонию, и на всю остальную часть, не

признающую ее, что было бы также гибелью для империи.

Было, правда, другое средство, которое хотел испытать в 1850 году князь Шварценберг, но которое ему не удалось, да и не могло бы удалиться, а именно: включить целиком, как нераздельное государство, всю империю с Венгрией, с Трансильванией и со всеми ее славянскими и итальянскими провинциями в состав Германского союза. Эта попытка не могла удалиться, потому что ей воспротивилась бы отчаянно Пруссия, а вместе с Пруссией и большая часть Германии, воспротивилась бы также, как они это и сделали в 1850 году, и все другие великие державы, особенно же Россия и Франция, и, наконец, возмутились бы три четверти австрийского, германоненавистного населения — славяне, мадьяры, румыны, итальянцы, для которых одна мысль, что они могли бы стать немцами, кажется позором.

Пруссия и вся Германия были бы, естественно, противны попытке, осуществление которой уничтожило бы первую и лишило бы ее специально немецкого характера; последняя же, Германия, перестала бы быть отечеством немцев и превратилась бы в какой-то хаотический и насильственный сбор самых разнообразных народностей. Россия же и Франция не согласились бы потому, что Австрия, подчинившая себе всю Германию, стала бы вдруг самую могущественную державою на континенте Европы.

Оставалось поэтому Австрии одно — не душить Германию своим всецелым вступлением в нее, но вместе с тем и не позволить Пруссии стать во главе Германского союза. Следуя такой политике, она могла рассчитывать на деятельную помощь Франции и России. Политика же последней до самого последнего времени, т. е. до Крымской войны, состояла именно в систематическом поддержании взаимного соперничества между Австрией и Пруссией, так чтобы ни одна из них не могла одержать верх над другой, и в то же самое время в возбуждении недоверия и страха в маленьких и средних государствах Германии и в покровительстве им против Австрии и Пруссии.

Но так как влияние Пруссии на остальную Германию было главным образом нравственного свойства, так как оно было основано больше всего на ожидании, что вот скоро прусское правительство, давшее еще недавно так много доказательств своего патриотического и просве-

щенно-либерального направления, и теперь, верное своему обещанию, дает конституцию своим подданным и тем самым станет во главе передового движения в целой Германии, то главная забота князя Меттерниха должна была устремиться на то, чтобы прусский король не давал своим подданным конституции и чтобы он вместе с императором австрийским стал во главе реакционного движения в Германии. В этом стремлении он также нашел самую горячую поддержку и во Франции, управляемой Бурбонами, и в императоре Александре, управляемом Аракчеевым.

Князь Меттерних нашел столь же горячую поддержку и в самой Пруссии, за весьма малым исключением во всем прусском дворянстве и в высшей бюрократии, военной и гражданской, да наконец, и в самом короле.

Король Фридрих Вильгельм III был очень добрый человек, но король, т. е., как следует быть королю, деспот по природе, по своему воспитанию и по привычке. К тому же он был набожный и верующий сын евангелической церкви, а первый догмат этой церкви гласит, что «всякая власть от Бога». Он не на шутку верил в свое богопомазание, в свое право или даже, вернее, в свой долг приказывать и в обязанность каждого подданного слушаться и исполнять без всяких рассуждений. Такое направление ума не могло согласиться с либерализмом. Правда, что в эпоху беды государственной он надавал множество самых либеральных обещаний своим верным подданным. Но он это сделал, повинувшись государственной необходимости, перед которой, как перед высшим законом, обязан преклоняться даже сам государь. Теперь же беда миновала, значит, и обещание, исполнение которого было бы вредно для самого народа, держать было не надо.

Очень хорошо объяснил это в современной проповеди архиепископ Эйлерт: «Король, — говорит он, — поступал как умный отец. В день своего рождения или выздоровления, тронутый любовью своих детей, он им делал разные обещания; потом с должным спокойствием видоизменял их и восстанавливал свою натуральную и спасительную власть»*. Вокруг его весь двор, весь генералитет и вся высшая бюрократия были проникнуты этим же духом. В эпоху беды, вызванной ими на Пруссию, они притихли, молча сносили неотразимые реформы барона Штейна и его главных сподвижников. Теперь же по прошествии беды они заинтриговали и зашумели пуще прежнего.

Они были искренними реакционерами, не менее короля, пожалуй, даже больше, чем сам король. Общегерманского патриотизма они не только что не понимали, но ненавидели от всей души. Германское знамя им было противно и казалось им знаменем бунта. Они знали только свою милую Пруссию, которую, впрочем, готовы были загубить в другой раз, лишь бы только не сделать ни малейшей уступки ненавистным либералам. Мысль о признании за буржуазиею каких бы то ни было политических прав, и особенно права критики и контроля, мысль о возможном сравнении их с ними просто приводила их в ужас и возбуждала к ним неописанное негодование. Они желали, хотели расширения и округления прусских границ, но только путем завоевания. С самого начала их цель была поставлена ясно: в противоположность либеральной партии, которая стремилась к германизированию Пруссии, они всегда хотели пруссофицировать Германию.

К тому же, начиная с их предводителя, королевского друга, князя Витгенштейна, сделавшегося вскоре первым министром, они почти все были на откуп у князя Меттерниха. Против них стояла небольшая группа людей, друзей и сподвижников барона Штейна, получившего уже отставку. Эта кучка государственных патриотов продолжала делать невероятные усилия, чтобы удержать короля на пути либеральных реформ, и, не находя себе опоры нигде, кроме общественного мнения, равно презираемого королем, двором, бюрократией и армией, она была скоро низвергнута. Золото Меттерниха, самостоятельное реакционное направление высших германских кругов оказались гораздо сильнее.

Поэтому Пруссии для исполнения чисто либеральных планов оставался только один путь: усовершенствование и постепенное увеличение административных и финансовых средств, а также и военной силы ввиду будущих завоеваний в самой Германии. Этот путь был, впрочем, вполне сообразен преданиям и всему существу прусской монархии, военной, бюрократической, полицейской, одним словом, государственной, т. е. законно-насильственной во всех своих внешних и внутренних проявлениях. С этого времени стал образовываться в германских официальных кругах идеал *разумного и просвещенного деспотизма*, который и управлял Пруссией до самого 1848 года. Он был столько же противен либеральным стремлениям пангерманского патриотизма, сколько и деспотический обскурантизм князя Меттерниха.

Против реакции, нашедшей себе такое могущественное выражение во внутренней и во внешней политике Австрии и Пруссии, поднялась, весьма естественно, более или менее в целой Германии, но по преимуществу в южной, борьба со стороны партии либерально-патриотической. Это был род дуэли, длившейся в разных видах, но с результатами почти всегда одинаковыми и всегда чрезвычайно плачевными для немецких либералов, ровно пятьдесят пять лет, от 1815 до 1870 года. Ее можно разделить на несколько периодов:

1. Период либерализма и галлофобии тевтоноромантиков, от 1815 до 1830 года.

2. Период явного подражания французскому либерализму, от 1830 до 1840 года.

3. Период экономического либерализма и радикализма, от 1840 до 1848 года.

4. Период, впрочем, весьма короткий, решительного кризиса, кончившегося смертью германского либерализма, от 1848 до 1850 года и, наконец, —

5. Период, начавшийся упорною и, можно сказать, последнею борьбою умирающего либерализма против государственности в прусском парламенте и окончившийся окончательным торжеством прусской монархии в целой Германии, от 1850 до 1870 года.

Немецкий либерализм *первого периода*, от 1815 до 1830, не был одиноким явлением. Он был только национальною, правда, весьма своеобразною отраслью общеевропейского либерализма, начавшего почти во всех пунктах Европы, от Мадрида до Петербурга и от Германии до Греции, борьбу весьма энергичную против общеевропейской монархической и аристократически-клерикальной реакции, которая восторжествовала с возвращением Бурбонов на французский, испанский, неаполитанский, пармский и лукский престолы, папы, а вместе с ним и иезуитов в Рим, пьемонтского короля в Турин и с водворением австрийцев в Италии.

Главным и официальным представителем этой истинно интернациональной реакции был *святой союз* (la sainte alliance)*, заключенный прежде всего между Россиею, Пруссиею и Австриею, но к которому потом приступили решительно все европейские державы, большие и маленькие, за исключением Англии, Рима и Турции. Начало его было романтическое. Первая мысль о нем созрела в мистическом воображении известной баронессы Кринер, пользовавшейся милостями еще довольно молодого

и не совсем отжившего императора-женолюбца Александра I. Она уверяла его, что он белый ангел, ниспосланный небом для спасения несчастной Европы из когтей черного ангела, Наполеона, и для водворения божественного порядка на земле. Александр Павлович охотно уверовал в такое призвание, вследствие чего предложил Пруссии и Австрии заключение *святого союза*. Три богопозаманные монарха, призвав, как и следовало, святую троицу в свидетели, поклялись друг другу в безусловном и неразрывном братстве и провозгласили целью *союза* торжество божьей воли, нравственности, справедливости и мира на земле. Они обещали всегда действовать заодно, помогая друг другу советом и делом во всякой борьбе, которая будет возбуждена против них духом тьмы, т. е. стремлением народов к свободе. В действительности это обещание означало, что они будут вести войну, солидарную и беспощадную, против всех проявлений либерализма в Европе, поддерживая до конца и во что бы то ни стало феодальные учреждения, пораженные и уничтоженные революцией, но восстановленные реставрацией.

Если фразером и мелодраматическим представителем *святого союза* был Александр, то настоящим руководителем его явился князь Меттерних. Тогда, как во время великой революции и как в настоящее время, Германия была краеугольным камнем европейской реакции.

Благодаря *святому союзу* реакция стала интернациональной, вследствие чего и самые бунты против нее приняли интернациональный характер. Период между 1815 и 1830 был в Западной Европе последним героическим периодом буржуазии.

Насильственное восстановление абсолютно-монархической власти и феодально-клерикальных учреждений, лишив этот почтенный класс всех выгод, завоеванных им во время революции, естественным образом должно было обратить его снова в класс более или менее революционный. Во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Германии образовались буржуазные тайные общества, имевшие целью низвергнуть только что восторжествовавший порядок. В Англии, сообразно обычаям этой страны, единственной, где конституционализм пустил глубокие и живые корни, эта повсеместная борьба буржуазного либерализма против воскресшего феодализма приняла характер легальной агитации и парламентских переворотов. Во Франции, Бельгии, Италии, Испании она должна была принять направление решительно революционное, которое ото-

звалось даже в России и Польше. Во всех этих странах всякое тайное общество, открытое и уничтоженное правительством, тотчас заменялось другим, и все имели одну цель — восстание с оружием в руках, организацию бунта. Вся история Франции, от 1815 до 1830, была рядом попыток низвергнуть трон Бурбонов, и после многих неудач французы достигли, наконец, своей цели в 1830. Всем известна история революции испанской, неаполитанской, пьемонтской, бельгийской* и польской в 1830—31 гг. и декабрьского бунта в России. Во всех этих странах, в одних с успехом, в других без успеха, восстания были чрезвычайно серьезны; много было пролито крови, много было потрачено драгоценных жертв, словом, борьба была серьезная, нередко героическая. Посмотрим теперь, что делалось в это же самое время в Германии.

Во весь первый период, с 1815 до 1830, встречаются только два сколько-нибудь замечательные заявления либерального духа в Германии. Первым было знаменитое вартбургское сходбище в 1817 г. Около Вартбургского замка, служившего некогда тайным убежищем для Лютера, собралось около 500 студентов со всех сторон Германии с национальным германским трехцветным знаменем и с такими же лентами через плечо.

Духовные дети патриотического профессора и певца Арндта, сочинителя известного национального гимна: «*Wo ist das deutsche Vaterland*»**, и столь же патриотического отца всех немецких гимназистов Иана, который в четырех словах, «бодрый, набожный, веселый, свободный», выразил идеал немецкого белокурого и длинноволосого юношества, студенты Северной и Южной Германии нашли нужным собраться, чтобы заявить громко перед целою Европою и главным образом перед всеми правительствами Германии требования немецкого народа. В чем же состояли их требования и заявления?

Тогда во всей Европе была мода на монархическую конституцию. Далее не шло воображение буржуазной молодежи ни во Франции, ни в Испании, ни даже в самой Италии, ни в Польше. Только в одной России отдел декабристов, известный под именем *Южного общества*, под предводительством Пестеля и Муравьева-Апостола требовал разрушения русской империи и основания славянской федеральной республики с отдачей всей земли народу.

Немцы ни о чем подобном не мечтали. Они ничего разрушать не хотели. К подобному делу, непременно

и первому условию всякой серьезной революции, они имели так же мало охоты тогда, как и теперь. Они и не думали подымать крамольной, святотатственной руки ни против одного из своих многочисленных отцов-государей. Они только желали, чтобы каждый из этих отцов-государей дал хотя какую-нибудь конституцию. Далее они желали общегерманского парламента, поставленного над частными парламентами, и всегерманского императора, поставленного как представитель национального единства над частными государями. Требование, как видим, чрезвычайно умеренное, да к тому же и в высшей степени нелепое. Они хотели монархической федерации и вместе с тем мечтали о могуществе единогогерманского государства, что представляет очевидную нелепость. Однако стоит только подвергнуть немецкую программу ближайшему рассмотрению, чтобы убедиться, что кажущаяся нелепость ее происходит от недоразумения. Недоразумение же состоит в ошибочном предположении, будто немцы вместе с национальным могуществом и единством требовали и свободы.

Немцы никогда не нуждались в свободе. Жизнь для них просто немыслима без правительства, т. е. без верховной воли, верховной мысли и железной руки, ими помыкающей. Чем сильнее эта рука, тем более гордятся они и тем самая жизнь становится для них веселее. Их огорчало не отсутствие свободы, из которой они не сумели бы сделать никакого употребления, а отсутствие единого, нераздельно-национального могущества при действительном существовании множества маленьких тираний. Их затаенная страсть, их единая цель создать огромное пангерманское государство, насильственно-всепоглощающее государство, перед которым бы трепетали все другие народы.

Поэтому весьма естественно, что они никогда не хотели народной революции. В этом отношении немцы оказались чрезвычайно логичны. И в самом деле, государственное могущество не может быть результатом народной революции; оно, пожалуй, может быть результатом победы, одержанной каким-нибудь классом над народным бунтом, как это было во Франции. Но и в самой Франции завершение сильного государства требовало сильной, деспотической руки Наполеона. Германские либералы ненавидели деспотизм Наполеона, но они готовы были обожать

государственную силу, прусскую или австрийскую, лишь бы она согласилась обратиться в пангерманскую силу.

Известная песня Арндта: «Wo ist das deutsche Vaterland», оставшаяся и до сих пор национальным гимном Германии, вполне выражает это страстное стремление к созданию могучего государства. Он спрашивает: «Где отечество немца? — Пруссия? — Австрия? — Северная или Южная Германия? — Западная или Восточная?» И затем отвечает: «Нет, нет, отечество его должно быть гораздо шире». Оно распространяется всюду, «где звучит немецкий язык и Богу в небе песни поет».

А так как немцы, один из плодотворнейших народов в мире, высылают свои колонии всюду, наполняют собою все столицы Европы, Америку, даже Сибирь, то выходит, что скоро весь земной шар должен будет покориться власти пангерманского императора.

Таково было настоящее значение вартбургского студенческого сходбища. Они искали и требовали себе пангерманского господина, который, держа их в ежовых рукавицах, сильный их страстным и вольным повиновением, заставлял бы трепетать всю Европу.

Теперь посмотрим, каким образом они заявили свое неудовольствие. На вартбургском празднике сначала пропели известную песнь Лютера: «Сильная крепость наш Бог»*, потом «Wo ist das deutsche Vaterland». Прокричали *vivat* некоторым немецким патриотам и проклятие реакционерам; наконец, предали огню несколько реакционных брошюр. Вот и все.

Значительнее были два другие факта, случившиеся в 1819: убийство русского шпиона Коцебу студентом Зандом и попытка убийства маленького государственного сановника нассауского герцогства фон Ибеля, совершенная молодым аптекарем Карлом Ленингом. Оба поступка были чрезвычайно нелепы, так как не могли принести решительно никакой пользы. Но, по крайней мере, в них проявилась искренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мысли, слова и дела, без которых революционаризм неминуемо впадает в риторику и становится отвратительною ложью.

Кроме этих двух фактов: политического убийства, совершенного Зандом, и попытки Ленинга, все остальные заявления германского либерализма не выходили из области самой наивной и притом чрезвычайно смешной риторики. Это было время дикого тевтонизма. Дети филисте-

ров и сами будущие филистеры, немецкие студенты вообразили себя германцами древних времен, как их описывают Тацит и Юлий Цезарь, воинственными потомками Арминия, девственными обитателями дремучих лесов. Вследствие чего они возымели глубокое презрение не к своему мешчанскому миру, как бы следовало по логике а к Франции, к французам и вообще ко всему, что носило на себе отпечаток французской цивилизации. Французоедство сделалось повальною болезнью в Германии. Университетское юношество стало рядиться в древнегерманское платье, точь-в-точь как наши славянофилы сороковых и пятидесятых годов, и тушило свой юношеский жар в непомерном количестве пива, причем непрерывные дуэли, кончавшиеся обыкновенно царапинами на лице, проявляли его воинственную доблесть. А патриотизм и мнимый либерализм находили полнейшее выражение и удовлетворение в орании воинственно-патриотических песен, между коими национальный гимн «Где отечество немца?», пророческая песнь ныне совершившейся или совершающейся пангерманской империи, занимал, разумеется, первое место.

Сравнив эти заявления с одновременными заявлениями либерализма в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Польше, России, Греции, всякий согласится, что не было ничего невиннее и смешнее немецкого либерализма, который в самых ярких проявлениях своих был проникнут тем хамским чувством послушания и верноподданничества, или, говоря учтивее, тем набожным почитанием властей и начальства, зрелище которого вырвало у Берне болезненное, всем известное и уже приведенное нами восклицание: «Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы, всегда лакеи»¹.

И в самом деле, немецкий либерализм, за исключением весьма немногих лиц и случаев, был только особенным проявлением немецкого лакейства, общенационального лакейского честолюбия. Он был только не одобренным цензурой выражением общего желания чувствовать над собою сильную императорскую руку. Но это верно-

¹ Лакейство есть добровольное рабство. Странная вещь! Кажется, не может быть рабства хуже русских; но никогда между русскими студентами не существовало такого лакейского отношения к профессорам и начальству, какое существует и поныне во всем немецком студенчестве.

подданническое требование казалось правительству бунтом и преследовалось как бунт.

Это объясняется соперничеством Австрии и Пруссии. Каждая из них охотно села бы на упраздненный трон Барбарусы *, но ни одна не могла согласиться, чтобы этот трон был занят ее соперницей, вследствие чего, поддерживаемые в одно и то же время Россией и Францией, действовали заодно с ними, хотя и по соображениям совершенно различным, и Австрия и Пруссия стали преследовать как проявление самого крайнего либерализма общее стремление всех немцев к созданию единой и могучей пангерманской империи.

Убийство Коцебу было сигналом для самой горячей реакции. Начались съезды и конференции немецких государей, немецких министров, а также и интернациональные конгрессы, на которых участвовали император Александр I и французский посланник. Рядом мер, предписанных Германским союзом, скрутили бедных немецких либералов-холопов. Запретили им предаваться гимнастическим упражнениям и петь патриотические песни — оставили им только пиво. Установили повсюду цензуру, и что же? Германия вдруг успокоилась, бурши повиновались даже без тени протеста, и в продолжение одиннадцати лет, от 1819 до 1830 года, на всей немецкой земле не было уже ни малейшего проявления какой бы то ни было политической жизни.

Этот факт так поразителен, что немецкий профессор Мюллер, написавший довольно подробную и правдивую историю пятидесятилетия 1816—1865 годов, рассказывая все обстоятельства этого внезапного и действительно чудесного умиротворения, восклицает: «Нужно ли еще других доказательств, что в Германии нет почвы для революции?» **.

Второй период германского либерализма начался 1830 годом и кончился около 1840. Это период почти слепого подражания французам. Немцы перестают пожирать галлов, но зато обращают всю ненависть на Россию.

Немецкий либерализм проснулся после одиннадцатилетнего сна не собственным движением, а благодаря трем июньским дням в Париже, который нанес первый удар *святому союзу* изгнанием своего законного короля ***. Вслед за тем вспыхнула революция в Бельгии и в Польше. Встрепенулась также Италия, но, преданная Людовиком-Филиппом австрийцам, подверглась еще пущему игу.

В Испании загорелась междоусобная война между кристиносами* и карлистами**. При таких обстоятельствах нельзя было не проснуться даже Германии.

Это пробуждение было тем легче, что Июльская революция до смерти перепугала все немецкие правительства, не исключая австрийского и прусского. До самого водворения князя Бисмарка с своим королем-императором на германском престоле все немецкие правительства, несмотря на всю внешнюю обстановку военной, политической и буржуазной силы, в нравственном отношении были чрезвычайно слабы и лишились всякой веры в себя.

Этот несомненный факт кажется чрезвычайно странным ввиду наследственной нежности и верноподданничества германского племени. Чего бы, кажется, правительствам беспокоиться и бояться? Правительства чувствовали, знали, что немцы, хотя повинуются им, как следует добрым подданным, однако терпеть их не могут. Что же сделали они, чтобы заглушить ненависть племени, до такой степени расположенного к обожанию своих властей? Какие именно были причины этой ненависти?

Их было две: первая состояла в преобладании дворянского элемента в бюрократии и в войне. Июльская революция уничтожила остатки феодального и клерикального преобладания во Франции; в Англии тоже вслед за Июльской революцией восторжествовала либерально-буржуазная реформа. Вообще с 1830 года начинается полное торжество буржуазии в Европе, но только не в Германии. Там до самых последних годов, т. е. до водворения аристократа Бисмарка, продолжала царствовать феодальная партия. Все высшие и большая часть низших правительственных мест как в бюрократии, так и в войске были в ее руках. Всем известно, как презрительно, надменно немецкие аристократы, князья, графы, бароны и даже простые фоны обращаются с бюргером. Известно знаменитое изречение князя Виндишгреца, австрийского генерала, бомбардировавшего в 1848 году Прагу, а в 1849 Вену: «Человек начинается только с барона». Это преобладание дворянства было тем оскорбительнее для немецких бюргеров, что дворянство это во всех отношениях, и с точки зрения богатства, и по своему умственному развитию, стоит несравненно ниже буржуазного класса. И тем не менее оно командовало всеми и везде. Бюргерам предоставлено было только право платить и повиноваться. Это было чрезвычайно неприятно для бюргеров.

И несмотря на всю готовность обожать своих законных государей, они не хотели терпеть правительств, находившихся почти исключительно в руках дворянства.

Однако замечательно, что они несколько раз пытались, но никогда не умели свергнуть дворянское иго, которое пережило даже бурные 1848 и 1849 годы и только теперь начинает подвергаться систематическому уничтожению со стороны померанского дворянина, князя Бисмарка.

Другая и самая главная причина нелюбви немцев к правительствам уже объяснена нами. Правительства были противны соединению Германии в сильное государство. Значит, все буржуазные и политические инстинкты немецких патриотов были оскорблены ими. Правительства знали это и потому не доверяли своим подданным и не на шутку боялись их, несмотря на постоянные усилия подданных доказать свою безграничную покорность, полную невинность.

Вследствие этих недоразумений правительства чрезвычайно испугались последствий Июльской революции; так испугались, что достаточно было самого невинного и бескровного уличного шума, путча (Putsch), как выражаются немцы, чтобы заставить королей саксонского и ганноверского и герцогов гессен-дармштадтского и брауншвейгского дать своим подданным конституцию. Далее, Пруссия и Австрия, даже сам князь Меттерних, бывший до тех пор душою реакции в целой Германии, советовали теперь германскому союзу не противиться *законным* требованиям немецких верноподданных. В парламентах Южной Германии предводители так называемых либеральных партий заговорили очень громко о возобновлении требований общегерманского парламента и о выборе пангерманского императора.

Все зависело от исхода польской революции. Если бы она восторжествовала, прусская монархия, оторванная от своей северо-восточной опоры и принужденная поплатиться если не всеми, то по крайней мере значительной частью своих польских областей, принуждена была бы искать новой точки опоры в самой Германии, и так как она тогда еще не могла приобрести ее путем завоевания, то должна была бы снискивать снисхождение и любовь остальной Германии путем либеральных реформ и смело призвать всех немцев под императорское знамя... Словом, уже тогда осуществилось бы, хотя и другими путями, то, что сделалось теперь, и осуществилось бы сначала, может

быть, в более либеральных формах. Вместо того чтобы Пруссии поглотить Германию, как вышло теперь, тогда могло бы показаться, будто Германия поглощает Пруссию. Но это только казалось бы, потому что на самом деле Германия все-таки была бы поработана силою прусской государственной организации.

Но поляки, покинутые и преданные всею Европою, несмотря на геройское сопротивление, были, наконец, побеждены. Варшава пала, и с нею пали все надежды германского патриотизма. Король Фридрих Вильгельм III, оказавший столь значительные услуги своему зятю, императору Николаю, ободренный его победою, сбросил маску и пуще прежнего поднял гонение на пангерманских патриотов. Тогда, собрав все свои силы, они сделали последнее торжественное заявление, если не сильное, то по крайней мере чрезвычайно шумное, сохранившееся в новейшей истории Германии под именем *Гамбахского праздника* в мае 1832.

В Гамбахе, в баварском Пфальце, на этот раз собралось около тридцати тысяч человек, мужчин и женщин. Мужчины с трехцветными лентами через плечо, дамы с трехцветными шарфами, и все, разумеется, под трехцветным германским знаменем. На этом митинге говорилось уже не о федерации германских стран и племен, а о пангерманской централизации. Некоторые ораторы, как, напр., доктор Вирт, произнесли даже имя германской республики и даже европейской федеральной республики, европейских соединенных штатов.

Но все это были только слова, слова гнева, злобы, отчаяния, возбужденных в немецких сердцах явным нежеланием или немощию немецких государей создать пангерманскую империю, слова чрезвычайно красноречивые, но за которыми не было ни воли, ни организации, а поэтому не было и силы.

Однако Гамбахский митинг не прошел совсем бесследно. Мужички баварского Пфальца не удовольствовались словами. Вооружившись косами и вилами, они пошли разрушать дворянские замки, таможни и присутственные места, предавая огню все бумаги, отказываясь платить подати и требуя для себя земли, а на земле полной свободы. Этот мужицкий бунт, чрезвычайно похожий по своим начинаниям на всеобщее восстание германских крестьян в 1525, страшно перепугал не только консерваторов, но даже либералов и самих немецких республикан-

цев, буржуазный либерализм которых никак не может совмещаться с настоящим народным бунтом. Но, к общему удовольствию, эта возобновленная попытка крестьянского восстания была подавлена баварскими войсками.

Другим последствием *Гамбахского праздника* было нелепое, хотя и чрезвычайно смелое и с этой точки зрения достойное уважения, нападение семидесяти вооруженных студентов на главный караул, охранявший здание Германского союза во Франкфурте. Нелепо было это предприятие потому, что Германский союз надо было бить не во Франкфурте, а в Берлине или Вене, и потому что семидесяти студентов было далеко не достаточно, чтобы сломить силу реакции в Германии. Они, правда, надеялись, что за ними и с ними встанет все франкфуртское население, не подозревая, что правительство было предупреждено за несколько дней об этой безумной попытке. Правительство же не нашло нужным предупредить ее, а, напротив, дало ей совершиться, чтобы иметь потом хороший предлог для окончательного уничтожения *революционеров и революционных стремлений* в Германии.

И в самом деле, за *франкфуртским атентатом** поднялась самая страшная реакция во всех странах Германии. Во Франкфурте была учреждена центральная комиссия, под ведением которой действовали специальные комиссии всех больших и маленьких государств. В центральной комиссии, разумеется, заседали австрийские и прусские государственные инквизиторы. Это был настоящий праздник для немецких чиновников и для бумажных фабрик Германии, потому что было исписано несметное количество бумаги. Во всей Германии было арестовано более 1800 человек, в том числе много людей почтенных, как профессоров, докторов, адвокатов, — словом, весь цвет либеральной Германии. Многие бежали, но многие просидели в крепостях до 1840, иные же до 1848 года.

Мы видели значительную часть этих отчаянных либералов в марте 1848 в *фор-парламенте*, а потом в *Национальном собрании***. Все они без исключения оказались отчаянными реакционерами.

Гамбахским праздником, восстанием мужиков в Пфальце, франкфуртским атентатом и последовавшим за ним громадным процессом кончилось всякое политическое движение Германии, настало гробовое спокойствие, которое продолжалось без малейшего переры-

ва вплоть до 1848 г. Зато движение перенеслось в литературу.

Мы уже сказали, что в противоположность первому периоду (1815—1830), периоду исступленного французства, этот второй период немецкого либерализма (1830—1840), а также и третий (до 1848) можно назвать чисто французским, по крайней мере в отношении беллетристической и политической литературы. Во главе этого нового направления стояли два еврея: один гениальный поэт Гейне; другой — замечательный памфлетист Германии Берне. Оба почти в первые дни Июльской революции переселились в Париж, откуда один стихами, другой «письмами из Парижа» стали проповедовать немцам французские теории, французские учреждения и парижскую жизнь.

Можно сказать, они совершили переворот в германской литературе. Книжные лавки и библиотеки для чтения переполнились переводами и весьма плохими подражаниями французских драм, мелодрам, комедий, повестей, романов. Молодой буржуазный мир стал думать, чувствовать, говорить, причесываться, одеваться по-французски. Впрочем, это не сделало его отнюдь любезнее, а только смешнее.

Но в то же время укоренялось в Берлине направление более серьезное, основательное, а главное, несравненно более свойственное германскому духу. Как часто бывало в истории, смерть Гегеля, последовавшая вскоре после Июльской революции*, утвердила в Берлине, в Пруссии, а потом и в целой Германии преобладание его метафизической мысли, царство гегелианизма.

Отказавшись, по крайней мере на первое время и по причинам вышеизложенным, от соединения Германии в одно нераздельное государство путем либеральных реформ, Пруссия не могла и не хотела, однако, совсем отказаться от нравственного и материального преобладания над всеми другими немецкими государствами и странами. Напротив, она постоянно стремилась группировать вокруг себя умственные и экономические интересы целой Германии. Для этого она употребила два средства: развитие Берлинского университета и *таможенный союз*.

В последние годы царствования Фридриха Вильгельма III министром народного просвещения был государственный человек старой либеральной школы барона Штейна, Вильгельма фон Гумбольдта и др., тайный совет-

ник фон Альтенштейн. Сколько было возможно в то реакционное время в противность всем остальным прусским министрам, своим товарищам, в противность Меттерниху, который систематическим тушением всякого умственного света надеялся упрочить царство реакции в Австрии и в целой Германии, Альтенштейн, оставаясь верным старым либеральным преданиям, старался собрать в Берлинском университете всех передовых людей, всех знаменитостей германской науки, так что в то самое время, когда прусское правительство, заодно с Меттернихом и поощряемое императором Николаем, душило во что бы то ни стало либерализм и либералов, Берлин стал средоточием, блестящим фокусом научно-духовной жизни Германии.

Гегель, приглашенный прусским правительством еще в 1818 занять кафедру Фихте, умер в конце 1831 г. Но он оставил после себя в Берлинском, Кенигсбергском и Галльском университетах целую школу молодых профессоров, издателей его сочинений и горячих приверженцев и толкователей его учения. Благодаря их неутомительным стараниям учение это распространилось скоро не только в целой Германии, но во многих других странах Европы, даже во Франции, куда оно было перенесено, совсем изуродованное Виктором Кузеном. Оно приковало к Берлину как к живому источнику нового света, чтобы не сказать нового откровения, множество умов немецких и ненемецких. Кто не жил в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют, наконец, найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине.

Философия Гегеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была последним и окончательным словом того пантеистического и абстрактно-гуманитарного движения германского духа, которое началось творениями Лессинга и достигло всестороннего развития в творениях Гете; движение, создавшее мир бесконечно широкий, богатый, высокий и будто бы вполне рациональный, но остававшийся столь же чуждым земле, жизни, действительности, сколько был чужд христианскому, богословскому небу. Вследствие этого этот мир, как фата-моргана*, не достигая неба и не касаясь земли, вися между небом и землею,

обратил самую жизнь своих приверженцев, своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнамбулических представлений и опытов, сделал их никуда не годными для жизни или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном совершенно противное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале.

Таким образом объясняется изумительный и довольно общий факт, поражающий нас еще поныне в Германии, что горячие поклонники Лессинга, Шиллера, Гете, Канта, Фихте и Гегеля могли и до сих пор могут служить покорными и даже охотными исполнителями далеко не гуманных и не либеральных мер, предписываемых им правительством. Можно даже сказать вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и пошлее его жизнь и его действия в живой действительности.

Окончательным завершением этого высокоидеального мира была философия Гегеля. Она вполне выразила и объяснила его своими метафизическими построениями и категориями и тем самым убила его, придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной бесконечной несостоятельности, недействительности и, говоря проще, пустоты.

Школа Гегеля, как известно, разделилась на две противоположные партии; причем, разумеется, между ними образовалась и третья, средняя партия, о которой, впрочем, здесь говорить нечего. Одна из них, именно консервативная партия, нашла в новой философии оправдание и узаконение всего существующего, ухватившись за известное изречение Гегеля: «Все действительное разумно». Эта партия создала так называемую официальную философию прусской монархии, уже представленной самим Гегелем как идеал политического устройства.

Но противоположная партия так называемых *революционных* гегельянцев оказалась последовательнее самого Гегеля и несравненно смелее его; она сорвала с его учения консервативную маску и представила во всей наготу беспощадное отрицание, составляющее его настоящую суть. Во главе этой партии встал знаменитый Фейербах, доведший логическую последовательность не только до полнейшего отрицания всего божественного мира, но даже до отрицания самой метафизики. Далее он идти не мог. Сам все-таки метафизик, он должен был уступить место своим законным преемникам, представителям шко-

лы материалистов или реалистов, большая часть которых, впрочем, как, напр., гг. Бюхнер, Маркс и другие, не умели и не умеют освободиться от преобладания метафизической абстрактной мысли.

В тридцатых и сороковых годах господствовало мнение, что революция, которая последует за распространением гегелианизма, развитого в смысле полнейшего отрицания, будет несравненно радикальнее, глубже, беспощаднее и шире в своих разрушениях, чем революция 1793 г. Так думали потому, что философская мысль, выработанная Гегелем и доведенная до самых крайних результатов учениками его, действительно была полнее, всестороннее и глубже мысли Вольтера и Руссо, имевших, как известно, самое прямое и далеко не всегда полезное влияние на развитие и, главное, на исход первой французской революции. Так, например, несомненно, что почитателями Вольтера, инстинктивного презирателя народных масс, *глупой толпы*, были государственные люди вроде Мирабо и что самый фанатический приверженец Жан Жака Руссо, Максимилиан Робеспьер был восстановителем божественных и реакционно-гражданских порядков во Франции.

В тридцатых и сороковых годах полагали, что когда наступит опять пора для революционного действия, то доктора философии школы Гегеля оставят далеко за собою самых смелых деятелей девяностых годов и удивят мир своим строго логическим, беспощадным революционаризмом. На эту тему поэт Гейне написал много красноречивых слов. «Все ваши революции ничто,— говорил он французам,— перед нашею будущею немецкою революциею. Мы, имевшие дерзость систематически, ученым образом уничтожить весь божественный мир, мы не остановимся ни перед какими кумирами на земле и не успокоимся, пока на развалинах привилегий и власти мы не завоюем для целого мира полнейшего равенства и полнейшей свободы»*. Почти такими же словами возвещал Гейне французам будущие чудеса германской революции. И многие верили ему. Но увы! опыта 1848 и 1849 годов было достаточно, чтобы разбить в прах эту веру. Германские революционеры не только не превзошли героев первой французской революции, но даже не умели сравниться с французскими революционерами тридцатых годов.

Какая причина этой плачевной несостоятельности? Она объясняется, разумеется, главным образом специальным историческим характером немцев, располагающим

их гораздо более к верноподданническому послушанию, чем к бунту, но также и тем абстрактным методом, которым она шла к революции. Сообразно опять-таки своей природе, она шла не от жизни к мысли, но от мысли к жизни. Но кто отправляется от отвлеченной мысли, тот никогда не доберется до жизни, потому что из метафизики в жизнь нет дороги. Они разделены пропастью. А перескочить через эту пропасть, совершить *salto mortale* или то, что сам Гегель назвал *квалитативным прыжком* (*qualitativer Sprung*) из мира логики в мир природы, живой действительности, не удалось еще никому, да никогда никому не удастся. Кто опирается на абстракцию, тот и умрет в ней.

Живой, конкретно-разумный ход — это в науке ход от факта действительного к мысли, его обнимающей, выражающей и тем самым объясняющей; а в мире практическом — движение от жизни общественной к возможно разумной организации ее, сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным требованиям этой самой жизни.

Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого и потому действительно народный, путь *анархической* социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной общественности.

Путь господ метафизиков совсем иной. Метафизиками мы называем не только последователей учения Гегеля, которых уже немного осталось на свете, но также и позитивистов* и вообще всех проповедников богини науки в настоящее время; вообще всех тех, кто, создав себе тем или другим путем, хотя бы посредством самого тщательного, впрочем, по необходимости всегда несовершенного изучения прошедшего и настоящего, создал себе идеал социальной организации, в которой, как новый Прокруст, хочет уложить во что бы то ни стало жизнь будущих поколений; всех тех, одним словом, кто не смотрит на мысль, на науку как на одно из необходимых проявлений естественной и общественной жизни, а до того суживает эту бедную жизнь, что видит в ней только практическое проявление своей мысли и своей всегда, конечно, несовершенной науки.

Метафизики или позитивисты, все эти рыцари науки и мысли, во имя которых они считают себя призванными предписывать законы жизни, все они, сознательно или бессознательно, реакционеры. Доказать это чрезвычайно легко.

Не говоря уже о метафизике вообще, которою в эпохи самого блестящего процветания ее занимались только немногие, наука, в более широком смысле этого слова, более серьезная и хотя сколько-нибудь заслуживающая это имя, доступна в настоящее время только весьма незначительному меньшинству. Например, у нас в России на восемьдесят миллионов жителей сколько насчитывается серьезных ученых? Людей, толкующих о науке, можно, пожалуй, насчитать тысячи, но сколько-нибудь знакомых с ней не на шутку вряд ли найдется несколько сотен. Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллионы людей должны быть управляемы одною или двумя сотнями ученых, в сущности, даже гораздо меньшим числом, потому что не всякая наука делает человека способным к управлению обществом, а наука наук, венец всех наук — социология, предполагающая в счастливом ученом предварительное серьезное знакомство со всеми другими науками. А много ли таких ученых не только в России, но и во всей Европе? Может быть, двадцать или тридцать человек! И эти двадцать или тридцать ученых должны управлять целым миром! Можно ли представить себе деспотизм нелепее и отвратительнее этого?

Во-первых, вероятнее всего, что эти тридцать ученых перегрызутся между собою, а если соединятся, то это будет на зло всему человечеству. Ученый уже по своему существу склонен ко всякому умственному и нравственному разврату, и главный порок его — это превозвышение своего знания, своего собственного ума и презрение ко всем незнающим. Дайте ему управление, и он сделается самым несносным тираном, потому что ученая гордость отвратительна, оскорбительна и притеснительнее всякой другой. Быть рабами педантов — что за судьба для человечества! Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим обществом те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над кроликами, кошками и собаками.

Будем уважать ученых по их заслугам, но для спасения их ума и их нравственности не должно давать им никаких общественных привилегий и не признавать за ними дру-

гого права, кроме общего права свободы проповедовать свои убеждения, мысли и знания. Власти им, как никому, давать не следует, потому что кто облечен властью, тот по неизменному социологическому закону* непременно сделается притеснителем и эксплуататором общества.

Но, скажут, не всегда же наука будет достоянием только немногих; придет время, когда она будет доступна для всех и для каждого. Ну, время это еще далеко, и много должно совершиться общественных переворотов прежде, чем оно наступит. А до тех пор, кто согласится отдать свою судьбу в руки ученых, в руки попов науки? Зачем тогда вырывать ее из рук христианских попов?

Нам кажется, что чрезвычайно ошибаются те, которые воображают, что после социальной революции все будут одинаково учены. Наука как наука, и тогда, как теперь, останется одною из многочисленных общественных специальностей, с тою или иною разницею, что эта специальность, доступная теперь только лицам привилегированных классов, тогда без всякого различия классов, раз и навсегда упраздненных, сделается доступною для всех лиц, имеющих призвание и охоту заниматься ею не в ущерб общему ручному труду, который будет обязателен для всякого.

Общим достоянием сделается только общее научное образование и, главное, знакомство с научным методом, привычка мыслить, т. е. обобщать факты и выводить из них более или менее правильные заключения. Но энциклопедических голов, а потому и ученых социологов всегда будет очень немного. Горе было бы человечеству, если бы когда-нибудь мысль сделалась источником и единственным руководителем жизни, если бы науки и учение стали во главе общественного управления. Жизнь иссякла бы, а человеческое общество обратилось бы в бессловесное и рабское стадо. Управление жизни наукою не могло бы иметь другого результата, кроме оглушения всего человечества.

Мы, революционеры-анархисты, поборники всенародного образования, освобождения и широкого развития общественной жизни, а потому враги государства и всякого государственования, в противоположность всем метафизикам, позитивистам и всем ученым и неученым поклонникам богини науки, мы утверждаем, что жизнь естественная и общественная всегда предшествует мысли, которая есть только одна из функций ее, но никогда не бывает

ее результатом; что она развивается из своей собственной неиссякаемой глубины, рядом различных фактов, а не рядом абстрактных рефлексий, и что последние, всегда производимые ею и никогда ее не производящие, указывают только, как верстовые столбы, на ее направление и на различные фазисы ее самостоятельного и самородного развития.

Сообразно такому убеждению, мы не только не имеем намерения и ни малейшего опыта навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественно-го устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, но в убеждении, что народные массы носят в своих, более или менее развитых историею инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе; а так как всякая государственная власть, всякое правительство, по существу своему и по своему положению поставленное вне народа, над ним, непременным образом должно стремиться к подчинению его порядкам и целям ему чуждым, то мы объявляем себя врагами всякой правительственной, государственной власти, врагами государственного устройства вообще и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда, организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и помимо всякой официальной опеки, но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь.

Таковы убеждения социальных революционеров, и за это нас называют анархистами. Мы против этого названия не протестуем, потому что мы действительно враги всякой власти, ибо знаем, что власть действует столь же развратительно на тех, кто облечен ею, сколько и на тех, кто принужден ей покоряться. Под тлетворным влиянием ее одни становятся честолюбивыми и корыстолюбивыми деспотами, эксплуататорами общества в свою личную или сословную пользу, другие — рабами.

Идеалисты всякого рода, метафизики, позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры, все вместе, с одинаковым жаром, хотя разными аргументами, отстаивают идею государства и государственной власти, видя в них, *совершенно логично*, по-своему единое спасение общества. *Совершенно логично*,

потому что, приняв раз за основание положение, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория общественной практике и что поэтому социологическая наука должна быть исходною точкою для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере в настоящее время, составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой день революции новая общественная организация должна быть создана не свободным соединением народных ассоциаций, общин, волостей, областей снизу вверх, сообразно народным потребностям и инстинктам, а единственно диктаторскою властью этого ученого меньшинства, *будто бы* выражающего общенародную волю.

На этой фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс незначительною горстью привилегированных избранных или даже не избранных толпами народа, согнанных для выборов и никогда не знающими, зачем и кого они выбирают; на этом мнимом и отвлеченном выражении воображаемой общенародной мысли и воли, о которых живой и настоящий народ не имеет даже и малейшего представления, основываются одинаковым образом и теория государственности, и теория так называемой революционной диктатуры.

Между революционною диктатурою и государственною вся разница состоит только во внешней обстановке. В сущности же они представляют обе одно и то же управление большинства меньшинством во имя мнимой глупости первого и мнимого ума последнего. Поэтому они одинаково реакционерны, имея как та, так и другая результатом непосредственным и неперменным упрочение политических и экономических привилегий управляющего меньшинства и политического и экономического рабства народных масс.

Теперь ясно, почему *доктринерные революционеры*, имеющие целью низвержение существующих властей и порядков, чтобы на развалинах их основать свою собственную диктатуру, никогда не были и не будут врагами, а напротив, всегда были и всегда будут самыми горячими борниками государства. Они только враги настоящих вла-

стей, потому что они исключают возможность их диктатуры, но вместе с тем — самые горячие друзья государственной власти, без удержания которой революция, освободив не на шутку народные массы, отняла бы у этого мнимого революционного меньшинства всякую надежду заложить их в новую упряжь и облагодетельствовать их своими правительственными мерами.

И это так справедливо, что в настоящее время, когда в целой Европе торжествует реакция, когда все государства, обуянные самым злобным духом самосохранения и народопритеснения, вооруженные с ног до головы в тройную броню, военную, полицейскую и финансовую, и готовые под верховным предводительством князя Бисмарка к отчаянной борьбе против социальной революции; теперь, когда, казалось бы, все искренние революционеры должны соединиться, чтобы дать отпор отчаянному нападению интернациональной реакции, мы видим, напротив, что доктринерные революционеры под предводительством г. Маркса везде держат сторону государственности и государственников против народной революции.

Во Франции, начиная с 1870 года, они стояли за государственного республиканца-реакционера, Гамбетту, против революционной Лиги Юга (*La Ligue du Midi*)*, которая только одна могла спасти Францию и от немецкого порабощения, и от еще более опасной и ныне торжествующей коалиции клерикалов, легитимистов, орлеанистов и бонапартистов. В Италии они кокетничают с Гарибальди и с остатками партии Маццини; в Испании они открыто приняли сторону Кастеляра, Пи-и-Маргалья и мадридской конституанты; наконец, в Германии и вокруг Германии, в Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании они служат службу князю Бисмарку, на которого, по собственному признанию, смотрят как на весьма полезного революционного деятеля, помогая ему в деле пангерманизирования всех этих стран.

Теперь ясно, почему господа доктора философии школы Гегеля, несмотря на свой пламенный революционаризм в мире отвлеченных идей, в действительности оказались в 1848 и 1849 не революционерами, но большею частью реакционерами, и почему в настоящее время большинство их сделалось отъявленными сторонниками князя Бисмарка.

Но в двадцатых и сороковых годах мнимый революционаризм их, еще ничем и никак не испытанный, нахо-

дил много веры. Они сами верили в него, хотя проявляли его большею частью в сочинениях весьма отвлеченного свойства, так что прусское правительство не обращало на него никакого внимания. Может быть, оно уже и тогда понимало, что они работают для него.

С другой стороны, оно неуклонно стремилось к своей главной цели — основанию сначала прусской гегемонии в Германии, а потом и прямого подчинения целой Германии всему нераздельному владычеству путем, который ему самому казался несравненно выгоднее и удобнее, чем путь либеральных реформ и даже поощрения германской науки, — а именно путем экономическим, причем оно должно было встретить горячие симпатии всей богатой торговой и промышленной буржуазии, всего жидовского финансового мира в Германии, так как процветание как той, так и другого непременно требовало обширной государственной централизации; мы видим этому новый пример в настоящее время в немецкой Швейцарии, где большие промышленные торговцы и банкиры начинают уже явно высказывать свои симпатии теснейшему политическому соединению с обширным германским рынком, т. е. пангерманскою империею, которая оказывает на все окружающие маленькие страны притягательную или засасывающую силу боа-констриктора*.

Первая мысль учреждения *таможенного союза* принадлежит, впрочем, не Пруссии, а Баварии и Виртембергу, заключившим между собою такой союз еще в 1828. Но Пруссия скоро овладела и мыслью, и ее исполнением.

Прежде в Германии было столько же таможен и разнороднейших пошлинных порядков, сколько было в ней государств. Это положение было действительно нестерпимо и обратило всю немецкую торговлю и промышленность в застой. Итак, Пруссия, взявшаяся могучею рукою за таможенное соединение Германии, оказала настоящее благодеяние последней. Уже в 1836 под верховным управлением прусской монархии к союзу принадлежали оба Гессена, Бавария, Виртемберг, Саксония, Тюрингия, Баден, Нассау и вольный город Франкфурт — всего более 27 миллионов жителей. Оставались только Ганновер, Мекленбургские и Ольденбургские герцогства, вольные города Гамбург, Любек и Бремен и, наконец, вся Австрийская империя.

Но именно исключение Австрийской империи из Германского таможенного союза составляло существенный

интерес Пруссии; потому что это исключение, вначале только экономическое, должно было повлечь за собою впоследствии и политическое исключение.

В 1840 году начался *третий период* германского либерализма. Характеризовать его очень трудно. Он чрезвычайно богат многосторонним развитием самых различных направлений, школ, интересов и мыслей, но столько же беден фактами. Он весь наполнен взбалмошною личностью и хаотическими писаниями короля Фридриха Вильгельма IV, севшего на престол своего отца именно в 1840 году.

С ним совершенно изменилось отношение Пруссии к России. В противность своему отцу и своему брату, нынешнему императору Германии, новый король ненавидел императора Николая. Впоследствии он за это дорого заплатился и горько и громко в этом раскаялся — но в начале царствования ему и черт не был страшен. Полуученый, полупоэт, пораженный физиологическою немощью и к тому же пьяница, покровитель и друг странствующих романтиков и пангерманствующих патриотов, он в последние года жизни отца был надеждою немецких патриотов. Все надеялись, что он даст конституцию.

Первым действием его была полнейшая амнистия. Николай нахмурил брови, но зато вся Германия рукоплескала, и либеральные надежды усилились. Однако конституции он не дал, но зато наговорил столько разного вздора, и политического, и романтического, и древнетевтонского, что даже немцы ничего понять не могли.

А дело было очень просто. Тщеславный, славолубивый, неусидчивый, беспокойный, но вместе с тем не способный ни к выдержке, ни к делу, Фридрих Вильгельм IV был просто эпикуреец, кутила, романтик или самодур на престоле. Как человек ни к чему действительному не способный, он не сомневался ни в чем. Ему казалось, что королевская власть, в мистическое богопризвание которой он искренно верил, дает ему право и силу делать решительно все что вздумается и наперекор логике и всем законам природы и общественности совершать самое невозможное, соединять решительно несовместимое.

Таким образом, он хотел, чтобы в Пруссии существовала полнейшая свобода, но чтобы вместе с тем королевская власть осталась неограниченною, его произвол ничем не стесненным. В этом духе он стал декретировать конституции сначала только провинциальные, а в 1847 дал не-

что вроде общей конституции. Но во всем этом не было ничего серьезного. Было только одно: своими непрерывными, друг друга дополняющими и друг другу противоречащими попытками он переворотил весь старый порядок и не на шутку расшевелил своих подданных сверху до низу. Все стали ожидать чего-то.

Это что-то была революция 1848 года. Все чувствовали ее приближение не только во Франции, в Италии, но даже в Германии; да, именно в Германии, которая в продолжение этого третьего периода, между 1840 и 1848 годами успела набраться французского крамольного духа. Этому французскому настроению умов нисколько не мешал гегелианизм, который, напротив, очень любил выражать на французском языке, разумеется, с приличною тяжеловесностью и с немецким акцентом, свои отвлеченно-революционерные выводы. Никогда Германия не читала так много французских книг, как в это время. Она, казалось, забыла собственную литературу. Зато литература французская, особенно же революционная, проникла всюду. История жирондистов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями великой революции и распределять между собою на будущее время роли: кто воображал себя Дантоном или любезным Камиль-де-Муленом (*der liebenswürdige Camille-Desmoulens!*), кто Робеспьером или Сен-Жюстом, кто, наконец, Маратом. Самим же собою почти не был никто, потому что для этого надо быть одаренным действительною природою. У немцев же все есть, и глубоко-мысленное мышление, и возвышенные чувства, только нет природы, и если есть, то холопская.

Многие немецкие литераторы, следуя примеру Гейне и уже умершего тогда Берне, переселились в Париж. Между ними замечательны были доктор Арнольд Руге, поэт Гервег и К. Маркс. Они хотели сначала издавать вместе журнал, но перессорились. Два последние были уже социалистами.

Германия стала знакомиться с социальными учениями только в сороковых годах. Венский профессор Штейн чуть ли не первый написал немецкую книгу о них*. Но первым практическим немецким социалистом или, вернее, коммунистом был, несомненно, портной Вейтлинг, прибывший в начале 1843 в Швейцарию из Парижа, где состоял членом тайного общества французских коммуни-

стов. Он основал много коммунистических обществ между немцами-ремесленниками в Швейцарии, но в конце 1843 был выдан Пруссии тогдашним правителем цюрихского кантона, г. Блунчли, ныне знаменитым юрисконсульт и профессором права в Германии.

Но главным пропагандистом социализма в Германии сначала тайно, а вскоре потом публично, был К. Маркс.

Г. Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах.

По происхождению г. Маркс еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные, до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен, как Иегова, господь Бог его предков, и, как он, мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать и распространить против того, кто имел несчастье возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только, по его мнению, впрочем, большею частью ошибочному, эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический человек.

Таковы его отрицательные качества. Но и положительных в нем очень много. Он очень умен и чрезвычайно многосторонне учен. Доктор философии, он еще в Кельне около 1840 был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гегельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал*, вскоре закрытый по министерскому приказанию. К этому кружку принадлежали также братья Бруно Бауер и Эдгар Бауер, Макс Штирнер** и потом в Берлине первый кружок немецких нигилистов, который циническою последовательностью своею далеко превзошел самых ярых нигилистов России***.

В 1843 или 1844 г. Маркс переселился в Париж****. Тут он впервые столкнулся с обществом французских и немецких коммунистов и соотечественником своим, немецким евреем г. Морисом Гессом, который прежде его был ученым экономистом и социалистом и имел в это время значительное влияние на научное развитие г. Маркса.

Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как г. Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже в это время наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других и положительностью познаний, и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою, и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему этому г. Маркс прибавил еще два новые элемента: диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля и которую доводит нередко до шалости, до разврата, и точку отправления коммунистическую.

Г. Маркс перечитал, разумеется, всех французских социалистов, от Сент-Симона до Прудона включительно, и последнего, как известно, он ненавидит, и нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды: Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления — абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс в противоположность ему высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса.

Но что замечательнее всего и в чем, разумеется, г. Маркс никогда не признавался, это то, что в отношении политическом г. Маркс прямой ученик Луи Блана. Г. Маркс несравненно умнее и несравненно учение этого маленького неудавшегося революционера и государственного человека; но как немец, несмотря на свой почтенный рост, он попал в учение к крошечному французу.

Впрочем, эта странность объясняется просто: риторик француз как буржуазный политик и как отъявленный поклонник Робеспьера и ученый немец в своем тройном качестве гегельянца, еврея и немца, оба отчаянные государственники, и оба проповедают государственный коммунизм, с тою только разницею, что один вместо аргументов довольствуется риторическими декламациями, а другой, как приличествует ученому и тяжеловесному немцу, обстановкаивает этот равно им любезный принцип

всеми ухищрениями гегелевской диалектики и всем богатством своих многосторонних познаний.

Около 1845 г. Маркс стал во главе немецких коммунистов и вслед за тем, вместе с г. Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но зато более практическим и не менее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество германских коммунистов, или государственных социалистов. Центральный комитет их, которого он, вместе с г. Энгельсом, был, разумеется, главою, по изгнанию их обоих из Парижа в 1846 был перенесен в Брюссель, где оставался до 1848. Впрочем, до самого этого года пропаганда их, хотя распространялась понемногу в целой Германии, но оставалась тайною и потому не выходила наружу.

Социалистический яд несомненно проникал самыми разнообразными путями в Германию. Он выражался даже в религиозных движениях. Кто не слышал об эфемерном религиозном учении, возникшем в 1844 и потонувшем в 1848 под именем *«нового католицизма»* (теперь в Германии появилась новая ересь против римской церкви под названием *«старого католицизма»*)*.

Новый католицизм произошел следующим образом. Как ныне во Франции, так в 1844 в Германии католическому духовенству вздумалось возбудить фанатизм католического населения громадною процессиею в честь нешитого платья Христа, будто бы хранящегося в Трире. Около миллиона пилигримов собралось на этот праздник со всех концов Европы — торжественно понесли святое платье и пели: «Святое платье, моли Бога о нас!» — Это возбудило огромный скандал в Германии и дало повод немецким радикалам выкинуть фарс. В 1848 нам случилось видеть в Бреславле тот пивной кабачок, где вскоре после этой процессии собрались несколько силезских радикалов, между прочим, известный граф Рейхенбах и товарищи его по университету гимназический учитель Штейн и бывший католический священник Иоган Ронге. Под их диктовку Ронге написал открытое письмо, красноречивый протест к епископу трирскому, которого прозвал Тецелем XIX века**. Таким образом началась новокатолическая ересь.

Она быстро распространилась по целой Германии, даже в Познанском герцогстве, и под предлогом возвращения древней христианской коммунистической трапезы

стали открыто проповедовать коммунизм. Правительство недоумевало и не знало, что делать, так как проповедь носила все-таки религиозный характер и так как в самом протестантском населении образовались свободные общины, обнаруживавшие также, хотя и скромнее, политическое и социалистическое направление.

В 1847 индустриальный кризис, обрешший на голодную смерть десятки тысяч ткачей, еще сильнее возбудил интерес целой Германии к социальным вопросам. Хамелеон-поэт Гейне написал по этому случаю великолепное стихотворение «Ткач», которое пророчило близкую и беспощадную социальную революцию.

Да, все в Германии ждали если не социальной, то по крайней мере политической революции, от которой чаяли воскресения и обновления великого германского отечества, и в этом всеобщем ожидании, в этом хоре надежд и желаний главная нота была патриотическая и государственная. Немцам стало обидно то ироническое удивление, с которым, говоря о них как о народе ученом, глубоко-мысленном, англичане и французы отрицали в них всякую практическую способность и всякий смысл действительности. Поэтому все их желания и требования были устремлены главным образом к одной цели: *к образованию единого и могучего пангерманского государства*, в какой бы форме оно ни было, республиканской или монархической, лишь бы это государство было достаточно сильно, чтобы возбудить удивление и страх во всех соседних народах.

В 1848 вместе с общеевропейской революцией наступил четвертый период, последний кризис германского либерализма, кризис, окончившийся его совершенным банкротством.

Со времени плачевной победы, одержанной в 1525 соединенными силами феодализма, приближавшегося уж, видимо, к своему концу, и новейших государств, только что начинавших образо- <вы> ваться в Германии, над громадным восстанием крестьян, — победы, обрешшей окончательно всю Германию на продолжительное рабство под бюрократическо-государственным игом, в этой стране никогда еще не скоплялось столько горючего материала, столько революционных элементов, как накануне 1848. Неудовольствие, ожидание и желание переворота, за исключением высшей бюрократии и дворянского класса, было всеобщее, и, чего не было в Германии ни после падения Наполеона, ни в двадцатых, ни в тридцатых годах,

теперь среди самой буржуазии оказались не десятки, а многие сотни людей, называвших себя революционерами и имевших право называть себя этим именем, потому что, не довольствуясь литературным пустоцветом и риторическим праздноглагольствованием, были действительно готовы положить свою жизнь за свои убеждения.

Мы знали много таких людей. Они, разумеется, не принадлежали к миру богачей или литературно-ученой буржуазии. Среди них было чрезвычайно мало адвокатов, немного больше медиков и, что замечательно, почти ни одного студента, за исключением студентов Венского университета, заявившего в 1848 и 1849 годах довольно серьезное революционное направление, вероятно, потому, что в отношении к науке стоял несравненно ниже всех германских университетов (мы не говорим о Пражском, так как это университет славянский).

Огромное большинство учащейся молодежи в Германии уже тогда держало сторону реакции, разумеется, не феодальной, а консервативно-либеральной; оно было поборником государственного порядка во что бы то ни стало. Можно себе представить, чем эта молодежь сделалась теперь.

Радикальная партия разделялась на две категории. Обе образовались под прямым влиянием французских революционных идей. Но между ними была огромная разница. К первой категории принадлежали люди, составлявшие цвет ученого молодого поколения Германии: доктора разных факультетов, медики, адвокаты, а также и немало чиновников, писатели, журналисты, ораторы; все, разумеется, глубокомысленные политики, нетерпеливо ждавшие революции, которая должна была открыть широкое поприще для их талантов. Едва началась революция, эти люди стали во главе всей радикальной партии и после многих ученых эволюций, истощивших ее понапрасну и парализовавших в ней последние остатки энергии, дошли до совершенного ничтожества.

Но была другая категория людей, менее блестящих и честолюбивых, но зато более искренних и потому несравненно более серьезных, они состояли из мелких буржуа. В ней было много школьных учителей и бедных приказчиков торговых и индустриальных домов. Были, разумеется, также и адвокаты, и медики, и профессора, и журналисты, и книгопродавцы, и даже чиновники, но в самом незначительном количестве. Эти люди были

действительно святыми людьми и самыми серьезными революционерами в смысле безграничной преданности и готовности жертвовать собой до конца и без фраз революционному делу. Нет сомнения, что будь у них другие предводители и будь вообще германское общество способно и расположено к народной революции, они принесли бы драгоценную пользу.

Но эти люди были революционерами и готовы были честно служить революции, не отдавая себе ясного отчета в том, что такое революция и чего должно требовать от нее. У них не было, да и не могло быть ни коллективного инстинкта, ни коллективной воли и мысли. Они были индивидуальными революционерами без всякой почвы под ногами, и, не находя в себе руководящей мысли, они должны были слепо предаться блудному руководству своей старшей, ученой братии, в руках которой сделались орудием для обмана, сознательного или бессознательного, народных масс. По личному инстинкту они хотели всеобщего освобождения, равенства, благоденствия для всех, а их заставляли работать для торжества пангерманского государства.

В Германии существовал тогда, как и теперь, революционный элемент еще более серьезный — это городской пролетариат; он доказал в Берлине, в Вене и во Франкфурте-на-Майне в 1848 и в 1849 в Дрездене, в Ганноверском королевстве и в Баденском герцогстве, что способен и готов к восстанию серьезному, лишь только находил сколько-нибудь толковое и честное предводительство. В Берлине нашелся даже элемент, которым славился до тех пор только один Париж, это уличный мальчишка-гамен, революционер и герой.

В то время городской пролетариат в Германии, по крайней мере его огромное большинство, находился еще почти совсем вне влияния пропаганды Маркса и вне организации его коммунистической партии. Распространена она была главным образом в индустриальных городах прусского Рейна, особенно в Кельне. Существовали также ветви ее в Берлине, в Бреславле и под конец в Вене, но весьма слабые. Разумеется, в германском пролетариате, как и в пролетариате других стран, находились в зародыше как инстинктивный запрос все социалистические стремления, которые более или менее обнаруживались народными массами решительно во всех прошедших революциях, не только политических, но даже религиоз-

ных. Но огромная разница между таким инстинктивным заявлением и сознательным, ясно определенным требованием социального переворота или социальных реформ. Такого требования в Германии ни в 1848, ни в 1849 г. решительно не было, хотя известный манифест немецких коммунистов, сочиненный и написанный гг. Марксом и Энгельсом, был уже опубликован в марте 1848 года*. Он пронесся над немецким народом почти без следа. Революционный пролетариат всех городов Германии был непосредственно подчинен партии политических радикалов, или *крайней демократии*, что давало ей огромную силу; но сама, сбита с толку буржуазно-патриотическою программой, а также и совершенною несостоятельностью своих вожаков, буржуазная демократия обманула народ.

Наконец, в Германии был еще элемент, которого ныне уже нет, это революционное крестьянство или, по крайней мере, способное сделаться революционным. В то время в большей половине Германии существовал еще остаток старого крепостного права, как оно существует еще поныне в двух герцогствах Мекленбургских. В Австрии крепостное право преобладало вполне. Было несомненно, что немецкое крестьянство способно и готово к восстанию. Как в 1830 в баварском Пфальце, так и в 1848 почти в целой Германии, едва стало известным провозглашение французской республики, все крестьянство зашевелилось и приняло сначала самое горячее, живое, деятельное участие в первых выборах депутатов в многочисленные революционные парламенты. Тогда немецкие мужики еще верили, что парламенты смогут и захотят что-нибудь для них сделать, и посылали в них своими представителями людей самых отчаянных, самых красных — сколько, разумеется, немецкий политический человек может быть отчаянным и красным. Вскоре, увидав, что от парламентов им не дожидаться никакой пользы, мужики охладели; но вначале они были готовы на все, даже на поголовный бунт.

В 1848, как и в 1830, немецкие либералы и радикалы больше всего боялись этого бунта; его не любят даже социалисты школы Маркса. Всем известно, что Фердинанд Лассаль, который по собственному сознанию был прямым учеником этого верховного предводителя коммунистической партии в Германии, что не помешало, однако, учителю по смерти Лассаля высказать ревнивое и завистливое неудовольствие против блестящего ученика, оста-

вившего далеко за собою в практическом отношении учителя; всем известно, говорим мы, что Лассаль несколько раз высказывал мысль, что поражение крестьянского восстания в XVI в. и последовавшее за ним усиление и процветание бюрократического государства в Германии были истинным торжеством для революции.

Для коммунистов или социальных демократов Германии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция; а государство, всякое государство, даже бисмарковское, — революция. Пусть не подумают, что мы клеветаем на них. В доказательство того, что они действительно так думают, указываем на их речи, брошюры, журнальные статьи и, наконец, на их письма — все это в свое время будет представлено русской публике. Впрочем, марксисты и думать иначе не могут; государственники во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению государства. Как всепоглощающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская.

И в этой ненависти к крестьянскому бунту они самым нежным и самым трогательным образом сходятся со всеми слоями и партиями буржуазного германского общества. Мы уже видели, как в 1830 достаточно было крестьянам баварского Пфальца подняться с косами и вилами против господских замков, чтобы охладить внезапно революционный жар, пожиравший тогда южногерманских буршей. В 1848 повторилось то же самое, и решительное противодействие, которое было оказано немецкими радикалами попыткам крестьянского восстания в самом начале революции 1848, чуть ли не было главною причиною печального исхода этой революции.

Она началась неслыханным рядом народных торжеств. В продолжение какого-нибудь месяца после парижских февральских дней были сметены с лица немецкой земли все государственные правительственные учреждения и силы почти без всяких народных усилий. Едва в Париже восторжествовала народная революция, как обезумевшие от страха и от презрения к себе правители и правительства стали падать в Германии одно за другим. Было, правда, нечто вроде военных сопротивлений в Берлине и в Вене; но <они> были так ничтожны, что о них и говорить нечего.

Итак, революция победила в Германии почти без всякого кровопролития. Все оковы разбились, все преграды сломались сами собою. Немецкие революционеры могли сделать все. Что же они сделали?

Скажут, что не в одной Германии, а в целой Европе революция оказалась несостоятельной. Но во всех других странах революция после долгой, серьезной борьбы была побеждена иноземными силами: в Италии — австрийскими войсками, в Венгрии — соединенными русскими и австрийскими; в Германии же она была сокрушена собственной несостоятельностью революционеров.

Во Франции, может быть, скажут, случилось то же самое; нет, во Франции было совершенно другое. Там поднялся именно в это время страшный революционный вопрос, отбросивший вдруг всех буржуазных политиков, даже красных революционеров, в реакцию. Во Франции в достопамятные июньские дни вторично встретились буржуазия и пролетариат как враги, между которыми примирение невозможно. В первый раз они встретились еще в 1834 году в Лионе*.

В Германии, как мы уже заметили, социальный вопрос тогда едва начинал пробиваться подземными путями в сознание пролетариата, и хотя тогда упоминалось о нем, но более теоретически и как о вопросе более французском, чем немецком. Поэтому он еще не мог отделить немецкого пролетариата от демократов, за которыми работники готовы были следовать без рассуждений, лишь бы демократы пожелали вести их на битву.

Но именно уличной битвы не хотели вожаки и политики демократической партии Германии. Они предпочитали бескровные и безопасные битвы в парламентах, которые барон Ислагиш**, хорватский бан и одно из орудий габсбурго-австрийской реакции, живописно прозвал *«Заведениями для риторических упражнений»*.

Парламентов и учредительных собраний в Германии было тогда без счета. Между ними первым считалось национальное собрание во Франкфурте, которое должно было создать общую конституцию для целой Германии. Оно состояло приблизительно из 600 депутатов, представителей всей германской земли, выбранных прямо народом. Были также и депутаты собственно немецких областей Австрийской империи; славяне же богемские и моравские отказались послать туда своих депутатов, к большому негодованию немецких патриотов, никак не могу-

щих, а главное, не желающих понять, что Богемия и Моравия, по крайней мере насколько они населены славянами, — вовсе не немецкие земли. Таким образом, во Франкфурте собрался из всех концов Германии цвет немецкого патриотизма и либерализма, немецкого ума и немецкой учености. Все патриоты и революционеры двадцатых и тридцатых годов, имевшие счастье дожить до этого времени, все либеральные знаменитости сороковых годов встретились в этом верховном, общегерманском парламенте. И вдруг, к общему изумлению, с самых первых дней оказалось, что по крайней мере три четверти депутатов, вышедшие прямо из всеобщего народного избирательства, — реакционеры! И не только реакционеры, но политические шалуны, очень ученые, но чрезвычайно невинные.

Они не на шутку вообразили, что им стоит только извлечь из их мудрых голов конституцию для целой Германии и провозгласить ее во имя народа, чтобы все немецкие правительства тотчас подчинились ей. Они поверили обещаниям и клятвам немецких государей, как будто в продолжение более чем тридцати лет, от 1815 до 1848, не испытали и на самих себе, и на своих товарищах их нахального и систематического вероломства. Глубокомысленные историки и юристы не поняли простой истины, объяснение и подтверждение которой они могли бы прочесть на каждой странице истории, а именно: чтобы сделать безопасною какую бы то ни было политическую силу, чтобы ее умиротворить, покорить, есть только одно средство — уничтожить ее. Философы не поняли, что против политической силы никаких других гарантий быть не может, кроме совершенного уничтожения, что в политике, как на арене взаимно борющихся сил и фактов, слова, обещания и клятвы ничего не значат, уже по тому одному, что всякая политическая сила, пока остается действительною силою даже помимо и против воли властей и государей, ею управляющих, по самому существу своему и под опасностью самоуничтожения, должна неуклонно и во что бы то ни стало стремиться к осуществлению своих целей.

Германские правительства в марте 1848 были деморализованы, запуганы, но далеко не уничтожены. Старая государственная, бюрократическая, юридическая, финансовая, политическая и военная организация осталась неповрежденная. Уступая напору времени, они немного распу-

стили удила, но все концы их оставались в руках государей. Огромнейшее большинство чиновников, привыкших к механическому исполнению, вся полиция, вся армия были им преданы по-прежнему, даже пуще прежнего, потому что посреди народной бури, грозившей всему их существованию, только от них могли ждать спасения. Наконец, несмотря на повсеместное торжество революции, взимание и платеж податей производились с прежней аккуратностью.

В начале революции несколько изолированных голосов, правда, требовали, чтобы на всей немецкой земле приостановлены были платежи податей и вообще исполнение всяких повинностей натуральных и денежных, пока не будет водворена и не установлена в ней новая конституция. Но против такого предложения, встретившего много сомнений в самом народе, особенно в крестьянах, поднялся грозный, единодушный хор порицаний со стороны всего буржуазного мира, не только либералов, но и самых красных революционеров и радикалов. Ведь они клонились прямо к государственному банкротству и к разрушению всех государственных учреждений, и это в то самое время, когда все хлопотали о создании нового, еще сильнейшего, единого и нераздельного пангерманского государства! Помилуйте! Разрушение государства! Это было бы, пожалуй, освобождением и праздником для глупой толпы чернорабочего люда, но для порядочных людей, для целой буржуазии, существующей только силой государственности, — беда. И так как франкфуртскому национальному собранию, а вместе с ним и всем радикалам Германии даже и в голову не могла прийти мысль об уничтожении государственной силы, которая находилась в руках немецких государей, так как они, с другой стороны, не умели, да и не хотели организовать народную силу, с нею несовместную, то им ничего более не оставалось сделать, как утешать себя верою в святость обещаний и клятв этих самых государей.

Людам, толкующим о специальном призвании науки и ученых организовать общества и управлять государствами, не худо бы было напоминать почаще о трагикомической судьбе несчастного франкфуртского парламента. Если какое-либо политическое собрание заслужило название ученого, то именно этот пангерманский парламент, в котором заседали знаменитейшие профессора всех немецких университетов и всех факультетов, особенно же

юристы, политико-экономисты и историки. И, во-первых, как мы уже заметили выше, это собрание в своем большинстве оказалось страшно реакционерным, до того, что когда Радовиц, друг, постоянный корреспондент и верный слуга короля Фридриха Вильгельма IV, бывший перед тем прусским посланником при Германском союзе, а в мае 1848 сделавшийся депутатом Национального собрания, — когда Радовиц предложил этому собранию торжественно заявить свою симпатию австрийским войскам, этой немецкой армии, составленной большей частью из мадьяр и хорватов и посланной венским кабинетом против бунтующих итальянцев, огромное большинство, восхищенное его германо-патриотическою речью, встало и рукоплескало австрийцам. Этим оно торжественно заявило, во имя целой Германии, что главная и, можно сказать, едино-серьезная цель немецкой революции была отнюдь не завоевание свободы для немецких народов, а сооружение для них огромной новой патриотической тюрьмы под названием единой и нераздельной *пангерманской империи*.

Ту же грубую несправедливость собрание оказало и в отношении поляков Познанского герцогства, и вообще ко всем славянам. Все эти племена, ненавидящие немцев, должны были быть поглощены пангерманским государством. Того требовало будущее могущество и величие немецкого отечества.

Первый внутренний вопрос, который представился решению мудрого и патриотического собрания, был: должны ли общегерманские государства быть республикою или монархией? И, разумеется, вопрос был решен в пользу монархии. В этом, однако, господ профессоров-депутатов и законодателей винить не следует. Разумеется, они, как истые и к тому же ученые немцы, т. е. как сознательно убежденные хамы, всею душою стремились к сохранению своих драгоценных государей. Но если бы они даже и не имели таких стремлений, то они все-таки должны бы были решить в пользу монархий, потому что, за исключением немногих сотен искренних революционеров, о которых мы упоминали выше, того хотела вся немецкая буржуазия.

А в доказательство этого приведем слова почтенного патриарха демократической партии, ныне социал-демократа, вышесказанного кенигсбергского патриота доктора Иоганна Якоби. В речи, произнесенной им в 1858 году пе-

ред кенигсбергскими избирателями, он сказал следующее:

«Теперь, господа, я говорю это из глубины своего полнейшего убеждения, теперь во всей стране нашей, во всей демократической партии нет ни одного человека, который, я не говорю, стремился к другой государственной форме, кроме монархической, но который только мечтал бы о ней». Еще далее он прибавляет: «Если какое-либо время, то именно 1848 показал нам, какие глубокие корни пустил монархический элемент в сердце народа»*.

Второй вопрос был: какую форму будет иметь Германская империя, централизованную или федеральную? — Первая была бы логичною и несравненно сообразнее цели, образованию единого, нераздельного и могучего германского государства. Но для осуществления ее необходимо бы было лишить власти, престола и выгнать из Германии всех государей, кроме одного, т. е. начать и довести до конца множество частных бунтов. Это было слишком противно немецкому верноподданству, и потому вопрос был решен в пользу федеральной монархии сообразно старому идеалу — множество средних и маленьких государей и столько же парламентов, а во главе всего этого единый общегерманский император и парламент.

Кто же будет императором? Таков был главный вопрос. Ясно было, что на это место возможно было назначить только австрийского императора или прусского короля. Никого другого ни Австрия, ни Пруссия не потеряли бы.

Большинство симпатий в собрании было в пользу австрийского императора. На это было много причин: во-первых, все непрусские немцы ненавидели и ненавидят Пруссию, как в Италии ненавидят Пьемонт. Король же Фридрих Вильгельм IV своим взбалмошным, самодурным поведением перед революцією и после нее совсем утратил все симпатии, приветствовавшие его при вступлении на престол. К тому же вся Южная Германия по характеру своего населения, большею частью католического, и по историческим преданиям и привычкам склонялась решительно в пользу Австрии.

Но выбор австрийского императора был все-таки невозможен, потому что Австрийская империя, обуреваемая революционными движениями в Италии, Венгрии, Богемии и наконец, в самой Вене, находилась на краю гибели,

тогда как Пруссия была вооруженная и готовая, несмотря на волнения в улицах Берлина, Кенигсберга, Позена, Бреславля и Кельна.

Немцы хотели единой, могучей империи несравненно сильнее, чем свободы. Всем ясно было, что только одна Пруссия могла дать Германии серьезного императора. Поэтому, если бы у господ профессоров, составлявших чуть ли не большинство франкфуртского парламента, была хоть капля здравого критического смысла, капля энергии, они должны бы были не задумываясь, не откладывая, а скрепя сердце тотчас же предложить императорскую корону прусскому королю.

В начале революции Фридрих Вильгельм IV непременно бы ее принял. Берлинское восстание, победа народа над войском поразило его в самое сердце; он чувствовал себя униженным и искал какого бы то ни было средства, чтобы спасти, восстановить свою королевскую честь. Не имея другого средства, он собственным движением ухватился за императорскую корону. Уже 21 марта, три дня после своего поражения в Берлине, он издал манифест к немецкой нации, где объявил, что ради спасения Германии он становится во главе общего германского отечества. Написав этот манифест собственноручно, он сел на коня и, окруженный военной свитой, с трехцветным пангерманским знаменем в руке, проехал торжественно по улицам Берлина.

Но франкфуртский парламент не понял или не захотел понять этого совсем нетонкого намека, и вместо того чтобы прямо и просто провозгласить прусского короля императором, они, как это делают близорукие и нерешительные люди, прибегли к средней мере, которая, ничего не решив, была прямым оскорблением прусского короля. Господа профессора не поняли, что прежде выбора германского императора они должны были состряпать общегерманскую конституцию, а еще прежде должны были формулировать *«основные права немецкого народа»*.

Больше полгода употреблено было учеными законодателями на юридическое определение этого права. Практические же дела они передали установленному ими временному правительству, составленному из безответственного правителя государства и из ответственного министерства. Правителем выбрали опять-таки не прусского короля, а в пику ему эрцгерцога австрийского.

Выбрав его, франкфуртское собрание требовало, чтобы все союзные войска присягнули ему. Повиновались только ничтожные войска маленьких государей, прусские же, ганноверские и даже австрийские отказались напрямик. Таким образом, для всех стало ясно, что сила, влияние, значение франкфуртского собрания равны нулю и что судьба Германии решилась не во Франкфурте, а в Берлине и Вене, особенно в первом, так как вторая была слишком озабочена своими собственными, исключительно австрийскими и далеко не немецкими делами, чтобы иметь время заниматься делами Германии.

Что же делала в это время радикальная, или так называемая революционная, партия? Большинство непрусских членов ее находилось во франкфуртском парламенте и составляло меньшинство. Остальные были в частных парламентах и также парализованы, во-первых, потому что влияние этих парламентов на общий ход дел Германии по самой ничтожности их было необходимо ничтожно, а во-вторых, потому что даже парламентство в Берлине, Вене, Франкфурте было смешно и пустословно. Прусское конституционное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 и заключающее почти весь цвет радикализма, ясно доказало это. В нем произносились самые пламенные, самые красноречивые и даже революционные речи, но дела не делалось никакого. С первых заседаний оно отвергло проект конституции, представленный правительством и подобно франкфуртскому собранию употребило несколько месяцев на обсуждение своего проекта, причем радикалы заявляли вперегонку, на удивление всему народу, свою революционность.

Вся революционная неспособность, чтобы не сказать непроходимая глупость, немецких демократов и революционеров вышла наружу. Пруссие радикалы совершенно ушли в парламентскую игру и потеряли смысл для всего остального. Они серьезно поверили в силу парламентских решений, и самые умные между ними думали, что победы, одерживаемые ими в парламентских прениях, решают судьбы Пруссии и Германии.

Они задали себе неразрешимую задачу: примирение демократического самоуправления и равноправия с монархическими учреждениями. В доказательство приведем речь, произнесенную в июне 1848 одним из главных вожаков этой партии, доктором Иоганном Якоби, перед

своими избирателями в Берлине и ясно представляющую всю демократическую программу:

«Идея республики есть высшее и чистейшее выражение гражданского самоуправления и равноправия. Но возможно ли осуществление республиканской формы правления при условиях, данных действительностью в известное время и в известной стране, это другой вопрос. Только всеобщая, единодушная воля граждан может решить его. Безумно бы поступило всякое отдельное лицо, если бы оно осмелилось взять на себя ответственность за такое решение. Безумна и даже преступна была бы партия, которая бы вздумала навязать народу эту форму правления. Не только сегодня, но в марте на предварительном собрании во Франкфурте я говорил то же самое баденским депутатам и старался отговорить их, хотя, увы! и тщетно, от республиканского восстания. В целой Германии — исключая одного Бадена — сама революция остановилась почти перед непоколебленными тронами и доказала этим, что хотя она и может положить предел произволу своих государей, но отнюдь не намерена прогнать их. Мы должны покориться общественной воле, и потому *конституционно-монархическая форма правления* есть та единая почва, на которой мы обязаны соорудить новое политическое здание»*.

Итак, новое устройство монархии на демократических основаниях — вот трудная, прямо невозможная задача, разрешение которой задали себе глубокомысленные, но зато чрезвычайно мало революционные радикалы и красные демократы прусской конституанты, и чем более они углублялись в нее, придумывая новые конституционные цепи, в которые намеревались заковать не только народную волю, но и монарший произвол своего обожаемого, полусумасшедшего государя, тем более они удалялись от настоящего дела.

Как ни огромна была их практическая близорукость, она не могла простирается до того, чтобы не видеть, как монархия, хотя и побежденная в мартовские дни, но не уничтоженная явно, конспирировала и собирала вокруг себя весь старый реакционно-аристократический, военный, полицейский и бюрократический мир, выжидая удобного случая для разогнания демократов и захвата власти, по-прежнему безграничной. Та же речь доктора Якоби доказывает, что прусские радикалы это хорошо видели. «Не будем себя обманывать, — сказал он, — абсолютизм

и юнкерство¹ отнюдь не исчезли и не перевелись, они едва считают нужным и дают себе труд притворяться мертвыми. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть стремление реакции...» *

Итак, прусские радикалы довольно ясно видели грозившую им опасность. Что же они сделали для предупреждения ее? Монархически-феодалная реакция была не теория, а сила, страшная сила, имевшая за собою всю армию, горевшую нетерпением смыть с себя срам мартовского поражения и восстановить омраченную и оскорбленную королевскую власть в народной крови, всю бюрократию, весь государственный организм, располагавший огромными финансовыми средствами. Неужели же радикалы думали, что они в состоянии связать эту грозную силу новыми законами и конституцией, т. е. чисто бумажными средствами?

Да, они были бы довольно практичны и мудры, чтобы питать такие надежды. Иначе чем объяснить, что они, вместо принятия ряда практических и действительных мер против висевшей над ними грозы, провели целые месяцы в толках о новой конституции и о новых законах, долженствовавших подчинить всю государственную силу и власть парламенту? Они до того верили в действительность своих парламентских прений и законоположений, что пренебрегли единственным средством, чтобы противоположить силе государственно-реакционной — силу революционно-народную путем организации последней.

Неслыханно легкое торжество народных восстаний над войском почти во всех столицах Европы, ознаменовавшее начало революции 1848, было вредно для революционеров не только Германии, но и всех других стран, потому что оно возбудило в них глупую уверенность, что малейшей народной демонстрации достаточно, чтобы сломить всякое военное сопротивление. Вследствие такого убеждения прусские и вообще германские демократы и революционеры, думая, что от них всегда будет зависеть напугать правительство народным движением, если оно окажется нужным, не видели никакой необходимости ни в организации, ни в направлении, не говоря уже об умножении революционных страстей и сил в народе.

¹ Так называют в Пруссии дворянское направление и военно-дворянскую партию. Слово «юнкер» употребляется в смысле дворянина.

Напротив, как подобает добрым буржуа, самые революционные между ними боялись этих страстей и этой силы, всегда были готовы принять против них сторону государственного и буржуазно-общественного порядка и вообще думали, что чем реже будут прибегать к опасному средству народного бунта, тем лучше.

Таким образом, официальные революционеры Германии и Пруссии пренебрегли единственным находящимся у них средством для одержания окончательной и действительной победы над вновь возникавшей реакцией. Они не только не думали об организации народной революции, напротив, старались везде умиротворить и успокоить ее и этим самым ломали единственное серьезное оружие, которым они обладали.

Июньские дни*, победа военного диктатора и республиканского генерала Кавеньяка над парижским пролетариатом должны бы были открыть глаза демократам Германии. Июньская катастрофа была не только несчастьем для парижских работников, но первым и, можно сказать, решительным поражением для революции в Европе. Реакционеры всех стран скорее и лучше поняли трагическое и столь выгодное для них значение июньских дней, чем революционеры, и в особенности немецкие.

Нужно было видеть, какой восторг возбудило первое известие о них во всех реакционных кругах; оно было принято как весть о спасении. Руководимые совершенно верным инстинктом, они увидели в торжестве Кавеньяка не только победу французской реакции над революцией французской, но победу всемирной или интернациональной реакции над международной революцией. Военные люди, штабы всех стран приветствовали ее как интернациональное искупление военной чести. Известно, офицеры прусских, австрийских, саксонских, ганноверских, баварских и других немецких войск тотчас же послали генералу Кавеньяку, временному правителю французской республики, поздравительный адрес, разумеется, с разрешения начальства и с одобрения своих государей.

Победа Кавеньяка имела в самом деле громадное историческое значение. С нее начинается новая эпоха в интернациональной борьбе реакции с революцией. Восстание парижских работников, продолжавшееся четыре дня, от 23 до 26 июня, превзошло своею дикою энергией

и ожесточением все народные бунты, которых Париж когда-либо был свидетелем. С него, собственно, началась социальная революция, которой он был первым актом, а последнее, еще более отчаянное сопротивление Парижской Коммуны — вторым.

В июньских восстаниях в первый раз встретились без масок, лицом к лицу, дикая народная сила, борющаяся уже не за других, а собственно за себя, никем не руководимая, поднимающаяся собственным движением для защиты своих священнейших интересов, и дикая военная сила, не обузданная никакими соображениями уважения к требованиям цивилизации и человечности, общественной учтивости и гражданского права и в опьянении дикой борьбы беспощадно все жгущая, режущая и уничтожающая.

Во всех предшествовавших революциях в борьбе против народа, встречая против себя не только народные массы, но и почтенных граждан, стоящих в их главе, университетское и политехническое юношество и, наконец, национальную гвардию, большею частью состоящую из буржуа, войска как-то скоро деморализовались и, прежде чем были действительно разбиты, уступали и отступали или братались с народом. В самом пылу битвы между борющимися сторонами существовал и соблюдался род договора, не позволявшего самым ярым страстям переступить известные границы, точно как будто обе стороны по общему условию дрались тупым оружием. Ни со стороны народа, ни со стороны войска никому в голову не приходило, что можно безнаказанно разрушать дома, улицы или резать десятки тысяч безоружных людей. Была общая фраза, беспрестанно повторяемая консервативною партией, когда она отстаивала какую-нибудь реакционную меру и хотела усыпить недоверие противной партии: «Власть, которая для одержания победы над народом вздумала бы бомбардировать Париж, стала бы тотчас же невозможною»¹.

Такое ограничение в употреблении военной силы было чрезвычайно выгодно для революции и объясняет, по-

¹ Эти слова были сказаны в палате депутатов Тьером в 1840, когда, будучи министром Людовика Филиппа, он внес в палату проект о фортификации Парижа. Тридцать один год спустя Тьер, президент французской республики, бомбардировал Париж для усмирения Коммуны.

чему прежде народ большей частью выходил победителем. Вот этим-то легким победам народа над войском генерал Кавеньяк захотел положить конец.

Когда его спросили, зачем он повел атаку большою массою, так что непременно должен был истребить огромное количество инсургентов*, он отвечал: «Я не хотел, чтобы военное знамя было во второй раз обесчещено народною победою». Руководимый этою чисто военною, но зато совершенно противонародною мыслью, он первый возымел смелость употребить пушки для разрушения домов и целых улиц, занятых инсургентами. Наконец, на другой, третий и четвертый день после победы, несмотря на все свои трогательные прокламации к заблудшим братьям, которым он открывал свои братские объятия, он допустил, чтобы войска вместе с разъяренною национальною гвардией в продолжение трех дней сряду вырезали и расстреляли без всякого суда около десяти тысяч инсургентов, между которыми попало, разумеется, много невинных.

Все это было сделано с двойною целью: омыть кровью бунтующих *военную честь* (!) и вместе с тем отнять у пролетариата охоту к революционным движениям, внушив ему должное уважение к превосходству военной силы и ужас перед ее беспощадностью.

Этой последней цели Кавеньяк не достиг. Мы видели, что июньский урок не помешал пролетариату Парижской Коммуны встать в свою очередь, и мы надеемся, что даже новый несравненно более жестокий урок, данный Коммуне, не остановит и даже не задержит социальной революции, напротив, удесятерит энергию и страсть ее приверженцев и этим приблизит день ее торжества.

Но если Кавеньяку не удалось убить социальную революцию, он достиг другой цели — убил окончательно либерализм и буржуазную революционность, убил республику и на развалинах ее основал военную диктатуру.

Освободив военную силу от оков, наложенных на нее буржуазною цивилизацией, возвратив ей полноту ее естественной дикости и право, не останавливаясь ни перед чем, давать полную волю этой бесчеловечной и беспощадной дикости, он сделал отныне невозможным всякое буржуазное сопротивление. С тех пор как беспощадность и всеразрушение стали паролем военного действия, старая, классическая, невинная буржуазная революция по-

средством уличных баррикад стала детской игрою. Чтобы с успехом бороться против военной силы, отныне не уважающей ничего и притом вооруженной самыми страшными орудиями разрушения и готовой всегда воспользоваться ими для уничтожения не только домов и улиц, но целых городов со всеми их жителями, чтобы бороться против такого дикого зверя, надо иметь другого, не менее дикого, но более правого зверя: всенародный организованный бунт, социальную революцию, которые, так же как и военная реакция, ничего не пожалеют и не остановятся ни перед чем.

Кавеньяк, оказавший такую драгоценную услугу французской и вообще интернациональной реакции, был, однако, самым искренним республиканцем. Не замечательно ли, что республиканцу было суждено положить первое основание военной диктатуры в Европе, быть первым предшественником Наполеона III и германского императора; точно так же, как другому республиканцу, его знаменитому предшественнику Робеспьеру, суждено было приготовить государственный деспотизм, олицетворившийся в Наполеоне I. Не доказывает ли это, что всепоглощающая и всеподавляющая военная дисциплина — идеал пангерманской империи — есть необходимое последнее слово буржуазной государственной централизации, буржуазной республики и вообще буржуазной цивилизации.

Как бы то ни было, немецкие офицеры, дворяне, бюрократы, правители и государи страшно возлюбили Кавеньяка и, возбужденные его счастливым успехом, видимым образом ободрились и стали уже готовиться к новой битве.

Что же делали немецкие демократы? Поняли ли они, какая им грозила опасность и что для предотвращения ее у них оставались только два единые средства: возбуждение революционной страсти в народе и организация народной силы? Нет, не поняли. Напротив, они как будто нарочно еще более углубились в парламентские прения и, повернувшись к народу спиной, предоставляли его влиянию всевозможных агентов реакции.

Мудрено ли, что народ к ним охладел совершенно, потерял к ним и к их делу всякое доверие, так что в ноябре, когда прусский король вернул свою гвардию в Берлин, назначил первым министром генерала Бранденбурга с яв-

ною целью полнейшей реакции, декретировал распускание конституанты и даровал Пруссии свою собственную конституцию, разумеется, совершенно реакционерную, те же самые берлинские работники, которые в марте так единодушно встали и так храбро дрались, что принудили гвардию удалиться из Берлина, теперь не пошевелились, даже не пикнули и равнодушно смотрели, как «демократов гнали солдаты».

Этим, собственно, кончилась в действительности трагикомедия германской революции. Еще прежде, а именно в октябре, князь Виндишгрец восстановил порядок в Вене, правда, не без значительного кровопролития, — вообще австрийские революционеры оказались революционнее прусских.

Что же делало в это время национальное собрание во Франкфурте? В конце 1848 оно вотировало, наконец, *основные права* и новую пангерманскую конституцию и предложило прусскому королю императорскую корону. Но правительства австрийское, прусское, баварское, ганноверское и саксонское отвергли основные права и новопеченную конституцию, а прусский король отказался принять императорскую корону и затем отозвал своих депутатов.

Реакция торжествовала в целой Германии. Революционная партия, взявшись поздно за ум, решила организовать всеобщее восстание к весне 1849. В мае потухающая революция бросила последнее пламя в Саксонию, в баварский Пфальц и в Баден. Это пламя было везде потушено прусскими солдатами, восстановившими после недолгой борьбы, впрочем достаточно кровопролитной, старый порядок в целой Германии, причем принц прусский, нынешний император и король Вильгельм I, командовавший прусскими войсками в Бадене, не пропустил случая повесить нескольких бунтовщиков.

Таков был печальный конец единственной и надолго последней немецкой революции. Теперь спрашивается, что было главной причиной ее неудачи?

Помимо политической неопытности и практической неумелости, нередко присущей ученым, помимо положительного отсутствия революционной смелости и коренного отвращения немцев к революционным мерам и действиям и страстной любви к подчинению себя власти, наконец, помимо значительного недостатка инстинкта, страсти

и смысла свободы, главною причиною неудачи было общее стремление всех немецких патриотов к образованию пангерманского государства.

Это стремление, вытекающее из глубины немецкой природы, делает немцев решительно неспособными к революции. Общество, желающее основать сильное государство, непременно хочет подчинить себя власти; революционное общество, напротив, хочет сбросить с себя власть. Как же примирить эти два противоположные и взаимоисключающие требования? Они непременно должны парализовать друг друга, как и случилось с немцами, которые в 1848 не достигли ни свободы, ни сильного государства, напротив, потерпели страшное поражение.

Оба стремления так противоречивы, что в действительности в одно и то же время не могут встретиться в одном и том же народе. Оно должно быть непременно призрачным стремлением, скрывающим за собою настоящее, как это и было в 1848. Мнимое стремление к свободе было самообольщением, обман; стремление же к основанию пангерманского государства было весьма серьезно. Это несомненно, по крайней мере в отношении ко всему образованному немецкому буржуазному обществу, не исключая огромнейшего большинства самых красных демократов и радикалов. Можно думать, догадываться, надеяться, что в немецком пролетариате живет противосоциальный инстинкт, который, быть может, его сделает способным к завоеванию свободы, потому что он несет то же экономическое ярмо и которое так же ненавидит, как и пролетариат других стран, и потому, что ни ему, ни другим нет возможности освободиться от экономического рабства, не разрушив многовековую тюрьму, называемую государством. Возможно только предполагать и надеяться, ибо фактических доказательств на это нет, напротив, мы видели, что не только в 1848, но и в настоящее время немецкие работники слепо повинуются своим предводителям, тогда как предводители, организаторы *социально-демократической партии немецких работников*, ведут их не к свободе и не к интернациональному братству, а прямо под ярмо пангерманского государства.

В 1848 немецкие радикалы, как заметили выше, нашли в печальной трагической необходимости бунтовать против государственной власти, чтобы заставить ее сде-

латься сильнее и шире. Значит, они не только не хотели ее разрушить, напротив, самым нежным образом пеклись о ее сохранении в то время, как боролись против нее. Значит, вся деятельность их была разбита и парализована в своем существе. Действия власти не представляли такого противоречия. Она, нисколько не задумываясь, хотела задушить во что бы то ни стало своих странных, непрощенных и беспокойных друзей, демократов. Что радикалы думали не о свободе, а <о> создании империи, достаточно привести один факт. — Когда франкфуртское собрание, в котором уже торжествовали демократы, предложило императорскую корону Фридриху Вильгельму IV 28 марта 1849, т. е. когда Фридрих совсем уничтожил все так называемые революционные приобретения или народные права, разогнал конституанту, избранную прямо народом, и дал самую реакционную, самую презренную конституцию, когда он, полный гнева за претерпленные им и короною оскорбления, травил ненавистных ему демократов полицейскими солдатами.

Не могли же они быть до такой степени слепы, чтобы требовать от такого государя свободы! Чего же они надеялись и ожидали? *Пангерманского государства!*

Король и этого не был в состоянии им дать. Феодальная партия, восторжествовавшая вместе с ним и снова захватившая государственную власть, крайне враждебно относилась к идее единства. Она ненавидела германский патриотизм как крамольный, и знала только свой прусский патриотизм. Все войско, все офицеры и все кадеты в военных школах пели тогда с неистовством известную прусско-патриотическую песнь:

«Я пруссак, знаешь ли мое знамя»*.

Фридриху хотелось быть императором, но он боялся своих, боялся Австрии, Франции, а главным образом императора Николая. В ответ польской депутации, приходившей требовать свободы для Познанского герцогства в марте 1848, он сказал: «Я не могу согласиться на вашу просьбу, потому что это было бы противно желанию моего зятя, императора Николая, который настоящий великий человек! Когда он говорит — да, то и бывает да, когда говорит — нет, то — нет».

Король знал, что Николай никогда не согласится на императорскую корону, поэтому, и особенно поэтому, он

наотрез отказался принять ее от франкфуртской депутации.

А между тем ему необходимо было что-нибудь сделать в смысле германского единства и прусской гегемонии, хотя только для того чтобы выручить свою честь, компрометированную его мартовским манифестом. Для этого Фридрих, пользуясь лаврами, пожатыми прусскими войсками при усмирении демократов Германии и внутренними затруднениями Австрии, недовольной его успехам <и> в Германии, сделал попытку основать союз в мае 1849 между Пруссией, Саксонией и Ганновером, клонившийся к сосредоточиванию в руках первой всех дипломатических и военных дел, но союз продолжался недолго. Лишь только Австрия с помощью русского войска усмирила Венгрию (в сентябре 1849), как Шварценберг грозно потребовал от Пруссии, чтобы все в Германии было возвращено к старому домартовскому порядку, словом, чтобы был восстановлен Германский союз, столь удобный для преобладания Австрии. Саксония и Ганновер тотчас же отстали от Пруссии и присоединились к Австрии; Бавария последовала их примеру; а воинственный вюртембергский король объявил во всеуслышание, что «куда ему прикажет идти с своим войском австрийский император, туда он и пойдет».

Таким образом, несчастная Пруссия очутилась в полнейшем уединении. Что было ей делать? Согласиться на требование Австрии казалось для тщеславного, но слабого короля невозможным; поэтому он назначил своего друга генерала Радовица первым министром и приказал своим войскам двинуться. Чуть было не дошло до драки. Но император Николай крикнул немцам: «Остановитесь!», приказал в Ольмюц (ноябрь 1850) на конференцию и произнес приговор. Униженный король покорился, Австрия торжествовала, и в прежнем союзном дворце во Франкфурте (в мае 1851) после трехлетнего затмения открылся вновь *Германский союз*.

Революции как бы не было. Единственный след ее — ужасная реакция, долженствующая служить спасительным уроком немцам: кто хочет не свободы, а государства, тот не должен играть в революцию.

Кризисом 1848 и 1849 кончается собственно история германского либерализма. Он доказал немцам, что они не только не в состоянии завоевать свободы, но даже и не

хотят ее; доказал, кроме того, что без инициативы прусской монархии они не в состоянии достигнуть даже своей настоящей и серьезной цели, не в силах создать единого и могучего государства. Последовавшая реакция отличается от таковой в 1812 и 1813 тем, что, несмотря на всю горечь и тягость последней, немцы посреди нее сохранили и могли сохранить заблуждение, что они любят свободу и что если бы им не помешала сила соединенных правительств, далеко превосходившая их крамольную силу, они сумели бы создать вольную и единую Германию. Теперь такое утешительное самообольщение невозможно. В продолжение первых месяцев революции решительно не существовало такой правительственной силы в Германии, которая могла бы им воспротивиться, если бы они хотели что-либо сделать; впоследствии же они, более, чем кто другой, способствовали восстановлению такой силы. Значит, нулевой результат революции произошел не от внешних препятствий, а только от собственной несостоятельности немецких либералов и патриотов.

Чувство этой несостоятельности стало как бы основанием политической жизни и руководителем нового общественного мнения Германии. Немцы, по-видимому, изменились и стали практическими людьми. Отказавшись от широких абстрактных идей, составлявших все мировое значение их классической литературы, от Лессинга до Гете и от Канта до Гегеля включительно, отказавшись и от французского либерализма, демократизма и республиканизма, они стали отныне искать исполнения германских судеб в завоевательной политике Пруссии.

Надо прибавить, к их чести, что обращение совершилось не вдруг. Последние двадцать четыре года, от 1849 по настоящее время, которые для краткости включили мы в один пятый период, должны быть разделены по-настоящему на четыре периода:

5. Период безнадежного покорения, от 1849 до 1858, т. е. до начала регентства в Пруссии.

6. Период от 1858 до 1866, период последней предсмертной борьбы издыхающего либерализма против прусского абсолютизма.

7. Период от 1866 до 1870, капитуляция побежденного либерализма.

8. Период от 1870 до настоящего времени, торжество победоносного рабства.

В пятом периоде внутреннее и внешнее унижение Германии дошло до крайней степени. Внутри молчание рабов: в Южной Германии австрийский министр, наследник Меттерниха, командовал безусловно; в Северной — Мантейфель, унизивший прусскую монархию донельзя на конференции в Ольмюце (1850) в угоду Австрии и, к вящему удовольствию прусской придворной, дворянской и военно-бюрократической партии, травил уцелевших демократов. Значит, в отношении к свободе нуль, а в отношении к внешнему достоинству, весу, значению Германии как государства еще менее нуля. Шлезвиг-Гольштейнский вопрос, в котором немцы всех стран и всех партий, кроме придворной, военной, бюрократической и дворянской, с самого 1847 не переставали заявлять самые буйные страсти, благодаря прусскому вмешательству был порешен окончательно в пользу Дании. Во всех других вопросах голос соединенной Германии, вернее, разъединенной *Германским союзом*, даже не принимался в соображение другими державами. Пруссия более чем когда-нибудь стала рабой России. Несчастный Фридрих, прежде ненавидевший Николая, теперь только им и клялся. Преданность интересам петербургского двора простиралась до того, что прусский военный министр и прусский посланник при английском дворе, друг короля, были сменены оба за выражение симпатии к западным державам.

Известна история *«неблагодарности»* князя Шварценберга и Австрии, так глубоко поразившая и оскорбившая Николая. Австрия, по своим интересам на востоке естественный враг России, открыто приняла сторону Англии и Франции против нее, Пруссия же, к великому негодованию целой Германии, оставалась верна до конца.

Шестой период начинается регентством нынешнего короля императора Вильгельма I. Фридрих окончательно сошел с ума, и его брат Вильгельм, ненавистный для целой Германии под именем прусского принца, в 1858 сделался регентом, а в январе 1861, по смерти старшего брата, королем Пруссии. Замечательно, у этого короля-фельдфебеля и пресловутого вешателя демократов был также свой медовый месяц народно-угодливого либерализма. Вступая в регентство, он произнес речь, в которой высказал твердое намерение поднять Пруссию, а через нее и всю Германию на подобающую высоту, уважая при этом границы, положенные конституционным актом ко-

ролевской власти¹ и опираясь всегда на народные стремления, выражаемые парламентом.

Сообразно такому обещанию первым делом его управления было распускание министерства Мантейфеля, одного из самых реакционных, когда-либо управлявших Пруссией и бывших как бы олицетворением ее политического поражения и уничтожения.

Мантейфель стал первым министром в ноябре 1850, как будто для того, чтобы подписать все условия ольмюцкой конференции, крайне унижительные для Пруссии, и окончательно подчинить ее и всю Германию австрийской гегемонии. Такова была воля Николая, таково было страстно дерзкое стремление князя Шварценберга, таковы также были стремления и воля огромнейшего большинства прусского юнкерства или дворянства, не хотевшего и слышать о слиянии Пруссии с Германией и преданного австрийскому и всероссийскому императорам чуть ли даже не больше, чем своему собственному королю, которому повиновалось по долгу, но не из любви. В продолжение целых восьми лет Мантейфель управлял Пруссией в этом направлении и духе, унижая ее перед Австрией при всяком удобном случае и вместе с тем преследуя немилосердно и беспощадно в ней и во всей Германии все напоминавшее либерализм или народное движение и право.

Это ненавистное министерство было заменено либеральным князя Гогенцоллерн-Сигмаринга, с первого дня заявившего намерение регента восстановить честь и неза-

¹ Это уважение, казалось, должно бы быть ему тем легче, что октроированная, т. е. королевскою милостью дарованная конституция, собственно, ни в чем не ограничивала королевской власти, исключая одного пункта — права заключать новые займы или декретировать новые налоги без согласия представительства; для взимания налогов, уже раз получивших парламентское согласие, не требовалось новой парламентской вотировки, ибо парламент лишен права их отменять. Это именно нововведение и превратило весь германский конституционализм и парламентаризм в совершенно пустую игру. В других странах, в Англии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Швеции, Дании, Голландии и т. д. парламенты, сохраняя существенное и единственное действительное право отказывать правительству в податях, могут, если захотят, сделать всякое правительство невозможным, вследствие чего получают значительный вес в делах управления. Октроированная конституция, отняв это право у прусского парламента, предоставила ему право отказа в установлении новых налогов и в заключении новых займов. Но мы сейчас увидим, как спустя три года после обещания блюсти право парламента, Вильгельм I нашел себя вынужденным нарушить его

висимость Пруссии в отношении к Вене, а также и утраченное влияние на Германию.

Несколько слов и шагов в этом направлении было достаточно, чтобы привести в восторг всех немцев. Забыты были все недавние обиды, жестокости и преступления; вешатель демократов, регент, а затем король, Вильгельм I, вчера ненавидимый и проклинаемый, превратился вдруг в любимца, героя и единственную надежду. В подтверждение приведем слова известного Якоби, произнесенные им перед кенигсбергскими избирателями (11 ноября 1858):

«Истинно мужское и сообразное с конституцией обращение принца при вступлении его в регентство исполнило новою верою и новыми надеждами сердце всех пруссаков и всех немцев. С необычайною живостью все стремятся к избирательным урнам»*.

В 1861 тот же Якоби писал следующее: «Когда принц-регент по собственному решению взял в свои руки управление страны, все ожидали, что Пруссия беспрепятственно пойдет вперед к предположенной цели. Ожидали, что люди, которым было регентом вверено управление страной, прежде всего уничтожат все зло, совершенное правительством в последние десять лет; положат конец чиновничьему произволу, чтобы поднять и оживить общий патриотический дух, свободное самосознание граждан...

«Исполнились ли эти надежды? Всеобщий голос во всеуслышание отвечает: *В эти два года Пруссия не подвинулась ни на шаг и так же далека, как и прежде, от исполнения своего исторического назначения*»**.

Почтенный доктор Якоби, последний верующий, представитель германского политического демократизма, без сомнения умрет, верный своей программе, расширившейся в последние годы до весьма нешироких пределов программы немецких социальных демократов. Идеал его, образование пангерманского государства путем общенародной свободы, — утопия, нелепость. Мы уже говорили об этом. Огромное большинство немецких патриотов после 1848 и 1849 годов пришло к убеждению, что основание пангерманского могущества возможно только путем пушек и штыков, и поэтому Германия ждала спасения от воинственно-монархической Пруссии.

В 1858 вся национально-либеральная партия, пользуясь первыми симптомами изменения правительственной политики, перешла на ее сторону. Бывшая демократическая

партия распалась: огромнейшая часть ее образовала новую партию, «партию прогрессистов», остальная продолжала называться демократическою. Первая с самого начала горела желанием соединиться с правительством, но, желая сохранить свою честь, умоляла его дать ей приличный предлог для такого перехода, требовала хотя внешнего уважения конституции. Она кокетничала и пикировалась с ним до 1866, а затем, побежденная блеском побед против Дании и Австрии, безусловно сдалась правительству. Демократическая партия, как увидим, сделала в 1870 то же самое.

Якоби не последовал и никогда не последует общему примеру. Демократические принципы составляют его жизнь. Он ненавидит насилие и не верит, чтобы путем его можно создать могучее германское государство; поэтому он остался врагом, правда, одиноким и бессильным, нынешней прусской политике. Бессилие его главным образом происходит от того, что, будучи государственным человеком с ног до головы, он искренно мечтает о свободе и в то же время желает единого пангерманского государства.

Нынешний германский император Вильгельм I не страдает противоречиями и, подобно незабвенному Николаю I, создан как бы из одного куска металла, словом, целый человек, хотя и ограниченный. Он да нецарствующий граф Шамбор едва ли не одни верящие в свое богопомазание, божественное призвание и право. Он, верующий король-солдат, подобно Николаю, выше всех принципов ставит принцип легитимизма, т. е. наследственное государственное право. Последнее для его совести и ума было серьезным затруднением для соединения Германии, потому что нужно было столкнуть с престолов множество законных государей; но в государственном кодексе есть другое начало — *священное право завоевания*, — разрешившее вопрос. Государь, верный монархическим обязанностям, ни за что в мире не согласится занять престол, который предлагается ему бунтующим народом и который освобожден им от законного государя; но он сочтет себя вправе завоевать этот народ и престол, лишь бы бог благословил его оружие и лишь бы был удобный повод для объявления войны. Это начало и основанное на нем право всегда признавалось и признается до сих пор всеми государями.

Вильгельму I необходимо было иметь, следовательно, министра, способного создавать *законные* поводы и средства для расширения государства путем войн. Таким человеком был Бисмарк, которого Вильгельм вполне оценил и назначил своим министром в октябре 1862.

Князь Бисмарк — ныне самый могущественный человек в Европе. Это — чистейший тип померанского дворянина с донкихотскою преданностью королевскому дому, с обыкновенною военно-сухою наружностью, с дерзким, сухо-учтивым, большею частью презрительно-насмешливым обращением с бюргерами-политиками-либералами. Он не сердится, что его называют «юнкером», т. е. дворянином, но обыкновенно отвечает противникам: *«Будьте уверены, мы сумеем поднять честь юнкерства»*. Как человек чрезвычайно умный, он совершенно свободен как от юнкерских, так и от всяких других предрассудков.

Мы назвали Бисмарка прямым политиком Фридриха II. Первый, как и последний, прежде всего верит в силу, а потом в ум, располагающий ею и нередко удесятеряющий ее. Будучи вполне государственным человеком, он, как и Фридрих Великий, не верит ни в бога, ни в черта, ни в человечество, ни даже в дворянство — все это для него только средства. Для достижения государственной цели он не останавливается ни перед божескими, ни перед человеческими законами. В политике он не признает нравственности; подлость и преступление только тогда безнравственны, когда они не увенчались успехом. Более Фридриха холодный и бесстрастный, он бесцеремонен и дерзок, как он. Дворянин, выдвинувшийся благодаря дворянской партии, он душит ее систематически ввиду государственной пользы, мало того, ругается над ней так же, как прежде ругался над либералами, прогрессистами, демократами. В сущности, он ругается над всем и всеми, исключая императора, без расположения которого он не мог бы ничего предпринять и сделать. Хотя, быть может, втайне, с своими друзьями, если таковы есть, он ругается и над ним.

Чтобы вполне оценить все сделанное Бисмарком, надо вспомнить, кем он окружен¹. Король, человек недалекий,

¹ Вот анекдот, почерпнутый нами из верного и прямого источника и характеризующий Бисмарка. Кто не слышал о Шурце, одном из самых красных немецких революционеров 1848 г. и освободителе из крепости псевдореволюционера Кинкеля. Шурц, приняв последнего за серьезного революционера, хотя он, в сущности, в политике не стоит гроша, с опас-

получивши богословски-фельдфебельское воспитание, окружен аристократически-клерикальной партией, прямо враждебною Бисмарку, так что последний каждую новую меру, каждый новый шаг берет с бою. Такая домашняя борьба отнимает у него по крайней мере половину времени, ума, энергии и, конечно, страшно задерживает, мешает, парализует его деятельность, что отчасти хорошо для него, ибо не дает ему возможности зарваться в предприятия, как зарвался знаменитейший самодур, Наполеон I, бывший не глупее Бисмарка.

Публичная деятельность Бисмарка началась в 1847; он явился главою самой крайней дворянской партии в соединенном представительном собрании. В 1848 он был отъявленным врагом франкфуртского парламента и общегерманской конституции и страстным союзником России и Австрии, т. е. внутренней и внешней реакции. В таком духе он принимал самое деятельное участие в ультрареакционном листке «Kreuzzeitung», основанном в этом году и существующем поныне. Разумеется, он был горячим защитником министерств Бранденбурга и Мантейфеля, следовательно, резолюций конференции в Ольмюце. С 1851 он был посланником при Германском союзе во Франкфурте. В это-то время он коренным образом изменил свое отношение к Австрии. «У меня как повязка упала с глаз, когда я присмотрелся к ее политике», — говорил он своим друзьям. Тут только он понял, как Австрия враждебна Пруссии, и из горячего защитника сделался ее непримиримым врагом. С этого момента уничтожение всякого влияния Австрии на Германию и исключение ее из последней стало постоянною и любимую его мыслью.

ностью для собственной свободы, победив смело и остроумно огромные затруднения, освободил его, а сам бежал в Америку. Как человек умный, способный, энергичный, что уважается в Америке, он скоро сделался там главою немецкой многомиллионной партии. Во время последней войны он в северной армии дослужился до генерала (раньше он был уже выбран сенатором). После войны Соединенные Штаты послали его чрезвычайным послом в Испанию. Он воспользовался этим и посетил Южную Германию, но не Пруссию, где висел над ним смертный приговор за освобождение п <севдо> р <эволюционера> Кинкеля. Когда Бисмарк узнал о пребывании его в Германии и, желая расположить к себе такого влиятельного человека между немцами Америки, пригласил его в Берлин, причем велел ему передать: «Для людей, как Шурц, законы не писаны». По приезде Шурца в Берлин Бисмарк дал ему обед, на который пригласил всех товарищей-министров. После обеда, когда все удалились и Шурц остался один с Бисмарком для интимного разговора, последний ему сказал: «Вы видели и слышали моих товарищей; с такими-то ослами мне суждено управлять и создавать Германию».

При этих условиях он встретился с прусским принцем Вильгельмом, который после конференции в Ольмюце возненавидел Австрию так же, как революцию. Лишь только Вильгельм стал регентом, он тотчас обратил внимание на Бисмарка и сначала назначил его послом в Россию, потом во Францию и, наконец, своим первым министром.

Во время посольства Бисмарк довел свою программу до зрелости. В Париже он взял несколько драгоценных уроков в государственном мошенничестве у самого Наполеона III, который, видя ревностного и способного слушателя, открыл свою душу и сделал несколько прозрачных намеков о *необходимой* переделке карты Европы, требуя для себя рейнской границы и Бельгии, а остальную Германию предоставляя Пруссии. Результаты этих переговоров известны: ученик провел учителя.

При вступлении в министерство Бисмарк сказал речь, в которой изложил свою программу: «Границы Пруссии тесны и неудобны для первоклассного государства. Для завоевания новых границ необходимо расширить и усовершенствовать военную организацию. Нужно приготовиться к предстоящей борьбе, а в ожидании этого собирать и умножать свои силы. Вся ошибка в 1848 состояла в том, что хотели соединить Германию в одно государство путем народных учреждений. Великие государственные вопросы решаются не правом, а силою — сила всегда предшествует праву»*.

За последнее выражение немало досталось Бисмарку от либералов Германии с 1862 по 1866. С 1866, т. е. после побед над Австриею, и в особенности после 1870 г., т. е. поражения Франции, все эти упреки обратились в восторженные дифирамбы.

Бисмарк с обычною смелостью, свойственною ему циничностью и презрительною откровенностью в этих словах высказал всю суть политической истории народов, всю тайну государственной мудрости. Постоянное преобладание и торжество силы — вот настоящая суть; все же, что на политическом языке называется правом, есть только освящение факта, созданного силою. Ясно, народные массы, жаждущие освобождения, не могут ожидать его от теоретического торжества отвлеченного права, они должны силою завоевать свободу, для чего должны организовать вне государства и против него свои стихийные силы.

Немцы, как мы уже говорили, хотели не свободы, а сильного государства; Бисмарк понимал это и с прусскою бюрократией и военной силой чувствовал себя способным достичь этого, поэтому он смело и твердо пошел к цели, не обращая внимания ни на какие права, ни на жестокую полемику и нападения на него либералов и демократов. Он вопреки предшествовавшим правителям верил, что и те и другие по достижении цели будут его страстными союзниками.

Король-фельдфебель и Бисмарк-политик желали усиления войска, для чего нужны новые налоги и займы. Палата народных представителей, от которой зависело утверждение новых налогов и займов, отказывала в этом постоянно, вследствие чего ее несколько раз распускали. В другой стране такое столкновение могло бы вызвать политическую революцию, в Пруссии же нет, и Бисмарк это понимал, а поэтому, несмотря на отказы, он брал нужные суммы везде, где мог, путем займов и налогов. Палата же с своими отказами обратилась в посмешище если не Германии, то Европы.

Бисмарк не ошибся; достигнув цели, он стал идолом и либералов, и демократов.

Никогда и ни в какой стране, быть может, не было такого быстрого и такого полного переворота в направлении умов, какое обнаружилось в Германии между 1864, 1866 и 1870 годами. До самой австро-прусской войны с Данией Бисмарк был самым непопулярным человеком в Германии. Во время этой войны и особенно по окончании он обнаружил самое глубокое презрение ко всем правам народным и государственным. Известно, как бесцеремонно Пруссия и увлеченная ею глупая Австрия выгнали из Шлезвига и Гольштейна саксонско-ганноверский корпус, занимавший эти провинции по приказанию Германского союза; как нагло Бисмарк делил с обманутою им Австриею завоеванные провинции и как кончил объявлением всех их исключительною добычею Пруссии.

Можно предположить, что такое поведение возбудит сильное негодование всех *честных, свободолюбивых и справедливых* немцев. Напротив, именно с этого момента начала расти популярность Бисмарка — немцы почувствовали над собою государственно-патриотический разум и сильную правительственную власть. Война 1866 года только усилила значение его. Быстрый поход в Богемию, напоминавший походы Наполеона I, ряд блестящих побед, низложивших Австрию, триумфальное шествие по Германии,

разграбление неприятельских местностей, объявление Ганновера, Гессен-Касселя и Франкфурта военной добычей, образование Северогерманского союза под покровительством будущего императора — факты, приведшие в восторг немцев. Вожди прусской оппозиции, Вирховы, Шульце-Деличи и т. д., вдруг замолкли, объявив себя нравственно побежденными. Осталась в оппозиции самая небольшая группа с благородным старцем Якоби во главе и которая примкнула к *«народной партии»*, образовавшейся на юге Германии после 1866 года.

По договору, заключенному победоносной Пруссией с уничтоженной Австрией, старый Германский союз уничтожен, на место его образовался *Северный Германский союз* под предводительством Пруссии; Австрии же, Баварии, Вюртембергу и Бадену предоставлено право образовать Южный союз.

Барон Бейст, австрийский министр, назначенный после войны, понимая важное значение образования такого союза, устремил все свои усилия на это, но внутренние неразрешимые вопросы и громадные препятствия со стороны именно тех держав, для которых был важен союз, помешали ему. Бисмарк надул всех: и Россию, и Францию, и немецких государей, для которых было важно образование союза, который бы не допустил Пруссию до ее настоящего положения.

Образовавшаяся в это время из южногерманской буржуазии *«народная партия»*, исключительно с целью оппозиции Бисмарку, имела программу в сущности одинаковую с Бейстом: образование Южногерманского союза тесно с Австрией и на самых широких народных учреждениях.

Центр *«народной партии»* был Штутгарт. Кроме союза с Австрией она имела много других оттенков; так, в Баварии кокетничала с ультракатоликами, т. е. иезуитами, желала союза с Францией, союза с Швейцарией. Группа, желавшая союза с республиканской Швейцарией, была главной основательницей *«Лиги Мира и Свободы»* *.

Вообще программа ее была невинна и полна противоречий. Демократические народные учреждения фантастически связывались с монархическою формою правления; независимость государей с пангерманским единством, а последнее с общеевропейскою республиканскою федерациею. Словом, почти все должно остаться по-старому, и все должно исполниться новым духом, главное иметь филантропический характер; свобода и равенство должны процветать при условиях, их уничтожающих. Такую

программу могли сочинить только чувствительные бюргеры южной Германии, которые отличались сначала систематическим игнорированием, а потом страстным отрицанием современных социалистических стремлений, как показал конгресс «Лиги Мира» в 1868*.

Ясно, *«народная партия»* должна была встать во враждебные отношения к *рабочей партии социальных демократов*, созданной в шестидесятых годах Фердинандом Лассалем.

Во второй части этой книги будет подробно рассказано о развитии рабочих ассоциаций в Германии и вообще в Европе. Теперь же заметим, что в конце последнего десятилетия, а именно в 1868, рабочая масса в Германии разделялась на три категории: первая, самая многочисленная, оставалась вне всякой организации. Вторая, также довольно многочисленная, состояла из так называемых *«обществ для образования рабочих»* (Arbeiterbildungsverein), и, наконец, третья, наименее многочисленная, но зато самая энергическая и самая осмысленная, образовала фалангу лассальянских рабочих под именем *«всеобщей партии немецких рабочих»* (der deutsche allgemeine Arbeiterverein).

О первой категории говорить нечего. Вторая представляла род федерации маленьких рабочих ассоциаций под непосредственным руководством Шульца-Делича и ему подобных буржуазных социалистов. *«Самопомощь»* (Selbsthilfe) — ее лозунг в том смысле, что чернорабочему люду рекомендовалось настойчиво не ожидать для себя ни спасения, ни помощи от государства и правительства, а только от своей собственной энергии. Совет был прекрасный, если бы к нему не было присоединено ложное уверение, что при *настоящих условиях общественной организации*, при существовании *экономической монополии*, заедающих рабочие массы, и *политического государства*, охраняющего эти монополии против народного бунта, для чернорабочего люда возможно освобождение. Вследствие такого заблуждения, а со стороны буржуазных социалистов и вожаков этой партии вполне сознательного обмана, работники, подчиненные их влиянию, должны были систематически устраняться от всех политическо-социальных забот и вопросов о государстве, о собственности и т. д. и, приняв за точку отправления рациональность и законность настоящего строя общества, искать своего улучшения и облегчения посредством устройства кооперативных потребительных, кредитных и производительных товариществ. Для политического же образования

Шульце-Делич рекомендовал работникам полную программу партии прогресса, к которой принадлежал сам вместе с товарищами.

В экономическом отношении, как теперь ясно для всех, система Шульце-Делича клонилась прямо к охране буржуазного мира против социальной угрозы; в политическом же она подчиняла окончательно пролетариат эксплуатирующей его буржуазии, у которой он должен оставаться послушным и глупым орудием.

Против такого грубого, двойного обмана восстал Фердинанд Лассаль. Ему было легко разбить экономическую систему Шульце-Делича и показать все ничтожество политической системы. Никто, кроме Лассаля, не умел объяснить и доказать так убедительно немецким работникам, что при настоящих экономических условиях положение пролетариата не только не может уничтожиться, напротив, в силу неотвратимого экономического закона должно и будет каждый год ухудшаться, несмотря на все кооперативные попытки, могущие принести кратковременную, скоропреходящую пользу разве только самому малому числу работников.

Разбивая политическую программу, он доказал, что вся эта мнимо народная политика клонится лишь к укреплению буржуазно-экономических привилегий.

До сих пор мы с Лассалем согласны. Но вот где расходимся с ним и вообще со всеми демократами-социалистами или коммунистами в Германии. В противность Шульце-Деличу, рекомендовавшему работникам искать спасения только в собственной энергии и ничего не требовать и не ждать от государства, Лассаль, доказав им, во-первых, что при настоящих экономических условиях не только их освобождение, но даже малейшее облегчение их участи невозможно, ухудшение же ее необходимо, и, во-вторых, что пока существует буржуазное государство, буржуазные экономические привилегии остаются неприступны, — пришел к следующему заключению: чтобы достигнуть свободы действительной, свободы, основанной на экономическом равенстве, *пролетариат должен овладеть государством* и обратить государственную силу против буржуазии в пользу рабочей массы, точно так же, как теперь она обращена против пролетариата в единую пользу эксплуатирующего класса.

Как же овладеть государством? — Для этого есть только два средства: или политическая революция, или законная народная агитация в пользу мирной реформы. Лас-

саль, как немец, как еврей, как ученый и как человек богатый, советовал второй путь.

В этом смысле и с этою целью он образовал значительную, преимущественно политическую партию немецких рабочих, организовав ее иерархически, подчинив строгой дисциплине и своей диктатуре, словом, сделал то, что г. Маркс в последние три года хотел сделать в Интернационале. Попытка Маркса вышла неудачна, а попытка Лассалья имела полный успех. Прямою и ближайшею целью партии он поставил всенародную мирную агитацию для завоевания всеобщего права избирательства государственных представителей и властей.

Завоевав это право путем легальной реформы, народ должен будет послать только своих представителей в народный парламент, который рядом декретов и законов обратит буржуазное государство в народное. Первым делом народного государства будет открытие безграничного кредита производительным и потребительным рабочим ассоциациям, которые только тогда будут в состоянии бороться с буржуазным капиталом и в непродолжительное время победят и поглотят его. Когда процесс поглощения совершится, тогда настанет период радикального преобразования общества.

Такова программа Лассалья, такова же и программа социально-демократической партии. Собственно, она принадлежит не Лассалю, а Марксу, который ее вполне высказал в известном *«Манифесте Коммунистической партии»*, обнародованном им и Энгельсом в 1848. Ясный намек находится на нее также в первом *«Манифесте Международного общества»*, написанном Марксом в 1864, в словах: *«Первый долг рабочего класса заключается в завоевании себе политического могущества»**, или, как говорится в Ман<ифесте> Коммунистов, *«первый шаг к революции рабочих должен состоять в возвышении пролетариата на степень господствующего сословия. Пролетариат должен сосредоточить все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, возведенного на степень господствующего сословия»***.

Не ясно ли, что программа Лассалья ничем не отличается от программы Маркса, которого он признавал за своего учителя. В брошюре против Шульца-Делича Лассаль с истинно гениальною ясностью, характеризующею его сочинения, изложив свои основные понятия о социально-политическом развитии новейшего общества, говорит прямо, что эти идеи и даже терминология принадлежат

не ему, а г. Марксу, впервые высказавшему и развившему их в своем замечательном, еще не изданном сочинении.

Тем страннее кажется протест г. Маркса, напечатанный *после смерти Лассалья* во введении к сочинению о «Капитале». Маркс горько жалуется, что его обокрал Лассаль, присвоив его идеи. Протест чрезвычайно странный со стороны коммуниста, проповедующего коллективную собственность и не понимающего, что идея, раз высказанная, перестает быть собственностью лица. Другое дело, если бы Лассаль переписал одну или несколько страниц, — это было бы воровство и доказательство умственной несостоятельности писателя, не могущего переварить заимствованных идей и воспроизвести собственную умственную работою в самостоятельной форме. Так поступают только люди, лишенные умственных способностей и тщеславно-бесчестные, вороны в павлиньих перьях.

Лассаль был слишком умен и самостоятелен, чтобы ему была нужна прибегать к таким жалким средствам для обращения на себя внимания публики. Он был тщеславен, очень тщеславен, как и подобает еврею, но в то же время он был одарен такими блестящими способностями, что без труда мог удовлетворять требованиям самого изысканного тщеславия. Он был умен, учен, богат, ловок и чрезвычайно смел; был в высшей степени одарен диалектикою, даром слова, ясностью понимания и изложения. В противоположность своему учителю Марксу, который силен в теории, в закулисной или подземной интриге и, напротив, теряет всякое значение и силу на поприще публичном, Лассаль был как бы нарочно создан для открытой борьбы на практическом поле. Диалектическая ловкость и сила логики, возбуждаемые самолюбием, разгоряченным борьбою, заменяло в нем силу страстных убеждений. Он чрезвычайно сильно действовал на пролетариат, но далеко не был человеком народным.

Всею жизнью, обстановкою, привычками, вкусами он принадлежал к высшему буржуазному классу, к так называемой золотой или желтоперчатной молодежи. Конечно, он возвышался над нею головою, царил умом и благодаря этому уму встал во главе немецкого пролетариата. В течение нескольких лет он достиг громадной популярности. Вся либеральная и демократическая буржуазия глубоко его возненавидела; товарищи-единомышленники, социалисты, марксисты и сам учитель Маркс, сосредоточили против него всю силу своей недоброжелательной зависти. Да, они ненавидели его так же глубоко, как и бур-

жуазия; пока он был жив, они не смели высказать ему своей ненависти, потому что он был для них слишком силен.

Мы уже несколько раз высказывали глубокое отвращение к теории Лассалья и Маркса, рекомендующей работникам если не последний идеал, то по крайней мере как ближайшую главную цель — *основание народного государства*, которое, по их объяснению, будет не что иное, как «пролетариат, возведенный на степень господствующего сословия».

Спрашивается, если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он будет господствовать? Значит, останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому господству, новому государству. Напр., хотя бы крестьянская чернь, как известно, не пользующаяся благорасположением марксистов и которая, находясь на низшей степени культуры, будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом; или, если взглянуть с национальной точки зрения на этот вопрос, то, положим, для немцев славяне по той же причине станут к победоносному немецкому пролетариату в такое же рабское подчинение, в каком последний находится по отношению к своей буржуазии.

Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно, и рабство; государство без рабства, открытого или маскированного, немыслимо — вот почему мы враги государства.

Что значит пролетариат, возведенный в господствующее сословие? Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления? Немцев считают около сорока миллионов. Неужели же все сорок миллионов будут членами правительства? Весь народ будет управляющим, а управляемых не будет. Тогда не будет правительства, не будет государства, а если будет государство, то будут и управляемые, будут рабы.

Эта дилемма в теории марксистов решается просто. Под управлением народным они разумеют управление народа посредством небольшого числа представителей, избранных народом. Всеобщее и поголовное право избирательства целым народом так называемых народных представителей и правителей государства — вот последнее слово марксистов, так же как и демократической школы, — ложь, за которую кроется деспотизм управляющего меньшинства, тем более опасная, что она является как выражение мнимой народной воли.

Итак, с какой точки зрения ни смотри на этот вопрос, все приходишь к тому же самому печальному результату: к управлению огромного большинства народных масс привилегированным меньшинством. Но это меньшинство, говорят марксисты, будет состоять из работников. Да, пожалуй, из *бывших* работников, но которые, лишь только сделаются правителями или представителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государственной, будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усумниться в этом, тот совсем не знаком с природою человека.

Но эти избранные будут горячо убежденные и к тому же ученые социалисты. Слова *«ученый социалист»*, *«научный социализм»*, которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах лассальцев и марксистов, сами собою доказывают, что мнимое народное государство будет не что иное, как весьма деспотическое управление народных масс новою и весьма немногочисленною аристократиею действительных или мнимых ученых. Народ не учен, значит, он целиком будет освобожден от забот управления, целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошо освобождение!

Марксисты чувствуют это противоречие и, сознавая, что управление ученых, самое тяжелое, обидное и презрительное в мире, будет, несмотря на все демократические формы, настоящею диктатурою, утешают мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая. Они говорят, что единственною заботою и целью ее будет образовывать и поднимать народ как экономически, так и политически до такой степени, что всякое управление сделается скоро ненужным и государство, утратив весь политический, т. е. господствующий характер, обратится само собою в совершенно свободную организацию экономических интересов и общин.

Тут явное противоречие. Если их государство будет действительно народное, то зачем ему упраздняться, если же его упразднение необходимо для действительного освобождения народа, то как же они смеют его называть народным? Своею полемикою против них мы довели их до сознания, что свобода, или анархия, т. е. вольная организация рабочих масс снизу вверх, есть окончательная цель общественного развития и что всякое государство, не исключая и их народного, есть ярмо, значит, с одной стороны, порождает деспотизм, а с другой — рабство.

Они говорят, что такое государственное ярмо, диктатура есть необходимое переходное средство для достижения полнейшего народного освобождения: анархия, или свобода, — цель, государство, или диктатура, — средство. Итак, для освобождения народных масс надо их сперва поработить.

На этом противоречии пока остановилась наша полемика. Они утверждают, что только диктатура, конечно, их, может создать народную волю, мы отвечаем, что никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увечия себя, и что она способна породить и воспитать в народе, сносящем ее, только рабство; свобода может быть создана только свободой, т. е. всенародным бунтом и вольною организацией рабочих масс снизу вверх.

Во второй части этой книги еще подробнее и ближе будет разобран этот вопрос, на котором вертится весь интерес современной истории. Теперь же обратим внимание читателей на следующий весьма знаменательный и неизменно повторяющийся факт.

В то время как политико-социальная теория противогосударственных социалистов, или анархистов, ведет их неуклонно и прямо к полнейшему разрыву со всеми правительствами, со всеми видами буржуазной политики, не оставляя другого исхода, кроме социальной революции, противоположная теория, теория государственных коммунистов и научного авторитета, так же неуклонно втягивает и запутывает своих приверженцев, под предлогом политической тактики, в беспрестанные сделки с правительствами и разными буржуазными политическими партиями, т. е. толкает прямо их в реакцию.

Самое лучшее доказательство этому представляет Лассаль. Кому не известны его сношения и переговоры с Бисмарком. Либералы и демократы, против которых он вел беспощадную и весьма удачную войну, воспользовались этим, чтобы обвинить его в продажности. То же самое, хотя и не так явно, шептали между собою личные приверженцы г. Маркса в Германии. Но и те и другие вралли. Лассаль был богат и ему незачем было продавать себя; он был слишком умен, слишком горд, чтобы предпочесть роль самостоятельного агитатора неблагоприятному положению правительственного или чьего бы то ни было агента.

Мы сказали, что Лассаль не был человеком народа, потому что он слишком желтоперчаточный щеголь, чтобы встречаться с пролетариатом помимо митингов, где он

обыкновенно магнетизировал его умною блестящею речью, слишком избалован был богатством и сопряженными с ним привычками изящно-прихотливого существования, чтобы находить удовольствие в народной среде, слишком еврей, чтобы он чувствовал себя ловко среди народа, и, наконец, слишком наполнен сознанием своего умственного превосходства, чтобы не ощущать некоторого презрения к неученой, чернорабочей толпе, к которой он относился более как медик к больному, чем брат к брату. В этих пределах он серьезно был предан народному делу, как честный медик бывает предан излечению своего больного, в котором он видит, впрочем, не столько человека, сколько субъекта. Мы глубоко убеждены, что он был настолько честен и горд, что ни за что в мире не изменил бы делу народа.

Совсем не нужно прибегать к подлым предположениям для объяснения сношений и сделок Лассалья с прусским министром. Лассаль, как мы сказали, был в открытой войне со всеми оттенками либералов и демократов и страшно презирал этих невинных риториков, беспомощность и несостоятельность коих он ясно видел; Бисмарк, хотя и по другим причинам, тоже враждовал с ними — это и было первым поводом сближения. Главное же основание сближения заключалось в политико-социальной программе Лассалья, в коммунистической теории, созданной г. Марксом.

Основной пункт этой программы: освобождение (мнимое) пролетариата *посредством только одного государства*. Но для этого надо, чтобы государство согласилось быть освободителем пролетариата из-под ига буржуазного капитала. Как же внушить государству такую волю? Для этого могут быть только два средства. Пролетариат должен совершить революцию для овладения государством — средство героическое. По нашему мнению, раз овладев им, он должен немедленно его разрушить, как вечную тюрьму народных масс; по теории же г. Маркса, народ не только не должен его разрушать, напротив, должен укрепить и усилить и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей, опекунов и учителей — начальников коммунистической партии, словом, г. Марксу и его друзьям, которые начнут освобождать по-своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения; создадут единый государственный банк, сосредоточивающий в своих руках все торгово-про-

мышленное, земледельческое и даже научное производство, а массу народа разделят на две армии: промышленную и землепашественную под непосредственной командою государственных инженеров, которые составят новое привилегированное науко-политическое сословие*.

Видите, какая блистательная цель поставлена народу школою немецких коммунистов! Но для достижения всех этих благ необходимо прежде всего сделать маленький, невинный шаг — революцию! Ну и ждите, когда немцы сделают революцию! Бесконечно рассуждать о революции, это пожалуй, ну а делать ее...

Сами немцы не верят в немецкую революцию. Нужно, чтобы другой народ ее начал или какая-нибудь внешняя сила увлекла или толкнула его; сами же собою дальше резонерства никогда не пойдут. Следовательно, надо искать другого средства, чтобы овладеть государством. Надо овладеть симпатиею людей, стоящих или могущих стоять во главе государства.

Во время Лассалья, точно так же как и теперь, во главе государства стоял Бисмарк. Кто же мог стать на его место? Либеральная и демократическо-прогрессистская партия были побеждены; оставалась только чистая демократическая, впоследствии принявшая название «народной партии». Но на севере она была ничтожна, на юге несколько многочисленнее, зато стремилась прямо к гегемонии Австрийской империи. Последние события доказали, что в этой исключительно-буржуазной партии не было никакой внутренней самостоятельности и силы. В 1870 она распалась окончательно.

Лассаль главным образом был одарен практическим инстинктом и смыслом, которых нет ни у г. Маркса, ни у его последователей. Как все теоретики, Маркс — неизменный и неисправимый мечтатель на практике. Он доказал это своею несчастною кампаниею в Интернациональном обществе и имевшую целью установление его диктатуры в Интернационале**, а посредством Интернационала над всем революционным движением пролетариата Европы и Америки. Надо быть или сумасшедшим, или весьма отвлеченным ученым, чтобы задаться такою целью. Г. Маркс в настоящем году потерпел полнейшее и заслуженное поражение***, но вряд ли оно избавит его от честолюбивой мечтательности.

Благодаря той же мечтательности, а также и желания приобрести почитателей и приверженцев среди буржуазии, Маркс постоянно толкал и толкает пролетариат на

сделки с буржуазными радикалами. По воспитанию и по натуре он якобинец, и его любимая мечта — политическая диктатура. Гамбетта и Кастеляр — его настоящие идеалы. Его сердце, все помышления стремятся к ним, и если в последнее время он должен был от них отказаться, то только потому, что они не умели прикинуться социалистами.

В этом стремлении к сделкам с радикальной буржуазией, которое сильнее обнаружилось в последние годы в Марксе, заключается двойная мечта: во-первых, радикальная буржуазия, если ей удастся овладеть государственною властью, захочет, будет иметь возможность захотеть употребить ее в пользу пролетариата, и, во-вторых, радикальная партия, овладев государством, когда-нибудь будет в состоянии устоять против реакции, корень которой скрывается в ней самой.

Буржуазно-радикальная партия отделяется от массы чернорабочего люда тем, что она экономическими и политическими интересами, также всеми привычками жизни, своим честолюбием, предрассудками глубоко, можно сказать, органически связана с эксплуатирующим сословием. Каким же образом может она захотеть употребить власть, завоеванную хотя бы и с помощью народа, в пользу этого народа? Ведь это было бы самоубийством целого сословия, а сословное самоубийство немыслимо. Самые ярые и красные демократы были, есть и будут до такой степени буржуа, что всегда достаточно сколько-нибудь серьезного за фразу переходящего заявления социалистических требований и инстинктов со стороны народа, чтобы их заставить сейчас же броситься в самую яркую и безумную реакцию.

Это логически необходимо, да и помимо логики вся новейшая история доказывает необходимость этого. Достаточно вспомнить положительную измену красной республиканской партии в июньские дни 1848, и как будто такого примера и последовавшего за ним двадцатилетнего жестокого урока, данного Наполеоном III, было недостаточно, чтобы снова во Франции в 1870—71 повторилось еще раз то же самое. Гамбетта и его партия оказались самыми яркими врагами революционного социализма. Они выдали Францию, связанную по рукам и по ногам, бесчинствующей ныне в ней реакции. Другой пример — Испания. Самая крайняя радикальная политическая партия (*la partie intransigente*) оказалась самым ярким врагом интернационального социализма.

Теперь другой вопрос: в состоянии ли радикальная буржуазия без всенародного бунта совершить торжествующий переворот? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы решить его отрицательно; разумеется, нет. Значит, не буржуазия нужна народу, а народ буржуазии для совершения революции. Это стало ясно везде, а в России яснее, чем где бы то ни было. Соберите всю нашу революционно мечтающую и резонирующую дворянско-буржуазную молодежь; но, во-первых, как связать ее в одно живое, единомыслящее и единостремящееся тело? Она может соединиться, только погрузившись в народ; вне же народа она всегда будет составлять бессмысленную, безвольную, пустоболтающую и совершенно бессильную толпу.

Лучшие люди буржуазного мира, буржуа по происхождению, а не по убеждениям и стремлениям, могут быть полезны только под тем условием, что они потонут в народе, в чисто народном деле; если же они будут продолжать существовать вне народа, то они будут не только ему бесполезны, но положительно вредны.

Радикальная же партия составляет особую партию; она живет и действует вне народа. Что же показывает ее стремление к союзу с чернорабочим людом? Ни более ни менее, как сознание бессилия, сознание необходимости помощи народа для овладения государственной власти, конечно, не в пользу народа, а в свою собственную. И как только она овладеет ею, она неизбежно станет врагом народа; сделавшись врагом, она потеряет точку опоры, прежнюю народную силу, и, чтобы удержать власть, хотя на время, она принуждена будет искать новых источников силы уже против народа, в союзах и сделках с побежденными реакционными партиями. Таким образом, идя от уступки к уступке, от измены к измене, она и себя, и народ отдаст реакции. Послушайте, что говорит теперь Кастильяр, ярый республиканец, сделавшийся диктатором: «Политика живет уступками и сделками, поэтому я намерен во главе республиканской армии поставить генералов из умеренной монархической партии». К какому это результату клонится, разумеется, всякому ясно.

Лассаль как практический человек превосходно все это понимал; кроме того он глубоко презирал всю немецкую буржуазию и поэтому он не мог советовать работникам связываться с какою-либо буржуазною партией.

Оставалась революция; но Лассаль слишком хорошо знал своих соотечественников, чтобы ждать от них рево-

люционной инициативы. Что же ему оставалось? Одно — связаться с Бисмарком.

Пункт соединения давался самою теориею Маркса, именно: единое, обширное, сильно-централизованное государство. Лассаль его хотел, а Бисмарк уже делал. Как же им было не соединиться?

С самого вступления в министерство, больше, со времени прусского парламента 1848 Бисмарк доказал, что он враг, презирающий враг буржуазии; настоящая же деятельность показывает, что он не фанатик и не раб дворянско-феодальной партии, к которой принадлежит по происхождению и по воспитанию и с которой он, при помощи разбитой, покоренной и рабски послушной ему партии буржуазных либералов, демократов, республиканцев и даже социалистов, сбивает спесь и стремится окончательно привести к одному государственному знаменателю.

Главная цель его, так же как Лассалья и Маркса, государство. И потому Лассаль оказался несравненно логичнее и практичнее Маркса, признающего Бисмарка революционером, конечно, по-своему, и мечтающего о свержении его, вероятно, потому, что он занимает в государстве первое место, которое, по мнению г. Маркса, должно принадлежать ему.

Лассаль, по-видимому, не имел такого высокого самолюбия; и потому не гнушался войти в сношения с Бисмарком. Совершенно сообразно с политической программой, изложенною Марксом и Энгельсом в «Манифесте коммунистов», Лассаль требовал от Бисмарка только одного: открытия государственного кредита рабочим производительным товариществам. Но вместе с тем — и это доказывает степень его доверия к Бисмарку — он, сообразно той же программе, поднял между рабочими мирно-законную агитацию в пользу завоевания избирательного права — другая мечта, о которой мы уже высказали свое мнение.

Неожиданная и преждевременная смерть Лассалья* не позволила ему не только довести до конца, но даже хоть несколько развить свои планы.

После смерти Лассалья в Германии между вольною федерациею *обществ для образования рабочих и всеобщим немецким обществом рабочих*, созданным Лассалем, стала образовываться под прямым влиянием друзей и последователей г. Маркса третья партия — *«социально-демократическая пар-*

тия немецких работников» *. Во главе ее стали два весьма талантливые человека, один полуработник, другой литератор и прямой ученик и агент г. Маркса: гг. Бебель и Либкнехт.

Мы уже рассказывали печальные последствия похода г. Либкнехта в Вену в 1868. Результатом этого похода был *Нюрнбергский конгресс* (август 1868), на котором окончательно организовалась *социально-демократическая партия*.

По намерению ее основателей, действовавших под прямым руководством Маркса, она должна была сделать пангерманским отделом Интернационального общества рабочих. Но немецкие и особенно прусские законы были противны такому соединению. Поэтому оно было заявлено только косвенным образом, а именно в следующих выражениях: «Социально-демократическая партия немецких работников становится в связь с Интернациональным обществом, насколько это допускается немецкими законами».

Несомненно, что эта новая партия была основана в Германии с тайною надеждою и замыслом посредством ее внести в Интернационал всю программу Маркса, устраненную первым Женевским конгрессом (1866).

Программа Маркса сделалась программой социально-демократической партии. Вначале в ней повторяются некоторые из главных параграфов Интернациональной программы, утвержденной первым Женевским конгрессом; но потом вдруг совершается крутой переход к *«завоеванию политической власти»*, рекомендуемой немецким работникам как *«ближайшая и непосредственная цель»* новой партии, с прибавлением следующей знаменательной фразы: «Завоевание политических прав (всенародное право избирательства, свобода печати, свобода ассоциаций и публичных собраний и т. д.) как необходимое *предварительное условие* экономического освобождения работников».

Эта фраза имеет вот какое значение: прежде чем приступить к социальной революции, работники должны совершить политическую революцию, или, что более сообразно с природою немцев, завоевать, или, еще проще, приобрести политическое право посредством мирной агитации. А так как всякое политическое движение прежде или, что все равно, вне социального не может быть другим, как движением буржуазным, то и выходит, что эта программа рекомендует немецким работникам усвоить себе прежде всего буржуазные интересы и цели и совер-

шить политическое движение в пользу радикальной буржуазии, которая потом в благодарность не освободит народ, а подчинит его новой власти, новой эксплуатации.

На основании этой программы совершилось трогательное примирение немецких и австрийских работников с буржуазными радикалами «народной партии». По окончании Нюрнбергского конгресса делегаты, избранные с этою целью конгрессом, отправились в Штутгарт, где и был заключен между представителями обманутых работников и коноводами буржуазно-радикальной партии формальный оборонительный и наступательный союз.

Вследствие такого союза как те, так и другие явились вместе, как братья, на второй конгресс «Лиги Мира и Свободы», открывшийся в сентябре в Берне. Тут приключился довольно знаменательный факт. Если не все, то по крайней мере многие из наших читателей слышали о расколе, впервые обнаружившемся на этом конгрессе между буржуазными социалистами и демократами и революционными социалистами, принадлежавшими к партии так называемого Союза (Аллианс)* или вступившими в него после этого¹.

Вопрос, который подал внешний повод к этому разрыву, сделавшемуся уже гораздо прежде неизбежным, был поставлен аллиансистами чрезвычайно определенно и ясно. Они хотели вывести наружу буржуазных демократов и социалистов, заставить их громко высказать не только их равнодушие, но положительно враждебное отношение к вопросу, который единственно может быть назван народным вопросом, — к вопросу социальному.

Для этого они предложили «Лиге Мира и Свободы» признать за главную цель всех своих стремлений «*уравнение лиц*» (не только в политическом или юридическом, но главным образом в экономическом отношении) «и *классов*» (в смысле совершенного уничтожения последних). Словом, они пригласили Лигу принять программу социально-революционную.

Они дали нарочно самую умеренную форму своему предложению, дабы противники, большинство Лиги, не имели возможности маскировать своего отказа возражением против слишком резкой постановки вопроса. Им

¹ Те, которые о нем не знают, могут почерпнуть самые необходимые сведения во втором томе наших изданий, именно: «Историческое развитие Интернационала», часть 1, стр. 301—365. 1873**.

было сказано ясно: «Мы теперь еще не касаемся вопроса о средствах для достижения цели. Мы спрашиваем Вас, хотите ли Вы осуществления этой цели? Признаете ли Вы ее за законную и в настоящее время за главную, чтобы не сказать единую цель? Хотите ли, желаете ли Вы осуществления полнейшего равенства, не физиологического и не этнографического, а социально-экономического между всеми людьми, к какой бы части света, к какому бы народу и полу они ни принадлежали. Мы убеждены и вся новейшая история служит подтверждением: пока человечество будет разделено на меньшинство эксплуататоров и большинство эксплуатируемых, свобода немыслима и становится ложью. Если Вы хотите свободы для всех, то Вы должны хотеть вместе с нами всеобщего равенства. Хотите ли Вы его, да или нет?»

Если бы господа буржуазные демократы и социалисты были умнее, они для спасения своей чести ответили бы «да», но как люди *практические* отложили бы осуществление этой цели на весьма далекие времена. Аллиансисты, опасаясь такого ответа, наперед условились между собою поставить в таком случае вопрос о путях и средствах, необходимых для достижения цели. Тогда выступил бы вперед вопрос о коллективной и индивидуальной собственности, об уничтожении юридического права и о государстве.

Но на этом поле для большинства конгресса было бы гораздо удобнее принять сражение, чем на первом. Ясность первого вопроса была такова, что не допускала никаких уверток. Второй же вопрос гораздо сложнее и дает повод к бесчисленному множеству толков, так что при некоторой ловкости можно говорить и вотировать против народного социализма и все-таки казаться социалистом и другом народа. В этом отношении школа Маркса дала нам много примеров, и немецкий диктатор так гостеприимен (под неперменным условием, чтобы ему кланялись), что он в настоящее время прикрывает своим знаменем огромное количество с ног до головы буржуазных социалистов и демократов, и «Лига Мира и Свободы» могла бы приютиться под ним, если бы только согласилась признать его за первого человека.

Если бы буржуазный конгресс поступил таким образом, то положение аллиансистов стало бы несравненно труднее; между Лигою и ими произошла бы та же самая борьба, которая существует ныне между ними и Мар-

ксом. Но Лига оказалась глупее и вместе с тем честнее марксистов; она приняла сражение на первом ей предложенном поле и на вопрос: «Хочет ли она экономического равенства, да или нет?» — огромным большинством ответила: *«нет»*. Этим окончательно отрезала себя от пролетариата и обрекла на близкую смерть. Она умерла и оставила только две блуждающие и горько жалующиеся тени: Аманд Гег и сен-симонист-миллионер Лемонье.

Теперь возвратимся к странному факту, случившемуся на этом конгрессе, а именно: делегаты, приехавшие из Нюрнберга и Штутгарта, т. е. работники, отряженные Нюрнбергским конгрессом *новой социально-демократической партией немецких рабочих*, и буржуазные швабы *«народной партии»* вместе с большинством Лиги вотировали единодушно против равенства. Что так вотировали буржуа, удивляться нечего, на то они и буржуа. Никакой буржуа, будь он самый красный революционер, экономического равенства хотеть не может, потому что это равенство — его смерть.

Но каким образом работники, члены социально-демократической партии, могли вотировать против равенства? Не доказывает ли это, что программа, которой они ныне подчинены, прямо ведет их к цели совершенно противоположной той, которая поставлена им их социальным положением и инстинктом, и что их союз с буржуазными радикалами, заключенный ради политических видов, основан не на поглощении буржуазии пролетариатом, а, напротив, на подчинении последнего первой.

Замечателен еще другой факт: Брюссельский конгресс Интернационала, закрывший свои заседания за несколько дней перед Бернским, отверг всякую солидарность с последним, и все марксисты, участвовавшие в Брюссельском конгрессе, говорили и вотировали в этом смысле. Каким же образом другие марксисты, действовавшие, как и первые, под прямым влиянием Маркса, могли прийти к такому трогательному единодушию с большинством Бернского конгресса?

Все это осталось загадкой, до сих пор не разгаданною. То же противоречие в продолжение целого 1868 и даже после 1869 оказалось в «Volkstaat'e», главном, можно сказать, официальном, органе социально-демократической партии немецких работников, издаваемом гг. Бебелем и Либкнехтом. Иногда печатались в нем довольно сильные статьи против буржуазной Лиги; но за ними следова-

ли несомненные заявления нежности, иногда дружеские упреки. Орган, долженствовавший представлять чисто народные интересы, как бы умолял Лигу укротить свои слишком ярые заявления буржуазных инстинктов, компрометировавшие защитников Лиги перед работниками.

Такое колебание в партии г. Маркса продолжалось до сентября 1869, т. е. до Базельского конгресса. Этот конгресс составляет эпоху в развитии Интернационала.

Прежде этого немцы принимали самое слабое участие в конгрессах Интернационала. Главную роль играли в нем работники Франции, Бельгии, Швейцарии и отчасти Англии. Теперь же немцы, организовавшие партию на основании выше сказанной более буржуазно-политической, чем народно-социальной программы, явились на Базельский конгресс как хорошо вымуштрованная рота и вотировали, как один человек, под строгим надзором одного из своих коноводов, г. Либкнехта.

Первым их делом было, разумеется, внесение своей программы с предложением поставить политический вопрос во главе всех других вопросов. Произошло горячее сражение, в котором немцы потерпели решительное поражение. Базельский конгресс сохранил чистоту Интернациональной программы, не позволил немцам ее исказить внесением в нее буржуазной политики.

Таким образом начался раскол в Интернационале, причиною коего были и остаются немцы. Обществу, по преимуществу интернациональному, они дерзнули предложить, хотели навязать почти насильно свою программу тесно-буржуазную и национально-политическую, исключительно немецкую, пангерманскую.

Они были наголову разбиты, и такому поражению немало способствовали люди, принадлежавшие к *«Союзу Социальных Революционеров»** — аллиансисты. Отсюда жестокая ненависть немцев против «Союза». Конец 1869 и первая половина 1870 были исполнены злостною бранью и еще более злостными и нередко подлыми кознями марксистов против людей «Аллианса».

Но все это скоро замолкло перед военно-политической грозой, собравшеюся в Германии и разразившеюся во Франции. Исход войны известен: Франция упала, и Германия, превратившаяся в империю, стала на ее место.

Мы сказали сейчас, что Германия заняла место Франции. Нет, она заняла место, которого никакое государство

не занимало прежде и в новейшей истории, не занимала его даже Испания Карла V, разве только империя Наполеона I может сравниться с нею по могуществу и влиянию.

Мы не знаем, что было бы, если бы победил Наполеон III. Без сомнения, было бы худо, даже очень худо; но не случилось бы худшего несчастья для целого мира, для свободы народов, чем теперь. Победа Наполеона III имела бы последствия для других стран, как острый недуг, мучительный, но непродолжительный, потому что ни в одном слое французской нации нет в достаточной мере того органически-государственного элемента, который необходим для упрочения и увековечения победы. Французы сами разрушили бы свое временное преобладание, которое, положим, могло бы польстить их тщеславию, но которого не сносит их темперамент.

Немец другое дело. Он создан в одно и то же время для рабства и для господства. Француз — солдат по темпераменту, по хвастовству, но он не терпит дисциплины. Немец подчинится охотно самой несносной, обидной и тяжелой дисциплине; он даже готов ее полюбить, лишь бы она поставила его, вернее, его немецкое государство над всеми другими государствами и народами.

Как иначе объяснить этот сумасшедший восторг, который овладел целою немецкою нациею, всеми, решительно всеми слоями немецкого общества при получении известий о ряде блистательных побед, одержанных немецкими войсками, и, наконец, о взятии Парижа? Все очень хорошо знали в Германии, что прямым результатом побед будет решительное преобладание военного элемента, уже и прежде отличавшегося чрезмерною дерзостью; что, следовательно, для внутренней жизни наступит торжество самой грубой реакции; и что же? ни один или почти ни один немец не испугался, напротив, все соединились в единомышленном восторге. Вся швабская оппозиция растаяла, как снег, перед блеском новоимператорского солнца. Исчезла народная партия, и бюргеры, и дворяне, и мужики, и профессора, и художники, и литераторы, и студенты запели хором о пангерманском торжестве. Все немецкие общества и кружки на чужбине стали задавать празднества и восклицали «Да здравствует император!» — тот самый, который вешал демократов в 1848. Все либералы, демократы, республиканцы поделались бисмаркианцами; даже в Соединенных Штатах, где, кажется,

можно было научиться и привыкнуть к свободе, восторженные миллионы немецких переселенцев праздновали торжество пангерманского деспотизма.

Такой повсеместный и всеобщий факт не может быть преходящим явлением. Он обнаруживает глубокую страсть, живущую в душе каждого немца, страсть, заключающую в себе как бы неразлучные элементы, — приказание и послушание, господство и рабство.

А немецкие работники? Ну, немецкие работники не сделали ничего, ни одного энергического заявления симпатии, сочувствия к работникам Франции. Было очень немного митингов, где было сказано несколько фраз, в которых торжествовавшая национальная гордость как бы умолкала перед заявлением интернациональной солидарности. Но далее фраз ни один не пошел, а в Германии, вполне очищенной от войск, можно было бы тогда кое-что начать и сделать. Правда, что множество работников было завербовано в войска, где они отлично исполняли обязанности солдата, т. е. били, душили, резали и расстреливали всех по приказанию начальства, а также грабили. Некоторые из них, исполняя таким образом свои воинские обязанности, писали в то же самое время жалостные письма в «*Volksstaat*» и живыми красками описывали варварские поступки, совершенные немецкими войсками во Франции.

Было, однако, несколько примеров более твердой оппозиции; так, протесты доблестного старца Якоби, за что он был посажен в крепость; протесты гг. Либкнехта и Бебеля, и до сих пор еще находящихся в крепостях. Но это одинокие и весьма редкие примеры. Мы не можем позабыть статьи, появившейся в сентябре 1870 в «*Volksstaat*», в которой явно обнаруживалось пангерманское торжество. Она начиналась следующими словами: *«Благодаря победам, одержанным немецкими войсками, историческая инициатива окончательно перешла от Франции к Германии; мы, немцы...»* и т. д.*

Словом, можно сказать, без всякого исключения, что у немцев преобладало и преобладает поныне *восторженное чувство военного и политического национального торжества*. Вот на чем опирается, главным образом, могущество пангерманской империи и ее великого канцлера, князя Бисмарка.

Завоеванные богатые области, бесчисленные массы завоеванного оружия и, наконец, пять миллиардов, позво-

ляющих Германии содержать огромное, отлично вооруженное и усовершенствованное войско; создание империи и органическое подчинение ее прусскому самодержавию, вооружение новых крепостей и, наконец, создание флота — все это, разумеется, значительно способствует усилению пангерманского могущества. Но его главная опора все-таки заключается в глубокой и несомненной народной симпатии.

Как выразился один наш швейцарский приятель: «Теперь всякий немецкий портной, проживающий в Японии, в Китае, в Москве, чувствует за собою немецкий флот и всю немецкую силу; это гордое сознание приводит его в сумасшедший восторг: наконец-то немец дождался до того, что он может, как англичанин или американец, опираясь на свое государство, сказать с гордостью: „я — немец“. Правда, что англичанин или американец, говоря: „я — англичанин“, „я — американец“, говорят этим словом: „я — человек свободный“; немец же говорит: „я — раб, но зато мой император сильнее всех государей, и немецкий солдат, который меня душит, вас всех задушит“».

Долго ли немецкий народ будет удовлетворяться этим сознанием? Кто может это сказать? Он так долго жаждал ныне только нисшедшей едино-государственной, едино-палочной благодати, что, должно думать, он долго еще, очень долго будет ею наслаждаться. У всякого народа свой вкус, а в немецком народе преобладает вкус к сильной государственной палке.

Что с государственною централизациею начнут и уже начали развиваться в Германии все злые начала, весь разврат, все причины внутреннего распада, неизбежно сопряженные с обширными политическими централизациями, в этом никто сомневаться не может. Сомнение тем менее возможно, что пред глазами всех уже совершается процесс нравственного и умственного разложения; стоит только читать немецкие журналы, самые консервативные или умеренные, чтобы встретить везде ужасающие описания разврата, овладевшего немецкою публикою, как известно, честнейшею в мире.

Это неизбежный результат капиталистической монополии, всегда и везде сопровождающий усиление и расширение государственной централизации. Привилегированный и в немногих руках сосредоточенный капитал в настоящее время, можно сказать, стал душою всякого политического государства, которое кредитруется им, толь-

ко им, и взамен обеспечивает ему безграничное право эксплуатировать народный труд. С денежною монополиею неразлучна биржевая игра и высасывание из народной массы, а также из среды малой и средней, постепенно беднеющей буржуазии последней копейки посредством акционерных производительных и торговых компаний.

С биржевою и акционерною спекуляциею пропадает в среде буржуазии древняя буржуазная добродетель, основанная на бережливости, умеренности и труде; порождается общее стремление к быстрому обогащению; а так как это возможно не иначе как посредством обмана и так называемого законного, а также и незаконного, но только ловкого воровства, то необходимым образом должны исчезнуть старая филистерская честность и добросовестность.

Замечательно, с какою быстротою пропадает на наших глазах пресловутая немецкая честность. Немецкий честный филистер был неописанно тесен и глуп; но развращенный немец — это такое отвратительное создание, для описания которого нет слов. Во французе разврат прикрывается грациею, легким и привлекательным умом; немецкий же разврат, не знающий меры, ничем не прикрыт. Он зияет во всей своей отвратительной, грубой и глупой наготы.

С этим новым экономическим направлением, овладевшим всем немецким обществом, исчезает, видимо, и все достоинство немецкой мысли, немецкого искусства, немецкой науки. Профессора, более чем когда-нибудь, стали лакеями, а студенты пуще прежнего упиваются пивом за здоровье и в честь своего императора.

А крестьяне? Они остаются в недоумении. Отодвигаемые и загоняемые систематически в течение нескольких веков самою либеральною буржуазиею в лагерь реакции, они в огромнейшем большинстве, особливо в Австрии, в средней Германии и в Баварии, составляют теперь самую твердую опору реакции. Много еще времени должно пройти, пока не увидят и не поймут они, что единое пан-германское государство и император с своим бесчисленным военным, гражданским и полицейским штатом душит и грабит их.

Наконец, работники. Они сбиты с толку своими политическими, литературствующими и еврействующими коноводами. Положение их, правда, становится год от году несноснее, и это доказывается серьезными смутами, про-

исходящими в их среде во всех главных индустриальных пунктах Германии. Почти не проходит месяца, недели, чтобы не произошло уличное волнение, а иногда даже и столкновение с полицией в каком-нибудь немецком городе. Но из этого отнюдь не должно заключать, что близка народная революция, во-первых, потому, что сами коноводы не хуже любого буржуа ненавидят революцию и боятся ее, хотя и говорят о ней беспрестанно!

Вследствие этой ненависти и боязни они направили все рабочее народонаселение на путь так называемой законной и мирной агитации, результатом которой обыкновенно бывает выбор одного или двух работников или даже литературствующих буржуа из партии социальных демократов в общегерманский парламент. Но это не только не опасно, напротив, чрезвычайно полезно для немецкого государства, как громовой отвод, как отдушина.

Наконец, уже потому нельзя ожидать немецкой революции, что, в самом деле, в уме, характере, темпераменте немца чрезвычайно мало революционных элементов. Немец будет рассуждать против всякого начальства и даже против императора, сколько вам будет угодно. Резонерству его не будет конца; но это самое резонерство, испаряя, так сказать, его умственные и нравственные силы и не давая им возможности сосредоточиваться, избавляют его от опасности революционного взрыва.

Да и каким образом революционное направление могло бы сочетаться в немецком народе с наследственным послушанием и стремлением к преобладанию, составляющим, как мы уже несколько раз повторяли, основные черты его существа? И знаете ли, какое стремление преобладает ныне в сознании или инстинкте каждого немца? *Стремление распространить широко, далеко пределы немецкой империи.*

Возьмите вы немца, из какого общественного слоя вам будет угодно, и много будет, если вы найдете одного из тысячи, что говорю я, из десяти тысяч немцев, который на известную песню Арн<д>та не ответит вам:

«Нет, нет, нет, немецкое отечество должно быть шире».

Всякий немец думает, что дело образования великой Германской империи только что началось, и, чтобы довести его до конца, необходимо присоединить к ней всю Австрию, кроме Венгрии, Швецию, Данию, Голландию, часть Бельгии, еще часть Франции и всю Швейцарию по

самые Альпы. Вот его страсть, которая в настоящее время заглушает в нем все остальное. Она также заправляет ныне и всеми действиями социально-демократической партии.

И не думайте, чтобы Бисмарк был таким ярким врагом этой партии, каким он прикидывается. Он слишком умен, чтобы не видеть, что она служит ему как пионер, распространяя германскую государственную мысль в Австрии, Швеции, Дании, Бельгии, Голландии и Швейцарии. В распространении этой германской идеи состоит ныне главное стремление г. Маркса, который, как мы уже заметили, попытался возобновить в свою пользу в Интернационале подвиги и победы князя Бисмарка.

Бисмарк держит в руках все партии и вряд ли отдаст их в руки г. Маркса; он теперь гораздо более, чем папа и чем клерикальная Франция, глава европейской, можно даже сказать, всемирной реакции.

Французская реакция уродлива, смешна и плачевна до крайности, но она отнюдь не опасна. Она слишком безумна, слишком нелепо противоречит всем стремлениям новейшего общества, не говоря о пролетариате, но самой буржуазии, всем условиям государственного существования, чтобы она могла стать действительною силою. Вся она не что иное, как болезненная, отчаянная конвульсия умирающего французского государства.

Совсем другое дело пангерманская реакция. Она не хвастает грубым и глупым противоречием с современными требованиями буржуазной цивилизации, напротив, употребляет всевозможное тщание, чтобы во всех вопросах действовать в полнейшем согласии с нею. В искусстве прикрывать самыми либеральными и даже демократическими формами свои деспотические действия и дела они превзошли своего учителя Наполеона III.

Посмотрите, например, в религиозном вопросе. Кто взял смелую инициативу решительно противодействовать средневековым притязаниям папского престола? Германия, князь Бисмарк, который не побоялся интриг иезуитов, подкапывающихся против него везде: и в народе, который они волнуют, а главное, при императорском дворе, чрезвычайно склонном еще к ханжеству всякого рода; не побоялся даже их кинжала, яда, которым, как известно, они издавна имеют обыкновение отделяться от опасных противников. Князь Бисмарк до такой степени сильно выступил против римско-католической церкви,

что сам старый и добродушный Гарибальди, герой на поле битвы, но весьма плохой философ и политик, ненавидящий попов больше всего, так что достаточно объявить себя их врагом, чтобы быть провозглашенным за самого передового и либерального человека, сам Гарибальди, повторяем, недавно напечатал восторженный дифирамб в пользу немецкого великого канцлера и провозгласил его освободителем Европы и мира. Не понял бедный генерал того, что в настоящее время эта реакция несравненно хуже и опаснее, чем реакция церковная, злая, но бессильная, потому что ныне она решительно невозможна; что реакция государственная ныне более опасна, что она еще возможна, что она составляет ныне последнюю и единственную возможную форму реакции. Множество так называемых либералов и демократов не понимают этого до сих пор, и потому множество, наподобие Гарибальди, смотрят на Бисмарка как на поборника народной свободы.

Точно так же поступает князь Бисмарк и с социальным вопросом. Разве не собрал он несколько месяцев тому назад настоящий социальный конгресс ученых юристов и политикоэкономов Германии, чтобы подвергнуть строгому и глубокомысленному обсуждению все вопросы, занимающие ныне рабочих. Правда, эти господа ничего не решили, да и решить не могли, потому что им был один задан вопрос: как облегчить положение рабочих, не изменяя нисколько ныне существующие отношения капитала к труду, или, что все равно, как сделать невозможное возможным. Ясно, что они должны были разойтись, ничего не решив, но все-таки осталась слава, что Бисмарк, не в пример другим государственным людям Европы, понимает всю важность социального вопроса и тщательно занимается им.

Наконец, он дал полнейшее удовлетворение политическому тщеславию немецкой патриотической буржуазии. Он не только создал могучую единую пангерманскую империю, наделил ее даже самыми либеральными и демократическими формами управления, дал ей парламент, основанный на всенародном праве избирательства, с неограниченным правом толковать о всевозможных вопросах, предоставляя себе лишь одно право делать и проводить на практике только то, что ему и его государю угодно. Таким образом, он открыл немцам поле для болтовни безграничной, себе же оставил только три вещи:

финансы, полицию и армию, т. е. всю суть настоящего государства, всю силу реакции.

Благодаря этим трем маленьким вещицам он властвует теперь неограниченно в целой Германии, а посредством Германии на целом континенте Европы. Мы показали и, как нам кажется, доказали, что все другие континентальные государства или так слабы, что о них нечего и говорить, или еще не сложились, да никогда и не сложатся в серьезные государства, напр., Италия, или, наконец, находятся в процессе разложения, как Австрия, Турция, Россия, Испания и Франция. Среди недоростков, с одной стороны, и развалин — с другой возвышается полное красоты и силы величавое здание пангерманского государства — последнее убежище всех привилегий и монополий, словом, буржуазной цивилизации, последний и могучий оплот государственности, т. е. реакции. Да, на континенте Европы существует только одно настоящее государство — пангерманское; все же остальные — только вице-королевства великой немецкой империи.

Эта империя устами своего великого канцлера объявила войну на жизнь или на смерть социальной революции. Князь Бисмарк произнес ее смертный приговор во имя сорока миллионов немцев, стоящих за ним и служащих ему опорой. Маркс же, соперник и завистник его, а за ним и все коноводы социально-демократической партии Германии, как бы в подтверждение Бисмарка с своей стороны, объявили такую же отчаянную войну социальной революции. Все это мы подробно изложим в следующей части.

Мы увидим, что в настоящий момент, с одной стороны, стоит полнейшая реакция, осуществившаяся в Германской империи, в германском народе, обуреваемом единою страстью завоевания и преобладания, т. е. государственования; с другой, как единая поборница освобождения народов, миллионов чернорабочих всех стран подымает свою голову социальная революция. Покамест она сосредоточила свои силы только на юге Европы: в Италии, Испании, Франции; но вскоре, надеемся, под ее знамя встанут и северо-западные народы: Бельгия, Голландия и главным образом Англия, а там, наконец, и все славянские племена.

На пангерманском знамени написано: *удержание и усиление государства во что бы то ни стало*; на социально-революционном же, на нашем знамени, напротив, огненными,

кровавыми буквами начертано разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов — организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира.

В следующей части будет показано, как эти два противоположные начала выступили и развились в сознании самого пролетариата Европы.

ПРИБАВЛЕНИЕ А.

Для предупреждения недоразумений считаем, однако, необходимым заметить, что то, что мы называем *идеалом* народа, ничего не имеет подобного с теми политически-социальными схемами, формулами и теориями, выработанными помимо народной жизни досугом буржуазных ученых или полуученых и предлагаемыми милостиво *невежественной народной толпе* как необходимое условие их будущего устройства. Мы не имеем ни малейшей веры в эти теории, и самые лучшие из них кажутся нам прокрустовыми кроватями, слишком узкими для того, чтобы охватить могучее и широкое раздолье народной жизни.

Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать формы будущей общественной жизни. Она может определить только *отрицательные* условия, логически вытекающие из строгой критики существующего общества. Таким образом, социально-экономическая наука при такой критике дошла до отрицания лично-наследственной собственности и, следовательно, до отвлеченного и, как бы сказать, *отрицательного* положения собственности коллективной, как необходимого условия будущего социального строя. Таким же путем дошла она до отрицания самой идеи государства и государственования, т. е. управления обществом сверху вниз, во имя какого бы то ни было мнимого права, богословского или метафизического, божественного или интеллигентно-ученого, и вследствие того пришла к противоположному, а потому и отрицательному положению — к анархии, т. е. самостоятельной свободной организации всех единиц или частей, составляющих общины, и их вольной федерации между собою, снизу вверх, не по приказанию какого бы то начальства, даже избранного, и не по указаниям какой-либо ученой

теории, а вследствие совсем естественного развития всякого рода потребностей, проявляемых самою жизнью.

Поэтому никакой ученый не в состоянии научить народ, не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции. Это определится, во-первых, положением каждого народа и, во-вторых, теми стремлениями, которые в них проявятся и будут сильнее действовать, отнюдь же не руководствами и уяснениями сверху и вообще никакими теориями, выдуманнными накануне революции.

Нам известно, что в России теперь развилось целое направление к образованию так называемых народных учителей. Утверждают, что должно прежде всего научить народ, а когда он научится и поймет свои права и обязанности, тогда только можно его бунтовать. Тут сейчас же является вопрос, чему вы станете учить народ? Не тому ли, чего сами не знаете, не можете знать и чему сами должны прежде всего выучиться у народа?

В этом направлении или в этой далеко, впрочем, не новой партии необходимо различать две категории.

Самая многочисленная — это категория доктринеров, шарлатанов, большею частью и себя-надувателей, которые, не отказываясь ни от каких удовольствий и выгод, доставляемых существующим обществом привилегированному и богатому меньшинству, вместе с тем хотят приобрести или сохранить репутацию людей, преданных в самом деле делу народного освобождения, а, пожалуй, даже революционеров, — когда это не бывает сопряжено с слишком большими неудобствами. Таких господ в России появилось слишком много. Они учреждают народные банки, артели, потребительные и производительные общества, занимаются, конечно, женским вопросом и именуют себя громко поборниками науки, позитивистами, а теперь марксистами. Общая черта, отличающая их, — это ничем не жертвовать, беречь и холить свои дорогие личности пуще всего, и вместе с тем желают слыть передовыми людьми во всех отношениях.

С этою категориею, как бы многочисленна она ни была, разговоры напрасны. До революции ее можно только разоблачать и срамить; а в революцию... ну, тогда будем надеяться, что они сами пропадут.

Но есть другая категория, состоящая из молодых людей честных, действительно преданных, и которые бросались в это направление в последнее время как бы с отча-

яния, только потому, что им кажется, что при настоящих обстоятельствах другого дела и выхода нет. Мы не определим их ближе, боясь обратить на них внимание полиции; но те из них, которые прочтут эти строки, поймут, что слова наши обращены прямо к ним.

Именно их хотелось бы нам спросить: чему они намереваются учить народ? Хотят ли они преподавать народу рациональную науку? Сколько нам известно, их цель не такова. Они знают, что правительство остановило бы на первом шагу всякого, кто захотел бы внести науку в народные школы, и знают кроме того, что самому народу нашему в его настоящем слишком бедственном положении совсем не до науки. Для того чтобы сделать доступною для него теорию, надо переменить его практику и прежде всего преобразовать радикально экономические условия его быта, вырвать его из повсеместной и почти поголовной голодной беды.

Каким же образом честные люди могут изменить экономический быт народа? Никакой власти у них нет, да и сама государственная власть, как мы это постараемся доказать ниже, бессильна исправить экономическое положение народа; единственное, что она может сделать для него, это — упраздниться, исчезнуть, так как ее существование несогласно с благом народным, могущим быть созданным только самим народом.

Что же могут сделать друзья народа? Возбудить его к самостоятельному движению и действию и прежде всего — утверждают именно добросовестные поборники того направления, о котором мы теперь говорили, — указать ему пути и средства к его освобождению.

Пути и средства могут быть двоякого рода: чисто революционные, стремящиеся прямо к организации всенародного бунта, и другие, более мирные, начинающие освобождение народа систематически медленным, но вместе с тем радикальным преобразованием его экономического быта. Этот второй метод, если ему хотят следовать искренно, исключает, разумеется, пошлую проповедь о сбережении, столь любимую буржуазными экономистами, по той простой причине, что чернорабочему народу вообще, и особенно нашему, сберегать решительно нечего.

Но что же могут сделать честные люди для того, чтобы толкнуть наш народ на этот путь медленных, но радикальных экономических преобразований? Не откроют ли они в деревнях кафедры социологии? Во-первых, все то

же отечески бдительное правительство не позволит; ну, а во-вторых, крестьяне ничего не поймут и насмеются над самим профессором; да, наконец, и сама социология — наука будущая; в настоящее же время она несравненно богаче неразрешимыми вопросами, чем положительными ответами, не говорим уже о том, что нашим бедным мужикам заниматься ею, право, некогда, на них можно действовать только путем практики, отнюдь же не посредством теорий.

В чем же может состоять эта практика? Именно практика, ставящая себе главной, если не единственной целью — толкнуть всю огромную массу нашего крестьянства на путь самостоятельных экономических преобразований, в духе новейшей социологии? Она не может состоять ни в чем другом, как в образовании рабочих артелей и кооперативных обществ, ссудных, потребительных и производительных, и по преимуществу последних, как идущих прямее других к цели, т. е. к освобождению труда от господства буржуазного капитала.

Но возможно ли это освобождение при экономических условиях, преобладающих в настоящем обществе? Наука, опираясь на факты, а именно на целый ряд опытов, сделанных в продолжение последних двадцати лет в разных странах, решительно говорит нам: невозможно. Лассаль, которого мы, впрочем, далеко не последователи, доказал эту невозможность самым блестящим и популярнейшим образом в своих брошюрах, и в этом сходятся с ним все новейшие экономисты, хотя и буржуазные, но серьезные, как бы нехотя раскрывают немощь кооперативной системы, на которую довольно справедливо смотрят, как на спасительный громоотвод против социально-революционной грозы.

Интернационал, с своей стороны, много и в продолжение нескольких лет часто возбуждал вопрос о кооперативных товариществах и на основании многочисленных доводов пришел к следующему результату, высказанному на Лозаннском конгрессе (в 1867 г.) и подтвержденному на Брюссельском конгрессе (в 1868 г.).

Кооперация, во всех ее видах, есть, несомненно, рациональная и справедливая форма будущего производства. Но для того, чтобы она могла достигнуть своей цели — освобождения всех работающих масс и полного вознаграждения и удовлетворения их, необходимо, чтобы земля и капитал, во всех видах, сделались коллективной

собственностью. До тех пор, пока этого не будет, кооперация в большем числе случаев будет раздавлена всемогущей конкуренцией больших капиталов и большой земельной собственности; в редких же случаях, когда, например, тому или другому, непременно более или менее замкнутому, производительному товариществу удастся выдержать и пережить эту борьбу, результатом этой удачи будет лишь зарождение нового привилегированного класса коллективных счастливых в массе нищенствующего пролетариата. Итак, при существующих условиях общественной экономии кооперация рабочих масс освободить не может, тем не менее, однако, она представляет ту выгоду, что даже в настоящее время приучает работников соединяться, организоваться и самостоятельно управлять своими собственными делами.

Несмотря, однако, на признание этой несомненной пользы, кооперативное движение, сначала двинувшее нас быстро, в последнее время значительно ослабело в Европе, по той весьма простой причине, что массы рабочих, разубедившись, что в настоящее время они посредством ее могут достигнуть своего освобождения, не нашли нужным прибегать к ней для довершения своего практического воспитания, лишь только они потеряли веру в достижение цели, они пренебрегли и путем, к ней ведущим, или, вернее, путем, к ней не ведущим, а гимнастикой, даже и полезною, им некогда заниматься.

Что истинно на Западе, не может быть ложью на Востоке, и мы не думаем, чтобы кооперативное движение могло принять сколько-нибудь серьезные размеры в России. В настоящее время в России кооперация еще невозможнее, чем на Западе. Одним из главных условий ее успеха, там, где она действительно удалась, была личная инициатива, выдержанность и доблесть, но личность гораздо более развита на Западе, чем у нас в России, где до сих пор преобладает гуртовое движение. Кроме того, сами внешние условия, как политические, так и общественные, а также и уровень образования на Западе несравненно благоприятнее для образования и развития кооперативных обществ, чем в России, и несмотря на все это, на Западе кооперативное движение зачахло. Каким же образом может оно ужиться в России?

Скажут, что самая стадообразность русских народных движений может благоприятствовать ему. Элементы прогресса, это беспрестанное усовершенствование организа-

ции работы, производства и продукта его, без которых борьба против конкурирующего капитала, и без того уже столь неравная, сделается совершенно невозможною, несовместимы с гуртовой деятельностью, неизменно клонящеюся к рутине. Кооперация поэтому может процветать в России только в самых незначительных, чтобы не сказать крошечных, размерах и до тех пор только, пока она останется незаметною и нечувствительною для всеподавляющего капитала и для еще более подавляющего правительства.

Для нас, впрочем, понятно, как молодые люди, слишком серьезные и честные для того, чтобы тешить себя либеральными фразами и для того, чтобы маскировать свой эгоизм доктринерною, бездушною, бессмысленною, одним словом, миртовскою или кедровскою * ученой болтовней; слишком живые и страстные, с другой стороны, чтобы оставаться, сложа руки, в постыдном бездействии, не видя перед собой другого исхода, бросаются в так называемое кооперативное движение. Это им дает, по крайней мере, средства и случай встретиться с работниками, стать как работник в их ряды, их узнавать и, по возможности, их соединять для достижения хоть какой-нибудь цели. Все же это несравненно утешительнее и полезнее, чем не делать решительно ничего.

С этой точки зрения, мы не имеем ничего против кооперативных попыток; но думаем, вместе с тем, что молодые люди, предпринимающие их, отнюдь не должны обманывать себя насчет результатов, которых могут они достигнуть. Эти результаты в больших городах и фабричных селах, посреди фабричных работников могут быть довольно значительны. Они будут чрезвычайно ничтожны посреди сельского населения, где они потеряются, как песчинки в степи, как капли в море...

Но справедливо ли, что нет теперь в России ни другого выхода, ни дела другого, кроме кооперативных предприятий? Мы думаем решительно, что это несправедливо.

В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых элемента, на которые мы можем указать, как на необходимые условия социальной революции. Он может похвастаться чрезмерною нищетою, а также и рабством примерным. Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и пуга-

чевским бунтом, и не переставшим поныне проявляться в непрерывном ряде частных крестьянских бунтов.

Что же служит ему препятствием к совершению победоносной революции? Недостаток ли в общем народном идеале, который был бы способен осмыслить народную революцию, дать ей определенную цель и без которого, как мы выше сказали, невозможно одновременное и всеобщее восстание целого народа, а следовательно, невозможен и самый успех революции? Но вряд ли было бы справедливо сказать, что в русском народе уже не выработался такой идеал.

Если бы его не было, если бы он не выработался в сознании народном, по крайней мере, в своих главных чертах, то надо бы было отказаться от всякой надежды на русскую революцию, потому что такой идеал выдвигается из самой глубины народной жизни, есть непременно образом результат народных исторических испытаний, его стремлений, страданий, протестов, борьбы и вместе с тем есть как бы образное и общепонятное, всегда простое, выражение его настоящих требований и надежд.

Понятно, что если народ не выработает сам из себя этого идеала, то никто не будет в состоянии ему его дать. Вообще нужно заметить, что никому, ни лицу, ни обществу, ни народу, нельзя дать того, чего в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития. Возьмем лицо; если мысль уже не существует в нем как живой инстинкт и как более или менее ясное представление, служащее как бы первым обнаружением этого инстинкта, то вы ему ни за что в мире не растолкуете и, главное, не втолкуете. Посмотрите на буржуа, довольного своей судьбой, надеетесь ли вы ему когда-нибудь объяснить право пролетария на полное человеческое развитие и на участие равное во всех наслаждениях, удовлетворениях и благах общественной жизни или ему доказать законность и спасительную необходимость социальной революции? Нет, если вы с ума не сошли, вы этого даже и пробовать не станете; а почему не станете? Потому что будете уверены, что будь даже этот буржуа от природы и добр, и умен, и благороден, и великодушен, и склонен к справедливости, — видите, какие я делаю уступки, а ведь таких буржуа немного на свете, — будь он чрезвычайно образован и даже учен, он все-таки вас не поймет и социальным революционером не сделается. А почему не сделается? По той простой причине, что

жизнь его не выработала в нем тех инстинктивных стремлений, которые бы соответствовали вашей социально-революционной мысли. Если же бы, напротив, эти стремления в нем существовали хоть в зародыше или даже в самых нелепых видах представления, то как бы ни было приятно для его чувственности и ни удовлетворительно для его самолюбия его общественное положение, он не мог бы быть доволен собою.

Напротив, возьмите человека наименее образованного и самого нелепого, если вы в нем только действительно откроете инстинкты и честные, хотя и темные, стремления, соответствующие социально-революционной идее, как бы дики ни были его настоящие представления, вы не пугайтесь, а только займитесь им серьезно, с любовью, и вы увидите, как широко и как страстно он обнимет, усвоит вашу идею или, вернее, свою собственную идею, потому что она не что иное, как ясное, полное и логическое выражение его собственного инстинкта, так что вы в сущности не дали ему ничего, не принесли ему ничего нового, а только уяснили ему то, что в нем жило гораздо прежде, чем он встретился с вами. Вот почему я говорю, что никто ничего никому дать не может.

Но если это справедливо в отношении к лицу, тем более это справедливо в отношении к целому народу. Нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером, для того чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать его жизни новое направление или, как утверждал тридцать шесть лет тому назад покойный Чаадаев, говоря именно о русском народе, писать на нем, как на белом листе, что угодно*.

В числе самых великих гениев до сих пор было мало таких, которые бы действительно сделали что-нибудь для народа; гении народа чрезвычайно аристократические, и все, что они сделали до сих пор, послужило только к образованию, к усилению и к обогащению эксплуатирующего меньшинства; бедные массы народа, покинутые и задавленные всеми, должны были пробивать свою гигантски-мученическую тропу к свободе и к свету бесконечным рядом темных и бесплодных усилий. Самые великие гении не приносили и не могли приносить нового содержания обществу, а, созданные самим обществом,

они, продолжая и развивая многовековую работу, принесли и приносят только новые формы для того же содержания, беспрестанно вновь возрождающегося и расширяющегося самым движением общественной жизни.

Но, повторяю еще раз, самые прославленные гении ничего или очень мало сделали до сих пор собственно для народа, т. е. для многомиллионного чернорабочего пролетариата. Народная жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат исключительно самому народу. Этот прогресс совершается, конечно, не путем книжного образования, а путем естественного нарастания опыта и мысли, передаваемого из рода в род и необходимым образом расширяющегося, углубляющегося по содержанию, усовершенствующегося и облекающегося в свои формы, разумеется, чрезвычайно медленно, путем бесконечного ряда тяжелых и горьких исторических испытаний, доведших, наконец, в наше время народные массы, можно сказать, всех стран, по крайней мере всех европейских стран, до сознания, что им от привилегированных классов и от нынешних государств, вообще от политических переворотов, ждать нечего, и что они могут освободиться только собственным усилием своим, посредством социальной революции. Это самое определяет всеобщий идеал, ныне в них живущий и действующий.

Существует ли такой идеал в представлении народа русского? Нет сомнения, что существует, и нет даже необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты.

Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собственноручным трудом. Вторая столь же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами; третья черта, одинаковой важности с двумя предыдущими, — это квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству.

Вот три главные черты, которые лежат в основании русского народного идеала. По существу своему они вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролетариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социальной револю-

ции, чем страны германские. Однако русский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его характер и чрезвычайно затрудняют и замедляют осуществление его; чертами, против которых поэтому мы всеми силами должны бороться, и против которых борьба тем возможнее, что она уже существует в самом народе.

Эти три затемняющие черты: 1) патриархальность; 2) поглощение лица миром; 3) вера в царя.

Можно было бы прибавить в виде четвертой черты христианскую веру, официально-православную или сектаторскую; но, по нашему мнению, у нас в России этот вопрос далеко не представляет той важности, какую он представляет в Западной Европе, не только в католических, но даже и в протестантских странах. Социальные революционеры, разумеется, не пренебрегают им и пользуются всяким случаем, чтобы в присутствии народа сказать убийственную правду господе Саваофу* и богословским, метафизическим, политическим, юридическим, полицейским и буржуазно-экономическим представителям его на земле. Но они не ставят религиозный вопрос на первое место, убежденные в том, что суеверие народа, естественным образом сопряженное в нем с невежеством, не коренится, однако, столько в этом невежестве, сколько в его нищете, в его материальных страданиях и в неслыханных притеснениях всякого рода, претерпеваемых им всякий день; что религиозные представления и басни, эта фантастическая склонность к нелепому — явление еще более практическое, чем теоретическое, а именно, не столько заблуждение ума, сколько протест самой жизни, воли и страсти против невыносимой жизненной тесноты; что церковь представляет для народа род небесного кабака, точно так же как кабак представляет нечто вроде церкви небесной на земле; как в церкви, так и в кабаке он забывает хоть на одну минуту свой голод, свой гнет, свое унижение, старается успокоить память о своей ежедневной беде — один раз в безумной вере, а другой раз в вине. Одно опьянение стоит другого.

Социальные революционеры знают это и потому убеждены, что религиозность в народе можно будет убить только социальной революцией, отнюдь же не отвлеченной и доктринерной пропагандой так называемых сво-

бодных мыслителей. Эти господа свободные мыслители с ног до головы буржуа, неисправимые метафизики по приемам, привычкам и жизни даже и тогда, когда называют себя позитивистами и воображают себя материалистами. Им все кажется, что жизнь вытекает из мысли, есть как бы осуществление предпосланной мысли, вследствие чего и утверждают, что мысль, и, разумеется, их бедная мысль, должна заправлять и жизнью; и не понимают они того, что мысль, напротив, вытекает из жизни и что для того, чтобы изменить мысль, надо прежде всего переменить жизнь. Дайте широкую человеческую жизнь народу, и он вас удивит глубокою рациональностью своих мыслей.

Завзятые доктринеры, называющие себя свободными мыслителями, имеют еще другую причину предпосылать теоретическую, антирелигиозную пропаганду практическому делу. Они по большей части плохие революционеры и просто тщеславные эгоисты и трусы. К тому же по положению своему они принадлежат к образованным классам и очень дорожат комфортом и тонким изяществом, умственно-тщеславным наслаждением, которыми переполнена жизнь этих классов. Они понимают, что народная революция, по существу и по самой цели грубая и бесцеремонная, не остановится перед разрушением буржуазного мира, в котором им живется так хорошо, и потому, кроме того, что они отнюдь не намерены навлекать на себя значительные неудобства, сопряженные с честным служением революционному делу, и что им не хотелось бы также возбудить против себя негодование менее либеральных и смелых, но все-таки драгоценных покровителей, почитателей, друзей и товарищей по образованию, по житейским связям, по изяществу и материальному комфорту, они просто-напросто сами для себя не хотят и боятся такой революции, которая их самих свела бы с пьедестала и лишила бы вдруг всех выгод настоящего положения.

А между тем признаться им в этом не хочется, им непременно надобно удивить буржуазный мир своим радикализмом и увлечь революционную молодежь, а если можно, и самый народ за собою. Как же тут быть? Надо буржуазный мир удивить и не надо его сердить, надо увлечь революционную молодежь и вместе с тем избежать революционной пропасти! Для этого средство одно:

устремить всю мнимо революционную ярость свою против господ бога. Так они уверены в несуществовании его, что гнева его не боятся. Другое дело начальство, всякое начальство, от царя до последнего полицейского! Дело другое люди богатые и могучие по своему общественному положению, от банкира и жида-откупщика до последнего купца-кулака и помещика! Их гнев может выразиться слишком чувствительно.

В силу такого рассуждения они объявляют беспощадную войну господа богу, отвергают наирадикальнейшим образом религию, во всех ее проявлениях и видах, громят богословие и метафизические бредни, все суеверия народные во имя науки, которую, разумеется, носят в карманах своих и которою испещряют все многоглаголивые писания свои, — но в то же самое время обращаются с чрезвычайною нежностью ко всем политическим и общественным силам мира сего, и если, вынужденные логикой и общественным мнением, позволяют себе даже их отрицать, то делают это так учтиво, так кротко, что надо иметь нрав чрезвычайно крутой, чтобы на них рассердиться, они непременно оставляют выходы и выражают надежду на их исправление. Эта способность надеяться и верить в них так велика, что они даже полагают возможным, что наш правительствующий сенат сделается рано или поздно органом народного освобождения. (Смотри последнюю, по числу третью программу неперIODического издания «Вперед», скорое появление которого ожидается в Цюрихе.)*

Но оставим этих шарлатанов и обратимся к своему вопросу.

Народа никогда и ни под каким предлогом и для какой бы то ни было цели обманывать не следует. Это было бы не просто преступно, но и в видах достижения революционного дела вредно; вредно уже потому, что всякий обман по существу своему близорук, мелок, тесен, всегда шит белыми и гнилыми нитками, вследствие чего непременно обрывается и раскрывается, и для самой революционной молодежи самое ложное, самопроизвольное, самодурное и народу противное направление. Человек силен только тогда, когда он весь стоит на своей правде, когда он говорит и действует сообразно своим глубочайшим убеждениям. Тогда, в каком бы положении он ни был, он всегда знает, что ему надо говорить и делать. Он

может пасть, но осрамиться и осрамить своего дела не может. Если мы будем стремиться к освобождению народа путем лжи, мы непременно запутаемся, собьемся с пути, потеряем из виду самую цель, и, если будем иметь хотя какое-нибудь влияние на народ, собьем с пути и самый народ, т. е. будем действовать в смысле и на пользу реакции.

Поэтому, так как мы сами глубоко убежденные безбожники, враги всякого религиозного верования и материалисты, всякий раз, когда нам придется говорить о вере с народом, мы обязаны высказать ему во всей полноте наше безверие, скажу более, наше враждебное отношение к религии. На все вопросы его по этому предмету мы должны отвечать честно и, даже когда становится нужно, т. е. когда предвидится успех, должны стараться ему объяснить и доказать справедливость своих воззрений. Но мы не должны сами искать случаев к подобным разговорам. Мы не должны ставить религиозный вопрос на первом плане нашей пропаганды в народе. Делать это, по нашему глубокому убеждению, однозначно с изменою народному делу.

Народ — не доктринер и не философ. У него нет ни досуга, ни привычки заниматься одновременно многими вопросами. Увлекаясь одним, он забывает все другие. Поэтому наша прямая обязанность поставить перед ним главный вопрос, от разрешения которого, более чем от всех других, зависит его освобождение. Но этот вопрос указан самим положением его, всей его жизнью — этот вопрос экономически-политический, экономический в смысле социальной революции и политический в смысле разрушения государства. Занимать его религиозным вопросом — значит отвлекать его от настоящего дела, значит изменить его делу.

Народное дело состоит единственно в осуществлении народного идеала с возможным, в народе же самом коренящимся, исправлением и лучшим, прямее и скорее к цели идущим, направлением его. Мы указали на три несчастные черты, омрачающие, главным образом, идеал русского народа. Теперь заметим, что две последние: поглощение лица миром и богопочитание царя, собственно, вытекают как естественные результаты из первой, т. е. из патриархальности, и что поэтому патриархальность есть то главное историческое, но, к несчастью, совершен-

но народное зло, против которого мы обязаны бороться всеми силами.

Оно исказило всю русскую жизнь, наложив на нее тот характер тупоумной неподвижности, той непроходимой грязи родной, той коренной лжи, алчного лицемерия и, наконец, того холопского рабства, которые делают ее нестерпимой. Деспотизм мужа, отца, а потом старшего брата обратил семью, уже безнравственную по своему юридически-экономическому началу, в школу торжествующего насилия и самодурства, домашней ежедневной подлости и разврата. Гроб убеленный — выражение отличное для определения русской семьи. Добрый русский семьянин, если он человек действительно добрый, но бесхарактерный, значит, просто добродушная свинья, невинная и безответная, существо, ничего ясно не сознающее, ничего определенно не хотящее и делающее безразлично и тем будто бы ненарочно, почти в одно и то же время, добро и зло. Его действия гораздо менее определяются целью, чем обстоятельствами, минутным расположением и, главное, средою; привыкши повиноваться в семье, он продолжает повиноваться и гнуться по направлению ветра и в обществе, он создан быть и оставаться рабом, но деспотом не будет. На это у него не хватит силы. Он сам сечь поэтому не будет, но непременно поддержит того несчастного, виновного или невинного, которого начальство высечь захочет; начальство же является ему в трех главных и священных видах: как отец, как мир и как царь.

Если же он человек с норовом и с огнем, он будет в одно и то же время и рабом и деспотом; деспотом, самодурствующим над всяким, кто будет стоять ниже его и будет зависеть от его произвола. Господа же его мир и царь. Если он сам глава семьи, он будет деспотом безграничным у себя дома, но слугою мира и рабом царя.

Община — его мир. Она — не что иное, как естественное расширение его семьи, его рода. Поэтому в ней преобладает то же патриархальное начало, тот же гнусный деспотизм и то же подлое послушание, а потому и та же коренная несправедливость и то же радикальное отрицание всякого личного права, как и в самой семье. Решения мира, каковы бы они ни были, закон. «Кто смеет идти против мира!» — восклицает с удивлением русский мужик. Мы увидим, что кроме царя, его чиновников и дворян, стоящих, собственно, вне мира или, вернее, над ним,

есть в самом русском народе лицо, смеющее идти против мира: это разбойник. Вот почему разбой составляет важное историческое явление в России — первые бунтовщики, первые революционеры в России, Пугачев и Стенька Разин, были разбойники.

В мире имеют право голоса только старики, главы семейства. Неженатая или даже женатая, но не отделенная молодежь должна исполнять и повиноваться. Но над общиной, над всеми общинами стоит царь, всеобщий патриарх и родоначальник, отец всей России. Поэтому власть его безгранична.

Каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего — и это составляет одно из главных несчастий в России — ни одна община не имеет, да и не чувствует надобность иметь с другими общинами никакой самостоятельной органической связи. Соединяются же они между собою только посредством царя-батюшки, только в его верховной, отеческой власти.

Мы говорим, что это большое несчастье. Понятно, что такое разъединение бессилит народ и обрекает все его бунты, почти всегда местные и бессвязные, на неизбежное поражение и тем самым упрочивает торжество деспотической власти. Значит, одною из главных обязанностей революционной молодежи должно быть установление всеми возможными средствами и во что бы то ни стало живой бунтовской связи между разъединенными общинами. Задача трудная, но не невозможная, так как история указывает нам, что в смутные времена, напр., в лжедмитриевской междуусобице*, в стеньки-разинской и пугачевской революции, а также и в новгородском бунте**, в начале царствования императора Николая***, сами общины, собственным движением, стремились к установлению этой спасительной связи.

Число общин несметно, а общий их царь-батюшка стоит над ними слишком высоко, только немножко ниже господ бога, для того чтобы ему управиться лично со всеми. Ведь сам господь бог для управления миром нуждается в службе бесчисленных чинов и сил небесных, серафимов, херувимов, архангелов, ангелов шестикрылых и простокрылых****, тем более царь не может обойтись без чиновников. Ему нужна целая военная, гражданская, судебная и полицейская администрация. Таким образом,

между царем и народом, между царем и общиною становится государство военное, полицейское, бюрократическое и неизбежным образом строго централизованное.

Таким образом, воображаемый царь-отец, попечитель и благодетель народа помещен высоко, высоко, чуть ли не в небесную даль, а царь настоящий, царь-кнут, царь-вор, царь-губитель, государство, занимает его место. Из этого вытекает, естественно, тот странный факт, что народ наш в одно и то же время боготворит царя воображаемого, небывалого и ненавидит царя действительного, осуществленного в государстве.

Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись. Недавно еще ненависть его была разделена между дворянами и чиновниками, и иногда даже казалось, что он ненавидит первых еще более, чем последних, хотя, в сущности, он их ненавидит равно. Но с тех пор как вследствие упразднения крепостного права дворянство стало видимо разоряться, пропадать и обращаться к своему первоначальному виду исключительно служебного сословия, народ обнял его в своей общей ненависти ко всему чиновному сословию. Нужно ли доказывать, до какой степени ненависть его законна!

Государство окончательно раздавило, развратило русскую общину, уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало обманом, а лица, временно избираемые самим народом, головы, старосты, десятские, старшины, превратились, с одной стороны, в орудия власти, а с другой, в подкупленных слуг богатых мужиков-кулаков. При таких условиях последние остатки справедливости, правды, простого человеколюбия должны были исчезнуть из общин, к тому же разоренных государственными податями и повинностями и до конца придавленных начальственным произволом. Более чем когда-нибудь, разбой остался единственным выходом для лица, а для целого народа — всеобщий бунт, революция.

В таком положении что может делать наш умственный пролетариат, русская, честная, искренняя, до конца преданная социально-революционная молодежь? Она должна идти в народ, несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне много

миллионных чернорабочих масс нет более ни жизни, ни дела, ни будущности. Но как и зачем идти в народ?

В настоящее время у нас, после несчастного исхода нечаевского предприятия*, мнения на этот счет, кажется, чрезвычайно разделились; но из общей неурядицы мыслей выделяются уже теперь два главные и противоположные направления. Одно более миролюбивого и подготовительного свойства; другое — бунтовское и стремящееся прямо к организации народной обороны.

Поборники первого направления в настоящую возможность этой революции не верят. Но так как они не хотят и не могут оставаться покойными зрителями народных бед, то они решаются идти в народ, для того чтобы братски разделить с ним эти беды, а вместе с тем и для того, чтобы его научить, подготовить, не теоретически, а на практике, своим живым примером. Они пойдут в фабричные работники и, работая наравне вместе с ними, будут стараться распространять между ними дух общения...

Другие постараются основать сельские колонии, в которых, кроме общего пользования землею, столь известного нашим крестьянам, проведут и применят начало им еще совсем неизвестное, но экономически необходимое, начало коллективного обрабатывания общей земли и равного разделения продуктов или цены продуктов между собою на основании самой строгой справедливости, не юридической, а человеческой, т. е. требуя больше работы от способных и сильных, меньше от неспособных и слабых, и распределяя заработки не в меру работы, а в меру потребностей каждого.

Они надеются, что им удастся увлечь крестьян своим примером, а главное, теми выгодами, которые они надеются получить от организации труда коллективного; такую же надежду питал Кабе, когда после неудавшейся революции 1848 г. он отправился со своими икарийцами в Америку, где и основал свою Новую Икарию, которая просуществовала очень недолго**, а должно заметить, что для успеха такого опыта американская почва все-таки была благоприятнее русской. В Америке царит полнейшая свобода, а в нашей благословенной России царит — царь.

Но этим не ограничиваются надежды наших подготовителей и мирных вразумителей народа. Устройством своей домашней жизни на основании полной свободы ли-

ца они хотят противодействовать той гнусной патриархальности, которая лежит в основе всего нашего русского рабства. Значит, они хотят поразить наше общественное главное зло в самом корне и, следовательно, содействовать прямо к исправлению народного идеала и к распространению в народе понятий практических о справедливости, о свободе, о средствах к освобождению.

Все это прекрасно, чрезвычайно великодушно и благородно, но вряд ли исполнимо. А если кой-где и удастся, то это будет капля в море, и капля далеко не достаточная для того, чтобы подготовить, поднять и освободить наш народ; потребуется много средств, много живой силы, а результаты будут слишком ничтожны.

Те, которые рисуют себе такие планы и искренно намерены осуществить их, делают это, без сомнения, закрывши глаза, для того чтобы не видеть во всем ее безобразии нашей русской действительности. Можно наперед предсказать им все страшные, тяжкие разочарования, которые постигнут их при самом начале исполнения, потому что за исключением разве только немногих, весьма немногих счастливых случаев, большинство между ними дальше начала не пойдет, не будет в силах идти.

Пусть попробуют, если ничего другого не видят перед собою, но пусть же также знают, что этого мало, слишком мало для освобождения, для спасения нашего бедного мученика-народа.

Другой путь боевой, бунтовской. В него мы верим и только от него ждем спасения.

Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных вспышек недостаточно. Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам громадные движения народные под предводительством Стеньки Разина и Пугачева. Эти движения доказывают нам, что в сознании нашего народа живет действительно идеал, к осуществлению которого он стремится, а из неудач их мы заключаем, что в этом идеале есть существенные недостатки, которые мешали и мешают успеху.

Эти недостатки мы назвали и высказали свое убеждение, что прямая обязанность нашей революционной мо-

лодежи противодействовать им и употребить все усилия, чтобы побороть их в самом народном сознании, а для того, чтобы доказать возможность такой борьбы, мы показали, что она уже давно началась в самом народе.

Война против патриархальности ведется ныне чуть ли не в каждой деревне и в каждом семействе, и община, мир до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной народу государственной власти и чиновнического произвола, что бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против общинного и мирского деспотизма.

Остается богопочитание царя; мы думаем, что оно чрезвычайно поприелось и ослабело в самом сознании народном за последние десять или двенадцать лет благодаря мудрой и народолюбивой политике императора Александра благодущного. Дворянина-помещика-крепостника более нет, а он был громоотводом, стягивающим главным образом на себя всю грозу народной ненависти. Остался дворянин или купец-землевладелец, крупный кулак, а главное, остался чиновник, ангел или архангел царский. Но чиновник исполняет волю царя. Как ни омрачен наш мужик безумною историческою верою в царя, он наконец это сам понимать начинает. Да как же и не понять! В продолжение десяти лет он со всех концов России посылает к царю своих просителей-депутатов, и все слышат из самых царских уст только один ответ: *«Вам не будет другой свободы!»*

Нет, воля ваша, русский мужик невежа, но не дурак. А он должен был бы быть круглейшим дураком, чтобы после стольких глаза колющих фактов и испытаний, вынесенных им на своей собственной шкуре, он <не> начал понимать наконец, что у него нет врага пуще царя. Втолковать, дать ему почувствовать это всеми возможными способами и пользуясь всеми плачевными и трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная народная жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, поповские и кулацкие неистовства, разбои, грабежи, от которых ему нет житья, идут прямо от царской власти, опираются на нее и возможны только благодаря ей, доказать ему, одним словом, что столь ненавистное ему государство — это сам царь и не что иное, как царь, — вот прямая

и теперь главная обязанность революционной пропаганды.

Но этого мало. Главный недостаток, парализирующий и делающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание в России, — это замкнутость общин, уединение и разъединение крестьянских местных миров. Надо во что бы то ни стало разбить эту замкнутость и провести между этими отдельными мирами живой ток революционной мысли, воли и дела. Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского мира между собою и там, где оно возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством. Эта связь не может быть другою как личною. Нужно, соблюдая, разумеется, притом, самую педантическую осторожность, чтобы лучшие, или передовые крестьяне каждой деревни, каждой волости и каждой области знали таких же крестьян всех других деревень, волостей, областей.

Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьянства, а через них если не весь народ, то по крайней мере значительную и наиболее энергичную часть его, что для целого народа, для всех деревень, волостей и областей в целой России, да также и вне России, существует одна общая беда, а потому и одно общее дело. Надо их убедить в том, что в народе живет несокрушимая сила, против которой ничто и никто устоять не может; и что если она до сих пор не освободила народа, так это только потому, что она могуча только, когда она собрана и действует одновременно, везде, сообща, заодно, и что до сих пор она не была собрана. Для того же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, волости, области связались и организовались по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения. Для того же чтобы создавалось в нашем народе чувство и сознание действительного единства, надо устроить род народной печатной, литографированной, писаной или даже изустной, газеты, которая бы немедленно извещала повсюду, во всех концах, областях, волостях и селах России о всяком частном народном, крестьянском или фабричном бунте, вспыхивающем то в одном, то в другом месте, а также и о крупных революционных движениях, производимых пролетариатом

Западной Европы, для того чтобы наш крестьянин и наш фабричный работник не чувствовал себя одиноким, а знал бы, напротив, что за ним, под тем же гнетом, но зато и с тою же страстью и волею освободиться, стоит огромный, бесчисленный мир к всеобщему взрыву готовящихся чернорабочих масс.

Такова задача и, скажем прямо, таково единственное дело революционной пропаганды. Каким образом это дело должно быть совершено нашею молодежью, печатным образом рассказывать неудобно.

Скажем только одно: русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своею молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких. Надо, чтобы, действуя сама по строго обдуманному и положительному плану и подвергая в этом отношении все свои действия самой строгой дисциплине, для того чтобы создать то единодушие, без которого не может быть победы, она сама воспиталась и воспитала народ не только к отчаянному сопротивлению, но также и к смелому нападению.

В заключение прибавим еще одно слово. Класс, который мы называем нашим умственным пролетариатом и который у нас уже в положении социально-революционном, т. е. просто-напросто отчаянном и невозможном, должен теперь проникнуться сознательною страстью социально-революционного дела, если он не хочет погибнуть постыдно и втуне, этот класс призван ныне быть приурочителем, т. е. организатором народной революции. Для него нет другого выхода. Он мог бы, правда, благодаря полученному им образованию, стремиться достать какое-нибудь более или менее выгодное местечко в рядах уже чересчур переполненных и чрезвычайно негостеприимных грабителей, эксплуататоров и притеснителей народа. Но, во-первых, таких мест все остается меньше и меньше, так что они достижимы только для самого малого количества. Большинство останется только со срамом измены и погибнет в нужде, в пошлости и подлости.

Мы же обращаемся только к тем, для которых измена немыслима, невозможна.

Порвавши безвозвратно все связи с миром эксплуататоров, губителей и врагов русского народа, они должны смотреть на себя как на капитал драгоценный, принадлежащий исключительно делу народного освобождения, как на такой капитал, который должен тратить себя лишь на пропаганду народную, на постепенное возбуждение и на организацию всенародного бунта.

ПРИБАВЛЕНИЕ Б*.

ПРОГРАММА СЛАВЯНСКОЙ СЕКЦИИ В ЦЮРИХЕ

1. Славянская секция, вполне признавая основные статуты Международного общества рабочих, принятые на Первом конгрессе (сент. 1866, Женева), задается специальной целью пропаганды принципов революционного социализма и организации народных сил в славянских землях.

2. Она будет бороться с одинаковой энергией против стремлений и проявлений как панславизма, т. е. освобождения славянских народов при помощи русской империи, так и пангерманизма, т. е. при помощи буржуазной цивилизации немцев, стремящихся теперь организовать в огромное мнимое народное государство.

3. Принимая анархическую революционную программу, которая одна, по нашему мнению, представляет все условия действительного и полного освобождения народных масс, и убежденные, что существование государства в какой бы то ни было форме несовместимо с свободой пролетариата, что оно не допускает братского международного союза народов, мы хотим уничтожения всех государств. Для славянских народов в особенности это уничтожение есть вопрос жизни или смерти и в то же время единственный способ примирения с народами чуждых рас, напр., турецкой, мадьярской или немецкой.

4. С государством должно неминуемо погибнуть все, что называется юридическим правом, всякое устройство сверху вниз путем законодательства и правительства, устройства, никогда не имевшего другой цели, кроме

установления и систематизирования народного труда в пользу управляющих классов.

5. Уничтожение государства и юридического права необходимо будет иметь следствием уничтожение личной наследственной собственности и юридической семьи, основанной на этой собственности, так как та и другая совершенно не допускают человеческой справедливости.

6. Уничтожение государства, права собственности и юридической семьи — одно сделает возможным организацию народной жизни снизу вверх, на основании коллективного труда и собственности, сделавшихся в силу самих вещей возможными и обязательными для всех путем совершенной, свободной федерации отдельных лиц в ассоциации, или в независимые общины, или помимо общин и всяких областных и национальных разграничений в великие однородные ассоциации, связанные тождественностью их интересов и социальных стремлений и общин в нации, наций в человечество.

7. Славянская секция*, исповедуя материализм и атеизм, будет бороться против всех родов богослужения, против всех официальных и неофициальных вероисповеданий, и оказывая как на словах, так и на деле самое полное уважение к свободе совести всех и к священному праву каждого проповедовать свои идеи, она будет стараться уничтожать идею божества во всех ее проявлениях, религиозных, метафизических, доктринерно-политических и юридических, убежденная, что эта вредная идея была и есть еще освящением всякого рода рабства.

8. Она имеет полнейшее уважение к положительным наукам; она требует для пролетариата научного образования, равного для всех, без различия полов, но, враг всякого правительства, она с негодованием отвергает правительство ученых, как самое надменное и вредное.

9. Славянская секция требует вместе с свободой равенство прав и обязанностей для мужчин и женщин.

10. Славянская секция, стремясь к освобождению славянских народов, вовсе не предполагает организовывать особый славянский мир, враждебный из чувства национального народам других рас. Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские народы также вошли в общую семью человечества, которую Международное общество

рабочих призвало осуществить на началах свободы, равенства и всеобщего братства.

11. Ввиду великой задачи — освобождения народных масс от всякой опеки и всякого правительства, — которую приняло на себя Международное общество, славянская секция не допускает возможности существования среди него какой-либо верховной власти или правительства, следовательно, не допускает иной организации, кроме свободной федерации самостоятельных секций.

12. Славянская секция не признает ни официальной истины, ни однообразной политической программы, предписанной главным советом или общим Конгрессом. Она признает только полную солидарность личностей, секций и федераций в экономической борьбе рабочих рук всех стран против эксплуататоров. Она в особенности будет стремиться привлечь славянских работников ко всем практическим последствиям этой борьбы.

13. Славянская секция за секциями всех стран признает: а) свободу философской и социальной пропаганды; б) свободу политики, лишь бы она не нарушала свободы и права других секций и федераций; свободу организации для народной революции; свободу связи с секциями и федерациями других стран.

14. Так как Юрская Федерация* громко провозгласила эти принципы и так как она искренне проводит их на практике, то славянская секция вступила в ее среду.

ПИСЬМО М. А. БАКУНИНА к С. Г. НЕЧАЕВУ

2-го июня 1870 г.

Любезный друг — теперь обращаюсь к Вам и через Вас к вашему, к нашему Комитету*. Надеюсь, если Вы теперь добрались до безопасного места, в котором, свободные от мелких дрызг и хлопот, Вы можете спокойно обдумать свое и наше общее положение, положение нашего общего дела.

Начнем с признания, что наша первая кампания, начатая в 1869 г., потеряна, мы разбиты. Разбиты по двум главным причинам. 1-ая — народ, на восстание которого мы имели полное право надеяться, не встал. Видно, чаша его страданий и мера его терпения еще не переполнились. Видно, вера в себя, в свое право и в свою силу еще не загорелась в нем и не нашлось достаточного количества дружно действующих и по России разбросанных людей, способных возбуждать эту веру. 2-ая причина: организация наша и по качеству, и по количеству своих членов, и по самому способу своего составления оказалась недостаточною. Поэтому мы были разбиты, потеряли много сил и много драгоценных людей.

Это факт несомненный, который мы должны сознать вполне, нисколько не торгуясь с ним, для того, чтобы сделать его точкою отправления для своих дальнейших рассуждений, предприятий и действий.

Вы, а с Вами вместе, без сомнения, и ваши друзья сознали его прежде, гораздо прежде, чем высказали мне его; да можно сказать, что Вы и не высказывали его мне никогда, я должен был его сам угадать из многих и явных противоречий в ваших речах и, наконец, убедиться в нем по общему положению дела, которое стало говорить так ясно, что не было возможности [...]** скрыть его даже от посвященных друзей. Вы были убеждены в нем более чем наполовину, когда приезжали ко мне в Локарно,

а между тем Вы говорили мне с полнейшею уверенностью и самым утвердительным образом о близости необходимого восстания. Вы обманули меня, и я, подозревая или чувствуя инстинктивно *обман*, сознательно и *систематически* отказывался верить *в него*; Вы продолжали говорить и действовать точно как будто бы Вы говорили мне чистую правду. Если б в свою бытность в Локарно Вы показали бы мне настоящее положение дела и в отношении народном, и в отношении к организации, я написал бы воззвание свое к офицерам* в таком же самом направлении и духе, но другими словами; и это было бы и для меня, и для Вас, а главное, для самого дела лучше. Я не стал бы им говорить о предстоящем движении.

На Вас я не сержусь и не делаю Вам упреков, зная, что, если Вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, Вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что Вы считаете это полезным для дела. Я и *мы все* горячо любим и глубоко уважаем Вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы.

Но ни эта любовь, ни это уважение не могут мешать мне сказать Вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более вашею главною, исключительно системою, вашим главным оружием и средством, гибельна для самого дела.

Прежде, однако, чем попробую и, надеюсь, успею доказать Вам это, скажу несколько слов о моих отношениях к Вам и к вашему Комитету и постараюсь объяснить, почему, несмотря на все предчувствия и разумно-инстинктивные сомнения, предупреждавшие меня все более и более против истины ваших слов, я до сих пор не верил и до последнего приезда моего в Женеву говорил и поступал так, как будто я верил в них безусловно.

Можно сказать, что вот уже *30 лет* как я отделен от России; от 40-го до 51-го года я пробыл за границей сначала с паспортом, потом как эмигрант. В 51-ом году, после двухгодичного заключения в саксонских и австрийских крепостях, я был выдан русскому правительству, которое в продолжение еще 6 лет держало меня сначала в Петропавловской крепости, в Алексеевском равелине, потом в Шлиссельбурге. В 57 я был отправлен в Сибирь, пробыл два года в Западной и два года в Восточной. В 61-ом г. бежал из Сибири, с тех пор, разумеется, не возвращался в Россию. Итак, в продолжение 30 лет я прожил всего

4 года (9 лет тому назад), от 57 до 61, на свободе в России, т. е. в Сибири. Это, разумеется, дало мне возможность ближе познакомиться с русским народом, с мужиками, с мещанами и с купечеством, и то специально сибирским, но не с революционной молодежью. В мое время не было других политических ссыльных в Сибири, кроме немногих Декабристов и поляков. Знал я еще, правда, 4-х Петрашевцев*: Петрашевского, Львова и Толя — но эти люди представляли собою нечто переходное от Декабристов к настоящей молодежи, были доктринерными, книжными социалистами, фурьеристами и педагогами. Настоящей молодежи, той, в которую я верю, — это го бессословного сословия, этой бездомно — [...] фаланги народной революции, о которой я говорил несколько раз в своих писаниях, я не знаю** и только теперь начинаю мало-помалу знакомиться с нею.

Большая часть русских людей, приезжавших на поклон к Герцену в Лондон, были порядочники или литераторы, или либеральствующие и демократствующие офицеры. Первый серьезный русский революционер был Потеня, второй Вы. Об Утине и об остальных женевских эмигрантах я говорить не буду. — Значит, до самой встречи с Вами настоящая русская революционная молодежь оставалась для меня «terra incognita».

Немного мне было нужно времени, чтобы понять вашу серьезность, чтобы поверить Вам. Я убедился и до сих пор остаюсь убежденным, что будь вас, таких, хоть немного, вы представляете серьезное дело, единственное серьезное революционное дело в России, и, раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь Вам всеми силами и средствами и связаться, сколько могу, с вашим русским делом. Тем легче было мне решиться на это, что ваша программа, по крайней мере, в прошедшем году, не только вполне соответствовала, но была вполне одинакова с моею программой, выработанною постоянным [...] и целым опытом довольно продолжительной политической жизни. Определим в нескольких чертах эту программу, на основании которой мы с Вами в прошедшем году соединились совершенно и от которой Вы, по-видимому, теперь довольно значительно удаляетесь, но которой я, с моей стороны, остался до такой степени верен, что если б ваши убеждения и удаление ваше или ваших друзей от нее было совершенно окончательным,

я считал бы себя обязанным разорвать все *интимно-политические* отношения к Вам.

Программа ясно высказывается в нескольких словах: всецелостное разрушение государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством народно-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальною, но безыменною и коллективною диктатурою друзей полнейшего народно-го освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество и действующих всегда и везде ради единой цели, по единой программе.

Такова мысль и таков план, на основании которого я соединился с Вами и для исполнения которого я подал Вам руку. Вы сами знаете, как я остался верен признанному мною обещанию союза. Вы знаете, сколько я показал Вам веры, убедившись раз в вашей серьезности и в одинаковости революционных программ между нами. Я не спрашивал Вас, ни кто ваши друзья, ни сколько их, не поверял вашей силы, а верил Вам на слово.

Верил ли я по слабости, по слепости или по глупости? Вы сами знаете, что нет. Вы знаете очень хорошо, что во мне слепой веры никогда не было и что еще в прошедшем году в одиноких разговорах с Вами и раз у Огарева и при Огареве я Вам сказал ясно, что мы Вам верить не должны, потому что для Вас ничего не стоит солгать, когда Вы полагаете, что ложь может быть полезна для дела, что, следовательно, мы другого залога истины ваших слов не имеем, кроме вашей несомненной серьезности и безусловной преданности делу. Что это гарантия большая, но не спасающая, однако, Вас от ошибок, а нас от промахов, если мы предадимся Вам слепо.

И, несмотря на это убеждение, несколько раз высказанное мною Вам, я все-таки оставался в связи с Вами и помогал Вам везде сколько мог; хотите знать, почему это я делал? Во-первых, потому что до вашего отъезда из Женева в Россию наши программы были действительно одинаковы. В этом я мог убедиться не только из всех наших ежедневных разговоров, но еще из того, что все писания мои, задуманные и напечатанные при Вас, возбудили в Вас большую симпатию именно теми пунктами, которые более и яснее других высказывали нашу общую программу, и потому что ваши писания, напечатанные в прошедшем году, носили тот же самый характер.

Во-вторых, потому, что, признавая в Вас действительную и неутомимую силу, преданность, страсть [...] и мышление, я считал Вас и считаю способным сплотить вокруг себя и не для себя, а для дела, настоящие силы; я говорил себе и Огареву, что, если они еще не сплочены, то непременно сплотятся в скором времени.

В-3-х, потому, что, признав Вас из всех мне известных русских людей за самого способного для исполнения этого дела, я сказал себе и Огареву, что нам ждать нечего другого человека, что мы оба стары и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного и более способного, чем Вы; что поэтому, если мы хотим связаться с русским делом, мы должны связаться с Вами, а не с кем другим. Комитета и всего вашего общества мы не знаем и можем судить об них только по Вас. Если же Вы серьезны, почему же вашим друзьям, настоящим или будущим, не быть серьезными. Ваша несомненная серьезность была для меня залогом, с одной стороны, что вы пустых людей в свою среду не допустите, а с другой, что Вы один не останетесь, а будете стараться создать коллективную силу.

Есть, правда, в Вас один слабый пункт, поразивший меня с первых дней нашей встречи, но на который я, признаюсь, не обратил надлежащего внимания, это ваша неопытность, незнание людей и жизни и сопряженный с ними фанатизм, не чуждый мистицизма. Незнакомство с общественными условиями, привычками, нравами, мыслями и обычными чувствами так называемого образованного мира делает Вас, даже и теперь еще, неспособным действовать с успехом в его среде, даже в видах его разрушения. Вы до сих пор еще не знакомы с средствами, которыми можно приобретать в нем влияние и силу, что обрекает Вас на неминуемые промахи всякий раз, когда необходимость самого дела приводит Вас с ним в соприкосновение. Это явно сказалось в несчастной попытке вашей издавать «Колокол» на невозможных условиях. Но о «Колоколе» поговорим после. Незнание людей обрекает Вас на неизбежные промахи. Вы в одно и то же время слишком много требуете и слишком много ожидаете от них, задавая им задачи не по силам, в той вере, что все люди должны быть проникнуты тою же страстью, какою проникнуты Вы. Вы, вместе с тем, совсем не верите в них, вследствие чего Вы отнюдь не рассчитываете на страсть, возбужденную в них, на создавшееся в них напра-

вление, на самостоятельную честность их стремлений к вашей цели, а стараетесь их закрепить, запугать, связать внешними и большею частью далеко недостаточными контролями, так, чтобы, раз попавши в ваши руки, они никогда не могли бы вырваться из них. А между тем они вырываются и будут вырываться из них беспрестанно, пока Вы не перемените систему действий с ними, так же как и не будете искать преимущественно в них самих главного соединения с Вами. Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков, Вы говорили, что все люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей должно быть нормальным, естественным, ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм Вы хотели бы, да еще и теперь хотите сделать правилом общежития. Вы хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и общества. Такое хотение гибельно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы понапрасну и стрелять всегда мимо. Никакой* человек, как бы он ни был силен лично, и никакое общество, как бы совершенна ни была его дисциплина и как бы могуча ни была его организация, никогда не будет в силах победить природу. Пытаться ее победить могут только религиозные фанатики и аскеты — и потому я удивлялся недолго и немного, встретив в Вас какой-то мистически-пантеистический идеализм. В связи с вашими характерными направлениями мне это казалось ясно совершенно, хотя и совершенно нелепо. Да, мой милый друг, Вы не материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем должен быть не Бабеф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола. Вы по образу мыслей подходите больше к Тецелю** [...] более к иезуитам, чем к нам. Вы фанатик — в этом ваша огромная характерная сила; но вместе с тем и ваша слепота, а слепота, большая и губительная слабость, слепая энергия блуждает и спотыкается, и чем страшнее она, тем неминуемое и тем значительнее промахи. В Вас огромный недостаток критики, а при таком недостатке [...] оценка людей, положений и соразмерений средств с целью [...] невозможны.

Все это я понимал и говорил еще себе в прошедшем году. Но все это уравнивалось во мне в вашу пользу

двумя соображениями. Во-первых, я признавал и признаю в Вас огромную и, можно сказать, абсолютно чистую силу — чистую от всякой себялюбивой и тщеславной примеси, силу, подобную которой я не встречал еще в других русских людях; а во-вторых, я говорил и говорю себе, что Вы еще молоды, к тому же так цельны* и так отречены от личных, себялюбивых капризов и самообольщений, что не можете оставаться долгое время на ложном пути и в заблуждении, пагубном для самого дела. Я и теперь в этом уверен.

Наконец, я очень хорошо чувствовал и видел, что Вы далеко не имели ко мне полного доверия и во многих отношениях стремились сделать меня средством для неизвестных мне ближайших целей. Но это нисколько не смущало меня.

Во-первых, мне нравилась ваша молчаливость насчет лиц, принимавших участие в вашей организации, и насчет того убеждения, что в такого рода делах людям самым доверенным и близким следует знать только о том, знание чего *практически* необходимо для успеха их специального дела. И Вы мне отдадите эту справедливость, что я никогда не делал Вам нескромных вопросов. Если б Вы даже, в противность своей обязанности, назвали мне имена, то я все-таки не узнал бы ничего, не зная лиц, носящих эти имена. Я был бы принужден судить о них по Вас, а Вам я верил и верю. Комитет, составленный из людей Вам подобных и заслуживших ваше полное доверие, по-моему, заслуживает с нашей стороны не менее полное доверие.

Является вопрос: существовала ли, действительно, ваша организация или Вы только собирались кое-как создать ее? А если она существовала, была ли она многочисленна, составляла ли уже, по крайней мере, зародыш силы или все это существовало только в надежде? Существовал ли даже сам Комитет, ваша святая святых, в том виде и с тем несомненным сплочением сил на жизнь и на смерть — или Вы только готовились создать его, одним словом, представляли ли Вы собою одиночную, весьма почтенную, правда, но только личную силу или силу коллективную, уже действительно существующую? И [...] если общество и руководящий Комитет действительно существовали, предполагая в них, особенно в Комитете, исключительное участие людей верных, крепких, так же фанатически преданных и от себя отреченных, как

Вы сами, мне представляется еще другой вопрос: было ли и есть ли в нем достаточно практического ума и знания, достаточно теоретической подготовки и способности понимания условий и отношений русской народной и сословной жизни для того, чтобы сделать революционный Комитет, никак не ничтожный, а действительный, и для того, чтобы покрыть всю русскую жизнь и проникнуть во все общественные слои действительно могучею организацией. От горячей энергии действующих зависела искренность дела, от их практического ума и знания — его успех.

Для того чтобы узнать это, для того, в действительности и в возможности, т. е. в уме вашего предприятия, я Вам беспрестанно ставил множество вопросов и признаюсь, что ваши ответы отнюдь не удовлетворяли меня. Как Вы ни отвертывались и ни виляли, Вы поневоле мне высказали следующее: общество ваше по своей численности было еще весьма незначительно, по материальным средствам своим еще менее. Практического ума, знания и умения в нем еще очень мало. Но Комитет, Вами составленный, без сомнения, из людей, подобных Вам, и между ними Вы — один из самых лучших, из самых крепких. Вы создатель и до сих пор руководитель общества. Все это, мой милый друг, я понял и узнал еще в прошедшем году. Но это отнюдь не мешало мне присоединиться к Вам, признав в Вас [...], умного и страстно преданного деятеля, каких мало, уверенный в том, что Вы успели найти хоть несколько людей, Вам подобных, и сплотиться с ними, я также был уверен и до сих пор остаюсь уверенным в том, что путями опыта и горячих и неутомимых стремлений Вы скоро добьетесь до того знания, ума и умения делать, без которого успех невозможен. А так как, кроме вашего кружка, я не предполагал и не предполагаю возможности существования в России другого столь же серьезного кружка, то, несмотря на все, я решился остаться в соединении с Вами.

Я несколько не сердился на Вас за то, что Вы старались постоянно преувеличивать предо мною вашу силу, это объективная и часто полезная, а иногда и смелая замахка всех конспираторов. Правда, что я видел в вашем старании обмануть меня доказательство вашего, еще недостаточного, понимания людей. Мне казалось, что из всех разговоров наших Вы должны были понять, что для того, чтобы привлечь меня, не требовалось с вашей стороны доказательств уже существующей и организованной

силы, а только доказательство непреклонной и разумной воли создать такую силу. Я понял также то, что, являясь передо мной как представитель и нечто вроде посланника уже существующей и достаточно сильной организации, таким образом казалось Вам, Вы ставили себя в положение представить мне свои условия от очень могучей силы; в то время, когда бы Вы явились только передо мною как лицо, собирающее силу, Вы должны были бы говорить со мною как равный с равным, как лицо с лицом и подвергнуть моему [...] и вашу программу, и план действий.

Это не входило в ваши расчеты. Вы были слишком фанатически преданы вашей программе и вашему плану, для того чтобы подвергнуть их чьей бы то ни было критике. А во-вторых, вы не имели достаточно веры в мою преданность делу и в мое разумение его, для того чтобы показать мне самое дело в настоящем его виде. Вы относились скептически ко всей эмиграции и были правы, ко мне, может быть, менее скептически, чем к другим, потому что я Вам дал слишком много доказательств моей готовности служить делу, без всяких личных притязаний и тщеславных расчетов. Но все-таки Вы смотрели на меня как на инвалида, советы и знания которого могут быть иногда полезны, не более [...]: участие которого в вашем горячем деле было бы излишне и даже вредно. Я это слишком хорошо видел, но это отнюдь не обижало меня. Вы сами знали [...] этого и не могли меня побудить к разъединению с Вами. Мне не след было доказывать Вам, что я совсем не такой отпетый к делу горячему, настоящему делу, неспособный человек, как Вам казалось. Я предоставлял и предоставляю времени и вашему собственному опыту убедиться в противном.

К тому же было и до сих пор существует особенное обстоятельство, принудившее и принуждающее меня держать себя весьма осторожно по отношению ко всем русским делам и людям. Это мое совершенное безденежье. Всю жизнь я боролся с бедностью, и всякий раз, когда мне удавалось предпринять и делать мало-мальски что-нибудь полезное, я делал это не на свои, а на чужие средства. Это с давних времен навлекло на меня, особенно со стороны русской сволочи, целую тучу клеветы и нареканий.

Эти господа совсем опоганили мою репутацию и тем значительно парализовали мою деятельность. Нужно было всей неподдельной страсти и искренней воли, кото-

рые в себе, без всякого хвастовства и по опыту, сознаю, для того, чтобы не сломиться и для того, чтобы продолжать делать. Вы также [...] знаете, как ложны и подлы слухи о моей личной роскоши и о моем стремлении наживиться на счет других, надувании других. А между тем русская эмигрантская сволочь — Утин и Компани — смеет называть меня надувателем и своекорыстным эксплуататором, меня, который с тех пор, как я себя помню, никогда не жил и не хотел жить в свое удовольствие и стремился всегда к освобождению других. Не примите это за самохвальство — я говорю *Вам это* и друзьям и чувствую необходимость и право высказать это Вам один раз навсегда.

Ясно, что для того, чтобы предать себя полному служению дела, я должен иметь средства для жизни. Я становлюсь стар, восьмилетнее [...] заключение породило во мне хроническую болезнь, с моим поэтому попорченным [...], требующим известного ухода, известных условий, для того, чтобы служить делу с пользой — к тому же у меня жена, дети, которых я не могу обречь на голодную смерть; я старался уменьшать донельзя издержки, но все-таки без известной суммы в месяц существовать не могу. Откуда же взять эту сумму, если я весь труд свой отдаю общему делу?

Есть еще другие соображения; основав несколько лет тому назад Интернационально-тайно-революционный Союз*, я не могу и не хочу бросать его, для того чтобы предаться исключительно русскому делу. К тому же в моей мысли интернациональное и русское дело — одно дело. До сих пор интернациональное дело не давало мне средств к жизни, а только вовлекало в издержки. Вот Вам в нескольких словах ключ к моему положению, и Вы поймете, что эта бедность, с одной стороны, а с другой, подлые клеветы, распущенные обо мне русскими эмигрантами, связывают меня в отношении ко всем новым людям, в отношении ко всем делам. Видите, сколько было причин для меня Вам не навязываться, не требовать от Вас доверия, более чем Вам казалось полезным; [...] ждать, чтоб Вы и ваши друзья убедились, наконец, сами в возможности, в пользе и необходимости вашего доверия.

Вместе с тем я очень хорошо видел и знал, что, обращаясь ко мне не как равный к равному, не как доверяющий к доверенному лицу, Вы, сообразно вашей системе

и повинуюсь, так сказать, логической необходимости, смотрели на меня как на опытное, на $\frac{3}{4}$ слепое орудие для дела и употребляли меня, мою деятельность, мое имя как средства. Таким образом, не имея в действительности той силы, о которой Вы мне говорили, Вы пользовались моим именем, для того чтобы создать силу в России; так что много людей действительно думают, что я нахожусь во главе тайного общества, о котором я сам, как Вам, впрочем, известно, ровно ничего не знаю.

Должен ли я был позволить употребление своего имени как средства для пропаганды и для привлечения людей в организацию, план действий и ближайшие цели которой были мне на $\frac{3}{4}$ неизвестны? Не запинаясь, отвечаю утвердительно, да, мог и должен. Вот мои причины:

Во-первых, я всегда был убежден, что русский революционный Комитет должен и может действовать только в России и управление русской революцией делать из-за границы — нелепость.

Если Вы и друзья ваши останетесь долго за границей, то я и вас бы объявил неспособными быть долее членами Комитета. Если вы сделаетесь эмигрантами, то вы должны будете так же точно, как сделал я, подчиняться во всем русским делам в России, безусловному руководству, признаваемому вами (на основании программ и плана, обсужденных вместе) новому Комитету в самой России; сами же образовать заграничный русский Комитет для самостоятельного управления всеми русскими отношениями, делами, людьми и кружками за границей, в полном согласии с видами русского Комитета, но с подлежащею автономиею и независимостью в выборе средств и способов действий, и, главное, в совершенном согласии с Интернациональным Союзом. В таком случае я буду требовать по обязанности, по праву быть равноправным членом этого заграничного русского комитета, что и сделал, впрочем, в последнем письме к Комитету и к Вам, признавая, что русский Комитет должен быть в самой России. Я, разумеется, не имел возможности и намерения возвратиться в Россию, не имею также и претензии быть его членом. С программой и общими целями действий его я познакомился через Вас и, так как был с Вами вполне согласен, изъявил свою готовность, свою твердую решимость помогать и служить ему всеми зависящими от меня средствами; а так как мое имя казалось Вам средством, полезным для привлечения новых людей в *вашу* организацию, я дал

Вам свое имя. Я знал, что оно будет употреблено для дела (в этом мне служили ручательством наша общая программа и ваш характер), и не боялся, что рядом ошибочных действий, промахов оно может подвергнуться общественному нареканию — к ругательствам мне не привыкать стать.

Но вспомните, что еще прошедшим летом было выговорено между нами, что все русские предприятия, дела и люди за границей будут известны мне и что все, что ни будет сделано или предпринято за границей, не будет сделано без моего ведома и согласия. Это было условие необходимое. Во-1-х, потому, что я гораздо лучше знаю заграничный мир, чем кто-либо из вас, а, во-2-х, потому, что слепая и несамостоятельная солидарность с Вами в заграничных делах и публикациях могла бы поставить меня в положение, противное обязанностям и правам как члена Интернационального Союза. Это условие, как мы увидим, однако, не было исполнено с вашей стороны; *и если оно не будет* приведено в исполнение *совершенное*, я буду вынужден разорвать с Вами всякие интимно-политические отношения.

Прежде всего моя система разнится тем, что она не признает ни пользы, ни даже самой возможности другой революции, кроме стихийной, или народно-социальной. Всякая другая революция, по моему глубочайшему убеждению, бесчестна, вредна, свободо- и народоубийственна, потому что она сулит народу новую нищету и новое рабство; а главное, всякая другая революция стала отныне невозможною, недостижимой и неисполнимою. Централизация и цивилизация, железные дороги, телеграфы, новое вооружение и новая организация войск, вообще административная наука, т. е. наука систематического порабощения и эксплуатирования народных масс и наука укрощения народных и всяких других бунтов, столь тщательно разработанная, проверенная опытом и усовершенствованная в продолжение последних 75 лет новейшей истории, — все это вместе вооружило государство в настоящее время такою громадною силою, что все искусственные, тайно-заговорные и внеародные попытки, внезапные нападения, сюрпризы, удары — должны обрушиться об нее и что оно может быть побеждено, сломлено только стихийно-народно-социальною революцією.

Итак, единственную целию тайного общества должно быть не создание искусственной внеародной силы, а воз-

буждение, сплочение и организация стихийных народных сил; таким образом, единственно возможная, единственно действительная армия революции — не вне народа, а сам народ. Народ искусственно возбудить невозможно, народные революции порождаются самою силою вещей или тем историческим током, который подземно и невидимо, хотя и беспрерывно и большею частью медленно, течет в народных слоях, все больше их обнимая, проникая, подкапывая, до тех пор, пока не вырвется из-под земли наружу и, своим бурным течением ломая препятствия, не уничтожит всего, что ему попадется на дороге.

Такую революцию искусственно произвести невозможно. Нельзя даже ее значительно ускорить, хотя и не сомневаюсь в том, что дельная и умная организация может облегчить ее взрыв. Есть периоды в истории, когда революции просто невозможны; есть другие периоды, когда они неминуемы. В каком из этих двух периодов мы находимся ныне? По моему глубокому убеждению, в периоде повсеместной неминуемой народной революции. Не стану доказывать справедливость такого убеждения, потому что это завлекло бы меня слишком далеко. К тому же мне и не нужно доказывать ее, так как я обращаюсь здесь к человеку и людям, которые, кажется, разделяют это убеждение вполне. Я говорю: везде, в целой Европе социально-народная революция неминуема. Скоро ли она вспыхнет и где вспыхнет прежде: в России, или во Франции, или в какой другой части Запада? Никто этого предсказать не может. Может быть, она вспыхнет через год, прежде года, может, не прежде 10 или 20 лет. Не в том дело, и люди, которые намерены честно служить, служат ей не ради своей потехи. Все тайные общества, которые хотят принести ей действительную пользу, должны прежде всего отказаться от всякой нервозности, от всякого нетерпения. Спать они не должны, должны, напротив, быть по возможности готовыми во всякую минуту, следовательно, на чеку, всегда способными воспользоваться каждым удобным случаем; но вместе с тем они должны быть заложены и организованы не в видах близкого восстания, а с целью продолжительной и терпеливой подземной работы по примеру наших друзей отцов иезуитов.

Ограничу свои рассуждения Россиею. Когда грянет русская революция? Мы этого не знаем. Многие, и я грешный, между прочим, ждали всенародного восстания в 1870 году, а народ не проснулся. Должно ли из это-

го заключить, что русский народ может обойтись и без революции, что он минует ее? Нет, такое заключение невозможно, было бы бессмысленно. Кто знает безвыходное, просто критическое положение нашего народа в экономическом и политическом отношении, а с другой стороны, решительную неспособность нашего правительства, нашего государства не только изменить, но хоть сколько-нибудь облегчить его положение — неспособность, вытекающую не из того или другого свойства наших правительственных лиц, а из самой сущности нашего государственного строя в особенности и вообще всякого государства, — тот непременно должен прийти к заключению, что русская народная революция неминуема. Она не только отрицательно, она положительно неминуема, потому что в нашем народе, несмотря на все его невежество, исторически выработался идеал, к осуществлению которого он известно или неизвестно стремится. Этот идеал — общинное владение землею с полною свободою от всякого государственного притеснения и от всяких поборов. К этому стремился он при Лжедмитриях, при Стеньке Разине, при Пугачеве и стремится теперь непрерывными, но разрозненными и потому всегда укрощаемыми бунтами.

Я указал только на две главные черты народно-русского идеала, отнюдь не имея претензии очертить его вполне несколькими словами. Мало ли что живет еще в интеллектуальных стремлениях русского народа и что выйдет на свет с первою революциею. Теперь мне и этого достаточно для того, чтобы доказать, что наш народ не белый лист бумаги, на котором любое тайное общество может написать что ему угодно, — например, хоть вашу коммунистическую программу. У него выработалась, отчасти сознательно, на три четверти, пожалуй, бессознательно, программа своя, которую тайная организация должна узнать, угадать и с которой она обязана будет сообразоваться, если только желает успеха.

Несомненный и равно нам известный факт, что при Стеньке Разине, также и при Пугачеве, т. е. всякий раз, когда народный бунт удавался, хоть на некоторое время, народ наш делал одно: забирал всю землю в общинное владение, отправлял к черту дворян-помещиков, царских чиновников, а иногда и попов и организовывал свою вольную общину. Значит, у нашего народа есть в памяти и в идеале уже один драгоценный элемент для будущей организации, элемент, которого еще нет у западных наро-

дов, — это *вольная экономическая община*. В народной жизни и в народной мысли есть два начала, два факта, на которые мы опереться можем: частые бунты и вольно-экономическая община. Есть еще третье начало и третий факт, это — казачество или разбойнически-воровской мир, заключающий в себе равно протест и против государственного, и против патриархально-общинного притеснения и напоминающий, так сказать, две первые.

Частные бунты, хотя и вызываемые всегда случайными обстоятельствами, тем не менее, проистекают из общих причин и выражают глубокое и всеобщее неудовольствие народа. Они составляют как бы обыденное или обыкновенное явление русской народной жизни. Нет деревни в России, которая бы не была глубоко недовольна своим положением и которая не ощущала бы нужду, тесноту, притеснения* и не таила в глубине своего коллективного сердца желание захватить всю помещичью, а затем всю крестьянско-кулацкую землю и убеждение, что она имеет на это несомненное право, — нет деревни, которую умеючи не было бы возможности взбунтовать. Если деревни не бунтуются чаще, так это единственно от страха, от сознания своего бессилия. Сознание это происходит от разъединенности общин, от отсутствия действительной солидарности между ними. Если бы каждая деревня знала, могла надеяться, что, в то время как она встанет, встанут все другие, то можно сказать наверное, что не было бы ни одной деревни в России, которая бы не взбунтовалась. Отсюда вытекает первая обязанность, назначение и цель тайной организации: пробудить во всех общинах сознание их неотвратимой солидарности и тем самым возбудить в русском народе сознание могущества — одним словом, соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий, всенародный бунт.

Одним из главных средств к достижению этой последней цели, по моему глубокому убеждению, может и должно служить наше вольное всенародное казачество, бесчисленное множество наших святых и несвятых бродяг, богомоллов, *бегунов*, воров и разбойников — весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, искони протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнутовой цивилизации. Это было высказано в безымянном листке «Постановка революционного вопроса»** и вызвало у всех наших порядочников и тщеславных болтунов, принимающих свою доктринер-

скую византийскую болтовню за дело, вопль негодования. А между тем это совершенно справедливо и подтверждается всею нашею историею. Казачий воровско-разбойнический и бродяжнический мир играл именно эту роль совокупителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве; народные бродяги — лучшие и самые верные проводники народной революции, приурочиватели общих народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги при случае легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор? Уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, с своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противучеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и между народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Народно-разбойничий мир, признаюсь, с точки зрения истинно человеческой, далеко, далеко не красив. Да что же красиво в России? Разве может быть что-нибудь грязнее нашего порядочного чиновно- или мещанско-цивилизованного и чистоплотного мира, скрывающего под своими западногладкими формами самый страшный разврат мысли, чувства, отношений и действий! Или, в самых лучших случаях, безотрадную и безвыходную пустоту. В народном разврате есть, напротив, природа, сила, жизнь, есть, наконец, право многовековой исторической жертвы; есть могучий протест против коренного начала всякого разврата, против Государства — есть, поэтому, возможность будущего. Вот почему я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России.

Я понимаю, что это может привести в негодование чистоплотных или даже нечистоплотных идеалистов наших — идеалистов всякого цвета, от Утина до Лопатина, воображающих, что они могут насильственным образом, посредством искусственной* тайной организации навязать народу свою мысль, свою волю, свой образ действий. Я в эту возможность не верю, а убежден, напротив, что при первом разгроме всероссийского государства, откуда

бы он ни произошел, народ подымется не по утинскому, не по лопатинскому и даже не по *вашему* идеалу, а по *своему*, что никакая искусственная конспирационная сила не будет в состоянии воздержать или даже видоизменить его *самородного* движения, — ибо никакая плотина не в состоянии воздержать бунтующего океана. Вы все, мои милые друзья, полетите как щепки, если не сумеете плыть по народному направлению, — уверен, что при первом крупном народном восстании бродяжнически-воровской и разбойнический мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо.

Хорошо ли это или дурно, это факт несомненный и неотвратимый, и кто хочет действительно русской народной революции, кто хочет служить ей, помогать ей, организовать ее не на бумаге только, а на деле, тот должен знать этот факт; мало того, тот должен считаться с ним, не стараясь его обходить, и встать к нему в сознательно-практическое отношение, уметь употребить его как могучее средство для торжества революции. Тут чистоплотничать нечего. Кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки его не спасут от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно-привилегированный и всенародный мир, — ужасный мир. Русская революция будет несомненно ужасная революция. Кто ужасов или грязи боится, тот отойди и от этого мира, и от этой революции; кто же хочет служить последней, тот, зная на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему.

Употребить разбойничий мир как орудие народной революции, как средство для совокупления и для разобщения* частных общинных бунтов — дело нелегкое; я признаю его необходимость, но вместе с тем вполне сознаю свою полнейшую неспособность к нему. Для того чтобы его предпринять и довести его до конца, надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырскою силою, страстным убеждением и железною волею. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны. Идти к разбойникам — не значит самому сделаться разбойником и только разбойником, не значит делить с ними все

их неспо < койные > страсти, бедствия, часто гнусные цели, чувства, действия — но значит дать им новую душу и возбудить в них другую, всенародную цель — у этих диких и до жестокости грубых людей натура свежая, сильная, непочатая и неистощенная и, следовательно, открыта для живой пропаганды, если пропаганда, разумеется, живая, а не доктринерская, посмеет и сумеет подойти к ним. Об этом предмете я готов сказать еще много, если только придется мне продолжать с Вами эту переписку.

Другой драгоценный элемент будущей народной жизни в России, сказал я, это вольно-экономическая община, элемент действительно драгоценный, которого нет на Западе. Западная социальная революция должна будет создать этот необходимый и основной зародыш всей будущей организации, и создание его будет стоить Западу много, много хлопот. У нас он уже создан; случись революция в России, провались государство со всеми своими чиновниками, русская деревня организуется без малейшего труда сама собою в тот же день. Но зато в России предстоит трудность другого рода, которой нет на Западе. Наши общины страшно разъединены, почти не знают друг друга и часто становятся друг к другу во враждебное отношение, по древнему русскому обычаю. В последнее время *благодаря финансовым мерам правительства* они стали привыкать к волостному соединению, так что волость приобретает все более и более народный смысл, народное освящение, но затем все и кончается. Волости решительно не знают и не хотят знать друг о друге. А для устройства революционной победы, для организации будущей народной свободы необходимо, чтобы волости *собственным народным движением* соединились в уезды, уезды в области, области же образовали бы между собою вольную русскую федерацию.

Пробудить в наших общинах сознание этой необходимости ради их собственной свободы и пользы — опять-таки дело тайной организации — потому что никто, кроме нее, никто за это дело приняться не захочет, интересы правительства и всех привилегированных классов ему прямо противны. Как за него приняться, что и как делать, чтобы пробудить в общинах это спасительное, едино-спасительное сознание, — об этом распространяться здесь не место.

Так вот, милый друг, в ее главных чертах целая программа народно-русской революции, глубоко запечатлен-

ная в историческом инстинкте и в целом положении нашего народа. Кто хочет встать во главе народного движения, тот должен принять ее вполне и быть ее исполнителем. Кто захочет навязать народу *свою* программу, тот останется в дураках.

Сам народ, как мы видели, вследствие невежества и разъединения не в состоянии ее формулировать, связать в систему и сплотиться во имя ее. Значит, ему нужны помощники. Откуда же возьмутся эти помощники? Это во всякой революции самый трудный вопрос. До сих пор на целом Западе помощники революции, выходя из привилегированных классов, оказывались почти всегда ее эксплуататорами. И в этом отношении Россия опять-таки счастливее Запада. В России есть огромная масса в одно и то же самое время образованных, мыслящих и лишенных всякого положения, всякой карьеры, всякого выхода людей: три четверти по крайней мере ныне учащейся молодежи находится именно в таком положении. Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян, ну да что говорить, Вы знаете этот мир лучше меня. Принимая народ за революционную армию, вот наш генеральный штаб, вот материал, драгоценный для тайной организации.

Но этот мир надо действительно организовать и *морализировать*. Вы же своею системою его развращаете и готовите в нем себе изменников, народу же эксплуататоров. Вспомните, что во всем этом мире, за исключением малого числа железных, высоконравственных натур, выработавшихся посреди грязного притеснения и несказанной нужды, по дарвиновскому методу, — настоящей нравственности очень немного. Добродетельны, т. е. народолюбивы они, стоят за всякую справедливость против всякой несправедливости, за всех притесненных против всех притеснителей — только благодаря положению, отнюдь же не по сознанию и по воле. Возьмите Вы из этого мира по жребии сотню людей и поставьте их в положение, которое бы позволило им эксплуатировать и притеснять народ, — можно сказать наверное, что они будут его преспокойно эксплуатировать и притеснять. Следовательно, самостоятельной добродетели в них мало. Надо, пользуясь их бедственным, помимо воли их добродетельным положением, постоянною пропагандою и силою организации возбудить, воспитать, укрепить в них и сделать страстно-сознательною эту добродетель. А Вы делаете совер-

шенно противное; следуя иезуитской системе, Вы систематически убиваете в них всякое человеческое личное чувство, всякую личную справедливость — как будто бы чувство и справедливость могли быть безличными — воспитываете в них ложь, недоверие, шпионство и доносы, рассчитывая гораздо больше на внешние пути, которыми Вы их связали, чем на их внутреннюю доблесть. Так что стоит только перемениться обстоятельствам, достаточно, чтобы они сознали, что правительственный страх страшнее вашего страха, для того чтобы, воспитанные Вами, они сделались отличными правительственными слугами и шпионами. Ведь факт теперь несомненный, мой милый друг, что огромное большинство ваших товарищей, попавших в полицейские руки, без особенного усилия со стороны правительства, *без пыток*, все и всех выдали. Этот грустный факт, если Вы только исправимы, должен Вам открыть глаза и заставить Вас переменить систему.

Как же морализировать этот мир? Возбуждая в нем прямо, сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силою которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу. Таково должно быть отныне единственное содержание нашей пропаганды. Ближайшая цель ее — создание тайной организации, организации, которая должна в одно и то же время создать народо-вспомогательную силу и сделаться практическою школою нравственного воспитания для всех членов.

Прежде всего определим ближе цель, значение и назначение этой организации. В моей системе, как я уже несколько раз заметил выше, она не должна составлять революционной армии — у нас должна быть только одна революционная армия — народ, — организация должна быть лишь только штабом этой армии, организатором не своей, а народной силы, посредницею между народным инстинктом и революционною мыслию. А революционная мысль только потому и революционерна, жива, действительна, истинна, что она выражает и только поскольку она формирует народные инстинкты, выработанные историею. Стремиться навязать народу *свою* мысль, простую [...] или чуждую его инстинктам, — значит хотеть поработить его новому государству. Поэтому организация, хотящая искренно только освобождения народной жизни, должна принять программу, которая была бы полнейшим

выражением народных стремлений. Мне кажется, что программа, изображенная в первом номере «Народного дела»*, вполне соответствует этой цели. Она не навязывает народу никаких новых постановлений, порядков, форм жизни, а только разнуздывает его волю и дает широкий простор его самоопределению и его экономически-социальной организации, которая должна быть создана им самим, снизу вверх, а не сверху вниз. Организация должна нелицемерно проникнуться мыслию, что она слуга, помощник, отнюдь же не повелитель народа, а также и не распорядитель над ним, ни в каком случае и ни под каким предлогом, ни даже под предлогом народного блага.

Организации предстоит огромная задача: не только приготовить торжество революции народной посредством пропаганды и сплочения народных сил; не только разрушить до конца силою этой революции весь ныне существующий экономический, социальный и политический порядок вещей; но еще, пережив самое торжество революции, на другой день народной победы сделать невозможным установление какой бы то ни было государственной власти над народом — даже самой революционной, по-видимому, даже вашей, — потому что всякая власть, как бы она ни называлась, непременно образом подвергла бы народ старому рабству в новой форме. Поэтому организация наша должна быть довольно крепка и живуча, чтобы пережить первую победу народа, — а это совсем нелегкое дело, — должна быть так глубоко проникнута своим началом, чтобы можно было надеяться, что даже посреди самой революции она не изменит ни мыслей, ни характера, ни направления. В чем же должно будет состоять это направление? Что будет главною целью и задачею организации? *Помочь народу самоопределиться на основании полнейшего равенства и полнейшей и всесторонней человеческой свободы, без малейшего вмешательства какой бы то ни было, даже временной или переходной, власти, т. е. без всякого государственного посредства.*

Мы отъявленные враги всякой *официальной власти* — будь она хоть распререволюционная власть, — враги всякой публично признанной диктатуры, мы — социально-революционные анархисты. Но если мы анархисты, спросите Вы, каким правом хотим мы и каким способом будем мы действовать на народ? Отвергая всякую власть, какую властью или, вернее, какую силою будем мы сами руководить народную революцию? *Невидимую, никем не признан-*

ною и никому не навязывающуюся силою, коллективную диктатуру нашей организации, которая будет именно тем могущественнее, чем более она останется незримой и непризнанной, чем более она будет лишена всякого официального права и значения.

Вообразите себя посреди торжества стихийной революции в России. Государство и вместе с ним все общественно-политические порядки сломаны. Народ весь встал, взял все, что ему понадобилось, и разогнал всех своих супостатов. Нет более ни законов, ни власти. Вzbунтовавшийся океан изломал все плотины. Вся эта далеко не однородная, а, напротив, чрезвычайно разнородная масса, покрывающая необъятное пространство всероссийской империи всероссийским народом, начала жить и действовать из себя, из того, что она есть в самом деле, а не из того более, чем ей было приказано быть, везде по-своему, — повсеместная анархия. Вzbаламученная грязь, которой огромное количество накопилось в народе, всплывает вверх; является на разных пунктах множество новых лиц, смелых, умных, бессовестных и честолюбивых, которые, разумеется, стремятся, каждый по-своему, овладеть народным доверием и направить его к своей личной пользе. Люди эти сталкиваются, борются, уничтожают друг друга. Кажется, ужасная и безвыходная анархия.

Но представьте себе посреди этой всенародной анархии тайную организацию, разбросившую своих членов мелкими группами по целому пространству империи, но тем не менее крепко сплоченную, одушевленную единою мыслию, единою целью, применяемую везде, разумеется, сообразно обстоятельствам и везде действующую по тому же самому единому плану. Эти мелкие группы, никем не знаемые как такие, не имеют никакой официально признанной власти. Но, сильные своею мыслию, выражающей самую суть народных инстинктов, хотений и требований, своею ясно сознанною целию, посреди толпы людей, борющихся без всякой цели и без всякого плана, сильные, наконец, тою тесною солидарностью, которая связывает все темные группы в одно органическое целое, сильные умом и энергией членов, составляющих их и успевших создать вокруг себя круг людей, более или менее преданных той же мысли и подчиненных натурально их влиянию, — эти группы, не ища ничего для себя, ни льгот, ни чести, ни власти, будут в состоянии руководить народным движением наперекор всем честолюбивым ли-

цам, разьединенным и борющимся между собою, и вести его к возможно полному осуществлению социально-экономического идеала и к организации полной народной свободы. Вот что я называю *коллективной диктатурой* тайной организации.

Эта диктатура чиста от всякого корыстолюбия, тщеславия и честолюбия, потому что она безлична, невидима и не доставляет ни одному из лиц, составляющих группы, ни самим группам ни выгоды, ни чести, ни официального признания власти. Она не угрожает свободе народа, потому что, лишенная всякого официального характера, она не становится, как государственная власть, над народом и потому что вся ее цель, определенная ее программой, состоит в полнейшем осуществлении народной свободы.

Такая диктатура отнюдь не противна свободному развитию и самоопределению народа, равно как и организации его снизу вверх, сообразно его собственным порядкам и инстинктам, потому что она исключительно действует на народ только натуральным личным влиянием своих членов, не облеченных ни малейшею властью, разбросанных невидимою сетью во всех областях, уездах и общинах и в согласии друг с другом старающихся, каждый на своем месте, направить стихийно-революционное движение народа к общему наперед сговоренному и твердо определенному плану. Этот план, план организации народной свободы, во-1-х, должен быть довольно твердо и ясно начерчен в своих главных началах и целях, для того чтобы исключить всякую возможность недоразумения и блуда со стороны членов, которые будут призваны действовать его исполнению. А во-2-х, он должен быть достаточно широк и естественен для того, чтобы объять и принять в себя все неотвратимые видоизменения, вытекающие из разных обстоятельств, все разнообразные движения, происходящие из разнообразия народной жизни.

Итак, весь вопрос состоит теперь в том, как организовать из элементов, нам доступных и известных, такую тайную коллективную диктатуру и силу, которая могла бы, во-1-х, в настоящее время повести широко народную пропаганду, пропаганду, *действительно* проникающую в народ, и силою этой пропаганды, а также и *организацией в самом народе* совокупить разрозненные силы народа в такое могущество, способное сломать государство, и которая, во-2-х, могла бы сохраниться посреди самой революции,

не распалась бы и не изменила бы своему направлению на другой день народной свободы.

Такая организация, в особенности же основное ядро этой организации, должно быть составлено из людей самых крепких, *самых умных и по возможности знающих, т. е. опытно-умных*, самых страстно, непоколебимо и неизменно преданных людей, которые, отрешившись, по возможности, от всех личных интересов и отказавшись один раз навсегда, на всю жизнь, по самую смерть от всего, что прельщает людей, от всех материально-общественных удобств и наслаждений и от всех удовлетворений тщеславия, чинолюбия и славолубия, были бы единственно и всецело поглощены единою страстью всенародного освобождения; людей, которые отказались бы от личного исторического значения при жизни и даже от исторического имени после смерти.

Такое полное самоотречение возможно только при страсти. Вы не произведете его сознанием абсолютного долга, но еще менее системою внешнего контролирования, опутывания и принуждения. Только одна страсть может произвести в человеке такое чудо, такую мощь без усилия. Откуда же берется и как образуется такая страсть в человеке? Она берется из жизни и образуется совокупным действием мысли и жизни; отрицательно, как ненавистный протест против всего существующего и гнетущего; положительно же, в обществе одномыслящих и одинаково чувствующих людей, как коллективное создание нового идеала; причем надо заметить, что эта страсть тогда только действительна и спасительна, когда в ней в одинаковой мере и тесно связаны обе стороны — отрицательная и положительная. Одна отрицательная страсть, ненависть, ничего не создает; не создает даже силы, необходимой для разрушения, а следовательно, ничего и не разрушит; одна положительная ничего не разрушит, а так как создание нового невозможно без разрушения старого, также и ничего не создает, оставаясь всегда доктринерским мечтанием или мечтательным доктринерством.

Страсть, глубокая, неискоренимая и непоколебимая страсть, значит, — основа всему. В ком ее нет, будь он семи пядей во лбу, будь он человек самый честный, тот не в силах будет выдержать до конца борьбы против страшного общественно-политического могущества, нас всех подавляющего, не в силах будет устоять против всех трудностей, невозможностей, а главное, против всех разочаро-

ваний, которые ожидают и непременно встретят его в этой неравной и ежедневной борьбе; у человека без страсти не будет ни силы, ни веры, ни инициативы, не будет отваги, а без отваги такое дело не делается. Но одной страсти мало, страсть порождает энергию; но энергия без разумного руководства бесплодна, нелепа. Вместе со страстью необходим, поэтому, также разум холодный, расчетливый, реальный, практический прежде всего, но вместе теоретический, воспитанный и знанием, и опытом, широко объемлющий, но не упускающий также из виду никаких подробностей, способный понимать и различать людей, схватывать действительность, отношения и условия общественной жизни во всех слоях и проявлениях, в их настоящем виде и смысле, а не мечтательно и не произвольно, как это делает довольно часто мой приятель, а именно Вы. Потребно, наконец, положительное знание и России, и Европы, и настоящего социального и политического положения и настроения и той и другой. Значит, самая страсть, оставаясь все-таки и всегда основным элементом, должна руководиться разумом и знанием, должна перестать пороть горячку, не утратив своего внутреннего пламени, своей горячей непреклонности, сделаться холодною и тем сильнейшею страстью.

Вот Вам идеал заговорщика, призванного быть членом ядра тайной организации.

Вы спросите, да где же взять таких людей, разве их в России, да и в целой Европе много? В том-то и дело, что в моей системе их совсем не требуется много. Помните, что Вам не нужно будет создавать армию, а только штаб революции. Таких людей, уже почти совсем готовых, Вы найдете, может быть, десять, а людей, способных сделаться такими и уже готовящихся ими сделаться, по крайней мере человек 50, 60,— и за глаза довольно. Вы сами, по моему глубокому убеждению, несмотря на все промахи, печальные и вредные ошибки, несмотря на отвратительный ряд пошлых и глупых обманов, в которые Вас вовлекла только ложная система, отнюдь же не личное честолюбие, тщеславие и корыстолюбие, как многие слишком многие начинают думать о Вас, Вы, с которым я буду обязан и решился разойтись, если Вы не откажетесь от этой системы,— Вы сами принадлежите к числу этих редких людей. *И вот единственная причина моей любви к Вам, моей веры в Вас, помимо всего и моей долготерпимости с Вами, долготерпимости, которой, однако, пришел конец. По-*

мимо всех ваших страшных недостатков и недомыслей, я признал и продолжаю признавать в Вас человека умного, сильного, энергичного, способного к холодному расчету, хотя по неопытности и по незнанию и часто ложному разумению, совершенно отрешенного от себя и страстно и всецело преданного и отдавшегося делу народного освобождения. Бросьте Вы свою систему, и Вы сделаетесь человеком драгоценным; если Вы не захотите бросить ее, Вы сделаетесь несомненно деятелем вредным и в высшей степени разрушительным не для государства, а для дела свободы. Но я крепко надеюсь на то, что все последние происшествия в России и за границею открыли Вам глаза и что Вы захотите, поймете необходимость подать нам руку на искренних основаниях. Тогда, повторю еще, мы Вас признаем за драгоценного человека и с радостью признаем Вас за своего предводителя по всем русским делам. Но если Вы таковы, то, без сомнения, найдутся в России по крайней мере десять человек, подобных Вам. Если они не отысканы, поищите и найдете и заложите с нами новое общество на следующих основаниях и взаимных условиях.

1) Полное, целостное и страстное признание вышеупомянутой программы в «Народном деле» с теми дополнениями и объяснениями, которые покажутся Вам необходимыми.

2) Равноправность всех членов и их безусловная, абсолютная солидарность — один за всех, все за одного — с обязанностью для всех и для каждого помогать каждому, поддерживать и спасать каждого до последней возможности, поскольку это будет сделать возможно, не подвергая опасности уничтожения существование самого общества.

3) Абсолютная искренность между членами. Изгнание всякого иезуитизма из их отношений, всякого подлого недоверия, коварного контролирования, шпионства и взаимных доносов, отсутствие и положительный строгий запрет всех пересуживаний за спиною. Когда один член имеет что-нибудь сказать против другого члена, тот должен сделать это в общем собрании, в его присутствии. *Общий братский контроль* всех над каждым, контроль отнюдь не привязчивый, не мелочной, а главное, не злостный, должен заменить вашу систему иезуитского контролирования и должен сделаться нравственным воспитанием и опорой для нравственной силы каждого члена; основа-

нием *взаимной братской веры*, на которой зиждется вся внутренняя, а потому и внешняя сила общества.

4) Из общества исключаются все люди слабонервные, боязливые, тщеславные и честолюбивые. Они могут служить, незнаемо для себя, орудием общества, но отнюдь не должны быть в ядре организации.

5) Вступая в общество, всякий член обрекает себя навсегда на общественную неизвестность и незначительность. Вся энергия и весь ум его принадлежат обществу и должны быть устремлены не на создание себе своей личной общественной силы, а коллективной силы организации. Каждый должен быть убежден, что личное обаяние и бессильно, и бесплодно и что только коллективная сила может повалить общего врага и достигнуть общей положительной цели, поэтому в каждом члене личные страсти должны же мало-помалу замениться коллективной страстью.

6) Личный разум каждого теряется, как река в море, в разуме коллективном, и все члены повинуются безусловно решениям последнего.

7) Все члены равноправны, знают всех товарищей своих и вместе со всеми обсуждают и решают все главные существенные вопросы, касающиеся программы общества, равно как и общего хода дела. Решение общего собрания — абсолютный закон.

8) Каждый член имеет, в сущности, право знать все. Но праздное любопытство исключается из общества, равно как и бесцельные разговоры о делах и целях тайного общества. Зная общую программу и общее направление дела, ни один член не спрашивает, не старается узнать о подробностях, не нужных для лучшего исполнения той части дела, которая будет специально на него возложена, и без практической нужды не будет говорить ни с одним товарищем о том, что ему поручено сделать.

9) Общество из среды своей избирает исполнительный комитет из трех или пяти членов, который на основании программы и общего плана действий, принятых решением целого общества, должен организовать разветвление общества и руководить его деятельностью во всех областях империи.

10) Комитет этот выбирается бессрочно. Если общество — я буду называть его *Народным братством*, — итак, если Народное братство довольно действиями комитета, оно оставляет его на месте, и до тех пор, как он остается

на месте, каждый член Народного братства и каждая областная группа должны повиноваться комитету безусловно, исключая тех случаев, когда предписания комитета будут противоречить или общей программе, или основным правилам, или общему революционному плану действий, всем известным, потому что все братья равно участвовали при их обсуждении и постановлении.

11) В таком случае члены и группы должны приостановить исполнение комитетских предписаний и призвать комитет на суд перед общим *народно-братским* собранием. Если общее собрание недовольно комитетом, оно всегда может заменить его другим комитетом.

12) Всякий член, равно как и всякая группа могут быть судимы общим собранием Народного братства.

13) Так как каждый брат знает все, знает даже личный состав комитета, то принятие нового члена в среду должно быть сопряжено с самой большою осторожностью, затруднениями и препятствиями — один плохой выбор может погубить все. Ни один новый брат не может быть принят иначе как с согласия всех или, по крайней мере, и никак уже не меньше 3-х четвертей членов всего Народного братства.

14) Комитет распределяет членов братства по областям и составляет из них областные группы или начальства. Может быть, такое начальство вследствие недостаточного числа членов будет состоять из одного брата.

15) На областное начальство возлагается обязанность образования 2-ой степени общества — *областного братства*, на основании той же программы, тех же правил и того же революционного плана.

16) Все члены *областного братства* знают друг друга, но не знают существования *Народного братства*. Им только известно, что существует *центральный комитет*, который передает им свои предписания для исполнения через *комитет областной*, им же самим, т. е. центральным комитетом, установленный.

17) Областной комитет состоит, по возможности, только из народных братьев, назначенных и сменяемых ЦК, но, по крайней мере, из одного народного брата. В таком случае этот брат с согласия ЦК присоединяет к себе 2-х самых лучших членов областного братства и составляет с ними вместе *комитет областной*, уж не на равных правах всех членов его, потому что *народный брат*

только один имеет сообщение с ЦК, предписания которого он передает своим товарищам областного комитета.

18) Народный брат или народные братья, находящиеся в области, высматривают в областном братстве людей, способных и достойных быть принятыми в Народное братство и представляет их через ЦК общему собранию Народного братства.

19) Всякий областной комитет устанавливает *уездные* комитеты из членов *областного братства*, назначаемых и сменяемых им самим.

20) Уездные комитеты могут, если понадобится, но не иначе, как с согласия областного комитета, основать 3-ю степень организации — *уездное братство*, с программой и регламентами, наиболее приближающимися к общей программе и регламенту Народного братства. Программа и регламент уездного братства не войдут в силу, пока не будут обсуждены и приняты в общем собрании областного братства и не получают подтверждения областного комитета.

21) Иезуитский контроль, система полицейского опутывания и лжи решительно исключаются из всех 3-х степеней тайной организации: точно так же из уездного и областного, как и из Народного братства. Сила всего общества, равно как нравственность, верность, энергия и преданность каждого члена основаны исключительно и всецело на взаимной истине, на взаимной искренности, на взаимном доверии и на открытом братском контроле всех над каждым.

*

Вот Вам в главных чертах план общества, так, как я его понимаю. Разумеется, этот план должен быть развит, дополнен, иногда видоизменен сообразно обстоятельствам и характеру среды и определен гораздо яснее. Но я убежден, что сущность его должна остаться, если Вы хотите создать действительную коллективную силу, способную служить делу народного освобождения, а не новую эксплуатацию народа.

Система опутывания и иезуитской лжи из этого плана исключены совершенно, как вредные, расторгающие и развращающие начала и средства. Но исключены также и парламентская болтовня, и тщеславная суетливость

и сохранена строгая дисциплина всех членов в отношении к комитетам и всех частных комитетов в отношении к ЦК. Суд и контроль над членами принадлежит братствам, а не комитетам. Но вся исполнительная власть в руках комитетов. Суд же над комитетами, не исключая Центрального, принадлежит лишь одному Народному братству.

Народное братство, по моему плану, никогда не будет заключать в себе более 50—70 членов. Сначала, пожалуй, оно будет состоять из 10 человек, даже менее, и будет медленно расширяться, принимая в свою среду человека за человеком, подвергая каждого предварительно самому строгому, самому тщательному изучению, и, если будет возможно, принимать его не иначе, как по единодушному решению всех членов Народного братства или же никак не менее 3/4 братства. Не может быть, чтобы в продолжение года, 2—3-х лет не нашлось 30 или 40 человек, способных быть народными братьями.

Итак, вообразите себе Народное братство для целой России, состоящее из 40, много из 70 членов. Потом несколько сотен членов 2-х степенной организации братьев областных, и Вы покроете действительной могучею сетью целую Россию. Штаб ваш создан, и, как сказано, в нем приготовлены вместе с строгою осторожностью и с исключением всей болтовни и всех тщеславных пустозвонных парламентских прений истина, искренность и взаимное доверие, действительная солидарность как едино морализирующие и соединяющие элементы.

Все общество составляет одно тело и прочно связанное целое, предводительствуемое ЦК и ведущее непрестанную подземную борьбу против правительства и против других обществ, или ему враждебных, или даже действующих вне его. А где война, там политика, там поневоле является необходимость насилия, хитрости и обмана.

Общества, близкие по цели к нашему обществу, должны быть принуждены к слитию с ним или, по меньшей мере, должны быть подчинены ему без своего ведома и с удалением из них всех вредных личностей; общества противные и положительно вредные должны быть расторгнуты — правительство наконец уничтожено. Всего этого одною пропагандою истины не сделаешь — необходима хитрость, дипломатия, обман. Тут место и иезуитизму, и даже опутыванию; опутывание — необходимое и ве-

ликолепное средство для того, чтобы деморализовать* и уничтожить врага; отнюдь не** полезное средство для того, чтобы приобрести и привлечь к себе нового друга.

Итак, в основании всей нашей деятельности должен лежать этот простой закон: правда, честность, доверие между всеми братьями и в отношении к каждому человеку, который способен быть и которого Вы бы желали сделать братом; ложь, хитрость, опутывания, а по необходимости и насилие — в отношении к врагам. Таким образом Вы будете морализировать, укреплять, теснее связывать своих и расторгать связи и разрушать силы других.

Вы же, мой милый друг,— и в этом состоит главная, громадная ошибка,— Вы увлеклись системою Лойолы и Макиавелля, из которых первый предполагал обратить в рабство целое человечество, а другой создать могущественное государство, все равно монархическое или республиканское, следовательно,—также народное рабство,—влюбившись в полицейски-иезуитские начала и приемы, вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу, так сказать душу, и душу всего вашего общества,—вследствие чего поступаете с друзьями, как с врагами, хитрите с ними, лжете, стараетесь их разрознить, даже поссорить между собою, дабы они не могли соединиться против вашей опеки, ищите силы не в их соединении, а разъединении и, не доверяя им нисколько, стараетесь заручиться против них фактами, письмами, нередко Вами без права прочитанными или даже уворованными, и вообще их всеми возможными способами опутать так, чтобы они были в рабской зависимости у Вас. И к тому же Вы делаете это так неуклюже, так [...], так неловко и неосторожно***, так опрометчиво и необдуманно, что все ваши обманы, коварства и хитрости в самое короткое время выходят наружу. Вы так влюбились в иезуитизм, что забыли все другое, забыли даже ту цель, то страстное желание народного освобождения, которые привели Вас к нему. Вы так влюбились в иезуитизм, что готовы проповедовать необходимость его всякому, даже Жуковскому, хотели даже печатать о нем, пополнить его теориями «Колокол» — как бы в пословицу Суворова: «Помилуй Бог, тот не хитер, про которого все знают, что он хитер». Одним словом, Вы стали играть в иезуитизм, как ребенок в цапку; как Утин в Революцию.

Посмотрим же теперь, чего Вы достигли и что успели сделать в Женеве благодаря вашей иезуитской системе.

Вам отдали Бахметевский фонд*. Вот единственный существенный результат, достигнутый Вами. Но Огарев Вам отдал его и я горячо советовал отдать его Вам не потому, что Вы иезуитничали с ним, а потому, что мы оба, помимо вашего далеко немудреного иезуитизма, чувствовали и признавали в Вас человека глубоко, горячо и серьезно преданного русскому делу. Но, знаете ли, — это с моей стороны горькое признание — я почти начинаю каяться в том, что советовал Огареву отдать Вам фонд — не потому, чтобы я мог подумать, чтобы Вы могли употребить его бесчестно, в свою личную пользу, — от такой подлой и просто нелепой мысли все святые меня упаси, и, хоть убили бы меня, я никогда не поверю, чтобы Вы употребили хоть один лишний грош на себя — нет, я начинаю каяться в том, потому что, глядя на все ваши действия, я перестал верить в вашу политическую зрелость, в серьезность и в действительность вашего Комитета и всего общества вашего. Сумма небольшая, но единственная, и она пропадет даром, бесполезно, бесстыдно в безумных и невозможных усилиях.

А с этою небольшою суммою в руках и с помощью небольшого числа людей, встретивших Вас с полною искренностью и изъявивших Вам готовность служить общему делу без всяких требований и претензий, без тщеславия и честолюбия, Вы могли сделать много полезного в Женеве — могли создать орган серьезный, с откровенною социально-революционною программой и при нем заграничное бюро для ведения русских дел вне России и в известном, хотя и неабсолютном, но положительном [...] ему. С этой целью ваш Комитет, т. е. Вы, приглашали меня в первый раз в Женеву. И что ж я нашел в Женеве? Во-первых, исковерканную программу «Колокола», от которого Комитет и Вы требовали просто нелепости, невозможности. Знаете ли, что я не могу простить себе слабости, побудившей уступить Вам в этом вопросе — мне приходится отвечать за этот несчастный «Колокол» и за солидарность с Вами вообще перед всеми моими международными друзьями благодаря, с одной стороны, Утину, а с другой — Жуковскому, из которых первый злобно, а другой добродушно клеветают на меня и на Вас.

Кстати, о Жуковском. Вы на нем показали ваше совершенное незнание, непонимание людей и вашу неспособность привлекать их прямым, честным, т. е. крепким способом к вашему делу. Зная его отлично, я Вам подробно

описал его характер, его способности и неспособности, так что Вам должно было быть нетрудно поставить его в серьезное отношение с Вами. Я Вам описал его как человека очень доброго, способного, далеко не глупого, хотя и без всякой инициативы в уме, но принимающего все мысли из второй руки и способного их популяризировать или разбалтывать довольно красноречиво, не столько на бумаге, сколько в разговоре, артистически впечатлительного, довольно упорно преданного известному направлению, но бесхарактерного, в том смысле, что он опасностей не любит, перед сильным противоречием [...] и легко поддается самым разнообразным влияниям. Одним словом, как человека, весьма способного служить проводником пропаганды, но отнюдь не способного быть членом тайного общества. Вы должны бы были поверить мне, но не поверили и вместо того, чтобы привлечь Жуковского к нашему делу — оттолкнули его от себя и от меня. Вы старались его завербовать, опутать и, опутав, сделать своим рабом. Для этого Вы стали бранить меня, смеяться надо мной — а в Жуковском есть инстинкт честности, который взбунтовался. Он мне рассказал все, что Вы ему обо мне говорили, рассказал с негодованием, с омерзением, и если бы я был посамолюбивее и послабее, этого могло бы быть достаточно, чтобы разорвать мою связь с Вами. Вы помните, я довольствовался тем, что повторил Вам все слова Жуковского, без примечаний, но верно — Вы не отвечали ничего, и я не считал нужным продолжать далее этот разговор. Потом Вы стали излагать Жуковскому свои заветные теории, государственно-коммунистические и полицейско-иезуитские, и тем окончательно оттолкнули его от себя. Наконец, произошла эта несчастная сплетня Генриха*, и Жуковский сделался вашим отъявленным и непримиримым врагом, врагом не только вашим, но чуть ли также и не моим. А он мог бы, несмотря на все свои слабости, быть полезным.

Признаюсь также, мой милый друг, что вся ваша система шантажирования, опутывания и запугивания Таты** мне чрезвычайно не нравилась — я несколько раз высказал Вам все; вышло то, что Вы в ней поселили глубокое недоверие к нам всем и убеждение, что Вы и я намерены эксплуатировать денежные средства, эксплуатировать, разумеется, не для дела, а для себя. Тата, в глубоком смысле этого слова честный и правдивый человек, лишенная, мне кажется, способности отдать себя всецело кому

или чему бы то ни было, поэтому дилетант если не по натуре, то по восприятию,—дилетант и в умственном, и нравственном отношении, но на честное слово которой можно положиться и которая может сделаться если не нашим другом, то верным приятелем. С ней надо было поступать прямо и честно и не прибегая к тем ухищрениям, в которых Вы думаете найти свою силу, но в которых проявляется именно ваша слабость. До тех пор, пока я полагал возможным и полезным говорить с ней прямо, откровенно, действуя на ее свободное убеждение, я делал это. Далее я с Вами идти не хотел, мне это было противно. И лишь только я услышал от Вас, что Наталья Алексеевна* клеветает на меня, утверждая, что я имею виды на карман Таты, и увидел, что сама Тата недоумевает, не зная, справедливо ли это или нет, я решительно от нее оттолкнулся.

А кстати, Вы мне утверждали несколько раз, что Вы слышали от самой Таты, что Наталья Алексеевна и Тхоржевский везде кричат, всем говорят и пишут, что я хочу эксплуатировать денежные средства Таты. Наталья Алексеевна и Тхоржевский утверждают, напротив, что они никогда этого не писали и не говорили,—и сама Тата подтвердила мне то же самое. В последнюю бытность в Женеве Вы мне сказали, что Вы слышали от Серебренникова, что Жуковский говорил ему, Серебренникову (Семену), что я эксплуатирую Тату. Я спрашивал Серебренникова и узнал от него, что Жуковский говорил это не о мне, а о Вас. Вы мне рассказывали также, что жена Жуковского уговаривала Вас присоединиться к Утину, уверяя, что соединение со мной бесполезно, невозможно, вредно. Она говорила напротив: обо мне с Вами не говорила; к Утину, с которым она сама разошлась более или менее, Вас не звала и что не она, а Вы ей предложили искать средства для соединения, и что она ждала от Вас этих средств.

Вы видите, сколько ненужной глупой лжи, и как она легко выходит наружу. Да, признаюсь, что уж первый приезд мой в Женеву уже сильно разочаровал меня и пошатнул мою веру в возможность крепкой связи и дела с Вами. К тому же о деле, для которого я, собственно, был призван и единственно для которого я приехал в Женеву, между нами не было сказано ни одного дельного слова. Я несколько раз начинал разговор о заграничном бюро, Вы избегали его; все ждали какого-то окончатель-

ного ответа от Комитета, который никогда не приходил. Я, наконец, уехал, написав через Вас Комитету письмо, в котором требовал ясного определения и изложения дела, к которому был призван, и с твердым решением не возвращаться в Женеву, прежде чем не получу от него удовлетворительного ответа.

В мае Вы опять стали вызывать меня в Женеву. Несколько раз я отказывался ехать, наконец, поехал. Последняя поездка утвердила во мне все сомнения и совершенно потрясла мою веру в честность, в правдивость вашего слова. Ваши разговоры с Лопатиным в моем присутствии, в самый вечер моего приезда, его прямые, резкие обвинения, высказанные Вам в глаза с тоном уверенности, которая не допускает даже возможности сомнения в истине их слов,—слов, делавших все ваши слова ложью,—его прямое отрицание всех подробностей рассказа, напечатанного Вами о вашем бегстве, его прямые обвинения против самых близких друзей ваших, обвинения в подлой и даже глупой измене перед следственной комиссией, обвинения не голословные, но основанные на их письменных показаниях, которые, по его уверению, подтвержденному мне потом Вами самим, он имел случай читать; особенно выраженное им презрение к поступкам и проделкам и совершенно ненужным доносам Прыжова*, о котором Вы мне везде говорили как об одном из лучших и крепких друзей ваших. Наконец, прямое и решительное отрицание его существования вашего Комитета, высказанное им такими словами: «Нечаев мог рассказывать это Вам, живущим вне России. Но он не попытается повторить все это Вам в моем присутствии, зная очень хорошо, что мне известны все кружки, все люди и все отношения и факты в России. Вы видите, что он молчанием своим подтверждает истину всего того, что я говорю и об его бегстве, которого малейшие обстоятельства и подробности, как он сам знает, мне слишком хорошо известны, а также и об его друзьях, и об его мнимом Комитете»; и Вы действительно на все это отвечали молчанием и не попробовали даже защищать не только себя, но даже ни одного из друзей ваших, ни даже действительность существования вашего Комитета.

Он торжествовал, Вы перед ним пасовали. Я не могу Вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за Вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, Вы нам систематически лгали.

Значит, все ваше дело проникло протухшею ложью, было основано на песке. Значит, ваш Комитет — это Вы, Вы, по крайней мере, на три четверти с хвостом, состоящим из двух, 3—4 человек, Вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому Вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось как дым вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей Вас самих и еще больше ваших друзей. Я Вас глубоко любил и до сих пор люблю, Нечаев, я крепко, слишком крепко в Вас верил, и видеть Вас в таком положении, в таком унижении перед говоруном Лопатиным было для меня невыразимо горько.

Мне было тяжело и за себя также. Увлеченный верою в Вас, я отдал Вам свое имя и публично связал себя с вашим делом. Я всеми силами старался укрепить в Огареве симпатию к Вам и веру в ваше дело. Я постоянно советовал ему отдать Вам весь фонд. Я привлек к Вам Озерова и употребил все усилия, чтобы убедить Тату соединиться с нами, т. е. с Вами, и отдаться вполне вашему делу. Наконец, против своего лучшего убеждения я уговорил Огарева согласиться на издание «Колокола» по выдуманной Вами дикой, невозможной программе. Одним словом, веря в Вас безусловно, в то время, как Вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет, — хуже этого, я испортил свое положение в отношении к русскому и интернациональному делу.

Когда Лопатин ушел, я Вас спросил: неужели он говорил правду, неужели все, что Вы мне говорили, была ложь? Вы избегали ответа. Было поздно, я ушел. Все разговоры и переговоры с Лопатиным на другой день окончательно убедили меня в том, что Лопатин говорил правду. Вы молчали; я ждал результата вашего последнего разговора с Лопатиным; Вы мне его не сказали; но я узнал его теперь из письма Лопатина, которое Вам будет прочтено Озеровым.

Того, что я узнал, было для меня достаточно для того, чтобы принять меры против дальнейшего эксплуатирования себя и друзей моих Вами, вследствие чего я написал Вам ультиматум, который наскоро прочитал Вам у турок* и который Вы, казалось, приняли. С тех пор мы с Вами не видались.

Наконец, я получил 3-го дня письмо от Лопатина, из которого узнал два весьма грустных факта. Во-1-х, Вы (не хочу употреблять прилагательных), Вы солгали, передавая мне ваш разговор с Лопатиным. Все, что Вы мне передали из слов, будто бы сказанных им, — чистая ложь. Он не говорил Вам, что я отдал ему письма Любавина: «Старик не выдержал, теперь он в наших руках, теперь он ничего против нас сделать не может, а мы всё...»; на что Вы будто бы отвечали ему: «Если Бакунин имел слабость отдать Вам письма Любавина, то у нас есть еще другие письма — и т. д.». Вы солгали, Вы наклеветали на Лопатина, Вы сознательно надули меня: Лопатин удивляется, что я Вам поверил, и в учтивой форме выводит из этого факта заключение не совсем выгодное для моих умственных способностей. Он прав, в этом случае я оказался круглым дураком. Но он судил бы обо мне не так строго, если бы он знал, как глубоко, как страстно, как нежно я Вас любил и Вам верил! Вы умели, нашли полезным убить во мне эту веру, тем хуже для Вас. К тому же мог ли я подумать, чтобы человек умный и преданный делу, каким Вы остаетесь в моих глазах до сих пор и несмотря на все случившееся, — мог ли я подумать, чтобы Вы могли так нагло и так глупо лгать передо мною, в преданности которого Вы не могли сомневаться? Как Вам не пришла мысль, что Вам ваша наглая ложь выйдет наружу и что я потребую, что я должен был требовать объяснения у Лопатина, тем более что в моем ультиматуме было ясно высказано требование приведения в полную ясность дела с Любавиным.

Другой факт: Любавин не получил моего ответа на его дерзкое письмо, не получил поэтому также и расписки, приложенной мною к этому ответу. Когда я показал Вам свой ответ и расписку, Вы просили меня помедлить и не посылать их. Я не согласился, тогда Вы взялись бросить их на почту и не бросили.

*

Всего этого довольно, Нечаев, — старые отношения и взаимные обязательства наши кончились. Вы сами разрушили их. Если думали и думаете, что Вы связали, опутали меня в нравственном и в материальном отношении, то Вы ошибаетесь жестоко. Ничто в мире не может связать меня против моей совести, против моей чести, про-

тив моей воли, против моего революционного разумения и долга.

Правда, что в финансовом отношении я, благодаря Вам, нахожусь теперь в положении самом тяжелом. Средств к жизни нет, и единственный источник доходов, перевод Маркса* и сопряженная с ним надежда на другие литературные работы, — теперь для меня иссяк. Я сижу на мели — и не знаю, как снимусь с нее, но это последнее дело.

Правда, что я компрометировал друзей и компрометирован перед ними; правда, что на меня сыплются клеветы по поводу фонда, по поводу любавинской истории, по поводу Таты и, наконец, по поводу всех последних происшествий в России.

Но все это не остановит меня; в случае крайней нужды я готов принести публичное признание и покаяние в своей глупости, от которой мне, разумеется, будет очень стыдно, но от которой еще менее поздоровится Вам, — но невольным союзником вашим не останусь.

Итак, я объявляю Вам решительно, что все до сих пор порочные отношения мои с Вами и с вашим делом разорваны. *Но, разрывая их, я предлагаю Вам новые отношения на иных основаниях.*

Лопатин, не знающий Вас так, как я Вас знаю, удивился бы такому предложению с моей стороны после всего, что между нами случилось. Вы не удивитесь, ни близкие друзья мои не удивятся также.

Не подлежит сомнению, что Вы наделали много глупостей и много гадостей, положительно вредных и разрушительных для самого дела. Но несомненно для меня также и то, что все ваши нелепые поступки и страшные промахи имели источником не ваши личные интересы, не корыстолюбие, не славолубие и не честолюбие, а единственно только ложное понимание дела. Вы — страстно преданный человек; Вы — каких мало; в этом ваша сила, ваша доблесть, ваше право. Вы и Комитет ваш, если последний действительно существует, полны энергии и готовности делать без фраз все, что Вы считаете полезным для дела, — это драгоценно. Но ни в Комитете вашем, ни в Вас нет разума — это теперь несомненно. Вы как дети, схватились за [...] иезуитскую систему и, увидев в ней всю силу вашу, успех и спасение, позабыли в ней даже самую суть и цель общества: освобождение народа не только от правительства, но и от Вас самих.

Приняв эту систему, Вы довели ее до уродливо-глупой крайности, развратили ею себя и опозорили ею общество на весь мир рядом белыми нитками шитых хитростей и непроходимых глупостей, подобных вашим грозным письмам к Любавину, к Наталье Алексеевне, [...] шедших с вашей любезною долготерпеливостью с Утиным, с вашими заискиваниями у него в то время, как он громко, нахально клеветал на нас всех; подобных вашей глупой коммунистической программе и целым рядом бесстыдных обманов. Все это доказывает огромное отсутствие разума, знания и понимания людей, отношений и вещей. Значит, на ваш разум, по крайней мере теперь, положиться невозможно, несмотря на то, что Вы — человек чрезвычайно умный и способный к далекому развитию, — но это дает надежду на будущее, в настоящем Вы оказались не ловки и нелепы, как мальчик.

Убедившись окончательно в этом, я нахожусь теперь в следующем положении.

Вашим словам, вашим голословным уверениям и обещаниям без подтверждения фактами я теперь решительно не верю, зная, что Вам ничего не стоит солгать, если это Вам покажется полезным для дела. Не верю тоже в справедливость или разумность того, что Вам показаться может, потому что Вы и Комитет ваш дали мне слишком много доказательств своей положительной неразумности. Но, отрицая вашу правдивость и вашу разумность, я не только не отрицаю вашей энергии и вашей безусловной преданности делу, но думаю, что в отношении к той и другой мало найдется в России людей, равных Вам; это, повторяю Вам еще раз, было главною, да, единственною основою моей любви к Вам и моей веры в Вас — и до сих пор остается в моем убеждении залогом того, что Вы более всех других мне знакомых русских людей способны и призваны служить революционному делу в России, — разумеется, только под тем условием, что Вы захотите и сможете переменить всю систему своих действий в России и за границей. Если же Вы не захотите переменить ее, Вы именно вследствие этих качеств, составляющих вашу силу, сделаетесь непременно человеком в высшей степени вредным для дела.

Вследствие всех этих соображений и несмотря на все происшедшее между нами, я желал бы не только остаться в соединении с Вами, но соединиться еще теснее и крепче с Вами, разумеется, в том предположении, что

Вы решительно перемените систему и положите в основание всех наших будущих отношений взаимное доверие, искренность и правду. В противном случае наш разрыв неминуем.

Теперь вот мои условия, личные и общие. Назову прежде личные.

1) Вы выгородите и очистите меня совершенно в любавинской истории, написав общее письмо к Огареву, Та-те, Озерову и С. Серебренникову, в котором Вы сообразно истине объявите, что я о письме Комитета ничего не знал и что оно написано помимо моего знания и воли.

2) Что Вы читали мой ответ Любавину с прилагаемой к нему распиской в 300 руб. и, взявшись его отправить, бросили или не бросили на почту.

3) Что я никогда не имел ни прямого, ни косвенного вмешательства в распоряжение Бахметевским фондом. Что Вы получили весь фонд в разные времена; сначала из рук Герцена и Огарева, а остальную большую часть из рук Огарева, который, по смерти Герцена, один имел право им распоряжаться, и что Вы приняли этот фонд от имени Комитета, которого Вы были распорядителем.

4) Если Вы не дали еще Огареву расписки в получении этого фонда, то должны дать ее.

5) Вы должны возвратить в наискорейшее время записку Даниельсона через нас и через Лопатина. Если она не в ваших руках (а я уверен, что она в ваших руках), Вы в том же письме должны взять обязательство доставить ее нам в самое короткое время.

6) Вы бросите ни к чему не ведущие, а напротив — недостойные, а для дела — положительно вредные попытки сближения и примирения с Утиным, клеветующим на нас обоих и на все ваше в России самым гнусным образом, а напротив — обяжетесь, выбрав час и удобный случай, чтоб не повредить делу, повести против него войну открыто.

Вот Вам мои личные условия; отказ в одном из них — а особливо в пяти первых и в первой половине шестого, т. е. разрыв всяких отношений с Утиным, будет для меня достаточным поводом для того, чтоб разорвать все сношения с Вами. И все это должно быть сделано Вами широко, прямо, честно, без малейших недоразумений, [...], недомолвок, намеков и экивоков. Пора нам играть в игру открытую.

Теперь вот общие условия.

1) Не называя нам ваших имен, которые нам не нужны, Вы покажете нам настоящее положение вашей организации и дела в России, ваших надежд, вашей пропаганды, ваших движений, без преувеличения и обмана.

2) Вы извергнете из вашей организации всякое применение полицейски-иезуитской системы, довольствуясь ее применять, и только в мере самой строгой практической необходимости, а главное, разума, только в отношениях к правительству и ко враждебным партиям.

3) Вы бросите нелепую мысль, что можно совершить революцию вне народа и без участия народа, и примете в основание всей вашей организации стихийную народную революцию, в которой народ будет армией, а организация только штабом.

4) Вы примете в основание организации социально-революционную программу, изложенную в первом номере «Народного дела», план организации и революционной пропаганды, изложенный мною в моем письме, с теми дополнениями и видоизменениями, которые в общем собрании мы сообща найдем необходимыми.

5) Все постановленное нашим общим обсуждением и единодушным решением будет предложено Вами всем вашим друзьям в России и за границей. Если они отвергнут наши постановления, Вы должны будете решить сами, хотите ли Вы идти с ними или с нами, разорвать свою связь с нами или с ними.

6) Если они примут выработанные нами программу, план организации, регламент общества и план пропаганды и революционного действия, Вы от их и от своего имени дадите нам руку и честное слово, что отселе эта программа, план организации, пропаганды и действий станут абсолютным законом и непременною основой для всего общества в России.

7) Мы Вам поверим и на новом основании завяжем с Вами новую, крепкую связь — Огарев, Озеров, С. Серебрянников и я, а, пожалуй, и Тата, если она захочет, и если Вы и все другие согласитесь, мы будем по праву народными братьями — живущими и действующими за границей; поэтому, никогда не изъясняя никакого лишнего любопытства, будем иметь право знать и будем действовать, знать положительным образом, со всеми нужными подробностями, положение конспирационных дел и ближайших целей в России.

8) Затем мы все, вышеупомянутые, образуем заграничное бюро для ведения без исключения всех русских дел за границей, сообразуясь с общими указаниями политики в России, но выбирая свободно способы, людей и средства.

9) При этом будет издаваться «Колокол» с явную революционную социалистическою программю, если это окажется необходимым и если на это будут денежные средства.

Вот Вам мои условия, Нечаев. Если уж благоразумие, дух трезвого понимания дела сошел на Вас и если любовь к делу действительно сильнее в Вас, чем все другое, — то Вы их примете.

А если не примете — решение мое непреклонно, я должен буду разорвать всякую связь с Вами и, не сообразуясь более ни с чем, кроме собственной совести, своего понимания и долга, буду действовать самостоятельно.

М. Бакунин

ПРИМЕЧАНИЯ

Собрание сочинений М. А. Бакунина включает в себя основные работы Бакунина последнего, анархистского, периода его деятельности¹. Это работы преимущественно общественно-политического и социологического характера, в которых, однако, довольно значительное место занимает и философская проблематика. Работы подобраны таким образом, чтобы читатель мог судить, как в мировоззрении русского революционера были связаны между собой его философские, социологические и общественно-политические взгляды и в каком соотношении находились теоретические представления с его практическо-политической деятельностью.

Из шести включенных в издание работ две написаны Бакуниным по-французски: «Федерализм, социализм и антитеологизм» и «Кнута-германская империя и социальная революция». Имеющиеся русские переводы этих сочинений не отличаются особенно добротным качеством, что уже не раз отмечалось в советской литературе. В этой связи возникла необходимость не просто их сверки с французским оригиналом, но и принципиальной переработки и в значительной части нового перевода. Оригиналом служило французское издание: *Bakounine M. Œuvres. Cinquième édition, t.1—6, Paris, Stock, 1907—1913*. Эту работу выполнили И. В. Васильева, А. М. Руткевич, А. Б. Гофман.

Три работы, написанные М. А. Бакуниным по-русски («Наука и народ», «Наука и насущное революционное дело», «Государственность и анархия»), воспроизводятся на основе их первых изданий. Рукописи этих бакунинских работ отсутствуют, и поэтому приходится полагаться на эти издания.

Оригинал включенного в данное издание, написанного по-русски письма М. А. Бакунина С. Г. Нечаеву также не сохранился. Впервые копию этого письма, в которой есть отдельные пропуски и неразборчиво написанные слова, опубликовал в 1966 г. французский русист

¹ В 1987 г. был издан том философских работ М. А. Бакунина «Избранные философские сочинения и письма» (М., «Мысль», 1987), однако книга была выпущена небольшим тиражом (2 тыс. экз.) и под грифом «Для научных библиотек», что сделало ее практически недоступной для читателя.

М. Конфино. В СССР бакунинское письмо полностью опубликовано в 1985 г. в «Литературном наследии».

Учитывая особую важность письма М. А. Бакунина для характеристики его мировоззрения вообще и его взаимоотношений с С. Г. Нечаевым, мы считаем целесообразным воспроизвести его в данном издании, взяв за основу первую публикацию М. Конфино с учетом советской публикации 1985 г.

Орфография, пунктуация и ономастика публикуемых текстов по возможности приближены к нормам современного русского литературного языка. Однако при общей унификации текста, с целью сохранения своеобразия авторского стиля допущены некоторые отклонения.

ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ

Работа представляет собой теоретическое обоснование программы, предложенной М. А. Бакуниным Центральному Комитету Международной буржуазно-пацифистской Лиги мира и свободы, членом которого он был избран на I Конгрессе Лиги, состоявшемся в сентябре 1867 г. в Женеве. Вместе со своими единомышленниками (Н. П. Огаревым, Н. И. Жуковским, поляками М. Мрочковским и Я. Загорским и французом А. Наке) Бакунин предпринял попытку придать программе Лиги социалистический, антирелигиозный и антиавторитарный характер. Их усилиями была принята резолюция, согласно которой Лига отвергает теологизм и признает, что мораль должна основываться на идее справедливости, и провозглашает неограниченную свободу совести. Отсюда возникла оставшаяся незаконченной написанная на французском языке бакунинская работа «Федерализм, социализм и антитеологизм. Мотивированное предложение Центральному Комитету Лиги Мира и Свободы». Брошюра с текстом этого «предложения» уже набиралась, но по неизвестным причинам в свет не вышла. Полностью на языке оригинала работа «Федерализм, социализм и антитеологизм» впервые опубликована М. Неттлау в 1895 г. в первом издании сочинений М. А. Бакунина. В русском переводе эта работа вышла в 1906 г. в петербургском издательстве «Мысль» (совместно с издательством «А. Миллер» в Лейпциге). В 1907 г. она включалась в петербургское издание Балашова: *Бакунин М. Полное собрание сочинений*. Т. I. Переиздавалась неоднократно и в дальнейшем. В данном издании печатается по французскому оригиналу в издании: *Bakounine M. Œuvres*. Т. 1. Paris, Stock, 1907, с учетом русского перевода в издании: *Бакунин М. Полное собрание сочинений*. Т. I. СПб. 1907.

Стр. 11—* В мае 1867 г. во французской печати было выдвинуто предложение созвать Конгресс Мира. Эту идею с одобрением встретили европейские буржуазные демократы и многие социалисты. 9—12 сентября в Женеве состоялся I Конгресс Мира, на котором и была создана пацифистская Лига мира и свободы.

Стр. 13—* Лига, возглавлявшаяся французскими экономистами М. Шевалье и Ф. Пасси и носившая название Международная постоянная лига мира, была создана в мае 1867 г.

Стр. 14—* Речь идет о I Конгрессе Лиги мира и свободы, состоявшемся в Женеве в 1867 г.

Стр. 16—* <Conditio> sine qua non (лат.) — условие, без которого невозможно что-либо; необходимое условие.

—** Бакунин имеет в виду французского короля Людовика XIV.

Стр. 17—* Политическая группировка в период Великой французской революции, противостоявшая справа якобинцам во главе с Робеспьером. Лидеры жирондистов: Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Ж. А. Кондорсе и др.

—** Государственный религиозный культ, введенный 7 мая (18 флореаля) 1794 г. декретом Конвента во главе с Робеспьером взамен культа Разума, пропагандировавшегося левыми якобинцами (П. Г. Шометт, Ж. Р. Эбер и др.). Введение культа имело целью предотвратить процесс дехристианизации, принявшей во Франции широкие масштабы. Но культ Верховного Существа, представлявший собой тем не менее своеобразное продолжение культа Разума, «очищенное христианство», не мог заменить «положительную религию» и прекратил свое существование с падением якобинской диктатуры в июне 1794 г.

Стр. 26—* far West (англ.) — дальний Запад.

Стр. 28—* Речь идет о Великой французской революции.

—** Имеется в виду Декларация прав человека и гражданина — основной документ Великой французской революции, который был принят Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Стр. 30—* Речь идет о газете «La Démocratie pacifique» (1843—1851), основанной французским социалистом-утопистом, сторонником идей Ш. Фурье Виктором Консидераном.

Стр. 32—* В конце XVIII в. во Франции было принято несколько конституций: 1791, 1793, 1795, 1799 гг.

—** Имеется в виду Французское Национальное Собрание, принявшее в 1789 г. название Учредительное собрание, поскольку было принято решение о выработке новой конституции страны.

Стр. 33—* В 1847 г. знаменитый романист Александр Дюма поставил в своем так наз. «Историческом театре» пьесу «Рыцарь из Красного

дома», в которой прозвучала ставшая затем популярной революционная песня «Умереть за родину».

Стр. 34—* В июне 1848 г. в Париже произошло восстание рабочих, которое было подавлено генералом Кавеньяком.

Стр. 35—* Речь идет о диктаторском режиме, установленном Шарлем Луи Наполеоном Бонапартом, который после своего избрания президентом Франции (10 декабря 1848 г.) совершил 2 декабря 1851 г. контрреволюционный переворот, а 2 декабря 1852 г. провозгласил себя императором Наполеоном III. Свергнут с престола революцией 4 сентября 1870 г.

Стр. 36—* Речь идет о романе французского писателя — утопического коммуниста Э. Кабе «Путешествие в Икарию» (1840) и работе французского утопического социалиста Луи Блана «Организация труда» (1839).

—** В 1849 г. Прудон организовал в Париже так наз. народный банк, в котором участвовало более 12 тыс. вкладчиков. Просуществовал банк всего два месяца, не совершая никаких операций. Прудон предполагал, что его банк сделает излишними деньги, поскольку в банке любой желающий мог получить за произведенные им продукты меновые свидетельства (боны), чтобы на них получить в другом банке товары на ту же сумму.

—*** Тред-юнионы (trade-unions) — одна из разновидностей профессиональных союзов рабочих, получившая наибольшее распространение в Англии.

—**** Речь идет о Международном товариществе рабочих (I Интернационале).

Стр. 49—* Имеется в виду труд Г. В. Ф. Гегеля «Энциклопедия философских наук» (Берлин, 1817—1830. Т. 1—3).

Стр. 55—* Один из пифагорейцев, Филолай, первый в европейской философии создал негелиоцентрическую систему строения Вселенной.

Стр. 57—* Спиритизм — мистическое учение, возникшее в конце 40-х годов XIX в. в Америке и распространившееся в дальнейшем в Европе, согласно которому «духи» могут проявляться в физическом мире необычным образом (двигать предметы, производить звуки и т. п.). Спириты верят в возможность для живых людей через посредников (медиумов) общаться с душами умерших.

Стр. 61—* Валаамова ослица — по древним иудейским преданиям, ослица пророка Валаама, которая увидела незримого ангела и заговорила, чтобы предупредить о божественной воле.

Стр. 65—* В XIX в. под Океанией имелась в виду группа островов в Тихом океане, главные из которых — Новая Гвинея и Новая Зеландия.

Стр. 69—* Бакунин имеет в виду следующие фрагменты из Л. Фейербаха: «Чем же отличается человек от животного? Тем ли, что он имеет нечто, чего нет у животного? Нет! Просто тем, что он имеет и есть как человек то, что животное имеет и есть как животное. Ощущение у животного животное, у человека — человеческое...

Человек отличается от животных только тем, что он — живая превосходная степень сенсуализма, всечувственнейшее и всечувствительнейшее существо в мире» (Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1955. С. 241).

Стр. 86—* Volens-nolens (лат.) — волей-неволей.

Стр. 89—* Синяя Борода — герой французской сказки, умертвивший шесть жен за то, что вопреки запрету они открывали его тайный кабинет, в котором он совершал убийства.

Стр. 99—* Об образцовых государствах Бакунин говорит в ироническом смысле. Лишь в ограниченной степени «образцовыми» он считал государства, построенные на началах свободы, федерализма, отрицания авторитаризма и централизма. В политическом отношении близкими к такому образцу Бакунин относил США и Швейцарию.

—** Речь идет о работе Д. Мадзини «Обязанности человека».

—*** В 1846 г. на папский престол вступил папа Пий IX, который провел ряд умеренно-либеральных реформ: объявил амнистию политическим заключенным, сформировал правительство с участием либеральных деятелей, пообещал конституцию, с оговорками, но присоединился к движению за освобождение Италии из-под власти Австрии. На некоторое время новым папой увлекся и Мадзини, который опубликовал в сентябре 1847 г. открытое письмо папе с призывом стать духовным вождем борьбы за независимость Италии.

Стр. 112—* Здесь в оригинале недостает нескольких строк. В этом фрагменте М. А. Бакунин почти буквально излагает следующую мысль из работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга»: «...В неизмеримом большинстве случаев характер психического содержания на 999/1000 дается воспитанием в обширном значении слова и только на 1/1000 зависит от индивидуальности» (Сеченов И. Избранные произведения. Изд. 2-е. М., 1958. С. 139).

Стр. 114—* Система австрийского врача Галля — френология — теория, согласно которой на основании антропологических измерений черепа можно судить о психических способностях человека.

Стр. 115—* Речь идет о статье Э. Литтре «О методе в психологии», опубликованной в журнале «La Philosophie positive» (1867. Т. 1. № 2. Р. 274—288 и № 3. Р. 337—364).

Стр. 117—* Sensorium commun <e> (лат.) — сенсорий (центральный орган чувств).

Стр. 124—* На этом рукопись обрывается. Неизвестно, закончил ли Бакунин эту работу.

НАУКА И НАРОД

Работа опубликована в журнале «Народное дело», в первом номере, который вышел 1 сентября 1868 г. в Женеве под редакцией М. Бакунина и Н. Жуковского. Она помещена в разделе «Постановка революционных вопросов» как первая статья задуманного издателями цикла. (Этот замысел остался незавершенным.) Печатается по тексту журнала.

Стр. 127—* «Критика чистого разума» И. Канта впервые вышла в свет в 1781 г.

Стр. 129—* «Критика практического разума» И. Канта опубликована впервые в 1788 г.

—** Имеются в виду труды Г. Гегеля: «Феноменология духа» (1807), «Лекции по философии истории» (1837), «Лекции по эстетике» (1835—1838), «Лекции по философии религии» (1821—1830), «Лекции по истории философии» (1833—1836).

Стр. 131—* Речь идет о работе Г. Гегеля «Энциклопедия философских наук» (1817).

Стр. 140—* Бакунин имеет в виду восстание в Польше в 1863 г., жестоко подавленное генерал-губернатором Северо-Западного края М. Н. Муравьевым, получившим кличку «Муравьев-вешатель».

НАУКА И НАСУЩНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕЛО

Написана летом 1869 г., вышла в виде брошюры в феврале 1870 г. в издательстве С. Г. Нечаева «Народная расправа». Непосредственно примыкает по своему содержанию к работе «Наука и народ». Новейшие переиздания: Archives Bakounine. V. Michel Bakounine et ses relations slaves. 1870—1875. Leiden, 1974. P. 39—71, а также: Bakounine M. Œuvres complètes. T. 6. Paris, 1978. P. 37—71. Печатается по тексту брошюры.

Стр. 144—* Наука и народ. Статья первая.— Народное дело. Женева, 1868. № 1. С. 12—24. Наст. изд. С. 125—143.

Стр. 145—* Бакунин имеет в виду воззвание «Несколько слов к молодым братьям в России», опубликованное в Женеве 1 апреля 1869 г. (переиздано в приложении к кн.: Письма М. А. Бакунина к Герцену и Огареву.— Женева, 1896. С. 463—468). В этом воззвании Бакунин призвал русскую молодежь идти в народ, отказавшись от официальной, казенной науки, которая должна погибнуть вместе с миром, который

она выражает, идти с надеждой на новую, живую науку, которая появится после народной победы.

Стр. 146—* Муравьевщина — по имени графа М. Н. Муравьева, получившего прозвище «вешателя» за жестокости при подавлении восстания 1863 г. в Польше.

Стр. 149—* Имеются в виду в первую очередь такие реакционные издания, как газета «Московские ведомости» М. Н. Каткова и газета «Весть», издававшаяся В. Д. Скарятиним.

Стр. 166—* В 1772, 1793 и 1795 гг. Пруссия, Россия и Австрия провели три раздела Речи Посполитой, которые привели к ликвидации самостоятельного польского государства.

Стр. 178—* Речь идет о статье Д. А. Анучина «Граф Панин — усмиритель Пугачевщины (Материалы для истории пугачевского бунта)», опубликованной в журнале «Русский вестник» (1869 г. № 3, 4, 5, 6).

Стр. 179—* Эта брошюра вышла в 1862 г. в Лондоне.

Стр. 181—* Бакунин ошибается. Статья Н. П. Огарева «Что нужно народу?», в которой содержался этот ставший знаменитым лозунг, была опубликована в «Колоколе» 1 июля 1861 г. (см.: *Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения*. Т. 1. М., 1952. С. 527).

Стр. 187—* Тугенбунд — буквально Союз доблести, или добродетели, — основан в Кенигсберге в 1808 г., во время французской оккупации Пруссии, с целью воспитания в обществе чувства немецкого патриотизма и для борьбы против Наполеона.

—** Карбонарии (от *итал.* carbonaio — угольщик) — члены тайного политического общества начала XIX в. на Юге Италии, боровшегося против господства в Италии Наполеона I Бонапарта.

КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Эту работу М. А. Бакунин написал в связи с франко-прусской войной 1870—1871 гг. Комментарии издателей первого собрания сочинений М. А. Бакунина, М. Неттлау и Д. Гильома, имевших в своем распоряжении оригиналы бакунинских рукописей, дают возможность изложить следующую версию событий, связанных с написанием этой работы. Первоначально М. А. Бакунин замыслил написание труда, в котором был бы дан «патологический эскиз» Франции и Европы. Дойдя до 105 стр., он заметил, что отошел от идеи задуманной книги в сторону, а именно в анализ ряда общих философских проблем, и решил это «философское отступление» вынести в приложение к книге. В рукописи появился заголовок: «Appendice, considération philosophique sur le fantôme, sur le monde réel et sur l'homme» (Приложение, философские рассужде-

ния о божественном призраке, о действительном мире и о человеке). Доведя в ноябре — декабре 1870 г. рукопись до 256 страниц, Бакунин отказался от мысли продолжать эту «философскую диссертацию», как он сам назвал в одном месте соответствующую часть рукописи. Материал, составивший «отступление» от основной идеи задуманной книги, т. е. в основном текст, названный им «Приложение», составлявший страницы 105—256 рукописи первой редакции, Бакунин в январе 1871 г. отложил в сторону и продолжил работу над первоначальным замыслом «патологического эскиза» Европы, взяв за исходный пункт первые 80 страниц из начальной рукописи общим объемом 256 страниц. Когда эти 80 страниц разрослись до 285 страниц рукописи новой редакции, он отослал рукопись Д. Гильому для издания (в феврале — марте 1871 г.). У рукописи появился данный самим автором заголовок «*La révolution sociale ou la dictature militaire*» («Социальная революция или военная диктатура»). К началу апреля 1871 г. М. А. Бакунин задумал дать этой книге новое название, а именно «Кнуто-германская империя и социальная революция». Но было уже поздно. В это время в Женеве уже вышла книга под названием «*La révolution sociale ou la dictature militaire*» par Michel Bakounine. (Работа под таким названием есть в Музее книги библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.) В помещенном в самом начале списке опечаток в числе прочего указывалось, что заголовок этого труда должен быть следующим: «*L'Empire knouto-germanique et la Révolution sociale*» («Кнуто-германская империя и социальная революция»). Так появилась книга, известная ныне именно под этим последним названием. У нее был подзаголовок «Первый выпуск».

Некоторое время М. А. Бакунин работал и над рукописью, которая должна была составить второй выпуск работы «Кнуто-германская империя и социальная революция». Но предполагавшийся второй выпуск у Бакунина не получился. Рукописи, которые должны были составить второй выпуск «Кнуто-германской империи и социальной революции» издавались уже после смерти Бакунина, причем частями. Сначала К. Каффиеро и Э. Реклю издали часть оставшейся рукописи под названием «Бог и государство» (1882), затем М. Неттлау под тем же названием издал в 1895 г. другую часть этой рукописи. Еще одна часть публиковалась под названием «Парижская Коммуна и понятие государства». Еще одну часть, оставшуюся после работы над первым выпуском «Кнуто-германской империи...», составляет «философская диссертация» Бакунина, т. е. предполагавшееся ко всей книге приложение под названием «Философские рассуждения о божественном призраке, о природе и о человеке». Все эти части бакунинских рукописей, поскольку они были изданы по отдельности, получили самостоятельное историческое бытие. Поэтому имевшие место в литературе попытки воссоздать «второй выпуск» «Кнуто-германской империи...» представляются искусственными. Реаль-

но существует только первый ее выпуск и разрозненные части рукописи несостоявшегося второго выпуска. Читатель, интересующийся подробностями, может найти их в комментариях в книге: М. А. Бакунин. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 546—551.

В русском переводе работа «Кнуто-германская империя и социальная революция» вышла в 1907 г. в московском издательстве «Fraternité». В настоящем издании печатается по французскому тексту: *Bakounine M. Œuvres*. Т. 2. Paris, 1908, с учетом вышеуказанного русского перевода 1907 г.

Стр. 188—* Адресатом является Луи Паликс, француз, портной, у которого Бакунин жил в Лионе. Л. Паликс участвовал в социалистическом движении. Он был делегатом от лионских рабочих на конгрессах Интернационала.

—** В сентябре 1870 г. французская армия потерпела поражение под Седаном, что привело к падению Второй империи и провозглашению Франции республикой. Если вначале война была справедливой со стороны Пруссии, то с сентября она превратилась со стороны Пруссии в войну захватническую, а со стороны Франции — оборонительную, справедливую.

—*** 15 сентября 1870 г. М. Бакунин приехал из Локарно в Лион. Здесь 28 сентября 1870 г. произошло восстание рабочих под руководством Бакунина и ряда его сторонников-анархистов. Был создан «Центральный комитет спасения Франции». В числе своих целей бакунисты выдвигали уничтожение административной машины. Вскоре, однако, правительственная национальная гвардия подавила восстание.

—**** С октября по декабрь 1870 г. город Тур фактически был столицей Франции, поскольку здесь находилась часть буржуазно-республиканского правительства Национальной обороны, созданного в результате свержения Наполеона III.

Стр. 189—* Во время своего пребывания в Лионе М. Бакунин поставил одной из своих целей свержение Лионского муниципалитета, который он считал реакционным, парализующим организацию национальной обороны в Лионе.

Стр. 190—* Имеются в виду сторонники Луи Наполеона Бонапарта, совершившие 2 декабря 1851 г. государственный переворот, в результате которого в стране была установлена военная диктатура.

Стр. 196—* Уничижительное сравнение Бакуниным французских буржуазных республиканцев с Э. Оливье объясняется тем, что этот политический деятель сыграл особенно негативную роль в истории французского революционного движения XIX в.: во время революции 1848 г. Оливье был префектом полиции и руководил подавлением вос-

стания рабочих в Марселе; в правительстве Наполеона III он был министром юстиции и культов.

—** Бакунин имеет в виду тот факт, что начиная с революции 1848 г. наиболее реакционная часть французских правящих кругов, в том числе буржуазии, решилась на радикальное изменение форм и методов борьбы с революционным движением; во время июньского восстания 1848 г. подавлявший его генерал Кавеньяк применил ряд исключительно жестоких методов, в том числе массовые расстрелы без суда и следствия, массовые депортации по малейшему подозрению и т. д.

Стр. 198—* Законодательным корпусом с 1791 г. называется Национальное собрание Франции.

—** Ла-Виллет и Бельвиль — коммуны, присоединенные к Парижу как пригороды после уничтожения средневековой стены, окружавшей город.

—*** Осенью 1870 г., еще до падения Наполеона III, Леон Гамбетта в своем письме в газету «*Progrès de Lyon*» поставил вопрос о республике как условии спасения Франции. В рукописях М. Бакунина, связанных с его «Письмами французам» о письме Л. Гамбетта в «*Progrès de Lyon*» говорится довольно подробно. Это письмо представлялось ему «примечательно смешным», ибо Гамбетта считал, что нынешняя война может помочь примирению буржуазии с пролетариатом, объединив оба класса в общем патриотическом усилии (см.: *Bakounine M. Œuvres*. Т. 2. Р. 236—237).

Стр. 201—* Бакунин имеет в виду безуспешную попытку бордоского герцога Анри д'Артуа Шамбора занять французский престол под именем короля Генриха V.

Стр. 203—* В данном случае под легитимистами имеются в виду сторонники «легитимной» (законной) династии Бурбонов во Франции.

—** Бакунин излагает содержание раздела «Мистификация всеобщего избирательного права» из книги П. Прудона «Революционная идея» (см.: *Proudhon P. J. Idée révolutionnaire*. Paris, 1849. Р. 13—17).

Стр. 204—* Имеется в виду правительство императора Наполеона III Бонапарта.

Стр. 205—* Орлеанистами во Франции называли сторонников претендента на королевский престол Луи Филиппа Орлеанского, который представлял младшую ветвь династии Бурбонов. Луи добился своей цели в 1830 г. и правил до 1848 г.

Стр. 207—* «Письма французам об актуальном кризисе» вышли в виде брошюры в Невшателе без указания на автора. Они были адресованы Гаспару Бланку из Лиона, которого Бакунин характеризовал как своего друга, одного из молодых людей, преданных делу спасения Франции.

Стр. 211—* Речь идет о работе П. Прудона «Общая идея революции в девятнадцатом веке» (*Idée générale de la révolution au dix-neuvième siècle*. Paris, 1851).

Стр. 218—* В местечке Варенн в Лотарингии был арестован бежавший из Парижа в ночь на 21 июля 1791 г. король Людовик XVI.

После бегства Людовика в Варенн австрийский император Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм II подписали 21 августа 1791 г. в замке Пильниц (Саксония) декларацию о вмешательстве в дела Франции для укрепления власти французского короля.

—** Работа Жюль Мишле «История французской революции» в 9-ти томах вышла в Париже в 1847—1853 гг.

Стр. 220—* Так назывался высший законодательный и исполнительный орган Французской республики, избранный после свержения монархии, с 1792 по 1795 гг.

Стр. 221—* Речь идет о работе «Письма французу об актуальном кризисе. Сентябрь 1870».

Стр. 225—* Ковчег Завета — хранившийся в Иерусалимском храме деревянный, обитый золотом ящик, в котором находились каменные доски-скрижали с заповедями, переданные Богом Моисею на горе Синай, сосуд с манной, накормившей евреев в пустыне, и жезл Аарона.

Стр. 226—* Фронда — общественно-политическое движение (1648—1653 гг.) против абсолютизма при короле Людовике XIV.

Стр. 227—* Бакунин приводит фрагменты из работы «Письма французу об актуальном кризисе. Сентябрь 1870» (См.: *Bakounine M. Œuvres*. Т. 2. Paris, 1907. Р. 106—115).

—** Вторая империя — период с 2 декабря 1852 г. по 4 сентября 1870 г., когда императором Франции был Наполеон III.

Стр. 228—* Робер-Макер — персонаж пьесы Фредерика Леметра, игравшейся в Париже в 1826 г., каторжанин, ставший символом мошенничества в сфере промышленности, журналистики и т. д. Так К. Маркс назвал Луи-Филиппа Макером на троне («Классовая борьба во Франции»).

Стр. 229—* Бонапартистами назывались сторонники восстановления на престоле династии Бонапартов после падения Первой империи Луи Наполеона I Бонапарта (1804—1814) и Второй империи Наполеона III (1852—1870).

—** «Бернские Медведи и Петербургский Медведь». Невшатель, 1870 (См.: *Bakounine M. Œuvres*. Т. 2. Paris, 1907. Р. 22).

Стр. 230—* Бакунин проводит параллель между правительством Национальной обороны, созданным в 1870 г., и Временным правительством, образованным во время февральской революции 1848 г.

Стр. 232—* По имени французского аббата Шателя (см.: Указатель имен).

—** 10 августа 1792 г. народное восстание в Париже свергло монархический строй.

Стр. 233—* Имеется в виду революция 4 сентября 1870 г. в Париже, в результате которой был свергнут Наполеон III.

—** После сдачи французами крепости Верден австрийским войскам возмущенные парижане ворвались в тюрьмы и учинили в сентябре 1792 г. расправу над заключенными в них противниками революции; было убито несколько тысяч человек.

—*** См.: Прудон П. Общая идея революции в XIX веке (*Proudhon P. Idée générale de la révolution au dix-neuvième siècle*. Paris, 1851. P. 189).

Стр. 234—* Временное правительство было создано в результате вооруженного восстания в Париже 22—24 февраля 1848 г. Это правительство, представляя собой компромисс между различными классами (среди членов правительства были буржуазный республиканец А. М. Ламартин, мелкобуржуазный демократ А. О. Ледрю-Роллен, а также Луи Блан, представлявший рабочий класс), вело непоследовательную политику, результатом которой и явилось бегство Луи Филиппа в Англию.

—** Речь идет о поражении восстания парижских рабочих в июне 1848 г., ставшего переломным моментом в ходе революции.

—*** Цитируется работа Луи Блана «История революции 1848 г.» (*Blanc Louis. Histoire de la Révolution de 1848*. Т. 2. Paris, 1870).

Стр. 236—* См.: *Blanc L. Histoire de la Révolution de 1848*. Т. 2. Paris, 1870. P. 172—174.

—** Имеются в виду сторонники Луи Наполеона, совершившие 2 декабря 1851 г. контрреволюционный переворот, приведший к власти Наполеона III.

Стр. 237—* Июньским преступлением Бакунин называет жестокое подавление восстания в Париже 23—26 июня 1848 г.

Стр. 239—* В мае 1870 г. правительство Наполеона III провело плебисцит по вопросу, одобряет ли французский народ реформы, осуществленные императором и ратифицирует ли он новую конституцию, которая эти реформы фиксирует. Наполеон получил около 70% утвердительных голосов.

Стр. 240—* В средневековой Франции реально существовало маленькое королевство Ивто, с центром в городке под тем же названием в 36 км от Руана. В XIX в. королями Ивто называли правителей, если хотели изобразить их в уничижительном свете. Одна из песен Беранже, написанная в 1813 г. в связи с поражением Наполеона в России, начиналась словами: «Он был королем Ивто, малоизвестным в истории...» Вся Франция стала петь песню о короле Ивто, намекая на «добродушного»

короля. Используя образ короля Ивто, Бакунин иронизирует над французским правительством, заседавшем в Туре.

—** См. прим. **** к стр. 188.

—*** Из перечисленных газет наиболее известны газеты, издаваемые К. Дювернуа и Э. Жирарденом. Дювернуа К. в 1869 г. основал при субсидии императорского правительства газету «Le Peuple», с которой сотрудничал сам Наполеон III. Жирарден Э. особенно известен переменичивостью взглядов, беспринципностью.

Стр. 244—* См.: *Blanc L. Histoire de la Révolution de 1848*. Т. 2. Paris, 1870. Р. 163—168.

Стр. 247—* 4 сентября 1870 г.— день свержения Наполеона III.

Стр. 248—* В результате июльской революции 1830 г., свергнувшей Карла X из династии Бурбонов, на престол вступил Луи Филипп Орлеанский.

—** 22—24 февраля 1848 г. во Франции произошла революция, приведшая к свержению июльской монархии Луи Филиппа Орлеанского.

Стр. 250—* В январе 1870 г. буржуазный республиканец Э. Оливье возглавил правительство, одновременно став министром юстиции и культов. Сторонник войны с Пруссией. Поражения французских войск вынудили Оливье выйти в отставку в августе 1870 г.

Стр. 251—* Имеется в виду испанский король Карл V (император Священной Римской империи в 1519—1556 гг.), известный своими претензиями на создание всемирной христианской монархии и многочисленными войнами с Францией и Османской империей.

—** Первоначально Бисмарк был сторонником Австрии, но затем стал выступать против гегемонии Австрии среди германских государств, за гегемонию Пруссии. Своей цели Бисмарк добился в момент, когда Пруссия разгромила Австрию в ходе прусско-австрийской войны 1866 г.

Стр. 254—* Город Садова в Чехии, при котором 3 июля 1866 г. прусские войска разбили войска Австрии.

—** Речь идет о прусском короле (с 1861 г.) и германском императоре (с 1871 г.) Вильгельме I.

Стр. 256—* Во время Великой Крестьянской войны 1524—1526 гг. в Германии М. Лютер выступил с призывами к расправе над восставшими и к восстановлению в стране крепостного права.

Стр. 258—* Ничего социалистического в программе немецкого буржуазного радикального демократа, противника Бисмарка, И. Якоби не было. Через несколько лет после написания работы «Кнута-германская империя и социальная революция» в работе «Государственность и анархия» сам Бакунин подверг Якоби резкой критике за его уступки идее конституционно-монархической формы правления и за поддержку претензий Пруссии на гегемонию среди германских государств.

—** in's Blaue hinein (нем.) — букв.: порыв в голубую даль.

Стр. 261—* Император Петр III (правил с декабря 1761 г. по июнь 1762 г.), сын герцога гольштейнского Карла Фридриха и царевны Анны Петровны, известен, в частности, своим пристрастием к прусским порядкам и лично к прусскому королю Фридриху II.

—** 14 апреля 1807 г. между Пруссией и Россией была заключена Бартенштейновская конвенция, закрепившая русско-прусское сближение, пришедшее на смену ранее неопределенным, а то и просто враждебным отношениям.

Стр. 262—* 6 апреля 1814 г. французский сенат провозгласил восстановление на престоле Бурбонов и конституцию, принятую при Наполеоне I. Людовик XVIII отказался признать эту конституцию. Однако условием въезда Людовика в Париж русский император Александр I поставил введение конституционных порядков, что Людовик и пообещал сделать.

—** См. прим. * к стр. 166.

Стр. 264—* В письме от имени Генерального совета Международного товарищества рабочих членам комитета русской секции I Интернационала от 24 марта 1870 г. К. Маркс писал, что «русский насильственный захват Польши есть пагубная опора и настоящая причина существования военного режима в Германии, и вследствие того на целом континенте» (К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967. С. 171).

Стр. 266—* Бакунин имеет в виду массовые народные движения в России в эпоху борьбы с польско-шведской интервенцией 1612 г. (в частности народное ополчение под руководством Минина и Пожарского), события из истории каспийского похода С. Т. Разина (1667—1669) и последующей крестьянской войны под его руководством (1670—1671), а также восстание под руководством Е. И. Пугачева (в 1771 г. он бежал на Терек из армии, и, видимо, с этого года Бакунин начинает отсчет пугачевского восстания 1773—1775 гг.).

—** Речь идет о создании в 1818 г. «Союза благоденствия» и «Общества соединенных славян» и восстании 14 декабря 1825 г.

Стр. 267—* Когда в 1866 г. Бисмарк сделал окончательную ставку на военный разгром Австрии, в Пруссии эта политика вызвала многочисленные протесты. На Бисмарка было предпринято даже покушение.

Стр. 268—* Речь идет о стихах немецкого поэта Э. М. Арндта, которые отражали патриотическое сознание немецкого общества в период борьбы с наполеоновским нашествием.

Стр. 269—* В результате франко-прусской войны 1870—1871 гг. Германия отторгла у Франции пограничные между Францией и Германией области Эльзас и Лотарингию, в которых распространено франко-немецкое двуязычие и которые со времен разделения Франкского го-

сударства на восточное и западное (843 г.) являются спорными между двумя странами. После аннексии 1871 г. жители Эльзаса и Лотарингии выступали против насильственного онемечивания.

—** Имеется в виду германский король (с 1152 г.) Фридрих I, по прозвищу «Краснобородый» (Барбаросса); император Священной Римской империи с 1155 по 1190 г.; предпринял пять походов на Италию и распространил на нее свою власть; в 1189 г. предпринял крестовый поход против турок-сельджуков, разбил их, но вскоре утонул при переправе через реку; по немецким сказаниям император Фридрих заснул в одном из замков и должен встать, чтобы восстановить мощь Германии.

Стр. 272—* Ересь вальденсов (по имени лионского купца Пьера Вальдо) — средневековая аскетическая ересь, получившая распространение на Юге Франции в начале XII в., затем в других областях Франции, а также в Испании, Италии, Германии, Чехии, Швейцарии.

—** Альбигойцы — религиозная секта (по названию городка Альби) на Юге Франции, а затем в Италии и Фландрии в XI—XIII вв.

—*** Тевтонский орден, или Орден крестоносцев, — немецкий духовно-рыцарский орден. Возник в Палестине во время крестовых походов; утвержден в 1198 г. папой Иннокентием III. В 1226 г. орден перенес свою деятельность в Восточную Европу.

Орден меченосцев — духовно-рыцарский орден. Основан в 1202 г. под эгидой рижского епископа Альберта и римского папы Иннокентия III. В 1236 г. разбит литовцами и древнелатышским племенем земгалов. Остатки ордена слились в 1237 г. с Тевтонским орденом, образовав Ливонский орден (просуществовал до 1562 г.).

Стр. 273—* В VI в. византийский император Юстиниан провел кодификацию римского права. Одна из составных частей юстиниановской компиляции (*Corpus Juris civilis*) называлась Пандекты. Она содержала отрывки из сочинений римских юристов.

—** Гвельфы и гибеллины — политические направления в Италии XII—XV вв., связанные со стремлением императоров Священной Римской империи германской нации распространить свою власть на Италию. Гвельфы (итальянская переделка фамилии Вольфов, герцогов Баварии и Саксонии) — противники германских императоров. Гибеллины — сторонники папы и тех германских императоров, которые представляли династию Гогенштауфенов, правившую в Германии с 1138 по 1254 г. Соперничество гвельфов и гибеллинов представляло собой междоусобицу внутри класса феодалов, но в ней нашли отражение и противоречия между зарождающейся буржуазией и феодальной знатью. Так, в ряде городов Италии часть гвельфов выражала интересы богатых и торгово-ремесленных слоев горожан, а знать склонялась к гибеллинам.

Стр. 274—* Ганзейский союз (от *нем.* Hansa — союз, товарищество) — в XIV—XVI вв. торговый союз северных немецких городов во главе с городом Любек.

Стр. 277—* Бакунин имеет в виду преподавание в Парижском университете учения арабского мыслителя Ибн-Рашда и дальнейшее его развитие Сигером Брабантским и другими латинскими аверроистами.

—** В оригинале ошибочно указано: «в шестнадцатом».

—*** Первые Генеральные Штаты — высший совещательный орган представителей трех сословий (духовенства, дворянства, горожан) при короле Франции — были созданы в 1302 г. Генеральные Штаты явились предшественником парламента.

—**** Fraticelli (от *итал.* — frate — монах и cella — келья) — религиозная секта начала XIV — середины XV вв.

Стр. 278—* В 1356 г. немецкий император Карл IV утвердил так наз. Золотую буллу, которая узаконивала порядок избрания императора князьями-избирателями, «курфюрстами», а также права и обязанности последних. Таких курфюрстов было вначале семь: архиепископы Трира, Кельна и Майнца, князья Саксонии, Бранденбурга и Пфальца и король Чехии.

—** Бакунин имеет в виду стих из Откровения Иоанна Богослова:

Тайна семи звезд, которые
ты видел в деснице Моей, и семи
золотых светильников *есть сия*:
семь звезд суть Ангелы семи
церквей; а семь светильников,
которые ты видел, суть семь
церквей.

(Откр. 1:20)

Стр. 279—* Речь идет о Столетней войне 1337—1453 гг. между Францией и Англией.

Стр. 281—* Цитата из работы польского историка и политического деятеля И. Лелевеля «История Польши» (Париж, 1844 г.).

Стр. 283—* Вселенский церковный собор в южном немецком городке Констанце, осудивший учение Яна Гуса как еретическое, состоялся в 1414—1418 гг. По решению собора Ян Гус был сожжен 6 июля 1415 г.

—** Табориты — радикальные сторонники чешского реформатора Яна Гуса, собирались у горы Табор около Праги.

Стр. 284—* Каликстинцы (от *лат.* calix — чаша) — одно из наименований умеренного крыла гуситского движения — чашников, выступав-

ших за причащение не только духовенства, но и мирян как хлебом, так и вином.

Стр. 285—* Сирокко — знойный южный или юго-восточный ветер из пустынь Северной Африки и Аравии.

Стр. 287—* Анабаптисты — одно из наиболее радикальных течений в реформационном движении XVI в. в Западной Европе. Анабаптистов поддерживал идеолог народного движения Томас Мюнцер.

—** Аугсбургское вероисповедание — изложение основ лютеранства, подготовленное соратником Лютера Меланхтоном и представленное на Аугсбургском рейхстаге 1530 г.

Стр. 289—* Англиканская церковь — с XVI в. одна из разновидностей протестантской церкви, сохранившая большую преемственность с католичеством.

—** Пресвитерианская церковь — название протестантской кальвинистской церкви в Шотландии и Англии; отвергает учение англиканской церкви.

—*** Индепенденты — направление в протестантизме, оформившееся в период английской революции XVII в. Индепенденты составляют левое, а пресвитериане — правое крыло английского протестантизма кальвинистского толка (пуританизм).

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ

«Государственность и анархия» — самая крупная работа М. А. Бакунина, одна из немногих, написанных им на русском языке. В работе имеется подзаголовок: «Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих» — что, собственно, и определяет основную тему книги. Из истории Германии, Франции, славянских стран автор делает, с одной стороны, вывод о возобладании полнейшей реакции в Германии, обураваемой, как он полагал, страстью завоевания, преобладания «государствования», а с другой — вывод о грядущей социальной революции, зарождающейся на юге Европы (Италия, Испания, Франция), к которой, по его мнению, присоединятся народы европейского северо-запада, а затем все славянские народы.

Под общим заголовком «Государственность и анархия» осенью 1873 г. вышла первая часть задуманной Бакуниным работы. Вторую часть он намеревался посвятить истории рабочих ассоциаций в Германии и других странах Европы, а также проблемам «всенародного бунта» и организации рабочих масс на принципах анархизма. Сборник «Историческое развитие Интернационала», вышедший в том же 1873 г., составил фактически вторую часть труда на тему «Государственность и анархия».

На русском языке «Государственность и анархия» публиковалась у нас в стране в последний раз в издании: М. А. Бакунин. Избранные сочинения (Т. 1. Петербург, книгоиздательство «Голос труда», 1919). В конце 60-х гг. этот бакунинский труд был переиздан на языке оригинала и в переводе Марселя Боди на французский язык в качестве третьей части издания: Archives Bakounine (Leiden, 1967), а затем в издании: Bakounine M. Œuvres complètes (Т. 4. Paris, 1976).

В настоящем издании «Государственность и анархия» печатается по ее первому цюрихскому изданию 1873 г.

Стр. 291—* Имеется в виду Международное товарищество рабочих, т. е. I Интернационал.

—** Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Стр. 292—* См. прим. **** к стр. 188.

—** М. А. Бакунин говорит о циркуляре от 6 июня 1871 г. члена французского правительства Жюля Фавра, в котором он, в частности, квалифицировал I Интернационал как общество войны и ненависти, общество атеистическое и коммунистическое.

Стр. 293—* Испанский министр внутренних дел Р. М. Сагаста разослал в провинции циркуляр, который фактически ставил членов I Интернационала вне закона.

—** В 1864 г. римский папа Пий IX издал «Syllabus» (лат. — список, перечень), осуждавший, в частности, пантеизм, натурализм, рационализм, социализм и коммунизм, а также тайные организации.

Стр. 294—* Далее в цюрихском издании 1873 г. шло слово «которое», по смыслу текста излишнее.

Стр. 295—* 11 февраля 1873 г. испанский король отрекся от престола и в Испании была провозглашена республика.

Стр. 297—* Бакунин имеет в виду то обстоятельство, что в 1859—1860 гг. объединение Италии произошло вокруг Сардинского королевства, а точнее вокруг ее основного региона — северо-западной части Италии — Пьемонта. В 1821 г. в этой наиболее развитой области Италии произошла революция; именно к Пьемонту (Сардинскому королевству) в дальнейшем присоединялись другие итальянские территории, освобождавшиеся от австрийского господства. По мысли Бакунина, создание объединенного итальянского государства, хотя и протекало на почве, подготовленной национально-освободительным движением во главе с Мадзини и Гарибальди, но осуществлялось оно на антинародной основе, что, как он считал, и делало социальную революцию в Италии очень близкой.

Стр. 298—* Фиоритура (ит. fioritura — букв.: цветение) — здесь: украшение мелодии трелями и т. п.

Стр. 306—* Бакунин ошибочно полагает, что в 1868 г. по вопросу о взаимоотношении германских социал-демократов с австрийскими К. Либкнехт действовал по указанию К. Маркса. В письмах Л. Кугельману от 6 апреля и 24 июня 1868 г. К. Маркс критически отзывался об этом направлении деятельности К. Либкнехта, считая, что в газете Либкнехта слишком много южногерманской ограниченности, что он «все больше и больше увязает в южногерманских глупостях» (*Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, Т. 32. С. 453, 457).

Стр. 308—* Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 гг.

—** В марте 1871 г. в результате неудачной попытки разоружения парижских рабочих буржуазное правительство во главе с А. Тьером (образовано 17 февраля 1870 г. на заседании Национального собрания в Бордо) вынуждено было бежать в Версаль — городок в 17 км от Парижа, откуда оно руководило борьбой с Парижской коммуной. Отсюда его название — Версальское правительство.

Стр. 309—* Вандомская колонна со статуей Наполеона I наверху — сооружена на Вандомской площади в Париже в 1806—1810 гг. в ознаменование побед французской армии над австрийскими и русскими войсками. Парижские коммунары разрушили колонну в 1871 г., но в дальнейшем она была восстановлена.

Стр. 311—* Весной 1873 г. в Барселоне (Испания) французские социалисты создали «Комитет революционной социалистической пропаганды южной Франции».

—** Бакунин имеет в виду падение курса ценных бумаг, выпущенных государством, которое произошло вследствие политики правительства Тьера, пошедшего на заключение мирного договора с Германией.

Стр. 313 —* После падения Парижской коммуны были расстреляны от 20 до 25 тыс. коммунаров, 50 тыс. — арестованы, около 4 тыс. — депортированы в Новую Каледонию. (См.: *Bourgin G. La Guerre de 1870 et la Commune. Paris, 1939. P. 384, 408.*)

Стр. 317—* Воспользовавшись франко-прусской войной 1870—1871 гг., Россия отказалась придерживаться тех ограничений, которые были наложены на нее после поражения в Крымской войне.

—** В 1873 г. русские войска под командованием генерала К. П. Кауфмана покорили Хивинское ханство.

Стр. 318—* Испанские Бурбоны — боковая линия французской королевской династии Бурбонов, начавшаяся с внука Людовика XIV Филиппа, ставшего в 1700 г. испанским королем Филиппом V.

Стр. 320—* Речь идет у Бакунина о том, что с начала XIX в. до 70-х гг. XIX в. в Испании произошло пять революций (1808—1814, 1820—1823, 1834—1843, 1854—1856, 1868—1874), в ходе которых неоднократно происходила смена политических режимов и к власти приходили то сторонники конституционной монархии, то феодально-ари-

стократическая реакция, но в целом эти революции неизменно представляли собой компромисс испанской буржуазии с феодалами.

—** Фуэросы (*исп.* — *fuero*, *мн. ч.* — *fueros*) — права, привилегии, которые предоставлялись испанскими королями городам и сельским общинам.

Стр. 321 — * Союз Социальных Революционеров, или Альянс, — тайная международная организация, основанная М. А. Бакуниным в сентябре 1872 г. в Цюрихе.

Стр. 325 — * Речь идет о соглашении (конкордате) между Ватиканом и Австрией по церковным вопросам, заключенном в 1855 г.

Стр. 326 — * Цислейтания (*бука.*: по эту сторону реки Лейты) — «австрийская» часть Австро-Венгерской империи.

Стр. 327 — * Транслейтания (*бука.*: по ту сторону реки Лейты) — «венгерская» часть Австро-Венгерской империи.

Стр. 330 — * Сербский государь Стефан Душан — король с 1331, царь с 1345 г. создал сильное сербско-греческое царство, присоединив к Сербии некоторые греческие земли. В цюрихском издании 1873 г. Душан ошибочно назван Душманом.

Стр. 331 — * Сторонники вождя реформационного и национально-освободительного движения в Чехии Яна Гуса.

Стр. 333 — * Бакунин имеет в виду мысли из ветхозаветной книги Екклесиаст, которая, по преданию, написана царем Соломоном:

Что было, то и будет; и что
делалось, то и будет делаться, и
нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем гово-
рят: «смотри, вот это новое»; но
это было уже в веках, бывших
прежде нас.

(Еккл. I: 9—10)

Стр. 340 — * См. прим. ** к стр. 272.

Стр. 350 — * Немецкий император Венцель, или Венцеслав, в 1364 г. был избран чешским королем, а в 1376 г. — императором Священной Римской империи.

—** См. прим. ** к стр. 283.

Стр. 352 — * Бакунин имеет в виду те секции I Интернационала, которые, разделяя принципы анархизма, не признали решений V конгресса Интернационала в Гааге (сентябрь 1872 г.). Конгресс исключил Бакунина из Международного товарищества рабочих.

Стр. 357 — * Александр II — сын Николая I и прусской принцессы Фредерики-Луизы-Шарлотты-Вильгельмины, которая была дочерью

прусского короля Фридриха-Вильгельма и сестрой императора Вильгельма I, приходился таким образом последнему племянником.

Стр. 358—* Речь идет о восстании 1830—1831 гг. на польских землях, находившихся под властью России.

—** Имеется в виду Общество соединенных славян, созданное в 1823 г. русскими офицерами братьями А. И. и П. И. Борисовыми и польским политическим ссыльным Ю. К. Люблинским; в 1825 г. вошло в Южное общество декабристов.

Стр. 363—* Селестская Божья Матерь — икона по названию монашеского органа целестинцев, созданного в 1254 г. отшельником Петром (будущим папой Целестином V). Поскольку существует много вариантов икон Божьей Матери, в том числе, например, мадонны, изображенные Рафаэлем в ренессансной манере, Бакунин берет пример иконы с мадонной традиционного католического монашеского ордена, чтобы подчеркнуть реакционный характер политики официальной Франции после подавления Парижской коммуны.

** Лавр, св. мученик; пострадал вместе с братом Флором от язычников во II в.; христианская церковь отмечает его память 18 августа.

—*** Ультрамонтантство (от *лат.* *ultra montes* — за горами, т. е. в Риме) — направление (с XV в.) в католицизме, отстаивающее идею неограниченной верховной власти римского папы, его право вмешиваться в светские дела любого государства.

—**** По имени австрийского государственного деятеля князя Феликса Шварценберга, вставшего в 1848 г. во главе правительства и создавшего единое австрийское государство.

Стр. 364—* В качестве наместника Польши с 1832 г. Паскевич вел продолжительную переписку с Николаем I и предлагал, в частности, ликвидировать Царство Польское как отдельную административную единицу и организовать в нем чисто русское управление.

Стр. 365—* Фригийская шапка — головной убор якобинцев, символизирующий свободу, — высокий колпак, подобный тому, что носили жители древней Фригии (в Малой Азии).

Стр. 366—* В цюрихском издании 1873 г. ошибочно значится: «Москва».

Стр. 370—* Строфа из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (См.: *Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. Ч. I. М., 1948. С. 270*).

Стр. 373—* Речь идет о войне Пруссии против Дании (датско-прусская война 1848—1850 гг.) и войне Пруссии и Австрии против Дании с целью захвата герцогства Шлезвиг и Гольштейн (датская война 1864 г.), а также о франко-прусской войне 1870—1871 гг.

Стр. 380—* Средневековое право немецкого города Магдебурга, оформившееся в XIII в. и предоставившее городам значительную автономию.

Стр. 382—* Первый частичный раздел Польши между Пруссией, Россией и Австрией произошел в 1772 г.

Стр. 386—* Лимбургский сыр, приготовлявшийся в г. Лимбурге бельгийской провинции Льеж, отличался специфическим запахом.

Стр. 388—* В издании 1873 г. ошибка: «возрождение».

Стр. 389—* Бакунин имеет в виду многолетний спор между Данией и Пруссией за обладание герцогством Шлезвиг и Гольштейн; в конечном счете Дания потерпела поражение и уступила эти земли Пруссии.

** По-видимому, Бакунин имеет в виду стихотворение немецкого революционного поэта Г. Гервега «Германия, в мягкой постели...» (1848), в котором есть строфы:

И в Кельне твердыня господня,
Собор все растет и растет.
И по подписке сегодня
Германский строится флот.

(См.: *Гервег Г.* Избранное. М., 1958. С. 141.)

—*** В издании 1873 г. далее следовало лишнее местоимение «что».

Стр. 390—* В издании 1873 г.— ошибка: «непрочных».

Стр. 403—* Имеется в виду Великая Крестьянская война в Германии 1524—1526 гг.

Стр. 405—* Речь идет о поражении при Вальми прусского генерала герцога Карла Брауншвейгского после вторжения возглавляемой им австро-прусской армии в революционную Францию в 1792 г.

Стр. 406—* См.: прим. ** к стр. 233.

—** Директория — правительственная коллегия из пяти лиц, учрежденная по конституции 1795 г. Свергнута Наполеоном Бонапартом 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. Консульство — период верховного правления трех консулов с 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. по 14 мая 1804 г. Империя — период правления Наполеона I Бонапарта после избрания его императором в 1804 г.

—*** Йенское сражение между войсками Наполеона и прусско-саксонской армией в районе г. Йена 14 октября 1806 г., которое привело к разгрому Пруссии.

—**** Шпандау — город-крепость под Берлином с цитаделью на острове.

Стр. 407—* Речи к немецкой нации И. Г. Фихте произнес в Берлинской академии наук в конце 1807 г.— начале 1808 г. (см.: *Fichte J. G. Sämmtliche Werke. Bd. VI. Berlin, 1845*).

Стр. 408—* Речь идет о профессоре Кенигсбергского университета, в дальнейшем ректоре Берлинского университета Т. Шмальце.

Стр. 409—* См.: *Springer A. Geschichte Oesterreich seit dem Wiener Frieden, 1809. V. 1. Leipzig, 1863. S. 119—120*.

Стр. 417—* См.: *Müller W. Geschichte der neusten Zeit. 1816—1866. Stuttgart, 1867. S. 11*.

Стр. 419—* Так называет Бакунин Священный союз, заключенный в 1815 г. русским императором Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III.

Стр. 421—* Бакунин имеет в виду вторую испанскую революцию 1820—1823 гг., неаполитанскую революцию 1820—1821 гг., пьемонтскую революцию 1821 г., бельгийскую революцию 1830 г.

—** «Где немецкое отечество?» (нем.). См. прим. * к стр. 268.

Стр. 423—* Мартин Лютер известен не только как реформатор, но также как поэт и композитор, автор многих духовных песен и хоралов, а также песен светского содержания (см.: *Соловьев Э. Ю. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. М., 1984. С. 263*). К числу духовных песен относится и упоминаемая Бакуниным песня «Сильная крепость наш бог».

Стр. 425—* См. прим. ** к стр. 269.

—** Речь идет о работе немецкого либерального историка Вильгельма Мюллера «История нового времени, 1816—1866» (*Geschichte der neusten Zeit, 1816—1866. Stuttgart, 1867*).

—*** Речь идет не об июньских, а об июльских «трех славных» днях (29, 30 и 31 июля 1830 г.), когда был свергнут Карл X и на престол вступил Луи Филипп.

Стр. 426—* Сторонники Марии-Кристины из династии Бурбонов, ставшей в 1833 г. королевой-регентшей Испании после смерти короля Фердинанда VII.

—** Сторонники брата испанского короля Фердинанда VII — Дона Карлоса, претендовавшего на испанский престол.

Стр. 429—* Калька с фр. *attentat* — покушение, посягательство.

** В марте 1848 г. во Франкфурте собрался так наз. предварительный парламент (Фор-парламент), а 18 мая 1848 г. там же открылось общегерманское национальное собрание.

Стр. 430—* Гегель умер 14 ноября 1831 г.

Стр. 431* Фата-моргана (итал. *fata morgana*)—в некоторых странах Средиземноморья так называется форма миража, при которой на горизонте появляются сложные и быстро меняющиеся изображения предметов, находящихся за горизонтом.

Стр. 433—* Бакунин, по-видимому, не цитирует в данном случае Г. Гейне, а излагает своими словами его представления об отличиях будущей немецкой революции от революции французской.

Стр. 434—* Здесь и далее Бакунин имеет в виду последователей О. Конта и близких к нему мыслителей в отличие от философов типа Фихте-младшего, которых он в 40-х гг. также называл позитивистами.

Стр. 436—* В издании 1873 г. ошибка: «социалистическому закону».

Стр. 439—* Лига Юга объединяла так наз. федералистов, противников централизованного государства. Наиболее видным ее деятелем был Анри-Альфонт Эскирос.

Стр. 440—* Боа — змея семейства удавов; констриктор (от лат. *constrictio*) — стяжение, сужение.

Стр. 442—* *Stein von L. Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich. Leipzig, 1842.*

Стр. 443—* Имеется в виду «Рейнская газета» (*Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe*), выходившая с января 1842 г. по конец марта 1843 г.

—** Речь идет о кружке левогегельянцев, носившем название «Freien» («Свободные»), главной фигурой которого был Бруно Бауэр.

—*** Существует точка зрения, что именно левогегельянцы первыми пустили в оборот термин «нигилизм», который затем стал применять И. С. Тургенев, поддерживавший отношения с окружением Б. Бауэра.

—**** Маркс приехал в Париж в октябре 1843 г.

Стр. 445—* Католическое течение в Германии, адепты которого не согласились с решениями Собора 1870 г. о непогрешимости папы, не признали индульгенции и культ святых.

—** Иоганн Тецель — монах доминиканского ордена, в руках которого с XIII в. находились дела инквизиции. До основания ордена иезуитов (XVI в.) доминиканцы выступали главным орудием пап в борьбе с их противниками. И. Тецель — приверженец папы Льва X. Особенно известен Тецель своей торговлей индульгенциями, что вызвало, в частности, возмущение у Мартина Лютера, который выступил против такой практики с резким протестом.

Стр. 449—* «Манифест Коммунистической партии» вышел в Лондоне в феврале 1848 г.

Стр. 451—* Имеется в виду восстание лионских ткачей в апреле 1834 г.

—** Ислачиш — искаженное имя хорватского бана (наместника губернатора) Йосипа Елачица.

Стр. 455—* См.: *Jacoby J. Gesammelte Schriften und Reden. Vor. 2. Hamburg, 1872. S. 98, 106.*

Стр. 458—* См. прим. * к стр. 455; S. 22.

Стр. 459—* См. прим. * к стр. 455; S. 21.

Стр. 460—* См. прим. * к стр. 34.

Стр. 462—* Инсургент (от *франц.* *insurgé* — восставший, повстанец) — так в XIX в. называли участников восстаний, не принадлежавших к армии и ведущих партизанскую войну.

Стр. 466—* Песня профессора лицея Б. Триерша, написанная в 1830 г.

Стр. 471—* *Die Grundsätze der preussischen Demokratie. Zwei Reden des Dr. Johann Jacoby ... Berlin, 1859. S. 7.*

** *Jacoby J. Gesammelte Schriften und Reden. Vol. 2. Hamburg, 1872. S. 142—143.*

Стр. 475—* Цит. по кн.: *Fürst Bismarck als Redner. Vollständige Sammlung der parlamentarischen Reden Bismarcks seit dem Jahre 1847. Hrsg. von W. Böhm. Berlin, Stuttgart. Vol. 2. S. 12.*

Стр. 477—* См. прим. * к стр. 11.

Стр. 478—** В сентябре 1868 г. в Берне состоялся второй конгресс Лиги мира и свободы.

Стр. 480—* См. соответствующее место в «Учредительном манифесте Международного товарищества рабочих» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. 2. Т. 16. М., 1960. С. 10).

—** См. соответствующее место в «Манифесте Коммунистической партии» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. 2. Т. 4. М., 1955. С. 446).

Стр. 486—* Со слов Ф. Лассалья М. Бакунин пишет о работе К. Маркса «К критике политической экономии», вышедшей в 1859 г.

—*Так в издании 1873 г. Вероятно, в тексте пропуск.

—*** После того как Гаагский конгресс I Интернационала, состоявшийся 2—7 сентября 1872 г., исключил М. А. Бакунина из Интернационала, Бакунин решил созвать новый конгресс Международного товарищества рабочих, на который были приглашены делегаты от пробакунистской Юрской федерации и делегаты Гаагского конгресса, выступавшие против исключения Бакунина из Интернационала. На конгрессе анархистов, состоявшемся 15 сентября 1872 г., присутствовали представители Италии, Испании, Швейцарии, Франции и Америки. Этот факт Бакунин истолковывал как поражение Маркса. И действительно, у Маркса и его сторонников появились немалые трудности. После Гаагского конгресса Интернационала возникла угроза захвата руководства Генеральным Советом немарксистскими элементами. В этих условиях К. Маркс настоял на переводе Генерального Совета в Нью-Йорк. Вскоре, в 1876 г., Филадельфийский конгресс формально распустил I Интернационал. Но и анархистский Интернационал просуществовал недолго. В конце 1877 г. он распался.

Стр. 489—* Ф. Лассаль умер 31 августа 1864 г. в результате ранения на дуэли.

Стр. 490—* Социал-демократическая рабочая партия Германии образовалась в 1869 г. на конгрессе в Эйзенахе.

Стр. 491—* Речь идет об Альянсе социалистической демократии, который был создан в октябре 1868 г. В работе, писавшейся в 1873 г., Бакунин, говоря о событиях, относящихся к сентябрю 1868 г., задним числом называет альянсистами своих сторонников, еще не бывших членами его Альянса.

—** Сборник «Историческое развитие Интернационала» вышел в Цюрихе. Он был объявлен как второй том «Издания социально-революционной партии» (первый том издания — это «Государственность и анархия» М. А. Бакунина). В этот сборник вошли статьи единомышленников Бакунина Д. Гийома, Сезар де Папа, Н. Жуковского, а также статья Бакунина «Интернациональный союз социальных революционеров» и его речи на Бернском конгрессе Интернационала (1868). Сборник «Историческое развитие Интернационала» вышел раньше, чем «Государственность и анархия».

Стр. 494—* Союз, или Альянс, Социальных Революционеров М. Бакунин создал в сентябре 1872 г. вместо формально распущенного Альянса социалистической демократии. В данном случае М. Бакунин отождествляет «альянсистов» — членов Альянса 1868 г. с членами Альянса 1872 г.

Стр. 496—* Имеется в виду статья, опубликованная в «Volksstaat» 11 сентября 1870 г.

Стр. 508—* В конце 60-х — начале 70-х гг. в центре политической концепции П. Л. Лаврова находилась идея активно действующего революционного меньшинства разночинной интеллигенции и молодежи, опиравшейся на этико-социологический метод, который со временем не без оснований получил название субъективного метода. В глазах Бакунина, ориентированного на массовые, стихийные народные движения, идеалы которых научно, теоретически, по его мнению, обосновать невозможно и не нужно, лавризм представлялся как «доктринерство» и «ученая болтовня». Миртов и Кедров — псевдонимы Лаврова.

Стр. 510—* Бакунин говорит о первом из «Философических писем» П. Я. Чадаева, опубликованном в 1836 г.

Стр. 514—* Речь идет об августовском номере журнала П. Л. Лаврова «Вперед» (Цюрих, 1873 г.).

Стр. 517—* Смутное время — период, начиная с вступления на престол Бориса Годунова (1548 г.) и кончая избранием на царство Михаила Романова (1613 г.). На эту эпоху приходится появление двух «самозванцев» — претендентов на русский престол — Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, выдававших себя за убитого царевича Дмитрия Ивановича; польская интервенция; воцарение В. Шуйского; «семибоярщина»; крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова.

—** Имеется в виду восстание 1650 г. в Новгороде, вызванное ухудшением положения посадских людей в связи с принятием «Соборного Уложения» царя Алексея Михайловича (1649 г.).

—*** Речь идет о восстании декабристов.

—**** В иудаистической, христианской и мусульманской мифологиях ангелы — созданные богом бесплотные существа, призванные служить единому богу, воюя с его врагами, воздавая ему честь, неся его волю стихиям и людям. В христианстве иерархия ангельских чинов наиболее подробно разработана Псевдо-Дионисием Ареопагитом: 1 триада — серафимы, херувимы, престолы; 2 триада — господства, силы, власти; 3 триада — начала, архангелы, ангелы (см.: Мифы народов мира. Т. I. М., 1980. С. 76—78, 362).

Стр. 519—* В начале 1869 г. С. Г. Нечаев выехал из России за границу и, выдавая себя за представителя фактически не существовавшей революционной организации, вошел в доверие к М. А. Бакунину и Н. П. Огареву, получив из так наз. Бахметьевского фонда средства на революционную деятельность. Возвратившись осенью 1869 г. в Россию, он создал подпольную организацию «Народная расправа», изобразив ее в качестве русского отдела несуществовавшего «Всемирного революционного союза». В ноябре 1869 г. по подозрению в предательстве Нечаев и его единомышленники убили члена своей организации студента И. И. Иванова. В связи с начавшимися арестами Нечаев вновь уехал за границу. К середине 1870 г. М. А. Бакунин, опиравшийся на собственные наблюдения и сведения, идущие от Г. А. Лопатина, пришел к выводу, что Нечаев систематически обманывал его; Бакунин пришел также к выводу о несовместимости своей революционной программы и программы Нечаева, о чем свидетельствует, в частности, публикуемое в данном издании письмо Бакунина Нечаеву от 2 июня 1870 г. Летом 1870 г. Бакунин и Огарев порвали с Нечаевым все отношения. В августе 1872 г. швейцарские власти арестовали Нечаева, разыскивавшегося агентами русской полиции в связи с убийством И. И. Иванова, и вскоре выдали его правительству России. В январе 1873 г. Нечаев был приговорен за убийство к 20-ти годам каторжных работ, что и дало Бакунину основание сделать вывод о «несчастном исходе нечаевского предприятия».

—** В 1848 г. утопист-коммунист Э. Кабе при содействии Р. Оуэна получил в Техасе (США) участок земли и создал икарийскую колонию — в соответствии с замыслом своего романа «Новая Икария». Но среди колонистов начались раздоры и скандалы, и в результате сам Кабе был исключен из колонии.

Стр. 524—* Существуют два варианта текста, носящих одинаковое название «Программа славянской секции в Цюрихе». Один написан М. Бакуниным в августе 1872 г. и известен по рукописи на французском

языке. Он впервые опубликован М. Драгомановым в книге «*Michail Bakounins Sozialpolitischer Briefwechsel mit Alexander Iw. Herzen und Ogarjow*. Stuttgart, 1895. P. 381—383. Новейшее переиздание: *Bakounine M. Œuvre complète*. Т. IV. Paris, 1976. P. 185—186. Есть второй, русский, несколько отличающийся от указанного выше текста, вариант, который М. Бакунин опубликовал как «Прибавление Б» к книге «Государственность и анархия», опубликованной в Цюрихе в 1873 г. В настоящем издании приведен второй вариант.

Стр. 525—* Славянская секция была создана в Цюрихе в июле 1872 г.

Стр. 526—* Юрская федерация (по названию департамента Юра в Швейцарии) — пробакунистская анархистская организация, отколовшаяся в 1871 г. от I Интернационала. Во главе Юрской федерации стоял соратник М. Бакунина, один из главных издателей его трудов Д. Гильом.

ПИСЬМО С. Г. НЕЧАЕВУ ОТ 2 ИЮНЯ 1870 г.

Впервые письмо Бакунина, написанное на русском языке, опубликовал французский русист М. Конфино в журнале «*Cahiers du monde russe et soviétique* (1966. Vol. VII. № 4).

Письмо С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 г. было переиздано в дальнейшем в «Архиве Бакунина» под редакцией Артура Ленинга (см.: *Archives Bakounine*. IV. Michel Bakounine et ses relations avec Sergej Nečajev. 1870—1872. Leiden, 1971. С. 103—141) и воспроизведено в парижской версии этого издания (см.: *Bakounine M. Œuvres complètes*. Т. 5. Paris, 1977. P. 103—141). В СССР это письмо опубликовано в приложении к статье С. В. Житомирской и Н. М. Пирумовой «Огарев, Бакунин и Н. А. Герцен-дочь в “нечаевской истории (1870)”» (Литературное наследие. Т. 96. 1985. С. 499—522). Как первая, так и остальные публикации представляют собой воспроизведение сохранившейся копии этого письма. В копии оказались отдельные пропуски и неразобранные слова. Публикаторы некоторые места расшифровали по смыслу, другие — оставили нерасшифрованными. В данном издании за основу взята первая публикация М. Конфино, но с учетом некоторых расшифровок в последующих публикациях и комментариев к ним. При наличии нескольких публикаций, дающих полное представление о текстологических особенностях оригинала мы считаем возможным специально отметить знаком [...] только те места бакунинского письма, которые не поддаются пока расшифровке или остаются проблематичными. Слова, написанные Бакуниным сокращенно (м. б. — может быть, п. ч. — потому что, следов. — следовательно и т. д.), даются полностью без оговорок.

Стр. 527—* Нечаев изображал себя в качестве представителя комитета революционного русского общества, которое фактически не существовало.

—** Знаком [...] здесь и далее обозначены пропуски в копии письма, знаком <...> — слова, вставленные по смыслу.

Стр. 528—* Брошюра Бакунина «К офицерам русской армии», написанная в январе 1870 г., в том же году вышла в Женеве. В этой брошюре Бакунин предрекал наступление часа «последней борьбы между Романовским Гольштейн-Готторбским Государством и между русским народом» (С. 1), призывал создать антигосударственную «революционно-народную организацию» и организовать заговор с целью разрушения «всего сословно-государственного мира в России» (С. 3).

Стр. 529—* Из четырех названы только трое. Четвертым знакомым Бакунина был Н. А. Спешнев.

—** В издании 1985 г. (в «Литературном наследии»): «знал», что придает некоторый новый смысл высказыванию Бакунина.

Стр. 532—* В копии: «но какой».

—** В копии ошибка: «Мецену».

Стр. 533—* В копии: «ценны».

Стр. 536—* В публикации 1985 г. предлагается сомнительная расшифровка: «Интернациональ-тайно-революционный союз». Немного ниже Бакунин употребляет название Интернациональный союз.

Стр. 541—* В копии: «изменения».

—** В брошюре «Постановка революционных вопросов», вышедшей в Женеве в 1869 г. без подписи, Бакунин ставит вопрос о роли молодежи как объединяющего начала в стихийных народных бунтах.

Стр. 542—* В издании 1985 г.: «изустной».

Стр. 543—* Возможно: «для совокупления разобщенных».

Стр. 547—* Речь идет о статье «Наша программа», написанной Н. И. Жуковским и опубликованной в журнале «Народное дело» (1868. № 1). Весь этот номер Бакунин считал выражением своих взглядов.

Стр. 557—* В копии ошибка: «характеризовать».

—** По сообщению М. Конфино (см.: *Cahiers du monde russe et soviétique*. 1966. № 4. Р. 674), к этому месту Н. А. Герцен сделала примечание: «По просьбе Бакунина Семен Серебренников прибавил после в другой копии слова «отнюдь не», которые совершенно изменяют смысл этой фразы». Н. А. Герцен ошиблась. Можно согласиться с комментаторами публикации 1985 г. в том, что вставленные слова подчеркивают очень важную для Бакунина мысль о допустимости «опутывания», обмана и иезуитизма по отношению к врагу и недопустимости их по отношению к друзьям.

—*** В копии ошибка: «неоспоримо».

Стр. 558—* Бахметьевский фонд — средства, находившиеся в распоряжении А. И. Герцена, а после его смерти — Н. А. Огарева, предназначенные для субсидирования деятельности русских революционеров.

Стр. 559—* Речь идет о Генри Сетерленде. Но неизвестно — о какой сплетне.

—** Тата — старшая дочь А. И. Герцена Наталья.

Стр. 560—* Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева — вторая жена А. И. Герцена.

Стр. 561—* В копии ошибка: «Крыжова».

Стр. 562—* Речь идет о вилле, на которой когда-то жила группа турок-эмигрантов.

Стр. 564—* В 1869 г. Бакунин взялся переводить I том «Капитала» К. Маркса, получил за этот перевод аванс от издателя Н. П. Полякова через студента Н. Н. Любавина, но из-за того, что он затянул с переводом, работу эту поручили Г. А. Лопатину и Н. Ф. Даниельсону. Последний и выполнил основную часть перевода, который был опубликован в Санкт-Петербурге в 1872 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 г. до н. э.—14 г. н. э.), римский император с 27 г. до н. э.—413
- Абеляр Пьер (1079—1142), французский философ и богослов, представитель рационалистического направления в средневековой теологии—272
- Адам (*библ.*), первый человек—64, 89
- Александр I Павлович (1777—1825), русский император с 1801 г.—261—262, 299, 406, 417, 420, 425, 582, 591
- Александр II Николаевич (1818—1881), русский император с 1855 г.—148, 166, 178, 179, 180, 181, 251, 263, 354, 364, 366, 401, 521, 588
- Александр III Александрович (1845—1894), русский император с 1881 г.—364
- Александра Федоровна (Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина) (1798—1860), русская императрица, жена Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма—588
- Алексей Михайлович Романов (1629—1676), русский царь с 1645 г.—595
- Альберт Аппельдернский (Буксгевден) (ум. 1289), епископ рижский с 1199 г., организатор ордена меченосцев—570, 583
- Альтенштейн Карл (1770—1840), в 1808—1810 гг.—прусский министр финансов, в 1817—1838 гг.—министр просвещения и духовных дел—431
- Амадей Савойский (1845—1890), король Испании в 1870—1873 гг., сын короля Виктора Эммануила II—293, 320
- Анри Луи (р. 1840), французский политический деятель; в начале 70-х гг.—прокурор республики, в 1879—1882 гг.—префект полиции в Париже—209, 210, 231
- Анфантен Бартелеми Проспер (1796—1864), французский социалист-утопист, последователь Сен-Симона—30
- Араго Доминик Франсуа (1786—1853), французский астроном, физик, политический деятель—131

* Указатель включает исторические и мифологические имена, содержащиеся в работах М. А. Бакунина, вступительной статье и в «Примечаниях».

- Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), в 1808—1810 гг.—русский военный министр, затем председатель департамента военных дел Государственного совета; известен политикой грубой военщины, получившей название «аракчеевщины»—417
- Аристотель (384—322 гг. до н. э.), древнегреческий философ и ученый—29, 51, 278
- Арминий (18 или 16 г. до н. э.—19 или 21 г. н. э.), вождь германского племени херусков, находившийся сначала на службе у римлян, но затем восставший против них и освободивший Германию от власти Рима—424
- Ардт Эрнест-Мориц (1769—1860), немецкий историк и поэт; его стихи периода борьбы с Наполеоном выражали тогдашнее патриотическое сознание немецкого общества—268, 277, 421, 423, 582
- Арнольд Брешианский (конец XI или начало XII в.—1155), итальянский политический деятель, ученик Абеляра, критик католической церкви с позиций раннего христианства; казнен в 1155 г.—272
- Бабеф Гракх (настоящее имя Франсуа Ноэль) (1760—1797), французский революционный коммунист-утопист—29, 30, 33, 532
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)—11, 527, 568, 569—571, 573—579, 581, 582, 585—598
- Бальбо Чезаре (1789—1853), итальянский политический деятель, историк, писатель, один из идеологов итальянского национально-освободительного движения—187
- Барнав Антуан (1761—1793), деятель Великой французской революции, сторонник конституционной монархии; казнен якобинцами—233
- Бароде Дезире (1823—1906), французский политический деятель; 4 сентября 1870 г. провозгласил республику в Лионе; в 1896—1900 гг.—сенатор—311, 312
- Барош Пьер-Жюль (1802—1870), французский политический деятель, бонапартист; был министром внутренних, иностранных дел, юстиции—235, 236
- Бауэр Бруно (1809—1882), немецкий философ-левогегельянец—443, 592
- Бауэр Эдгар (1821—1886), немецкий философ-левогегельянец, брат Б. Бауэра—443
- Бахус (*рим. мифол.*) — латинская форма имени Вакх, одного из имен Диониса — бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия—278
- Бебель Август (1840—1913), один из основателей и вождей германской социал-демократии—259, 343, 490, 493, 496

- Бейст Фридрих-Фердинанд (1809—1886), австрийский государственный деятель, политический противник Бисмарка—325, 477
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), русский литературный критик, революционный просветитель-демократ—3
- Бенедикт Нурсийский (480—543), основатель Бенедиктинского ордена, святой католической церкви—244
- Беранже Пьер Жан (1780—1857), французский поэт—580
- Берг Фридрих-Вильгельм (Федор Федорович) (1790—1874), выходец из Лифляндии, находился на русской службе; в 1854—1861 гг.—генерал-губернатор Финляндии, в 1863 г.—наместник Польши, с 1865 г.—генерал-фельдмаршал—262
- Бёрне Людвиг (1786—1837), немецкий писатель, публицист, в последние годы жизни сторонник христианского социализма—424, 430, 442
- Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803—1826), один из руководителей Южного общества декабристов—358
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор—51
- Бийо Жан-Батист (р. 1828), французский генерал, в 1871 г.—депутат парламента, в 1875 г.—сенатор, в 1882—1883 и 1896—1898 гг.—военный министр—249
- Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815—1898), первый канцлер Германской империи (с 1871 г.)—37, 91, 181, 232, 251—254, 257, 258, 262, 265, 279, 284, 291—293, 297, 298, 301, 312, 316, 325, 327, 328, 332, 341, 343, 353, 355, 360, 381, 382, 384, 385, 390, 392, 393, 399—401, 408, 413, 426, 427, 439, 474, 477, 484, 486, 489, 500—502, 581, 582, 593
- Блан Луи (1811—1882), французский историк, утопический социалист, деятель революции 1848 г.—5, 30, 31, 36, 234, 237, 242, 244, 442, 444, 572, 580, 581
- Бланк Гаспар, один из французских друзей М. А. Бакунина—578
- Блумфильд Джон-Арчер-Дуглас (1802—1879), английский дипломат, с 1851 г. посланник Великобритании в Берлине—263
- Блунчли Иоганн Каспар (1808—1881), выходец из Швейцарии, немецкий юрист, профессор университетов в Цюрихе, Мюнхене, Гейдельберге—443
- Блюхер Гебгард Леберехт фон Вальштатт (1742—1819), прусский генерал-фельдмаршал; в 1813 г. командовал русско-прусскими войсками в Силезии, а в 1815 г. успешно командовал в битве под Ватерлоо—261, 412
- Боккаччо Джованни (1313—1375), итальянский писатель эпохи Возрождения—277
- Бокль Генри Томас (1821—1826), английский историк и социолог-позитивист—133

- Боливар Симон (1783—1830), один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке; в его честь названа республика Боливия—187
- Болотников Иван Исаевич (?—1608), предводитель крестьянского восстания 1606—1607 гг.—594
- Борис Федорович Годунов (ок. 1552—1605), русский царь с 1598 г.—594
- Борисов Андрей Иванович (1798—1854), один из организаторов декабристского Общества соединенных славян—589
- Борисов Петр Иванович (1800—1854), брат А. И. Борисова, соорганизатор декабристского Общества соединенных славян—589
- Боцарис Маркос (1790—1823), руководитель национально-освободительного восстания греков 1821—1829 гг. против турецкого ига—187
- Бранденбург Фридрих Вильгельм (1792—1850), прусский государственный деятель, сын короля Фридриха-Вильгельма II от мorganатического брака с графиней Денгоф; в 1848—1850 гг.—премьер-министр—463, 474
- Браунер Франтишек (1810—1880), чешский политический деятель, панславист, сторонник Ф. Палацкого—284, 352, 353
- Брауншвейг (Брюнсвиг, Брауншвейгский герцог) Карл Вильгельм Фердинанд (1735—1806), герцог Брауншвейга в 1780—1806 гг.; в 1792 г. войска под его командованием были разбиты французскими войсками при Вальми—218, 219, 405, 590
- Бриалу Жорж (р. 1833), французский политический деятель; в сентябре 1870 г. делегат Лиона в Комитете общественного спасения; противник Парижской коммуны—190
- Бриссо Жак Пьер (1754—1793), деятель Великой французской революции, лидер жирондистов—571
- Буонарроти Филиппо Микеле (1761—1837), деятель французского и итальянского революционного движения, коммунист-утопист, соратник Г. Бабефа—29, 30
- Бурбоны, королевская династия во Франции в 1589—1792, 1814—1815, 1815—1830 гг.—299, 417, 421, 581, 587, 591
в Испании—в 1700—1800, 1814—1868, 1874—1931 гг.—318, 349
- Бэкон Роджер (ок. 1214—ок. 1292), английский философ-номиналист и естествоиспытатель—277
- Бюсе (Бютцер) (1491—1551), религиозный реформатор из Эльзаса, сторонник У. Цвингли—288
- Бюхнер Людвиг (1824—1899), немецкий естествоиспытатель, философ, представитель вульгарного материализма—130, 443
- Василий Иванович Шуйский (1552—1612), русский царь в 1606—1610 гг.—594

- Вейтлинг Вильгельм (1808—1871), немецкий коммунист-утопист—3, 442
- Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852), английский полководец, фельдмаршал, государственный деятель. Командовал англо-голландской армией в сражении с Наполеоном под Ватерлоо—412
- Венера (*рим. мифол.*), богиня весны и садов, в дальнейшем — богиня любви и красоты—278
- Венцеслав (Венцель) (1361—1419), немецкий император, старший сын Карла IV; в 1364 г. избран королем Чехии, в 1376-м — королем Священной Римской империи—350, 351, 353, 588
- Вердер Карл (1806—1893), немецкий философ-гегельянец—3
- Верньо Пьер Виктюрье (1753—1793), деятель Великой французской революции, один из лидеров жирондистов—571
- Верон Эжен (1825—1889), французский писатель, журналист—209
- Верцингеториг (Верцингеторикс) (ум. 46 г. до н. э.), вождь галльского племени арвернов, восставшего в 52 г. до н. э. против Рима; взят в плен и казнен Цезарем—220
- Виктор Эммануил II (1820—1878), король Сардинии в 1849—1861, первый король Объединенной Италии в 1861—1878 гг.—293, 348, 349
- Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888), король Пруссии с 1861 г., император Германии с 1871 г.—251, 282, 464, 469—473, 475, 581
- Вильгельм I Оранский (Молчаливый) (1533—1584), принц Оранский, возглавивший борьбу Нидерландов против господства Испании; опирался на немецких протестантов и французских гугенотов—413
- Виндишгрец Альфред (1787—1862), австрийский фельдмаршал, жестоко подавивший в 1848 г. восстания в Праге и в Вене—426, 464
- Вирт Иоганн-Георг (1798—1848), немецкий историк и журналист демократического направления—428
- Вирхов Рудольф (1821—1902), немецкий ученый и политический деятель; в 60—80-х гг. XIX в.—один из лидеров буржуазного либерализма в Пруссии, а затем в объединенной Германии—477
- Витгенштейн-Хохештейн Вильгельм-Людвиг Георг (1770—1851), прусский государственный деятель крайне реакционного направления; с 1812 г.—шеф полиции—418
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский философ-просветитель, историк, писатель—298, 405, 433
- Габсбурги — династия, правившая в Австрии в 1282—1918 гг., в Чехии и Венгрии в 1526—1918 гг., а также в Священной Римской империи в 1438—1806 гг. (кроме 1742—1745 гг.)—277, 283
- Галилей Галилео (1564—1642), итальянский физик и астроном—55

- Галль Франц Йозеф (1758—1828), австрийский врач и анатом, основатель френологии—114, 573
- Гамбетта Леон Мишель (1838—1882), французский политический и государственный деятель левого крыла республиканцев—198, 199, 208—210, 230—232, 292, 303, 305, 307, 311, 313—316, 341, 439, 487, 578
- Гарденберг Карл Август (1750—1822), прусский государственный деятель; в 1804—1806 и в 1807 гг.—министр иностранных дел, в 1810—1822 гг.—канцлер—219
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882), вождь итальянского национально-освободительного движения—297, 321, 349, 439, 501, 586
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ, представитель немецкой классической философии—49, 129, 131, 186, 404, 430, 431, 432, 434, 444, 468, 572, 574, 591
- Гег Аманд (1820—1897), немецкий публицист, один из наиболее влиятельных членов пацифистской Лиги Мира и Свободы—493
- Гейне Генрих (1797—1856), немецкий поэт, публицист, критик, философ—129, 406, 430, 433, 442, 446, 592
- Генрих I (1068—1135), английский король с 1100 г.—272
- Генрих VIII (1491—1547), английский король с 1509 г.—286
- Гервер (Хервер) Георг (1817—1875), немецкий революционный поэт—389, 442, 590
- Герцен Александр Иванович (1812—1870), русский писатель, публицист, революционный просветитель, один из предтеч народничества—3, 529, 566, 574, 596—598
- Герцен Наталья Александровна (Тата) (1844—1936), старшая дочь А. И. Герцена от брака с первой женой, Н. А. Захарьиной—559, 560, 562, 564, 566, 567, 596—598
- Гесс Моисей (Морис) (1812—1875), в 40-х гг. немецкий социалист, в дальнейшем эволюционировал вправо—443
- Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель, философ-просветитель—375, 404, 405, 407, 431, 432, 468
- Гильом (Гийом) Джеймс (1844—1916), один из лидеров анархистского движения в Швейцарии и Франции—575, 576, 594, 596
- Гогенштауфены, династия немецких королей и императоров Священной Римской империи в 1138—1254 гг.—269, 583
- Гогенцоллерн-Зигмаринген Карл Антон (1811—1885), князь, представитель швабской линии династии Гогенцоллернов, в 1858—1862 гг.—прусский министр-президент—470
- Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), русский дипломат, министр иностранных дел с 1856 г., государственный канцлер (с 1867 г.)—263, 385, 391, 393, 400, 401

- Гумбольдт Вильгельм (1767—1835), немецкий языковед, философ, государственный деятель, брат знаменитого естествоиспытателя А. Гумбольдта; в 1819 г.—министр внутренних дел Пруссии—430
- Гус Ян (1371—1415), чешский мыслитель, идеолог Реформации; в 1410 г. отлучен от католической церкви; осужден и сожжен заживо как еретик—277, 280, 283, 584, 588
- Гуттен Ульрих фон (1488—1523), немецкий политический деятель, гуманист, реформатор, сторонник Лютера—285, 286
- Гюго Виктор Мари (1802—1885), французский писатель-романтик—237
- Даниельсон Николай Францевич (псевд. Николай-он) (1844—1918), русский экономист, один из идеологов легального народничества—566
- Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт эпохи Возрождения—19, 277, 321
- Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель Великой французской революции 1789—1794 гг.—209, 232, 233, 442
- Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель—60, 133
- Демулен Камиль (1760—1794), деятель Великой французской революции, представитель правого крыла якобинцев—233, 442
- Детруайя Пьер Леонсе (р. 1829), французский политический деятель, журналист—250
- Джонсон Эндрю (1808—1875), президент США (1865—1868) после убийства А. Линкольна—105
- Дидро Дени (1713—1784), французский философ-просветитель—405
- Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895), украинский историк, публицист либерального направления—595
- Духинский Франциск (1817—1880), польский этнограф, директор польской школы в Париже, затем хранитель польского музея в Швейцарии; выдвинул концепцию туранского (не индоевропейского и не арийского) происхождения великороссов и арийского происхождения украинцев—371
- Дювернуа Клеманс (1836—1879), французский политический деятель и журналист—240, 581
- Дюма Александр (Дюма-отец) (1802—1870), французский писатель—33, 572
- Дюпра Паскаль Пьер (1815—1885), французский политический деятель, историк, близкий к христианскому социализму Ф. Р. Ламенне—246
- Ева (*библ.*), первая женщина—89
- Евгения (1826—1920), французская императрица, с 1853 г. жена Наполеона III—242
- Екатерина II Алексеевна (1729—1796), русская императрица с 1762 г.—139, 182, 262, 300, 359

- Елачич Йосип (1801—1859), хорватский бан (наместник губернатора) в Хорватии, Словении и Далматии (в тексте: Ислагиш) — 451, 592
- Жанна Д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции; во время Столетней войны (1337—1453) возглавила борьбу французского народа против английских захватчиков—279, 304
- Жижка Ян (ок. 1360—1424), полководец гуситского движения в Чехии—277, 283, 350
- Жирарден Эмиль (1801—1881), французский журналист и политический деятель, либеральный противник бонапартизма—240, 248—250, 581
- Жуковский Николай Иванович (1833—1895), русский революционный народник, бакунист—557—560, 570, 574, 594, 597
- Загорский (Загурский) Ян (1842—1909), польский революционер, сторонник М. А. Бакунина—570
- Занд Карл-Людвиг (1795—1820), студент Тюбингского университета, убивший Августа Коцебу; казнен в 1820 г.—187, 423
- Зиккинген Франц фон (1481—1523), вождь антикняжеского восстания 1522—1523 гг. в Германии, один из деятелей Реформации—285
- Иан Фридрих Людвиг (1778—1852), один из деятелей немецкого патриотического движения начала XIX в., в 1819—1825 гг. находился в тюрьме за свои либеральные убеждения—421
- Ибель фон — чиновник герцогства Нассау в Германии; был убит Карлом Ленингом—423
- Ибн-Рощд (1126—1198), по-латински Аверроэс, арабский философ—584
- Иванов Иван Иванович (ум. 1869), русский студент, участник кружка С. Г. Нечаева; убит им и его единомышленниками по подозрению в измене—595
- Иегова (*иуд. мифол.*) — неправильная транскрипция имени бога Яхве—72, 124, 443
- Иероним Пражский (ок. 1380—1416), чешский реформатор, соратник Яна Гуса—283
- Изабелла II (1830—1904), испанская королева в 1833—1868 гг.—320
- Иисус Христос—124, 179, 180, 363, 364, 445
- Иннокентий III (ум. 1216), римский папа с 1198 г.—583
- Иоанн Лейденский (Ян Бокельзон) (ок. 1509—1536), один из главных руководителей движения анабаптистов в Нидерландах—287
- Кабе Этьенн (1788—1856), французский коммунист-утопист, автор романа-утопии «Путешествие в Икарию»—30, 31, 36, 519, 572, 595

- Кавур Камилло Бензо (1810—1861), итальянский политический деятель либерального направления—91, 349
- Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857), французский государственный деятель, генерал; руководил подавлением июньского восстания 1848 г. в Париже—34, 243, 460, 462, 463, 572, 578
- Казимир (Казимеж) (1016—1058), польский князь из династии Пястов—281
- Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма—86, 127, 128, 131, 132, 404, 432, 468, 574
- Карл-Альберт (1798—1849), в 1821 г. регент сардинского государства, с 1831 г.—король Сардинии; в 1849 г. отрекся от престола в пользу своего сына Виктора-Эммануила II—348
- Карл IV (1316—1378), император Священной Римской империи и германский король с 1347 г., чешский король с 1346 г.—584
- Карл V (1500—1558), император Священной Римской империи в 1519—1556 гг., король Испании в 1516—1556 гг.; стремился создать всемирную христианскую монархию—251, 317, 495, 581
- Карл X (1757—1836), французский король в 1824—1830 гг. из династии Бурбонов—581, 591
- Карлос, дон Карлос Старший (1788—1855), брат испанского короля Фердинанда VII, претендовавший на престол после его смерти—591
- Каррье Жан-Батист (1756—1794), член Конвента 1793 г., известный своим фанатизмом и склонностью к террору—233
- Кастелар-и-Риполь Эмилио (1832—1899), испанский политический деятель, лидер республиканцев правого крыла; был министром иностранных дел—439, 487, 488
- Катков Михаил Никифорович (1818—1887), русский публицист и общественный деятель реакционного направления—149, 575
- Кауфман Константин Петрович (1818—1882), русский генерал, руководил военными действиями при завоевании Бухары и Хивы—587
- Кафьеро (Кафиеро) Карло (1846—1892), деятель итальянского революционного движения и I Интернационала, с начала 70-х гг. близок к М. А. Бакунину—576
- Кине Эдгар (1803—1875), французский политический деятель, историк—237
- Кинкель Готфрид (1815—1882), немецкий поэт и критик. В 1848 г. за участие в революционном движении заключен в крепость Шпандау; в 1850 г. эмигрировал—474
- Клеовул (Клеобул) (VI в. до н. э.), один из семи греческих мудрецов, тиран (правитель) города Линдоса—103

- Клюзере Гюстав Поль (1823—1900), французский политический деятель; участвовал в подавлении июньского восстания 1848 г.; в 60-х гг.—участник движения Гарибальди, войны Севера и Юга в США; в 1871 г. военный делегат Парижской коммуны; в конце жизни—социалист—189
- Кольб Георг Фридрих (1800—1884), немецкий историк, статистик и политический деятель—183
- Кондорсе Мари Жан Антуан Никола (1743—1794), французский математик, социолог, политический деятель—571
- Консидеран Виктор (1808—1893), французский социалист-утопист, последователь Ш. Фурье—30, 571
- Конт Огюст (1798—1857), французский математик и философ, основоположник позитивизма—31, 48, 49, 127, 131, 186, 592
- Коперник Николай (1473—1543), польский астроном—55
- Коцебу Август (1761—1819), немецкий писатель; советник по делам культуры Александра I; с 1817 г.—политический агент русского правительства в Германии; убит студентом Карлом Зандом—423
- Краевский Андрей Александрович (1810—1889), русский издатель и журналист либерального направления, в 1839—1867 гг. издавал «Отечественные записки»—3
- Криднер Барбара Юлиана (1764—1824), баронесса, с мистическим мирозерцанием, которой приписывают идею заключения Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией—419
- Кремье Исаак Адольф (1796—1880), французский политический деятель, в 1848—1851 гг. член Учредительного, а затем Законодательного собрания; в 1870 г.—министр юстиции; был сторонником Л. М. Гамбетта—246
- Кугельман Людвиг (1830—1902), немецкий социал-демократ, друг К. Маркса—587
- Кузен Виктор (1792—1867), французский политический деятель и философ эклектического направления, один из первых популяризаторов учения Гегеля во Франции—431
- Лавр, святой христианской церкви—363, 589
- Лавров Петр Лаврович (1823—1900), русский философ, социолог, идеолог народничества—594
- Лагард, депутат Национального собрания Франции, заключенный в тюрьму без суда в ходе подавления революции 1848 г.—235, 236
- Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт, политический деятель и историк—442, 580
- Ландо Микеле (XIV в.), оппозиционный политический деятель, рабочий-чесальщик из Флоренции—277

- Лассаль Фердинанд (1825—1864), один из руководителей немецкого рабочего движения 60-х гг. XIX в.—5, 306, 449, 450, 478—482, 484—486, 488, 489, 506, 593
- Ласфайет Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер Мотье (1757—1834), французский политический деятель; участвовал в борьбе за независимость английских колоний в Америке; в 1789 г. — командующий национальной гвардией; в дальнейшем эволюционировал вправо; во время революции 1830 г. способствовал приходу к власти Луи Филиппа Орлеанского—187
- Лев X (1475—1521), римский папа с 1513 г.—592
- Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807—1874), французский политический деятель демократического направления—580
- Лелевель Иоахим (1786—1861), польский историк и общественный деятель—280, 281, 584
- Лемонье Шарль (1806—1891), сен-симонист, издатель трудов Сен-Симона, один из организаторов пацифистской Лиги Мира и Свободы—493
- Ленин Владимир Ильич (1870—1924)—6
- Ленинг Карл, молодой немецкий аптекарь, покушавшийся в 1819 г. на жизнь чиновника нассауского герцогства фон Ибеля—423
- Леопольд II (1747—1792), австрийский император с 1790 г.—579
- Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик, основоположник немецкого Просвещения—404, 431, 432, 468
- Лжедмитрий I (ум. 1606), самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, русский царь в 1605—1606 гг.—178, 182, 517, 540, 594
- Лжедмитрий II (ум. 1610), самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного—178, 517, 540, 594
- Либкнехт Вильгельм (1826—1900), один из основателей и руководителей немецкой социал-демократии—259, 306, 343, 490, 493, 494, 496, 587
- Ликург (9 в. до н. э.), легендарный законодатель древней Спарты—99
- Литтре Эмиль (1801—1881), французский ученый, философ-позитивист, политический деятель—115—117, 573
- Лойола Дон-Игнацио-Лопец де-Рекальдо (1491—1556), основатель ордена иезуитов—557
- Лопатин Герман Александрович (1845—1918), русский революционный народник—542, 561—563, 566, 595, 598
- Луи Филипп (1773—1850), последний французский король из династии Бурбонов—234, 248, 425, 461, 579—581, 591

- Любавин Николай Николаевич (1845—1918), русский ученый-химик, друг Г. А. Лопатина и Н. Ф. Даниельсона, участник работы по переводу на русский язык I тома «Капитала» К. Маркса—563, 565, 566
- Людовик XI (1423—1483), французский король из династии Валуа с 1461 г.—279
- Людовик XIV (1638—1715), французский король из династии Бурбонов с 1643 г.—226, 298, 571, 579, 587
- Людовик XVI (1754—1793), французский король из династии Бурбонов в 1774—1792 гг.; казнен по приговору Конвента—406
- Людовик XVIII (1755—1824), французский король из династии Бурбонов в 1814—1815 и 1815—1824 гг.—262, 582
- Львов Федор Николаевич (1823—1885), в 40-х гг. член общества петрашевцев; в 1871—1882 гг. секретарь Русского технического общества—529
- Льюис Джордж Генри (1817—1878) английский философ-позитивист—116, 117, 133
- Люблинский Юлиан Казимирович (1798—1873), польский революционер, организатор Общества соединенных славян—589
- Лютер Мартин (1483—1546), деятель Реформации в Германии; основатель одной из ветвей протестантизма—лютеранства—256, 266, 285—287, 289, 421, 423, 581, 585, 591, 592
- Мадзини (Маццини) Джузеппе (1805—1872), итальянский революционер-демократ, республиканец—19, 33, 55, 99, 293, 294, 297, 321, 348, 365, 439, 573, 586
- Мазлав, мазовецкий князь, руководитель восстания против Казимира I; потерпел поражение в битве под Плоцком на Висле в 1047 г.—281
- Магомет (Мохаммед, Мухаммед), основатель ислама—100
- Макиавелли Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель, писатель, историк—94, 95, 298, 321, 557
- Мак-Магон Мари Эдм Патрис Морис (1808—1893), французский государственный деятель, маршал Франции (с 1859 г.)—363
- Мантейфель Эдвин-Ганс-Карл (1809—1885), прусский генерал-фельдмаршал—469, 470, 474
- Мария-Кристина (1806—1878), жена испанского короля Фердинанда VII, регентша Испании в 1833—1840 гг.—591
- Марат Жан Поль (1743—1793), деятель Великой французской революции, ученый, публицист—233, 442, 532
- Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена короля Людовика XVI; гильотинирована после свержения монархии—406
- Мария Терезия (1717—1780), эрцгерцогиня австрийская с 1740 г.—262, 359, 360

- Маркс Карл (1818—1883)—3—5, 7, 264, 296, 306, 314, 324, 343, 433, 439, 442—445, 448, 449, 480—482, 484—487, 489—490, 492—494, 500, 502, 564, 579, 582, 587, 592, 593, 598
- Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878), русский государственный деятель, генерал-адъютант (1871), член Государственного совета (1877), руководил жандармскими ведомствами и императорской канцелярией; убит народником С. М. Кравчинским—185
- Меланхтон Филипп (1497—1560), немецкий протестантский теолог, соратник Лютера—256, 266, 285—289, 585
- Меттерних-Виннебург Клеменс Венцель Лотар (1773—1859), австрийский государственный деятель, дипломат—299, 325, 360, 409, 410, 417, 418, 420, 427, 431, 469
- Милль Джон Стюарт (1773—1836), английский философ-позитивист, экономист, политический деятель—133
- Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), русский государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1898 г.); с 1861 г.—военный министр—373
- Минин (Сухорук) Кузьма (ум. 1616), один из организаторов народного ополчения в период польской и шведской интервенции начала XVII в.—582
- Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791), деятель Великой французской революции, идеолог крупной буржуазии, тайный агент королевского двора—233, 433
- Михаил Федорович Романов (1596—1645), первый русский царь (с 1613 г.) из династии Романовых—594
- Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт—330
- Мишле Жюль (1798—1874), французский историк радикально-демократического направления—218, 220, 442, 579
- Моисей (XIII в. до н.э.) вождь древних евреев; ему приписываются первые пять книг Ветхого Завета (Пятикнижие Моисея)—99, 100
- Мошешотт Якоб (1822—1893), немецкий физиолог, представитель вульгарного материализма—130
- Мольтке (Старший) Хельмут Карл Бернхард (1800—1891), прусский и германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1871)—279
- Морелли Мишель, участник итальянского революционного движения, казнен в 1822 г.—187
- Морни Шарль-Огюст (1811—1865), французский политический деятель, в 40-х гг.—доверенное лицо Луи-Наполеона; руководил переворотом 2 декабря 1851 г.—236, 249
- Мрочковский Валериан (1840—1889), польский революционер, сторонник М. А. Бакунина—570

- Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826), один из главных руководителей движения декабристов—358, 421
- Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), царский генерал, отличившийся особой жестокостью при подавлении польского восстания 1863 г. и получивший в этой связи кличку «Муравьев-вешатель»—91, 140, 185, 262, 332, 381, 574, 575
- Мюллер Вильгельм (1820—1892), немецкий историк—425, 591
- Мюнцер Томас (ок. 1490—1525), вождь крестьянской войны 1524—1526 гг. в Германии, идеолог левого крыла Реформации—585
- Накэ А., французский политический деятель, был близок к М. А. Бакунину в период его участия в «Лиге Мира и Свободы»—570
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский император в 1804—1814 и в 1815 гг.—17, 19, 261, 298, 318, 319, 332, 369, 408, 409, 411, 413, 420, 422, 446, 463, 474, 476, 495, 575, 579, 580, 582, 587, 590
- Наполеон III Луи Бонапарт (1808—1873), французский император в 1852—1870 гг.—34, 37, 91, 181, 196, 201, 206, 229, 231—233, 236, 239, 245, 248—251, 259, 296, 297, 303, 305, 325, 348, 349, 378, 384, 401, 413, 463, 475, 487, 495, 572, 577—581
- Нарваэс Рамон Мария (1800—1868), испанский государственный деятель умеренно-либерального направления; дважды возглавлял правительство Испании—320
- Неттлау Макс (1865—1944), приверженец и историк анархизма—570, 575, 576
- Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), русский революционер-народник—7, 519, 527, 562, 563, 568, 569, 570, 574, 595, 596
- Николай I Павлович (1796—1855), русский император с 1825 г.—3, 139, 179, 180, 254, 299, 325, 358, 364, 365, 370, 428, 431, 441, 466, 467, 469, 470, 472, 517, 588, 589, 595
- Огарев Николай Платонович (1813—1877), русский революционный просветитель-демократ, социалист, предтеча народничества—6, 531, 558, 562, 566, 567, 570, 574, 575, 595, 596, 598
- Озеров Владимир Александрович, бывший офицер, участник восстания 1863 г. в Польше; друг М. А. Бакунина—562, 566, 567
- Оливье Эмиль (1825—1913), французский политический деятель, в 1870 г.—глава правительственного кабинета Наполеона III Бонапарта—196, 250, 577, 578, 581
- Орлеанские герцоги, младшие ветви французских королевских династий Валуа и Бурбонов—201, 303, 578
- Оуэн Роберт (1771—1858), английский социалист-утопист—595

- Павел, «апостол язычников», не знавший Иисуса Христа при его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов, но также почитаемый христианами как «первопрестольный апостол»—278
- Палацкий Франтишек (1798—1876), деятель чешского национально-освободительного движения, историк, философ—284, 352, 353, 383
- Паликао Кузен-Монтобан Шарль-Гильом (1796—1878), французский генерал, в 1870 г.—министр-президент и военный министр—198, 206, 239
- Паликс Луи (ум. 1871), участник французского социалистического движения, друг М. А. Бакунина—577
- Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865), английский государственный деятель, был министром по военным, иностранным, внутренним делам; в 50-х гг.—премьер-министр—91
- Пап Сезар де (1842—1890), деятель бельгийского рабочего движения, организатор бельгийской секции I Интернационала, в 1885 г.—один из основателей Бельгийской рабочей партии—594
- Паскевич Иван Федорович (1782—1856), русский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1829)—364, 589
- Пасси Фредерик (р. 1822), французский экономист—13, 570
- Периандр (ок. 660 г. до н.э.—ок. 585 г. до н.э.), тиран (правитель) Коринфа, один из семи греческих мудрецов—103
- Персины Жан-Жильбер-Виктор Фиален (1808—1872), французский политический деятель, сторонник Луи-Наполеона—236
- Пестель Павел Иванович (1793—1826), один из руководителей движения декабристов—179, 358, 421
- Петион Жером (1756—1794), французский политический деятель эпохи Великой французской революции; некоторое время был близок к жирондистам—233
- Пепе Гульельмо (1783—1855), деятель итальянского освободительного движения, один из вождей карбонариев—187
- Петр I Алексеевич (1672—1725), русский царь (с 1682 г.), первый российский император (с 1721 г.)—139, 391
- Петр III Федорович (Карл Петр Ульрих) (1728—1762), русский император в 1761—1762 гг.—261, 582
- Петр (Пьер) де Брюи (ум. 1126), ученик Абеляра, проповедовавший радикальную реформу церкви в соответствии с идеалами раннего христианства—272
- Петрарка Франческо (1304—1374), итальянский поэт-гуманист эпохи Возрождения—277

- Петрашевский (Бутаевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866), русский революционер, организатор кружка молодежи конца 40-х гг. XIX в. (кружок петрашевцев)—529
- Пиетри Жозеф-Мари (1820—1902), французский политический деятель, сторонник Луи-Наполеона, был, в частности, префектом полиции—236
- Пий IX (1792—1878), избран папой в 1846 г.—99, 573, 586
- Пи-и-Маргаль Франсиско (1824—1901), испанский политический деятель, революционер; в 1872 г.—министр внутренних дел, а затем президент республики—439
- Пикар Луи-Жозеф-Эрнест (1821—1877), французский политический деятель, сторонник Эмиля Оливье и Жюля Фавра; после революции 4 сентября 1870 г. был министром обороны и финансов, министром внутренних дел в правительстве Тьера—284
- Пико делла Мирандола Джованни (1463—1494), итальянский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения—278, 285
- Платон (428/7—348/7 до н.э.), древнегреческий философ и писатель, родоначальник объективного идеализма—278
- Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), русский марксист, организатор первой в России марксистской группы «Освобождение труда»—7
- Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642), русский государственный и военный деятель—582
- Поляков Николай Петрович (1843—1905), русский издатель—598
- Потапов Александр Львович (1818—1886), русский генерал-адъютант; в 60—80-х гг. возглавлял, в частности, корпус жандармов—185
- Потебня Андрей Афанасьевич (1838—1863), русский революционер, в 60-х гг. возглавлял подпольную организацию офицеров в Польше—529
- Прим-и-Пратс Хуан (1814—1870), испанский политический деятель, генерал; во время революции 1868—1874 гг. сторонник конституционной монархии—250, 320
- Прокоп Великий (ок. 1380—1434), деятель гуситского движения в Чехии, руководитель таборитов—283
- Прокруст (*греч. мифол.*) — великан-разбойник, который укладывал путников на ложе и обрубал ноги, если путник оказывался больше размеров ложа, или, наоборот, вытягивал их до размера ложа—434
- Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский утопист-социалист, один из основоположников анархизма—3, 31, 33, 36, 104, 127, 211, 232, 233, 237, 248, 277, 444, 572, 578, 580
- Прыжов Иван Гаврилович (1827—1885), русский историк, этнограф, публицист, член нечаевской организации «Народная расправа»—561

- Псевдо-Дионисий Ареопагит (V — нач. VI в.), христианский мыслитель-неоплатоник, представитель поздней патристики — 595
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775), предводитель крестьянской войны 1773—1775 гг.—178, 179, 182, 332, 508, 517, 520, 540, 542, 582
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)—370, 589
- Рабле Франсуа (ок. 1494—1553), французский писатель эпохи позднего Возрождения—279
- Радовиц Иосиф (1797—1853), прусский государственный деятель, один из идеологов Фридриха-Вильгельма IV—454, 467
- Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671), предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг.—178, 182, 183, 332, 508, 517, 520, 540, 542
- Рафаэль (Раффаэлло) Санти (Санцио) (1483—1520), итальянский живописец и архитектор эпохи Высокого Возрождения—589
- Рейхенбах Эдуард фон (р. 1812), граф, один из радикальных деятелей в Силезии, инициаторов так наз. новокатолического движения в Германии середины 40-х гг. XIX в.—445
- Рейхлин Иоганн (1455—1522), немецкий гуманист эпохи Возрождения—286
- Реклю Жан Жак Элизе (1830—1905), французский ученый-географ, социолог, соратник М. А. Бакунина—576
- Ригер Франтишек Ладислав (1818—1903), чешский политический деятель, юрист, соратник Ф. Палацкого—284, 352, 353, 383
- Риго-и-Нуньес Рафаэль (1785—1823), деятель испанской революции 1820—1823 гг.—187
- Риенцо (Кола ди Риенцо) (1313—1354), итальянский оппозиционный политический деятель, один из первых итальянских демократов—277
- Робеспьер Максимильен Мари Изидор (1758—1794), вождь якобинцев в период Великой французской революции 1789—1794 гг.—17, 32, 193, 232, 233, 433, 442, 444, 571
- Ронге Иоганн (1813—1887), основатель отдельной немецкой католической церкви в середине 40-х гг. XIX в.—445
- Руге Арнольд (1802—1880), немецкий публицист, философ-левогегельянец—3, 442
- Руссо Жан Жак (1712—1778), французский писатель, философ-просветитель—67, 86, 405, 433
- Руэ (р. 1814), французский политический деятель, министр торговли, сельского хозяйства, общественных работ в годы Второй империи—249
- Савонарола Джироламо (1452—1498), итальянский религиозно-политический деятель, проповедник строгой монашеской жизни—532

- Саваоф (*библ.*) (*евр.* seva'ot, *мн. ч.* от sāb'a — воинство, сонм) — одно из имен бога в иудаистической и христианской традициях, в котором выражена идея единства всех «воинств» вселенной, построенных по принципу иерархии—512
- Сагаста Пракседес Матео (1827—1903), испанский политический деятель, в 1868—1870 и 1871—1872 гг.—министр внутренних дел Испании, в конце XIX — начале XX в.—министр-президент—293, 320, 586
- Самнер Чарльз (1811—1874), политический деятель США, активный боец за отмену рабства—37
- Сантароза Санторре Аннибале де Росси и Помароло (1783—1825), деятель итальянского освободительного движения, один из руководителей революции 1821 г. в Пьемонте—187
- Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794), деятель Великой французской революции, соратник М. Робеспьера—17, 32, 442
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825), французский мыслитель, социалист-утопист—30, 131, 444
- Серебренников Семен Иванович, в 1864 г. студент Петербургского политехнического института; в 1868—1869 гг. сблизился с С. Г. Нечаевым, в 1874 г. выдан русскому правительству—560, 566, 567, 597
- Сетерленд Генри (р. 1851), сын жены Н. П. Огарева Мэри Сетерленд, его воспитанник (с 1858 г.)—558, 598
- Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), русский физиолог—112, 573
- Сигер Брабантский (ок. 1235—ок. 1282), французский средневековый философ, один из основателей латинского аверроизма—584
- Сигизмунд (1368—1437), император Священной Римской империи в 1410—1437 гг., венгерский король в 1387—1437 гг., чешский король в 1419—1421 гг. и 1436—1437 гг.—283, 284
- Сийес (Сиейес, Сьейес) Эмманюель-Жозеф (1748—1836), деятель Великой французской революции—233
- Симон Жюль (1814—1896), французский политический деятель, писатель, в 1870 г.—министр просвещения; в 1876—1877 гг.—министр-президент и министр внутренних дел—284
- Скарятин Владимир Дмитриевич, публицист, с 1863 г. редактор крайне реакционной газеты «Весть»—149, 575
- Смит Адам (1723—1790), шотландский экономист и философ—151
- Соломон (965—928 гг. до н.э.), царь Израильско-иудейского царства; считается автором ряда библейских книг—333, 588
- Солон (между 640 и 635—ок. 559 гг. до н.э.), политический деятель и социальный реформатор в древних Афинах; один из семи греческих мудрецов—99

- Сорилья (Зорилла) Мануэль Руез (1834—1895), испанский государственный деятель; в 1870 г.—председатель Кортесов, в 1871 г.—премьер-министр—320
- Софокл (ок. 496—406 гг. до н.э.), древнегреческий драматург—51
- Спартак (ум. 71 г. до н.э.), вождь восстания рабов 73 (или 74)—71 гг. до н.э. в Древнем Риме—130
- Спенсер Герберт (1820—1903), английский философ-позитивист—133
- Спешнев Николай Александрович (1821—1882), русский революционер, один из лидеров кружка петрашевцев—597
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), русский философ, общественный деятель, поэт—3
- Стефан Душан (ок. 1308—1355), сербский король с 1331 г., с 1345 г.—царь крупного сербско-греческого государства—330, 346, 349, 588
- Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730—1800), русский полководец—557
- Тамерлан (Тимур) (1336—1405), среднеазиатский полководец, эмир с 1370 г.; выходец из тюркизированного монгольского племени—399
- Тацит Публий Корнелий (ок. 58—после 117), римский историк—424
- Тецель Иоганн (1465—1519), монах доминиканского ордена—445, 532, 592
- Тимашев Александр Егорович (1818—1893), русский государственный деятель. В 1856—1861 гг.—управляющий III отделением; в 1868—1877 гг.—министр внутренних дел—185
- Толь (Толль) Феликс-Эммануил Густавович (1823—1867), участник кружка петрашевцев; после ссылки сотрудник журналов «Современник», «Русское слово» и педагогических журналов—529
- Трепов Федор Федорович (1812—1889), русский государственный деятель, генерал-адъютант; в 1866—1878 гг.—обер-полицмейстер, градоначальник Петербурга—185
- Триерш Б., немецкий профессор лицея первой половины XIX в.—593
- Тун-Гогенштейн Лео фон (1811—1888), австрийский политический деятель, в 1849—1860 гг. министр народного образования—325
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), русский писатель—592
- Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913), жена Н. П. Огарева, впоследствии жена А. И. Герцена—560, 565
- Тхоржевский (Тхужевский) Станислав, польский эмигрант с 1845 г., близкий сотрудник А. И. Герцена по работе в «Колоколе»—560
- Тьер Адольф (1797—1877), французский политический деятель; возглавлял борьбу против Парижской коммуны; с 1871 г.—президент Франции—284, 303, 308, 314, 363, 461, 587

- Уиклиф (Виклиф) Джон (между 1320 и 1330—1384), идеолог английского реформационного движения—277, 279, 281
- Утин Николай Исаакович (1841—1883), русский революционер, один из организаторов Русской секции I Интернационала—529, 536, 542, 557, 560, 565, 566
- Фавр Жюль (1809—1880), французский политический деятель; вместе с Тьером участвовал в подавлении Парижской коммуны—198, 200, 205, 234—236, 240, 246, 284, 292, 293, 586
- Фейербах Людвиг (1804—1872), немецкий философ-материалист—69, 129, 130, 432, 573
- Фердинанд VII (1784—1833), испанский король в 1808 и 1814—1833 гг.—591
- Филипп II (1527—1598), испанский король из династии Габсбургов с 1556 г.—317
- Филипп V (1683—1746), внук французского короля Людовика XIV, с 1700 г.—король Испании—587
- Фихте Иммануил Герман Младший (1797—1879), немецкий философ-теист, сын И. Г. Фихте—592
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма—129, 404, 407, 431, 432, 590
- Флери Эмиль-Феликс (1815—1884), французский генерал, сторонник Луи Наполеона Бонапарта—236, 249
- Фохт (Фогт) Карл (1817—1895), немецкий естествоиспытатель и философ, представитель вульгарного материализма—130
- Франц Иосиф I (1830—1916), император Австрии и король Венгрии (с 1848 г.)—409, 591
- Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190), германский король с 1152 г., император Священной Римской империи с 1155 г.—269, 425, 583
- Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король с 1740 г.—262, 298, 300, 359, 410, 413, 473, 582
- Фридрих Вильгельм II (1744—1797), прусский король с 1786 г.—579
- Фридрих Вильгельм III (1770—1840), прусский король с 1797 г.—406, 408, 411, 413, 417, 428, 430, 589, 591
- Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), прусский король с 1840 г.—441, 454, 455, 466, 467, 469
- Фуке-Тинвилль Антуан (1747—1795), полицейский агент в Париже—233
- Фурье Франсуа Мари Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист—30, 571

- Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595—1657), украинский государственный и военный деятель, гетман Украины, руководитель национально-освободительного движения 1648—1654 гг.—366
- Цвингли Ульрих (1484—1531), швейцарский религиозный реформатор—285, 286, 288
- Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 гг. до н.э.), древнеримский государственный деятель, полководец, писатель—220, 424
- Целестин V (1215—1296), основатель монашеского ордена целестинцев, римский папа, находившийся на престоле пять месяцев в 1294 г.—589
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), русский мыслитель, публицист—510, 594
- Чингисхан (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155—1227), основатель монгольского государства, полководец—254
- Шальмель-Лакур Поль Арман (1827—1896), французский политический деятель, дипломат; в 1883 г.—министр иностранных дел—210
- Шамбор Анри д'Артуа (1820—1883), граф шамборский, герцог бордоский; безуспешно стремился занять французский престол, именовал себя королем Генрихом V—472, 578
- Шарнгорст Гергард-Иоганн-Давид фон (1756—1813), прусский генерал, начальник Генштаба (1807—1811 гг.), провел реорганизацию прусской армии—410
- Шатель Фердинанд-Туссен-Франсуа (1795—1857), французский аббат, провозгласил отделение от римско-католической церкви и создал, опираясь на идею «естественного закона», так наз. французскую католическую (или унитарную) церковь—232, 579
- Шварценберг Феликс (1800—1852), австрийский государственный деятель, боровшийся против претензий Пруссии на объединение Германии—325, 416, 467, 469, 470, 589
- Шевалье Мишель (1809—1879), французский экономист, сторонник Сэя, одного из родоначальников вульгарной политэкономии—13, 571
- Шевро Жюльен-Теофил-Анри (1823—1903), с 1865 г. французский сенатор, в 1870 г. министр внутренних дел—206, 239
- Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт—51
- Шелли (Шеллей) Перси Биши (1792—1822), английский драматург, поэт-романтик—133

- Шеллинг Фридрих Вильгельм Иосиф (1775—1854), немецкий философ-идеалист—3, 129
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1803), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства—375, 404, 432
- Шмальц Теодор (1760—1831), профессор в Кенигсберге (с 1789), затем ректор Берлинского университета; один из идеологов пруссачества—591
- Шмидлин, делегат Базеля в пацифистской Лиге Мира и Свободы конца 60-х гг. XIX в.—13
- Шометт Пьер Гаспар (1763—1794), деятель Великой французской революции, якобинец—571
- Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ-идеалист—127
- Шпрингер Антон, немецкий историк—591
- Штейн Генрих-Фридрих-Карл (1757—1831), прусский государственный деятель, с 1807 г. премьер-министр Пруссии, с именем которого связаны отмена в Пруссии крепостного права и ряд других крупных реформ—407, 410, 417, 418, 430
- Штейн Лоренц фон (1815—1890), юрист и экономист, автор книги «Социализм и коммунизм в современной Франции» (1842 г.)—442, 592
- Штейн Юлиус, учитель гимназии в Силезии, один из инициаторов «новокатолического» движения в Германии в начале 40-х гг. XIX в.—445
- Штирнер Макс (наст. имя Каспар Шмидт) (1806—1856), немецкий философ-младогегельянец, один из основоположников анархизма—443
- Шувалов Павел Петрович (1847—1902), русский государственный деятель дворянско-крепостнического направления; один из основателей тайной организации для борьбы с революционным движением «Священной дружины» (1881 г.)—185
- Шувалов Петр Андреевич (1827—1889), русский государственный деятель дворянско-крепостнического направления, занимал посты управляющего Третьим отделением, шефа жандармов и др.—185
- Шульце-Делич Франц Герман (1808—1883), немецкий экономист и политический деятель умеренно-либерального направления—477—480
- Шурц Карл (1829—1906), немецкий политический деятель периода революции 1848—1849 гг.; эмигрировал в США, где стал сторонником А. Линкольна—474
- Эбер Жак Рене (1757—1794), деятель Великой французской революции, противник жирондистов, пропагандист террора в крайних формах—233, 571

- Эйлерт Рулеман-Фридрих (1770—1852), немецкий богослов, советник короля по религиозным вопросам—417
- Эколампадий Иоганн (1482—1531), немецкий гуманист и реформатор, сторонник примирения Лютера и Цвингли—285, 286
- Энгельс Фридрих (1820—1895)—3, 5, 296, 343, 445, 489, 582, 593
- Эпикур (342—341 гг. до н.э.—271—270 гг. до н.э.), древнегреческий философ-материалист—278
- Эразм Роттердамский (Дезидерий) (1469—1536), нидерландский ученый, богослов, гуманист эпохи Возрождения—286
- Эскирос Анри-Альфонт (1814—1876), французский анархист—592
- Эспартеро Бальдомеро (1793—1879), испанский военный и государственный деятель—320
- Эсхил (ок. 525—456 гг. до н.э.), древнегреческий драматург—51
- Юм Дэвид (1711—1776), английский философ, историк, экономист—128
- Юпитер (*рим. мифол.*), верховное божество—278
- Юстиниан I (ок. 482 или 483—565 гг.), император Византии с 527 г.—273, 282, 583
- Якоби Иоганн (1805—1877), прусский политический деятель, в 60—70-х гг. радикальный противник политики Бисмарка—258, 306, 454, 457, 458, 471, 472, 477, 496, 581, 592, 593

Уважаемые читатели!

В Указателе имен к двухтомнику В. С. Соловьева допущена неточность: на стр. 714 т. 2 вместо *Георгиевский С. М.* следует читать: *Георгиевский Александр Иванович* (1830—1911), тайный советник, профессор одесского Ришельевского лицея—I 446.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Ф. Пустарнаков. М. А. Бакунин</i>	3
---	---

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

Федерализм, социализм и антитеологизм	11
Наука и народ	125
Наука и насущное революционное дело	144
Кнуто-германская империя и социальная революция	188
Государственность и анархия	291
Письмо М. А. Бакунина к С. Г. Нечаеву 2-го июня 1870	527
Примечания (<i>В. Ф. Пустарнаков</i>)	569
Указатель имен	601

Бакунин Михаил Александрович

**ФИЛОСОФИЯ
СОЦИОЛОГИЯ
ПОЛИТИКА**

**Редактор
Е. В. Антонова**

**Оформление художника
С. Н. Оксман**

**Художественный редактор
В. В. Масленников**

**Технический редактор
К. И. Заботина**

Сдано в набор 19.05.89.
Подписано к печати 24.08.89. Формат $84 \times 108^{1/32}$.
Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать высокая.
Усл. печ. л. 32,87. Усл. кр.-отт. 32,92. Уч.-изд. л. 36,71.
Тираж 35 000 экз. Зак. № 496. Цена 2 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

